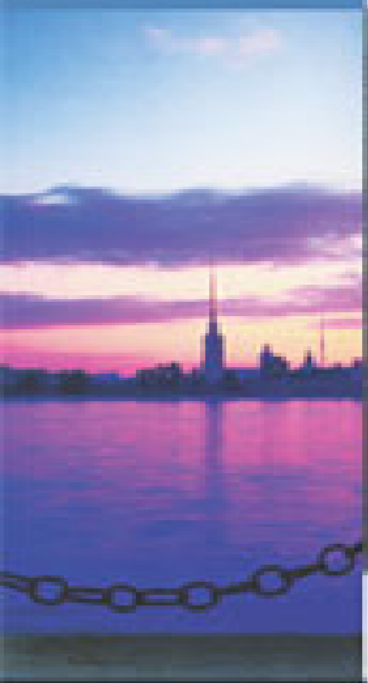
ИОСИФ БРОДСКИЙ



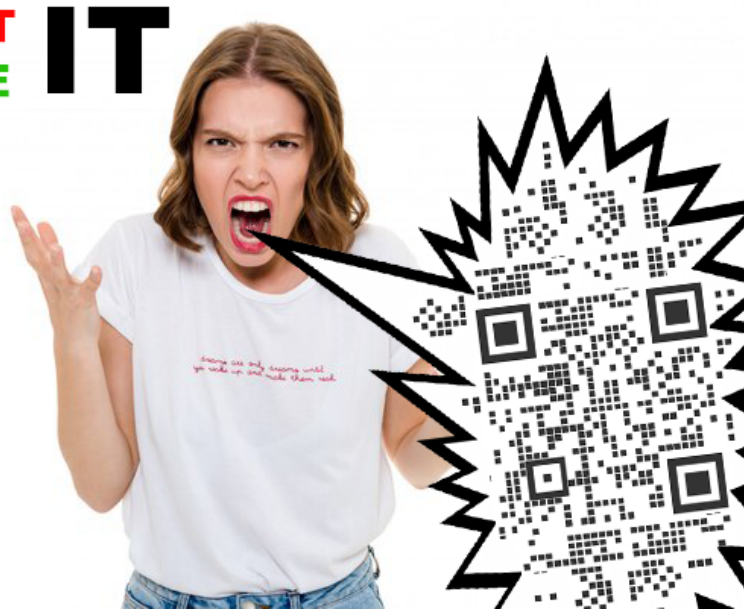


Лев Лосев



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT



Annotation

Жизнь выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского (1940–1996) полна драматических поворотов. На его долю выпали годы бедности и непризнания, ссылка, эмиграция и громкая всемирная слава. При этом он сам, «русский поэт и американский гражданин», всегда считал главным для себя творчество, стоящее вне государственных границ. Это неразрывное единство жизни и творчества отражено в биографии Бродского, написанной его давним знакомым, известным поэтом и филологом Львом Лосевым. Подробно освещая жизненный путь своего героя, автор уделяет не меньшее внимание анализу его произведений, влиянию на него других поэтов и литературных школ, его мировоззрению и политическим взглядам. В изложении Лосева, свободном от полемических перекосов и сплетен, Бродский предстает наследником великой русской поэзии, которому удалось «привить классическую розу к советскому дичку». Книга, выходящая в год десятилетия смерти Бродского, – прекрасный подарок поклонникам поэта и всем, кто интересуется русской словесностью XX века.

- Лев Лосев
  - Вступление
    - О гениальности
    - Мир Бродского: предварительные замечания
    - О пользе поэзии
    - Возможно ли жизнеописание поэта?
  - Глава I
    - Родина Бродского
    - Родители
    - Первые впечатления (война)
    - Врожденные особенности
    - Город как средство воспитания
    - В школе
    - Городские окраины
    - Образованность Бродского
    - Бродский как еврей
  - Глава II
    - Первые работы
    - В экспедициях
    - Социальный статус молодого Бродского
    - Круг чтения в юности
    - Польские веяния

- Модернизм
- Знакомство с поэзией
- Ленинградская поэзия в конце пятидесятых
- Юношеские стихи Бродского
- Начало преследований
- Кружок Уманского
- Самаркандский эпизод

○ Глава III
- Формирование стиля
- Борис Слуцкий
- Ленинградские литературные кружки
- Евгений Рейн: искусство элегии
- Знакомство с Ахматовой
- Марина Басманова и «Новые стансы к Августе»

○ Глава IV
- Annus mirabilis, 1964–1965: идеология
- Преследования Бродского в Ленинграде
- На Канатчиковой даче. «Песни счастливой зимы»
- Арест и предварительный суд
- На Пряжке
- Суд
- Движение в защиту Бродского и международная известность
- В тюрьме

○ Глава V
- Annus mirabilis, 1964–1965: ссылка в Норенскую
- Бродский и Басманова в 1964–1965 годах
- Англо-американская поэзия
- Озарение в Норенской
- Борьба за возвращение Бродского из ссылки

○ Глава VI
- После ссылки: 1965–1972
- Бродский и московские литераторы
- Попытка издания книги стихов в Ленинграде
- «Остановка в пустыне»
- Две поэмы (1): «Исаак и Авраам»
- Две поэмы (2): «Горбунов и Горчаков»
- Отъезд из СССР

○ Глава VII
- Мир глазами Бродского (вступление)
- Поэзия и политика
- Чувство родины
- «Азия» в мире Бродского
- Вопросы веры

        - Мир глазами Бродского (заключение)
        - Экзистенциализм
    - Глава VIII
        - Прибытие на Запад: Оден
        - Бродский в Америке
        - Карл Проффер и «Ардис»
        - «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи»: философия просодии
        - «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи»: издание
        - Бродский на кафедре
        - Нью-Йорк Бродского
        - Путешествия
        - Круг друзей и недругов
        - «Невстреча»: Бродский и Набоков
        - Бродский и Солженицын обращаются к Америке
        - События в Афганистане и Польше
        - Бродский и Солженицын
    - Глава IX
        - Слава и деньги
        - Политика и нравы американских кампусов
        - Эротическое у Бродского
        - «Урания»
        - Бродский на английском
        - Эссеистика
        - Нобелевская премия
    - Глава X
        - Перемены на родине
        - «Демократия!» и другие актуальные произведения
        - Деятельные годы, 1990–1995
        - Болезнь
        - «Бытие-к-смерти» в стихах Бродского
        - Смерть
    - От автора
    - Хронология жизни и творчества И. А. Бродского
    - Литература и принятые сокращения
    - Фотоальбом
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93

- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137

- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181

- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225

- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269

- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313

- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357

- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401

- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445

- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489

- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533

- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577

- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582

Лев Лосев
Иосиф Бродский
опыт литературной биографии

Издательство «Молодая гвардия» благодарит Дмитрия Быкова за помощь в осуществлении данного издания в серии «ЖЗЛ»

The lesser commenting upon the greater has, of course, a certain humbling appeal, and at our end of the galaxy we are quite accustomed to this sort of procedure.

Иосиф Бродский[1]

Вступление

Ничто в двадцатом веке не предвещало появления такого поэта, как Бродский.

Чеслав Милош

О гениальности

И правда, Бродского нельзя было предсказать. В последние десятилетия двадцатого века, в период кризиса скомпрометированных идеологий, когда само существование нравственных абсолютов и вечных эстетических ценностей было взято под сомнение, Бродский писал о борьбе Добра и Зла, Правды и Лжи, Красоты и Безобразия. Писать об этом, по словам Милоша, можно, лишь соблюдая некий нравственный кодекс: поэт «должен быть богобоязненным, любить свою страну и родной язык, полагаться только на свою совесть, избегать союзов со злом и не порывать с традицией»[2]. Но главное у Бродского, добавляет Милош, «его отчаяние, – это отчаяние поэта конца XX века, и оно обретает полное значение только тогда, когда противопоставлено кодексу неких фундаментальных верований. Это сдержанное отчаяние, каждое стихотворение становится испытанием на выносливость»[3]. При этом голос его поэзии звучал непререкаемо, как голос власть имеющего. Александр Кушнер, всегда чутко откликавшийся на поэзию Бродского, писал: «Я смотрел на поэта и думал: счастье, что он пишет стихи, а не правит Римом...»

Высокую авторитетность поэтическому голосу Бродского придавала гениальность. Если кому-то это заявление покажется пустым или тавтологическим, то это оттого, что понятие «гениальности» затрепано бездумным, развратным употреблением. Между тем оно имеет вполне конкретное значение, связанное с однокоренным словом «генетика». Усиленная по сравнению с нормой витальность благодаря редкой комбинации генетического материала проявляется во всем – в глубине переживаний, силе воображения, харизматичности и даже физиологически, в ускорении процессов взросления и старения.

Гениальность невозможно определить научно, хотя такие попытки и делались[4]. Даже если ученые могут описать определенные психофизиологические характеристики, свойственные особо выдающимся художникам, сами по себе они еще не являются гарантией творческих достижений. Человек, ими обладающий, может быть великим поэтом, а может быть и городским сумасшедшим. Признание гениальности, талантливости, одаренности – вопрос мнений. Мне, скажем, самой лучшей представляется аксиология, предложенная Цветаевой в статье «Искусство при свете совести»: «Большой поэт. Великий поэт. Высокий поэт. Большим поэтом может быть всякий

– большой поэт. Для большого поэта достаточно большого поэтического дара. Для великого самого большого дара – мало, нужен равноценный дар личности: ума, души, воли и устремления этого целого к определенной цели, то есть устроение этого целого. Высоким же поэтом может быть и совсем небольшой поэт, носитель самого скромного дара… силой только внутренней ценности добивающийся у нас признания поэта»[5]. Цветаевский «великий поэт» и есть гений. «Гений: высшая степень подверженности наитию – раз, управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности. Высшая – страдательности и высшая – действенности. Дать себя уничтожить вплоть до последнего какого-то атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет – мир»[6].

Гениальность не является личной заслугой, так как она по определению врожденное качество или, говоря старинным поэтическим языком, «дар». Мы чтим поэта не за то, что он родился не таким, как мы, а за ту волю, которую он приложил к своему дару. Бродский имел право гордиться тем, что он свой дар «не зарыл, не пропил» («Разговор с небожителем», *КПЭ)*. Объяснить феномен гениальности невозможно. Как сказала о великих поэтах Ахматова: «Про это / Лучше их рассказали стихи». У нас речь пойдет не о тайне личности Бродского, а о мире, в котором он жил и который так или иначе отразился в его стихах.

Мир Бродского: предварительные замечания

Если бы мы не знали его стихов, а только его высказывания о поэзии, у нас возникло бы абсолютно превратное представление о том, какие стихи пишет Бродский.

Ни с кем из поэтов старшего поколения не был он так близок, как с Ахматовой, старшим другом и ментором. Но между его и ахматовской поэзией и поэтикой нет ничего общего. Напротив, черты родства и сходства мы находим с теми, от кого он был отделен или временем – Державин, Баратынский, или географией и культурой – У. Х. Оден, или политикой – Маяковский.

В извечном для русской культуры противостоянии Москвы и Петербурга он считал себя и был – по воспитанию, характеру и вкусам – типичным петербуржцем. «Тем не менее, – писал Сергей Аверинцев, – слишком очевидно, что силовой напор его стиха, взрывчатость его рифм, наступательность его анжамбеманов *(enjambements),* вообще весь тонус его поэзии имеют несравненно больше общего с москвичкой Цветаевой, чем с какими-либо петербургскими образцами (включая даже Мандельштама)». Правда, Аверинцев добавляет: «Но питерская черта – железная последовательность, с которой Бродский воспринимал любую парадигму, хотя бы и совсем не питерскую»[7].

В то время, когда откровенно поставленные метафизические темы казались окончательно устарелыми, Бродский только ими и занимался. Рассуждая о поэзии, он настаивал на недоговоренности, нейтральности тона, особенно ценил сдержанность в выражении чувств. Все это опровергалось его собственными стихами. В то время, когда русский стих тяготел к малой форме, к поэтике намека и недосказанности, его стихотворения длинны, порой длиннее поэм у иных авторов. Иногда кажется, что он не в силах остановиться, пока не выговорит до конца названия всех вещей, попавших в поле поэтического зрения и слуха. Перечни вещей, явлений живого мира, словечек и фразочек уличной речи кажутся исчерпывающими уже в ранней «Большой элегии Джону Донну», и, спустя десятилетие, в «Осеннем крике ястреба», в «Зимней» и «Летней» элегиях, и в «Представлении», написанном еще через двенадцать лет. У нас нет конкордансов к сочинениям всех крупных русских поэтов, но можно предположить, что Бродский здесь словесный чемпион. Неполный словарь его поэзии состоит из 19 650 отдельных слов. Для сравнения – в словаре Ахматовой

чуть более 7 тысяч слов[8]. Такое богатство словаря говорит о жадном интересе к вещному миру. Только в первой части «Эклоги летней» *(У)*23 ботанических наименования там, где иной поэт сказал бы: трава. Оно говорит также о любви, вернее, страсти к родному языку. «Припадаю к народу, припадаю к великой реке. / Пью великую речь...» – писал молодой Бродский в архангельской деревне («Народ», *СНВВС)*. Речь он черпал из любых источников, «потому что искусство поэзии требует слов» («Конец прекрасной эпохи», *КПЭ),* — из советской газеты, из блатной и лабухской фени, из старинных книг и научного дискурса. Чего в его словаре почти совсем нет, это словотворчества, неологизмов. Нет зауми, за исключением нескольких пародийных моментов.

Его строфический, то есть по существу ритмико-синтаксический, репертуар является богатейшим в русской поэзии[9], но все это богатство – вариации на основе метрики и строфики поэзии классики и модернизма. Авангардных экспериментов в этой области у него нет. Верлибры весьма редки. Связь с традицией подчеркивается еще и поистине бесконечным числом открытых и скрытых цитат, намеков на другие тексты, пародий.

Впрочем, не все архаизмы у Бродского цитатны или пародийны. Муза для него – живое понятие. Мне не раз приходилось слышать удивленные или неодобрительные замечания по поводу того, что его поэзия несовременна. В дни суда над Бродским один бесталанный советский поэт, недурной человек, с удивлением сказал мне: «Дали прочитать его стихи, они какие-то... архаичные». Он думал, что Бродского преследуют за авангардизм в духе Андрея Вознесенского или, того пуще, Виктора Сосноры. И, лет пятнадцать спустя, от американского литератора: «Теперь так не пишут». И на мой вопрос: «Как – *так!»* — «Ну, Муза там, Аполлон...»

О пользе поэзии

«Poetry makes nothing happen» – известный афоризм Уистана Хью Одена из-за его лаконичной простоты трудно перевести: «Поэзия последствий не имеет», «Ничего в результате поэзии не происходит», даже просто «Ничего поэзия не делает!» (если произнести с досадливой интонацией) – всё будут приблизительно верные переводы[10]. У Одена это вырвалось в марте 1939 года, после почти десятилетних попыток изменить мир с помощью поэзии. Мир оставался жесток, несправедлив и стремительно катился к новой тотальной войне. Придя к отрицанию общественной пользы поэзии, Оден бесполезного призвания все же не бросил до конца своих дней. «Если поэзия и была для него когда-нибудь вопросом амбиций, он прожил достаточно долго, чтобы она стала просто способом существования. Отсюда его независимость, здравомыслие, уравновешенность, ирония, отстраненность, словом, мудрость»[11], – пишет Бродский, избравший Одена в менторы наряду с Ахматовой. Уже после Второй мировой войны Оден говорил, что все стихи в мире не спасли от газовой камеры хотя бы одного еврея. Бродский не настаивает на общественной полезности или гуманитарной миссии поэзии, но указывает на ее другую функцию – спасение душевного здоровья: «Читать [Одена] – это один из, а, возможно, единственный способ почувствовать себя человеком достойным»[12].

Можно обладать чувством собственного достоинства, не читая никаких стихов. Да и читать стихи можно по-разному. Можно прочитать два-три, даже одно стихотворение поэта, и прочитанный текст вступит во взаимодействие с нашим собственным эмоциональным и культурным опытом, войдет в нашу память и, поскольку искусство по определению есть создание форм для репрезентации чувств, будет помогать нам разбираться в нашей душевной жизни. В старину это называлось сентиментальным воспитанием. Стоявший у истоков русской поэзии Карамзин в «Послании к женщинам» (1795) так и определил роль поэта: «Он [...] верно переводит / Всё темное в сердцах на ясный нам язык...» Естественно, чем шире мы знакомимся с творчеством поэта, тем богаче становится наш эмоциональный мир, не говоря уж о том, что чтение стихов доставляет нам радость. Мы испытываем наслаждение от лингвистического богатства текста, от гармонического совершенства, от остроумия и, нередко, от пережитого катарсиса. Всегда интимно обращенное только к индивидуальному читателю

или, как сказал бы Бродский, к «гипотетическому alter ego» автора, лирическое творчество поэта опосредованно влияет и на общество в целом.

Можно читать и по-другому – не отдельные стихотворения, а поэта в целом. В идеале каждый поэт заслуживает быть прочитанным от корки до корки – от детских опытов до оставшихся неоконченными черновиков. Только при таком знакомстве читатель получил бы от поэта все, что поэт может ему дать. Этот идеал практически труднодостижим, а книги, подобные предлагаемой вашему вниманию, являются компактным вариантом полного знакомства. Здесь пропущенные звенья, приглушенные переклички текстов, пассажи, тесно связанные со временем, местом, обстоятельствами создания стихотворения, в какой-то мере восполняются и объясняются усилиями комментатора. Простодушно, но верно озаглавил свои комментарии к собранию сочинений Державина в 1866 году Я. К. Грот: «Объяснения на сочинения [...] относительно темных мест, в них находящихся, собственных имен, иносказаний и двусмысленных речений, которых подлинная мысль автору токмо известна [...] и анекдоты, во время их сотворения случившиеся». Мои «объяснения на сочинения» Иосифа Бродского состоят из данного очерка и публикуемых отдельно примечаний к стихотворениям.

Возможно ли жизнеописание поэта?

Хотя нижеследующая первая глава начинается словами: «Иосиф Александрович Бродский родился...» – предлагаемый очерк не биография, а литературная биография поэта. Биограф превращает сведения о жизни и творчестве своего героя в связное повествование, с началом и концом, выделением главного и пропуском менее существенного. В нарративе (повествовании) хронологическая последовательность предполагает причинно-следственную связь: это произошло, потому что раньше произошло вот это. Бродский был категорическим противником превращения своей, вообще любой человеческой жизни в нарратив, в подобие романа девятнадцатого века. На собственный риторический вопрос: «Что сказать мне о жизни?» – отвечал: «Что оказалась длинной», то есть отказывал жизни в структурированности. В этом стихотворении, написанном в день своего сорокалетия, он перечисляет моменты прожитой жизни, и в их последовательности нет логики, одно не вытекает из другого:

> Я входил вместо дикого зверя в клетку,
> выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
> жил у моря, играл в рулетку,
> обедал черт знает с кем во фраке.

(«Я входил вместо дикого зверя в клетку...» У)

Жизнь слишком непредсказуема и абсурдна, чтобы ее можно было превратить в нарратив. Единственной литературной формой адекватной жизни является лирическое стихотворение, всегда многозначное и суггестивное. Поэтому Бродский всегда настаивал на том, чтобы о нем судили не по биографии, а по стихам.

Свои стихи он долго считал самодостаточными и не нуждающимися в объяснениях критиков. Сохранилось немало его высказываний на этот счет, подчас весьма ядовитых. Однако в конце жизни он стал допускать необходимость комментария для «молодых читателей»[13]. Стихи создаются в истории, и многие явно или скрыто присутствующие в тексте исторические реалии со временем неизбежно начинают нуждаться в пояснении.

Еще более скептически, чем о комментировании стихов, Бродский высказывался о жизнеописаниях поэтов. Принципиально его позиция сводилась к тому, что у зрелого

поэта не жизненный опыт и бытие влияют на стихи, а, наоборот, стихи могут влиять на бытие или создаваться безотносительно к непосредственному жизненному опыту, «параллельно». Еще в детстве его осенила крамольная в условиях марксистского идеологического режима идея: «Изречение Маркса „Бытие определяет сознание“ верно лишь до тех пор, пока сознание не овладело искусством отчуждения; далее сознание живет самостоятельно и может как регулировать, так и игнорировать бытие»[14]. Автономия искусства была одним из доказательств этой более общей идеи[15].

Бродский не хотел, чтобы стихи рассматривались как непосредственная реакция на жизненные перипетии. Но жизнеописание поэта не обязательно объясняет стихи. Оно может говорить о взаимоотношениях его творчества с культурой его времени, не о том, «что хотел сказать автор своим произведением», а о том, как разнообразно реагировало общество на его произведения, об историческом процессе, в котором он вольно или невольно участвовал. Здесь мы не полемизируем с Бродским, поскольку биографизм такого рода он молчаливо принимал, что подтверждается его статьями и очерками о поэтах. О Цветаевой, Одене, Вергилии, Кавафисе, Рильке, Монтале он писал, усердно пользуясь биографическими трудами.

Биографическая канва выстроена в предлагаемом труде преимущественно на основе воспоминаний и высказываний самого Бродского, которые по мере необходимости дополняются фактами из других источников. В основном же это обозрение не частной жизни поэта, а его жизни и поэзии в отношении к эпохе, ее литературе, культуре и философии, *biographia literaria.*

Может быть, мне и не следовало писать эту книгу. Более тридцати лет ее герой был моим близким другом, а отсутствие дистанции не способствует трезвому подходу. И уж точно, Иосиф не одобрил бы эту затею. Но и не запретил бы. Сказал бы, как он говорил в таких случаях, пожимая плечами: «Ну, если тебе это интересно...» Интересно мне было в течение нескольких лет писать комментарии к его стихотворениям. Когда с комментариями было покончено, оказалось, что сопроводить их связным текстом, очерчивающим жизненный фон стихов, не только интересно, но и необходимо.

Лев Лосев 15 декабря 2005 г.

Глава I
Петербуржец

Родина Бродского

Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде, в клинике профессора Тура на Выборгской стороне[16]. В православном календаре 24 мая празднуются дни святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской грамоты, но выросший в ассимилированной еврейской семье поэт узнал об этом, только будучи взрослым, когда он уже и так давно связал свою судьбу с «милой кириллицей». В стихах он вспоминал порой о том, что рожден под созвездием Близнецов (по представлениям астрологов, это предвещает склонность к «глубокому дуализму и гармонической двусмысленности»), но в быту чаще повторял народную поговорку: «В мае родиться – век маяться».

Петербург – самый северный из больших городов мира. Бродский всю жизнь боялся жары, летом его тянуло в северные края – с соснами, гранитом, мхом, серым небом и серой водой. Жить ему всегда хотелось в городе у большой реки или моря.

Когда началась война и отец ушел в армию, мать с годовалым сыном переехала из квартиры отца на углу Обводного канала и проспекта Газа (Старо-Петергофского) поближе к своей родне, в дом за Спасо-Преображенским собором. Там Бродские жили до 1955 года[17]. Когда Иосиф был уже подростком, переехали через площадь наискосок в «дом Мурузи». Большой доходный дом, изукрашенный в «мавританском» стиле, был построен по проекту архитектора А. К. Серебрякова для князя А. Д. Мурузи в 1874–1877 годах на участке, некогда принадлежавшем Н. П. Резанову, известному в русской истории своим роковым плаванием в Калифорнию в 1803 году. С 1890 года и до революции владельцем дома был генерал-лейтенант Рейн[18]. Бродский жил в описанных им позднее «полутора комнатах» до отъезда из России в 1972 году. Там же до конца своих дней оставались его родители. Из окна своей комнаты Иосиф с детства видел Спасо-Преображенский собор – сначала прямо перед окном, а после переезда в дом Мурузи, если посмотреть направо.

Выстроенный по проекту Земцова и Трезини в середине восемнадцатого века и перестроенный Стасовым в 1827–1829 годах, Спасо-Преображенский собор при советской власти оставался одним из немногих действующих храмов в Ленинграде. «Все детство я смотрел на его купола и кресты, на звонаря, на крестные ходы, на Пасхи, на заупокойные службы – сквозь окна, на факелы, на венки и жезлы центурионов, обильно украшавшие его белые стены, на легкий классический бордюр его карнизов», – вспоминал Бродский[19]. В садике у собора мать и дедушка учили

его кататься на велосипеде. Ограда садика сделана из пушечных стволов, захваченных у турок в ходе победоносной войны 1828–1829 годов на Балканах[20]. Стволы соединены толстыми чугунными цепями, «на которых самозабвенно раскачивались дети, наслаждаясь как опасностью свалиться на железные острия прутьев внизу [sic], так и скрежетом. Стоит ли говорить, что это было строго запрещено и церковный сторож постоянно прогонял нас. Надо ли объяснять, что ограда казалась гораздо интереснее, чем внутренность собора с его запахом ладана и куда более статичной деятельностью. „Видишь их? – спрашивает отец, указывая на тяжелые звенья цепи. – Что они напоминают тебе?“ Я второклассник, и я говорю: „Они похожи на восьмерки“. – „Правильно, – говорит он. – А ты знаешь, символом чего является восьмерка?“ – „Змеи?“ – „Почти. Это символ бесконечности“. – „Что это – бесконечность?“ – „Об этом спроси лучше там“, – говорит отец с усмешкой, пальцем показывая на собор»[21].

В Преображенскую площадь, на которой вырос и жил Иосиф, упирается Пантелеймоновская (Пестеля) улица. Начинается она от Фонтанки у Летнего сада, от моста с перилами, украшенными щитами Персея с ликом горгоны Медузы. В детской книжке Корней Чуковский пересказывал историю Персея. Вид Медузы с копной шевелящихся змей вместо волос был так страшен, что люди превращались в камень, едва взглянув на нее. Но Персей был не только храбр, но и хитёр. Он заставил Медузу взглянуть на ее собственное отражение в отполированном, как зеркало, щите. Мифы читаются в детстве как сказки: интересно, весело, страшно. С возрастом человек обнаруживает, что на самом деле мифы объясняют жизнь, подсказывают, что таится под ее поверхностью. «...На одном мосту чугунный лик Горгоны / казался в тех краях мне самым честным ликом» («Пятая годовщина», *У),* — будет вспоминать Бродский много лет спустя далеко от родного города[22]. К тому времени он уже будет писателем, и мотив бесстрашного зеркала, «зеркала Стендаля», станет постоянным в его стихах и прозе. К тому времени он уже будет знать, что другой петербургский поэт называл прекрасный город «болотной медузой»:

> И плоть медузы облекла
> Тяжеловесная порфира[23].

Но в раннем детстве все воспринимается как единственно возможный порядок вещей, и если на фасадах и перилах самого северного из больших европейских городов можно прочесть мифы Греции и Рима, то так оно и должно быть. Также не вызывает

вопросов, почему христианский храм окружен стволами смертоносных пушек.

Если принять Преображенскую площадь за центр, то внутри круга, описываемого радиусом получасовой прогулки, оказываются Летний сад, Инженерный замок, Эрмитаж, Таврический сад, Смольный монастырь и почти все места, связанные со значительными событиями жизни Бродского – школы, где он учился, дома, где жили друзья, Дом писателей на Шпалерной, место его поэтических триумфов и источник интриг против него. А за Литейным мостом место его первой работы, завод «Арсенал», и второй – областная больница. Там же тюрьма «Кресты», где он сидел в 1964 году. Совсем рядом с домом, в двух кварталах, внутренняя тюрьма ленинградского управления Комитета госбезопасности, где он провел два дня после второго ареста в 1962 году. Еще ближе сам «Большой дом», откуда за поэтом шпионили.

Этот ареал даже в Петербурге выделяется богатством своей культурной истории. Родной была Пантелеймоновская улица и ее окружение. В доме № 5 на Пантелеймоновской, где жил друг Бродского поэт Владимир Уфлянд, в 1833–1834 годах снимал квартиру Пушкин. Бродский цитировал[24] из письма Пушкина жене: «Летний сад – мой огород. Я вставши ото сна иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем. Читаю и пишу. Я в нем дома».

В доме на углу Пантелеймоновской и Литейного, где Бродский прожил две трети своей российской жизни, до него квартировали А. А. Пушкин, старший сын поэта, и Н. С. Лесков (в 1879 году). З. Н. Гиппиус с Д. С. Мережковским и Д. В. Философовым жили там с 1899 до 1913 года. В их квартире собиралось Религиозно-философское общество, у них часто бывал Блок, останавливался, приезжая из Москвы, Андрей Белый. В 1919 году в этом доме помещалась литературная студия при издательстве «Всемирная литература» под руководством К. И. Чуковского, где читали лекции Н. С. Гумилев и Е. И. Замятин, а среди слушателей были молодые поэты-акмеисты и писатели, называвшие себя «серапионовыми братьями». В 1920 году студию сменил клуб «Дом поэтов» под председательством сначала Блока, а потом Гумилева. Здесь 21 октября 1920 года читал новые стихи Мандельштам, о чем есть заинтересованная запись в дневнике Блока. Здесь же собирался и знаменитый гумилевский Цех поэтов[25]. Это непустовавшее «свято место» было некогда отмечено Достоевским: «Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, в сторону Спаса Преображения...» Там, где вскоре вырастет дом Мурузи,

разворачиваются важные события романа «Идиот». Как писал поэт-символист В. А. Пяст, тоже одно время живший в доме Мурузи:

Домов обтесанный гранит
Людских преданий не хранит.
Но в нем *иные* существа
Свои оставили слова.

Бродский не придавал слишком большого значения совпадению своего места жительства с местом, столь памятным в истории русской литературы. Факты и даты из истории своего дома он знал неточно. Полагал, что в доме Мурузи снимал квартиру Блок. Он неоднократно бывал там, у Мережковских, а после революции – в студии и клубе поэтов, но не жил. «И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка выкрикивала оскорбления революционным матросам»[26]. Картина выразительная, но такого быть не могло: Мережковские съехали до революции, в 1913 году, да и жили они в другой части дома.

Дотошным знатоком петербургской истории Бродский не был, но город был для него населен призраками петербургской литературы.

...я снова вижу в Петербурге
фигуру вечную твою[27].

Это обращение к главному герою петербургского мифа, пушкинскому Евгению, в юношеской поэме «Петербургский роман». Стихи в поэме еще неумелые, многие сравнения, метафоры, эпитеты вычурны и невнятны, и приходится догадываться, что хочет сказать двадцатилетний поэт трехэтажными родительными падежами:

Река и улица вдохнули
любовь в потертые дома,
в тома дневной литературы
догадок вечного ума, —

и в следующей строфе, озадачивающей отсутствием глагола:

Гоним, но все-таки не изгнан,

один – сквозь тарахтящий век
вдоль водостоков и карнизов
живой и мертвый человек[28].

Очевидно, он хочет выразить восторг по поводу открытия: писатель давно умер, а его персонаж, гонимый бедный Евгений, в нашем воображении жив. Для любящего этот город, петербургские дома и тома петербургской литературы – одно. Друг без друга они лишены смысла. Только через два года Бродский прочтет по-настоящему сильные стихи на ту же тему – «Петербургские строфы» Мандельштама. К тому времени он и сам будет уже куда свободнее владеть стихом.

Бродский сравнительно поздно заинтересовался поэзией. Он начал сочинять лет в семнадцать. Ему было уже за двадцать, когда в его стихах стали проявляться признаки оригинальности, но после этого мастерство он набирал очень быстро. «Шествие», длинная поэма («мистерия»), написанная через несколько месяцев после «Петербургского романа» и тоже полная еще непроясненных юношеских волнений, представляет ту же тему значительно отчетливее – по осенним ленинградским улицам бредут князь Мышкин из Достоевского, Арлекин и Коломбина из Блока, Крысолов, скорее из Александра Грина, чем из Цветаевой.

К тому времени эти вечные персонажи уже лет тридцать как были изгнаны из круга дозволенного чтения вместе с лирическими мотивами и философскими темами петербургской литературы от Достоевского до Серебряного века: город как лабиринт, в котором заблудился потерявший Бога человек; призрачность города; город как воплощение мирового зла. Разрыв с петербургской традицией случился, как известно, не столько в результате литературной эволюции, сколько из-за того, что литературная эволюция была прервана революцией и полицейскими мерами большевистского режима. Свободное развитие высокой культуры в России было полностью прекращено в середине двадцатых годов, и первое послесталинское поколение воспринимало предшествующие тридцать лет как зияющий провал в отечественной истории, отчего естественно стремилось восстановить связь времен. Молодой Бродский делал это, скорее всего, интуитивно. Подлинное значение того, что он делал, было очевиднее со стороны, людям старшего поколения. Ахматова читала «Петербургский роман» «внимательно и долго, неоднократно возвращаясь к уже прочитанным страницам»[29]. В Париже литературный критик В. В. Вейдле завершил большой очерк «Петербургская поэтика», посвященный Гумилеву и другим

поэтам Серебряного века, неожиданным пассажем о Бродском: «Я знаю: он родился в сороковом году; он помнить не может. И все-таки, читая его, я каждый раз думаю: нет, он помнит, он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург двадцать первого года, тысяча девятьсот двадцать первого лета Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где Гумилева не могли похоронить»[30].

Родители

В советской социальной структуре семья Бродских была средней, относилась к категории «служащих». Александр Иванович Бродский (1903–1984) работал фоторепортером, Мария Моисеевна Вольперт (1905–1983) – бухгалтером. Иосиф был их поздним и единственным ребенком. Видимо, дался он матери нелегко, и поэтому она рожала не в обычном роддоме, а в специализированной клинике.

Материальные условия были «как у всех». Жили тесно, втроем в шестнадцатиметровой комнате, потом в другой коммунальной квартире чуть просторнее – родители в проходной комнате побольше, сын в передней части маленькой комнаты, а сзади, за шкафом, отец проявлял и печатал свои фотографии. Комнаты были тесно заставлены старой разностильной мебелью. Одежду тоже носили старую, она постоянно чинилась и перешивалась[31]. Голодать семье не приходилось, но денег постоянно не хватало, заработки родителей были невелики («…дома, сколько я себя помню, не прекращались денежные раздоры»[32]). Первые годы жизни Иосифа приходятся на время лишений – война и скудные послевоенные годы вплоть до 1948-го. Он был слишком мал, чтобы запомнить ужасы ленинградской блокады, но, как и большинство сверстников, в детстве знал только бедный, едва над уровнем голода, быт.

Родители Бродского не принадлежали к интеллигентной элите города, кругу ученых и писателей, но были не чужды культурных интересов: постоянно читали книги, слушали классическую музыку, изредка ходили в театр[33]. Оба в детстве получили хорошее образование. Речь их была грамотна, свободна от диалектных примесей, словарь богат. Александр Иванович, сын владельца небольшой типографии в Петербурге, закончил географический факультет ленинградского университета. Мария Моисеевна родилась в Двинске (Даугавпилс в современной Латвии) в семье прибалтийского агента американской фирмы швейных машин «Зингер». Большую часть детства провела в Литве, под Шяуляем. Для прибалтийских среднебуржуазных семей было характерно двуязычие, Мария Моисеевна с детства владела немецким[34]. Языкам Иосифа, однако, дома не учили. Как он догадывался позднее, родители старались, по возможности, скрыть свое «буржуазное происхождение», одним из признаков которого было знание иностранных языков[35]. Хотя сами родители Иосифа не пострадали от сталинского террора, они были осторожны в высказываниях. Семейное предание в

нормальных условиях рано входит в сознание ребенка и в значительной степени обусловливает самоопределение, но Бродскому оно досталось отрывочно. Позднее он мог лишь фантазировать по поводу своих предков в Литве и в Галиции, куда уходили его корни, судя по фамилии, происходящей от города Броды. В шестнадцатиметровом семейном пространстве Бродскому запомнились знаки социальной мимикрии: черный гипсовый бюст Ленина на печке, в менее опасные времена уступивший место мраморному бюсту «какой-то женщины в чепце с воланами, какие часто бывают в комиссионках»[36], и фотография Сталина над его кроватью, очевидно, призванная намекнуть случайному посетителю, в чью честь мальчику дано имя.

Первые впечатления (война)

Первые смутные воспоминания Иосифа связаны с Череповцом (Вологодская область), куда он был эвакуирован с матерью после первой блокадной зимы, 21 апреля 1942 года. «Я помню спуск в нашу полуподвальную квартирку [на ул. Ленина]. Три или четыре белых ступеньки ведут из прихожей в кухню. Я еще не успеваю спуститься, как бабушка подает мне только что испеченную булочку – птичку с изюминкой в глазу. У нее немного подгоревшие крылышки, но там, где должны быть перышки, тесто светлее. Справа стол, на котором катается тесто, слева печка. Между ними и лежит путь в комнатку, где мы все жили: дедушка, бабушка [родители матери. – *Л. Л.],* мама и я. Моя кроватка стояла у той же стены, что и печь в кухне. Напротив – мамина кровать и над ней окошко, выходящее, как и в кухне, на улицу. <…> Хозяев я совсем не помню. Был только их сын – Шурка, которого я из-за своей дикции звал Хунка»[37].

С годами дефекты речи исправились, осталась только картавость, но в силу особенностей голосового аппарата произношению Бродского была свойственна назальность; если он и не произносил «н» вместо «р», как в младенчестве, то этот назальный призвук часто звучал в его речи на словоразделах, на какие бы звуки они ни приходились. Это особенно усиливалось при декламации. Н. Я. Мандельштам писала: «В формировании звука у него деятельное участие принимает нос. Такого я не замечала ни у кого на свете: ноздри вытягиваются, раздуваются, устраивают различные выкрутасы, окрашивая носовым признаком каждый гласный и каждый согласный. Это не человек, а духовой оркестр…»[38]

В эвакуации Иосиф с матерью провели всего около года. К череповецким впечатлениям, запомнившимся на всю жизнь, относятся и страшные. Мать, благодаря знанию немецкого, устроилась работать в лагерь для военнопленных. «Несколько раз она брала меня с собой в лагерь. Мы садились с мамой в переполненную лодку, и какой-то старик в плаще греб. Вода была вровень с бортами, народу было очень много. Помню, в первый раз я даже спросил: „Мама, а скоро мы будем тонуть?“»[39] Другое страшное воспоминание связано с вокзалом в Череповце, когда пришло время возвращаться в Ленинград: «Тогда же все рвались назад, теплушки были битком набиты, хоть в Ленинград пускали по пропускам. Люди ехали на крыше, на сцепке, на всяких выступах. Я очень хорошо помню: белые облака на голубом небе над красной теплушкой, увешанной народом в выцветших

желтоватых ватниках, бабы в платках. Вагон движется, а за ним, хромая, бежит старик. На бегу он сдергивает треух и видно, какой он лысый; он тянет руки к вагону, уже цепляется за что-то, но тут какая-то баба, перегнувшись через перекладину, схватила чайник и поливает ему лысину кипятком. Я вижу пар»[40].

Врожденные особенности

Можно только гадать о том, насколько ранние страшные впечатления и то, что он до восьми лет рос без отца (А. И. Бродский служил в армии с 1941 по 1948 год), отразились на психике мальчика. Отношения с вернувшимся из армии отцом были неровные: Александр Иванович мог подолгу гулять с сыном, вести с ним серьезные беседы, иногда защищать от несправедливых школьных учителей, но мог в порыве гнева и схватиться за ремень[41]. «Я плохо учился, и это очень раздражало отца, чего он никогда не скрывал. Родители столько ругали меня, что я получил закалку против такого рода воздействий»[42] Впоследствии в эссе «Полторы комнаты», в стихах «Дождь в августе» и «Памяти отца: Австралия» воспоминания о жизни с родителями окрасились в ностальгические тона, стали выстраиваться в поэтический миф собственного детства. Но молодому Иосифу казалось, что жизнь отца лишена духовного содержания. В неоконченном стихотворном портрете отца, «Фотограф среди кораблей» («Из неопубликованного»), он описывает шестидесятилетнего мужчину, «чья речь уже давным-давно чуждается любых глубин душевных». Но этот фрагмент обозначает и перелом в отношениях с отцом, первую попытку повзрослевшего сына не бунтовать против отца, а понять его. Писал «Фотографа» Бродский в кризисном шестьдесят четвертом году. Тогда Александр Иванович не только бросился на спасение сына, но и в некоем встречном душевном движении начал воспринимать его литературные занятия как нечто серьезное и заслуживающее уважения.

Стоит помнить, что отец обучил Иосифа своему ремеслу – фотографии. В житейском смысле это пригодилось мало. Ради заработка Бродский сделал пару фоторепортажей для ленинградских детских журналов, а потом пытался подрабатывать фотографией в ссылке. Но то, что его глаз натренирован видоискателем «лейки», несомненно, чувствуется в стихах.

Вероятно, наследственные факторы сыграли свою роль в том, что Бродский был с детства, и в особенности в молодые годы, чрезмерно впечатлителен, часто не выдерживал конфликтных и даже просто повышенно эмоциональных житейских ситуаций – от переизбытка чувств мог вскочить и убежать из дому просто в разгар семейного праздника. Сам он простодушно говорил о таких моментах: «Психика садится». Он был подвержен фобиям – в частности, боялся одиночества. Этот страх и внутренняя борьба

с ним с большой силой самонаблюдения описаны в стихотворении «В горчичном лесу» *(CHBBC))*. Возмужав, он любил цитировать, слегка изменив, Акутагаву Рюноскэ: «У меня нет убеждений, у меня есть только нервы»[43], – признавая за собой черты психопатической (или, в терминологии психоанализа, «невротической») личности. Как известно, именно такой тип личности психологи считают связанным с артистическим дарованием. На окружающих в юности и, насколько можно судить по формальным школьным характеристикам, в детстве Иосиф производил впечатление человека неуравновешенного и легко ранимого, как говорится, с тонкой кожей. Последнему впечатлению способствовал и его внешний облик: подобно многим рыжеватым евреям-ашкенази, он был действительно «тонкокож», то есть капилляры были расположены очень неглубоко и от этого белокожее, с бледными веснушками лицо часто вспыхивало краской. С годами он выработал навыки самодисциплины, проявлял завидное мужество перед лицом смертельной болезни, но и в молодые годы, в действительно критических ситуациях, как, например, на суде в 1964 году, он находил в себе ресурсы самообладания. Моральная стойкость в ответственные моменты и огромная работоспособность, способность доводить до конца и совершенства большие художественные проекты говорят о характере значительно более сложном, чем классический тип «неуравновешенного невротика». Волевым выбором поведения он преодолевал биологическую предопределенность.

Город как средство воспитания

Сознательная жизнь Бродского начиналась в послевоенном Ленинграде. В мемуарном очерке он писал: «Если кто и извлек выгоду из войны, то это мы – ее дети. Помимо того, что мы выжили, мы приобрели богатый материал для романтических фантазий»[44]. Романтические фантазии раннего детства питались рассказами отца, который за восемь лет успел повоевать на фронтах Второй мировой от Румынии до Шанхая, книжками и вездесущими радиопередачами о героических подвигах русской армии и флота и, не в последнюю очередь, самим городом. О войне на каждом шагу напоминали руины домов, разрушенных бомбежками и артобстрелами, а о ее победном конце говорили не только триумфальные фейерверки, но и отряды военнопленных, работавших на разборке руин и восстановлении домов.

> Помню рабочих бледных.
> Помню прожектора и пленных.
> Всплески ракет победных[45].

В нескольких минутах ходьбы от дома Бродских, в Соляном городке, находился Музей обороны Ленинграда, где были выставлены образцы советской и немецкой военной техники вплоть до тяжелой артиллерии, танков и самолетов. Решающие битвы изображались на диорамах с манекенами атакующих и павших солдат на переднем плане в натуральную величину[46]. Отец по возвращении из Китая два года заведовал фотолабораторией в Военно-морском музее. Девяти-десятилетний Иосиф пользовался привилегией бродить по музею после закрытия: «Едва ли что-либо мне нравилось в жизни больше, чем те гладко выбритые адмиралы в анфас и в профиль – в золоченых рамах, которые неясно вырисовывались сквозь лес мачт на моделях судов, стремящихся к натуральной величине»[47]. Живое ощущение только что закончившейся войны и победы сливалось с имперскими мифами так же, как на улицах города следы недавней войны были неотделимы от обильной в Петербурге ампирной символики. Из окна своей комнаты мальчик видел ограду Спасо-Преображенского собора, сделанную из трофейных пушек, а на другом конце улицы Пестеля (Пантелеймоновской) стояла Пантелеймоновская церковь, построенная в честь победы русского флота при Гангуте. Мечи, копья, дротики, секиры, щиты, шлемы, дикторские фасции с топориками украшали

Пантелеймоновский мост через Фонтанку, как и многие другие ограды и фасады бывшей столицы империи. Неоклассицистический архитектурный декор способствовал не только воспитанию патриотического чувства. «Надо сказать, что из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги»[48]. Первые представления о женской наготе были получены от мраморных статуй в Летнем саду, так же как эстетические идеи более абстрактного порядка – симметрия, правильная перспектива, соразмерность частей и целого – от неоклассицистической архитектуры. Так в еще не вполне сознательных мечтаниях ребенка выстраивался мифический образ идеальной родины – империи, чья слава и могущество невероятным образом отделены от насилия и смерти, где жизнь основана на началах соразмерности, гармонии. Ни в коем случае нельзя ставить знак равенства, как это делали некоторые критики[49], между этой приватной утопией и исторической Российской империей. О последней в детстве Бродский не задумывался, а в зрелом возрасте относился к любому, в том числе российскому, империализму и милитаризму с недвусмысленным презрением. Эмблемой воображаемой империи он видел синий, «морской», Андреевский крест на белом поле, а не византийскую «двуглавую подлую имперскую птицу или полумасонский серп и молот»[50]. Именно конфликт между выпестованным с детских лет утопическим видением идеального государства и безобразием преждевременно одряхлевшей советской империи и определяет внутреннюю драму таких вещей, как «Anno Domini», «Post aetatem nostram», «Мрамор» и некоторых других.

Себя в идеальной империи он воображал летающим или пересекающим океаны на кораблях. Детскую мечту стать летчиком Бродский попытался осуществить в Америке, но после первых уроков в летной школе выяснилось, что его вестибулярный аппарат не приспособлен к управлению самолетом. От этой типичной для ребенка сороковых годов мечты остались интерес к моторной авиации и теплые воспоминания о книгах писателя-летчика Антуана де Сент-Экзюпери «Ночной полет» и «Земля людей»[51]. Мечты о флоте разбились, когда ему отказали в приеме в морское училище. Штурвал корабля и штурвал самолета оказались недоступны, но сюжеты и метафоры полета и мореплавания постоянны в творчестве Бродского.

Город, в котором пробуждалось и воспитывалось сознание Бродского, изобиловал руинами. Ленинград был сильно разрушен немецкими бомбежками и артобстрелами. До конца сороковых годов обрушенные здания со странно обнажившимися интерьерами бывшего человеческого жилья можно было встретить на каждом шагу. В центральной части города развалины иногда были прикрыты фанерными экранами с нарисованными на них фасадами. Замысел городских властей состоял в том, чтобы намекнуть уцелевшим жителям опустошенного голодом и войной города на возвращение к нормальности, но эффект от этих декораций был скорее иной – улицы напоминали пустынную театральную сцену[52]. Легендарное проклятие царицы Авдотьи Лопухиной: «Быть Петербургу пусту!» – сбывалось в двадцатом веке. Население Петербурга поредело от голода и эпидемий в годы Гражданской войны, затем в период террора с середины тридцатых годов (в первую очередь уничтожению подлежала культурная элита) и, наконец, в годы страшной блокады. Физическое разрушение города тоже началось в Гражданскую войну, и хотя исторический облик Петербурга не подвергся столь тотальному варварскому уничтожению по планам социалистического строительства, как облик старой Москвы, но над ним зато поработала Вторая мировая. В 1944–1945 годах трава прорастала между плитами старых петербургских тротуаров из силурийского известняка. В конце войны в городе можно было увидеть огороды рядом с разрушенными или уцелевшими дворцами классической архитектуры. Тем, кто видел это в детстве, потом странно знакомыми казались ведуты Пиранези или других художников восемнадцатого века с изображением козопасов среди римских руин.

Петр I задумал Петербург как подлинно «Третий Рим», но историческая аналогия, прочно вошедшая в сознание петербургской интеллигенции двадцатого века, была иная – Александрия[53]. Когда Мандельштам в стихотворении «Петербургские строфы» (1913) говорил об «александрийском сумраке», царящем в городе на Неве, у его читателя возникал уже устойчивый комплекс ассоциаций: город утонченной культуры, причудливо соединившей эллинизм и христианство, великолепный классический город, выстроенный на краю восточного мира, город с лучшей в мире библиотекой, ожидающий вторжения варваров, которые непременно эту библиотеку сожгут.

Если современным мифом Петербурга перед Первой мировой войной был эсхатологический миф, в котором город представал новой обреченной Александрией[54], то уцелевшим после войны

петербуржцам пришлось столкнуться с новой реальностью: варвары пришли, вокруг руины, мы живем «после нашей эры». Именно таков сюжет одного из любимых романов Бродского – «Козлиной песни» Вагинова, и этот сюжет будет многообразно варьироваться в его собственном творчестве[55]. Он проявится в условной античности поэмы «Post aetatem nostram» *(КПЭ),* стихотворения «Театральное» *(ПСН),* пьесы «Мрамор», в стихотворении «Развивая Платона» *(У)* и других вещах, в которых будущее представлено как «вечно возвращающееся» (Ницше) прошлое, как постоянно возвращающееся варварство. Этот сюжет очевиден не только в очерке, посвященном Константину Кавафису, замечательному новогреческому поэту, который жил в Александрии двадцатого века и писал об Александрии эллинистической – он сквозит и в эссе, посвященном родному городу Бродского, Петербургу («Путеводитель по переименованному городу»). В эссе о Кавафисе («Песнь маятника») Бродский писал: «За исключением шести-семи не связанных между собой стихотворений, „реальный“ город не появляется непосредственно в 220 канонических стихотворениях Кавафиса. Первыми выступают „метафорический“ и мифический города. <…> Утопическая мысль, даже если, как в случае Кавафиса, обращается к прошлому, обычно подразумевает непереносимость настоящего»[56]. Это вполне можно отнести и к поэзии Бродского, изменив только число «канонических» стихотворений. Наверное, не будет слишком смелым предположить, что ранние впечатления от разрушенного города предопределили утверждение элегии как центрального жанра в его творчестве (см. об этом в следующей главе).

В школе

Как полагалось, Бродский пошел в школу семи лет, в 1947 году, но бросил учение уже в 1955-м. Советская школа никогда не была нацелена на *образование* в точном смысле этого слова, а то был едва ли не худший период в ее истории. Обучение по унифицированной программе для всей огромной страны было основано на зазубривании; о том, чтобы вырабатывать в детях навыки самостоятельного аналитического и критического мышления, развивать эстетическое чувство, не было и помину. В лучшем случае школа учила чтению, письму, счету и давала запас элементарных сведений в области естествознания и точных наук. Преподавание истории и литературы было полностью подчинено задаче идеологической индоктринации будущих советских граждан. Учебники по истории, литературе и даже географии были написаны суконным языком и напичканы пропагандой. По программе полагалось изучение одного иностранного языка, но языки преподавали по скверным учебникам и методикам, в слишком больших классах, слишком мало часов в неделю, и практически никто не оканчивал среднюю школу с умением читать и хотя бы элементарно объясняться на иностранном языке[57]. Большинство учителей были перегруженными работой, низкооплачиваемыми, нервными людьми. Чувство собственного достоинства в детях подавлялось. Было принято прилюдно стыдить, распекать, унижать ребенка за то, что он плохо понял урок, за шалость, или, в летнем лагере, за обмоченную простыню. К этому прибавлялись идеологическая обработка и то же прилюдное поношение за проступки в октябрятской и пионерской организациях (до комсомольского возраста Бродский в школе не удержался).

С 1944 до 1954 года обучение в средней школе, в больших городах, было раздельное. В мужских школах царил грубый нездоровый эротизм. «В пуританской атмосфере сталинской России можно было возбудиться от совершенно невинного соцреалистического полотна под названием „Прием в комсомол“, широко репродуцируемого и украшавшего чуть ли не каждую классную комнату. Среди персонажей на этой картине была молодая блондинка, которая сидела, закинув ногу на ногу так, что заголились пять-шесть сантиметров ляжки. И не столько сама эта ляжка, сколько контраст ее с темно-коричневым платьем сводил меня с ума и преследовал в сновиденьях»[58]. Физически Иосиф развивался рано и быстро (так же, как катастрофически быстро он начал стареть после сорока). Судя по его

воспоминаниям, к моменту ухода из школы относится и первый сексуальный опыт. Он вспоминал: «Заведенные в школе порядки вызывали у меня недоверие. Все во мне бунтовало против них. Я держался особняком, был скорее наблюдателем, чем участником»[59]. Вероятно, одной из причин его преждевременного ухода из школы было и то, что в пятнадцать лет он чувствовал себя взрослее сверстников.

За восемь с четвертью школьных лет Бродский сменил пять школ. Первые три года он отучился по соседству с домом, на улице Салтыкова-Щедрина (Кирочной) в школе № 203. Школа занимала здание дореволюционной немецкой женской гимназии Анненшуле рядом с протестантской церковью (кирхой – отсюда название улицы) Святой Анны, где в советское время разместился кинотеатр «Спартак». С четвертого по шестой класс он учился в школе № 196 на Моховой, а в седьмом – в школе № 181 в Соляном переулке. Нелады со школой начались довольно рано. В характеристике, выданной Иосифу при переводе в пятый класс, классный руководитель писал: «По своему характеру мальчик упрямый, настойчивый, ленивый. Домашнее задание выполняет письменно очень плохо, а то и совсем не выполняет, грубый, на уроках шалит, мешает проведению уроков. Тетради имеет неряшливые, грязные с надписями и рисунками. Способный, может быть отличником, но не старается». При переводе в шестой характеристика несколько более благожелательная: «Мальчик способный, развитой, много читает, вспыльчив. В течение года не работал систематически по английскому языку и арифметике, получил экзамены на осень. Пионер, общественную работу выполнял добросовестно, охотно». Еще лучше пошли дела в шестом классе: «Мальчик хорошо рисует, много читает, исполнительный, правдивый, развитой, но вспыльчив. По сравнению с прошлым годом изменился в лучшую сторону. Общественные поручения выполняет добросовестно и охотно. Принимал участие в оформлении отрядной стенгазеты. Пионер, дисциплина отличная». Это был последний момент в жизни Бродского, когда, как кажется, он мог уладить отношения со школой и той общественной системой, воспитательным орудием которой школа являлась. В седьмом классе он получил четыре двойки в годовой ведомости – три по точным предметам и четвертую по английскому языку – и был оставлен на второй год. Этот второй год в седьмом классе он отучился в школе № 286 на Обводном канале, а в восьмой класс пошел в школу № 289 на Нарвском проспекте[60].

Городские окраины

«Особой зловещей тихостью и особой нищенской живописностью полн Обводный канал...» – писал один из любимых петербургских писателей Бродского[61]. За Обводным каналом начинался город, совсем непохожий на Пантелеймоновскую улицу и ее окружение. Здесь сохранялось ощущение нищей индустриальной окраины. Новый район, Автово, за Нарвской заставой еще только начинали строить. Екатерингофский парк неподалеку от 289-й школы был запущен и пользовался дурной репутацией. Речку Таракановку местные мальчишки называли Провоняловкой и говорили, что там плавают скелеты с блокадных времен. Таинственные, заброшенные места, близость залива с островами Гутуевским и Вольным, «на котором был яхт-клуб, и там канонерская лодка стояла, по которой я лазил»[62]. Городские окраины с их бедными домами, почернелыми от копоти заводскими корпусами, замусоренной полосой отчуждения вдоль железнодорожного полотна в модернистских элегиях двадцатого века заменили заглохшие парки, руины и сельские погосты поэзии прошлого. Мир индустриальных городских задворок, мир безрадостной встречи цивилизации и природы волновал Бродского, начиная с первых поэтических опытов, еще до того, как он начал всерьез читать Блока, до того, как он прочел Элиота, Одена, Милоша, познакомился с графикой Валлоттона, Мазереля, Добужинского. В 1961–1962 годах, когда он особенно увлекался джазом, Бродский несколько раз пытался сочинять стихотворение как джазовую импровизацию; при этом темами для вариаций всегда служили впечатления от индустриальных окраин:

> Я – сын предместья, сын предместья, сын предместья,
> в проволочной колыбели отсыревших коридоров дверь, адрес,
> трамвайный звон, грохот, стук, звон, каменные панели, подошвы,
> невесты
> вдоль окрашенных заборов, трава вдоль каналов, нефтяное пятно, свет
> фабрик...[63]

В «Русской готике», начало которой процитировано, можно узнать перекресток Старо-Петергофского проспекта и Обводного

канала, с его заросшими сорной травой берегами и грязной замазученной водой («буксиры по темной каше»). Бродский и вправду сын этого «предместья», поскольку там прошел первый год его жизни, по соседству с большими старыми заводами – «Металлистом» и отравлявшим округу запахом резины «Красным треугольником» (не отсюда ли последняя строка «Русской готики»: «о кларнет зари, возноси над предместьем треугольники жизни»?).

Образованность Бродского

Несмотря на свои двойки, в том числе и по английскому (у того, кому предстояло стать признанным мастером английской эссеистики), Бродский неплохо усвоил школьный запас знаний. В первую очередь это относится, конечно, к превосходному пониманию русской грамматики. Как свидетельствуют его юношеские рукописи и письма, писал он не только свободно, выразительно, с хорошим чувством композиции, но и очень грамотно. Некоторые устойчивые отступления от правил, как, например, написание *-ьи* вместо нормативного *-ье* в предложном падеже единственного числа существительных типа «существованье», употребление глагола *суть* с подлежащим в единственном числе или отказ от пользования вопросительным знаком, носили обдуманный, принципиальный характер. Он глубоко вдумывался в родной язык. Сохранилось письмо, которое он написал в 1963 году по поводу предлагавшейся реформы правописания. Молодой человек без формального образования объяснял ученым лингвистам-реформаторам, что унификация правописания во многих случаях приводит к обеднению психологии говорящего: «Сложность языка является не пороком, а – и это прежде всего – свидетельством духовного богатства создавшего его народа. И целью реформ должны быть поиски средств, позволяющих полнее и быстрее овладевать этим богатством, а вовсе не упрощения, которые, по сути дела, являются обкрадыванием языка»[64].

Хорошее знание истории, в особенности классической античности, и географии Бродский получил более из самостоятельного чтения, чем из школьных уроков. В целом школа отложилась в памяти как источник скуки и других неприятных ощущений. Годы спустя он написал лирическое стихотворение, где воспоминание следует за расписанием уроков одного школьного дня в шестом классе: древняя история, физкультура, затем, возможно, русский язык, физика и геометрия:

> Темно-синее утро в заиндевевшей раме
> напоминает улицу с горящими фонарями,
> ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,
> толчею в раздевалке в восточном конце Европы.
> Там звучит «Ганнибал» из худого мешка на стуле,
> сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре;
> что до черной доски, от которой мороз по коже,

так и осталась черной. И сзади тоже.
Дребезжащий звонок серебристый иней
преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий
все оказалось правдой и в кость оделось;
неохота вставать. Никогда не хотелось.

(ЧР)

В раздевалке толчея, учитель истории похож на худой мешок, в спортзале воняет немытым телом, от классной доски мороз по коже, электрический звонок в физическом опыте дребезжит – все школьные впечатления неприятны. Возможно, самым важным для будущей жизни опытом школьных лет стал как раз волевой акт ухода. Бросить школу, выломиться таким образом из системы, было поступком необычным, радикальным. Вопреки официальному прославлению рабочего класса, детям повседневно вдалбливалась мысль, что без высшего или среднего образования они обречены на прозябание в подножии социальной пирамиды. В школе и в семьях подросткам постоянно грозили; «Не кончишь школу – будешь грузчиком!» (или дворником, заводским рабочим, колхозником). Для городского подростка из среднекультурной семьи уход из школы означал превращение в не такого, как все, хуже других, изгоя.

Уйдя из школы почти сразу по достижении того возраста, когда это позволялось законом, Бродский еще пытался продолжить формальное образование – записался в вечернюю школу[65], посещал вольнослушателем лекции в университете. Однако то, что в конце концов он стал широко и в некоторых областях знания глубоко образованным человеком, объясняется только его неустанным самообразованием. Еще в молодые годы он самоучкой в совершенстве овладел английским и польским, позднее читал со словарем латинские, итальянские и французские тексты, а в последние годы жизни начал изучать китайский язык. В юности вместе с учившимися в университете друзьями он проштудировал основы языкознания по классической «Философии грамматики [Linguistica]» Йенса Есперсена, занимался историей философии, европейской и восточной, много читал по пушкинской эпохе, пользуясь, в частности, профессиональной библиотекой покойного пушкиниста Б. В. Томашевского. Всю жизнь он не расставался с лучшей из всех российских энциклопедий, «Энциклопедическим словарем» издательства Брокгауза и Ефрона, к которой в Америке прибавилась «Encyclopedia Britannica». Судя по всему, он особенно внимательно читал в «Брокгаузе» замечательные статьи В. С.

Соловьева по истории философии и религии. Сам Бродский полушутя говорил, что приобретает знания «by osmosis» (осмотически). К этому виду самообразования следует отнестись серьезно. Среди его близких друзей были выдающиеся лингвисты, литературоведы, историки искусства, композиторы, музыканты, физики и биологи, а Бродский был известен своей способностью дотошно расспрашивать знатоков об интересующих его предметах. Близко знавший Бродского А. Я. Сергеев пишет: «Иосиф страшно много ловил из воздуха. Он с жадностью хватал каждый новый item [англ.; здесь: сведение] и старался его оприходовать, усвоить в стихах. Можно сказать, ничего не пропадало даром, все утилизировалось – с невероятной, ошеломляющей ловкостью»[66].

Недостаток систематического образования сказывался у Бродского не столько в том, что в его познаниях были пробелы – их он по мере надобности заполнял, сколько в отсутствии навыков дисциплинированного мышления. Мыслить для него означало выстраивать цепочку силлогизмов, не заботясь о поверке каждого очередного звена эмпирикой и без критического анализа. Скажем, основная тема его нобелевской лекции может быть сведена к логической цепочке: искусство делает человека личностью, стало быть, эстетика выше этики; высшей формой эстетической практики является поэзия, стало быть, поэтическое творчество есть окончательная цель человечества как вида. В интеллектуальном дискурсе каждая стадия этого размышления может быть оспорена и требует доказательств: действительно ли искусство было орудием индивидуации первобытного человека? Существует ли иерархия видов творчества и если да, то в чем преимущество поэзии перед философией, драмой или музыкой? Есть ли вообще у человечества как вида «цель»? Примерно с таких позиций Бродскому и задавали вопросы после его выступления в Шведской академии наук. И действительно, если бы он предлагал философский трактат, его можно было бы обвинить в нефундированных высказываниях, в подмене терминов и прочих прегрешениях, характерных для дилетантов-самоучек. Но «формально-логические» построения, нередко встречающиеся в стихах и в прозе Бродского, суть не более, чем поэтические приемы – стилизации и пародии, его «силлогизмы» – зачастую парадоксы, выведенные не дедуктивным и не индуктивным, а интуитивным путем.

> В эпоху тренья
> скорость света есть скорость зренья;
> даже тогда, когда света нет, —

пишет он в заключение «Лагуны» *(ЧР)*. Бродский выводит пародийный закон физики («скорость света есть А при условии Б») для того, чтобы придать характер неоспоримой истины субъективному метафизическому опыту человека, вброшенного в незнакомую среду. Перенос качества с одного на другое – метафора, мышление по аналогии, слишком рискованно в рациональном мышлении, но является основой художественного творчества. В позднем творчестве Бродский иногда гротескно обнажает эту основу искусства – мышление по аналогии: некоторые лежанки называются «софа» и некоторых женщин зовут «Софа», у лежанки есть ножки и у женщины они есть, «стало быть», софа и Софа – одно и то же, «кентавр» («Кентавры», *ПСН)*.

Бродский как еврей

Бродский родился и рос в тот период советской истории, когда антисемитизм стал почти официальной политикой правительства и одновременно оживился и распространился среди городского населения. В особенности недоверие, притеснения по службе почувствовали евреи вроде отца Бродского – офицеры, инженеры, управленцы среднего уровня, преподаватели вузов, журналисты[67]. Знание о том, что он принадлежит к числу тех, чьи возможности в жизни заметно ограничены по сравнению с окружающим большинством, было впитано Иосифом с молоком матери и с ранних лет подкреплялось бытовым антисемитизмом, распространенным среди его сверстников. «В школе быть „евреем“ означало постоянную готовность защищаться. Меня называли „жидом“. Я лез с кулаками. Я довольно болезненно реагировал на подобные шутки, воспринимая их как личное оскорбление. Они меня задевали, потому что я – еврей. Теперь я не нахожу в этом ничего оскорбительного, но понимание этого пришло позже»[68]. Однако из всей суммы автобиографических высказываний Бродского в стихах, прозе и в ответах интервьюерам выясняется, что во взрослой жизни он сравнительно мало страдал от антисемитизма. Отчасти это объясняется тем, что, уйдя из школы в пятнадцать лет, Бродский никогда не стремился к карьере, в которой он мог бы наткнуться на обычные рогатки – ограничения для евреев при поступлении в высшие учебные заведения и в продвижении по службе. В еще большей степени это объясняется рано выработанным чувством личной независимости: он уже в юности взял для себя за правило не унижаться до конфликта с государственным режимом и социальным строем, скрепленными примитивной идеологией, в которой антисемитизм был лишь одной из многих составляющих. Официальная советская идеология теоретически определяла национальность (точнее, этничность) в рамках либеральной традиции – общностью языка, культуры, территории, – правда, опуская такой важный фактор, как самоидентификация. Однако реальная национальная политика правительства, равно как и предрассудки значительной части населения, имела основой древний миф «крови и почвы». Отсюда – жестокая сталинская политика частично кровавого истребления, частично выкорчевывания, лишения родной «почвы» целых народов – чеченцев, ингушей, крымских татар и т. д. Отсюда же, казалось бы, неожиданная в устах наследников коммунистического интернационала риторика «борьбы с

космополитизмом» в период гонений на евреев в 1948–1953 годах.

В языковом и культурном отношении Бродский был русским, а что касается самоидентификации, то в зрелые годы он свел ее к лапидарной формуле, которую неоднократно использовал: «Я – еврей, русский поэт и американский гражданин»[69]. По складу характера он был крайним индивидуалистом, по этическим убеждениям персоналистом, его отталкивали любые ассоциации по расовому или этническому принципу. Бродский рассказывал мне, как в один из дней после ареста зимой 1964 года его вызвал на допрос следователь Ш., еврей по национальности. То ли в роли «доброго мента», то ли по собственному почину он стал уговаривать «тунеядца» покаяться, пообещать исправиться и т. п. «Подумайте о своих родителях, – сказал Ш., – ведь *наши* родители – это не то, что *их* родители». Бродский вспоминал об этом эпизоде с отвращением. Сионизм его не интересовал, и он индифферентно относился к Израилю как государству. Хотя формально, как и все евреи, покидавшие Советский Союз в семидесятые годы, он эмигрировал в Израиль, фактически он даже не рассматривал поселение в Израиле как возможный для себя вариант. Бродский высоко ценил культуру нации, к которой он присоединился – правосознание американцев, американскую литературу, музыку, кино, – но в не меньшей степени комфортабельно он чувствовал себя в Англии, в странах Северной Европы и в Италии, где подолгу жил и работал, где у него были многочисленные дружеские, а под конец жизни и семейные связи. Иными словами, в культурном отношении Бродский был прямым наследником космополитической, ориентированной на Запад русской интеллигенции. Собственно еврейский элемент в культурном кругозоре Бродского присутствовал настолько, насколько он входит в западную цивилизацию, то есть как усвоенный христианским Западом Ветхий Завет. Характерно, что в пространной религиозно-философской медитации, поэме «Исаак и Авраам» (1964), хотя и содержатся иносказательные намеки на трагическую судьбу еврейского народа в диаспоре и Холокост, но основной сюжет, жертвоприношение Авраама, очевидно трактуется сквозь призму интерпретаций этого библейского эпизода в трудах христианского экзистенциалиста Кьеркегора и отошедшего от иудаизма русского философа Льва Шестова.

Шимон Маркиш, многолетний товарищ Бродского и литературовед, занимавшийся проблемой еврейской идентичности внутри русской культуры, о своем друге писал: «Смею полагать, что в этой уникальной поэтической личности

еврейской грани не было вовсе. Еврейской темы, еврейского „материала“ поэт Иосиф Бродский не знает – этот „материал“ ему чужой»[70].

В отличие от таких его предшественников в русской поэзии, как Осип Мандельштам и Борис Пастернак, ассимилированных евреев в первом или втором поколении, у Бродского уже прадед после многолетней службы в царской армии получил право жить вне черты оседлости, завел свое дело, часовую мастерскую в Москве, и, по существу, отдалился от еврейской среды[71]. Отец Бродского получил в детстве лишь минимальное еврейское религиозное образование. Почти вся жизнь родителей поэта, кроме ранних детских лет, пришлась на советское время. В этот период сотни тысяч советских евреев погибли от рук нацистов, а религиозно-общинная жизнь была разгромлена еще раньше в ходе советской антирелигиозной кампании. Если некоторые провинциальные еврейские семьи в какой-то степени пытались сохранить традиционный образ жизни, то в Москве и Ленинграде быт подавляющего большинства граждан еврейского происхождения ничем не отличался от быта их нееврейских сограждан внутри той же социальной группы. Ни иудаизм, ни еврейский фольклор, ни повседневный уклад еврейской жизни с детства Бродскому не были знакомы. Он не знал древнееврейского и лишь изредка мог слышать в разговорах родственников отдельные идишизмы, запас которых остроумно использовал в стихотворении «Два часа в резервуаре» (1965) как пародийный «немецкий» язык.

За исключением «Исаака и Авраама», поэмы, лишь отчасти связанной с еврейской проблематикой, во всем обширном поэтическом наследии Бродского есть всего два стихотворения на еврейские темы. Первое, «Еврейское кладбище около Ленинграда...» (1958), написано юным Бродским как явное подражание популярному в самиздате стихотворению поэта старшего поколения Бориса Слуцкого «Про евреев» («Евреи хлеба не сеют...»). Сам Бродский никогда не включал «Еврейское кладбище...» в свои сборники. Второе, «Леиклос» (название улицы в бывшем еврейском гетто в Вильнюсе), входит в цикл «Литовский дивертисмент» (1971) и представляет собой фантазию на тему альтернативной судьбы: Бродский в нем как бы подставляет себя на место некоего виленского предка.

Здесь надо упомянуть еще и ностальгическую симпатию Бродского к ушедшему миру центральноевропейской культуры. Она проявлялась в его любви к польскому языку и польской поэзии, к романам из австро-венгерской жизни Роберта Музиля и Йозефа Рота, даже к голливудской сентиментальной мелодраме

«Майерлинг» о двойном самоубийстве эрцгерцога Рудольфа и его возлюбленной – баронессы Марии Вечера. Южным форпостом этой исчезнувшей цивилизации был, «в глубине Адриатики дикой», Триест, одно время резиденция другого австрийского эрцгерцога – Максимилиана, которому Бродский посвятил два стихотворения «Мексиканского дивертисмента». Северо-восточным – описанный Йозефом Ротом в «Марше Радецкого» галицийский городок Броды на границе Австро-Венгерской и Российской империй. Мотив этой прародины лишь подспудно звучит в нескольких стихотворениях Бродского («Холмы», «Эклога 5-я (летняя)», «На независимость Украины»), и лишь однажды он сказал об этом вслух, в интервью польскому журналисту: «[Польша —] это страна, к которой – хотя, может быть, глупо так говорить – я испытываю чувства, может быть, даже более сильные, чем к России. Это может быть связано... не знаю, очевидно что-то подсознательное, ведь, в конце концов, мои предки, они все оттуда – это ведь Броды – отсюда фамилия...»[72] Из этого сбивчивого высказывания становится ясно, что он ощущал этимологию своего имени: «Иосиф из Брод».

Осознание себя евреем было у Бродского связано не с внешним давлением, а, как политически некорректно это ни звучит, с антропологическими признаками. В одном из самых откровенных рассуждений на эту тему, интервью, данном старому другу, известному польскому журналисту Адаму Михнику, всего за год до смерти, Бродский говорит: «В вопросе антисемитизма следует быть очень осторожным. Антисемитизм – это, по сути, одна из форм расизма. А ведь все мы в какой-то степени расисты. Какие-то лица нам не нравятся. Какой-то тип красоты». Далее на вопрос «Тебя воспитывали как еврея или как русского?» он не отвечает, а вместо этого говорит об идентификации по физическому (антропологическому) признаку: «Когда меня спрашивали про мою национальность, я, разумеется, отвечал, что я еврей. Но это случалось крайне редко. Меня и спрашивать не надо, я "р" не выговариваю»[73]. Разделяя распространенное мнение о том, что в силу наследственных особенностей многие русскоговорящие евреи произносят увулярное «р» вместо русского палатального «р», равно как и то, что многие из них обладают орлиным профилем, Бродский как носитель этих признаков ощущает себя евреем (правда, в силу общей «снижающей» тенденции в его метафорике он превращает «орлиные» черты в «вороньи»: например, в стихотворении «Послесловие к басне»). Однако, вопреки всем мыслимым ортодоксиям, он заявляет, что его еврейство включает в себя и нечто более существенное. С редкой даже для него прямотой он говорит об этом в том же

интервью: «Я еврей. Стопроцентный. Нельзя быть больше евреем, чем я. Папа, мама – ни малейших сомнений. Без всякой примеси. Но я думаю, не только потому я еврей. Я знаю, что в моих взглядах присутствует некий абсолютизм. Что до религии, то если бы я для себя сформулировал понятие Наивысшего существа, то сказал бы, что Бог – это насилие. А именно таков Бог Ветхого Завета. Я это чувствую довольно сильно. Именно чувствую, без всяких тому доказательств»[74].

Глава II
Разнорабочий

Первые работы

Попытка поступить во Второе Балтийское училище и стать моряком-подводником закончилась неудачей. Бродский полагал, что его не приняли, потому что он еврей. В неполные шестнадцать лет он ушел из школы и поступил учеником фрезеровщика на завод № 671, известный в городе под своим старым откровенным названием «Арсенал». На заводе он проработал около полугода. Годы юности прошли в чередовании периодов, по нескольку месяцев каждый, когда Бродский работал – помощником прозектора в морге областной больницы, кочегаром в бане, матросом на маяке, рабочим в геологических экспедициях – и периодами поисков работы, которая давала бы возможность заниматься самообразованием и литературой. За исключением работы в прозекторской, куда шестнадцатилетний Иосиф пошел, полагая таким образом подготовиться к медицинскому институту, остальные его службы требовали неквалифицированного физического труда: бросать уголь в топку, сколачивать ящики, копать ямы, таскать груз. В те годы он производил впечатление здорового молодого парня. Случайный знакомец рассказывает: «Бродский тогда был здоровый рыжий парень, конопатый, вот с такими плечами, все как надо»[75]. А. Я. Сергеев в начале своих записок «О Бродском» пишет: «Открываю дверь, вижу: стоит ражий рыжий парень. Широкоплечий, здоровенный...»[76] Вероятно, однако, что он уже страдал наследственной болезнью сердца. В семье это стали замечать после его возвращения из Средней Азии в 1960 году, а в 1962 году он получил освобождение от военной службы «по ст. 8 "в", 30 "в" (неврозы, заболевание сердца)»[77].

От первой, заводской, работы остались воспоминания о бестолковой организации труда, пьянстве и лодырничанье рабочих[78]. Каждый день надо было вставать чуть свет и ехать в битком набитом автобусе на завод, где предстояло провести день то в бесконечных перекурах и разговорах о футболе, то в лихорадочной «штурмовой» работе. Скука и бессмыслица такого существования отразились в не таких уж шутливых «Рубаи»:

> В автобусе утром я еду туда,
> где ждет меня страшная рожа труда.
> [...] в конце ноября, в темень, слякоть и грязь,
> спросонья в нем едут, вахтеров боясь,
> угрюмые толпы с гнилыми зубами.
> Полощется ветер, злорадно смеясь.

(CHBBC)

В экспедициях

Значительно более соответствующей характеру и умонастроению юного Иосифа, чем работа на заводе, была, начиная с лета 1957 года, сезонная работа в геологических экспедициях – на севере Архангельской области, на Дальнем Востоке, в Якутии и в степи к северо-востоку от Каспия[79]. Выбор тяжелой ненормированной работы в тундре, в тайге, в степи, вместо упорядоченной рутины восьмичасового рабочего дня, был, как сказали бы в более позднюю эпоху, «знаковым». «Работа в геологических партиях освобождала молодого человека от бюрократического надзора и контроля, он оказывался в мире природы, в замкнутом товариществе»[80]. К тому же работа в экспедициях удовлетворяла романтическую Wanderlust (страсть к путешествиям). И после Сталина изоляция России от внешнего мира продолжалась, но городским юношам предоставлялась возможность путешествовать по диким необжитым просторам внутри огромной страны. Неспроста самым заметным студенческим поэтическим кружком второй половины пятидесятых годов в Ленинграде было литературное объединение под руководством Г. С. Семенова при Горном институте. В Горном обучали «бродячей профессии». Среди студентов-горняков были такие одаренные поэты, как Леонид Агеев, Владимир Британишский, Лидия Гладкая, Александр Городницкий, Елена Кумпан, Олег Тарутин, а позже в их объединение пришли таланты «со стороны» – Глеб Горбовский и Александр Кушнер. Первым из этой группы небольшой сборник стихов «Поиски» удалось выпустить Владимиру Британишскому. Центральное место в книге занимала «геологическая» лирика с ее мотивами дороги, преодоления физических трудностей, суровой мужской дружбы:

Мы кончили нашу работу,
Истрепав и замызгав планшеты,
Где были большие болота
Изящно изображены...

Дорога идет по реке, огибая наледи,
Не останавливаясь, проходит дальше...
Полузаметенная, полузаметная...[81]

Годы спустя Бродский говорил, что стихи Британишского были первым импульсом, побудившим его в юности взяться за

перо: «Стихи назывались „Поиски“. Это такая игра слов: геологические поиски и просто поиски – смысла жизни и всего остального. <…>… и мне показалось, что на эту же самую тему можно написать получше»[82]. Стихотворения 1957 года, открывающие Марамзинское собрание[83], – «Прощай…», «Работа», «Тост», – вполне подтверждают уроки «горняцкой» поэтики, хотя и уступают образцам в поэтическом мастерстве:

Ломись через все завалы.
Таскайся по всем болотам.
Карабкайся на перевалы.
Иди.
Такова работа[84].

В духе эпохи трудные странствия рассматривались как форма становления личности, «поиск себя». В письме школьной подруге Э. Ларионовой, написанном 7 августа 1958 года из поселка Перша-озеро на северо-востоке Архангельской области, *поиск* — ключевое слово.

«Есть на Земле люди, которые стремятся сделать будущее более сносным, нежели настоящее. Это настоящие писатели, настоящие врачи, настоящие педагоги. Настоящие – это значит – творцы. Я хотел бы стать чем-нибудь стоящим. Для этого нужно знать много вещей. Если ты собираешься творить, то необходимо усвоить себе, для кого, для чего ты это делаешь. <…> Необходимо найти фундамент, на который намерен опереться; необходимо проверить его прочность. Необходимо также найти людей, которые верят в ту же самую идею, которые помогут. Это, собственно, главное. Нужно, в общем, очень долго искать.

Я здорово сожалею, что поздно начал, как ты выражаешься, путешествовать. Эти два года, безусловно, не прошли даром. Но тот же самый результат мог быть достигнут и за более короткий промежуток времени. Я, собственно, только начинаю. Только начинаю по-настоящему заниматься делом. Я только начинаю странствовать. <…> Да, я слишком занят собственной персоной. Я раскатал тебе на полтора листа гимн своим взглядам, но я хочу, чтобы ты усвоила содержание моего ответа твердо. Ты вот пишешь да и говоришь весьма часто, что я перелетная птица, дилетант. Пойми же, Норка, это – поиск. Я жонглирую своей судьбой не ради чего-то определенного, стабильного для себя. Ну в том смысле, что я вовсе не намерен выбирать себе какую-то иерархическую лестницу и продвигаться по оной. <…> Я уже давно решил вопрос о цели. Теперь я решаю вопрос о средствах. Мне кажется, что я нахожу правильное решение. Это звучит и

глупо, и высокопарно. Но это происходит потому, что я популяризирую идею. Я хочу, чтобы ты поняла меня верно. То, что я делаю, это только поиск. Новых идей, новых образов и, главное, новых форм»[85].

Социальный статус молодого Бродского

Вспоминая экспедиции – изнурительный труд, грязь, «чудовищное количество комаров», Бродский говорил о тогдашнем себе: «Это тот возраст, когда все вбирается и абсорбируется с большой жадностью и с большой интенсивностью. И абсолютно на все, что с тобой происходит, взираешь с невероятным интересом...»[86] Его товарищ по якутской экспедиции, геолог Эдуард Блумштейн вспоминает: «Иосиф был вполне свой человек в полевых условиях, то есть он понимал, в чем состоят его обязанности как коллектора или помощника геолога. Он с уважением относился к нашему ремеслу. Он таскал рюкзак, часто тяжелый, его не тяготили бесконечные маршруты, хотя бывало рискованно и трудно. Большие реки в тайге надо было часто переходить вброд или сплавляться на лодках. Но была неслыханная рыбалка всегда и охота, обычно голодно не было. Хотя бывали периоды, когда по целым неделям приходилось есть одну тушёнку. Холодно бывало часто»[87]. И позднее, в ссылке, физическая работа – выворачивание валунов в поле, трелевка леса и прочее – не только не угнетала его, но была самой отрадной стороной тамошнего существования. Воспоминания о жизни в северной деревне характерно контрастируют с угрюмой картиной начала рабочего дня в процитированных выше «Рубаи»: «Когда я там вставал с рассветом и рано утром, часов в шесть, шел за нарядом в правление, то понимал, что в этот же самый час по всей, что называется, великой земле русской происходит то же самое: народ идет на работу. И я по праву ощущал свою принадлежность к этому народу. И это было колоссальное ощущение!»[88] Бродский был единственным крупным русским поэтом двадцатого века, кто начал свой трудовой путь как простой рабочий.

Парадоксальная сторона его конфликта с советской властью состояла в том, что власть предъявила ему стандартные обвинения богеме – в тунеядстве, в нежелании потрудиться на производстве, «повариться в рабочем котле» (была такая адская метафора в риторике официоза), хотя ему-то как раз пришлось поработать простым рабочим и даже, вероятно, в котле – в нефигуративном смысле. В неоконченном отрывке начала шестидесятых годов на это указывает весьма детальное описание отопительных котлов изнутри в неоконченном стихотворении (1963?):

В. Г. Петров, молодцеватый, лысый,

был старший инженер в Котлонадзоре.
Я подвизался [?] в этой же конторе
и состоял при В. Петрове крысой.

Мы объезжали на трамвае все
котельные – по собственной охоте.
Я забывал в субботу о субботе.
Я зрел котлы в их внутренней красе...

И был я узкоплеч, большеголов
(со всем, что было в черепной коробке),
и при таком сложении, нет слов,
(важнейший комплекс вынося за скобки),
я был большой находкой для котлов
и залезал и в зольники, и в топки[89].

На суде в 1964 году Бродского обвиняли в том, что он нигде не оставался подолгу, часто менял работы (за восемь лет, с 1956 по 1963 год, он переменил тринадцать мест работы, где в общей сложности числился 2 года 8 месяцев)[90]. Это обвинение было не юридическое, а идеологическое. Следуя букве советского закона, ничего преступного в частой смене мест работы не было. Конечно, текучесть рабочей силы была неудобна для производства. «Летуны», постоянно переходившие от одного работодателя к другому, осуждались в печати. В обвинениях молодому поэту был и такой оттенок: за несколько недель или месяцев невозможно вжиться в рабочий коллектив, проникнуться мировоззрением рабочего класса, чтобы этот опыт потом нашел правильное выражение в творчестве. Была даже негласная норма – «год-другой поработать на производстве». Эта норма не учитывала повышенной восприимчивости художественного сознания – одаренный человек тем и отличается от прочих, что обладает обостренной интуицией. На новом месте глаз художника значительно быстрее отметит характерные детали новой для него жизни, художник куда быстрее почувствует стиль поведения, подоплеку отношений между людьми, чем человек, лишенный художественного дарования. Но на самом деле обвинители Бродского подразумевали другое: его вина была не в том, что он мало работал, часто менял место работы или не вникал в жизнь трудящегося народа, а в том, что он нарушил ритуал инициации советского молодого человека. Если молодой человек начинал взрослую жизнь не в армии и не в вузе, а на производстве, предполагалось, что трудовой опыт сделает его на

всю остальную жизнь верным и полным энтузиазма строителем коммунизма. Сотни начинающих советских писателей приняли участие в этом обряде и сочинили соответствующие стихи. К примеру, юноша приходит на завод, старшие рабочие предлагают ему сделать ключ.

– Делай! —
напильник запел несмело.
– Делай! —
металл угловат,
колюч.
Рождается в муках
великое дело,
Первое
твое испытание —
ключ!
Ты слышишь:
– Парень в делах не робкий! —
Ты видишь —
ключ твой,
на завитке,
Шлифованным стеблем,
резной бородкой
Сияет у мастера на руке.

После этого указывается на символическое значение трудового акта:

Юности
ключ этот
мы подарим.
Бери его,
сделай своей судьбой.

Инициация завершается началом взрослой жизни, в которой работать на заводе уже не обязательно, можно навсегда стать профессиональным писателем:

Ступая неловко,
Шагом
ухожу навсегда.
Пахнет новенькая спецовка
Ветром свободы,

огнем труда[91].

В годы, когда формировалось его сознание, Бродский, при всех разнообразных культурных интересах, никак не относился к числу «юношей тепличных» и характерная для рафинированной интеллигенции бесконечная авторефлексия, пресловутая «оторванность от народа», снобизм остались ему чужды. Его отношение к простым людям не было ни излишне сентиментальным, ни тотально ироническим. Он во многих отношениях ощущал себя одним из них.

Круг чтения в юности

Читать Иосиф научился очень рано, едва ли не в четыре года. Мать поэта рассказывала, как в Череповце в 1943 году вошла в комнату и застала трехлетнего сына с книгой в руках. Она взяла посмотреть, что за книга. Оказалось, Ницше, «Так говорил Заратустра». Она вернула ребенку книгу, но вверх ногами. Иосиф тут же перевернул ее в правильное положение. Это было рассказано не к тому, что он в трехлетнем возрасте увлекался Ницше, а к тому, что каким-то образом получил представление о буквах. Как и все дети и подростки в стране поголовной грамотности до начала массового распространения телевидения, читал он много. В сочетании с живым от природы воображением знания, полученные из книг, позволяли юному читателю ориентироваться в странах, эпохах и культурах. Иерархии, навязываемые школьной программой, вызывали протест, рудиментом которого остались ироническое отношение ко Льву Толстому (как «главному писателю» в официальной иерархии), равнодушие к Некрасову и Чехову. Толстому Бродский противопоставлял не только горячо любимого Достоевского, не включенного в советскую школьную программу той поры, но и Тургенева. У Тургенева он любил «Записки охотника», в особенности рассказы «Гамлет Щигровского уезда», «Чертопханов и Недопюскин» и «Конец Чертопханова». Тень детского иконоборчества лежит на отношении Бродского к Пушкину, хотя центральную роль Пушкина в русской культуре он никогда не оспаривал. «В школе мы читали „Горе от ума“ и „Евгения Онегина“ в лицах. <…> Для меня это было большое удовольствие. Одно из самых симпатичных воспоминаний о школьных годах»[92]. Последнее написанное им в жизни письмо посвящено рассуждению о пушкинской прозе[93]. Он знал наизусть много стихотворений Пушкина и всего «Медного всадника». О строке из «Воспоминания»: «И с отвращением читая жизнь мою…» – говорил, что из нее вышли Достоевский и вся русская проза. И все же Бродскому всегда хотелось скорректировать традиционное русское преклонение перед Пушкиным указанием на других прекрасных поэтов той же плеяды – Батюшкова, Вяземского, Катенина и в первую очередь Баратынского. Он знал и любил поэзию XVIII века – от Кантемира и Тредиаковского до Державина и Карамзина. Были у него и пристрастия во втором ряду русской литературы XIX века – например роман Вельтмана «Странник» и мемуары Елены Штакеншнейдер.

После русской и мировой, то есть в основном западноевропейской, классики, впервые прочитанной бессистемно в детстве и подростковом возрасте, основной круг чтения молодого Бродского составляла литература периода модернизма, главным образом переводная, интерес к которой среди молодежи во второй половине пятидесятых годов был очень велик. Это поколение жадно наверстывало упущенное за десятилетие жестокой культурной изоляции в конце сталинского правления. Передавались из рук в руки уцелевшие от чисток казенных и домашних библиотек книги: изданные до революции труды Ницше, Бергсона, Фрейда и вышедшие в СССР до войны романы Олдоса Хаксли, Джона Дос Пассоса, Луи Фердинанда Селина, ранние романы и сборники рассказов Хемингуэя, «Волшебная гора» Томаса Манна, эпопея Пруста, поэтические антологии «Французские лирики XIX и XX веков» в переводах Бенедикта Лившица[94], «Поэты Америки. XX век» Михаила Зенкевича и Ивана Кашкина, «Антология новой английской поэзии» Д. С. Мирского[95], номера журнала «Интернациональная литература» с главами из «Улисса». Выход этого журнала под русифицированным названием «Иностранная литература» возобновился в 1955 году. В нем, наряду с прозой, печаталась и переводная поэзия, которая привлекала особое внимание юного Бродского. Многие его стихи ученического периода написаны верлибром, весьма редким в русской поэзии, но обычным на страницах «Иностранной литературы». Русская модернистская проза (Белый, Замятин, Бабель, Пильняк) была для него неприемлема стилистически, а в случае Розанова и этически. Существенными исключениями были вновь открытый как раз в то время Андрей Платонов – его Бродский считал одним из главных писателей двадцатого века – и Зощенко. Несколько позднее он узнал и высоко оценил прозу Леонида Добычина, Анатолия Мариенгофа (роман «Циники») и в особенности Константина Вагинова. Уже начиная с осени 1961 года у него появилась возможность знакомиться с труднодоступными произведениями русских писателей-эмигрантов в библиотеке самиздата, собранной молодым ученым С. С. Шульцем (фотокопии, машинописные перепечатки книг и отдельных вещей из парижского журнала «Современные записки»). Там были все русские романы Набокова, проза и стихи Цветаевой, Ходасевича, Г. Иванова. В библиотеке Шульца были также переводы пьес Беккета, Ануя, проза Кафки[96].

Может показаться странным, но знакомство с высоким модернизмом в русской поэзии (Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Хлебников, обэриуты) началось для Бродского не в

юном возрасте, когда складываются литературные вкусы, а позже, в первой половине шестидесятых годов, когда он уже был активно пишущим поэтом. Исключение составляла Цветаева, чьи поэмы – «Поэма горы», «Поэма конца», «Крысолов» – он прочел в самиздатских перепечатках в самом начале шестидесятых. Цветаева сразу же произвела на него сильное впечатление и на всю жизнь осталась для него поэтом par excellence[97].

Польские веяния

Еще в большей степени, чем из «Иностранной литературы», сведения о новейших интеллектуальных и эстетических веяниях на Западе добывались из польской периодики и книг на польском языке. В отличие от западных, «капиталистических», изданий польские, «народно-демократические», свободно продавались в СССР. На польские журналы можно было подписаться. «Наверное, половину современной западной литературы я прочитал по-польски...»[98] – вспоминал Бродский, который ради чтения Камю и Кафки выучил польский язык. Как и его многие ленинградские друзья, он был постоянным читателем польского еженедельника «Przekrój» («Обозрение»). Это было странное, с точки зрения нормальной журналистики, издание – интеллектуальный, с уклоном в авангардизм, журнал, притворявшийся бульварным. Там печатались заметки о разводах европейских и голливудских кинозвезд и рецепты средств от похмелья, но в то же время в рецензиях и репортажах постоянно сообщалось о новых веяниях в философии (экзистенциалистской) и искусстве (главным образом абсурдистском). Натыкаясь у Бродского в стихотворении «Набросок» на строки «Луна сверкает, зренье муча. / Под ней, как мозг отдельный, – туча...», старый читатель «Пшекруя» непременно вспомнит сюрреалистические гравюры Даниэля Мруза (Mróz), неоднократно изображавшего ночной пейзаж с большой тучей в виде человеческого мозга. В целом стиль художников и авторов «Пшекруя», ориентированный на авангард пятидесятых-шестидесятых годов в диапазоне от трагического абсурдизма Беккета до психоделической лирики «Битлз», нашел отклик во многих вещах Бродского.

Но особенно важным для формирования собственного стиля было знакомство с польской поэзией. Это была поэзия на родственном славянском языке, но глубже и органичнее связанная с европейской традицией вплоть до ее латинских корней. В ней был мощный период барокко, системы мировидения, очень привлекавшей Бродского. Россия опоздала с барокко лет на сто, хотя Бродский и открывал барочные элементы у Кантемира, Тредиаковского и Державина. Он переводил поэтов польского барокко XVI века – Рея, Семп-Шажиньского и, возможно, Кохановского. Они подготовили его к восприятию Джона Донна и других английских поэтов-метафизиков. Переводил он и великого романтика Циприана Норвида, предвосхитившего Цветаеву не только темпераментом и трагическим воображением, но и в экстатической поэтике –

ритмически необычном стихе, изобилующем смелыми эллипсисами. Переводил своих старших современников, польских модернистов Галчинского, Херберта, Милоша. С последним, как и с более молодыми Виктором Ворошильским, Анджеем Дравичем и Адамом Загаевским, он впоследствии подружился. Любовь к польской поэзии, к Польше осталась на всю жизнь и оказалась взаимной. Поляки переводили Бродского еще при коммунизме. В 1979 году в подпольном издательстве NOW вышли его «Стихи и поэмы», великолепно переведенные Станиславом Бараньчаком. Ведущий литературный журнал «Zeszyty literackie» («Литературные тетради») со своего основания в 1983 году до 1996-го печатал переводы из Бродского в двадцати восьми номерах из пятидесяти пяти. Всего при жизни Бродского в Польше было издано пятнадцать книг его прозы и поэзии, то есть больше, чем на любом другом языке, включая родной. Профессор-психолог Зофья Ратайчак (Капущинская), с которой Бродский познакомился в бытность ее студенткой в Советском Союзе и которой тогда же посвятил поэму «Зофья» и два лирических стихотворения, и другие польские друзья приглашали его в Польшу еще в шестидесятые годы, но даже в сопредельную социалистическую страну власти его не выпускали. Он приезжал туда дважды в последние годы жизни, в октябре 1990-го и в июне 1993 года. Это были триумфальные поездки, полные теплых встреч со старыми друзьями и новыми читателями, хотя Бродский и говорил грустно по возвращении, что поехал в Польшу «слишком поздно и не с той стороны»[99].

Модернизм

Что общего между Прустом и Цветаевой или между Дос Пассосом и польским барокко? Стилистический разброс между произведениями, которые увлекали молодого Бродского, колоссален, но общая эстетическая доминанта есть – это модернизм. Признавая условность таких определений, как «романтизм», «реализм», «модернизм», «постмодернизм», можно, однако, утверждать, что как художник Бродский формировался, усваивая уроки модернизма. Модернизм, который иногда путают с явлением совсем иного порядка, художественным авангардом, преобладал в литературе и искусстве приблизительно с последней четверти девятнадцатого до середины двадцатого века. При всем разнообразии в произведениях писателей-модернистов имеется принципиальное сходство. Всем им свойственно строить сюжет, опираясь на извечные мифологические архетипы, действительность изображать не последовательно, а дискретно, открывать торжество хаоса и абсурда там, где их предшественники стремились найти гармонию и логику. Для всех них основной философской и повествовательной проблемой была проблема Времени. На типологическое сходство эстетики и философии модернизма с барокко указал Т. С. Элиот, один из самых выдающихся поэтов-модернистов и самый проницательный критик этого периода. Собственно говоря, модернизм по Элиоту – это возвращение барокко на новом витке исторической спирали.

Из того, что помимо художественной прозы и поэзии входило в круг чтения молодого Бродского, надо особо отметить раннее знакомство с «Бхагавадгитой», другими частями «Махабхараты» и еще рядом книг по индуизму и даосизму, что, как не раз говорил он позднее, открыло перед ним самые дальние из доступных человечеству метафизических горизонтов[100].

Знакомство с поэзией

В детстве Иосиф не читал стихов за пределами школьной программы. Сам он, посмеиваясь, вспоминает, что первую книгу стихов прочитал в шестнадцать лет – по совету матери взял в библиотеке «Гулистан» Саади[101]. Нравоучительные вирши персидского поэта в топорных переводах большого впечатления на подростка не произвели. Зато «ужасно понравился» Роберт Бернс в переводе Маршака, «но сам я ничего не писал и даже не думал об этом»[102]. К семнадцати годам он начинает читать поэзию постоянно. Любимые стихи он легко запоминал и с удовольствием цитировал большими отрывками и целиком – «На смерть князя Мещерского» Державина, «Осень», «Запустение», «Дядьке-итальянцу» Баратынского, «Сон Попова» А. К. Толстого, множество вещей поэтов двадцатого века – и старшего поколения, и своих сверстников, – что свидетельствует о том, насколько постоянным и подробным было присутствие практически всего корпуса русской поэзии в его долгосрочной памяти.

В 1988 году в Нью-Йорке вышла небольшая антология «An Age Ago» («Век назад») – стихи русских поэтов девятнадцатого века в переводах Алана Майерса. Составлял ее переводчик, а Бродский написал предисловие и небольшие заметки о каждом из одиннадцати поэтов, включенных Майерсом в антологию (в свою антологию Бродский, безусловно, включил бы и Крылова, которого высоко ценил). В каждой заметке за основной, биографической, частью следует краткая оценочная: в чем сила данного поэта, что нового сказал он в русской поэзии. Эти заметки являются неплохим индикатором предпочтений и идиосинкразий Бродского. Он с энтузиазмом пишет о Батюшкове («мастер развернутой элегии, в которую по ходу развития втягиваются различные культурные, исторические и психологические реалии, завершающейся торжественной, нередко литургически интонированной, кодой»), Вяземском («превосходный, хотя недооцененный поэт… „критический реалист“…»), Пушкине («Ничто не имело большего влияния на русскую литературу и русский язык, чем эта тридцатисемилетняя жизнь»), Баратынском («часто превосходит своего великого современника в жанре философского стихотворения»), Языкове («самые звонкие, самые энергичные стихи того периода, равные пушкинским, а иногда и превосходящие их»), Лермонтове («поэт колоссальной лирической интенсивности»), А. К. Толстом («поэт уникально гибкий и разнообразный… Учитывая происшедшее со страной в двадцатом веке, то, что его современники принимали

за эскапистские или ностальгические мечтания, обернулось предупреждением и пророчеством»). Остальные отзывы прохладны. Заслуга Жуковского только в том, что он ввел в русскую поэзию жанр баллады. Фет «пронзительно лиричен» и писал лирические миниатюры несколько в «японском» духе. Некрасов наблюдателен, незначителен как лирический поэт, зато умел придать лиризм гражданским стихам. Тютчев уступал Баратынскому в конкретности философской лирики, написал много сервильных стихов, его поздняя любовная лирика запоминается, потому что ему удается «сочетать философичную проницательность с духом естественности и случайности». Заканчивается заметка о Тютчеве ироническим упоминанием, что среди его поклонников был Ленин[103].

Поэтические пристрастия и отталкивания указывают на то, куда уходят корни поэтики Бродского, на генетические черты его поэтической индивидуальности. Литературная критика обычно сосредоточивает внимание на том, как поэт, стремясь быть самим собой в своем времени, видоизменяет или разрушает унаследованные способы выражения, но то, что унаследовано, навсегда остается органической составляющей его поэзии. Генезис стиля Бродского, то «лица необщее выраженье», о котором он говорил в своей «Нобелевской лекции», ставит его особняком в поколении поэтов, пришедших в литературу между серединой пятидесятых и серединой шестидесятых годов. Мандельштам писал: «И не одно сокровище, быть может, / Минуя внуков, к правнукам уйдет...» В переводе на прозу это означало, что он возводит свою собственную поэтику, минуя символизм, русскую поэзию второй половины и середины девятнадцатого века, к Пушкину и его эпохе[104]. Это было лишь отчасти верно для Мандельштама и уж совсем неверно для таких его великих современников, как Ахматова и Пастернак, чья поэтика сложными путями влияний и преодоления влияний связана и с творчеством предшествующего поколения – Анненского, Блока, Кузмина, Вяч. Иванова, – и с предшественниками предшественников – Случевским, Фетом, Полонским, Некрасовым, – и с более ранними Тютчевым, Бенедиктовым, Каролиной Павловой.

Ленинградская поэзия в конце пятидесятых

Молодые поэты в Ленинграде 1950-х годов воспитывались в правилах непосредственно предшествующего поколения. Конечно, мы говорим не о стихослагательстве официозного характера, а об искреннем лирическом творчестве. Любимым наставником молодых поэтов был талантливый и мало печатавшийся из-за аполитичности поэт Глеб Семенов (1918–1982). Семенов в особенности настаивал на непрерывной преемственности поэтических поколений:

> Но пушкинскими звездами мороз
> за окнами сверкает.
> Но тютчевской подспудностью до слез
> мне душу проникает.
>
> Но блоковским безумием томить
> меня вовеки может. —
> Лишь эта тонко ткущаяся нить
> мой слух ночной тревожит[105].

От Пушкина к Тютчеву, от Тютчева к Блоку. Если бы не цензура, Семенов назвал бы вслед за Блоком Ходасевича и акмеистов. Следующим в этой литературной генеалогии шло поколение ленинградских поэтов 1930–1940-х годов, к которому принадлежал и сам Семенов. Тянущаяся из прошлого «тонкая нить» была действительно тонка. Основной тенденцией эпохи было отбирать из поэтического наследия то, что приближалось к идеалу «речи точной и нагой». Это выражение Маяковского, чей стиль не отличался лапидарностью и простотой и чья поэтическая родословная действительно перепрыгивала через непосредственных предшественников к одописцам восемнадцатого века, но и он, в духе времени, призывает к стилистической «точности и наготе». Имена расстрелянного в 1921 году Гумилева или эмигранта Ходасевича прилюдно не упоминались или подменялись в дискуссиях именами таких их учеников и эпигонов, как Н. С. Тихонов – в основном ленинградских поэтов двадцатых-тридцатых годов. Культивировались конкретная наблюдательность, эмоциональная сдержанность, лаконизм и афористичность. В качестве образца и назидания начинающим поэтам часто приводилось стихотворение Н. Н. Ушакова «Вино»:

Я знаю,
трудная отрада,
не легкомысленный покой
густые грозди винограда
давить упорною рукой.

Вино молчит.
А годы лягут
в угрюмом погребе, как дым,
пока сироп горячих ягод
не вспыхнет
жаром золотым.

Виноторговцы – те болтливы,
от них кружится голова.
Но я, писатель терпеливый,
храню, как музыку, слова.

Я научился их звучанье
копить в подвале и беречь.
Чем продолжительней молчанье,
тем удивительнее речь[106].

Такого рода поэтика мало подходила для сочинения славословий вождям, партии, правительству, «советскому народу – строителю коммунизма», для обличений американского империализма и тому подобных пропагандистских текстов, которые по определению требовали пышной многословной риторики. С другой стороны, она сама по себе не вызывала раздражения идеологических цензоров, поскольку избегала трудных («непонятных народу») тропов, не выходила за пределы лексической нормы литературного языка. Любимым из современников поэтом ленинградской интеллигенции был в послевоенные годы Вадим Шефнер (1915–2002), талантливый лирик, работавший именно в этой манере. В 1957 году Шефнер написал стихотворение «Вещи»:

Умирает владелец, но вещи его остаются,
Нет им дела, вещам, до чужой, человечьей, беды.
В час кончины твоей даже чашки на полках не бьются
И не тают, как льдинки, сверкающих рюмок ряды.

Может быть, для вещей и не стоит излишне стараться, —
Так покорно другим подставляют себя зеркала,

И толпою зевак равнодушные стулья толпятся,
И не дрогнут, не скрипнут граненые ножки стола.

Оттого, что тебя почему-то не станет на свете,
Электрический счетчик не завертится наоборот,
Не умрет телефон, не засветится пленка в кассете,
Холодильник, рыдая, за гробом твоим не пойдет.

Будь владыкою их, не отдай им себя на закланье,
Будь всегда справедливым, бесстрастным хозяином их, —
Тот, кто жил для вещей, – все теряет с последним дыханьем,
Тот, кто жил для людей, – после смерти живет средь живых[107].

Это не лучшее и не худшее стихотворение Шефнера. Вечная тема обреченности человека на смерть дана здесь в отчетливо увиденной и с грустным юмором написанной картине опустелого жилья. Вообще Шефнер был мастер эффектных концовок, но здесь не сумел разрешить тему поэтически и закончил дидактической сентенцией. В лучших стихах Шефнера, например в «Зеркале» (1942) или «У картины» (1971), воображение стартует от точно описанного наблюдения, в «Вещах» – от общего места: «Человек умирает, но вещи его остаются...» Мы цитируем «Вещи» Шефнера, потому что антитеза краткого существования человека и долгого вещей стала постоянной в поэзии Бродского. Если сравнить это стихотворение с «Натюрмортом» (1971) Бродского, разница между поэтическим миром серьезных ленинградских поэтов в годы его молодости и тем, который создавал он сам, станет очень наглядной. Бродский в «Натюрморте» не считается с нормами – поэтическими, лексическими, хорошего вкуса, в пределах которых написаны «Вещи». Как и Шефнер, Бродский начинает с самоочевидного утверждения, выраженного на языке общих понятий – «люди», «вещи»: «Вещи и люди нас /окружают». Однако прямо вслед за этим, с середины строки следует эпатирующее, мизантропическое: «И те, / и эти терзают глаз». Отсюда начинается словно бы неконтролируемый поток сознания, мысли о вещах перемешиваются с авторефлексией, и весь сердитый, местами грубый текст неожиданно заканчивается евангельской сценой:

Мать говорит Христу:
– Ты мой сын или мой

Бог? Ты прибит к кресту,
Как я пойду домой?

Как я ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив? —

Он говорит в ответ:
– Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

(КПЭ)

Если судить «Натюрморт» старыми установками, стихотворение слишком длинно, смешение литературной и ненормативной лексики вульгарно так же, как и эмоциональная несдержанность в обсуждении «последних вопросов», а двусмысленно-метафизическая концовка неясна. В 1967 году В. С. Шефнер написал в ленинградское отделение издательства «Советский писатель» письмо в поддержку издания сборника стихов Бродского. Из благородных побуждений он постарался критические замечания выразить как можно мягче, но они характерны. О поэме «Исаак и Авраам» он пишет: «Может быть, я ее недопонял, но она меня не взволновала, слишком уж она обстоятельна. В самой Библии эта притча гораздо короче и значимее по своей глубинной сути»[108]. Излишняя обстоятельность – недостаток, короче – значимее. Поэт старой школы просто не охватывает взглядом сложное, но по тем задачам, которые поставил себе новый поэт, выверенное, структурно сбалансированное построение Бродского.

Причина того, что Бродский не усвоил ленинградских уроков, проста – он в этой школе не учился. Как мы знаем, он не читал и не сочинял стихов в детстве и отрочестве. Для ленинградского поэта его поколения это было необычно. Обычно в тот период поэтами становились мальчики и девочки, с детства начитавшиеся стихов и сочинявшие сами. В школах, Домах культуры, Домах пионеров, наряду с кружками, где детей обучали фотографии или авиамоделированию, были кружки юных стихотворцев. Самых одаренных отбирали в студию при Дворце пионеров (в Аничковом дворце на Невском). В первые послевоенные годы этой студией руководил уже упомянутый Г. С. Семенов. Там школьники быстро обучались сочинять, не нарушая

порядка ударений, хореем, ямбом, анапестом, амфибрахием и дактилем, более или менее точно рифмовать окончания строк. Тринадцатилетняя воспитанница кружка свободно владела русской версификацией:

Китаец, турок, серб иль чех,
Датчанин, грек иль финн,
Конечно, вам дороже всех
Родной язык один.

А я по-русски говорю
Уже тринадцать лет.
Воспел великую зарю
Язык больших побед...[109]

Когда дети становились постарше, им объясняли, что правильная версификация ценна не сама по себе, она лишь форма, а содержание стихотворения – мысль, но не отвлеченная, а выраженная через описание конкретной жизненной ситуации. Основа таких описаний – точно наблюденные детали. Иными словами, высококультурный Глеб Семенов сознательно, а менее образованные литераторы, подрабатывавшие в литкружках, в силу стилистической инерции преподавали основы акмеистической поэтики. Слово «акмеизм» в те времена, сразу после погрома, учиненного в литературе сталинскими идеологическими комиссарами в 1946 году, не произносилось, так же как имя Ахматовой, создавшей наиболее чистые образцы акмеистической поэзии, но фундаментальная эстетика акмеизма оставалась основой воспитания будущих поэтов. То, за чем в России закрепилось условное название «акмеизм», в англо-американской называлось «имажизмом». Вслед за Эзрой Паундом, настаивавшем на том, что поэзия должна избегать символистических намеков, иносказаний и вообще абстракций («естественный предмет – всегда самый адекватный символ»), Т.С.Элиот предложил, в 1919 году, содержательное определение «объектный коррелятив»: выразительная сила поэтического текста усиливается, если эмоции выражаются не прямо, а через описание *объекта* — предмета, ситуации, события. Это одно из золотых правил поэтики модернизма. В 1968 году Бродский в стихотворении «Подсвечник» писал:

Наверно, тем искусство и берет,
что только уточняет, а не врет,
поскольку основной его закон,

бесспорно, независимость деталей.

(ОВП)

В условиях жестокого идеологического гнета установка на объектный коррелятив хотя бы в какой-то степени направляла опыты юных стихотворцев в сторону от официозной риторики – как консервативной, так и более соблазнительного для молодежи стиля «под Маяковского». Была, однако, у этой школы и дурная сторона. Этот «реализм» на практике чаще всего оборачивался «формализмом», поскольку стихотворение считалось состоявшимся, если оно подтверждало наблюдательность автора. Менторы молодых поэтов если сами и памятовали, то в тех условиях не могли внушать своим подопечным, что удачно подсмотренные детали ценны в поэзии не сами по себе, а как выражение печали, надежды, страха, отчаяния, любви, а также интеллектуальных и метафизических поисков (поэтому Элиот и назвал описание вещей *коррелятивом)*. В качестве образца для умиления и подражания на занятиях литературных кружков часто цитировалось стихотворение, еще довоенное, школьника Сережи Орлова про тыкву:

Лежит рядочком с брюквой
И, кажется, вот-вот
От счастья громко хрюкнет
И хвостиком махнет[110].

Этот безобидный детский стишок, преподносимый в качестве образца, символизировал тупик, в который зашла традиция: тыква похожа на свинью, свинья похожа на тыкву, а все остальное от лукавого.

Юношеские стихи Бродского

В детстве и в юности Бродский не прошел такой обработки. Ему не вбили в голову, что романтическая позиция поэта-изгоя, прямо трактующего вопросы жизни и смерти, веры и неверия, – это «дурной вкус», а культурно-исторические сюжеты – «литературщина». Стихи он начал писать не тщеславным ребенком, который старается сочинить стих по правилам, чтобы хвалили, а юношей, вступившим в самостоятельную жизнь и всерьез озабоченным смыслом этой жизни, неизбежностью в ней страдания и смерти, красотой и уродством секса, постоянной угрозой нищеты и несвободы и, не в последнюю очередь, самоутверждением в этом мире. В обществе, где престиж литературы, в частности поэзии, был очень высок, он избрал поэзию как способ самоутверждения и одновременно поиска ответов на «проклятые вопросы».

В Бродском от природы было стремление к первенству, как и то, что называется харизматичностью. Он привлекал сверстников искренностью, крупностью интересов, естественным, не наигранным нонконформизмом и необычно интенсивным отношением к людям, разговорам, отвлеченным идеям и житейским событиям. Это сочеталось в нем с неискушенностью относительно того, как принято и как не принято вести себя в литературных кружках. Он не выносил свои первые опыты на критическое обсуждение, но приходил в частные компании и на официально санкционированные встречи литературной молодежи, чтобы продекламировать свои стихи, очевидно, уверенный в их достоинствах. Читал он, как правило, громче и патетичнее всех, хотя почти вся молодая поэзия того времени была ориентирована на декламацию[111]. Нередко уходил после чтения один или в сопровождении друзей, не оставался послушать других. Все это не могло не вызывать раздражения и опасений у кураторов литературной молодежи. Многим запомнился скандал на «турнире поэтов» во Дворце культуры имени Горького у Нарвских ворот 14 февраля 1960 года. Девятнадцатилетний Иосиф прочитал «Еврейское кладбище». Как всегда, его чтение понравилось большинству молодежной аудитории, но находившийся в тот вечер в зале Г. С. Семенов громко выразил возмущение. Другой участник турнира, Яков Гордин, в своих воспоминаниях объясняет это так: «Высокий поэт, в своей многострадальной жизни приучивший себя к гордой замкнутости, к молчаливому противостоянию, Глеб Сергеевич возмутился тем наивным бунтарством, которое излучал Иосиф,

возмутился свободой, казавшейся незаслуженной и необеспеченной дарованиями»[112]. В ответ на резкое замечание Бродский прочел «Стихи под эпиграфом». Эпиграфом была латинская поговорка: «То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Небольшое столкновение развернулось в большой скандал, который прибавил молодому поэту известности не только среди литературной и фрондирующей молодежи, но и среди тех, кто по долгу службы за этой молодежью наблюдал.

Начало преследований

В 1960 году Бродский впервые столкнулся с карательными органами. Годом раньше студент факультета журналистики МГУ Александр Гинзбург начал выпускать самиздатом журнал поэзии «Синтаксис». В третьем, «ленинградском», номере было и пять стихотворений Бродского, в том числе «Еврейское кладбище» *(CHBBC)* и, вероятно, самое популярное из его юношеских стихов «Пилигримы» *(CHBBC)*. «Синтаксис» был первым самиздатским журналом, получившим широкую известность[113]. Его распространяли в Москве и Ленинграде, о нем узнали за рубежом, на него обрушилась советская пресса: в газете «Известия» был напечатан пасквиль «Бездельники карабкаются на Парнас»[114]. Гинзбург в июле 1960 года был арестован и осужден на два года лагерей. Формально осудили его, раскопав старое преступление: он по поддельному документу сдал за товарища экзамен в вечерней школе[115]. Стихотворения поэтов «Синтаксиса», в том числе и Бродского, были идеологически неприемлемы для советской цензуры как индивидуалистические или пессимистические, но в них не было прямой критики советского строя и призывов к его свержению. Тем не менее молодых людей вызывали на допросы в Комитет госбезопасности, стращали искалеченной жизнью и тюрьмой, если они не образумятся[116]. С этого времени, если не раньше, Бродский находился в поле внимания ленинградского КГБ. Сам он объяснял интерес к нему репрессивного учреждения просто тем, что КГБ надо было оправдывать свое существование: «Поскольку эти чуваки из госбезопасности существуют, то они организуют систему доносов. На основании доносов у них собирается какая-то информация. А на основании этой информации уже что-то можно предпринять. Особенно это удобно, если вы имеете дело с литератором. <…> Потому что на каждого месье существует свое досье, и это досье растет. Если же вы литератор, то это досье растет гораздо быстрее – потому что туда вкладываются ваши манускрипты: стишки или романы…»[117]

29 января 1962 года Бродского арестовали и два дня продержали во внутренней тюрьме КГБ на Шпалерной. Велось следствие по делу двух его знакомых, Александра Уманского и Олега Шахматова, и Бродскому могли предъявить серьезные обвинения.

Кружок Уманского

Олег Шахматов, бывший военный летчик, способный музыкант и человек с авантюрной жилкой, был лет на шесть старше Иосифа. Они встретились случайно в 1957 году в редакции ленинградской молодежной газеты «Смена», куда и тот и другой пришли показать свои стихи. С детства питавший слабость к авиации Иосиф сошелся с Шахматовым довольно близко. Шахматов познакомил его с Александром Уманским[118]. Уманский был богато одаренным дилетантом – он сочинял фортепьянные сонаты и статьи об элементарных частицах, писал трактаты по политической философии, увлекался оккультными науками, серьезно занимался индуизмом и практиковал хатха-йогу. Судя по воспоминаниям знакомых, Уманский обладал значительной харизмой и вокруг него всегда был кружок молодежи, включавший тех, кому хотелось обсуждать «вечные вопросы» вне узких рамок официальной идеологии, художников и музыкантов нонконформистского толка. Эти молодые люди были студентами или работали на случайных работах, но главным содержанием их жизни было раздобывание в то время труднодоступных книг по восточной философии и эзотерическому знанию и разговоры по поводу прочитанного. Наркотиками в этой среде еще не баловались, но выпивали и в подпитии нередко устраивали всякие дерзкие проделки (Бродский никогда не употреблял наркотиков, а пил, по крайней мере по меркам своего ленинградского окружения, весьма умеренно).

Из членов этого сугубо неформального кружка Бродский на всю жизнь сдружился с Георгием Гинзбургом-Восковым, «Гариком». А вот Уманский недолюбливал Бродского, отказывая ему в поэтическом даровании. В те годы (1958–1961) Бродского притягивала к Уманскому возможность поговорить на метафизические темы, но к моменту ареста он уже относился к лидеру кружка критически, полагал, что чрезмерное увлечение Уманского индийской философией, в которой «слишком многое построено на отрицании», вырождается в бесплодный нигилизм и, по существу, безверие. Если в «Исааке и Аврааме» есть прямые следы уроков эзотерики, полученных в кружке Уманского[119], то в более поздних произведениях шестидесятых годов встречаются резкие полемические выпады против того мистицизма, которым там увлекались:

...Дружба с бездной

представляет сугубо местный
интерес в наши дни. К тому же
это свойство несовместимо
с братством, равенством и, вестимо,
благородством невозместимо,
недопустимо в муже.

Иначе – верх возьмут телепаты,
буддисты, спириты, препараты,
фрейдисты, неврологи, психопаты.
Кайф, состояние эйфории,
диктовать нам будет свои законы.
Наркоманы прицепят себе погоны.
Шприц повесят вместо иконы
Спасителя и Святой Марии.

«Речь о пролитом молоке» (1967; КПЭ)

Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.

«Два часа в резервуаре» (1965; ОВП)

Самаркандский эпизод

Что касается Шахматова, то после короткой отсидки за дебош в женском общежитии Ленинградской консерватории он уехал в Самарканд и поступил там в консерваторию[120]. В декабре 1960 года Бродский поехал туда навестить приятеля. Уманский дал ему свой очередной философский трактат для передачи Шахматову[121].

Несколько недель, проведенные в Самарканде с лихим приятелем-авантюристом, имели серьезные последствия для дальнейшей судьбы Бродского. Однажды в вестибюле самаркандской гостиницы он увидел Мелвина Белли (Melvin Belli, 1907–1996). Белли был очень знаменитым американским адвокатом. Среди его клиентов были голливудские кинозвезды, в том числе Эррол Флинн, которым Бродский восхищался в детстве. Позднее, через три года после самаркандского эпизода, Белли защищал Джека Руби, застрелившего убийцу президента Кеннеди Ли Харви Освальда. Белли и сам снимался в кино. Бродский его узнал по запомнившемуся кадру из какого-то американского фильма. Импровизированно возник план передать с американцем рукопись Уманского для публикации за рубежом, но Белли эту просьбу из осторожности отклонил[122].

Вслед за этим друзей осенил фантастический план побега за границу. Бродский, много лет спустя, описывал его так: купить билеты на маленький рейсовый самолет, после взлета оглушить летчика, управление возьмет Шахматов, и они перелетят через границу в Афганистан[123]. В воспоминаниях Шахматова этот план выглядит несколько более реалистическим. У него был пистолет. Когда летчик начнет выруливать на взлетную полосу, Шахматов, угрожая пистолетом, вытолкнет его из самолета; перелетят они не куда-то в Афганистан, откуда их выдали бы советским властям, а в Иран, на американскую военную базу в Мешхеде[124]. Были куплены билеты на рейс Самарканд – Термез, но перед полетом Бродский устыдился намерения причинить вред ни в чем не повинному пилоту, и план был похерен (Шахматов пишет, что просто рейс отменили).

Год спустя Шахматов был арестован в Красноярске за незаконное хранение оружия. На следствии, стараясь избежать нового срока, который на этот раз мог быть большим, он заявил о существовании в Ленинграде «подпольной антисоветской группы Уманского» и назвал десятки имен тех, кто имел хотя бы какое-то отношение к Уманскому. Рассказал и о неосуществленном плане побега за границу вместе с Бродским. Вот тогда Бродский и был

задержан, но, поскольку факта преступления не было, да и о намерении были только показания Шахматова, через два дня его отпустили. Однако самаркандскую эскападу ему припомнили на суде в 1964 году, и под пристальным наблюдением КГБ он оставался до выдворения из страны[125]. Кто знает – может быть, и после.

Глава III
Ученик

Формирование стиля

К двадцати двум годам сверстники Бродского кончали университеты и институты и только начинали самостоятельную жизнь. Он в этом возрасте повидал страну, пожил жизнью ее простого народа, испытал на себе бессмысленные преследования со стороны государственной власти, научился не смешивать фантазии с реальностью и критически относиться к людям. Он также научился писать стихи.

В стихах восемнадцати-девятнадцатилетнего Бродского благодаря энергии и богатству воображения встречаются удачные строки, но в целом это все еще лишь юношеские опыты. Автор этих стихов, как многие в его возрасте, увлечен грандиозными абстракциями и романтически презирает обыденный мир. Ему нравятся красивые иностранные слова, и он заговаривается ими почти до глоссолалии:

> ...начисто заблудиться
> в жидких кустах амбиций,
> в дикой грязи прострации,
> ассоциаций, концепций
> и – просто среди эмоций.

(«Стихи о принятии мира», 1958)[126]

Его воображение создает из мешанины экзотических книжек и кинофильмов величественные, но невнятные аллегории:

> Мимо ристалищ, капищ,
> мимо храмов и баров,
> мимо шикарных кладбищ,
> мимо больших базаров,
> мира и горя мимо,
> мимо Мекки и Рима,
> синим солнцем палимы,
> идут по земле пилигримы.

(«Пилигримы», 1958)[127]

Мекка и Рим, бар как символ загадочной заграничной роскоши, и тут же синее солнце из научной фантастики, и «пилигримы / солнцем палимы» из хрестоматийного

стихотворения нелюбимого Некрасова. В скандальных «Стихах под эпиграфом» (1958) лирический герой обозначен скотским и божественным началом – Бог или бык, человеческое опускается. В определенном возрасте так писали многие, почти все. Лермонтов в том же возрасте заявлял: «Я – или Бог, или никто!» Нет ничего странного в том, что такие стихи, да еще страстно прочитанные необычным, «струнным» голосом, очень нравились романтически настроенным мальчикам и девочкам. Необычно то, что ранний успех у сверстников не соблазнил Бродского застрять на этом этапе, что он шел в другом направлении, быстро освобождался от ходульной романтики. Уже лет в девятнадцать он начал догадываться, что стихи делаются не из эгоманиакальных мечтаний, а из жизни как она есть. Когда его стали таскать в КГБ, он уже знал, как следует вести себя на допросах:

Запоминать пейзажи <…>
за окнами в кабинетах сотрудников…
Запоминать,
как сползающие по стеклу мутные потоки дождя
искажают пропорции зданий,
когда нам объясняют, что мы должны делать.

(«Определение поэзии», 1959)[128]

Лирика повседневности, поэтические ресурсы просторечия, умение открывать метафизическую подоплеку в простом и обыденном – всему этому Бродский учился, и к 1962 году серьезные стихи такого рода стали решительно преобладать над абстрактно-романтическими. В этой школе у Бродского были учителя. Сам он позднее называл учителями своих старших друзей Евгения Рейна и Владимира Уфлянда. Повлияли на него в юности и другие яркие поэты этого поколения – Станислав Красовицкий, Глеб Горбовский и Владимир Британишский. Стихи последнего и подтолкнули совсем юного Иосифа к первым поэтическим опытам. Но, несомненно, главные уроки он извлек тогда из чтения Слуцкого.

Борис Слуцкий

Борис Абрамович Слуцкий (1919–1986) был самым крупным и самобытным поэтом военного поколения. Всю жизнь этот храбрый волевой человек был по политическим убеждениям коммунистом, но его беспощадно реалистические стихи совершенно не соответствовали требованиям официального «социалистического реализма». Поэтому печататься он стал только в период послесталинской «оттепели», с середины пятидесятых годов, но и тогда самые политически острые его вещи оставались достоянием самиздата. Несмотря на марксистские взгляды, в стихах Слуцкого сквозили идеи универсального гуманизма и метафизической справедливости. Вторая половина пятидесятых была периодом расцвета его творчества, когда почти все молодые поэты в какой-то степени испытали на себе его влияние. Бродский едва ли не больше всех. В апреле 1960 года он ездил в Москву познакомиться со Слуцким и, видимо, Слуцкий сказал ему нечто одобрительное. Стихотворение «Лучше всего / спалось на Савеловском...» кончается словами благодарности поэту:

> До свиданья, Борис Абрамыч.
> До свиданья. За слова – спасибо[129].

К. К. Кузьминский вспоминает, как он показал Бродскому зимой 1959 года свои первые стихи. Вместо оценки и совета Бродский прочел ему «Кельнскую яму» Слуцкого: вот как надо писать[130]. Слуцкого Иосиф помнил всю жизнь. Как правило, когда заходила речь о Слуцком, он читал по памяти «Музыку над базаром»:

> Я вырос на большом базаре
> в Харькове,
> Где только урны
> чистыми стояли,
> Поскольку люди торопливо харкали
> И никогда до урн не доставали.
>
> Я вырос на заплеванном, залузганном,
> Замызганном,
> Заклятом ворожбой,
> Неистовою руганью
> заруганном,

Забоженном
истовой божбой.

Лоточники, палаточники
пили
И ели,
животов не пощадя.
А тут же рядом деловито били
Мальчишку-вора,
в люди выводя.

Здесь в люди выводили только так.
И мальчик под ударами кружился,
И веский катерининский пятак
На каждый глаз убитого ложился.

Но время шло – скорее с каждым днем,
И вот —
превыше каланчи пожарной,
Среди позорной погани базарной,
Воздвигся столб
и музыка на нем.

Те речи, что гремели со столба,
И песню —
ту, что со столба звучала,
Торги замедлив,
слушала толпа
Внимательно,
как будто изучала.

И сердце билось весело и сладко.
Что музыке буржуи – нипочем!
И даже физкультурная зарядка
Лоточников
хлестала, как бичом[131].

Бродского в Слуцком привлекали не социалистические мотивы, хотя антибуржуазности он и сам был не чужд, а сила стиха. Слуцкий открыл свободное пространство между выдохшимися стиховыми формами девятнадцатого века и камерным чистым экспериментаторством. Оказывается, достаточно только чуть-чуть варьировать классические размеры –

и стих, не разваливаясь, приобретает гибкость. Бродский начинает, вслед за Слуцким, осваивать нетронутые ресурсы русского классического стиха[132]. Постепенно он начнет также убирать или прибавлять слог-другой, превращая классический размер в дольник. Так, например, преображается заунывный затертый анапест в большинстве стихотворений цикла «Часть речи» (1975–1976). Слуцкий показал, что далеко еще не исчерпаны ресурсы богатых, но не броских, не отвлекающих без нужды внимание на себя рифм. В частности, таковы глагольные рифмы, когда в них вовлечены опорные (предударные) согласные *(стояли-доставали, пили-били, кружился-ложился,* а в *звучала-изучала* омофония приближается к полной). В литературных кружках предостерегали против всех глагольных рифм скопом как бедных, грамматических.

Вообще притворяющийся почти прозой стих Слуцкого насквозь пронизан скрепляющими его ткань поэтическими приемами – аллитерациями, ассонансами, анафорами (ср. *За-* во второй строфе процитированного стихотворения), парономазиями (сближением слов по звучанию), каламбурами и прочим. Своего рода поклоном учителю, который научил его использовать игровую стихию стиха для серьезных, неигровых задач, служит начало поэмы Бродского «Исаак и Авраам» (июнь 1962 года). Там обыгрывается разница между библейским именем Исаак и его русифицированным вариантом Исак: «По-русски Исаак теряет звук. <…> Исак вообще огарок той свечи, / что всеми Исааком прежде звалась» (*ОВП)*. У Слуцкого было небольшое стихотворение на эту тему:

> Прославляют везде Исаака,
> Возглашают со всех алтарей.
> А с Исаком обходятся всяко
> И пускают не дальше дверей[133].

Важный урок, воспринятый Бродским у Слуцкого, относится к тому, как строить стихотворение, к семантической структуре текста. Слуцкий начинает «Музыку на базаре» с крайне грубой картины, рассказанной грубыми словами, а заканчивает, казалось бы, не изменяя стиля повествования, едва прикрытой евангельской цитатой: музыка бичует лоточников, как Христос, изгоняющий торгующих из храма. Бродский тоже будет сближать в своих стихах физиологическое, вульгарное с абстрактно-философским, метафизическим. У него новый Дант, как творец вселенной из ничего, ставит на пустое место слово, но это сакральное Слово рифмуется с профанным и грубым «херово»

(«Похороны Бобо», 1972). Нередко он начинает стихотворение с фотографического запечатления неприглядной реальности – убогого интерьера или собственного скверного самочувствия – и ведет его к открытию духовного порядка, хотя далеко не всегда утешительному и обнадеживающему. Такова структура и маленького стихотворения «Я обнял эти плечи и взглянул...» (1962), и большого «Натюрморт» (1971), хотя чаще прямая, «снизу вверх», последовательность лирического сюжета уступает место более сложным построениям.

Самое существенное, однако, что унаследовал Бродский от Слуцкого, или, по крайней мере, от того, что он прочитывал в Слуцком, это – общая тональность стиха, та стилистическая доминанта, которая выражает позицию, принятую автором по отношению к миру. Об этом Бродский говорил в 1985 году: «Слуцкий почти в одиночку изменил тональность послевоенной русской поэзии. <...> Ему свойственна жесткая, трагичная и равнодушная интонация. Так обычно говорят те, кто выжил, если им вообще охота говорить о том, как они выжили, или о том, где они после этого оказались»[134].

Ленинградские литературные кружки

В ранней юности Бродский избежал нивелирующей и подавляющей воображение школы официальных «литкружков», он самостоятельно осваивал поэтическое наследие – неравномерно, но свободно. Как и всякий начинающий художник, он, однако, ощущал потребность в постоянном живом общении с другом-ментором. В компании талантливых дилетантов, с Александром Уманским в центре, одаренных поэтов не было. Во второй половине пятидесятых и в начале шестидесятых годов в Ленинграде молодые поэты тяготели либо к литературному объединению при Горном институте, о котором говорилось выше, либо к компании, более или менее связанной с литобъединением при филологическом факультете ЛГУ. Если у «горных» поэтов были сильно на них влиявшие учителя, Глеб Семенов и Давид Дар[135], то к литературному объединению филфака были приставлены официальные надзиратели, и поэтому основные чтения стихов и сопутствовавшие им разговоры «филологов» имели место не на заседаниях объединения, а в комнатах коммунальных квартир – у Леонида Виноградова, Владимира Уфлянда или автора этих строк. Впрочем, «горняков» тоже можно было встретить на «филологических» сходках, серьезного антагонизма между этими группами не было. Разными были эстетические векторы. Семенов воспитывал своих учеников в достаточно консервативной традиции, тогда как предоставленные сами себе «филологи» считали себя восстановителями и продолжателями прерванного в тридцатые годы русского авангарда.

Этим определялось и разное отношение к поэтам двух групп со стороны старшего поколения интеллигенции: «горняков» принимали всерьез, старались по мере возможности помочь им с публикациями, тогда как «филологическое» творчество считалось немного инфантильной игрой. Впрочем, стихи «филологов» Владимира Уфлянда и Сергея Куллэ, благодаря их оригинальному юмору, тоже благосклонно воспринимались интеллигентными читателями старшего поколения. В горняцкую среду, в особенности после вышеупомянутого конфликта с Г. С. Семеновым, Бродский не был вхож. В 1959–1960 годах он познакомился с Леонидом Виноградовым, Владимиром Уфляндом и Михаилом Ереминым, которые и составляли ядро того, что впоследствии было названо «филологической школой», хотя на филологическом факультете из этих троих учился только Еремин. Бродский подружился с Уфляндом и на всю жизнь сохранил

любовь к его стихам с их необычным сплавом пародии и сентиментального лиризма. Его восхищала и ненавязчивая, но необычайно изобретательная поэтическая техника Уфлянда, и если он впоследствии называл Уфлянда одним из своих учителей, то это следует понимать очень конкретно: поэтика рифмы у Бродского во многом повторяет и развивает сделанное Уфляндом в конце пятидесятых годов. Но вообще-то в «филологической» компании к нему относились добродушно-иронически, серьезного отношения к своим ранним стихам он там не встретил. Была, однако, в молодой ленинградской поэзии того периода еще одна яркая и самобытная фигура – поэт, чья литературная позиция не связывала его слишком тесно ни с «филологами», ни с «горняками», Евгений Рейн.

Евгений Рейн: искусство элегии

Бродский, когда он пишет о других поэтах, не слишком стремится проникнуть в то, что составляет неповторимо-личностное ядро *другого.* Он исходит из представления о том, что существуют некие лирические универсалии, равно стимулирующие творчество Вергилия, Цветаевой, Одена или тех поэтов-современников, предисловия к книжкам которых ему приходилось писать в последние годы жизни. Поэтому в статьях о поэтах он безоговорочно проецирует собственный опыт, собственные стилистические пристрастия и предубеждения на других. В результате мы имеем два типа эссе. Одни, написанные по внутренней необходимости, показывают нам, как Бродский воспринимает Вергилия, Цветаеву, Одена и прочих интересных ему поэтов, другие, некоторое количество написанных по необходимости предисловий, читать приходится по принципу «мухи отдельно, котлеты отдельно», поскольку автор откровенно пишет о собственном опыте, благодушно распространяя его и на другого поэта, сказать о котором нечто конкретное он избегает. Небольшое эссе о Рейне, написанное в 1991 году в качестве предисловия к «Избранному», стоит здесь особняком[136]. Нигде метод идентификации с описываемым поэтом не был так оправдан, как здесь.

Прежде всего Бродский выделяет элегию как жанр, определяющий лирику Рейна. «Элегия – жанр ретроспективный и в поэзии наиболее распространенный. Причиной тому отчасти свойственное любому человеческому существу ощущение, что бытие обретает статус реальности главным образом постфактум, отчасти – тот факт, что самое движение пера по бумаге есть, говоря хронологически, процесс ретроспективный»[137]. Элегичность действительно выделяла Рейна из круга молодых ленинградских поэтов. Жанром, которому отдавалось предпочтение в этом кругу, было то, что в старину называлось «мелким стихотворением», лирическая миниатюра, направленная на то, чтобы уловить сиюминутное переживание, впечатление, наблюдение, мысль. Талантливые поэты писали в рамках этого жанра очень разные стихи. Сопоставить натуралистические картинки советского быта у «горняка» Леонида Агеева, эзотеричные благодаря формированию метафоры из разнородного и в значительной степени научного материала восьмистишия Михаила Еремина и психологически сложные, но лапидарно оформленные интроспекции Александра Кушнера трудно, но они одноприродны по жанру. У этих и других

талантливых поэтов, названных и не названных выше, сиюминутное переживание в удачном стихотворении фиксируется во всем богатстве психологических нюансов, не передаваемых такими слишком общими словами, как «радость», «печаль» и т. п. Рейн, который был на пять лет старше Бродского, подтолкнул друга не к формальному, а к мировоззренческому выбору. Элегия, ностальгический по своей сущности жанр, имеет дело не с настоящим, а с прошлым, то есть с проблемой времени – не с жизнью как таковой, а с жизнью в виду смерти. Любое поэтическое творчество необходимо только тогда, когда другие формы дискурса оказываются неадекватны. В этом смысле raison d'etre элегии вытекает из известного высказывания Витгенштейна о том, что рассуждать о смерти невозможно, поскольку «смерть не является событием жизни»[138]. Там, где бессильно рассуждение, возможен лирический текст. У элегического творчества есть и еще одна подоплека – неразрешимая проблема языка и времени: любое писание «процесс ретроспективный». Эта проблема волновала романтиков с точки зрения неполной адекватности любого текста непосредственному переживанию, так как текст всегда «после»; Бродского же здесь волнует не столько выразимость или невыразимость эмоций, сколько, если можно так выразиться, «неостановимость мгновения».

> Остановись, мгновенье! Ты не столь
> прекрасно, сколько ты неповторимо.

(«Зимним вечером в Ялте», ОВП)

По счастливому совпадению, приблизительно тогда же, когда началось знакомство с Рейном, Бродский открыл для себя Баратынского. Встретившись с Рейном после вызванного эмиграцией шестнадцатилетнего перерыва в 1988 году, Бродский на вопрос старого друга: «А что тебя подтолкнуло к стихам?» – ответил: «Году в пятьдесят девятом я прилетел в Якутск и прокантовался там две недели, потому что не было погоды. Там же, в Якутске, я помню, гуляя по этому страшному городу, зашел в книжный магазин и в нем я надыбал Баратынского – издание „Библиотеки поэта“. Читать мне было нечего, и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься»[139]. «Чем надо заниматься» вслед за Баратынским, свое понимание современного элегического творчества Бродский расшифровывает в заметке об этом поэте: «Он никогда не бывает субъективным и автобиографичным, а тяготеет к обобщению, к психологической правде. Его стихотворения – это развязки, заключения,

постскриптумы к уже имевшим место жизненным или интеллектуальным драмам, а не изложение драматических событий, зачастую скорее оценка ситуации, чем рассказ о ней. <…> Стих Баратынского преследует свою тему с почти кальвинистским рвением, да и в самом деле эта тема сплошь и рядом – далекая от совершенства душа, которую автор изображает по подобию своей собственной»[140].

Знакомство с Ахматовой

Именно Рейн познакомил Бродского с Ахматовой[141]. Это произошло 7 августа 1961 года. Бродскому был двадцать один год, Евгению Рейну, который привез младшего товарища в ахматовскую «будку» в Комарове, – двадцать пять. Ахматовой такие посещения были привычны. Даже в последние сталинские годы, когда общение с ней грозило серьезными неприятностями, ее разыскивали бесстрашные почитатели, а в хрущевские времена неожиданное появление у дверей молодого мужчины или женщины с букетом цветов и тетрадкой стихов стало делом довольно обычным. Бродский, однако, попал к ней более или менее случайно. Он тогда мало знал стихи Ахматовой, а к тому, что знал, был равнодушен. Он в это время жил под впечатлением первого знакомства с поэзией Цветаевой. В тот августовский день он просто согласился прокатиться с другом за город. Визит оказался интереснее, чем он ожидал, он съездил в Комарово еще раз или два и, как он говорит, «в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял – знаете, вдруг как бы спадает завеса—с кем или, вернее, с чем я имею дело»[142].

Мы имеем не так уж много документированных высказываний Ахматовой об отдельных стихах Бродского[143]. Мы знаем, что она выделила написанное ей на день рождения в 1962 году. «Закричат и захлопочут петухи...» как вещь более глубокую, чем ожидается от поздравительного жанра, и взяла оттуда эпиграф – «Вы напишете о нас наискосок...»– для стихотворения «Последняя роза». Знаем, что с большим вниманием она отнеслась к поэме «Исаак и Авраам» и из нее строки о звуке А: «По существу же это страшный крик / младенческий, прискорбный и смертельный...»[144] – взяла эпиграфом к четверостишию «Имя» (в первоначальном варианте). Фраза Ахматовой «Вы сами не понимаете, что вы написали!» (приводится Бродским и мемуаристами в слегка отличающихся друг от друга вариантах) после чтения «Большой элегии Джону Донну» вошла в персональный миф Бродского как момент инициации[145].

При всем том у Бродского в это время уже формировался индивидуальный стиль не только не похожий, но во многом полярно противоположный основному вектору ахматовского творчества – суггестивности, поэтике недосказанного, намеренной скромности поэтического языка. Бродский это вполне сознавал и позднее объяснял: «Мы не за похвалой к ней шли, не

за литературным признанием или там за одобрением наших опусов. <…> Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного, духовного – да не знаю уж как это там называется – уровня, на котором находился, – от „языка“, которым ты говорил с действительностью, в пользу „языка“, которым пользовалась она. Конечно же мы толковали о литературе, конечно же мы сплетничали, конечно же мы бегали за водкой, слушали Моцарта и смеялись над правительством. Но, оглядываясь назад, я слышу и вижу не это; в моем сознании всплывает одна строчка из того самого „Шиповника“: „Ты не знаешь, что тебе простили…“ Она, эта строчка, не столько вырывается „из“, сколько отрывается „от“ контекста, потому что это сказано именно голосом души – ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная человеку, на самом деле адресована всему миру, она – ответ души на существование. Примерно этому – а не навыкам стихосложения – мы у нее и учились»[146].

Ахматова тепло относилась к окружавшей ее поэтической молодежи – это были Наталья Горбаневская, Дмитрий Бобышев, Михаил Мейлах и ее секретарь Анатолий Найман, – но к Иосифу Бродскому ее отношение было совершенно особенным и как к человеку, и как к поэту. Несомненно, что она первая поняла потенциальный, тогда еще далеко не реализованный размах поэтического таланта Бродского и масштаб его личности. «Бродский ведь ее открытие, ее гордость», – записывала Чуковская в дневнике[147]. Ахматова обращалась к Бродскому как к равному: «Иосиф, мы с вами знаем все рифмы русского языка…»[148] Ей и Н. Я. Мандельштам молодой поэт, «младший Ося»[149], внешне, манерой поведения напоминал своего великого тезку. Очевидно, что для Ахматовой сходство было не только внешним. В дневниковой записи 1963 года читаем: «Что-то в отношении ко мне другого Иосифа напоминает мне Мандельштама»[150]. Это и определило неожиданное при полувековой разнице в возрасте отношение Ахматовой к Бродскому как к равному, чьи высказывания производят на нее порой глубокое впечатление. Так, в дневнике и письмах она неоднократно возвращается к мысли Бродского о том, что главное в поэзии – это величие замысла. «И снова всплыли спасительные слова: „Главное – это величие замысла“»; «Постоянно думаю [о величии замысла] о нашей последней встрече и благодарю Вас»; «И в силе остаются Ваши прошлогодние слова: „Главное – это величие замысла“»[151]. Однажды Ахматова записывает: «Взять эпиграф к „Листкам из дневника“ из письма И. Б[родского]: <…Из чего же он (Человек)

состоит: из Времени, Пространства, Духа? Писатель, надо думать, и должен, стремясь воссоздать Человека, писать Время, Пространство, Дух... >»[152] Или в состоянии глубокого сомнения: «А где спасительное „величие замысла“, спасшее Иосифа?»[153] Надо отметить, что у мысли Бродского о «величии замысла» литературное происхождение – знаменитое место в сто четвертой главе «Моби Дика» о «возвеличивающей силе богатой и обширной темы». «Мы сами разрастаемся до ее размеров, – пишет Мелвилл. – Для того, чтобы создать великую книгу, надо выбрать великую тему»[154].

На годы близости с Ахматовой пришлись самые трудные испытания в жизни Бродского – любовная драма, попытка самоубийства, сумасшедший дом и тюрьма, кошмарный суд, предательство друга. Все происходившее с ним трогало Ахматову самым интимным образом. 11 сентября 1965 года она записывает в своем дневнике: «Освобожден Иосиф по решению Верховного Суда. Это большая и светлая радость. Я видела его за несколько часов до этой вести. Он был страшен – казался на краю самоубийства. Его (по-моему) спас Адмони, встретив его в электричке, когда этот безумец возвращался от меня. Мне он прочел „Гимн Народу“. Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорит Достоевский в „Мертвом доме“: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Ф[едор] М[ихайлович]. На этом погиб мой сын. Он стал презирать и ненавидеть людей и сам перестал быть человеком. Да просветит его Господь! Бедный мой Левушка»[155]. В этой записи, сделанной уже после испытаний, выпавших на долю Бродского в 1964–1965 годах, показательно сравнение Бродского с сыном, причем не в пользу последнего. Ахматова высоко оценивает не только стихи как таковые, но и моральную чистоту, стойкость, сделавшие стихи возможными. Бродский, со своей стороны, считал, что лишь пытается по мере сил следовать примеру Ахматовой: «Сколько всего было в ее жизни, и тем не менее в ней никогда не было ненависти, она никого не упрекала, ни с кем не сводила счеты. Она просто могла многому научить. Смирению, например. Я думаю – может быть, это самообман, – но я думаю, что во многом именно ей я обязан лучшими своими человеческими качествами. Если бы не она, потребовалось бы больше времени для их развития, если б они вообще появились»[156].

Урок Ахматовой, усвоенный Бродским, касался не только личной нравственности, но и нравственного аспекта поэзии как призвания. Будучи убежденным индивидуалистом, принципиально «частным» лицом, он понимал, что при серьезном

отношении к своему призванию поэт не может не быть выразителем опыта народа, на языке которого пишет. Советская идеология требовала от писателей «народности», причем народность понималась как сочетание политкорректности с эстетическим примитивизмом. В результате у интеллигенции выработалась стойкая аллергия на саму проблему «поэта и народа», и салонные парадоксы предыдущего века на темы «чистого искусства» и «башни из слоновой кости» многими принимались всерьез. Ахматова не удостаивала агитпроп таким вниманием. Центральный мотив ее позднего творчества, в первую очередь «Requiem'a», – это мотив поэтического представительства: она осознает свою миссию – ее голосом «кричит стомильонный народ». Именно это утверждает и Бродский в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» – ее голосом говорит родная земля, благодаря ей обретшая «речи дар в глухонемой вселенной».

Марина Басманова и «Новые стансы к Августе»

На долю Бродского выпало немало исключительных событий и потрясений – благословения великих поэтов, Ахматовой и позднее Уистана Одена, аресты, тюрьмы, психбольницы, кафкианский суд, ссылка, изгнание из страны, приступы смертоносной болезни, всемирная слава и почести, но центральными событиями его жизни для него самого на многие годы оставались связь и разрыв с Мариной (Марианной) Павловной Басмановой. В пушкинском «Пророке» посланный свыше шестикрылый серафим дает поэту чудесную зоркость, слух и голос. Бродский верил, что в нем это преображение было произведено любовью к одной женщине:

Это ты, горяча,
ошую, одесную
раковину ушную
мне творила, шепча.

Это ты, теребя
штору, в сырую полость
рта мне вложила голос,
окликавший тебя.

Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть.

(У)

Бродскому не было и двадцати двух лет, когда он 2 января 1962 года познакомился с Мариной Басмановой. Молодая художница была почти на два года старше. Умная, красивая женщина производила сильное впечатление на всех, кто с ней встречался. Ахматова, например, так отзывалась о ней: «Тоненькая… умная… и как несет свою красоту! <…> И никакой косметики… Одна холодная вода»[157]. Бродскому она казалась воплощением ренессансных дев Кранаха (в частности, он имел в виду эрмитажную «Венеру с яблоками»)[158]. Близкие отношения Бродского и Басмановой, осложненные уходами и возвращениями, продолжались шесть лет и окончательно

прекратились в 1968 году, вскоре после рождения сына. Самый драматический момент в истории этого союза приходится на рубеж 1963 и 1964 годов. В течение осени 1963 года в Ленинграде усиливалась официальная травля Бродского, и в конце года, опасаясь ареста, он уехал в Москву. Новый год он встретил в московской психиатрической больнице, а в то же время в Ленинграде завязался роман между Басмановой и Дмитрием Бобышевым, которого Бродский считал близким другом[159]. Двойная измена так потрясла Бродского, что в январе 1964 года он пытался покончить с собой, вскрыв вены[160].

Стихи, посвященные «М. Б.», центральны в лирике Бродского не потому, что они лучшие – среди них есть шедевры и есть стихотворения проходные, – а потому, что эти стихи и вложенный в них духовный опыт были тем горнилом, в котором выплавилась его поэтическая личность. Уже в свои последние годы Бродский говорил о них: «Это главное дело моей жизни»[161]. Объясняя, как ему пришла в голову мысль составить из стихов к «М. Б.» книгу «Новые стансы к Августе», он неожиданно приводит сравнение не с денисьевским циклом Тютчева или циклом «Шиповник цветет» Ахматовой, а с «Божественной комедией» Данте: «К сожалению, я не написал „Божественной комедии“. И, видимо, никогда уже не напишу. А тут получилась в некотором роде поэтическая книжка со своим сюжетом...»[162]

Сюжет, о котором говорит автор, – это воспитание чувств, история становления личности. Он развивается от первого, относительно безмятежного периода любви (лирика 1962–1963 годов, в другом месте объединенная в цикл «Песни счастливой зимы»; *ОВП)*. Этой безмятежности соответствует своего рода натурфилософский взгляд на себя и подругу («Ты – ветер, дружок. Я – твой / лес...»)[163]. Отношения двоих неизбежны, поскольку неотделимы от природных процессов – смены ночи и дня, времен года, приливов и отливов. В их жизни участвуют лес, воздух, море, птицы, но начисто отсутствуют упоминания о других человеческих существах, пока те насильственно не разлучают любовников («Как тюремный засов / разрешается звоном от бремени...», 1964). Но и написанные в ссылке и в разлуке с любимой стихи 1964–1965 годов все еще основаны на метафорах природы, хотя в нормальный ход бытия ворвалась противоестественная сила, разлучившая любящих:

> Вот я стою в распахнутом пальто,
> и мир течет в глаза сквозь решето,
> сквозь решето непониманья.
> Я глуховат. Я, Боже, слеповат.

Не слышу слов, и ровно в двадцать ватт
горит луна.

(ОВП)

Этот период завершает стихотворение «Пророчество» (1965) – картина отчаянной личной утопии, где мир природы сжимается до полоски земли на берегу моря, с огородом и устрицами (они упоминались и в ранних, безмятежных стихотворениях «Загадка ангелу» и «Ломтик медового месяца»). Мир *других,* постапокалиптический мир погубившей самое себя цивилизации оставлен за «дамбой». Следующий этап в развитии лирического сюжета – стихи 1967–1972 годов, написанные в момент и после окончательного разрыва. С натурфилософскими мечтаниями покончено:

С той дурной каруселе,
что воспел Гесиод,
сходят не там, где сели,
а где ночь застает.

(«Строфы», 1978)

Среди стихов этого периода есть элегические «Шесть лет спустя» (1968) и «Любовь» (1971). Не опосредованные природой, а непосредственно человеческие отношения с их психологией и бытом появляются в этих стихах-воспоминаниях о распавшемся союзе. Тогда же Бродский начинает переосмысливать личную драму в вечных образах античной и христианской культуры – в форме прямых сравнений («Я покидаю город, как Тезей – / свой Лабиринт, оставив Минотавра / смердеть, а Ариадну ворковать /в объятьях Вакха» [«К Ликомеду, на Скирос», 1967]; «Сбегавшую по лестнице одну / красавицу в парадной, как Иаков, / подстерегал» [«Почти элегия», 1968]) и в аллегорической форме якобы античных сюжетов («Anno Domini», 1968; «Дидона и Эней», 1969; «Одиссей Телемаку», 1972). В стихах к «М. Б.» первых лет жизни за границей навязчивая мысль об утраченной любви усиливает и драматизирует более общий мотив ностальгии: «...я взбиваю подушку мычащим „ты“ / за морями, которым конца и края...» («Ниоткуда, с любовью, надцатого мартобря...», 1975–1976). С конца семидесятых стихи, включенные в «Новые стансы к Августе», становятся все более медитативными, а написанные годы спустя после составления этой книги «Дорогая, я вышел

сегодня из дому поздно вечером...» (1989) и «Подруга, дурнея лицом, поселись в деревне...» (1992) читаются как два иронических постскриптума к былой драме.

Что же, однако, побудило Бродского говорить о своде стихов, связанных с «М. Б.», как о своей «Божественной комедии»? Видимо, сам автор острее, чем это доступно читателю, ощущал пережитую в молодости драму как исключительный, преобразующий личность духовный опыт. Ключевыми в этом отношении являются три стихотворения – «Элегия» («До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу...», 1982), «Горение» (1981) и «Я был только тем, чего...» (1981). В «Элегии» «потерявший подругу» сравнивается с «продуктом эволюции», то есть качественно новым существом, как условное морское животное, выползающее на сушу, где ему предстоит приспособиться к жизни в иной среде и научиться дышать по-другому. В «Горении», полемично дублирующем образность хрестоматийного стихотворения Пастернака «Зимняя ночь», плотская страсть сакрализуется, сравнивается с алтарной жертвой:

Вой, трепещи, тряси
вволю плечом худым.
Тот, кто вверху еси,
да глотает твой дым!

Последнее из трех стихотворений завершается отождествлением земной любви с космической:

Так творятся миры.
Так, сотворив, их часто
оставляют вращаться,
расточая дары,

Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в темень,
в мирозданьи потерян,
кружится шар.

Эта кода есть не что иное, как парафраз заключительной строки «Божественной комедии»: «Любовь, что движет звезды и светила» (пер. М. Лозинского).

В мемуарах Д. В. Бобышева история любовного треугольника, возникшего в 1964 году, рассказана с очевидной оглядкой на роман Достоевского «Идиот». Роль Мышкина, впадающего после

решительного объяснения хотя и не в эпилептический, но в истерический припадок, отведена рассказчику. Бродский изображен как одержимый темной страстью, грозящий то ножом, то топором Рогожин, а мечущаяся между ними и склонная при случае что-нибудь поджечь героиня как Настасья Филипповна. При всей комической наивности этой литературной игры она представляется интересным психологическим свидетельством, особенно в сопоставлении со стихами Бродского к «М. Б.». Выявляется контраст между богатым и сложным интеллектуально-эмоциональным миром Бродского и пошловатым – его соперника, коллизия скорее не из Достоевского, а из Грибоедова, которого Бродский так любил декламировать в детстве: «А вы? о Боже мой! кого себе избрали!» Между тем сами поступки героини этой истории свидетельствуют о натуре глубокой, эмоционально под стать Бродскому, а не просто о молодой представительнице ленинградской богемы, разыгрывающей ходульную роль «роковой женщины».

В отношениях Бродского и Басмановой был и еще один аспект, не сравнимый, конечно, по значению с любовной драмой, но в немалой степени повлиявший на формирование его эстетических взглядов и, возможно, творческой практики. Басманова была дочерью талантливых художников Павла Ивановича и Натальи Георгиевны Басмановых, ученицей В. А. Стерлигова. Стерлигов и Басманов, в свою очередь, в молодости были учениками Казимира Малевича. Бродский всю жизнь скептически относился к эпатажной, то есть наиболее заметной публике стороне авангарда. Когда в 1990 году друзья предложили ему отпраздновать пятидесятилетие в нью-йоркском Гуггенхеймовском музее современного искусства, он сказал: «Согласен при одном условии – чтобы все картины повернули лицом к стене». Но у него были любимые художники среди авангардистов начала века и двадцатых годов (Брак, де Кирико), и он, несомненно, усвоил и перенес в поэзию многое из эстетики живописного авангарда. Это относится и к символике цвета в его стихах, в особенности «универсального цвета», белого, который он сам постоянно связывает с именем Малевича (например, в «Римских элегиях», *У)*[164], и к образам одушевленных машин и мебели в духе итальянского футуризма (цикл «Кентавры», «Стихи о зимней кампании 1980 года», *У),* и к характеру экфрасисов (описаний картин) в его поэзии. В последнем случае это либо словесное описание существующей авангардной живописи («На выставке Карла Виллинка», *У),* либо собственная словесная картина, как, например, портрет «М. Б.» в стихотворении, написанном к ее сорокалетию:

Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной
струн, продолжающая коричневеть в гостиной,
белеть а ля Казимир на выстиранном просторе,
темнеть – особенно вечером – в коридоре...

(У)

Коричневатая «гитарообразная вещь со спутанной паутиной струн», несомненно, напоминает о кубистических натюрмортах Пикассо и Брака, тогда как Малевич прямо назван в следующей строке.

Можно предположить, что общение с Басмановой, которая, как это принято у художников, не расставалась с орудиями ремесла и постоянно тренировала руку и глаз эскизами, повлияло и на поэтическую практику Бродского. Он не расставался с пером и записной книжкой и оставил большое количество неоконченных набросков, многочисленных черновых вариантов, отброшенных текстов, удачные места из которых потом вбирались в законченные и предназначенные для публикации вещи.

Глава IV
Тунеядец

Annus mirabilis, 1964–1965: идеология

Поздняя осень 1963-го и первые полтора месяца 1964 года были крайне тяжелым периодом в жизни Бродского, но не из-за политических преследований, как иногда, задним числом, кажется пишущим о нем. В отношениях с Басмановой происходила перманентная катастрофа, и только этим несчастьем был он одержим. Случилось, однако, так, что именно в этот момент наибольшей душевной уязвимости стечение обстоятельств сделало Бродского объектом полицейской травли. Можно сказать, что он оказался в точке скрещения трех враждебных сил, только одна из которых была нацелена именно на него изначально. Он стал жертвой идеологической политики Н. С. Хрущева, полицейского рвения ленинградских властей и реакционеров из ленинградского отделения Союза писателей, а также махинаций мелкого мошенника Якова Лернера.

За год до разразившейся над Бродским грозы либеральный, «оттепельный» период правления Хрущева достиг своего пика, когда в ноябрьском номере «Нового мира» за 1962 год была напечатана повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это было не произведение с критикой «отдельных недостатков», а колоссальной взрывной силы притча об античеловеческой сущности всего советского проекта. После публикации «Одного дня Ивана Денисовича» должна была бы последовать действительно полномасштабная либерализация. Но она пришла лишь четверть века спустя, а 1963 год стал, напротив, годом идеологической реакции. Партийные бонзы почувствовали, как зашатались устои их режима, и ополчились на свободомыслие, манипулируя своим все более капризным и сумасбродным вождем. Хрущев, озлобленный неудачами экономических реформ и унизительным провалом кубинской авантюры, охотно выместил злобу на художественной интеллигенции. 29 ноября 1962 года он неприлично ругался и топал ногами на выставке нового искусства в Манеже. 17 декабря орал на молодых писателей и художников на специально устроенной встрече, хотя, с характерной для него непоследовательностью, тут же поднимал тост за Солженицына и в перерыве демократически уступал писателям очередь к писсуару[165].

В марте 1963 года была устроена вторая проработочная встреча партийной верхушки с интеллигенцией; в апреле изничтожение литературной крамолы продолжилось на заседании правления Союза писателей СССР, а в июне состоялся

пленум ЦК КПСС, на котором была окончательно закреплена реставрация сталинской политики в области литературы и искусства. Хрущев выступил на пленуме в своей обычной перипатетической манере, приступы ярости в его речи чередовались с добродушными высказываниями и нерелевантными личными воспоминаниями, но отчетливо идеологическая политика режима была сформулирована в докладе секретаря ЦК по идеологии Л. Ф. Ильичева. Этот доклад предстояло изучать всем ответственным за идеологию в структуре советской власти, чтобы совершать соответствующие почти ритуальные действия. Ильичев говорил о «молодых, политически незрелых, но весьма самонадеянных и безмерно захваленных» литераторах, которые разучились «радоваться героическим свершениям народа»[166]. О необходимости обратить особое внимание на коммунистическое воспитание молодежи, поскольку «есть еще среди молодежи лежебоки, нравственные калеки, нытики», которые «под одобрительные кивки из-за океана [пытаются] развенчать принцип идейности и народности искусства, разменять его на птичий жаргон бездельников и недоучек»[167]. В начале доклада Ильичев сурово напоминал стране: «В наших условиях не идет речь о выборе: хочу – тружусь, хочу – бездельничаю. Наша жизнь, ее законы не дают права на такой выбор»[168]. Действительно, хотя советская конституция провозглашала только расплывчатое *право* на труд, полицейский надзор за тем, чтобы все трудоспособные граждане имели постоянное место работы, был установлен законодательно указом от 4 мая 1961 года о борьбе с «тунеядством».

Преследования Бродского в Ленинграде

Правила советских идеологических кампаний требовали, чтобы по примеру шельмования, которому были подвергнуты молодые писатели и художники в Москве, нечто подобное произошло и в других культурных центрах страны, в первую очередь в Ленинграде. Ленинградскому партийному руководству местное управление госбезопасности и руководство местного Союза писателей могли предоставить достаточно обширные списки молодых литераторов-нонконформистов. В 1963–1964 годах в местной печати и на специально проводимых собраниях творческой интеллигенции разносу подвергались как печатавшиеся молодые писатели, так и те, чьи сочинения читались только товарищами по литературным объединениям или даже в домашнем кругу. Казалось бы, более сравнимыми по общественному статусу с московскими жертвами идеологической кампании, такими как Евтушенко и Вознесенский, в Ленинграде были Виктор Соснора и Александр Кушнер, талантливые оригинальные поэты, уже выпустившие по книге стихов и печатавшиеся в журналах. Им действительно пришлось в этот период несладко, но главной жертвой ленинградской инквизиции стал их младший товарищ Иосиф Бродский, чей список публикаций ограничивался на это время одним детским стихотворением в журнале «Костер» и несколькими переводами.

Хотя Бродский уже года три находился в поле зрения ленинградского КГБ и его партийных кураторов, поначалу они вряд ли выделяли его как самую одиозную фигуру из достаточно большой группы фрондирующих молодых литераторов. На роль показательного объекта травли Бродский в тот момент годился не больше, чем другие неофициальные поэты и писатели. Скорее даже меньше, чем многие из них, поскольку после эпизода в Манеже почти обязательным признаком идеологической испорченности считался «формализм» (под которым понималось любое новаторство, любое отступление от соцреалистического канона), а поэтика Бродского была сравнительно консервативна. Большинство молодых, например тот же Соснора, решительнее экспериментировали с литературными формами.

В 1963 году, однако, ленинградская госбезопасность и тесно сотрудничавший с ней обком комсомола обратили внимание на то, что их бывший фигурант по делу Уманского и Шахматова становится исключительно популярен среди интеллигентной молодежи города. 27 января 1963 года в газете «Смена» излагался доклад секретаря Ленинградской областной промышленной

организации ВЛКСМ Кима Иванова. Комсомольский лидер, которому вскоре предстояло стать главой ленинградского КГБ, критиковал Союз писателей за недостаточное внимание к творческой молодежи: «Именно поэтому по городу бродят и часто выступают перед молодежью с упадническими и формалистическими произведениями разного рода „непризнанные“ поэты типа Бродского. <…> Союз писателей отгораживается от подобных молодых людей, мыслящих себя „отвергнутыми гениями“, вместо того чтобы воспитывать их, давая отпор наносному, надуманному в творчестве этих в той или иной степени известных людей»[169]. Интересно, что двадцатидвухлетнего Бродского комсомолец-гебист относит к «известным людям». Интересно также, что в начале 1963 года еще предполагается, что его можно «перевоспитать».

Позднее среди ленинградской интеллигенции утвердилось социально-психологическое объяснение того, почему жертвой показательных репрессий был выбран Бродский. Оно сводится к мысли о том, что сработало некое «коллективное бессознательное» государства, учуявшего опасность в том уровне духовной свободы, на который выводил Бродский читателя даже аполитичными стихами. Его «стихи описывали недоступный для слишком многих уровень духовного существования… [они утоляли] тоску по истинному масштабу существования»[170]. Прозаическое стечение случайностей, на наш взгляд, служит не менее возможной причиной.

Обрушить лавину репрессий на Бродского было доверено совершенно ничтожному «винтику» советской системы – Якову Михайловичу Лернеру[171]. Человек это был малообразованный. Будучи евреем, он не мог сделать в сороковые годы партийную карьеру, а вот в смутное хрущевское время Лернер пытался уловить карьерные возможности. Случай представился в 1956 году, когда он занимал скромную должность завхоза в Ленинградском технологическом институте. В октябре группа студентов института, в которой активную роль играли Рейн, Найман и Бобышев, выпустила стенную газету «Культура» со статьями о западноевропейском искусстве нового времени. Это само по себе политически нейтральное событие совпало с волнениями в Польше и революцией в Венгрии. В обеих странах студенты были застрельщиками выступлений против коммунистического режима, и советская власть, подавляя мятежи за рубежом, усилила контроль и за собственным студенчеством. Сигнал о крамольной «Культуре» подал Лернер – написал в институтскую многотиражку разоблачительную статью-донос. За статьей последовали разбирательства и санкции против

сотрудников «Культуры». Рейн вынужден был перейти в другой, менее престижный институт.

В то же время в стране начали создавать «народные дружины» для помощи милиции в поддержании общественного порядка. В большинстве случаев это было формальное мероприятие. Студенты вузов или молодые рабочие, сотрудники учреждений отбывали положенное по разнарядке время, курсируя по улицам с красными повязками на рукавах. Иногда они помогали милиционерам притащить в отделение пьяного. Были, однако, и более активные дружины. Одну из них в 1963 году возглавлял Лернер, который к этому времени служил уже не в Технологическом институте, а в институте «Гипрошахт» на канале Грибоедова в одном квартале от Невского. «По тогдашним нравам, – рассказывал журналистам уже в перестроечные годы А. С. Костаков, бывший прокурор Дзержинского района, который 12 декабря 1963 года потребовал предания Бродского общественному суду Союза писателей, – общественность как бы превалировала над законом. Скажем, дружина Лернера и он сам были вездесущи – они запросто заходили в райком, к тому же секретарю райкома Н. Косаревой. У них был набор всевозможных удостоверений – „общественный помощник прокурора, следователя и т.д.“. <…> Кстати, в отношении тех же дружинников Лернера возбуждались уголовные дела. Иногда эти люди выступали в роли грабителей. Но тем не менее Лернер и его команда, заручившись поддержкой райкома, процветали»[172]. «Оперативный отряд» орудовал в самом центре города, и он использовал это обстоятельство, чтобы доказать властям свою преданность и организаторские способности. Антиинтеллигентская кампания 1963 года была для него поводом вновь обратить на себя внимание, причем на самом высоком уровне. В архиве ЦК КПСС сохранилось письмо, написанное Лернером Хрущеву 11 марта 1963 года, то есть сразу после публикации отчета о мартовской встрече Хрущева с писателями и деятелями искусства. Содержание этого не слишком грамотного документа сводится к льстивым похвалам Хрущеву[173]. Лернер благодарит вождя за то, что в Советской стране нет и не может быть антисемитизма, жалуется на евреев, которые преследуют его за то, что у него русская жена, внучка православного священника, сообщает о своей дружинной деятельности. Скорее всего, главная цель опытного карьериста состояла в том, чтобы лишний раз обратить на себя внимание властей. Лернер понимал, что оттаскиванием пьянчуг в вытрезвитель и хулиганов в кутузку карьеру не продвинешь, а вот разоблачением «чуждого элемента», идейного растлителя молодежи в разгар всесоюзной

идеологической кампании можно.

Бродский был другом Рейна, Наймана и Бобышева, которых Лернер помнил с 1956 года. Бродский был евреем, что немало значило для стремившегося отмежеваться от своего еврейства Лернера. Бродский не имел постоянного места работы, и, таким образом, его можно было «подвести под указ» как тунеядца (что тоже немаловажно, потому что разоблачение идеологических противников не входило, строго говоря, в компетенцию милиции и народной дружины, а вылавливание тунеядцев входило). Наконец, Бродский жил в Дзержинском районе, где Лернер был своим человеком в райотделе милиции. Лернер завел досье на Бродского. В папке, которую он показывал журналисту О. Г. Чайковской, были не только записи его наблюдений за Бродским, но и личный дневник шестнадцатилетнего Бродского (1956 год) [174]. Дневник мог быть либо выкраден, либо получен от знакомых следователей КГБ. 21 октября Лернер позвонил Бродскому и как руководитель народной дружины попросил его зайти для разговора. Как понял Бродский, единственной целью пятнадцатиминутной встречи было выяснить, не устроился ли он на постоянную работу[175]. Постоянного места службы Бродский не имел, и Лернер решил: его можно было объявлять тунеядцем.

29 ноября в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Окололитературный трутень», подписанная Лернером и двумя штатными сотрудниками газеты, Медведевым и Иониным[176]. Писали они в том же вульгарном стиле, что и автор вышеупомянутой статьи «Бездельники карабкаются на Парнас» в московских «Известиях». Лернер и его соавторы четырежды повторили в своей статье полюбившуюся им фразу. Бродского называли «пигмеем, самоуверенно карабкающимся на Парнас», говорили, что ему «неважно, каким путем вскарабкаться на Парнас», что он «не может отделаться от мысли о Парнасе, на который хочет забраться любым, даже самым нечистоплотным путем». Клеймили его даже за то, что он желает «карабкаться на Парнас единолично», как если бы коллективное карабканье заслуживало снисхождения[177]. Лернер не отличался аккуратностью, материалы своих доносов не проверял, и в статье переврано почти все, что относится к Бродскому. К возрасту его прибавлено три года, ему приписана дружба с людьми, которых он никогда в глаза не видел. Из трех стихотворных цитат, призванных проиллюстрировать упадочничество, цинизм и бессмыслицу его стихов, две взяты из стихов Бобышева (о чем Бобышев сделал заявление в Союз писателей сразу же после опубликования статьи). Третья, из юношеской поэмы Бродского «Шествие», представляет собой окончания шести строк, от

которых отрезаны первые половинки, до цезуры, из-за чего текст действительно превращался в бессмыслицу. В статье в беллетризованной форме пересказывался самаркандский эпизод – недоказанная попытка угона самолета и попытка передачи рукописи Уманского Мелвину «Бейлу» (почему-то простая фамилия Белли чекистам не давалась):

«Бейл пригласил [Бродского и Шахматова] к себе в номер. Состоялся разговор.

– У меня есть рукопись, которую у нас не издадут, – сказал Бродский американцу. – Не хотите ли ознакомиться?

– С удовольствием сделаю это, – ответил Мелвин и, полистав рукопись, произнес: – Идет, мы издаем ее у себя. Как прикажете подписать?

– Только не именем автора.

– Хорошо. Мы подпишем ее по-нашему: Джон Смит»[178].

Эта идиотская сцена насмешила бы даже неприхотливого читателя советского шпионского романа, но в данном контексте она была грозным сигналом: за Лернером стоит ленинградский КГБ, без поддержки которого материалы по делу Уманского в печать бы не попали. Угрожающе звучало и название статьи: «трутень» – синоним слова «тунеядец». Чаще всего за такого рода фельетонами для их героев следовали неприятности типа исключения из комсомола или учебного заведения. Исключить Бродского из комсомола или института было невозможно, так как он ни там, ни там не числился, а вот за «тунеядство» могли судить. «Он продолжает вести паразитический образ жизни. Здоровый 26-летний (!) парень около четырех лет не занимается общественно полезным трудом»[179], – говорилось в заключительной части статьи. Тунеядец, пишущий формалистические и упадочнические стишки, пресмыкающийся перед Западом – получался собирательный образ отщепенца, прямо по докладу Ильичева на июньском пленуме ЦК[180].

Почему для расправы с Бродским было выбрано обвинение в тунеядстве? Историк В. Козлов объясняет: «В середине 60-х годов, до и после снятия Хрущева, идет поиск наиболее эффективных мер воздействия на инакомыслящих, соблюдая при этом правила игры в социалистическую законность. <…> Дело Бродского – это один из экспериментов местных властей, которым не нравится некая личность с ее взглядами, убеждениями и представлениями, но которую по законам советской власти нельзя судить за эти убеждения и представления, ибо он [их] не распространяет… Значит, <…> эксперимент – судить Бродского за тунеядство»[181]. Лернер очень старался, чтобы этот эксперимент прошел успешно. Бродский, строго говоря, даже по советским

законам, тунеядцем не являлся. Частая смена места работы не поощрялась, но «Указ о борьбе с тунеядством» был нацелен не на «летунов», а на тех, кто вообще не работает, живет на нетрудовые доходы (мелкая спекуляция, проституция, нищенство), пьянствует, хулиганит. Нужно было представить дело так, что, по крайней мере весь последний год, после казахстанской экспедиции в сентябре 1962 года, Бродский бездельничал. Но в этот период Бродский как раз начал зарабатывать литературным трудом. В ноябрьском номере журнала «Костер» за 1962 год была напечатана пространная «Баллада о маленьком буксире». Осенью 1962 года в московском издательстве «Художественная литература» вышла антология кубинской поэзии с двумя переводами Бродского, в 1963-м еще два его перевода были включены в сборник поэтов Югославии, и уже имелись договоры с этим солидным издательством на новые переводы. Лернер специально поехал в Москву, напугал руководство «Художественной литературы» антисоветской репутацией молодого ленинградца и добился аннулирования новых заказов на переводы.

Поначалу Бродский среагировал на появление пасквиля наивно: он написал обстоятельный ответ, доказывая по пунктам лживость и несостоятельность обвинений[182]. Письмо осталось без ответа. Поход «за правдой» вместе с уважаемым ученым-китаистом Борисом Бахтиным, сыном прославленной советской писательницы Веры Пановой, в Дзержинский райком партии к секретарю райкома Н. С. Косаревой, которая была не прочь порой проявить либерализм[183], никаких результатов не дал. К этому моменту решение покарать Бродского, чтобы другим неповадно было, уже приняли на высшем ленинградском уровне. Да и неспособный к идеологической мимикрии Бродский на приеме у партийной руководительницы Дзержинского района неуместной откровенностью лишь убедил ее в своей глубокой испорченности. На вопрос, почему он не стал получать высшее образование, Бродский ответил: «Я не могу учиться в университете, так как там надо сдавать диалектический материализм, а это не наука. Я создан для творчества, работать физически не могу. Для меня безразлично, есть партия или нет партии, для меня есть только добро и зло»[184]. Это из сжатого отчета Н. С. Косаревой, то есть не абсолютно точное цитирование, но характерные для молодого Бродского высказывания тут узнаются.

Поскольку дело шло о поэте, ленинградский Союз писателей не мог остаться в стороне. Его руководителем был в это время А. А. Прокофьев (1900–1971), небесталанный поэт, сам некогда бывший объектом официальной критической проработки, но

убежденный «солдат партии», человек со вздорным характером, несколько сродни хрущевскому. Руководил он писательской организацией авторитарно с помощью правления и партийного бюро, составленных главным образом из его прихлебателей, самых бездарных литераторов, каких только можно было найти в Ленинграде: это были пожилые поэты Н. Л. Браун и И. К. Авраменко, прозаик П. И. Капица и несколько серых приспособленцев помоложе. Несмотря на постоянную готовность Прокофьева служить партии, понадобился специальный трюк, чтобы вызвать особую ярость этого темпераментного человека по отношению к Бродскому. Кто-то из окружения подсунул ему грубую эпиграмму, каких было немало (обычно в них заглазное прозвище «Прокопа» рифмовалось с неприличным словом). Автором объявили Бродского, хотя, как пишет близкий друг Бродского, «никаких эпиграмм Иосиф на Александра Андреевича не писал. Прокофьев, честно говоря, интересовал его весьма мало»[185].

17 декабря Лернер выступал на заседании секретариата Союза писателей. Ему было поручено зачитать письмо прокурора Дзержинского района о предании Бродского общественному суду. Общественные суды как квазиюридические инстанции представляли собой собрания общественности по месту работы или жительства «подсудимого». Поскольку речь шла о начинающем литераторе, видимо, предполагалось, что общественный суд будет организован Союзом писателей, хотя формально Бродский не был связан с этой организацией. Обычно общественные суды ограничивались ритуальным шельмованием нарушителя общественного спокойствия, но иногда принимали решение о передаче дела в настоящий суд. Правление ленинградского Союза писателей постановило и «В категорической форме согласиться с мнением прокурора о предании общественному суду И. Бродского [и] поручить выступить на общественном суде тт. Н. Л. Брауну, В. В. Торопыгину, А. П. Эльяшевичу и О. Н. Шестинскому», а «имея в виду антисоветские высказывания Бродского и некоторых его единомышленников, просить прокурора возбудить против Бродского и его „друзей“ уголовное дело»[186]. Почему правление писательской организации пошло в инквизиторском усердии дальше, чем прокуратура? Со страху. «Писатели-секретари, сформировавшиеся как писатели во времена [Сталина], все еще продолжали жить в прошлом. Ленинградская писательская организация в годы „большого террора“ понесла громадный урон»[187].

На Канатчиковой даче. «Песни счастливой зимы»

Общественный суд был назначен на 25 декабря, но к этому времени Бродский уехал в Москву и 1964 год встретил на Канатчиковой даче, в Московской психиатрической больнице имени Кащенко. В больницу на обследование его устроили друзья в надежде, что диагноз душевного расстройства спасет поэта от худшей судьбы. Этот план был принят на «военном совете» в доме Ардовых с участием самого Бродского и Ахматовой, и осуществить его помогли знакомые врачи-психиатры[188]. Тогда же Бродский писал об этом новогодье:

> Здесь в палате шестой,
> встав на страшный постой
> в белом царстве спрятанных лиц,
> ночь белеет ключом
> пополам с главврачом...[189]

Измученный нервным напряжением последних месяцев, Бродский испугался, что он в самом деле потеряет рассудок «в белом царстве спрятанных лиц», и уже через несколько дней потребовал у друзей, чтобы они вызволили его из психбольницы, куда не без труда устроили. Все же желанную справку, видимо, получить удалось, поскольку позднее Ахматова пишет А. А. Суркову: «Спешу сообщить, что Иосиф Бродский выписан с Канатчиковой дачи... <...> с диагнозом шизоидной психопатии и что видевший его месяц тому назад психиатр утверждает, что состояние его здоровья значительно ухудшилось вследствие травли, кот[орую] больной перенес в Ленинграде»[190].

Сразу по выходе из больницы, 2 января[191], Бродский узнал о связи Марины с бывшим другом и устремился в Ленинград для объяснений[192]. Через несколько дней он попытался перерезать себе вены (запись об этом в дневнике Чуковской сделана 9 января). Друзья и знакомые воспринимали преследование Бродского и надвигающуюся расправу как ужасное событие общественно-политического значения, но для Бродского в тот момент трагедией была потеря женщины, которую он считал женой, а все остальное – лишь абсурдными обстоятельствами, усугубляющими эту трагедию. Именно под знаком любовной коллизии, а не борьбы с режимом прошел для него 1964-й и следующий годы. И в психиатрической больнице, и в

последующие несколько недель до ареста, когда он метался между Москвой, Ленинградом и Тарусой, спасаясь от ленинградских ищеек, он продолжал работать над лирическим циклом «Песни счастливой зимы». Название не было ироническим – цикл проникнут воспоминаниями о счастливом периоде любви, зиме 1962/63 года. Даже стихи, датированные январем 1964 года, биографический подтекст которых страшен, отличаются отрешенным элегическим тоном:

Песни счастливой зимы
на память себе возьми,
чтобы вспоминать на ходу
звуков их глухоту:
местность, куда, как мышь,
быстрый свой бег стремишь,
как бы там ни звалась,
в рифмах их улеглась.
<.....>
Значит, это весна.
То-то крови тесна
вена: только что взрежь,
море ринется в брешь.

(ОВП)

В тех реальных обстоятельствах, в которых они создавались, «Песни счастливой зимы» принципиально, даже воинственно, аполитичны. В тот момент допустить в стихи жалобу на удары судьбы или протест означало бы для Бродского уступку обстоятельствам, позволение экзистенциальному абсурду войти в святая святых. Позднее он будет непосредственно справляться в своей поэзии с любым жизненным опытом, но в тот момент это было вопросом выбора: размышлять в стихах о любви и природе, или о паспортных столах, лернерах и правлениях союзов писателей. Исключение составляет только стихотворение «Письма к стене»[193]. Автор не считал его достойным включения в сборники. Скорее всего, он счел изображение самого себя как беззащитного «малыша», боящегося смерти («Только жить, только жить и на все наплевать...»), и этической ошибкой, и поэтической банальностью. Но в «Письмах к стене» возникают мотивы тюрьмы, больницы, самоубийства, то есть обстоятельства его жизни в первые недели 1964 года[194]. Остальные стихи этого периода, включая и риторически пышную «Прощальную оду» *(CHBBC),* никак не говорят о том, что автор писал их, будучи объектом

преследования, травли, сознавая свою обреченность. В свете того, что мы знаем об условиях, в которых Бродский заканчивал «Песни счастливой зимы», окрашенная легкой иронией элегичность любовных стихотворений, медитативность стихов о природе, общий спокойный тон, характерный скорее для английского сквайра или русского помещика девятнадцатого века, чем для бегающего от милиции советского изгоя, – все это получает объяснение как сознательно выбранная нравственная позиция, борьба за внутреннюю независимость. Бродский рассказывал мне, как 18 января 1964 года работал за письменным столом, пользуясь вечером тишины – родители ушли куда-то. Вдруг ввалились милиционеры и стали грозить, что, если он в три дня не устроится на работу, ему будет худо. «Я что-то им отвечал, но все время маячила мысль, что надо кончить стихотворение»[195]. Стихотворение, законченное после ухода милиционеров, было о садовнике, который раскрывает ножницы в кроне дерева, как птица клюв – «Садовник в ватнике, как дрозд...» *(ОВП)*.

Арест и предварительный суд

Вернувшись из очередной поездки в Москву, вечером 13 февраля Бродский отправился в гости к приятелю, композитору Слонимскому, и был арестован на улице около своего дома. В течение суток родители не знали, куда он пропал. В Дзержинском райотделе милиции, где его содержали в одиночной камере, родителям поначалу сказали, что их сына там нет. 14 февраля у него случился в камере сердечный приступ, приехала «скорая помощь», сделали укол, но условия содержания не изменили. Немного поддержал Бродского заместитель начальника Дзержинского райотдела милиции молодой интеллигентный офицер Анатолий Алексеев, университетский товарищ приятеля Бродского, поэта Л. А. Виноградова. Вечером, когда большинство сотрудников расходились по домам, он приводил арестанта к себе в кабинет, поил чаем с бутербродами, говорил: «К сожалению, это все, что я могу для вас сделать». К Алексееву попробовал обратиться за помощью писатель И. М. Меттер. Как автор популярной повести и сценария кинофильма об отважных милиционерах «Ко мне, Мухтар!», он имел связи в ленинградской милиции. Алексеев сказал ему, что дело безнадежное: «Василий Сергеевич распорядился, суд проштампует – и вся игра»[196]. Василий Сергеевич – это был Толстиков, первый секретарь Ленинградского обкома партии.

В Дзержинском районном суде слушание дела Бродского состоялось 18 февраля. И. М. Меттер так описывает свои впечатления: «Не забыть мне никогда в жизни ни этого оскорбительного по своему убожеству зала, ни того срамного судебного заседания... Да какой уж зал! Обшарпанная, со стенами, окрашенными в сортирный цвет, с затоптанным, давно не мытым дощатым полом комната, в которой едва помещались три продолговатых скамьи для публики, а перед ними, на расстоянии метров трех – судейский стол, канцелярский, донельзя поношенный, к нему приставлен в форме буквы Т столик для адвоката, прокурора и секретаря. <...> Нас всех, вместе с подсудимым, окунали в наше ничтожество.

Допущенная в зал публика – Вигдорова, Грудинина, Долинина, Эткинд и я легко разместились на первой скамье; на ней же, с краю, поближе к дверям сидели мать и отец Иосифа. На них было больно смотреть. Они не отрывали глаз от двери, она должна была отвориться и впустить их сына...

Поразительно для меня было, что этот юноша, которого только теперь я имел возможность подробно разглядеть и

наблюдать, да при том еще в обстоятельствах жестоко для него экстремальных, излучал какой-то покой отстраненности – [судья] Савельева не могла ни оскорбить его, ни вывести из себя, он и не пугался ее поминутных грубых окриков. <…> лицо его выражало порой растерянность оттого, что его никак не могут понять, а он в свою очередь тоже не в силах уразуметь эту странную женщину, ее безмотивную злобность; он не в силах объяснить ей даже самые простые, по его мнению, понятия»[197].

Допрос, который вела судья Савельева, был откровенно направлен на то, чтобы сразу же подтвердить обвинение Бродского в тунеядстве.

> «*Судья*: Чем вы занимаетесь?
> *Бродский*: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…
> *Судья*: Никаких «я полагаю». Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! <…> У вас есть постоянная работа?
> *Бродский*: Я думал, что это постоянная работа.
> *Судья*: Отвечайте точно!
> *Бродский*: Я писал стихи! Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю…
> *Судья*: Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали?
> *Бродский*: Я работал. Я писал стихи.
> *Судья*: Нас это не интересует…»[198]

Судья задает Бродскому вопросы по поводу его краткосрочных работ на заводе и в геологических экспедициях, литературных заработков, но лейтмотив допроса – отказ судьи признавать литературную работу Бродского работой и самого Бродского литератором.

> «*Судья*: А вообще какая ваша специальность?
> *Бродский*: Поэт. Поэт-переводчик.
> *Судья*: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
> *Бродский*: Никто. *(Без вызова.)* А кто причислил меня к роду человеческому?
> *Судья*: А вы учились этому?
> *Бродский*: Чему?
> *Судья*: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят… где учат…
> *Бродский*: Я не думал, что это дается образованием.
> *Судья*: А чем же?
> *Бродский*: Я думаю это… *(растерянно)* от Бога…»[199]

С точки зрения формального судопроизводства, которое и в советские времена предполагало состязательность, странным является молчание или даже отсутствие прокурора. Сторону обвинения представляет судья! Это ставило в особо трудное положение защиту, так как защитнику приходилось вступать в спор с судьей. Бродского защищала З. Н. Топорова, опытный и уважаемый в городе адвокат. Аргументы против осуждения ее подзащитного по указу 1961 года были сильные: его даже и не обвиняли в том, что он ведет антиобщественный образ жизни – пьянствует и хулиганит, живет на нетрудовые доходы. Нельзя было обвинить его и в том, что он нигде не работает, не зарабатывает денег. На втором заседании суда между Бродским и «общественным обвинителем» произошел следующий обмен репликами:

> «*Сорокин*: Можно ли жить на те суммы, которые вы зарабатываете?
>
> *Бродский*: Можно. Находясь в тюрьме, я каждый день расписывался в том, что на меня израсходовано в день 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по сорок копеек в день».

В действительности, если разделить заработки Бродского, о которых суду были представлены справки, на период между его последней экспедицией и арестом, выходит приблизительно 1 рубль в день, на что человек мог кое-как пропитаться в те времена. Получалось, что его обвиняют не в том, что он не работает, а в том, что зарабатывает мало, что его подкармливают родители, но это никак нельзя было квалифицировать как уголовно наказуемое поведение. Все, однако, понимали, что если «Василий Сергеевич распорядился», то советский судья будет выполнять распоряжение, поэтому главный расчет защиты был добиться мягкого наказания тем же способом, каким предполагали спасти Иосифа московские друзья, то есть получить свидетельство о его психической болезни – что взять с душевнобольного? Поэтому в конце первого судебного заседания адвокат ходатайствует о направлении Бродского на медицинское освидетельствование.

На Пряжке

Это ходатайство было удовлетворено в большей степени, чем ожидалось. Вместо освобождения из-под стражи и амбулаторного обследования, как просила защита, Бродского на три недели заперли «на Пряжке», то есть в психиатрической больнице № 2 на набережной реки Пряжки, причем первые три дня в палате для буйных. Там его сразу же принялись «лечить» – будили среди ночи, погружали в холодную ванну, заворачивали в мокрые простыни и клали рядом с батареей отопления. Высыхая, простыни врезались в тело. В 1987 году, отвечая на вопрос, какой момент в его советской жизни был самым тяжелым, Бродский не задумываясь назвал мучения, перенесенные на Пряжке[200]. Неясно, зачем надо было подвергать Бродского средневековым пыткам. Ведь никаких сведений карательные органы получить от него не стремились и, судя по всему, не требовали и покаяния, признания своих заблуждений (за исключением рассказанного выше, в главе первой, эпизода со следователем Ш., но тот, возможно, действовал по собственной инициативе). Остается одно из двух – либо его действительно считали душевнобольным и хотели вылечить своими методами, чтобы сделать пригодным для суда и осуждения, либо имел место садизм медперсонала, о котором позднее мир узнал из рассказов диссидентов, подвергшихся советскому психиатрическому террору[201]. В Ленинграде благожелательно настроенных по отношению к Бродскому врачей не оказалось, и заключение психиатры с Пряжки дали, скорее всего, объективное, но в тех обстоятельствах губительное: «...проявляет психопатические черты характера, но психическим заболеванием не страдает и по своему состоянию нервно-психического здоровья является трудоспособным»[202].

Суд

Второе заседание суда, 13 марта, решено было провести как показательный процесс. Для этого нашли вместительный зал в клубе 15-го ремонтно-строительного управления (Фонтанка, 22). У входа висело объявление «Суд над тунеядцем Бродским». Когда в ходе процесса один из выступавших заметил, что это является нарушением принципа презумпции невиновности, суд на это никак не прореагировал[203]. «Из друзей Иосифа и вообще литературной публики в зал попало сравнительно немного народу. Две трети зала заполнены были специально привезенными рабочими, которых настроили соответствующим образом»[204]. Процесс состоял из трех частей: допрос подсудимого, выступления и допрос свидетелей, речи общественного обвинителя и адвоката. Диалог Бродского с судьей Савельевой проходил в той же абсурдной манере, что и на первом заседании суда. Судья на все лады требовала от Бродского ответа, почему он не работал после ухода из школы.

> «*Судья*: …Объясните суду, почему вы в перерывах [между работами. – *Л. Л.]* не работали и вели паразитический образ жизни?
>
> *Бродский*: Я в перерывах работал. Я занимался тем, чем я занимаюсь и сейчас: я писал стихи.
>
> *Судья*: Значит, вы писали свои так называемые стихи? А что полезного в том, что вы часто меняли место работы?
>
> *Бродский*: Я начал работать с пятнадцати лет. Мне все было интересно. Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни, о людях.
>
> *Судья*: А что вы делали полезного для родины?
>
> *Бродский*: Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден… я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям.
>
> *Судья*: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?
>
> *Бродский*: А почему вы говорите про стихи «так называемые»?
>
> *Судья*: Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет»[205].

Эти однообразные пререкания – судья спрашивает, почему Бродский не работает, он отвечает, что пишет стихи, –

продолжались в течение всего допроса подсудимого.

Свидетели защиты, все трое, были членами Союза писателей: поэт Н. И. Грудинина (р. 1918) и два профессора-филолога из педагогического института им. Герцена, оба известные переводчики с европейских языков – Е. Г. Эткинд (1918–1999) и В. Г. Адмони (1909–1993). Как специалисты в области поэзии и поэтического перевода они пытались доказать суду, что сочинение и переводы стихов действительно являются нелегким трудом, требующим особого таланта и профессиональных знаний, что эту работу Бродский делал квалифицированно и талантливо. Все трое были знакомы с молодым поэтом и отзывались о нем тепло и с уважением. О тех, кто свидетельствовал против него, Бродский уже из ссылки писал в письме генеральному прокурору СССР: «Могут ли называться свидетелями лица, которые меня никогда не видели? Свидетелями ЧЕГО они в таком случае являются?»[206] Но Бродский понимал слово «свидетель» как поэт по его корневому смыслу, тогда как в том ритуале, который разыгрывался под руководством судьи Савельевой, значение свидетельства понималось совсем иначе, примерно так, как понимается «свидетельство» в некоторых евангелических сектах: «свидетель» прилюдно свидетельствует о своей безоговорочной вере (в данном случае в авторитет Советского государства и всех его органов – КГБ, милиции, газеты «Смена») и о священной ненависти к тем, кого государство объявляет своими врагами. В этом смысле характерна риторика общественного обвинителя Сорокина, соратника Лернера по народной дружине Дзержинского района: «Бродского защищают прощелыги, тунеядцы, мокрицы и жучки... Он —тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек»[207]. Свидетелей обвинения было вдвое больше, чем свидетелей защиты. Литератором из шести был только присланный Союзом писателей Е. В. Воеводин, остальные пятеро – начальник Дома обороны Смирнов, завхоз Эрмитажа Логунов, рабочий-трубоукладчик Денисов, пенсионер Николаев и преподавательница марксизма-ленинизма Ромашова – никак не являлись специалистами в области литературного труда. Все шестеро начинали свои показания с заявления, что с Бродским лично не знакомы. Это может показаться странным – зачем настаивать на своем незнакомстве с человеком, о котором собираешься свидетельствовать, но такой зачин напоминал уже установившуюся пятью годами раньше во время кампании «всенародного осуждения» Пастернака формулу: «Я романа Пастернака не читал, но...» Видимо, логика партийных сценаристов была такая: личное знакомство может быть основой личной антипатии, а советские трудящиеся дают объективную

оценку *общественной* личности обвиняемого. Поэтому так символически репрезентативен подбор «свидетелей» по социальному положению, полу и возрасту – рабочий, военный, служащий, пенсионер, два интеллигента, среди них люди разных поколений, мужчины и женщина. Символика здесь очевидна – всенародное (в масштабах Дзержинского района города Ленинграда) осуждение тунеядца.

Насколько нам известно, даже не делалось попыток найти свидетелей обвинения среди личных знакомых Бродского. Вероятно, не потому, что такие попытки ни к чему бы не привели – кто знает? – но просто задача суда была не юридическая, а ритуально-идеологическая. Сведения о Бродском свидетели почерпнули из статьи и «писем читателей» в «Вечернем Ленинграде» и еще, надо полагать, на инструктаже в райкоме партии. Воеводин был также проинструктирован в Союзе писателей, а пенсионер Николаев якобы видел стихи Бродского у своего непутевого сына. В их речах, в том числе и в речи Воеводина, варьировались обвинения из пасквиля Ионина, Лернера и Медведева. Вели они себя уверенно и даже нагло. На вопрос адвоката, откуда он знает, что «антисоветские стихи», которые его возмущают, были написаны Бродским, ведь в деле, как выяснилось, фигурируют стихи, написанные другими поэтами, начальник Дома обороны ответил: «Знаю и всё»[208]. Ни одного замечания свидетелям обвинения судья, однако, не сделала, тогда как свидетелей защиты, в особенности двух почтенных профессоров, то и дело грубо одергивала.

Адвокат Бродского Зоя Николаевна Топорова старалась, по возможности не раздражая суд, повернуть дело в юридическое русло, на основании документов и свидетельских показаний доказать, что ее подзащитный никак не может быть осужден по указу о тунеядцах: немного, но зарабатывал, в антиобщественном поведении не уличен. Обвинители клеймили Бродского не только за то, что он не работает, а пишет «так называемые» стихи, но и за то, что не служил в армии, и за связь с Шахматовым и Уманским. Строго говоря, ни то ни другое вообще не относилось к делу, но опытный адвокат знала, как расширительно толкуются законы и указы в советском суде, и ответила и на эти выпады: по делу Уманского и Шахматова компетентные органы не сочли нужным предъявить Бродскому обвинения, а от армии он был освобожден в законном порядке по состоянию здоровья. Позже Топорова вспоминала: «Бродский замечательно сказал свое последнее слово. Там было: „Я не только не тунеядец, а поэт, который прославит свою родину“. В этот момент судья, заседатели – почти все – загоготали»[209].

Процесс продолжался около пяти часов и закончился поздно вечером. Приговор поразил даже тех, кто без надежды на оправдание пришел в суд, чтобы поддержать поэта. Бродского осудили на максимально возможное по указу 1961 года наказание – «выселить из гор. Ленинграда в специально отведенную местность на срок 5 (пять) лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения»[210].

Помимо приговора Бродскому суд вынес еще и совершенно невероятное, с юридической точки зрения, частное определение – осудил свидетелей защиты Грудинину, Эткинда и Адмони за высказывание ими своих мнений о личности и творчестве подсудимого, то есть за то, для чего их и вызывали в суд. Они, говорилось в частном определении, «пытались представить в суде пошлость и безыдейность его стихов как талантливое творчество, а самого Бродского как непризнанного гения. Такое поведение Грудининой, Эткинда и Адмони свидетельствует об отсутствии у них идейной зоркости и партийной принципиальности». Частное определение было передано в Союз писателей с указанием: «О принятых мерах доложить суду»[211].

Движение в защиту Бродского и международная известность

Решительное поведение трех свидетелей защиты на суде, взволнованный интерес городской интеллигенции к процессу и солидарность с подсудимым явились неожиданностью для устроителей судилища. После первого заседания 18 февраля, «когда все вышли из зала суда, то в коридорах и на лестницах увидели огромное количество людей, особенно молодежи». Судья Савельева удивилась: «Сколько народу! Я не думала, что соберется столько народу!»[212] Партийные функционеры, которые планировали показательный суд, и их гэбистские консультанты, привыкшие со сталинских времен к тому, что запуганные люди покорно или, по крайней мере, молчаливо воспринимают устрашительные акции режима, не учли, что за десять послесталинских лет подросло поколение, не травмированное опытом массового террора, что молодежь будет действовать солидарно с теми из старшего поколения интеллигенции, кому, несмотря на этот опыт, удалось сохранить личное достоинство, что вместе они будут бороться за свободу мысли и самовыражения. Не заботясь о соблюдении юридических приличий, сознательно планируя свое показательно-карательное мероприятие как символическое, устроители процесса не учли и того, что тогда и отклик на него будет как на символический акт произвола. На удивленное восклицание судьи относительно большого скопления публики из толпы ответили: «Не каждый день судят поэта!»

По мере того как расходились круги по воде общественного мнения, двадцатитрехлетний Иосиф Бродский, автор таких-то и таких-то стихотворений, превращался в архетипического Поэта, которого судит «чернь тупая». Первоначально защиту Бродского организовали люди, лично его знавшие, любившие его, переживающие за его судьбу: Ахматова и более близкие Бродскому по возрасту друзья М. В. Ардов, Б. Б. Бахтин, Я. А. Гордин, И. М. Ефимов, Б. И. Иванов, А. Г. Найман, Е. Б. Рейн и другие, а также те старшие знакомые среди ленинградских писателей и филологов, которые ценили его дарование, в первую очередь выступавшие на суде Грудинина и Эткинд. Вслед за ними в дело защиты уже не столько Бродского как такового, но Поэта и принципов справедливости стало вовлекаться все возрастающее число людей в Москве и Ленинграде. В противовес официальной началась подлинно общественная кампания. Центральными

фигурами в ней были две женщины героического характера – преданный друг Ахматовой писательница Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996) и близкая подруга Чуковской журналистка Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965). Это они неутомимо писали письма в защиту Бродского во все партийные и судебные инстанции и привлекали к делу защиты Бродского людей, пользующихся влиянием в советской системе – композитора Д. Д. Шостаковича и писателей С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, К. Г. Паустовского, А. Т. Твардовского, Ю. П. Германа, даже осторожного К. А. Федина и весьма официозного, но готового помочь из уважения к Ахматовой А. А. Суркова. Даже в ЦК партии они нашли скрытого, но ценного союзника – заведующего сектором литературы И. С. Черноуцана (1918–1990)[213].

Запись суда над Бродским, сделанная Вигдоровой, несмотря на угрозы судьи, стала документом огромного значения не только в судьбе Бродского, но и в новейшей политической истории России. За несколько месяцев она распространилась в самиздате, оказалась за рубежом и стала цитироваться в западной прессе. Если до этого имя Бродского на Западе было почти никому неизвестно, то к концу 1964 года, в особенности после того, как во Франции «Figaro Litteraire», а в Англии «Encounter», напечатали полные переводы вигдоровской записи. Романтическая история поэта, над которым чинят расправу злобные, тупые бюрократы, уже вовсе очищенная от подробностей скудного советского быта и местного политиканства, потрясла воображение западной интеллигенции. Для тех, кто знал цену тоталитаризму, суд над Бродским стал еще одним после травли Пастернака подтверждением, что свобода слова в советской России при Хрущеве так же невозможна, как при Сталине, а для многих людей левых убеждений – окончательным крахом доверия к советской разновидности социализма. Французский поэт Шарль Добжински (р. 1929) в октябре 1964 года напечатал в коммунистическом журнале «Action poetique» целую поэму «Открытое письмо советскому судье». Эта гневная филиппика («В то время, как спутники летят к планетам [sic], / В Ленинграде выносят приговор поэту!»[214] и т. п.) заканчивалась так:

> И во имя поэзии, и во имя правосудия,
> Без которых социализм остается мертвой буквой,
> Я даю вам отвод, товарищ судья![215]

Крупнейший американский поэт Джон Берримен (1914–1978) в стихотворении «Переводчик» писал:

...многие поэты трудились столь тяжко за
столь малую плату,
но их не судили за это [...],
как этого молодого человека,
который только и хотел, что ходить
вдоль каналов,
говоря о поэзии и делая ее[216].

В Англии радиоинсценировку процесса Бродского транслировали в программе Би-би-си.

Иногда говорят, что всемирной славой Бродский обязан не своим стихам, а своему процессу. Это верно в том смысле, что мгновенная известность в век mass media открыла ему доступ к всемирной аудитории. Однако в сходном положении бывали и другие русские литераторы как до, так и после Бродского, но, за исключением Солженицына, только творчество Бродского оказалось соразмерным открывшейся возможности[217]. Значение происходившего в 1964 году для дальнейшей судьбы ее молодого друга раньше всех поняла Ахматова: «Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!»[218] Шутка Ахматовой основана на расхожей цитате из «Записок поэта» Ильи Сельвинского: «В далеком углу сосредоточенно кого-то били. / Я побледнел: оказывается, так надо – / Поэту Есенину делают биографию».

Юноша с головой в облаках из стихотворения Берримена возникал и в других литературных произведениях. Бродский был прозрачным прототипом Глеба Голованова, невинно обвиненного в тунеядстве чудака-поэта, одного из главных героев романа Георгия Березко «Необыкновенные москвичи». Цензоры, судя по всему, не ожидали подвоха от солидного советского прозаика, и роман появился в журнале «Москва» в 1967 году (№ 6 и 7) и в том же году вышел отдельной книгой. В 1981 году в Лондоне вышел роман Феликса Розинера «Некто Финкельмайер», где история главного героя так же прозрачно отражала фабулу дела Бродского. Как и в процитированных выше записках И. М. Меттера («...лицо его выражало порой растерянность оттого, что его никак не могут понять, а он в свою очередь тоже не в силах уразуметь эту странную женщину, ее безмотивную злобность; он не в силах объяснить ей даже самые простые, по его мнению, понятия»), в этих литературных, а также журналистских и устных текстах тиражировался образ поэта не от мира сего.

Герой коллективно сложенного мифа был весьма далек от реального Иосифа Бродского, который к двадцати трем годам уже многое повидал, пережил и продумал[219]. Дело было не в том,

что Бродский «не понимал», что с ним происходит, а в том, что он глубоко понимал жестокую абсурдность происходящего, с точки зрения здравого смысла, и в то же время неизбежность своего конфликта с государством, несмотря на то, что он, как и настаивали его защитники, никаких антигосударственных стихов не писал. Государственный строй его страны основывался на идеологии и, таким образом, был ближе к тоталитарной утопии Платона, чем к прагматическому Левиафану Гоббса. Есть широкоизвестный пассаж в Десятой книге «Государства» Платона о том, что поэты как смущающие общественный порядок безумцы должны изгоняться из идеального государства: «[Поэт] пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало; <…> он внедряет в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй, потакая неразумному началу души…»[220] В 1976 году Бродский напишет «Развивая Платона», стихотворение, где вспоминается, как толпа, «беснуясь вокруг, кричала, / тыча в меня натруженными указательными: „Не наш!“». Среди записей Вигдоровой есть и записи разговоров в зале суда во время перерыва: «Писатели! Вывести бы их всех!.. Интеллигенты! Навязались на нашу шею!.. Я тоже заведу подстрочник и стану стихи переводить!..»[221]

Бродский был глубоко признателен Фриде Вигдоровой за героические усилия по его спасению. Фотография Вигдоровой многие годы висела над его письменным столом, сначала в России, потом в Америке. Через год после процесса Вигдорова умерла от рака. Безвременная смерть замечательной женщины, спасавшей реального Бродского, сделала еще более драматичной легенду об условно-поэтическом Бродском, для которого она как бы пожертвовала жизнью.

В тюрьме

Сам Бродский в зале суда о всемирной славе не помышлял. Впоследствии он говорил, что вспомнил наставление дзен-буддизма: если хочешь отделаться от неприятной мысли, дай ей название и беспрестанно повторяй его. Самым частым словом, звучавшим в зале суда, было слово «бродский». Он сосредоточился на этом слове и всё, что с этим словом связывали говорившие, как бы перестало относиться к нему. Тем не менее он также вспоминал, что был тронут выступлениями свидетелей защиты: «Потому что они говорили какие-то позитивные вещи в мой адрес. А я, признаться, хороших вещей о себе в жизни своей не слышал»[222]. Однако в целом воспоминание о суде, душевный опыт, с ним связанный, у Бродского решительно отличались от воспоминаний об этом событии тех, кто защищал и поддерживал поэта. Даже в том, чтобы просто прийти в набитый дружинниками и шпиками зал суда, «засветиться», было нечто героическое, не говоря уж о том, чтобы вступить в противоборство с системой – выступить на суде, собирать подписи под обращениями в защиту жертвы произвола[223]. Для самого же Бродского то, что происходило, было всего лишь отвратительно – не только произвол, но и та ложь, с которой неизбежно были связаны попытки защититься от произвола. Чудовищную неправду возвели на него Лернер и стоявшие за ним партийные чиновники и КГБ, но и защищаться от них можно было лишь не вполне искренними способами. Адвокат прекрасно сознавала, что сам по себе указ от 4 мая 1961 года противоправен и противоречит даже советской конституции, но должна была строить защиту на том, что этот замечательный и справедливый указ неприменим к ее подзащитному. Трое опытных писателей, литературных переводчиков, в условиях свободного обмена мнений, вероятно, просто сказали бы, что нельзя судить человека, если он не ворует и не хулиганит, но не хочет работать ради штампа в паспорте, а хочет писать стихи. Вместо этого им приходилось доказывать, что несколько опубликованных переводов Бродского, в том числе и ничем не выдающиеся, просто литературно грамотные переводы кубинских и югославских поэтов – большой и тяжкий труд. Наконец, самому Бродскому, который на дух не переносил марксизма, знал цену советской власти и не покривил душой даже на приеме у секретаря райкома, пришлось выдавить из себя: «Строительство коммунизма – это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который...» На этом месте он был прерван судьей Савельевой: «Оставьте высокие

фразы»[224].

В данном случае Бродский, наверное, был даже рад окрику судьи. То, что для большинства его сверстников было ничего не значащей условностью, для него оказалось отвратительным лицемерием. От природы предельно искренний и склонный постоянно судить самого себя, он (или тот, отчужденный от него дзен-буддистскими упражнениями, «бродский») втягивался в тяжбу большой лжи с маленькими неправдами. Именно это он имел в виду, когда писал позднее об «ученье строить Закону глазки, / изображать немого» («Речь о пролитом молоке», 1967, *КПЭ)*.

Кроме одной оборванной фразы, намекающей на то, что писание стихов есть участие в строительстве коммунизма, мы не знаем случаев, когда Бродский «строил Закону глазки», но, кажется, ему и того было достаточно. Он не любил воспоминаний о суде в марте 1964 года. Повышенное внимание журналистов к этому эпизоду биографии вызывало у него протест: он хотел, чтобы его воспринимали как поэта, а не как жертву режима.

Насколько мы знаем, на Пряжке Бродский стихов не писал, но писал в камере каждый день после ареста 13 февраля и до направления на психиатрическую экспертизу 18-го. Четыре маленьких стихотворения под общим названием «Инструкция заключенному»[225] датированы днями с 14 по 17 февраля. Посвященное Ахматовой восьмистишие «В феврале далеко до весны...» написано 15 февраля (то есть в праздник Сретения по церковному календарю – день именин Ахматовой) и является картинкой природы (с аллегорическим намеком на облик пожилой поэтессы), но остальные короткие тексты основаны на непосредственных тюремных впечатлениях: холод в камере, резкий свет электрической лампочки, желание спать, хождение взад-вперед по замкнутому пространству. Неожиданно в конце четвертого стихотворения, «Перед прогулкой по камере», возникает эстетизированное мифологическое сравнение тех крайних условий человеческого существования, в которых находится автор, с одиннадцатым подвигом Геракла, путешествием на край ойкумены за золотыми яблоками. Тот же контраст унизительной физической несвободы и свободы воображения, замкнутого – в прямом смысле слова – тюремного пространства и ничем не ограниченного культурного пространства еще острее дан в двух восьмистишиях, написанных Бродским в собственный день рождения 24 мая 1965 года в камере предварительного заключения Коношского райотдела милиции. Его наказали несколькими днями заключения за опоздание из отпуска.

Ночь. Камера. Волчок
хуярит прямо мне в зрачок.
Прихлебывает чай дежурный.
И сам себе кажусь я урной,
куда судьба сгребает мусор,
куда плюется каждый мусор.

Колючей проволоки лира
маячит позади сортира.
Болото всасывает склон.
И часовой на фоне неба
вполне напоминает Феба.
Куда забрел ты, Аполлон!

(СНВВС)

В натуралистическом описании камеры и вида из тюремного окна на отхожее место, обнесенное колючей проволокой, используются обесценная лексика и криминальный жаргон («блатная феня»), что резко оттеняет явление Феба-Аполлона в конце стихотворения. Автор с привычным вниманием к деталям рассматривает тюремную камеру и себя, заключенного в ней. Позиция автора – вне камеры, вообще «вне», то есть позиция абсолютной свободы. Нечто важное происходит в непритязательных тюремных набросках – зарождаются основы поэтической философии Бродского. Страдание принимается как условие человеческого существования, мир – таким, каков он есть. Соседство словечка «хуярить» и Феба-Аполлона лишено эпатажности, стилистические полюса естественно сходятся в тексте, который не судит жизнь и не сетует на нее, но ее запечатлевает. Знаменательна в тюремных стихах эмоциональная сдержанность, в особенности отсутствие обычного мотива тюремной лирики – жалобы, жалости к самому себе. Это принципиальный момент. Пятнадцать лет спустя Бродский начнет стихотворение, подводящее итог сорока годам своего земного пути, воспоминанием о тюремном опыте («Я входил вместо дикого зверя в клетку, / выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке...»), подчеркнет сознательное приятие страдания («Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя...») и волевой запрет на проявление душевной слабости («Позволял своим связкам все звуки, помимо воя...»).

В 1995 году в эссе «Писатель в тюрьме», написанном как предисловие к антологии произведений писателей-заключенных, Бродский подытожил свой тюремный опыт. «В сознании

большинства населения тюрьма есть некое неизвестное и потому в чем-то родственна смерти, которая есть предел неизвестности и лишения свободы. Во всяком случае поначалу одиночку без особых колебаний можно уподобить гробу. Аллюзии из загробного мира в разговоре о тюрьмах – общее место на любом наречии, если такие разговоры не являются просто табу. Ибо с позиции обычной человеческой реальности тюрьма – действительно потусторонняя жизнь, структурированная так же замысловато и неумолимо, как любая богословская версия царства смерти и изобилующая главным образом оттенками серого»[226]. Это было последнее в его жизни эссе.

После вынесения приговора Бродский на месяц пропал для родных и друзей. Его отвезли в тюрьму «Кресты», затем этапировали в тюремном вагоне, «Столыпине», в Архангельск. На этапе произошла встреча, которая определила некоторую отчужденность Бродского от зарождавшегося диссидентского движения. Он рассказывал о ней так: «Это был, если хотите, некоторый ад на колесах: Федор Михайлович Достоевский или Данте. На оправку вас не выпускают, люди наверху мочатся, все это течет вниз. Дышать нечем. А публика – главным образом блатари. Люди уже не с первым сроком, не со вторым, не с третьим – а там с шестнадцатым. И вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик – <…> мозолистые руки, борода. <…> Он в колхозе со скотного двора какой-то несчастный мешок зерна увел, ему дали шесть лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрет. И никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек – ни в России, ни на Западе – на его защиту не подымется. Никогда! Просто потому, что никто и никогда о нем и не узнает! Это было еще до процесса Синявского и Даниэля. Но все-таки уже какое-то шевеление правозащитное начиналось. Но за этого несчастного старика никто бы слова не замолвил – ни Би-би-си, ни „Голос Америки“. Никто! <…> Все эти молодые люди – я их называл „борцовщиками“ – они знали, что делают, на что идут, чего ради. Может быть, действительно ради каких-то перемен. А может быть, ради того, чтобы думать про себя хорошо. Потому что у них всегда была какая-то аудитория, какие-то друзья, кореша в Москве. А у этого старика никакой аудитории нет. Может быть, у него есть его бабка, сыновья там. Но бабка и сыновья никогда ему не скажут: „Ты благородно поступил, украв мешок зерна с колхозного двора, потому что нам жрать нечего было“. И когда ты такое видишь, вся эта правозащитная лирика принимает несколько иной характер»[227]. И в самом деле, защитники Бродского в Советском Союзе и на Западе вряд ли с

таким же рвением стали бы выручать его спутника, даже узнай они о его судьбе. Одним из лозунгов правозащитного движения было «Соблюдайте ваши собственные законы!», а кража мешка зерна – преступление по законам любой страны. Ахматова глубоко смотрела, когда в связи с отношением Бродского к собственной ссылке вспоминала Достоевского и «Записки из мертвого дома» (см. выше). Нравственная интуиция Бродского вела его на уровень более глубокий, чем требование политических прав. Не в том дело, что Бродский не хотел демократии и законности для своей страны, он их безусловно хотел и ненавидел советский строй, извративший эти понятия. Но в «Столыпине» не «правозащитники» встретились со стариком-колхозником, а он, Иосиф Бродский, и он остро ощутил несправедливость в неравенстве их положений, свою, если угодно, вину перед колхозником.

Суд над Бродским часто называли «кафкианским», имея в виду отсутствие правовой логики, абсурдность обвинений и кошмарную атмосферу. Но для Бродского (и это, как мне кажется, поняла только Ахматова) он был кафкианским и в другом смысле. Ведь «Процесс» Кафки не только о том, что человека могут судить и казнить непонятно за что, но и о том, что человек, не понимающий, за что его судят, тем не менее ощущает свою виновность. Это общечеловеческое чувство экзистенциальной вины, не обязательно связанное с иудеохристианским представлением о первородном грехе, всегда присутствовало в поэзии и вообще в интеллектуальной жизни Бродского. Не совсем удачно он называл это «своим кальвинизмом» – кальвинистская доктрина с ее беспощадным осуждением человеческой греховности тут ни при чем. Тем более что в этике и поэзии Бродского с темой виновности неразрывно связана тема прощения. Слова Ахматовой: «Ты не знаешь, что тебе простили...» – он пронес сквозь всю жизнь, как талисман[228].

Глава V
Посвященный

Annus mirabilis, 1964–1965: ссылка в Норенскую

Из Архангельской пересыльной тюрьмы в середине апреля Бродского направили на место поселения в Коношский район Архангельской области. Тюрьма, издевательства конвоиров были нелегким испытанием, а вот жизнь в ссылке оказалась не страшна. Впоследствии на Западе журналисты, рассказывая о судьбе Бродского, упоминали «ГУЛАГ» и какие-то фантастические «арктические трудовые поселения»[229], что у не слишком искушенного в российских географических и прочих реалиях читателя могло вызвать представление о вечных льдах и кандалах.

Вот как описывает южноафриканский писатель Джозеф Кутзее (лауреат Нобелевской премии 2003 года) в автобиографическом романе «Молодость» наивные и трогательные представления молодого жителя Лондона о Бродском и его ссылке (Кутзее пишет о своем автобиографическом герое в третьем лице):

«В программе „Поэты и поэзия“ передают беседу о русском по имени Джозеф Бродски. Обвиненный в тунеядстве, Бродски был приговорен к пяти годам каторжных работ в лагере на Архангельском полуострове [sic!] в северных льдах. Срок еще не кончился. Пока он сидит в своей теплой лондонской комнате, попивая кофеек и грызя орешки с изюмом на сладкое, его сверстник, как и он, поэт, пилит бревна, пытаясь согреть отмороженные пальцы, затыкая тряпками дырявые сапоги, питаясь рыбьими головами и капустным супом[230]. «Черен, как внутри себя игла,» – пишет Бродски в одном стихотворении. У него эта строка нейдет из головы. Если сосредоточиться, по-настоящему сосредоточиться, ночь за ночью, если он призван, то просто в силу концентрации благодать вдохновения снизойдет на него, и он сможет создать нечто, равное такой строке. Ибо в нем это есть, он знает, у него воображение того же тона, что у Бродски. Но как потом послать весть в Архангельск? На основании услышанных по радио стихов и ничего другого, он знает Бродски, знает его насквозь. Вот на что способна поэзия. Поэзия и есть правда. Но Бродски ничего не знает о нем в Лондоне. Как сообщить замерзающему человеку, что он с ним, рядом, изо дня в день?»[231]

Конечно, ссылка не была повседневной идиллией, случалась тоска по дому, порой томило ощущение полной заброшенности,

но вспоминал о ней Бродский по-другому: «Один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше – пожалуй, не было»[232].

Коноша – узловая железнодорожная станция. Доехать от нее до Ленинграда можно за день. Это юго-запад Архангельской области, места километрах в ста к северу от Череповца, где Иосиф жил в младенчестве. Климат в тех краях ненамного отличается от ленинградского. Ссыльный должен был сам найти себе работу. Бродский устроился, как он говорил, «батраком», то есть разнорабочим в совхоз «Даниловский». Среди «разных работ», которыми ему приходилось заниматься, были полевые:

> А. Буров – тракторист – и я,
> сельскохозяйственный рабочий Бродский,
> мы сеяли озимые – шесть га.
> Я созерцал лесистые края
> и небо с реактивною полоской,
> и мой сапог касался рычага.
>
> Топорщилось зерно под бороной,
> И двигатель окрестность оглашал.
> Пилот меж туч закручивал свой почерк.
> Лицом в поля, к движению спиной,
> я сеялку собою украшал,
> припудренный землицею, как Моцарт[233].

(CHBBC)

В других стихотворениях он упоминает работу бондарем («Колесник умер, бондарь...», *CHBBC),* кровельщиком («Я входил вместо дикого зверя в клетку...», *У),* возницей («В распутицу», *ОВП),* а из его личных воспоминаний мы знаем, что ему приходилось трелевать бревна в лесу и пасти телят. По свидетельству одного из мемуаристов, Бродский также подрабатывал фотографией в коношском комбинате бытового обслуживания[234].

Жилье он нашел в деревне Норенской. «Там стояло тридцать шесть или сорок изб, но жили только в четырнадцати. Главным образом старики и маленькие дети, остальные жители, вся молодежь, обладающая хоть какой-то жизнеспособностью и энергией, покидали это место, потому что оно было страшно бедным, совершенно безнадежным»[235]. Пожилые сельские жители шестидесятых годов принадлежали к последнему поколению, выросшему еще в старой крестьянской среде, до

катастрофы коллективизации. Приняли они ссыльнопоселенца радушно, уважительно. Обращались по имени и отчеству: Иосиф Александрович. Быт был примитивный: надо было колоть дрова, таскать воду из колодца, читать и писать при свечах. Представление о быте Бродского в Норенской дают воспоминания историка А. Бабенышева (Максудова).

«Я без труда и расспросов добрался до домика на самом краю деревни Норинская (правильно „Норенская“. – *Л. Л.)*. Это был деревянный квадратный бревенчатый сруб, какие строят испокон веку по всей России, из бревен длиной 3,5–4 метра, то есть общей площадью 12–15 квадратных метров. Крошечное окошко из тех, что когда-то заделывали слюдой, тоже было типично для северных мест. <…> Здесь я впервые увидел оригинальный метод борьбы с клопами: стены, потолок и отчасти даже пол были плотно обклеены старыми газетами. <…> Вдоль одной из стен бревенчатый выступ отгораживал кладовку, с длинными полками из досок, которые были заставлены консервными банками, пакетами с разнообразными наклейками, составляя продуктовое изобилие, созданное усилиями посетителей. <…> Мебели в городском понимании этого слова не было. Слева от окна прибитый к стене дощатый стол с керосиновой лампой, пишущей машинкой, чернильницей в стиле барокко, как горделиво сообщил мне Иосиф – подарок Ахматовой. Над столом – полка с книгами, над ней в анфас развернут небольшого формата альбомчик с репродукциями Джотто. Топчан с соломенным матрацем, лавка с ведром для воды – вот и вся незамысловатая обстановка. На меня домик произвел очень приятное впечатление. Настоящее, изолированное, собственное пространство. Для нашего поколения это была немыслимая роскошь. Конечно, не было газа, водопровода, электричества, теплого туалета – всех этих замечательных изобретений XX века, не было даже уборной-скворешни во дворе, придуманной стыдливыми горожанами. Но были четыре стены, крыша и дверь, закрыв которую можно было отгородиться от всего мира, думать, сочинять, быть наедине с собой. Поколению Бродского, родившемуся и выросшему в плотно набитых коммуналках, хорошо знакома эта тоска по собственному пространству. Иосиф с гордостью показывал мне свои владенья…»[236] Автор этих воспоминаний был направлен в Норенскую Вигдоровой и Чуковской, чтобы отвезти ссыльному пишущую машинку, книги и продукты. Всего же родные, друзья и знакомые по меньшей мере десять раз навещали Бродского за полтора года ссылки, и трижды он получал разрешение съездить на несколько дней в Ленинград.

Бродский и Басманова в 1964–1965 годах

Хотя Бродский и вспоминал архангельскую ссылку как один из счастливейших периодов своей жизни, это не значит, что жизнь его в Норенской была спокойна и беззаботна. Он тяжело переживал ограничение свободы передвижения, в особенности из-за разлуки с Басмановой. Она ненадолго приезжала к нему в Норенскую, но закончилось ее пребывание там скандально. Когда она уже собиралась уезжать, неожиданно появился Бобышев, произошла тяжелая сцена, Басманова и Бобышев уехали вместе, оставив Бродского мучиться разлукой и ревностью[237]. Почти половина всех написанных в 1964 году в ссылке стихов (24 оконченных и неоконченных стихотворения) либо посвящены отсутствующей М. Б., либо просто содержат мотив разлуки. Только одно из этих стихотворений, «Развивая Крылова», описывает буколическую сцену, прогулку вдвоем. В следующем году о любви и разлуке – треть стихотворений. Кроме того, в 1965 году написана поэма «Феликс», карикатурно изображающая соперника как инфантильного эротомана *(СИБ-2.* Т. 2. С. 154–160; Бродский это сочинение не обнародовал, в узком кругу оно стало известно только в семидесятые годы благодаря марамзинскому собранию).

Даже окончание ссылки, долгожданный триумфальный момент для всех, кто боролся за освобождение Бродского, для него самого было отодвинуто на второй план очередным эпизодом в истории трудных отношений с Басмановой. В сентябре 1965 года, приехав на третью побывку в Ленинград, Бродский узнал, что его возлюбленная находится в Москве, и 11 сентября сделал отчаянную попытку уехать к ней. Это было бы тяжелым нарушением условий отпуска и грозило ему арестом и увеличением срока ссылки. Опасность была особенно велика, поскольку в этот день Бродский обнаружил за собой слежку и ему с сопровождавшим его другом, писателем И. М. Ефимовым, пришлось прибегать к разным уловкам, чтобы избавиться от агентов ленинградского КГБ. В конце концов Ефимову, более трезво, чем одержимый стремлением в Москву Бродский, оценившему ситуацию, пришлось обманом удержать друга от безумного шага[238].

Англо-американская поэзия

Суровый критик Бродского А. И. Солженицын отмечал «животворное действие земли, всего произрастающего, лошадей и деревенского труда», появившееся в стихах ссыльного периода. «Даже сквозь поток ошеломленных жалоб – дыхание земли, русской деревни и природы внезапно дает ростки и первого понимания: „В деревне Бог живет не по углам, / как думают насмешники, а всюду…“»[239] Это верно только отчасти. Русская природа, дневные и сезонные циклы деревенской жизни постоянно присутствовали в лирике Бродского, по крайней мере с 1962 года. Они потеснили городские и книжные мотивы ранней лирики в силу сплава многих причин. Среди них и непосредственные впечатления жизни за городом, и увлечение элегиями Баратынского, и первое знакомство с поэзией Роберта Фроста, и, судя по некоторым особенностям поэтики, подспудное влияние позднего Пастернака.

В ссылке Бродский, кроме – или прежде – всего прочего, продумал основы поэтического искусства. Он их изложил, очень просто, в письме Якову Гордину от 13 июня 1965 года. Там есть два основных положения. Первое касается психологии творчества, второе, которое Бродский называет «практическим», – принципов построения отдельного поэтического текста, стихотворения. Психологически автор должен следовать только своей интуиции, какими произвольными путями она бы его ни вела, быть абсолютно независимым от правил, норм, оглядки на авторитеты и гипотетического читателя. «Смотри на себя не сравнительно с остальными, а обособляясь. Обособляйся и позволяй себе все, что угодно. Если ты озлоблен, то не скрывай этого, пусть оно грубо; если весел – тоже, пусть оно и банально. Помни, что твоя жизнь – это твоя жизнь. Ничьи – пусть самые высокие – правила тебе не закон. Это не твои правила. В лучшем случае они похожи на твои. Будь независим. Независимость – лучшее качество на всех языках. Пусть это приведет тебя к поражению (глупое слово) – это будет только твое поражение. Ты сам сведешь с собой счеты; а то приходится сводить счеты фиг знает с кем»[240]. Адресат письма мудро не обиделся на эти императивы, хотя был почти на пять лет старше Бродского. Очевидно было, что Бродский делится сводом правил, выработанных для самого себя. Не менее определенными оказались и требования, предъявляемые к тексту. «Самое главное в стихах – это композиция. Не сюжет, а композиция. Это разное. <…> Надо строить композицию. Скажем, вот пример: стихи о дереве. Начинаешь описывать все,

что видишь, от самой земли, поднимаясь в описании к вершине дерева. Вот тебе, пожалуйста, и величие. Нужно привыкнуть картину видеть в целом… Частностей без целого не существует. О частностях нужно думать в последнюю очередь. О рифме – в последнюю, о метафоре – в последнюю. Метр как-то присутствует в самом начале, помимо воли, – ну и спасибо за это. Или вот прием композиции: разрыв. Ты, скажем, поёшь деву. Поёшь, поёшь, а потом – тем размером – несколько строчек о другом. И, пожалуйста, никому ничего не объясняй… Но тут нужна тонкость, чтоб не затянуть уж совсем из другой оперы. Вот дева, дева, дева, тридцать строк дева и ее наряд, а тут пять или шесть о том, что напоминает ее одна ленточка. Композиция, а не сюжет. Тот сюжет для читателя не дева, а „вон, что творится в его душе“… Связывай строфы не логикой, а движением души – пусть тебе одному понятным. <…> Главное – это тот самый драматургический принцип – композиция. Ведь и сама метафора – композиция в миниатюре. Сознаюсь, что чувствую себя больше Островским, чем Байроном. (Иногда чувствую себя Шекспиром.) Жизнь отвечает не на вопрос: что? – а: что после чего? И перед чем? Это главный принцип. Тогда и становится понятным „что“»[241]. Драматургия лирического текста, композиция как стратегия стихотворения – это, по существу, основа семантической поэтики Мандельштама, Ахматовой, Пастернака[242]. В схематическом примере Бродского из сопоставления строк о корнях, стволе, кроне дерева возникает прямо не представленный сюжет стихотворения – рост живого организма вверх, к небу. В другом примере столкновение описания девушки и ассоциаций, вызванных ее лентой, создают моментальный психологический снимок лирического героя («вон, что творится в его душе»).

Бродский уехал в ссылку одним поэтом, а вернулся, менее чем через два года, другим. Перемена произошла не мгновенно, но очень быстро. Стихи первого ссыльного года, 1964-го, в основном написаны в той же поэтической манере, что и стихи 1962–1963 годов. Поэтому те и другие так органично соединились в книге «Новые стансы к Августе». Заметные исключения составляют только обсуждавшийся выше тюремный цикл и написанное в конце года «Einem alten Architekten in Rom» («Старому архитектору в Риме»). Название последнего стихотворения близко повторяет название стихотворения американского поэта Уоллеса Стивенса «Старому философу в Риме». Ранее той же осенью Бродский так же переиначил название из Байрона: «Стансы к Августе» – «Новые стансы к Августе». О стихотворении «Деревья в моем окне, деревянном окне…» Бродский рассказывал, что написал его как вариацию на

тему стихотворения Фроста «Дерево за моим окном». Он читал переводы и пытался читать в оригинале англо-американскую поэзию и раньше, но в Норенской начал всерьез вчитываться в стихи на английском языке. У него был хороший англо-русский словарь, много книг, в том числе антологии Луиса Антермайера и Оскара Уильямса[243]. По вечерам в избе на краю села над речкой ничто не отвлекало его от поисков в словаре точного русского соответствия английскому слову, от медленного чтения английских текстов. Побочным эффектом этих пристальных чтений стало хорошее пассивное знание английского, но в тот момент предметом его интереса был не другой язык, а другая поэзия. Английские стихи постепенно открывались перед ним, они были непохожи на русские и не очень похожи на те переводы, что он читал прежде. Какие же именно уроки англо-американской поэзии были усвоены Бродским? На первый взгляд кажется, что самый заметный отпечаток на стиль Бродского наложила стилистика поэзии английского барокко. В Норенской он впервые основательно познакомился с творчеством величайшего английского поэта Джона Донна (свою «Большую элегию Джону Донну» он писал в 1962 году, не зная из Донна почти ничего, кроме популярной цитаты о колоколе, что «звонит по тебе»)[244]. Он переводил Донна и Марвелла, внимательно читал Шекспира. Поэтическая медитация у них чаще всего находит выражение в развернутой (телескопической) метафоре. Такие метафоры и сравнения еще называются «концептами» (от итальянского concetto – «вымысел», что в данном случае означает не фантазию, а разработку мысли, *вымысливание)*. «Концепты» характерны для всего европейского барокко, но на языке оригинала Бродский вчитывался в основном в английские, отчасти польские, тексты. Поэты-метафизики семнадцатого века обычно сравнивают чувство, переживание с физическим объектом и его функциями, казалось бы, не имеющими ничего общего с волнующей поэта темой. В отличие от романтических эффектных, одноразовых сравнений (например, «Исчезли юные забавы, / Как сон, как утренний туман») барочный троп развивается интеллектуально, логически, позволяя автору блеснуть воображением и остроумием. Так Эндрю Марвелл в «Определении любви» использует постулат Евклида:

> As lines, so loves, oblique may well
> Themselves in every angle greet;
> But ours, so truly parallel,
> Though infinite can never meet.

(Как прямые линии, так и любови, в наклонном виде могут / Приветствовать друг друга под любым углом; / Но наши, так истинно параллельные, / Хотя бесконечны, не смогут встретиться никогда.)[245]

Другой часто приводимый пример – из стихотворения Джона Донна «Прощальная речь: запрещение оплакивать»:

> If they be two, they are two so
> As stiff twin compasses are two,
> Thy soul the fixed foot, makes no show
> To move, but doth, if th'other do.
>
> And though it in the centre sit,
> Yet when the other far doth roam,
> It leans, and hearkens after it,
> And grows erect, as that comes home.
>
> Such wilt thou be to me, who must
> Like th' other foot obliquely run;
> Thy firmness makes my circle just,
> And makes me end, where I begun.

(Ежели их [душ] двое, то они таковые двое, / Как двояк двойной циркуль, / Твоя душа – закрепленная ножка, не выказывает / Движения, но движется, если движется другая. / И хотя она помещается в центре, / Но когда другая далеко забредает, / Она склоняется и тянется к ней, / И выпрямляется, когда та возвращается. // Таковой и ты пребудешь для меня, который должен, / Подобно второй ножке [циркуля], обегать [кривую] наклонно; / Твоя твердость делает мой круг ровным / И заставляет меня в конце вернуться туда, откуда начал.)[246]

Бродский экспериментировал с подобными метафорами в стихах шестидесятых годов, вошедших в «Конец прекрасной эпохи»: «Памяти Т. Б.», «Фонтан памяти героев обороны полуострова Ханко» (всё стихотворение представляет собой развернутую метафору) и, экстремально, в длинном стихотворении «Пенье без музыки», где геометрическая метафора – взгляды разделенных непреодолимым пространством любовников, как катеты прямоугольного треугольника, встречаются в небе – обыгрывается на протяжении более ста двадцати строк из двухсот сорока четырех. Сам он однажды объяснял эту поэтическую технику шутливым примером: если

процитировать в стихотворении школьную поговорку «Земля имеет форму чемодана», то затем надо сказать, что сложено в чемодан, на какой вокзал с этим чемоданом ехать и т. д.

Как известно, поэтика барокко, отвергнутая в период классицизма и забытая романтиками, возродилась в модернизме – сначала в поэзии французских символистов конца девятнадцатого века, позднее как исторически осмысленная программа у английских имажистов Эзры Паунда и Т. С. Элиота, чьи идеи и творчество глубоко повлияли на англоязычную поэзию двадцатого века. Однако в новом воплощении метафизическая метафора предстала сконденсированной: сложное логическое построение, объясняющее, каким образом поэт сопрягает далековатые понятия, опускается в расчете на восприимчивость подготовленного читателя. Таковы, например, у Элиота начальные строки «Любовной песни Дж. Алфреда Пруфрока»:

> When the evening spread out against the sky
> Like the patient etherized upon a table.

(Когда вечер распростерт на небе, / Как пациент под наркозом на столе.)

Принципиально сходная метафорика характерна и для русского модернизма. Сравните, например, с цитатой из Элиота метафору Маяковского в «Облаке в штанах»: «Упал двенадцатый час, / как с плахи голова казненного». Или у Пастернака о возлюбленной в стихотворении «Из суеверья»: «Вошла со стулом, / Как с полки жизнь мою достала / И пыль обдула». Метафору Пастернака вполне можно представить себе и у барочного поэта семнадцатого века, но там она была бы более «объяснена»: моя жизнь была подобна книге (такое сравнение, кстати, встречается у Донна), долго пылившейся на верхней полке в библиотеке, и как взыскательный читатель приходит в библиотеку, встает на стул, чтобы дотянуться, достает книгу и обдувает с нее пыль, прежде, чем раскрыть, так и ты... и т. д.[247] При всех индивидуальных различиях принципиально тот же тип сконденсированной метафизической метафорики характерен и для Цветаевой, и для Мандельштама и, скорее всего, именно это имел в виду Бродский, когда писал Гордину, что «метафора – композиция в миниатюре». Во второй половине шестидесятых годов он тоже пришел по преимуществу к этой форме метафоризации. Два характерных примера из стихотворений 1968 года (оба из *ОВП)*.

На Прачечном мосту, где мы с тобой
уподоблялись стрелкам циферблата,
обнявшимся в двенадцать перед тем,
как не на сутки, а навек расстаться...

(«Прачечный мост», ОВП)

И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников – скаред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

(«Почти элегия», ОВП)

Мы видим, однако, что, в отличие от своих непосредственных предшественников в отечественной поэзии, Бродский, экспериментируя с архаическими барочными приемами, как бы разыграл в своем становлении предысторию модернистского мироощущения и связанного с ним способа метафоризации[248]. Порой он делал это не без урона для эмоциональной выразительности (достаточно сравнить «Пенье без музыки» и связанное с ним биографическим сюжетом «Сохо», чтобы увидеть, насколько эмоционально сложнее и напряженнее более позднее, лишенное архаических развернутых метафор стихотворение). Видимо, по каким-то внутренним причинам Бродский ощущал необходимость выполнить уроки семнадцатого века и заделать брешь в истории русской поэзии. Нельзя сказать, что эта поэзия вообще упустила поэтику барокко. Бродский любил указывать на вполне донновские строки Антиоха Кантемира, цитировал барочные русско-украинские стихи Григория Сковороды и усматривал барочное мироощущение у Державина и даже у Баратынского, но органический сплав интеллектуального и эмоционального дискурса, равно характерный для барокко и модернизма, он усвоил прежде всего из углубленного чтения английских стихов при свете свечи в русской северной избе – окружающая обстановка там мало изменилась с семнадцатого века.

Сказать, что в Норенской началось и радикальное расширение жанрового репертуара в поэзии Бродского, – значило бы оставаться на поверхности явления. Радикальные перемены произошли в структуре самой поэтической личности, и этому новому «я» понадобились новые формы самовыражения. Подобно

тому, как на ленинградском судилище спасительным оказалось умение отстраняться от самого себя и происходящего, так на рубеже 1964–1965 годов Бродский осознал, какие возможности открываются в отчуждении автора от авторского «я» текста.

> Это – лучший метод
> Сильные чувства спасти от массы
> слабых. Греческий принцип маски
> снова в ходу.
>
> *(«Прощайте, мадмуазель Вероника», ОВП)*

Наиболее очевидно новая авторская позиция проявилась в стихах жанра, который в русской лирике двадцатого века воспринимался как устарелый или маргинальный, а именно, за неимением лучшего термина, в фабульных стихах. В девятнадцатом веке «рассказ в стихах» был весьма популярен: «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, думы Рылеева, исторические баллады А. К. Толстого и такие фабульные стихотворения, как пушкинский «Анчар», «Умирающий гладиатор» Лермонтова, «Влас» Некрасова – лишь несколько из великого множества примеров. К двадцатому веку этот жанр себя изжил, хотя по-прежнему писалось и печаталось великое множество фабульных стихов, как мелких, так и длинных поэм. Такие вещи были «понятнее народу», то есть на самом деле идеологическим контролерам культурной продукции в советской России, и, конечно, только такая поэзия могла служить целям пропаганды. Но высокий модернизм в русской поэзии почти полностью исключал фабульность. И экстатическая лирика раннего Маяковского или Цветаевой, и эмоционально сдержанные авторефлексии Ахматовой, и культурологические медитации Мандельштама, так же, как лирика Анненского, Блока, Пастернака, Есенина, были нацелены на предельно аутентичное самовыражение. Идеал такой чистой лирики – полная идентичность автора и «я» текста. Лирика такого рода всегда эмотивна, и эмоция в стихотворении всегда выражена отчетливо. Горе, отчаяние, презрение и ненависть к окружающему миру во «Флейте-позвоночнике» и «Облаке в штанах» Маяковского, «Поэме конца» и «Поэме горы» Цветаевой, или восторг, натурфилософский энтузиазм в стихах сборника «Сестра моя жизнь» у Пастернака, или взволнованная торжественность, подчеркнутая важность поэтического размышления в таких стихах Мандельштама, как «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,

«Золотистого меда струя из бутылки текла...» или «С миром державным я был лишь ребячески связан...», а чаще всего – от Анненского и Блока до Есенина – тоска существования и связанное с ним чувство жалости к самому себе.

С точки зрения прагматики поэтического искусства можно сказать, что лирика такого рода устанавливает интимную, симпатическую связь между автором и читателем. Чувства, переживания, испытываемые поэтом, универсальны и, стало быть, заразительны. Как объяснял Толстой в трактате «Что такое искусство»: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их»[249]. Для лирического стихотворения, таким образом, замена «я» «другим», вымышленным персонажем, тем более помещенным в обстоятельства, которые заведомо не соответствуют обстоятельствам жизни автора, разрушительная степень условности. Поэтому даже большие поэмы русских модернистов интимно-исповедальны (вышеупомянутые поэмы Маяковского и Цветаевой, поэмы Пастернака, в которых лирическая исповедь заглушает сюжет, будь то революция 1905 года, бунт лейтенанта Шмидта или биография Марии Ильиной). Исключения в русской модернистской поэзии составляют чисто экспериментальные стихи (например, у Брюсова или Сельвинского), поэма Блока «Двенадцать», популярные баллады раннего Тихонова, некоторые стихи Багрицкого, но и эти поэты оставались главным образом в русле той же интимно-лирической традиции. Единственный большой русский поэт двадцатого века, чье основное творчество из этой традиции выламывалось, – это Михаил Кузмин. От ранних «Александрийских песен» до позднего сборника стихотворных новелл «Форель разбивает лед» Кузмин использовал в лирике греческий «принцип маски», нередко писал стихи «как прозу», то есть в форме рассказа о «другом» («других»), с фабулой, иногда даже весьма сложной.

То, что было исключением в поэзии русского модернизма, в англоязычной поэзии того же периода было нормой. Томас Харди, Уильям Батлер Йетс, Эдвин Арлингтон Робинсон, Роберт Фрост, Эдгар Ли Мастерс, Уистан Оден, Т. С. Элиот равно писали как стихи от первого лица, так и стихи о «других». Они наделяли вымышленных персонажей тонкими психологическими характеристиками, детально описывали сцены из их жизни, нередко вводили в стихи прямую речь. Конечно, молодого русского читателя таких стихов в первую очередь должно было интересовать, за счет чего при отказе от непосредственного

самовыражения достигается в них эффект эмоциональной заразительности, *лиризм*. В самых общих чертах можно сказать, что, хотя такие стихи зачастую длинны и описания в них весьма подробны, но на читателя главным образом воздействует то, чего в тексте нет. Средством эмоциональной заразительности служит недосказанность, многозначительный подтекст[250].

Считая Роберта Фроста центральной фигурой в англо-американской поэзии Нового времени, Бродский так объяснял принципы его поэтического искусства: «Главная сила повествования у Фроста – не столько описание, сколько диалог. Как правило, действие у Фроста происходит в четырех стенах. Два человека говорят между собой (и весь ужас в том, чего они друг другу не говорят!). Диалог у Фроста включает все необходимые авторские ремарки, все сценические указания. Описаны декорация, движения. Это трагедия в греческом смысле, почти балет»[251]. Особенно существенно указание не на классические образцы лирического искусства, а на греческую трагедию (в том же разговоре Бродский вспоминал в связи с Фростом и «Маленькие трагедии» Пушкина). Театрализация лирического текста (в цитированном выше письме Гордину: «...чувствую себя больше Островским, чем Байроном»), использование «сцены», «актеров» позволяют передать ужас, абсурд повседневности в универсальном масштабе, тогда как в традиционной форме романтического лирического монолога экзистенциальная драма легко подменяется личной жалобой. Слова «экзистенциальный ужас», «абсурд» Бродский употребляет в разговоре о Фросте: «Лес как источник смерти или синоним жизни. Все это не просто прочувствовано. Это взгляд на природу культурного человека. Только высококультурный человек может придать такую смысловую нагрузку этой декорации: лес, изгородь, дрова... В европейских литературах подобный экзистенциальный ужас в описании природы отсутствует начисто. <...> И тот ужас, который источает лес, он ощущал как никто. Более глубокую интерпретацию этого лесного абсурда дать нельзя. <...> Когда Фрост видит дом, стоящий на холме, то для него это не просто дом, но узурпация пространства. Когда он смотрит на доски, из которых дом сколочен, то понимает, что дерево первоначально вовсе не на это рассчитывало»[252]. Бродский говорит о стихах, написанных в первой четверти двадцатого века американцем, но мы вправе увидеть здесь и его автопортрет в пейзаже совхоза «Даниловский». Отношения между человеком и пейзажем здесь сложнее, чем те, которые предположил Солженицын. В другом тексте о Фросте Бродский писал: «Природа для этого поэта не является ни другом, ни врагом, ни декорацией для человеческой

драмы; она – устрашающий автопортрет самого поэта»[253]. Забавно, что сам Фрост как бы заранее уступал трагедийную территорию будущему русскому собрату. В своей вовсе не мрачной поэме «Нью-Гемпшир» он писал:

> I don't know what to say about the people.
> For art's sake one could almost wish them worse
> Rather than better. How are we to write
> The Russian Novel in America
> As long as life goes so unterribly?

(Я не знаю, что сказать о [здешних] людях. / Ради искусства почти что хочется пожелать, чтобы им жилось хуже, / А не лучше. Как напишешь / Русский роман в Америке, / Пока жизнь идет так неужасно?)

Много лет спустя после норенских чтений, когда Бродский зарабатывал на жизнь преподаванием, что сводилось главным образом к экспликациям поэтических текстов, он подробно объяснял студентам, как «работает» то или иное стихотворение. На основе этих экспликаций он написал пространные эссе о «Новогоднем» Цветаевой, «С миром державным я был лишь ребячески связан...» Мандельштама, о «Магдалинах» у Пастернака и Цветаевой, о стихотворении Одена «1 сентября 1939», о нескольких стихотворениях Харди (эссе «С любовью к неодушевленному»), о двух стихотворениях Фроста («О скорби и разуме») и о стихотворении Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес» («Девяносто лет спустя»). Следуя, иногда буквально, строка за строкой разбираемого стихотворения, Бродский объясняет читателю не то, на что непрямо намекает строка – это делает само стихотворение, – а то, каким образом – выбором слов, развитием и контрапунктом мотивов – поэт направляет догадки читателя в нужном направлении. О стихотворении Одена Бродский написал в 1984 году, а эссе о Фросте, Харди и Рильке написаны в последние годы жизни, 1994–1995, но похоже, что эта поэтика была осмыслена Бродским тридцатью годами раньше, и результатом этих размышлений стали такие произведения, как «Anno Domini», «Письмо генералу Z.», «Подсвечник», «Горбунов и Горчаков» (1968), «Зимним вечером в Ялте», «Посвящается Ялте», цикл «Из „Школьной антологии“» и примыкающие к нему стихотворения (1969), «Дебют», «Чаепитие», «Post aetatem nostram» (1970), «Письма римскому другу» (1972) и др. Первые шаги в этом направлении были сделаны уже в таких вещах, как «Einem alten Arkhitekten in Rom» (1964), «На смерть Т. С. Элиота»,

«Пророчество», «Два часа в резервуаре» (1965), «Фонтан» (1966). Всё это стихи заметные в творчестве Бродского, и они имеют немного жанровых и стилистических аналогов в русской поэзии двадцатого века до него. Но наряду с ними Бродский продолжал активно работать и в традиционной лирической идиоме. Наконец, новое, возникшее под влиянием англоязычных стихов, и традиционное не развивалось в отдельных руслах. Наиболее продуктивен у Бродского был именно эклектический метод – свободные переходы от «я-повествования» к «он-повествованию», от нейтрально-иронического стиля к интимному пафосу (см., например, «Два часа в резервуаре», «Пророчество», «Зимним вечером в Ялте»). К середине семидесятых годов из этой эклектики выработается необычная для поэзии любой страны и эпохи стратегия построения поэтического «я» – *описание себя как другого.* «Совершенный никто», «человек/тело в плаще» дебютирует в «Лагуне» (1973), за чем последует ряд стихотворений, где «я» изображается в изолированном личном пространстве, отделенном от мира людей – чаще всего за столиком кафе, в безликом гостиничном номере или на скамейке в городском сквере, но и вплоть до аллегорического «я(стреба)» в стратосфере. Связь этой поэтической персоны с миром – визуальная, дар, как было сказано в раннем стихотворении, «запоминать подробности», ценить, как было сказано в более позднем, «независимость детали».

Озарение в Норенской

За чтением английских стихов в Норенской Бродский однажды пережил то, что в религиозно-мистической практике называется моментом озарения *(греч.* epiphaneia, (богоявление). Описывал он это так: «По чистой случайности книга (антология английской поэзии. – *Л. Л.)* открылась на оденовской «Памяти У. Б. Йетса». <…> Восемь строк четырехстопника, которым написана третья часть стихотворения, звучат помесью гимна Армии Спасения, погребального песнопения и детского стишка:

Time that is intolerant
Of the brave and innocent,
And indiffirent in a week
To a beautiful physique,

Worships language and forgives
Everyone by whom it lives;
Pardons cowardice, conceit,
Lays its honours at their feet.

(Время, которое нетерпимо / К храбрым и невинным / И за одну неделю становится равнодушно / К красивой внешности, / Поклоняется языку и прощает / Каждого, кем язык жив; / Прощает трусость, тщеславие, / Складывает свои почести к их стопам.)

Я помню, как я сидел в избушке, глядя в квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, что я только что прочел, наполовину сомневаясь, не сыграло ли со мной шутку мое знание языка»[254].

Сами по себе эти два четверостишия в стихотворении Одена не были рассчитаны на такой эффект, более того, он позднее вообще исключил эти две и следующую за ними строфу из стихотворения. Оден обронил афоризм о Времени, поклоняющемся Языку и, таким образом, дающем отсрочку от забвения языкотворцам-поэтам, в попытке разрешить свои тогдашние сомнения. Стихи на смерть Йетса он писал в 1939 году, когда переживал глубокий идейный кризис (это первое стихотворение, написанное им после переезда в Америку). Тогда он еще не расстался с левацкими политическими взглядами, в

философском отношении оставался материалистом и хотел объяснить самому себе величие мистика и «реакционера» Йетса, а также двух других поэтов, сильно повлиявших на него – апологета британского империализма Киплинга и консервативного католика, антисемита Поля Клоделя. За восемью строками, так поразившими Бродского, непосредственно следует:

> Time that with this strange excuse
> Pardoned Kipling and his views,
> And will pardon Paul Claudel,
> Pardons him for writing well.

(Время, которое, с таким странным оправданием, / Помиловало Киплинга с его взглядами, / И помилует Поля Клоделя, / Милует его (Йетса) за то, что писал хорошо.)

В разговорах Бродский нередко цитировал эти строки в слегка переиначенном виде: «А некоторых Бог помилует за то, что хорошо писали».

Как нам кажется, в сознании Бродского случайно открывшиеся, как при гадании по книге, строки Одена сфокусировали в себе два направления его самых глубоких размышлений, сомнений и переживаний в этот период. Во-первых, это религиозно-этическое переживание вины и прощения. Бродский был осужден и сослан безвинно, но ему было свойственно ощущение экзистенциальной виновности (отчего он и называл впоследствии свою этику «кальвинистской»; см. об этом в главе VII). Хотя по Хайдеггеру экзистенциальная вина есть неизбежное условие человеческого существования, ложных выборов, сделанных в «бытии-к-смерти», или отказа от выбора, она из смутно-невротического состояния могла трансформироваться и в конкретное чувство моральной виновности – перед родителями, перед любимой женщиной, перед старым колхозником, встреченным в «Столыпине». Как мы знаем, в то время только Ахматова поняла эту сторону нравственного кризиса, пережитого Бродским в ссылке, и сравнила его с кризисом, пережитым Достоевским в «мертвом доме». Прочитанные как оракул строки Одена сулили прощение при условии честного служения своему призванию: быть одним из тех, кем живет язык. Для Бродского нравственными примерами такого служения были Оден и Ахматова. Он и написал потом об этих своих двух наставниках практически одинаково. Об Одене в прозе: «Если бы я вообще его не встретил, все равно существовала бы реальность его стихов. Следует быть благодарным судьбе за

то, что она свела тебя с этой реальностью, за обилие даров, тем более бесценных, что они не были предназначены ни для кого конкретно. Можно назвать это щедростью духа, если бы дух не нуждался в человеке, в котором он мог бы преломиться. Не человек становится священным в результате этого преломления, а дух становится человечным и внятным. Одного этого – *вдобавок к тому, что люди конечны,* — достаточно, чтобы преклоняться перед этим поэтом» (1983; курсив мой. – *Л. Л.)*[255]. Об Ахматовой – в стихах (1989), где он благодарит ее за то, что она нашла «слова прощенья и любви»:

> ...затем, что жизнь – одна, они из смертных уст
> звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.
>
> *(ПСН)*

Этика прощения и любви – христианская этика, но в «стишке» Одена, воспринятом как собственное моральное кредо, присутствует и дохристианское, античное, аристотелевское понимание добродетели как доведения до совершенства природных способностей. Писать хорошо становится для Бродского нравственным долгом.

Во-вторых, Бродский разглядел в магическом кристалле, которым представилось ему восьмистишие Одена, ответ на столь важные для него вопросы о природе языка и времени. Бесхитростные слова английского поэта утвердили его в представлении о примате языка над индивидуальным сознанием и над коллективным бытием. Эти идеи были растворены в воздухе эпохи как радиация экзистенциальной философии Хайдеггера, культурологии Сепира и стремительно расширявшей сферу влияния семиотики. С точки зрения семиотики, все сущее было системами знаков, языками; жизнь представлялась паутиной коммуникативных связей – передачей сообщений, их получением, искажением, неполучением (даже вера в Бога, как агностически напишет в «Разговоре с небожителем» Бродский, «есть не более чем почта / в один конец»). Сепир сравнивал структуру языка с бороздками граммофонной пластинки – человеческая мысль может двигаться только по этим бороздкам. Хайдеггер учил, что бытие осуществляется в языке. Оден добавил к этому, что язык нуждается в поэтах для того, чтобы оставаться живым языком. Оден, конечно, повторял здесь старую истину, и Бродский слышал это прежде. В конце концов, на это указывает даже сама этимология слова «поэзия» – от греческого poiesis, «делание», то есть делание, создание языковыми средствами того, чего прежде

не было. Но в момент тяжелых сомнений, близости к отчаянию, слова Одена помогли Бродскому утвердиться в правильности выбранного пути.

Судя по всему, спасительное столкновение со строчками Одена произошло поздней осенью, а в начале января из передач западного радио Бродский услышал о смерти Т. С. Элиота и 12 января закончил «Стихи на смерть Т. С. Элиота», с первой строкой, которая показалась многим пророческой тридцать один год спустя в отношении самого Бродского: «Он умер в январе, в начале года...» На самом деле это был просто приблизительный перевод первой строки стихов Одена на смерть Йетса: «Он исчез в самой середине зимы...» («He disappeared in the dead of winter...»). В целом стихотворение имитировало трехчастную структуру элегии Одена. В первой части развертывается сравнение поэзии со временем и времени с океаном. Время циклично: повторяются дневной, недельный, годовой циклы, и поэзия основана на регулярной повторяемости – звуков (в частности, в окончаниях строк – рифме), ритмических фигур, образов, мотивов. Время изображено как океан с его ритмами приливов и отливов, волнообразования. К этому сложному, «метафизическому» сравнению он еще вернется десять лет спустя в стихотворении из цикла «Часть речи», которое начинается: «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле / серых цинковых волн, всегда набегавших по две, / и отсюда – все рифмы...» Картина замерзшего после зимних праздников мира дана в кинематографической смене планов – от наезда на выметаемые «за порог осколки» до взгляда из стратосферы на океан и континент. Образы конкретны, вещны, как того требовал Элиот. Но вторая и третья части пастиша уступают в зрелости мысли и внятности выражения образцу – элегии Одена. Оден, когда умер Йетс, был и гораздо старше, и значительно более зрелым поэтом, чем Бродский в двадцать четыре года. Бродский только еще начинал выбираться на свою собственную дорогу, и законченное 12 января 1965 года стихотворение было лишь первой вехой на этом пути.

Борьба за возвращение Бродского из ссылки

В начале января 1965 года, когда Бродский, вдохновленный стихами Одена на смерть Йетса, по вечерам после работы в совхозе писал стихи на смерть Элиота, в Москве, неведомо для него, был подписан важный документ. Неутомимая борьба Вигдоровой, Чуковской, Грудининой, Ахматовой и других защитников поэта, их обивание порогов, писание писем, уговаривание более или менее влиятельных персон начали приносить результаты. Последовательность событий, как мы знаем из опубликованных теперь документов[256], была следующей. 3 октября 1964 года заведующий отделом административных органов ЦК КПСС, то есть главный в стране надзиратель над деятельностью судов, прокуратуры, милиции и госбезопасности, Н. Миронов послал генеральному прокурору СССР Руденко, председателю КГБ Семичастному и председателю Верховного суда Горкину директиву «проверить и доложить ЦК КПСС о существе и обоснованности судебного решения дела И. Бродского».

Если бы защитники Бродского могли тогда прочитать этот документ с грифом «Секретно», они бы усмотрели в нем обнадеживающие признаки: хотя один из четырех абзацев письма пересказывал обвинения в адрес Бродского, два других суммировали выступления в его защиту Маршака, Чуковского и других писателей, а в заключительном говорилось о волнении в кругах интеллигенции в связи с делом Бродского. Главное же, что в конце письма высокопоставленный партийный чиновник писал, что «материалы дела недостаточно исследованы». Эта бессмысленная на первый взгляд фраза – каким «исследованиям» подлежит решение суда? – в переводе с бюрократического языка означала указание дело пересмотреть. Бюрократическая машина пришла в действие – Генпрокуратура, Верховный суд и КГБ выделили по чиновнику (довольно высокого ранга от каждого ведомства) и направили троицу в Ленинград. Через два месяца, 7 декабря, подробный отчет о поездке, включавший и рекомендации московских ревизоров, был направлен их шефам. Москвичи встретились со всей верхушкой ленинградской партийной организации, а также с представителями местного КГБ, суда, прокуратуры и с секретарем Дзержинского райкома партии Косаревой – она непосредственно курировала дело Бродского. В юридическом отношении вывод авторов отчета

недвусмыслен: «Аполитичность Бродского и преувеличение им своих литературных способностей не могут служить основанием для применения указа от 4 мая 1961 года»[257]. В своих аргументах они практически солидаризируются со всеми основными аргументами защиты. Видно из отчета и то, что его авторы приехали в Ленинград не только в порядке надзора над нижестоящим судом, но и для переговоров с местными властями. Ленинградский партийный босс Толстиков и его подчиненные отстаивали свои решения, но у москвичей явно была инструкция каким-то образом нашумевшую историю с поэтом-тунеядцем закончить.

В результате был выработан компромисс: «Первый секретарь Ленинградского промышленного обкома КПСС тов. Толстиков В. С, первый секретарь Ленинградского горкома КПСС тов. Попов Г. И., секретарь промышленного обкома КПСС тов. Богданов Г. А. (секретарь по идеологии. – *Л. Л.),* завотделом административных органов промышленного обкома КПСС тов. Кузнецов П. И., начальник управления КГБ тов. Шумилов В. Т., и. о. прокурора города тов. Караськов А. Г. и секретарь Дзержинского РК КПСС тов. Косарева Н. С. считают, что Бродский тунеядцем был признан обоснованно и мера административного выселения против него применена правильно (московская комиссия, как мы знаем из первой части документа, с этим не согласна. – *Л. Л.).* Высказались против его реабилитации, считая, что к этому нет оснований и что это может вызвать нежелательную реакцию со стороны общественности, полагающей решения суда правильным, и дискредитирует ленинградские административные органы и общественные организации («общественность», «общественные организации» – это дружинники Лернера и прокофьевская верхушка ленинградского Союза писателей; ленинградские начальники ни в коем случае не хотят признать вину или ошибку свою и своих подручных. – *Л. Л.).* Они полагают возможным досрочно освободить Бродского от административного выселения при условии, если он положительно проявит себя в местах административного поселения и после освобождения будет проживать вне гор. Ленинграда»[258]. Москва давит на Толстикова и его присных, и они предлагают компромисс: объявить, что Бродский в результате принятых мер исправился («положительно проявил себя в местах административного поселения»), из ссылки отпустить, но только не назад к нам. В заключительном абзаце документа говорится: «По сообщению директора совхоза „Даниловский“ Коношского района Архангельской области от 13 октября 1964 г. Бродский И. А. к работе относится хорошо, нарушений трудовой дисциплины не наблюдалось. За

добросовестное отношение к работе ему был разрешен отпуск на 10 дней для поездки к родителям»[259]. Бродский и вправду как мог работал в совхозе, в деревне со всеми ладил, и местное начальство к приветливому, культурному, непьющему (по местным меркам) ленинградскому парню относилось по справедливости.

И вот 5 января, на следующий день после смерти Элиота, заместитель генерального прокурора СССР направил в судебную коллегию Ленинградского городского суда протест в порядке прокурорского надзора с просьбой Бродского досрочно освободить. Видимо, ленинградские власти предприняли контратаку – Ленгорсуд протест Генпрокуратуры отклонил. Бродский получил об этом извещение в середине февраля[260]. Прошел год с момента его ареста. Далее в документах перерыв. 4 сентября уже Верховный суд СССР рассмотрел дело Бродского и снизил меру наказания до фактически отбытого срока. Постановление Верховного суда сперва по ошибке было отправлено вместо Архангельской в Ленинградскую область, и Бродский стал официально свободен только 23 сентября.

Упирательство ленинградских властей – самое понятное во всей этой истории: защищали свою территорию, честь мундира, не хотели признавать, что оскандалились. Но поддержка парня, прежде замешанного в сомнительные истории, пишущего непригодные для советской печати стишки, высшими органами власти требует объяснения. Вот как объясняла это по горячим следам, 10 сентября 1965 года, Л. К. Чуковская: «Все гадают: чье вмешательство побудило Верх. Суд наконец рассмотреть дело? Я думаю – капля долбит камень. Фрида своей записью докричалась до целого мира. На нас Толстиков может плевать. А на Сартра и Европейское содружество ему плевать не позволяют. А Сартр, говорят, написал Микояну, что в октябре писатели содружества съедутся в Париже и там разговор о Бродском пойдет непременно...»[261] Высшее партийное руководство, то есть тех, от кого действительно зависела судьба Бродского, как и судьба всех остальных жителей СССР, нисколько не беспокоили ни расправа над молодым поэтом, ни мнение по этому поводу Чуковского, Маршака и Шостаковича или новых руководителей ленинградского Союза писателей Гранина и Дудина вместе с прочими интеллигентами. Грубо сляпанное ленинградцами дело вызвало раздражение в Москве, только когда оно стало приобретать международную огласку. Тут вступил в силу простой политический расчет – хорошие отношения с просоветской левой интеллигенцией на Западе важнее, чем непогрешимость ленинградских товарищей. В данной аппаратной игре

международный отдел ЦК КПСС взял верх над Ленинградским обкомом. Конечно, веское слово принадлежало чекистам, но КГБ тоже был не столько заинтересован самим Бродским, сколько «розыском лиц, способствовавших передаче тенденциозной информации по делу Бродского за границу»[262], а главный подозреваемый в этом ужасном преступлении, Фрида Вигдорова, умерла 7 августа 1965 года. Сартр (он считался в то время большим другом СССР, в особенности после отказа от Нобелевской премии в предыдущем году) написал письмо Председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну 17 августа:

«Я беру на себя смелость обратиться к Вам с этим письмом лишь потому, что являюсь другом Вашей великой страны. Я часто бываю в Вашей стране, встречаю многих писателей и прекрасно знаю, что то, что западные противники мирного сосуществования уже называют „делом Бродского“, представляет из себя всего лишь непонятное и достойное сожаления исключение. Но мне хотелось бы сообщить Вам, что антисоветская пресса воспользовалась этим, чтобы начать широкую кампанию, и представляет это исключение как типичный для советского правосудия пример, она дошла до того, что упрекает власти в неприязни к интеллигенции и антисемитизме. До первых месяцев 1965 года нам, сторонникам широкого сотрудничества различных культур, было просто отвечать на эту недобросовестную пропаганду: наши советские друзья заверяли нас, что внимание судебных органов обращено на случай с Бродским и решение суда должно быть пересмотрено. К сожалению, время шло, и мы узнали, что ничего не сделано. Атаки врагов СССР, являющихся и нашими врагами, становятся все более и более ожесточенными. Например, я хочу отметить, что мне неоднократно предлагали публично высказать свою позицию. До настоящего времени я отказывался это сделать, но молчать становится столь же трудно, как и отвечать.

Я хотел поставить Вас в известность, господин Президент, о беспокойстве, которое мы испытываем. Мы не можем не знать, как трудно бывает внутри любой общественной системы пересматривать уже принятые решения. Но, зная Вашу глубокую человечность и Вашу заинтересованность в усилении культурных связей между Востоком и Западом в условиях идеологической борьбы, я позволил себе послать Вам это сугубо личное письмо, чтобы просить Вас во имя моего искренне дружеского отношения к социалистическим странам, на которые мы возлагаем все надежды, выступить в защиту очень молодого человека, который уже является или, может быть, станет хорошим поэтом»[263].

Доводы Сартра были для московских правителей убедительны: зачем ставить под угрозу важное пропагандистское мероприятие международного масштаба, съезд Европейского содружества писателей? Да и у председателя КГБ Семичастного хватало других забот: готовился процесс над Синявским и Даниэлем, начиналось преследование Солженицына. Эти дела из Москвы представлялись поважнее, чем непомерно раздутая история с никому не известным юнцом.

Кашу, которую заварил пригретый ленинградскими властями полуграмотный мошенник, пришлось расхлебывать самым высокопоставленным чиновникам страны. Бродский стал международной знаменитостью. Что он там написал – мало кто знал в России и почти никто на Западе, но и страна, и весь мир теперь знали, что есть в Ленинграде молодой поэт, которого бросили в тюрьму, ошельмовали, принудили к тяжелому труду на холодном Севере только за то, что он писал стихи. Сам Бродский радовался, что его выпустили, был по-прежнему озабочен запутанными отношениями с возлюбленной, писал стихи, а о полутора годах мытарств старался думать как можно меньше. Все происшедшее с ним поражало его прежде всего своей абсурдностью. «Сумма страданий дает абсурд», – такой вывод сделает он из своего опыта несколько лет спустя[264]. Неизвестно, что на самом деле думал о Бродском Жан Поль Сартр, который постулировал абсурд как основное условие человеческого существования, но он вовремя пришел на помощь поэту, заброшенному в северную глушь.

Глава VI
Поэт

После ссылки: 1965–1972

В течение семи лет между возвращением из ссылки в 1965 году и отъездом за границу в 1972-м у Бродского был странный статус в советском обществе. Нечто вроде положения Булгакова или Пастернака в более страшные времена второй половины тридцатых годов: ему разрешили жить на свободе и зарабатывать пером на пропитание, но как поэт он официально не существовал.

Он оставался в поле зрения КГБ, хотя прямые преследования прекратились. Скандальная история с судом и арестом Бродского привела к перевороту в ленинградском Союзе писателей, было выбрано новое правление, в целом либеральное, относившееся к Бродскому благосклонно. Членом Союза писателей его сделать не могли, так как он почти не печатался, но при Союзе существовала некая «профессиональная группа», которая объединяла разнородных литературных поденщиков – полужурналистов, сочинителей песенных текстов, авторов эстрадных скетчей и цирковых реприз и т. д. Туда, сразу по возвращении в Ленинград, пристроили и Бродского. Таким образом, он получил штамп в паспорте, охранную грамоту от обвинений в тунеядстве. Он продолжал, как и до ареста, переводить, писать детские стихи, которые иногда печатались в журналах «Костер» и «Искорка», пробовал другие окололитературные занятия – например, литературную обработку дубляжа иностранных фильмов на киностудии «Ленфильм». Изредка ему платили за чтение стихов в частном порядке, собирая дань со слушателей[265]. Иногда он латал дыры в скудном бюджете, продавая букинистам альбомы репродукций в красивых зарубежных изданиях. Их привозили в подарок иностранные знакомые.

Знакомых иностранцев становилось все больше – журналисты, университетские преподаватели, студенты и аспиранты-слависты, приезжавшие в Советский Союз, стремились познакомиться со знаменитым молодым поэтом. Некоторые стали очень близкими друзьями на всю жизнь – итальянский журналист Джанни Буттафава, голландский писатель и филолог-русист, автор книги о поэзии Ахматовой Кейс Верхейл и французский искусствовед, специалист по античности Вероника Шильц. Все трое были также активными переводчиками русской литературы на свои языки, переводили они и Бродского.

Попытки наладить совместную жизнь с любимой женщиной продолжались еще два года после ссылки. Они жили то вместе, то порознь. В октябре 1967 года у Марины и Иосифа родился сын Андрей, но вскоре после этого, в начале 1968 года, то есть через

шесть лет после первой встречи, они разошлись окончательно.

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе – работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и черным ходом в будущее вышли.

(«Шесть лет спустя», ОВП)

Бродский и московские литераторы

На пути из Норенской Бродский заехал сначала в Москву. Московские литературные знакомые старались устроить публикацию его стихов в журналах с либеральной репутацией – «Новом мире» и «Юности». Однако даже для сотрудничества с этими изданиями требовалось проявить некоторую дипломатичность, на что Бродский оказался неспособен. Когда его привели к писателю Рыбакову, который, благодаря связям, мог помочь с публикациями, он настолько рассердил Рыбакова своим высокомерием, что тот и тридцать лет спустя с негодованием вспоминал в мемуарах о встрече с «плохим человеком», желавшим без конца читать свои малопонятные стихи[266]. Бродский вспоминал эту встречу по-другому: поучения опытного литератора – с кем надо поговорить, чтобы еще на кого-то нажать и т.д., – показались ему настолько византийскими, что он быстро утратил способность следить за ними и, чтобы уйти от утомительного разговора, предложил почитать стихи.

Ему все-таки устроили аудиенцию у Твардовского в «Новом мире». Твардовский в свое время был возмущен арестом Бродского, и о его скандальной ссоре по этому поводу с Прокофьевым вспоминают многие мемуаристы[267]. Но стихи Бродского вряд ли могли прийтись по вкусу народному поэту. Он сказал молодому человеку деликатно: «В ваших стихах не отразилось то, что вы пережили». И пригласил к себе домой – поговорить о поэзии. Иосиф в ответ: «Не стоит»[268]. Когда В. П. Аксенов, чтобы познакомить Бродского с редакцией «Юности», привел его с собой на заседание редколлегии, «Иосиф на этой редколлегии, наслушавшись того советского кошмара, в котором жили писатели „Юности“, просто лишился сознания. <…> Говорил, что присутствовал на шабаше ведьм. А на самом деле это был максимально возможный тогда либерализм»[269]. Слова «советский кошмар» не означают, что Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и другие писатели, определявшие лицо действительно либерального по тогдашним понятиям журнала, на заседании редколлегии распинались в верности партии и правительству. Принятую в их среде линию поведения вряд ли можно даже назвать конформистской, речь скорее идет о тактике общественного поведения, направленной на то, чтобы печататься, чтобы их читали на родине.

Ту же тактику они порой использовали и в своем творчестве. В литературе это называется «эзопов язык», то есть стиль

иронического иносказания (цензору непонятно, а читатель поймет!). Молодые писатели-шестидесятники достигли в эзоповском стиле большого мастерства. Хотя иные из них верили в «социализм с человеческим лицом» и даже до поры в миф об изначально благородной ленинской революции, преданной и утопленной в крови злодеем Сталиным, по отношению к современному советскому строю молодые писатели составляли скрытую оппозицию. Бродский в то время приятельствовал с Евтушенко, Аксеновым, Ахмадулиной, но эзопов язык и как литературный стиль, и как форма общественного поведения был для него неприемлем.

Создание текста – это процесс с участием воображаемого адресата, читателя или, по выражению Стравинского, которое любил повторять Бродский, «гипотетического alter ego». Психология эзоповского творчества основана на допуске в творческий процесс «третьего» – воображаемого цензора, идеологического контролера, стоящего между писателем и читателем, и стилистической задачей становится этого контролера обойти и обмануть[270]. Бродский, как и вся подсоветская интеллигенция, хорошо знал механизм создания стилистически мерцающего текста – под одним углом соответствует требованиям официальной идеологии, а под другим превращается в социальную сатиру. Но он стоял на позиции абсолютной творческой автономии и не мог писать стихи, думая о том, как их прочитает цензор. То, что для другого художника было увлекательной и смелой литературной игрой, для него – отказом от внутренней свободы. Эзоповская (то есть по определению «рабская») тактика была для него морально неприемлемой. Свое резкое неприятие он выразил в одной сцене из новеллы в стихах «Post aetatem nostram»:

> В расклеенном на уличных щитах
> «Послании властителям» известный,
> известный местный кифаред, кипя
> негодованьем, смело выступает
> с призывом Императора убрать
> (на следующей строчке) с медных денег.
>
> Толпа жестикулирует. Юнцы,
> седые старцы, зрелые мужчины
> и знающие грамоте гетеры
> единогласно утверждают, что
> «такого прежде не было» – при этом
> не уточняя, именно чего

«такого»:
мужества или холуйства.
Поэзия, должно быть, состоит
в отсутствии отчетливой границы.

(«Post aetatem nostram», КПЭ)

Поэтика эзоповских текстов действительно строилась на отсутствии отчетливой границы между идеологически противоположными прочтениями. Бродский точно передает дух эпохи: всякий раз, когда в «Юности» или в «Новом мире» появлялось особенно яркое эзоповское сочинение, интеллигентные читатели радовались публикации: «Такого прежде не было!» Он так же верно пародирует эзоповские приемы создания двусмысленности, используя анжамбеман: «Императора убрать!» – призывает «местный кифаред» и, только дав отзвучать этому революционному призыву, добавляет: «С медных денег» (изображение на которых унижает императора). Здесь Бродский пародирует известное стихотворение Андрея Вознесенского с призывом: «Уберите Ленина с денег!» Конечно, и эта пародия, и в целом аллегорическая форма «Post aetatem nostram» тоже по своей природе иносказания, но иносказания, созданные без оглядки на идеологическую цензуру. Принадлежность к разным этосам, а не конкретные обиды, привела в конце концов к разрыву отношений между Бродским и Евтушенко, Бродским и Аксеновым.

Попытка издания книги стихов в Ленинграде

Нельзя сказать, что Бродскому было безразлично, будут напечатаны его стихи или нет. Как и у многих подлинных поэтов, в отличие от тщеславных дилетантов, отношение к публикациям у него было двойственное. С одной стороны, он побаивался того окончательного отчуждения текста от автора, которое происходит при публикации. Создание стихотворения – всегда катартический опыт, его хочется продлить. Неопубликованные, стихи словно бы не окончены, а публикация – расставание навсегда. Между приездом в Америку в 1972 году и выходом первых после эмиграции сборников, «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи», прошло пять лет, хотя издатель Карл Проффер с самого начала уговаривал Бродского издать книгу стихов. Между двумя сборниками 1977 года и следующим, «Урания», – перерыв десять лет. С другой стороны, то, что говорил Бродский на суде о том, как он видит свое место в обществе, было не пустыми словами. Он считал необходимым печататься, среди его черновиков уже середины шестидесятых встречаются списки стихотворений – состав будущей книги. Выход книги стихов, общественное признание своей работы он в разговорах той поры называл «торжеством справедливости», и шутлива была только высокопарная форма выражения.

В 1965 году в Нью-Йорке без ведома Бродского была издана его книга «Стихотворения и поэмы» *(СИП)*. Сделана она была по неавторизованным самиздатским копиям большей частью старых, до 1962 года, стихов, и Бродский ее никогда своей не признавал[271]. Рассеянные в эмигрантской периодике, недоступные читателю на родине публикации и начавшие появляться переводы на иностранные языки отдельных стихотворений тоже «торжеством справедливости» назвать было нельзя. Многочисленные доброжелатели Бродского в ленинградских писательских кругах так же, как и московские знакомые, хотели, чтобы за возвращением из ссылки последовало издание стихов Бродского, и поначалу казалось, что коллективные усилия в этом направлении приносят плоды. Уже в конце 1965-го или в самом начале 1966 года Бродский, по предложению либерально настроенных редакторов, сдал в ленинградское отделение издательства «Советский писатель» рукопись книги стихов. Книгу он предполагал назвать «Зимняя почта» и, в отличие от американского сборника, она была

составлена главным образом из стихотворений 1962–1965 годов. Составить книгу помогал ее предполагаемый редактор А. И. Гитович (1909–1966), талантливый поэт поколения тридцатых годов, добрый знакомый и комаровский сосед Ахматовой.

Была соблюдена обычная процедура прохождения рукописи – после обсуждения на редакционном совете книгу послали на отзыв внутренним рецензентам, профессиональным литераторам. Пожалуй, только темпы были несколько заторможены по сравнению с обычными. Рукопись, сданную в начале года, редакционный совет обсудил только 26 июля. Ключевое слово в выступлениях на редакционном совещании – «небольшой». Словно бы улещивая некоего незримо присутствующего духа, редакторы на все лады подчеркивают, что книжка будет небольшая, строк семьсот. Другой мотив: «Бродский – человек одаренный, но...» За «но» следует перечисление неприемлемого в стихах Бродского – библейская тематика («Исаак и Авраам»), упоминание Бога, ангелов, серафимов, литературные реминисценции. Участники совещания объясняют незримо присутствующему начальству, почему все-таки книгу (небольшую!) следует издать: чтобы прекратить «всяческие разговоры», «разрушить легенды, возникшие вокруг его имени». Отзывы рецензентов, поэта В. А. Рождественского и критика В. Н. Альфонсова, датированы октябрем и ноябрем. Оба рецензента решительно поддерживают издание книги. Если этого можно было ожидать от В. Н. Альфонсова, критика по возрасту близкого Бродскому и принадлежащего к тому же кругу молодой ленинградской интеллигенции, то отзыв поэта Всеволода Рождественского (1895–1977), который даже об «Исааке и Аврааме» пишет, что это поэма «интересная в замысле, содержательная и светлая по колориту»[272], неожидан. Рождественский, младший эпигон акмеистов, отличался осторожностью и приспособленчеством. Кажется, чем-то питалась его уверенность в том, что поддержка Бродского и даже пресловутой религиозной тематики в его творчестве безопасна. Ответ автору главный редактор Смирнов послал только 12 декабря 1966 года, то есть примерно через год после сдачи рукописи[273]. Хотя мнение редакции и обоих рецензентов было положительным и сводилось к тому, что книгу надо, с некоторыми сокращениями, издать, главный редактор, видимо, ориентируясь на городское партийное руководство, вернул рукопись Бродскому. В письме поэту он требовал, по существу, чтобы половину книги составили стихи, в которых были бы «отчетливо выражены гражданские мотивы», «идейно-художественные позиции автора, его отношение к важным и

злободневным вопросам современности». В переводе с официозного на откровенный язык это означало, что Бродский должен написать десяток идеологически правильных стихотворений. Если он пойдет на это условие, тогда вторую половину книги, так и быть, могли бы составить «лирические стихи о природе Севера»[274].

Стихов с предписанными «гражданскими мотивами» Бродский так и не сочинил, но борьба за книгу продолжалась. В издательском архиве сохранился второй раунд внутренних рецензий, датированных июнем – июлем 1967 года. Уважаемые ленинградские писатели Вера Панова, Леонид Рахманов, Вадим Шефнер и поэт Семен Ботвинник поддерживали издание книги. Особенно решительно высказался Шефнер: «Мне думается, что книжка „Зимняя почта“ нуждается не столько в оценке рецензента (какой бы благожелательной эта оценка ни была), сколько в оценке читателя. Ибо, по моему мнению, Бродский уже вошел в тот творческий возраст, когда поэту нужны не обнадеживающие рецензии, не поощрительные похлопыванья по плечу, а вынесение его работы на читательский нелицеприятный суд. Я – за издание этой книги»[275]. Четырем положительным рецензиям противостояла одна резко отрицательная, написанная средней руки функционером Союза писателей, поэтом Ильей Авраменко. В «стихах И. Бродского нет национальных корней, – писал Авраменко, – [они] вне традиций русской поэзии». О стихотворении «Народ», которое нашел удачным даже главный редактор «Советского писателя», Авраменко писал, что «по существу трудно себе представить: о каком народе идет речь». Рукопись «не заслуживает внимания в целом, ибо в ней большинство таких стихов, где больше сумбура, чем смысла»[276]. Мнение Авраменко и возобладало. Бродскому морочили голову еще год, после чего он рукопись из издательства забрал. Пару лет спустя, как он мне тогда же рассказывал, его вызвали в ленинградское управление КГБ, где два сотрудника предложили сделку: он будет информировать их об иностранцах, с которыми встречается, а они употребят свое влияние на то, чтобы сборник стихов Бродского был опубликован. После этого Бродский окончательно махнул рукой на идею издания книги на родине[277].

«Остановка в пустыне»

Его первая *настоящая* книга, «Остановка в пустыне», вышла в Нью-Йорке в 1970 году[278]. Это большая книга – в ней семьдесят стихотворений, поэмы «Исаак и Авраам» и «Горбунов и Горчаков», да еще четыре перевода из Джона Донна в конце. «Исаак и Авраам» и двадцать два стихотворения (из них пятнадцать, написанных до 1963 года) повторяют вошедшее в «Стихотворения и поэмы», но более чем на две трети это книга новых, зрелых стихов. Все ювенильное, подражательное отсеивается, даже такие популярные вещи, как «Стансы» («Ни страны, ни погоста...») и «Еврейское кладбище около Ленинграда». Разделы и порядок стихов внутри разделов продуманы автором. Основную часть рукописи Бродский передал американскому профессору и переводчику его стихов Джорджу Клайну в Ленинграде в июне 1968 года. Это было опасное предприятие и для вывозившего рукопись контрабандой американца и тем более для Бродского. После недавнего процесса Синявского и Даниэля уже само словосочетание «передача рукописей на Запад» звучало как «шпионаж» или «предательство родины». Хотя ничего подобного политической сатире Синявского и Даниэля в стихах Бродского не было, иные пассажи в «Письме в бутылке», «Остановке в пустыне» и «Горбунове и Горчакове» советские карательные органы легко могли интерпретировать как антисоветские. В «либеральные» шестидесятые годы людей, бывало, сажали за то, что они читали и давали читать друзьям «Доктора Живаго».

История издания «Остановки в пустыне» рассказана Джорджем Клайном. «Когда вернувшийся из ссылки Бродский впервые увидел „Стихотворения и поэмы“ в ноябре 1965 года, он испытал смешанные чувства: с одной стороны, двадцатипятилетнему поэту, не сумевшему ничего опубликовать на родине, приятно было увидеть изданный в эмиграции том своих стихов. Но с 1957 до 1965 года его развитие было стремительным, и он испытал разочарование, увидев, как много в книге juvenilia 1957–1961 годов. У него также вызвали раздражение довольно многочисленные опечатки и некоторые ошибки, хотя, я думаю, он несомненно понимал, что невозможно было бы выпустить безупречную в этом отношении книгу, работая с самиздатскими материалами, без какого бы то ни было контакта с автором. Он быстро напечатал на машинке список из 26 стихотворений, написанных между 1957 и 1961 годами, которые он не хотел включать в намечавшийся сборник. Из этих двадцати шести 22 входили в „Стихотворения и поэмы“»[279].

Клайн выражал опасения, не грозит ли авторизованный выход нового сборника на Западе неприятностями автору, но Бродский был решительно настроен на издание «Остановки в пустыне».

Нью-йоркское русскоязычное издательство имени Чехова, выпустившее большое количество книг в пятидесятые годы, в шестидесятые практически прекратило свою деятельность, пока его не восстановил бизнесмен и активист солидарности с правозащитным движением в СССР Эдвард Клайн (однофамилец переводчика Бродского). Главным редактором обновленного издательства стал профессор Колумбийского университета Макс Хейуорд, известный своими переводами из русской литературы, а первой намеченной к изданию книгой – «Остановка в пустыне». Книга, как вспоминает Джордж Клайн, «могла выйти уже в 1969 году, но мы ждали получения от Бродского его замечательной … поэмы „Горбунов и Горчаков“. Она была закончена в конце 1968 года. До нас она добралась только к середине 1969 года. Карлу Профферу удалось послать рукопись из Москвы диппочтой. В „Остановке в пустыне“ стояло имя Макса Хейуорда как главного редактора издательства. Фактическим редактором книги считался у них я, но мы с Хейуордом и Эдом Клайном решили, что лучше моего имени не упоминать, поскольку, начиная с 1968 года, главным образом из-за моих контактов с Бродским, меня взял на заметку КГБ. <…> Сам-то я считал, что подлинным редактором был сам Бродский, так как это он отобрал, что включить в книгу, наметил порядок стихотворений и дал названия шести разделам. Аманда Хайт встретилась с Бродским и Найманом в Москве в сентябре 1970 года и писала мне, что „Остановку в пустыне“ „в целом все весьма одобрили“ и что автор „определенно в восторге“ от книги. Но в книге, которую Аманда привезла Найману, Бродский тут же стал делать исправления опечаток и небольших ошибок. Позднее он прислал мне список поправок»[280].

На книгу сразу появились отклики в эмигрантской печати. В нью-йоркском «Новом русском слове» от 7 июля 1970 года один из старейших литераторов эмиграции Аргус (М. К. Эйзенштадт) приветствовал книгу как свидетельство сопротивления молодой интеллигенции советскому режиму, то есть, по существу, не заметив лирики. «Бродский оказался вынужденным на пути к бессмертию несколько раз останавливаться в пустыне – в выжженной пустыне советской литературы», – красиво, но не слишком вразумительно писал Аргус, не понявший символического значения пустыни в метафизике Бродского. В «Новом журнале» (Нью-Йорк) поэт и литературовед Ю. П. Иваск особо отмечал поэму «Горбунов и Горчаков» как свидетельство творческой зрелости Бродского: «Во многих монологах этой

поэмы мы слышим уже не лепет подающего надежды талантливого отрока-поэта, а речь умудренного мужа, спокойного и власть имущего поэта-мастера, свободно, без видимого усилия, вращающего послушные ему медлительные пятистопные ямбы, вмещенные в тесные формы монументальной децимы»[281]. Вяч. Завалишин, напротив, полагал, что первая книга Бродского была интереснее, демонстрировала больше новаторства: «А чтение „Остановки в пустыне“ все же оставляет горьковатый осадок: дарование Бродского как-то потускнело и посерело сравнительно с его ранними стихами. <…> Трагедия Бродского и таких, как Бродский – в том, что они растерялись, оказавшись без ментора большого масштаба. Будучи предоставлен самому себе, своим силам, Бродский, вместо того чтобы подняться на верхнюю ступеньку, спустился на нижнюю»[282]. Бурное возмущение у авторов, писавших в «Новое русское слово», вызвало предисловие «Н. Н.» (А. Г. Наймана), по мнению Вяч. Завалишина, написанное так, что «многое в нем непонятно, а то, что можно с грехом пополам понять, нередко бывает или несправедливым или, что гораздо хуже, бессовестным». Возмутило критиков в предисловии «Н. Н.» как не аргументированное, по их мнению, сопоставление Бродского с классиками русской литературы, так и огульное охаивание некоторых современных поэтов: «Выпуск книги Бродского с таким предисловием – медвежья услуга прежде всего самому Бродскому. Можно сказать, провокация…»[283] В письме в редакцию Эд. Клайн оправдывался: «Заметки, послужившие основой для вступления, были написаны в спешке, и автор надеялся переписать их заново. К сожалению, переработанный текст не был получен редакцией»[284]. Опорами композиции «Остановки в пустыне» служат две поэмы – «Исаак и Аврам» в начале сборника и «Горбунов и Горчаков» в конце. На пути духовной эволюции Бродского эти две поэмы отмечают периоды усвоения Библии – Ветхого и Нового Заветов. На его поэтическом пути – становление и утверждение собственного стиля: композиционных приемов, системы словесных образов (символического словаря), оригинальной версификации.

Две поэмы (1): «Исаак и Авраам»

«Исаак и Авраам» – первое произведение на библейский сюжет в творчестве Бродского, единственный детально разработанный в его поэзии сюжет из Ветхого Завета. Получивший широкое отражение в мировом искусстве рассказ о жертвоприношении Авраама (Бытие, 22) не мог не быть известен Бродскому и раньше, хотя бы по картине Рембрандта в Эрмитаже, но работа над поэмой совпала с первым в его жизни чтением Библии: «Я написал „Исаак и Авраам“ буквально через несколько дней после того, как прочитал Бытие»[285]. Тогда же Бродский читает «Страх и трепет» Кьеркегора. Именно там, размышляя о жертвоприношении Авраама, Кьеркегор приходит к выводу о внерациональности религиозного чувства, о необходимости «прыжка веры». Бродский знакомится и с мыслями Льва Шестова по этому поводу («Киркегард и экзистенциальная философия»).

Но «Исаак и Авраам» – не просто поэтическая иллюстрация к Кьеркегору и его комментатору Шестову. Поэма сводит воедино все духовные поиски молодого Бродского. По свидетельству его друга юности Г. И. Гинзбурга-Воскова, в те же времена Бродский проявлял интерес к учениям и системам со сложной символической парадигмой, от каббалы до таро. В работе над «Исааком и Авраамом» он не столько заимствовал символику последних, сколько саму идею символической парадигматики (см. наш комментарий к заключительной части поэмы, *ОВП)*.

О том, как Бродский в мае 1963 года работал над «Исааком и Авраамом», писала Н. Е. Горбаневская: «Он мне подробно – можно сказать, структурно – рассказывал еще лежавшего в черновиках „Исаака и Авраама“. Например, про КУСТ – что будет значить каждая буква. Все точно как потом в поэме, но *рассказывал.* Это меня поражало: я не знала – и до сих пор плохо понимаю, – что стихи пишутся еще и так, что поэт заранее все знает и планирует. (Но можно вспомнить и пушкинские планы.)»[286].

О том, что еще могло подсказать Бродскому план поэмы, есть свидетельство А. Я. Сергеева: «Он сказал, что, разбирая поэму Робинсона „Айзек и Арчибальд“, он преобразовал внутри себя героев в Исаака и Авраама»[287]. «Айзек и Арчибальд» (1902) Эдвина Арлингтона Робинсона – почти пастораль. Русский читатель вспомнит «Степь» Чехова, читая описание пешего путешествия двенадцатилетнего мальчика со стариком Айзеком (Исааком – обычное среди американских христиан имя) в гости к старику Арчибальду. Скрытый сюжет поэмы Э. А. Робинсона – контраст конца и начала жизни, первые размышления ребенка о

смерти. Хотя, казалось бы, по содержанию между «Исааком и Авраамом» и поэмой Робинсона мало общего, надо учесть следующее замечание Бродского: «Помню, мы с Ахматовой обсуждали возможность переложения Библии стихами. Здесь, в Америке, никто из поэтов этим заниматься не стал бы. Эдвин Арлингтон Робинсон был последним, кто мог бы за такое взяться»[288].

Иногда «Исаака и Авраама» называют одним из немногих произведений Бродского на еврейскую тему. Наиболее развернутую интерпретацию такого рода предложил израильский русскоязычный критик Зеев Бар-Селла. Он рассматривает поэму как поэтическую экзегезу Писания. В духе каббалистики поэт пытается расшифровать в рассказе об Аврааме и Исааке предначертание судьбы еврейства и одновременно творческим актом решить для себя парадокс Адорно: «Можно ли писать стихи после Холокоста?» Вывод критика: «Бродский не устанавливает с Богом новый Завет, он разрывает старый. Исследовав [в „Исааке и Аврааме“] судьбу своего народа, Бродский понял свою собственную – Бог заключал с евреями не договор, Бог вынес им приговор. И Бродский проделал со своим народом весь путь, до самой смерти. <…> После [„Исаака и Авраама“] у Бродского было два пути: перестать жить или перестать быть поэтом. Он нашел третий: перестал быть еврейским поэтом»[289]. Как мы знаем, сам Бродский как раз всегда разделял в себе поэта и еврея («я – русский поэт и еврей»). Так что здесь в рассуждениях критика явная натяжка, но мотив-предсказание диаспоры (рассеяния) и Холокоста в поэме действительно подспудно присутствует.

Если израильский критик считает, что, оттолкнувшись от Кьеркегора, Бродский обращается к метафизическому аспекту еврейской истории, то в интерпретации британского литературоведа Валентины Полухиной Бродский предстает как писатель более христианский, чем Кьеркегор: «В своей поэме, стремясь разгадать смысл истории Авраама, Бродский изменяет перспективу восприятия. В центр повествования ставится не отец, а сын. Так же, как Авраам доверяет Богу, Исаак доверяет своему отцу. Прочитав поэму, мы начинаем приходить к выводу, что, возможно, ответ на мрачную загадку Бога всегда лежал на поверхности. В конце концов, Бог потребовал от Авраама только того же, что и от Себя самого: принести собственного сына в жертву вере»[290].

Все же для дальнейшей личной и творческой судьбы Бродского «Исаак и Авраам» был прежде всего важен как усвоение теологии Кьеркегора, по крайней мере, ее основных постулатов:

отчаяние как условие человеческого существования, онтологическая греховность/виновность человека и непосредственное предстояние человека Богу (все то, что впоследствии Бродский будет характеризовать как свой «кальвинизм»). Об исключительном значении «Исаака и Авраама» в духовном формировании Бродского говорит такая фраза из письма другу от 14 мая 1965 года, в котором поэт пренебрежительно отзывается обо всем своем творчестве: «Реален только „Исаак и Авраам“»[291]. Поэма стала для автора инструментом формирования собственной экзистенциальной философии, самоидентификации не по конфессиональному, национальному или социальному признаку, а как человека-просто, обреченного на непрестанные и мучительные духовные поиски.

«Исаак и Авраам» – это также важный этап в развитии семантической поэтики Бродского. Содержательными центрами текста служат словообразы, по-настоящему понятные только в контексте всего его творчества: *пустыня/песок, холмы, куст/лес/листья, свеча/огонь.* Основным способом создания символа становится использование «независимых деталей». Таково описание доски – поистине независимой детали, поскольку никакого объяснения, что это за доска и откуда она взялась среди шатров в лагере евреев-номадов, автор не дает. Он описывает лагерь, шатры, заглядывает в один из них, словно бы прильнув к щели (в доске?), и далее следуют тридцать две строки, начиная с «Никто не знает трещин, как доска...». Это описание удивительно тем, что на пристальное наблюдение близко находящегося предмета («микросъемка») накладываются картины совсем иного масштаба. Так автор подробно рассматривает трещины, пошедшие от удара ножом в доску, настолько подробно, что отмечает, как «прах смолы пылится в темных порах». Далее он сравнивает эти миниатюрные пустоты в доске с окнами. Так возникает дом, у стен которого метет поземка. Происходит совмещение библейской сцены в палестинской долине и иных мест, в ином климате. Критики писали об этой доске, что она – (а) намекает на «доску» иконы, (б) гробовую доску, (в) что трещины от удара ножа в ней напоминают о попытке уничтожения евреев и о еврейском сопротивлении, (г) что на иврите слово «луах» («доска») означает также скрижаль завета и (д) что удар ножом в доску и есть кьеркегоровский «прыжок веры». Все эти прочтения не лишены логики и увязываются с сюжетом поэмы, а само их разнообразие говорит о том, что попытка Бродского создать образ-символ с неограниченным смыслопорождающим потенциалом удалась, хотя стих Бродского

в «Исааке и Аврааме» местами еще переусложнен, и словесно автор не вполне справляется с нахлынувшим на него визионерским потоком. Полного мастерства во владении стихом он достигнет два-три года спустя.

Две поэмы (2): «Горбунов и Горчаков»

Бродский, который в поздние годы скептически оценивал свое творчество начального периода, и через двадцать лет после завершения вспоминал «Горбунова и Горчакова» как «исключительно серьезное сочинение»[292]. Годы работы над поэмой были, возможно, самыми драматическими в жизни автора: полицейские преследования, арест, суд, ссылка, возвращение из ссылки, разлад с возлюбленной, попытка создать с ней семью, рождение сына, окончательный разрыв. Колоссальная психическая нагрузка, вызванная этими переживаниями, и связанные с ней личностные изменения составляют основной биографический субстрат поэмы, причем сама работа над «Горбуновым и Горчаковым» также входит в комплекс этого внутреннего опыта как поистине работа *над* собой: в предпоследней строфе третьей главы содержится молитва, в которой alter ego автора просит Всевышнего даровать ему как итог пережитого «победу над молчаньем и удушьем».

Внешними жизненными обстоятельствами, послужившими материалом для «Горбунова и Горчакова», были два пребывания Бродского на обследовании в психиатрических лечебницах: несколько дней в Москве на Канатчиковой даче, а затем в Ленинграде на Пряжке. Скученность, спертый воздух, холод, скверная и малопитательная пища, грубость и вместе с тем товарищество пациентов, жестокость медицинского персонала, допотопные методы психотерапии, направленной на то, чтобы пациент «признал» свои заблуждения – все эти напоминающие тюрьму качества советской психиатрической больницы реалистически, а местами и гротескно, описаны в поэме. Отвечая в 1987 году на вопрос друга-журналиста: «Какой момент жизни в СССР был для [тебя] самым тяжким?» – Бродский сказал: «Психиатрическая тюремная больница в Ленинграде. Мне делали жуткие уколы транквилизаторов. Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батарей простыня высыхала и врезалась в тело»[293].

Оба пребывания Бродского в психиатрических лечебницах не были, однако, формой наказания. Заключение инакомыслящих в «психушки» стало широко практиковаться лишь несколько лет спустя. Оба раза Бродский проходил обследование, поскольку его друзья, близкие, его адвокат полагали, что установленный диагноз душевного расстройства поможет спасти его от ареста, суда и приговора (см. об этом в главе IV). Таким образом, у

молодого поэта, который действительно отличался в те годы повышенной эмоциональной возбудимостью, не было в периоды пребывания в скорбных домах той нравственной опоры, которая помогала выдержать ужасы карательной психиатрии будущим диссидентам, он действительно мог временами сомневаться в своем душевном здоровье. Состояние раздвоения личности в результате сильной психической травмы, описанное Ахматовой в «Реквиеме», несомненно примерялось им на себя:

Уже безумие крылом
Души накрыло половину
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.
И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

Глубокая авторефлексия «Горбунова и Горчакова» была призвана сыграть и терапевтическую роль: предотвратить погружение в «черную долину». Бродский превратил свой самый страшный опыт в художественный текст, а конфликтующие голоса в персонажей этого текста.

Холодная и зловонная больничная палата представляет собой то приближающийся, то отдаляющийся фон, но подлинным местом действия «Горбунова и Горчакова» является сознание, мозг лирического героя. Надо иметь в виду, что в поэзии Бродского мозг зачастую заменяет условно-поэтическое «сердце» прошлого. Это наглядно отражается в сравнении данных частотных словарей[294]:

	Мозг	Сердце
у Бродского	73	102
у Мандельштама	6	50
у Пушкина	6 (всегда шутливо)	Три с половиной страницы петитом

Характерен рассказ поэта о размышлениях накануне первой операции на открытом сердце: «Я сказал себе: „Ну да, конечно, это сердце... Но все-таки ведь не мозг, это же не мозг!“ И как только я подумал это, мне сильно полегчало»[295].

«Я сказал себе...» – это вероятный ключ и к замыслу поэмы. Раздвоение главного героя – не шизофренический синдром и тем

более не патологическое явление галлюцинаторных «голосов», как это воспринималось некоторыми критиками[296], а персонификация двухполушарной структуры головного мозга. «Во всех наиболее глубоких областях творчества, будь то математика или музыка, наиболее высокие достижения связаны по преимуществу с правополушарной образной интуицией, но для их воплощения (прежде всего словесно-речевого и вообще пользующегося набором дискретных единиц, как слова естественного языка) требуется и использование возможностей левого (речевого) полушария»[297]. Именно таковы характеристики, заданные с самого начала Горбунову и Горчакову: первому, с его «прозаической» фамилией, свойственно развивать сложные логические построения, такие, как концепт двоичности в главе III «Горбунов в ночи», его сны кодируются набором дискретных символов *(лисички, острова, поплавки)*. Второму, фамилия которого вызывает у читателя «пушкинские» ассоциации, снятся эмоционально окрашенные конкретные картины («образы») – уличные сцены, моменты собственного детства и в первую очередь музыкальные впечатления («Концерты, лес смычков...»). Его ночной монолог, глава VIII «Горчаков в ночи», симметричная главе III «Горбунов в ночи», представляет собой почти бессвязную последовательность взволнованных прокламаций, текст изобилует вообще редкими у Бродского восклицательными знаками (29, тогда как в главе III всего 1). Именно на речевую, а стало быть, и мыслительную функцию Горбунова в поэме указывается не раз: «Как странно Горчакову говорить / безумными словами Горбунова!» Этим же обусловлено и то, что, как правило, Горчаков задает вопросы, а ответы, разъяснения дает Горбунов. Поскольку язык возглавляет иерархию антропологических ценностей у Бродского, в заключение главы X читаем: «Когда повыше – это Горбунов, / а где пониже – голос Горчакова».

В поэме есть только одно место, заставляющее читателя засомневаться в том, что Горбунов и Горчаков – две ипостаси одной личности. В седьмой главе Горбунов говорит: «Я в мае родился, под Близнецами», – как и автор поэмы. И там же сказано, что Горчаков родился в марте под знаком Овна. Сказано это в контексте шутливых астрологических объяснений характеров Горбунова и Горчакова, но дело тут, скорее, не в астрологии, а в эмбриологии: человеческий мозг начинает оформляться за три месяца до рождения.

Симметрия-асимметрия двух конфликтующих и не могущих обойтись друг без друга ипостасей лирического героя, подобная симметрии при различии функций полушарий головного мозга,

находит иконическое выражение и в структуре поэмы, в содержательном параллелизме и контрастности симметрически расположенных глав. Эту важную структурную особенность «Горбунова и Горчакова» автор подчеркивает тем, что в совокупности названия 14 глав представляют собой сонетоподобный текст:

1 Горбунов и Горчаков
2 Горбунов и Горчаков
3 Горбунов в ночи
4 Горчаков и врачи
5 Песня в третьем лице
6 Горбунов и Горчаков
7 Горбунов и Горчаков
8 Горчаков в ночи
9 Горбунов и врачи
10 Разговор на крыльце
11 Горбунов и Горчаков
12 Горбунов и Горчаков
13 Разговор о море
14 Разговор в разговоре

Формальная симметрия поэмы очень строга. Все 14 глав практически равновелики – по 100 строк, за исключением глав I и XIII – по 99 (всего 1398 строк). Во всех «диалогических» главах используются десятистрочные строфы, содержащие по пять одинаковых рифменных пар (еще один способ подчеркнуть двойную природу того, что по существу является лирическим монологом). Особняком стоят выходящие за рамки разговора Горбунова и Горчакова и симметрически расположенные главы V и X, в них строфы удлинены и рифмы не повторяются[298].

В тексте поэмы неоднократно встречаются иронические выпады в адрес пансексуальной доктрины Фрейда. Подобно Ахматовой и Набокову (но не Одену!), Бродский не признавал психоанализа. Он говорил: «Фрейд в своем роде замечательный господин, он расширил наши представления о самих себе. Но в общем на меня это все не произвело особенного впечатления. <…> Простой пример глупости этого господина: его утверждения о природе творчества, что оно является сублимацией. Это полный бред, потому что и творческий процесс, и эротическая, как бы сказать, активность человека на самом деле сами по себе – не одно является сублимацией другого, а оба они являются сублимацией творческого начала в человеке»[299].

Диалогическую форму Бродский до «Горбунова и Горчакова»

опробовал в «Исааке и Аврааме» и нескольких стихотворениях. Мы помним, что использование диалога в поэзии более всего поразило его у Роберта Фроста (см. в предыдущей главе). При помощи диалога Фрост создавал атмосферу экзистенциального абсурда и ужаса. Любопытно, что в диалогических текстах Бродского, как правило, отсутствует ремарка, определяющая, кто произносит реплику, даже в предназначенных для сцены произведениях – в пьесах «Демократия!» (1990) и «Дерево» (1965?; см. о них в главе IX). В «Горбунове и Горчакове» Бродский даже использует экстравагантный прием вынесения всех опущенных ремарок типа «он сказал» в отдельную, пятую, главу – «Песня в третьем лице». Затем, в симметрически расположенной десятой главе, «Разговор на крыльце», он закавычивает фразы, являющиеся не репликами диалога, а фрагментами монолога «от автора». («Не есть ли это тоже разговор, / коль скоро все описано словами?») Отсутствие ремарок усиливает впечатление интериоризации диалога, снятия различия между диалогом персонажей и лирическим монологом.

«Горбунов и Горчаков» может служить развернутой иллюстрацией к учению Бахтина о диалогизме и в особенности о невозможности в художественном творчестве «безобъектного, одноголосого слова»[300], и период написания поэмы совпадает с началом бахтинского ренессанса в СССР. Однако вряд ли речь может идти о прямом влиянии. Я однажды спросил Бродского, читал ли он Бахтина, Бродский ответил: «Просматривал книгу о Достоевском, понравились цитаты» (из Достоевского). Прямого влияния Бахтина здесь нет, но витавшие в воздухе идеи диалогизма, в особенности о невозможности быть *собой* без живого общения с *другими,* в поэме отразились.

> …чувствую, что я
> тогда лишь есмь, когда есть собеседник! —

говорит Горчаков в восьмой главе[301].

Нельзя согласиться с мнением Карла Проффера, что «Горбунов и Горчаков» «представляет собой платоновский идеал диалога, диалог в самой своей сути, в добытийной чистоте… не прерываемые словесными отбросами поясняющих вставок, из этой дыры в космосе (как часто называют в поэме сумасшедший дом) два голоса говорят о вечном человеческом одиночестве и страдании»[302]. Платоновские диалоги условны. Они представляют собой главным образом монологи Сократа, а прочие участники лишь подают реплики, дающие Сократу возможность развивать свои рассуждения. Такие исключения, как

миф о происхождении эроса, поведанный Аристофаном в «Пире», встречаются, но редко.

Наконец, читая поэму, нельзя не обратить внимания на то, что ее хронотоп связан с христианским календарем – это сумасшедший дом в период Великого поста (шутливые и серьезные упоминания поста и завершающего его праздника Пасхи регулярно появляются в тексте). Религиозный смысл Великого поста как «духовного странствия, цель которого – перенести нас из одного духовного состояния в другое»[303], заключен и в сюжете «Горбунова и Горчакова». Семь пар глав поэмы соответствуют семи неделям поста (ср. принципиально аналогичную композицию другого пасхального стихотворения, «Посвящается стулу» *(У),* где семь строф стихотворения соответствуют семи дням Страстной недели – от понедельника до воскресенья). Ключом ко всему тексту являются слова широкоизвестной (в частности, благодаря переложению Пушкина) великопостной молитвы святого Ефрема Сирина: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». Обостряющаяся в покаянный великопостный период оппозиция плоти (предательской) и духа (ею предаваемого) обозначена и евангельскими аналогиями: Горбунов уподобляется обреченному на крестные муки Христу, а Горчаков – Иуде. В этом смысле диалогическая поэма Бродского напоминает средневековую мистерию. «Люблю и предаю тебя на муки», – заключительные слова Иуды – Горчакова в восьмой главе. В этом сакральном сюжете Предатель и Преданный связаны неразрывно: «Как странно Горбунову на кресте / рассчитывать внизу на Горчакова», – дивятся мучающие Горбунова доктора (глава девятая, строфа восьмая). В заключение следующей строфы голгофская аналогия усиливается. На предложение врачей: «Эй, Горбунов, желаете ли кофе?» (травестированная чаша с желчью и уксусом) – тот отвечает словами Христа: «Почто меня покинул!»

Еще один скрытый намек на аналогию со Спасителем заключен в названиях глав четвертой и девятой – «Горчаков и врачи» и «Горбунов и врачи» соответственно. Часто встречающийся в иконописи и западноевропейской религиозной живописи сюжет иллюстрирует стихи 46–47 главы 2 Евангелия от Луки: «Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его». В западной традиции мудрецы храма («учители» в русском тексте) именуются «докторами»[304]. Психиатры, допрашивающие Горбунова – Горчакова, напоминают гротескно-зловещих докторов, допрашивающих Христа на знаменитой картине Дюрера.

После 1964 года Бродский задумал «Горбунова и Горчакова» как попытку найти смысл в ужасающе абсурдном пережитом опыте[305]. Он открыл в нем религиозную парадигму. Психов, «наполеонов» и «чайников» в горбуновско-горчаковском дурдоме нет. Безумие в этом скорбном месте не патологическое состояние, а экзистенциальное несчастье – предательство близких, людская жестокость, собственная биологической уязвимость. Не устоять перед этим несчастьем – это и значит «лишиться разума», утратить себя как личность. Одиночество человека, сопротивляющегося несчастью, Бродский уподобляет одиночеству Христа на Голгофе. Есть в поэме и визионерский момент с параллелью из Ветхого Завета:

Постойте, вижу... человек... худой...
Вокруг – пустыня... Азия... взгляните:
Ползут пески татарскою ордой,
Пылает солнце... как его?.. в зените.
Он окружен враждебною средой...

(Глава 4, строфа 5)

Это написано не только по-русски, но и на символическом языке поэзии Бродского, где слова «пустыня», «Азия», «песок» значат больше, чем их словарные значения. Мы находим те же словообразы в «Исааке и Аврааме» и в стихотворении, давшем название книге, и в ряде других текстов.

Библейский Иосиф, о котором идет речь в этом отрывке, сумел выбраться из колодца, куда его сбросили братья, и добиться славы и почестей в чужой земле.

Отъезд из СССР

12 мая 1972 года Бродского вызвали в отдел виз и регистрации ленинградской милиции (ОВИР)[306].

«Я знал, что из ОВИРа гражданам просто так не звонят, и даже подумал, не оставил ли мне наследство какой-нибудь заграничный родственник. Я сказал, что освобожусь довольно поздно, часов в семь вечера, а они: пожалуйста, можно и в семь, будем ждать. Принял меня в ОВИРе полковник и любезно спросил, что у меня слышно. Все в порядке, отвечаю. Он говорит: вы получили приглашение в Израиль. Да, говорю, получил; не только в Израиль, но и в Италию, Англию, Чехословакию.

А почему бы вам не воспользоваться приглашением в Израиль, спрашивает полковник. Может, вы думали, что мы вас не пустим? Ну, думал, отвечаю, но не это главное. А что? – спрашивает полковник. Я не знаю, что стал бы там делать, отвечаю.

И тут тон разговора меняется. С любезного полицейского «вы» он переходит на «ты». Вот что я тебе скажу, Бродский. Ты сейчас заполнишь этот формуляр, напишешь заявление, а мы примем решение. А если я откажусь? – спрашиваю. Полковник на это: тогда для тебя наступят горячие денечки.

Я три раза сидел в тюрьме. Два раза в психушке… и всем, чему можно было научиться в этих университетах, овладел сполна. Хорошо, говорю. Где эти бумаги? <…> Это было в пятницу вечером. В понедельник снова звонок: прошу зайти и сдать паспорт. Потом началась торговля – когда выезд. Я не хотел ехать сразу же. А они на это: у тебя ведь нет уже паспорта»[307].

Обычно процедура получения разрешения на выезд и оформления документов тянулась от трех-четырех месяцев до года и дольше. От звонка из ОВИРа до вылета Бродского в Вену прошло чуть более трех недель. Однако это была не специальная акция властей, направленная против Бродского, а мероприятие в рамках широкой программы действий.

Почти герметическая закупоренность Советского Союза стала давать трещины в конце шестидесятых годов. Некоторому количеству граждан начали разрешать отъезд из СССР для воссоединения с родственниками за границей. Приблизительно по одной тысяче евреев выехали из СССР в Израиль в 1968, 1969 и 1970 годах. Эта цифра подскочила до тринадцати тысяч в 1971 году и перевалила за тридцать две тысячи в 1972-м. Советский Союз вступал в пору тяжелого экономического кризиса, который и привел к его развалу два десятилетия спустя. В начале

семидесятых годов у правительства Брежнева не было другого выхода, кроме облегчения гонки вооружений и улучшения экономических отношений с Западом. Советские стратегические ракеты и советские граждане, желающие эмигрировать, были фишками в этой геополитической игре. Резкий скачок в числе разрешений на выезд весной 1972 года объясняется просто – в Москве ожидали приезда президента США Ричарда Никсона[308]. Америка с ее сильным еврейским лобби всегда настаивала на облегчении условий эмиграции из Советского Союза, и вот Никсону выдавался аванс за будущие поставки зерна и политику «детанта».

У Бродского к этому времени имелся «вызов» – официально заверенное израильскими властями письмо от фиктивного родственника в Израиле с приглашением поселиться на земле предков. Многие советские граждане еврейского или полуеврейского происхождения обзавелись тогда с помощью знакомых иностранцев такими «вызовами» – на всякий случай. Бывало, «вызовы» приходили и безо всякой инициативы приглашаемого. Кажется, именно так было и с приглашением, полученным Бродским. Во всяком случае, воспользоваться этим приглашением он не собирался. В тот момент он все еще полагал, что обстоятельства переменятся и ему начнут позволять поездки за границу, как позволяли иногда не только писателям с особым официальным статусом – Аксенову, Вознесенскому, Евтушенко, – но даже и тем, кто, как ему казалось, не слишком отличался от него в глазах властей: ленинградскому поэту-авангардисту Виктору Соснора, например. В те времена даже официально эмигрировавший из СССР навсегда терял возможность вернуться, чтобы навестить близких. Пропаганда приравнивала эмигрантов к предателям. Бродский был слишком привязан – к родителям, сыну, друзьям, родному городу, слишком дорожил родной языковой средой, чтобы уезжать безвозвратно. У ленинградского КГБ были, однако, свои виды на старого клиента. Представился удобный случай избавиться от непредсказуемого поэта раз и навсегда. Бродскому не дали толком ни собраться, ни попрощаться. 4 июня 1972 года, через десять дней после своего 32-летия, Бродский вылетел из Ленинграда в Вену.

Глава VII
Не-Философ

Мир глазами Бродского (вступление)

Стихи, собранные в «Остановке в пустыне» и «Конце прекрасной эпохи», представляют поэтическую модель мира, созданную зрелым Бродским. Что бы ни происходило с ним в последующие четверть века, его мировоззрение принципиально не менялось, он только становился все более совершенным поэтом – по меркам своей собственной поэтической системы – и язык, на котором он рассказывал о своей вселенной, становился все точнее и богаче нюансами. Зрелость проявляется в том, с какой отчетливостью он говорит на языке своей поэзии о мире, вере, человеке и обществе. Это относится даже к противоречиям в его взглядах на христианство и культуру, на Россию и Запад, на этику и эстетику – эти противоречия выражены точно и ярко.

Бродский был принципиальным антидоктринером, отвергал «системы» в философии и религии[309]. На просьбу журналиста: «Расскажите о вашей жизненной философии» отвечал: «Никакой жизненной философии нет. Есть лишь определенные убеждения»[310]. Можно, однако, говорить об определенных умонастроениях, преобладающих в его творчестве и высказываниях на темы религии, философии и политики[311]. Но прежде всего следует оговориться, что, хотя мы и признаем введенное формалистической критикой правило, которое запрещает априорно отождествлять автора с «лирическим героем» («я» текста), знакомство с не-литературными высказываниями Бродского и, даже в большей степени, с его поведением в жизни убеждает, что к этому поэту двадцатого века вполне применим романтический девиз Батюшкова: «Живи – как пишешь, пиши – как живешь». Между Бродским в жизни и Бродским в стихах принципиальной разницы нет.

Поэзия и политика

Бродский любил говорить, что у поэзии и политики общего только начальные буквы «п» и «о». Он действительно был аполитичным поэтом по сравнению с Евгением Евтушенко и другими мастерами эзоповского намека или такими поэтами предыдущего поколения, как Борис Слуцкий или Наум Коржавин. Аполитичность его проявлялась не в том, что он избегал острых политических сюжетов, а в том, что он отказывался рассматривать их иначе, нежели *sub specie aeternitatis*. Проявления добра и зла в общественной жизни – для него только частные случаи манихейского конфликта, заложенного в природу человека. Очень показательно в этом плане, как переосмысливает Бродский классический образ зла, заимствованный у Одена. Речь идет о знаменитом месте в стихотворении Одена «Щит Ахилла»:

> A ragged urchin, aimless and alone,
> Loitered about that vacancy; a bird
> Flew up to safety from his well-aimed stone:
> That girls are raped, that two boys knife a third
> Were axioms to him, who'd never heard
> Of any world where promises were kept
> Or one could weep because another wept.
>
> (Оборванный уличный мальчишка, один, бесцельно / Слонялся по этому пустырю; птица / Взлетела, спасаясь от его хорошо нацеленного камня. / Что девчонок насилуют, что два парня могут прирезать третьего / Было аксиомами для него, который никогда не слышал / Ни о каком таком мире, где сдерживаются обещания / И где человек мог бы заплакать, потому что другой заплакал.)

Бродский вспоминает этот пассаж Одена в стихотворении «Сидя в тени» *(У),* в экспозиции которого говорится:

> Я смотрю на детей,
> бегающих в саду.
> Свирепость их резвых игр,
> их безутешный плач
> смутили б грядущий мир,

если бы он был зряч.

И одиннадцатью строфами ниже:

Жилистый сорванец,
уличный херувим,
впившийся в леденец,
из рогатки в саду,
целясь по воробью,
не думает – «попаду»,
но убежден – «убью».

Маленький оборванец у Одена совершает бессмысленно злой поступок, потому что родился и вырос в мире нищеты и порожденной ею жестокости. У Бродского то же делает не оборванец, а сорванец с леденцом за щекой, резвящийся в парке. Бродский говорил, что процитированную выше строфу Одена «следует высечь на вратах всех существующих государств и вообще на вратах всего нашего мира»[312], но, как мы видим, переосмыслил ее: зло в ребенке обусловлено не социально-экономическими факторами, а антропологическими.

Не менее, чем приведенный отрывок из «Щита Ахилла», известна максима Одена из «1 сентября 1939 года»: «We must love one another or die» («Мы должны любить друг друга или умереть») [313]. Бродский посвятил этому стихотворению Одена пространное эссе и его ритмическую модель, композицию, манеру автоописания не раз имитировал, в том числе и в стихотворении «Сидя в тени». Христианское требование вселенской любви как единственной альтернативы самоистреблению человечества Бродский безусловно принимал. Порой он утверждал его в грубовато-сниженных выражениях: «...не мы их на свет рожали, / не нам предавать их смерти» («Речь о пролитом молоке», *КПЭ),* порой находил на редкость свежие слова для выражения вечной истины. В стихотворении «Неважно, что было вокруг, и неважно...» *(ПСН)* он говорит о Вифлеемской звезде, что она отличалась от других звезд «способностью дальнего смешивать с ближним».

Расхождения с любимым поэтом были не относительно христианской этической догмы, а относительно причин ксенофобии, войны, геноцида. Оден до конца тридцатых годов придерживался более или менее марксистских взглядов на причину войн и революций. «Голод не оставляет выбора», – говорит он в «1 сентября 1939 года». Бродский полагал, что

проблема экономического неравенства, голода и нищеты в конечном счете разрешима:

Важно многим создать удобства.
(Это можно найти у Гоббса.)

(«Речь о пролитом молоке», КПЭ)

По Гоббсу, значительная часть человечества создала различные варианты государства, и эти левиафаны как-никак покончили с войной всех против всех и создали системы социального обеспечения. Однако жизнь под охраной полиции и с наполненным желудком не становится счастливее. Неизбывность трагедии – в биологической способности человечества как вида к непрерывному размножению. Массовые страдания сытого массового человека (почти пророчески пишет Бродский в январе 1967 года) могут принять новую форму, например наркомании:

Кайф, состояние эйфории,
диктовать нам будет свои законы.

(«Речь о пролитом молоке», КПЭ)

У Бродского было мрачное мальтузианское предчувствие демографического апокалипсиса:

Дело столь многих рук
гибнет не от меча,
но от дешевых брюк,
скинутых сгоряча.

Будущее черно,
но от людей, а не
от того, что оно
черным кажется мне.

(«Сидя в тени», У)

Людей слишком много и становится все больше. Толпа, армия, хор всегда враждебны частному человеку. Через двадцать лет после «Речи о пролитом молоке» Бродский начнет свою нобелевскую лекцию словами: «Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли

предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко – и, в частности, от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, – оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание»[314]. В подлинной демократии общество основано на свободном договоре частных людей; в охлократии, которая неотделима от тирании, частный человек преследуется как отступник и преступник (см. «Развивая Платона», *У)* или, в лучшем случае, маргинализуется. Так было и так будет всегда:

> В грядущем населенье,
> бесспорно, увеличится. Пеон
> как прежде будет взмахивать мотыгой
> под жарким солнцем. Человек в очках
> листать в кофейне будет с грустью Маркса.
>
> *(«Заметка для энциклопедии», ЧР)*

Мечта частного человека (политической ипостаси лирического героя Бродского) – поселиться у моря с подругой, «отгородившись высоченной дамбой / от континента» («Пророчество», *ОВП),* в одиночестве «жить в глухой провинции у моря» («Письма римскому другу», *ЧР),* но на самом деле он обречен жить в толпе и при виде тирана бормотать, «сжав зубы от ненависти: „баран“» («Развивая Платона», *У)*. Мечты о частной жизни и мотив изгойства у Бродского нередко даны в условных обстоятельствах вымышленных стран, городов, эпох – не столько фантастических, сколько идеальных в том смысле, что они описывают сущности, платонические «идеи» вариантов действительности. Сущность СССР – империя. Сущность советского метрополиса – град Платона. Идея частной жизни в коллективистском государстве – отгораживание от мира «высоченной дамбой».

Ненавистную ему форму правления Бродский постоянно называет тиранией. В 1979 году он изложил свои мысли по этому поводу в эссе, которое так и называется: «О тирании». Тирания, по Бродскому, – это комбинация всех трех дурных форм государственного устройства, описанных Аристотелем: тирания, олигархия и охлократия (власть толпы). В двадцатом веке они стали неразделимы. Олигархия принимает облик единственной «партии». Партия устроена таким образом, что она выдвигает на верхушку государственной пирамиды тирана. Это возможно, и даже неизбежно, благодаря «стадному натиску масс»[315]. Людей

слишком много. «Идея экзистенциальной исключительности человека заменяется идеей анонимности»[316]. Коллективная политическая воля масс приведена к самому низкому общему знаменателю: требованию устойчивости, стабильности. Жесткое пирамидальное устройство власти одной партии с тираном на вершине пирамиды воспринимается коллективным сознанием как самое надежное и удобное, ибо тирания «организует для вас вашу жизнь. Делает это она с наивозможной тщательностью, уж безусловно лучше, чем демократия. К тому же она делает это для вашей же пользы, ибо любое проявление индивидуализма в толпе может быть опасно: прежде всего для того, кто его проявляет, но и о том, кто стоит рядом, тоже надо подумать. Вот для чего существует руководимое партией государство, с его службами безопасности, психиатрическими лечебницами, полицией и преданностью граждан. И все же даже всех этих учреждений недостаточно: в идеале каждый человек должен стать сам себе бюрократом»[317].

Несмотря на различия характеров, все трое советских правителей, под властью которых Бродскому довелось жить на родине, пришли к власти и правили страной именно так, как Бродский это описывает в своем эссе. Сталин, тезка поэта, был, конечно, из трех самым «монструозным», если воспользоваться определением Бродского. В узилище поэт был брошен при Хрущеве, который был осведомлен о его деле и сказал, «что суд велся безобразно, но пусть Бродский будет счастлив, что осудили за тунеядство, а не за политику, потому что за стихи ему причиталось бы десять лет...»[318]. В первый год правления Брежнева Бродского вернули из ссылки и семь лет спустя с ним обошлись по советским меркам относительно гуманно – принудили эмигрировать на Запад. Однако портрет тирана в эссе «О тирании» многими деталями указывает на Брежнева. Именно личная заурядность и чисто бюрократический путь наверх делали Брежнева в глазах Бродского фигурой типической, поскольку в нем нет совершенно ничего необычного – ни сумасшедшей одержимости Ленина, ни макиавеллизма и жестокости Сталина, ни даже самодурства Хрущева. В стихах Бродского тиран всегда появляется в ореоле банальности. В «Anno Domini» *(ОВП)* он мучится больной печенью, в «Одному тирану» *(ЧР)* — кушает вкусный рогалик, в «Post aetatem nostram» *(ЧР)* — тужится в уборной, в «Резиденции» *(У)*[319] — задремывает в сиреневой телогрейке над колонками цифр. Это недалекий, немолодой, нездоровый человек. Самое человеческое из его качеств то, что он смертен. Обращаясь к Брежневу в письме, датированном днем отъезда из России, 4 июня 1972 года, Бродский писал: «От зла, от

гнева, от ненависти – пусть именуемых праведными – никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять»[320].

Брежнев, разумеется, не ответил на письмо вышвырнутого из страны поэта. Можно быть уверенным, что он его никогда и не видел – вряд ли референты генсека стали бы занимать его внимание таким незначительным и непочтительным текстом. А и увидел бы, то вряд ли бы понял там что-либо, помимо неприятных слов «умрете Вы». Лирика и философия никогда не касались сознания заматерелого партийного бюрократа. Диалог советского вождя с населением всегда был сугубо ритуальным: вождь зачитывал перед микрофоном приготовленные для него тексты (в случае Брежнева – плохо ворочающимся языком), аудитория единообразно выражала одобрение – аплодисментами или поднятием рук при голосовании. «Руки тянутся хвойным лесом / перед мелким, но хищным бесом», – писал Бродский в «Лагуне» *(ЧР)*[321].

Эпитет «мелкий» – ключ к проблематике зла у Бродского. Выражение «банальность зла» впервые появилось в классической книге Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме» (1961). Смысл его, конечно, не в том, что зло банально, а в том, что банальны носители, инициаторы зла. Корни антиромантической философии зла уходят в русскую литературу девятнадцатого века. Банальность – центральная характеристика Наполеона у Толстого и карамазовского черта у Достоевского. В двадцатом веке неоднократно подтверждалось, что ответственность за грандиозные злодеяния – сталинская коллективизация и террор тридцатых годов, уничтожение евреев нацистами, маоистская «культурная революция», террор в Камбодже, геноцид в Руанде и т. п. – несут не демонические сверхчеловеки, а люди заурядные. Средний человек, иногда с психопатическими отклонениями, а иногда и без таковых, способен сотворить зло в размерах, не умещающихся в сознании. Бродский испытал это и в ограниченном масштабе личного опыта. Его гонители и мучители – лернеры, толстиковы, савельевы, воеводины – все были существа пошлые. Их поведение было мотивировано примитивными желаниями и страхами, речь была корявой, штампованной, поскольку способность мыслить была омертвлена идеологической обработкой. В конечном счете, эти люди так же, как и те, кто находился наверху государственной пирамиды, творили зло в силу интеллектуальной и моральной

опустошенности. Банальность их слов и поступков выявляет то, что в иудео-христианской этике издавна рассматривалось как несубстанциальность зла: зло заполняет пустоты, злу для осуществления нужны полые люди.

Прямые рассуждения о природе зла занимают центральное место в самом первом из написанных и опубликованных на Западе эссе Бродского[322] и в его речи перед выпускниками небольшого элитного колледжа Уильямс в 1984 году. Напутствуя молодых людей, Бродский, в частности, сказал, что «надежнейшая защита от зла – это предельный индивидуализм, самостоятельность мышления, оригинальность, даже, если угодно, – эксцентричность»[323]. В менее провокативном стиле то же было бы названо «критическим мышлением» или «духовной работой». Есть, однако, в эссеистике и в стихах Бродского мотив, постоянно связанный с темой зла, который, казалось бы, противоречит утверждению индивидуализма и даже эксцентричности. Поэт, который в качестве главного личного достижения провозглашал: «Моя песня была лишена мотива, / но зато ее хором не спеть» («Я всегда твердил, что судьба игра...», *КПЭ),* — размышляя о виновниках исторических несчастий, выпавших на долю его страны, настойчиво употребляет местоимение «мы».

Чувство родины

Среди привычных для Бродского речевых оборотов был такой: когда собеседник употреблял в разговоре оборот «у нас» в смысле «в стране, где мы живем» («у нас начальство что хочет, то и делает», «у нас за стишок посадить могут» или «у нас не принято ходить в гости без бутылки» и т. п.), Бродский не упускал случая перебить саркастическим – «у *вас*». Сарказм был наигранный, шутливый, но почти автоматизм, с которым эта реплика произносилась, напоминал о принципиальной позиции – не допускать ни малейших уступок всепроникающей идеологии коллективизма. Тем более были поражены первые читатели стихотворения «Остановка в пустыне» необычным, казалось бы, для Бродского употреблением местоимения «мы»:

> Теперь так мало греков в Ленинграде,
> что мы сломали Греческую церковь,
> дабы построить на свободном месте
> концертный зал.

Здание, некогда бывшее храмом греческой православной общины Петербурга, было обречено ленинградскими властями на слом, и на его месте к 50-летию Октябрьской революции, в 1967 году, построили концертный зал. О безобразии новостройки речь идет в первой строфе. Разрушенная Греческая церковь тоже не отличалась архитектурными достоинствами, и хотя о том, что привычное старое здание заменили безобразной новостройкой, многие сожалели, такого взрыва бессильного негодования, какое вызвало пятью годами раньше разрушение церкви Успения Пресвятой Богородицы, так называемого «Спаса-на-Сенной» (архитекторы Растрелли и Квасов), среди интеллигенции не наблюдалось. Медитация Бродского не на тему охраны памятников старины, а по поводу символизма случившегося – расставания России с христианством и в то же время с эллинистическим культурным наследием. Под русской историей подводится «безобразно плоская черта». «Мы», избранное Бродским в качестве субъекта медитации, выглядит парадоксально в начале стихотворения, ибо решение об уничтожении старого здания и строительстве нового принималось теми самыми ленинградскими бюрократами, которые ожесточенно преследовали поэта. Но по ходу стихотворения становится ясно, что речь идет не об очередном

преступлении советского режима против культуры, а о коллективной вине нации, выделившей из себя этот режим и отказавшейся от исторической альтернативы – принять греческое наследие с неотъемлемой от него демократией. «Остановка в пустыне» заканчивается кодой, состоящей из ряда обращенных в будущее вопросов, и эти вопросы задает не «я», автор, сидевший «на развалинах абсиды», когда разрушали Греческую церковь, а «мы». «Я» беспрепятственно переходит в «мы» в конце стихотворения:

Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И, если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?

Еще острее мотив ответственности за исторические деяния отечества проявляется у Бродского как сугубо личное чувство стыда, позора. На вопрос, были ли в его жизни моменты, когда ему сильно хотелось убежать из России, он ответил: «Да, когда в 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию. Мне тогда, помню, хотелось бежать куда глаза глядят. Прежде всего от стыда. От того, что я принадлежу к державе, которая такие дела творит. Потому что худо-бедно, но часть ответственности всегда падает на гражданина этой державы»[324]. Он откликнулся на оккупацию Чехословакии сатирическим «Письмом генералу Z.» *(КПЭ),* герой которого, старый солдат империи, отказывается воевать: «Генерал! Теперь у меня – мандраж. / Не пойму, отчего: от стыда ль? От страха ль?» Непосредственнее это чувство выражено в «Стихах о зимней кампании 1980 года» по поводу последней империалистической авантюры советского государства:

Слава тем, кто, не поднимая взора,
шли в абортарий в шестидесятых,
спасая отечество от позора!

(У)

Через два года после «Остановки в пустыне» в стихотворении

«Anno Domini» Бродский прямо говорит, в чем вина каждого за дурной конец отечественной истории – в конформистском стремлении быть «как все», в отказе от индивидуализма[325]. Коллективизм – это отказ и от божественного предопределения («отошли от образа Творца»), и от самой жизни:

> Все будут одинаковы в гробу.
> Так будем же при жизни разнолики!
>
> *(ОВП)*

Если мы («мы») выбираем безликость и бездействие, то это значит, что мы обменяли право судить на уютное существование:

> ...отчизне мы не судьи. Меч суда
> погрязнет в нашем собственном позоре:
> наследники и власть в чужих руках...
> Как хорошо, что не плывут суда!
> Как хорошо, что замерзает море!

Мотив родины в политической лирике Бродского шестидесятых – семидесятых годов – это всегда мотив остановки движения, замирания жизни, энтропии. В политический дискурс его соотечественников термин «застой» войдет только два десятилетия спустя. В гражданской поэзии прошлого процветала риторика, у Бродского историко-политические темы представлены зримыми, детально проработанными, но по существу метафорическими картинами. Это – сковавший городскую жизнь мороз в «Речи о пролитом молоке», «Конце прекрасной эпохи», «Похоронах Бобо» и некоторых других вещах, имеющих фоном непосредственную ленинградскую реальность. Или непроходимое тропическое болото в фантастическом пейзаже «Письма генералу Z.»: «Наши пушки уткнулись стволами в грязь...» Или залихватское столкновение двух аллегорий в главе «Император» стихотворной новеллы «Post aetatem nostram»: жестокий запор императора и застопоренный исторический процесс.

> Все вообще теперь идет со скрипом.
> Империя похожа на трирему
> в канале, для триремы слишком узком.
> Гребцы колотят веслами по суше,
> и камни сильно обдирают борт.

Мы говорим об историко-политических стихах Бродского как о лирике, потому что даже в стихах с преимущественно политическим сюжетом центральную роль играют автор и его душевные состояния. Такой субъективный лирический подход к политике характерен для самых разных поэтов двадцатого века, чье творчество впечатляло Бродского, – для Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Одена. У последнего в «1 сентября 1939 года» сентенции по поводу трагического состояния мира так пронзительны оттого, что они произносятся не из «надмирной ваты», а испуганным голосом одинокого поэта, который сидит «in one of the dives / On Fifty-Second street, / Uncertain and afraid»[326]. В девятнадцатом веке существовала определенная граница между лирикой и гражданской риторикой в поэзии. В этом одна из причин двойственного отношения Бродского к Тютчеву: «Тютчев, бесспорно, фигура значительная, но при всех этих разговорах о его метафизичности и т. п. как-то упускается, что большего верноподданного отечественная словесность не рождала. <…> Что до меня, я без – не скажу, отвращения – изумления второй том сочинений Тютчева читать не могу. С одной стороны, казалось бы, колесница мирозданья в святилище небес катится, а с другой – эти его, пользуясь выражением Вяземского „шинельные оды“»[327].

«Азия» в мире Бродского

На поверхностный взгляд «Остановка в пустыне» – бесхитростный текст. Биографический факт: у поэта были знакомые девушки-сестры, татарки, из окна их квартиры он видел, как началось разрушение Греческой церкви. Его историософские размышления по этому поводу написаны пятистопным ямбом и, кажется, без ущерба для содержания могут быть пересказаны прозой. Но в как бы непринужденном монологе есть драматическое напряжение (Бродский сказал бы: «лиризм»). Оно создается исподволь – Бродский стратегически перемежает историософские размышления бытовыми замечаниями. Слово, которое имело бы ограниченное конкретное значение в быту, намекает на иные смыслы, благодаря тесному соседству с размышлениями об отечественной истории.

> Все началось с татарских разговоров;
> а после в разговор вмешались звуки,
> сливавшиеся с речью поначалу,
> но вскоре – заглушившие ее.
> В церковный садик въехал экскаватор
> с подвешенной к стреле чугунной гирей.
> И стены стали тихо поддаваться.

Это выглядит как прямое неметафорическое описание фактов. Немного выделяется из текста эпитет «татарских». Вряд ли хозяева разговаривали при госте между собой на непонятном ему своем родном языке, скорее это встречающийся у Бродского прием шутливого, нарочито наивного словоупотребления (сравните «Бесчеловечен, / верней, безлюден перекресток…» или «старуха в окружении овчарки – / в том смысле, что она дает круги / вокруг старухи…» в цикле «С февраля по апрель», *КПЭ)*. «Татарских» означает в тексте лишь то, что собеседники автора были по национальности татарами. Но у подтекста есть своя динамика. «Все началось с татарских разговоров…» Что – всё? Разрушение Греческой церкви? В таком случае и в строке «с подвешенной к стреле чугунной гирей» последнее слово каламбурно ассоциируется с известной в русской истории крымско-татарской династией. Как выявленный каламбур это звучит слишком комично для элегии, каковой является «Остановка в пустыне», но Бродский его и не выявляет, оставляя в подтексте. Между тем в сюжет вводится кардинальный вопрос

русского исторического самосознания: Европа или Азия?

Для Бродского Европа, начиная от ее эллинистического истока, это гармония (структурность), движение, жизнь. Азия – хаос (бесструктурность), неподвижность, смерть.

> ...смерть расплывчата,
> как очертанья Азии.
>
> *(«1972 год», ЧР)*

(С этой образной ассоциацией, Азия-смерть, Бродский не раз сталкивался, читая Владимира Соловьева[328].)

Географическая (или геополитическая) тема у Бродского всегда представлена в рамках строгой парадигмы оппозиций: Азия – Запад, Ислам – Христианство, Лес – Море, Холод – Жар и, задолго до того, как это вошло в расхожий политический лексикон, Застой – Движение[329]. Когда в конце 1970 года Бродский писал: «А нынче я охвачен жаром! Мне сильно хочется отсель!» – то даже в этих шутливых стихах и *жар,* и *движение* («отсель») противостоят образу застывшей (в обоих смыслах этого слова – и *холод,* и *неподвижность)* империи: «И климат там недвижен, в той стране...» («Большая элегия Джону Донну», *ОВП).*

Устойчивую систему образов, выработанную в поэзии Бродского для воплощения темы «Россия – Запад», можно соотнести с постановкой той же темы в политической философии евразийства. Таково, например, представление о значении холодного климата для национальной самоидентификации русских. Как удачно сформулировал один из неоевразийцев: «Граница Руси и Запада – отрицательная изотерма января»[330]. Напоминает о проблематике евразийства и другая оппозиция из той же парадигмы – «Ислам – Христианство».

Надо сказать, что упоминания Ислама в ранней поэзии Бродского могут озадачить читателя, как, например, в начале «Речи о пролитом молоке» *(ЧР).* Главный пафос этого длинного (сорок восьмистиший) монолога в разоблачении попыток насильственно управлять ходом истории, «организовывать» всеобщее счастье. Постоянно расширяя по ходу дела умственные горизонты стихотворения, поэт ставит знак равенства между всеми учениями, которые отдают предпочтение коллективу перед индивидуумом и привлекают на свою сторону обещанием освобождения от страданий, земного блаженства, эйфории (отсюда несколько неожиданные переходы от антикоммунистических к антитолстовским высказываниям и приравнивание обеих доктрин к наркомании). Очень вероятно,

что толчком к характеристике всех идеологий, претендующих на исчерпывающее объяснение всего на свете, как «исламских», послужила книга Шестова «Potestas clavium» («Власть ключей»). Там, в очерке о философии Вячеслава Иванова, Шестов пространно иронизирует над «магометанской гносеологией», наиболее вульгарный образец которой являет марксизм[331]. В «Речи о пролитом молоке» эта тема начинается уже в первых строках стихотворения со странной, как я сказал, метафоры:

> Я пришел к Рождеству с пустым карманом.
> Издатель тянет с моим романом.
> Календарь Москвы заражен Кораном.

(КПЭ; курсив добавлен)

Упоминание календаря в рождественском стихотворении вполне естественно, но почему он «заражен Кораном»? Первое объяснение довольно простое: на каждой страничке ежедневного календаря изображены фазы луны, в которых поэт остроумно усматривает исламскую эмблему полумесяца. Но соседство в одной строке «Москвы» с «Кораном» неизбежно вызывает и ассоциации с широко известными текстами русской поэзии двадцатого века, в которых Москва предстает как азиатский город. С Есениным:

> Я люблю этот город вязовый,
> Пусть обрюзг он и пусть одрях,
> Золотая, дремотная Азия
> Опочила на куполах[332].

С Мандельштамом:

> Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
> С дроботом мелким расходятся улицы в чеботах узких, железных.
> В черной оспе блаженствуют кольца бульваров[333].

Московский «буддизм» у Мандельштама связан с мотивами эпидемии («черная оспа») и болезненной эйфории («блаженствуют»). Так же у Бродского Москва «заражена Кораном» и далее возникает мотив наркотической эйфории. В более позднем стихотворении Бродский вписывает в ночной

пейзаж Москвы фаллические минареты и пишет:

> ...полумесяц плывет в запыленном оконном стекле
> над крестами Москвы, как лихая победа Ислама.
>
> *(«Время года – зима. На границах спокойствие. Сны...», КПЭ)*

Второе упоминание ислама в «Речи о пролитом молоке» встречается в контексте сатирической атаки на марксистскую политэкономию:

> Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе,
> хватит трепаться о пополаме.

Критика марксистской политэкономии в «Речи о пролитом молоке» сжата до категорических формул: «Труд не является товаром рынка, так говорить – обижать рабочих» и «Труд – это цель бытия и форма». Исток этих идей в гегелевской «Феноменологии духа», где говорится, что сущность труда состоит в том, чтобы создать вещь, а не в том, чтобы ее потребить. В русской философии те же идеи развивает о. Сергей Булгаков в «Философии хозяйства». Шутка «о пополаме» напоминает пародию на социализм у другого Булгакова: «Взять все да и поделить...» Но Бродский, скорее, имел в виду знаменитую статью С. Л. Франка в сборнике «Вехи». Франк писал: «Моральный пафос социализма сосредоточен на идее распределительной справедливости и исчерпывается ею; и эта мораль тоже имеет свои корни в механико-рационалистической теории счастья, в убеждении, что условий счастья не нужно вообще созидать, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто незаконно завладел ими в свою пользу»[334].

Хотя инвективы Бродского против Марксовой теории прибавочной стоимости вперемешку с ироническими упоминаниями восточных религий и презрительными ремарками по поводу наркоманов могут показаться беспорядочными, «в этом безумии есть своя система». В самом деле, если считать труд не пожизненной задачей человека, а товаром, в обмен на который можно получить праздность и наслаждение, тогда идеальной сделкой, к которой должно стремиться человечество, будет полное безделье в обмен на непрерывное наслаждение. Этот духовный тупик и видится Бродскому в наркотическом кайфе, буддистской нирване, магометанском раю и любых утопических

мечтах об обществе всеобщего счастья.

Тут важно не упускать из виду, что стихотворение написано в ироническом ключе и в качестве оболочки своих метафор Бродский берет не религии как таковые, а скорее те общественные формации, в которых распространены эти религии, то есть по большей части деспотии, общества, где резко ограничены права личности. Азия, ислам, татарщина у Бродского выступают как метафоры коллективизма не только в обществе, но и в индивидуальном сознании. Этому посвящена его большая вещь в прозе «Путешествие в Стамбул» (1985) – протест против отрицания «я» в пользу «мы», превращения людей в пыль.

В каком отношении стоит творчество Иосифа Бродского к реальной Азии? В 1990 году Бродский произнес слова, которые после 11 сентября 2001 года кажутся пророческими: «Наш мир становится вполне языческим. И я задумываюсь, а не приведет ли это язычество к столкновению – я страшно этого опасаюсь, – к крайне жесткому религиозному столкновению... <...> между исламским миром и миром, у которого о христианстве остались лишь смутные воспоминания. Христианский мир не сможет себя защитить, а исламский будет давить на него всерьез. Объясняется это простым соотношением численности населения, чисто демографически. И для меня такое столкновение видится вполне реальным. <...> Это будущее, раздираемое конфликтом духа терпимости с духом нетерпимости. <...> Прагматики утверждают, что разница между двумя мирами не столь уж велика. Я же в это ни на секунду не верю. И полагаю, что исламское понимание мироустройства – с ним надо кончать. В конце концов, наш мир на шесть веков старше ислама. Поэтому, полагаю, у нас есть право судить, что хорошо, а что плохо»[335].

Стихотворение «Назидание» *(ПСН)* написано в 1987 году и целиком посвящено изображению Азии как опасной территории, где путешественника на каждом шагу подстерегают предательство и преступление, где человеческая жизнь ничего не стоит. В тексте этого стихотворения мы находим и ключ к противоречивому азиатскому мотиву у Бродского. Читая внимательно, мы обнаруживаем столкновение специфически азиатских (точнее, среднеазиатских) реалий – широкие скулы, карие глаза, горный пейзаж, илистые реки, пустыня, запах кизяка – и характерно русской лексики. Если в первой строке читатель адресуется в Азию («Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах...»), то уже следующая, вторая строка, уточняющая, какими именно могут быть в Азии «чужие дома», дает следующий список: «в избах, банях, лабазах – в бревенчатых теремах». Все четыре типа упоминаемых здесь построек прочно ассоциируются с

традиционной Русью, в особенности архаические «бревенчатые терема», специально выделенные пунктуацией. Эта стратегия перемешивания специфически «азиатского» и специфически «русского» распространяется на всё стихотворение. Вслед за второй строфой («Бойся широкой скулы...») идет третья, где описывается «изба» с «мужиком» и «бабой», и т. д. Иными словами, в «Назидании» мы имеем дело с устрашающим образом России-Азии, Евразии, соловьевской «России Ксеркса», если угодно.

Поэтическая мысль Бродского состоит не в том, чтобы на манер писателей девятнадцатого века сообщить нам: «Поскреби русского, найдешь татарина», – а в том, что «Азия» для него есть понятие не геополитическое, а ментальное. С публицистической откровенностью он написал об этом в 1985 году в полемическом эссе «Why Milan Kundera Is Wrong About Dostoevsky» («Почему Милан Кундера неправ относительно Достоевского»)[336]. До тех пор, пока Центральная Европа живет под прессом деспотических режимов и коллективистской идеологии, ее следует считать «Западной Азией».

В известной степени азиатская мифологема Бродского вбирает в себя и соловьевскую (Азия – опасный провиденциальный враг), и евразийскую (Азия – это мы), но изменение, которое Бродский производит в традиционном российско-азиатском мифе, состоит в нравственной позиции его носителя. Бродский не призывает к последней битве цивилизаций, как Соловьев, и не празднует азиатчину, как Блок в его протоевразийском поэтическом манифесте «Скифы»: «Да, азиаты – мы...» и прочее. И в том, и в другом случае имеет место чувство коллективной, национальной правоты и гордости: у Соловьева по поводу того, что *мы* не «стада рабов», как азиаты, у Блока в «Скифах», напротив, потому что *нам* свойствен утраченный Западом коллективный исторический *élan vital.* Бродский готов разделять коллективную, национальную, *нашу* вину за разрушение Греческой церкви, но положительные достижения для него возможны только в личном плане – в плане индивидуальной свободы, автономии частного человека.

Но в мире Бродского существовал и другой Восток, отличный от агрессивной деспотии ислама. Это – Дальний Восток. Он привлекал поэта с детства, начиная с рассказов отца о Китае. Дань признательности японской и китайской классической литературе – «Письма династии Минь» *(У),* где поэт причудливо переплел печальные обстоятельства собственной судьбы с образами и мотивами, заимствованными из Сэй-Сёнагон, Акутагавы Рюноскэ и классической китайской поэзии. В

восьмидесятые годы он обязательно читал «Письма династии Минь» на всех своих публичных выступлениях. Интерес к классической китайской поэзии был настолько сильным, что уже в последние годы жизни Бродский начал брать уроки китайского[337].

Бродского критиковали за его трактовку западно-восточной дихотомии, в особенности за очерк «Путешествие в Стамбул» (1985). Солженицын усматривает там еще одну попытку очернить Россию, русскую историю и православие[338]. В то же время зарубежный литературовед сверяет тексты Бродского с популярным среди поклонников «постколониальных штудий» трудом Эдуарда Саида «Ориентализм» и ставит диагноз империалистической ностальгии и клишированного «ориенталистского» восприятия Востока[339]. Это критика с совершенно разных позиций, но общее тут – чтение текстов Бродского как идеологических. Между тем Бродский создает не идеологические тексты, а лирические. Он предлагает нам не выстроенные концепции, а впечатления от ночлегов в пастушеских сараях на склонах Тянь-Шаня или от блужданий по пыльному и жаркому Стамбулу. Идеологию в данном случае привносят читатели – Солженицын патриотически-православную, западный литературовед постмодернистскую, а автор этих строк либеральную и персоналистическую.

Вопросы веры

В той же «Речи о пролитом молоке» – стилистически разношерстном, лихорадочно изложенном кредо Бродского – сказано:

> Обычно тот, кто плюет на Бога,
> плюет сначала на человека.

Мы знаем, что, воспитанный в атеистическом обществе и в религиозно индифферентной семье, Бродский жадно заинтересовался метафизическими вопросами в юности, при этом познакомился с основами индуизма и буддизма раньше, чем с иудеохристианством. Библию впервые прочитал, когда ему было двадцать три года. Был ли он верующим человеком, и если был, то в каком отношении находилась его вера к христианству, иудаизму, восточным религиям – или то были внеконфессиональные отношения со Всевышним? Мне представляется бестактным спекулировать по поводу веры или агностицизма Бродского, а в его собственных текстах мы находим недвусмысленный ответ только на последний вопрос: «...я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения»[340]. В стихах он высказывался резче: «...я не любил жлобства, не целовал иконы...» («Пятая годовщина», *У)* — чем спровоцировал гневную отповедь анонимной «Группы православных христиан из СССР», приславшей в журнал «Континент» письмо, хлестко, но неточно озаглавленное «Христопродавцы»[341]. Бродский не оставил этот выпад без ответа. Два года спустя в панорамном «Представлении» *(ПСН)* он дал карикатуру на новообращенных изуверов, подменяющих веру ритуалом, национальным чванством и ксенофобией:

> Входит некто православный, говорит: «Теперь я – главный.
> У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.
> Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.
> Дайте мне перекреститься, а не то – в лицо ударю.
> Хуже порчи и лишая – мыслей западных зараза.
> Пой, гармошка, заглушая саксофон – исчадье джаза».
> И лобзают образа
> с плачем жертвы обреза...

(В неоконченном последнем слове заключена многозначительная двусмысленность: «жертвы обреза[ния]» – намек на интеллигентов еврейского происхождения, увлекшихся православием как интеллектуальной модой, а «жертвы обреза[нных]» – указание на антисемитизм, неотделимый от русской этнической религиозности; к тому же «обрезанность» самого слова иконична.)

Недоверие к обрядовости православия не означает автоматически приверженности к протестантизму или евангелическому христианству, хотя если Бродский обращается в стихах к Высшему существу, то не литургически, а непосредственно и интимно, как принято в евангелическом вероисповедании:

> Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
> благодарен за всё...
>
> *(«Римские элегии», У)*
>
> ...в ушную раковину Бога,
> закрытую для шума дня,
> шепни всего четыре слога:
> – Прости меня.
>
> *(«Литовский дивертисмент», КПЭ)*

Не упованием на спасение из глубин страдания, а благодарностью и прощением, по существу счастливыми состояниями духа, проявляется вера у Бродского[342]. «И пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность» («Я входил вместо дикого зверя в клетку...», *У)*. О строке из «Шиповника» Ахматовой: «Ты не знаешь, что тебе простили...» – Бродский сказал, что «она – ответ души на существование... ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет»[343].

Когда Бродский говорит интервьюерам о своем «кальвинизме», то это, разумеется, фигура речи, троп. О кальвинизме в его метафизике напоминает лишь одно – представление об изначальной греховности (у Бродского, скорее, виновности) человека, которую нельзя ни замолить, ни искупить добрыми делами: «Согласно кальвинистской доктрине человек отвечает сам перед собой за всё. То есть он сам, до известной степени, свой Страшный Суд»[344]. В «Письме президенту» (1993)

он писал: «Не живет ли в каждом из нас какая-то вина, не имеющая никакого отношения к государству, но тем не менее ощутимая? Поэтому всякий раз, когда рука государства настигает нас, мы смутно воспринимаем это как возмездие, как прикосновение тупого, но тем не менее предсказуемого орудия Провидения»[345]. Точнее, у Бродского речь идет не о греховности в традиционно христианском понимании, а об экзистенциальной вине несоответствия самому себе, неаутентичности (по Хайдеггеру) или, как прокламируется названием автобиографического эссе Бродского «Less than One», виновность человека в том, что он в жизни сплошь и рядом «меньше самого себя»[346]. Этот «сам» – ежеминутно живущий в полную меру своего дарования, аутентичный, «нестадный» человек или фрейдовское «сверх-я». Нравственным вектором в жизни является стремление стать равным самому себе, что удается только в творчестве.

Так же, как «кальвинизм», условны его заявления об иудаистской идее непостижимо произвольного Бога. Как уже говорилось выше, с иудаизмом, талмудическим или хасидическим, это имеет мало общего. Этот Бог вообще не относится ни к одной из институализированных религий. Это – Бог Кьеркегора и Шестова. Поэма «Исаак и Авраам» *(ОВП)* была непосредственным откликом на «Страх и трепет» Кьеркегора и, вероятно, на размышления Шестова о Кьеркегоре[347]. Не будет большим преувеличением сказать, что и всё последующее жизненное поведение Бродского было откликом на эти тексты.

В 1993 году по инициативе П. Л. Вайля в Москве отдельной книжечкой были изданы рождественские стихи Бродского. Даря книжку знакомым, Бродский подписывал ее: «От христианина-заочника». Ему была свойственна любовь к Христу, но не поклонение ему. С одной стороны – все рождественские стихи и такие вещи со значительным элементом *imitatio Christi,* как «Горбунов и Горчаков» *(ОВП),* «Натюрморт» *(КПЭ)* и «Посвящается стулу» *(У),* с другой – искренние сожаления по поводу метафизической недостаточности христианства. Кажется, Бродский – единственный серьезный писатель Нового времени, искренне сожалевший об утрате политеизма. О Юлиане Отступнике он писал: «Рискуя быть обвиненным в идеализации, хочется назвать Юлиана великой душой, одержимой пониманием того, что ни язычество, ни христианство недостаточны сами по себе: ни то, ни другое не может удовлетворить полностью духовные потребности человека. Всегда есть нечто мучительное в остатке, всегда чувство некоего частичного вакуума, порождающее, в лучшем случае, чувство греха. На деле духовное

беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философией, и нет ни одной доктрины, о которой – не навлекая на себя проклятий – можно сказать, что она совмещает и то, и другое, за исключением разве что стоицизма и экзистенциализма (последний можно рассматривать как тот же стоицизм, но под опекой христианства)»[348]. Помимо прямого содержания этого высказывания, следует обратить внимание на то, что носителя лучших человеческих качеств Бродский называет «великой душой». Мы помним, что «великая душа» – это и определение Ахматовой в лапидарном юбилейном стихотворении 1989 года. И в личности Одена он выделяет как главное «щедрость духа».

Независимо от степени и характера религиозности в стихах Бродского, одно несомненно – именно он возвратил в русскую поэзию исчезнувший было из нее метафизический дискурс. Он сам иногда ставил себе в заслугу возвращение в стихи слова «душа». Действительно, «душа» – одно из самых высокочастотных слов в словаре Бродского – 204 употребления[349]. При этом он имел в виду, конечно, не слово как таковое – в русском языке «душа» сплошь и рядом фигурирует в неметафизических значениях, и в этих значениях оно свободно использовалось даже в официальной советской поэзии. В. Р. Марамзин писал, что современный человек произносит это слово «только в поэтическом смысле, а в смысл поэтический он приучен не верить»[350]. Но у Бродского «душа», как правило, выступает как «бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею» (Даль). Нельзя сказать, что никто, кроме Бродского, не разрабатывал метафизическую тему в русской поэзии шестидесятых годов. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина – самые популярные поэты молодого поколения – при всей политической дерзости к проблемам веры были равнодушны, и если трактовали эту тему, то в том же духе, что и официальная советская поэзия (см., например, яркое атеистическое стихотворение Ахмадулиной «Бог», 1962). У Булата Окуджавы нередко встречается религиозная образность, но всегда в переносном значении высоких человеческих чувств (см. «Опустите, пожалуйста, синие шторы...», «Мне нужно на кого-нибудь молиться...», «Молитва» и другие стихи Окуджавы пятидесятых – шестидесятых годов).

С другой стороны, еще была жива Ахматова, и в лирике «андерграундных» поэтов, близких Бродскому по возрасту, были широко представлены духовные мотивы[351]. От последних раннего Бродского отличало то, что он заговорил о Боге и душе не в сложном модернистском контексте, а в архаической форме, словно бы действительно чувствуя необходимость

недвусмысленно вернуться к прерванной традиции, прежде чем пробовать новые пути. Это одинаково относится и к простеньким, хотя и очень популярным «Стансам» *(СНВВС)*: «И душа неустанно, / поспешая во тьму, / промелькнет под мостами, в петроградском дыму...» – и к монументальной «Большой элегии Джону Донну» *(ОВП)*. В «Большой элегии» Бродский непосредственно, не прибегая к стилизации, обращается к архаичному жанру «разговора души с телом», но и в «Стансах», и еще раньше в таких стихах двадцатилетнего Иосифа, как «Элегия» («Издержки духа – выкрики ума...») или «Теперь все чаще чувствую усталость...»[352], душа – это «бессмертное духовное существо», а не метафора совести или других моральных свойств.

Юный Бродский, не принадлежа ни к какой религии и не имея даже начатков религиозного воспитания, оперирует понятиями «душа» и «Бог», принимая религиозное мировоззрение, так сказать, «от противного», поскольку атеизм для него неотделим от советского политического режима. Поэтическое воображение в этой области у него работает сильно, но религиозная тематика еще недостаточно продумана. Даже «Большую элегию Джону Донну» он пишет, не прочитав ни стихов, ни знаменитых проповедей Донна. В то время все увлекались Хемингуэем и даже те, кто не читал его неизданного в СССР романа «По ком звонит колокол», знали эпиграф, знаменитую сентенцию Донна: «...ни один человек не является островом... а посему не посылай узнать, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе». Как вспоминал потом Бродский, он полагал, что это строки из стихотворения, и полтора года спустя, когда Л. К. Чуковская прислала ему в Норенскую книгу Донна, пытался это стихотворение отыскать[353]. Сложнее, противоречивее, драматичнее трактуются вопросы веры в стихах после 1964 года, то есть после того, как Бродский познакомился с Библией, начал читать труды религиозных мыслителей и, главное, оказался лицом к лицу с серьезными жизненными испытаниями.

Два стихотворения, в которых с наибольшей полнотой выразилась мерцающая – то вера, то агностицизм – религиозность Бродского, – это «Разговор с небожителем» (1970) и «Натюрморт» (1971; оба в *КПЭ)*. Бродский говорил, что в Библии на него самое сильное впечатление производит Книга Иова. Надрывная трагическая интонация «Разговора с небожителем» та же, что в сетованиях Иова. Но Иов твердо знает, к Кому обращается, и слышит Его ответы. Разговаривающий с небожителем у Бродского, скорее как ожидающие Годо у Беккета, не уверен ни в небесном статусе, ни порой даже в существовании своего

адресата. Это то ангел, то, по-видимому, Всевышний (поскольку ему возвращается дар), то «одна из кукол, пересекающих небесный купол», что и приводит к выводам то агностическим («любая речь безадресна»), то в духе суровой экзистенциалистской религиозности – «вся вера есть не более, чем почта в один конец». Моральную опору, «мужество быть» перед лицом страданий и смерти приходится искать не в Боге, а в самом себе.

Немногим более года отделяет «Разговор с небожителем» от «Натюрморта», но в «Натюрморте» на безответные вопросы «Разговора» дается решительный, хотя и непростой ответ. «Натюрморт» написан во время болезни, когда у Бродского подозревали рак, прежде чем был установлен менее суровый диагноз. В стихотворении упоминаются симптомы анемии, которой сопровождалась болезнь: «Кровь моя холодна. / Холод ее лютей / реки, промерзшей до дна…», «Два / бедра холодны, как лед. / Венозная синева / мрамором отдает». Слово «душа» не встречается в «Натюрморте», но драматическая коллизия этого стихотворения – превращение одушевленного в неодушевленное, плоти в мрамор, человека в вещь. Нет слова «душа», но есть слово «абсурд», перекочевавшее в поэтический словарь Бродского прямиком из «Мифа о Сизифе» Камю. Мысль Камю об абсурдности человеческого существования Бродский цитирует и в других стихах, входящих в «Конец прекрасной эпохи» – в «Письме генералу Z.» («сумма страданий дает абсурд») и «Посвящается Ялте» («Ведь это – апология абсурда! Апофеоз бессмысленности!»). Отношение к абсурду у Камю двояко. Абсурдно человеческое существование ввиду неизбежности смерти: «Мысль, что „я есмь“, мой способ действовать так, будто всё имеет смысл… – всё это головокружительно опровергается абсурдностью возможной смерти»[354]. Но открытие абсурда приносит человеку трагическую свободу и даже счастье, говорит Камю, и оно изгоняет «из здешнего мира Бога, который сюда проник вместе с неудовлетворенностью и вкусом к бесполезному страданию»[355]. Но вот героического атеизма Камю Бродский не разделяет. На вызов абсурда он отвечает в «Натюрморте» утверждением веры, причем делает это с исключительной поэтической изобретательностью.

Как всегда у зрелого Бродского, важным смыслообразующим элементом стихотворения является композиция. За исключением «Горбунова и Горчакова», пожалуй, нигде симметрия/асимметрия частей не играет такой исключительной роли, как в «Натюрморте» *(КПЭ)*. Стихотворение состоит из десяти равных, по три катрена в каждой, пронумерованных частей. Первые девять

представляют собой авторский монолог, подобный «Речи о пролитом молоке», но сфокусированный на теме смерти. Как уже было сказано, эта тема представлена в оппозиции *человек/вещь*. Подобно чеховскому Гаеву из «Вишневого сада», который со слезами прославлял непоколебимое существование «многоуважаемого шкафа», Бродский иронически противопоставляет буфет, незыблемый, как твердыня *Notre Dame,* человеку с его жалким страхом смерти. Части 1–3 и 6 – о человеке, себе, в них фигурирует «я»: «Я сижу на скамье...» (1), «Я готов начать...» (2), «Я не люблю людей...» (3), «я сплю среди бела дня...» (6). Симметричны по отношению к частям 1–3, 6, в девятичастной структуре, части 4 и 7–9. Они о вещах: о дереве, камне, пыли и вещах-предметах вообще. «Я» в них отсутствует. В центре всей конструкции – часть 5 («Буфет»). Здесь мы находим наблюдение конкретной вещи, но и наблюдатель не устранен из текста, имеется «я», хотя и в косвенном падеже: «Старый буфет... <...> напоминает мне...» Преобладание вещного над личностным во второй половине стихотворения утверждает тему омертвения живого, «натюрморта», интепретированного буквально как «мертвая природа». В завершающей тему девятой части прямо говорится о приходе смерти к уже, по сути, безжизненному телу, которое способно только, подобно предмету – зеркалу, отразить лик смерти.

Здесь заканчивается прямой авторский монолог. Но «Натюрморт» на этом не кончается. Вне строгой симметричной структуры и как сюжетный *non sequitur* возникает десятая часть – квазиевангельская сцена, диалог распятого Христа с Марией[356]. Речь идет о таинстве воскресения, победы над смертью.

Мать говорит Христу:
– Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?

Как ступлю за порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив? —

Он говорит в ответ:
– Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

Нет разницы между смертью и жизнью – это выглядит как кьеркегоровский «прыжок веры», однако в лапидарной строке Бродского кроется и своего рода поэтическая рационализация такого ответа на трагическую дихотомию. Разницы нет постольку, поскольку «я твой». Благодаря общепринятому в современной русской грамматике пропуску бытийного глагола-связки, мы склонны забывать, что полная грамматическая конструкция была бы «я *есмь* твой». Связанные узами любви, люди *суть,* существуют. Вне этих связей – *homo homini res est* (человек человеку вещь)[357]. Как ни импонировало Бродскому мужественное одиночество «человека абсурда» (по Камю), на «последние вопросы» он все же отвечает в традиционно-христианском духе. И не только в «Натюрморте». Тема любви как спасения проходит через всё последующее творчество Бродского. Вопреки провокативному «Я не люблю людей...» он позднее скажет:

> Многие – собственно, все! – в этом, по крайней мере,
> мире стоят любви...
>
> *(«Стрельна», У)*

Мир глазами Бродского (заключение)

Вот что надо сказать, заканчивая беглый обзор мировоззрения Бродского. В нем можно найти отголоски многих философов и философских школ[358]. Более или менее стройна и внутренне непротиворечива его политическая философия. О родной истории он судит в духе «западнической» традиции – от Чаадаева до Федотова. Он принципиальный враг коммунизма и либерал, если понимать либерализм как признание личной свободы абсолютной ценностью (ср. у Солженицына в девятой главе романа «В круге первом»: «Либерализм – это любовь к свободе...»). С либеральных позиций он оценивал и капитализм. В 1980 году говорил, что польскую свободу давят «советские танки и западные банки» (имея в виду бездействие Запада, заинтересованного в торгово-экономических отношениях с СССР). Но ведущей интенцией был вообще отказ от политики в пользу индивидуальной психологии и эстетики: «Самый большой враг человечества – не коммунизм, не социализм или капитализм, а вульгарность человеческого сердца, человеческого воображения. Например, вульгарное, примитивное воображение Маркса. Вульгарное воображение его русских последователей»[359].

В отношении Бродского к вопросам морали и веры мы не находим ни полных соответствий известным философским системам, ни последовательности. В его упорном предпочтении «мысли о вещах» самим вещам, Времени, Пространству сказывается классическая идеалистическая традиция – платонизм и неоплатонизм[360]. Но мы находим у него и ядовитые выпады против этой традиции («Развивая Платона», *У)*. Многие из его важнейших поэтических текстов проникнуты христианским морализмом с центральными мотивами вселенской любви и всепрощения, и в то же время в нобелевской лекции и многих других принципиальных высказываниях он утверждает, вполне в духе Ницше, примат эстетики над этикой. А. М. Ранчин о системе, вернее, а-системности мировоззрения Бродского пишет: «Сосуществование у Бродского противоречащих друг другу суждений порождено – полубессознательным, может быть, – представлением о некоем идеальном Тексте, описывающем все возможные утверждения и мысли, в том числе взаимоисключающие, вбирающем их в себя и тем самым как бы разрешающем...»[361] Можно сказать и по-другому: Бродский глубоко философичен, но он антиидеологичен. Он принципиально отказывается от собственной идеологии, то есть стройной и устойчивой системы взглядов. Идеология гноит

реальность в «символической тюрьме» (по выражению Поля Рикёра), тогда как «"свобода" и „система“ суть антонимы»[362]. О бессмысленности любой философии вне индивидуального жизненного опыта – стихотворение «Выступление в Сорбонне» *(ПСН)*. Для Бродского, как и для Кьеркегора, Достоевского, Ницше, Камю, реальность, жизнь как таковая превосходят любое логизирование и требуют прежде всего страстного, поэтического отношения.

Экзистенциализм

Отношение Бродского к экзистенциализму – слишком общий для данного обзора вопрос[363]. Ограничимся констатацией очевидного. Экзистенциализм, являясь не философской доктриной, а не лишенным внутренних противоречий интеллектуальным течением, «мейнстримом» двадцатого века, безусловно, определил характер мышления Бродского. Он чтил Кьеркегора, Достоевского, Шестова, Кафку, Камю, Беккета, критически относился к Ницше и Сартру, несмотря на участие последнего в его судьбе. О его отношении к Ясперсу и Хайдеггеру нам ничего не известно. Не менее, если не более, важно то, что Бродский глубоко усвоил эстетику экзистенциализма. Как известно, философия экзистенциализма формировалась в основном не в рациональных трактатах, а в художественных произведениях: в романах Достоевского, Кафки, Камю, пьесах Беккета и в поэтических, по существу, текстах Кьеркегора и Ницше. О Шестове, которого он прочитал от корки до корки, Бродский говорит: «Меня в Шестове интересует в первую очередь писатель-стилист, который целиком вышел из Достоевского»[364]. Вне контекста литературы и кино двадцатого века трудно оценить лирического героя Бродского – одиночку и анонима, сознательно избравшего одиночество и анонимность. За исключением ностальгических воспоминаний о детстве и короткой поре счастливой любви мы всегда застаем его отчужденным от социальной среды – не дома, не в семье, не на родине, а за столиком кафе или на скамейке в парке, в гостиничном номере, в чужом городе, в чужой стране. Классический пример – постоялец пансионата «Аккадемиа» в стихотворении «Лагуна» (ЧР) — «совершенный никто, человек в плаще». В этом образе кристаллизуется целая галерея литературных и киногероев – от Жан Батиста Кламанса (Камю, «Падение») до одиноких скитальцев из голливудских «черных фильмов» тридцатых – сороковых годов, столь ценимых французскими режиссерами «новой волны».

Даже в таком беглом, как наше, обсуждении темы «Бродский и философия» или «Бродский и экзистенциализм» надо напоминать себе о крайней условности такой постановки вопроса. Когда Бродский писал:

> Я не философ. Нет, я не солгу.
> Я старый человек, а не философ,
> хотя я отмахнуться не могу

от некоторых бешеных вопросов, —

он предостерегал против вычитывания из его стихов «концепций», не говоря уж о идейных системах:

Соединять начала и концы
занятие скорей для акробата.
Я где-то в промежутке или вне[365].

Быть в промежутке или вне систематических доктрин – это состояние духовной неустойчивости, эмоционального напряжения, «Angst'a». Шестов, утверждавший, что у всех подлинных мыслителей начала и концы никогда не сходятся в стройную систему, писал: «Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой. Общее состояние творящего – неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне, издерганность»[366]. В поэзии, во всяком случае в поэзии Бродского, именно духовный неуют, коллизия несовместимых идей обеспечивают драматическое напряжение и впечатляющий *стиль* авторского голоса. Выше я цитировал слова Бродского о том, что экзистенциализм – это современный вариант стоицизма. С точки зрения учебника по истории философии, в этом заявлении есть существенный изъян. Стоики проповедовали бесстрастие, тогда как Кьеркегор и Ницше учили, что только страстно («опасно» по Ницше) проживаемая жизнь и может считаться жизнью. Как же можно «жить опасно», сохраняя бесстрастие?

Когда я упомянул влияние кино на экзистенциалистский стиль Бродского, имелись в виду, конечно, не фильмы со смутными претензиями на философичность и «современность». Такие Бродский терпеть не мог. На подобного рода болгарский фильм «Отклонение», получивший в 1967 году золотой приз Московского кинофестиваля, он написал эпиграмму:

И он с седою прядью
без черт лица
волочится за блядью
вдоль стен дворца.

(СНВВС)

Он любил крепко сделанные в строгих рамках жанра

голливудские вестерны и военные фильмы. Одним из его любимых актеров был Стив Маккуин, в особенности в роли Вина из «Великолепной семерки» (1960). Постоянный герой Маккуина – молчаливый и внешне невозмутимый, но под этой маской страстно сентиментальный и стремящийся к самопожертвованию. По существу это и есть экзистенциалист и стоик в одном лице. Он невозмутим, как Марк Аврелий, и «живет опасно», как того требует Ницше. Он, пользуясь американским сленгом, «cool». Этот персонаж интересен, потому что драматичен, а драматическое напряжение создается постоянным конфликтом между внутренним кипением страстей и отсутствием их внешнего выражения – неподвижность лица, сдержанность жестов и интонаций. Если бы мы знали о том, что происходит в душе у неразговорчивого и скупого на жесты героя Маккуина только из сюжета фильма, вряд ли этот образ производил бы на нас сильное впечатление. Но Маккуин не фотографируется в разных позах и ракурсах, а *играет* своих героев. Его игру отличает безупречная техника – точная, как в балете, пластика, кошачья грация движений. Так и лирическая энергия стихотворения в зрелом творчестве Бродского обеспечивается конфликтом между внешним бесстрастием лирического героя – он тщательно выдерживает бесстрастную монотонную интонацию (что находит отражение в ритмике стиха) – и его страстным отношением к жизни – любви, разлуке, проявлениям зла, в особенности, несправедливости, а также его жадным вниманием к материальному миру, который он стремится рассмотреть и вообще чувственно воспринять с предельной доскональностью. При этом уровень артистической дисциплины очень высок.

Случайное, спонтанное, чисто ассоциативное исключается из поэзии Бродского. Он поэт, и ответ на «последние вопросы» для него не в откровении веры и не в доводах разума, а в создании безупречного текста. Но поскольку окончательно-идеальное стихотворение создать невозможно, каждый раз приходится начинать труд заново. Сизиф из притчи Камю, принимающий абсурдные условия человеческого существования, – вот эмблема избранного Бродским пути.

Молодость Бродского пришлась на период, когда топика экзистенциализма была в искусстве центральной. Ни Кьеркегор, ни Достоевский, ни Шестов, ни Камю не научили Бродского быть экзистенциалистом, но помогли осознать те интуиции, которые были свойственны ему изначально: ощущение одиночества и заброшенности в мире, абсурда бытия перед лицом смерти, страстный индивидуализм, чувство вины и ответственности, стремление к солидарности со всеми, кому плохо. В известном

споре о гуманизме, который развел Сартра (более философа, чем писателя) и Камю (более писателя, чем философа), Бродский на стороне Камю[367]. Если он и философствует в стихах или прозе, то лишь до определенного предела. Нравственная составляющая, сердцевина личности для него онтологична, не подлежит ни рационализации, ни вообще обсуждению: причинять страдание нельзя. Это можно проиллюстрировать житейским эпизодом. Бродский очень уважал вдову Ходасевича Нину Николаевну Берберову и как сильную независимую личность, и «как остаток большого огня»[368]. В 1989 году Берберова после почти семидесяти лет эмиграции съездила в Россию. Несмотря на очень теплый прием и на то, что всю жизнь на Западе она исповедовала взгляды влево от центра, на родине ей не понравилось. Вскоре по возвращении она столкнулась с Бродским на одной вечеринке и принялась рассказывать ему о своих – безотрадных – впечатлениях. «Я смотрела на эту толпу, – сказала она об аудитории на ее выступлении, – и думала: пулеметов!» Бродский, слушавший до сих пор сочувственно, на эту риторическую фигуру воскликнул: «Нина Николаевна, нельзя же так!» – «Что нельзя?» – нахмурилась Берберова. «Ну, нельзя так, не по-христиански...» – «Я этих разговоров не понимаю», – сказала Берберова и повернулась к Бродскому спиной. Бродский и сам мог брутально пошутить (о Москве: «Лучший вид на этот город – если сесть в бомбардировщик» – «Представление», *ПСН*[369]), иногда раздражался, бывал резок, но он ни к кому не испытывал ненависти.

Глава VIII
Американец

Прибытие на Запад: Оден

Отъезд в эмиграцию из Советского Союза в семидесятые годы был для отъезжающего и для провожающих событием, не лишенным трагизма. Люди верили, что расстаются навсегда, и в проводах был похоронный оттенок. Для отъезжающего, да еще такого, который никогда прежде не покидал пределы СССР, так же трагически острым было ощущение бесповоротного перехода пограничной черты, разделяющей родной, знакомый мир и мир незнакомый, чужой. У самой этой черты родина провожала изгнанника с полицейской свирепостью. У Бродского пулковские таможенники тщательно обыскали скудный багаж и в поисках непонятно чего разломали портативную пишущую машинку.

После недолгого перелета из социалистического Ленинграда оказаться в капиталистической Вене было порядочным потрясением прежде всего просто на чувственном уровне. Иной мир бил в глаза яркими красками, наполнял уши чужой речью. В воздухе пахло по-другому. После советской скудости потрясало разнообразие машин на улицах, избыток товаров в витринах. «Голова все время повернута вбок (то есть к витринам. – *Л. Л.)*. Изобилие так же – если не более – трудно воспринимать всерьез, как и нищету. Второе все-таки лучше, ибо душа работает. Я лично не воспринимаю, как-то отскакивает и рябит», – писал Бродский через две недели после отъезда[370]. Однако шок новизны был смягчен и все сумбурные ошеломляющие впечатления отодвинуты на второй план, поскольку на границе другого мира Бродский встретил человека, которого он чтил выше всех живущих, – Уистана Хью Одена (1907–1973). Это была почти случайная счастливая встреча, и она имела колоссальное значение для последующей жизни Бродского.

Бродский увидел Одена через день после вылета из Ленинграда. 6 июня со своим американским приятелем Карлом Проффером он поехал во взятой напрокат машине наудачу отыскивать городок Кирхштеттен. Там начиная с 1958 года проводил лето Оден. Не сразу, но они нашли нужный Кирхштеттен (их в Австрии несколько) и по счастливой случайности подъехали к дому Одена как раз тогда, когда к нему шел сам Оден, только что вернувшийся из Вены на поезде. Бродский увидел человека, чьи слова о власти Языка над Временем, прочитанные за восемь лет до того в избе на севере России, перевернули его судьбу.

В очерке «Поклониться тени» Бродский рассказывает, как в 1968 или 1969 году он увидел фотографию Одена и долго

вглядывался в нее. «Черты были правильные, даже простые. В этом лице не было ничего особенно поэтического, байронического, демонического, ироничного, ястребиного, орлиного, романтического, скорбного и т. д. Скорее, это было лицо врача, который интересуется вашей жизнью, хотя знает, что вы больны. Лицо, хорошо готовое ко всему, лицо – итог. <…> Это был взгляд человека, который знает, что он не сможет уничтожить эти угрозы, но который, однако, стремится описать вам как симптомы, так и саму болезнь»[371].

Оден, которого увидел Бродский у калитки кирхштеттенского дома, был значительно старше, чем на той фотографии. Он старел быстро. Лицо было так морщинисто, что его друг Стравинский шутил: «Скоро нам придется разглаживать Уистана, чтобы выяснить – он это или не он». Ему оставалось жить немногим более года.

Как рассказывает Бродский, когда Проффер растолковал Одену, кого он привез, Оден воскликнул: «Не может быть!» – и пригласил их в дом[372]. Оден знал имя Бродского не только из прессы, писавшей в свое время о безобразной комедии суда над молодым русским поэтом, а в эти дни о его изгнании. За два года до появления неожиданного гостя у его калитки он прочитал стихи Бродского в компетентных переводах Джорджа Клайна и затем написал небольшое предисловие к сборнику этих переводов. Это осторожно написанный текст – Оден начинает с того, что трудно, не зная языка, судить о поэте по переводам, но предисловие написано с симпатией и некоторые замечания там весьма проницательны. Бродский был польщен и счастлив тем, что великий Оден написал предисловие к его книжке, но была в этой бочке меда и капля дегтя. Столь же положительно Оден отнесся и к стихам Андрея Вознесенского и даже блестяще перевел его «Параболическую балладу». Из этого можно было заключить, что лучший поэт английского языка рассматривает стихи русских молодых поэтов из такого далека, что не различает их принципиальной несовместимости.

В согласии Одена написать предисловие к книжке Бродского не было ничего особенного. Оден во многих отношениях представлял тип английского писателя-профессионала, умеющего заниматься литературной поденщиной[373]. У него была многолетняя привычка – работать за письменным столом с утра до вечера с перерывом на обед. Другая многолетняя привычка была подкрепляться при этом алкоголем. Способность вот так работать и пить произвела большое впечатление на Бродского в те дни, что он провел в компании Одена. С юмором и восхищением он описывает порядок дня в Кирхштеттене

(переводы иноязычных слов даны в квадратных скобках):

«Первый martini dry [сухой мартини – коктейль из джина и вермута] W. H. Auden выпивает в 7.30 утра, после чего разбирает почту и читает газету, заливая это дело смесью sherry [хереса] и scotch'a [шотландского виски]. Потом имеет место breakfast [завтрак], неважно из чего состоящий, но обрамленный местным – pink and white [розовым и белым] (не помню очередности) сухим. Потом он приступает к работе и – наверно потому, что пишет шариковой ручкой – на столе вместо чернильницы красуется убывающая по мере творческого процесса bottle [бутылка] или can (банка) Guinnes'a, т. е. черного Irish [ирландского] пива. Потом наступает ланч ≈ 1 часа дня. В зависимости от меню, он декорируется тем или иным петушиным хвостом (I mean cocktail [я имею в виду коктейль]). После ланча – творческий сон, и это, по-моему, единственное сухое время суток. Проснувшись, он меняет вкус во рту с помощью 2-го martini-dry и приступает к работе (introductions, essays, verses, letters and so on [предисловия, эссе, стихотворения, письма и т. д.]), прихлебывая все время scotch со льдом из запотевшего фужера. Или бренди. К обеду, который здесь происходит в 7–8 вечера, он уже совершенно хорош, и тут уж идет, как правило, какое-нибудь пожилое chateau d'... [«шато де...», то есть хорошее французское вино]. Спать он отправляется – железно в 9 вечера.

За 4 недели нашего общения он ни разу не изменил заведенному порядку; даже в самолете из Вены в Лондон, где в течение полутора часов засасывал водку с тоником, решая немецкий кроссворд в австрийской Die Presse, украшенной моей Jewish mug [жидовской мордой]»[374].

На самом деле с Оденом все обстояло не так уж весело. На старости лет ему грозило одиночество. Жить ему оставалось пятнадцать месяцев. Здоровье было разрушено, алкоголизм усиливался, и старые друзья с тревогой отмечали изменения личности: известный своей добротой и тактом Оден теперь иногда бывал груб. Откровенно игнорировал собеседников, предпочитая монологи, которые были по-старому блестящи до шести вечера, но становились менее вразумительными по мере того, как он накачивался алкоголем в конце дня[375]. Воспоминания Бродского о днях, проведенных с Оденом в Австрии, а затем в Лондоне, рисуют другую картину. Если их общение и носило односторонний характер, то потому, что разговорный английский Бродского был еще очень плох, но, главное, Оден тепло приветил неожиданного гостя и деятельно заботился о нем. Чарльз Осборн, организатор лондонского ежегодного международного фестиваля поэзии, где Оден был

чем-то вроде почетного председателя, пишет: «Уистан хлопотал над ним, как наседка, на редкость добрая и понимающая наседка»[376].

Нельзя не отдать должное интуиции Одена, который что-то угадал в молодом поэте, пишущем на незнакомом языке, проникся к нему симпатией и постарался, как мог, помочь ему справиться с психологическим напряжением первых дней в незнакомой среде. И все же эту встречу никак нельзя назвать встречей равных. Прежде всего ясного представления о том, что за стихи пишет русский изгнанник, у Одена не было, да и в личном плане не умеющего говорить по-английски Бродского он по-настоящему оценить не мог. Встреча с Бродским не была исключительно важным событием в жизни Одена. Появление Бродского на Западе сопровождала некоторая шумиха в масс-медиа, но Оден был слишком умен, чтобы такие вещи производили на него впечатление. Он и сам к этому времени был международной знаменитостью и, куда бы ни приехал, не знал отбоя от газетных репортеров и телевизионных интервьюеров. В перспективе жизни Одена Бродский был одним из нескольких десятков молодых поэтов и не-поэтов, кого Оден морально или материально поддержал. Судя по воспоминаниям Бродского, он вызывал у Одена некоторое любопытство и просто как человек из России, страны Достоевского, Толстого и Чехова[377]. Наконец, симпатия к Бродскому питалась еще и антипатией, отвращением, которое испытывал Оден к советскому режиму, в особенности после вторжения в Чехословакию в 1968 году. На склоне жизни для Одена встреча с Бродским не была экстраординарным событием, но для Бродского встреча с Оденом имела провиденциальное значение.

На поверхностный взгляд, вырисовывается красивая эмблема, вроде той, которую он изобразил в «Стихах на смерть Т. С. Элиота», где над могилой поэта симметрично склоняются Америка и Англия. В России, в начале литературного пути, Бродский был напутствуем последним великим поэтом Серебряного века, Ахматовой, а на переломе жизни, в дверях Запада, его приветствовал величайший англо-американский поэт, Уистан Оден. Подыскивая слова благодарности своим славным покровителям, Бродский фактически благодарит их за одно и то же: «Можно назвать это (речь идет о стихах Одена. – *Л. Л.)* щедростью духа, если бы дух не нуждался в человеке, в котором он мог бы преломиться. Не человек становится священным в результате этого преломления, а дух становится человечным и внятным. Одного этого – вдобавок к тому, что люди конечны, – достаточно, чтобы преклоняться перед этим поэтом»[378], – и в

стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» парафраз той же мысли о великом поэте, находящем святые слова прощения и любви:

> ...затем что жизнь – одна, они из смертных уст
> звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.
>
> *(ПСН)*

На самом деле симметрии не получается. Бродский близко знал Ахматову в течение нескольких лет, проводил многие часы в разговорах с ней, тогда как общение с Оденом было кратким и односторонним. Вспоминая Ахматову, Бродский подчеркивает значение ее морального примера, между ним и Ахматовой как поэтами очень мало общего. Не то с Оденом. Влияние ли имеет место, сознательное ли ученичество или конгениальность (скорее всего, и то, и другое, и третье), но практически всему у Бродского – от структуры отдельных поэтических оборотов до понимания поэтических жанров и понимания поэтического искусства вообще – можно найти параллели у Одена[379]. В личном плане между ними можно отыскать как черты сходства, так и кардинального несходства, но существенно другое – стихи русского поэта, родившегося в 1940 году, удивительно похожи на стихи англо-американского поэта, ровесника его родителей. Кажется, что встреча с Оденом помогла Бродскому оценить глубину этого редкого избирательного сродства, и после этой встречи он уже вполне сознательно до конца дней поверял свою поэтическую работу Оденом как образцом.

Бродский в Америке

Бродский прилетел из Лондона в Детройт 9 июля 1972 года[380]. С самого начала его американской жизни был задан повышенный темп. Уже 21 июля он полетел в Западный Массачусетс к своему американскому переводчику Джорджу Клайну, чтобы поработать с ним над книгой избранных стихов[381]. Работал он, в основном сидя на дереве: ему страшно понравился домик на ветвях старого дуба – американцы часто строят такие детям для игры[382]. Благодаря газетам и в особенности телевидению, оповестившим страну о приезде русского поэта-изгнанника, на Бродского сыпались бесчисленные приглашения. Клайн рассказывает, что с лета 1972-го до весны 1973 года он выступал вместе с Бродским в качестве его переводчика в университетах и колледжах Америки около тридцати раз. Бродского особенно трогало то, что ему писали, предлагая гостеприимство, и простые американцы. Но у него уже было где поселиться, помимо дуба в Массачусетсе.

С точки зрения иммиграционной службы США, Иосиф Бродский был одним из нескольких десятков тысяч бывших советских граждан еврейского или номинально еврейского происхождения, подавшихся в Америку в семидесятые годы. Подобно некоторым выдающимся ученым или известным диссидентам в этом потоке он не имел оснований особенно беспокоиться о своем будущем в новой стране – его имя было известно в академических, журналистских и правительственных кругах. Стараниями Карла Проффера ему было предложено место в Мичиганском университете с годовым окладом в двенадцать тысяч долларов, что в те времена было приличной суммой. К тому же он был одинок и свободен от забот о семье.

Трудоустройство, заработки составляют, однако, лишь часть иммигрантских забот. Всем новым американцам приходилось пережить то, что социологи называют «культурным шоком», адаптироваться в обществе, устроенном совсем на других принципах, нежели то, в котором они выросли. Фундаментальные понятия американской цивилизации головокружительно отличались от российских. «Успех» и «неудача», «богатство» и «бедность», «народ» и «правительство» и даже конкретные понятия – «дом», «город», «автомобиль», «обед», «пойти в гости» – значили в Америке не совсем то или совсем не то, что в России. Личная свобода, полная ответственность за собственное существование да и материальный комфорт стали нелегкими испытаниями для тех, кто к ним не привык. Бродский оказался

более подготовленным, чем многие, к первоначальному неуюту чужого мира. У него за плечами был уже богатый опыт изгойства в родной стране. Быть школьником в заводском цеху, здоровым в сумасшедшем доме, интеллигентом на совхозном поле или чужаком в незнакомой стране – разница невелика. Кажется, он вообще боялся социального уюта как пути к душевной энтропии уже тогда, когда не хотел вписываться в либеральный фрондирующий литературный круг, где со значением, как гимн, пели песню Булата Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» Он даже из собственного дома с собственного дня рождения убегал, когда застолье становилось слишком задушевным.

Да и страна, куда он переехал, не была для него такой уж незнакомой. Бродский был из того меньшинства эмигрировавшей в Америку интеллигенции, кто прошел долгую школу заочного знакомства с американской культурой. Голливуд, джаз, американская литература несли исподволь колоссальное количество культурной информации о заокеанской стране. Бродский не шутил, когда начинал историю свободомыслия в советской России с фильмов о Тарзане[383]. Оглашающий воплями джунгли Тарзан Джонни Вейсмюллера и фехтующий флибустьер Эррола Флинна действительно могли преподать впечатлительному ребенку первые уроки индивидуальной свободы как абсолютной ценности, а ковбои и шерифы вестернов – образец личной ответственности за себя и то, что Бродский называл «мгновенной справедливостью». Когда Иосиф подрос и увлекся, как многие в его поколении, джазом, он распознал в основе этого искусства тот же по существу принцип личной независимости, одинокой свободы. В великом романе Мелвилла, в стихах Эдвина Арлингтона Робинсона, Роберта Фроста, Эдгара Ли Мастерса открывались иные, тревожные аспекты индивидуализма. Но этика одинокого противостояния хаосу и ужасу мира, «мужество быть» были привлекательнее аморального марксистского детерминизма («свобода есть познанная необходимость») или циничного релятивизма, сформулированного персонажем одного из эзоповских стихотворений Евтушенко: «Настоящей свободы – ее ни у нас, ни у вас...»[384] Выше мы цитировали знаменитую строфу из «Щита Ахилла» Одена о маленьком человеческом звереныше, который совершает зло, потому что никогда не слышал «of any world where promises were kept» («ни о каком таком мире, где сдерживаются обещания»). Собственно говоря, Оден откликается здесь на еще более хрестоматийное (самое хрестоматийное!) американское стихотворение двадцатого века «Остановившись в лесу снежным

вечером» Роберта Фроста, которое кончается:

> But I have promises to keep,
> And miles to go before I sleep,
> And miles to go before I sleep.

(Но за мной еще обещания, которые надо сдержать / И мили пути до ночлега, / И мили пути до ночлега.)

Это лишь один пример того, как из пристального чтения американской поэзии Бродский мог исподволь получить представление об обществе, где личная ответственность аксиоматична.

Бродский не раз повторял, что жить в чужой стране можно, только если что-нибудь в ней сильно любить. «Что нравится лично мне, так это то, что здесь я был оставлен наедине с самим собой и с тем, что я могу сделать. И за это я бесконечно благодарен обстоятельствам и самой стране. Меня всегда привлекали в ней дух индивидуальной ответственности и принцип частной инициативы. Ты все время слышишь здесь: я попробую и посмотрю, что получится. Вообще, чтобы жить в чужой стране, надо что-то очень любить в ней: дух законов или деловые возможности, или литературу, или историю. Я особенно люблю две вещи: американскую поэзию и дух [американских] законов. Мое поколение, группа людей, с которыми я был близок, когда мне было двадцать, мы все были индивидуалистами. И нашим идеалом в этом смысле были США: именно из-за духа индивидуализма. Поэтому, когда некоторые из нас оказались здесь, у нас было ощущение, что попали домой: мы оказались более американцами, чем местные»[385].

Карл Проффер и «Ардис»

Однако в наполненные хлопотами и волнениями три недели между вызовом в ОВИР и самолетом в Вену Бродскому было просто некогда подумать о том, где он осядет. Случилось так, что как раз в мае 1972 года в СССР находился один из его иностранных приятелей, американец Карл Проффер[386]. Узнав о том, что происходит, Проффер срочно договорился с руководством Мичиганского университета о приглашении Бродскому и затем приехал встретить Бродского в Вену. Вена была транзитным пунктом для большинства эмигрантов из Советского Союза. Оттуда они отправлялись в Израиль или другие страны.

Карл Проффер (1938–1984) был в то время восходящей звездой американской славистики. К тридцати четырем годам, когда большинство университетских гуманитариев еще служат на низшей академической должности, профессора-ассистента, и готовят к печати первый солидный труд, он уже был автором двух книг, полным профессором престижного Мичиганского университета. Выходец из семьи, где никто до него не получал высшего образования, сын заводского мастера, в юности он выбирал между научной карьерой и карьерой профессионального баскетболиста. Судьбоносный для американской славистики 1957 год, когда в Советском Союзе был запущен первый спутник и в Америке взмыл вверх политический и культурный интерес к России, застал Карла на втором курсе колледжа. Он сделал свой выбор и взялся за изучение русского языка и литературы. Проффер был многообразно одарен. Он научился на редкость свободно и правильно говорить по-русски. В отличие от большинства коллег он досконально изучил не одного автора и даже не одну эпоху, а прекрасно ориентировался в русской литературе от восемнадцатого века до наших дней. Его первая книга – о Гоголе, вторая – о Набокове[387]. Проффер хорошо писал, что не так уж часто встречается в академической среде, и неплохо переводил прозу и стихи. Он обладал феноменальной трудоспособностью. Недовольный медлительностью, консерватизмом и просто малым числом академических журналов и издательств, выпускавших русскую литературу и труды по русистике в США, он, не оставляя преподавательской и научной деятельности, затеял собственное издательство. Он назвал его «Ardis», как именуется дом в романе Набокова «Ада», незадолго перед этим вышедшем в свет (1969).

Набоков, очень разборчивый в отношениях с издателями,

литературоведами и журналистами, проникся доверием к Карлу Профферу и дал ему право на репринтное переиздание всех своих русских книг. Так же репринтно в «Ардисе» вышли редчайшие в то время ранние сборники стихов Ахматовой, Гумилева, Заболоцкого, Мандельштама, Пастернака, Ходасевича, Цветаевой и других поэтов Серебряного века, книги прозы Сологуба, Кузмина, Белого. Проффер выпускал объемный литературоведческий альманах «Russian Literary Triquarterly». Другой стороной деятельности «Ардиса» было издание произведений современных писателей, не имевших шанса увидеть свет в СССР из-за цензуры. Там были изданы впервые «Остров Крым» и «Ожог» Василия Аксенова, «Николай Николаевич» и «Маскировка» Юза Алешковского, «Пушкинский дом» Андрея Битова, «Иванькиада» Владимира Войновича, «Невидимая книга» Сергея Довлатова, полный вариант «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера, «Блондин обеего цвета» Владимира Марамзина, «Школа для дураков» Саши Соколова, мемуары Льва Копелева, сборники стихов Юрия Кублановского, Эдуарда Лимонова, Семена Липкина, Владимира Уфлянда, Алексея Цветкова. Когда в 1979 году группа московских писателей (Аксенов, Алешковский, Ахмадулина, Вознесенский, Высоцкий, Горенштейн, Виктор Ерофеев, Кублановский, Рейн и др.) подготовила неподцензурный альманах «Метрополь», один экземпляр был подпольно вывезен из СССР и опубликован «Ардисом»: сначала репринтное издание, а потом в типографском наборе.

В советскую Россию контрабандным путем попадала относительно небольшая часть продукции «Ардиса», но сам тот факт, что есть на земле свободное издательство, издающее свободную русскую литературу, сыграл большую роль в глухие времена, когда андроповское КГБ душило свободомыслие в России. Как говорил герой Достоевского, «ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти». Для подсоветских литераторов семидесятых годов таким местом стал «Ардис». На вечере, посвященном памяти Проффера, Бродский говорил: «Сделанное Проффером для русской литературы сравнимо с изобретением Гуттенберга, ибо он вернул ей печатный станок. Публикуя по-русски и по-английски сочинения, которым не суждено было превратиться в печатные знаки, он спас многих русских писателей и поэтов от забвения, искажения, невроза, отчаяния. Более того, он изменил самый климат нашей литературы. Теперь писатель, чей труд отвергнут или запрещен, стал лично свободнее, потому что он знает, что, в конце концов, может послать свое сочинение в „Ардис“»[388]. Маленькое американское частное предприятие ютилось в полуподвале,

существовало на занятые-перезанятые деньги. В лучшие времена в нем было трое-четверо постоянных служащих, но издатели, Карл и Эллендея Профферы, и сами – по ночам в основном – набирали, корректировали, паковали и рассылали книги. Вот этот «Ардис» приобрел среди русской интеллигенции почти мифический статус прибежища свободной русской литературы подобно тому, как мифологизирован в романе Набокова другой Ардис, родовое гнездо героя[389].

Бродский относился к Профферам очень дружески, почти по-семейному. Он оказался в Америке как раз тогда, когда издательство делало первые шаги, и принялся помогать как мог. Участвовал в редактуре, читал приходящие из России рукописи. Именно он выдернул «из потока самотёка» рукопись «Школы для дураков» Саши Соколова[390], составил первый сборник стихов Юрия Кублановского, по его рекомендации «Ардис» выпустил книгу стихов Эдуарда Лимонова «Русское». До конца жизни новые сборники стихов Бродский издавал в «Ардисе»: «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи» в 1977 году, «Новые стансы к Августе» в 1983-м, «Урания» в 1987-м и «Пейзаж с наводнением» в 1996 году. Последней книги Бродский уже не увидел.

«Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи»: философия просодии

На сторонний взгляд главными событиями в жизни Бродского в 1964 году были неправедный суд и ссылка в Архангельскую область. Для самого Бродского – озарение над книгой английских стихов. Так и в 1972 году – так называемый «культурный шок», травма перемены места жительства, оказался поверхностным и преходящим, а главным стало то, что для него зазвучала новая музыка и она нашла выражение в обновленной дикции его поэзии. Метафорическая «музыка стиха» – выражение, за которым стоит конкретное содержание. Из всех компонентов поэтического текста только она может быть действительно точно описана и охарактеризована. Речь идет о фонике и ритмике. В книге «Остановка в пустыне» 55 процентов стихотворений, включая обе большие поэмы и «Школьную антологию», написаны неторопливым пятистопным ямбом, размером, характерным для повествовательных и медитативных русских стихов. Некоторое количество стихотворений там же написаны в других классических размерах (пять – четырехстопным ямбом, пять – анапестом и др.). Около 18 процентов, двенадцать стихотворений из шестидесяти девяти, – дольниками, то есть размерами, более сложно, непредсказуемо и индивидуально организованными, чем пять классических. «Теперь так мало греков в Ленинграде...» – пятистопный ямб, а метр стихотворения «Прощайте, мадмуазель Вероника»: «Если кончу дни под крылом голубки...» – дольник. С 1970 года это соотношение стало меняться. В книге «Конец прекрасной эпохи», где собраны стихи, написанные с конца шестидесятых до 1971 года, дольников уже 29 процентов. Но количественный и качественный скачок происходит между «Концом прекрасной эпохи» и «Частью речи». В «Части речи» классическими размерами написано меньшинство стихотворений, 36 процентов, а большинство – дольники.

Только человек, далекий от поэзии, сочтет такую переориентацию чисто технической. Просодия, звуковая и метрическая организация текста, – это то, с чего начинается русский стих. Момент, когда интимные воспоминания о былой любви («Сбегавшую по лестнице одну/ красавицу в парадном, как Иаков, / подстерегал...») и сиюминутные впечатления от начинающейся за окном грозы («Далекий гром закладывает уши...») начинают сливаться в единый лирический текст, Бродский зафиксировал в «Почти элегии»:

мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

(ОВП)

Преобразование лишенного значения «шума», то есть неконтролируемых воспоминаний, потока сознания, дискретных наблюдений и впечатлений в осмысленную музыку стиха и есть творчество. Выбор в области просодии для Бродского был не менее важен, чем словесное выражение, и предшествовал ему. Ведь что такое метр стиха с чисто физической, акустической точки зрения? Это чередование звуков в определенном порядке, определяемом длительностью интервалов между ударными слогами. Интервалы эти длятся секунды и доли секунды, но, так или иначе, они происходят во времени. Просодия есть манипуляция речью во времени. «Метр… <…> не просто метр, а весьма занятная штука, это разные формы нарушения хода времени. Любая песня, даже птичье пение – это форма реорганизации времени. Я не стану вдаваться здесь в хитроумные рассуждения, а просто скажу, что метрическая поэзия разрабатывает разные временные понятия», – говорил Бродский[391]. Таким образом, выбор ритмической структуры стиха для Бродского имеет философское значение. Каким бы ни был сюжет стихотворения, метрика напоминает о двух контекстах, в которых этот сюжет развивается, – о монотонном, равномерном, ни с чем не считающемся ходе времени и о попытках индивидуума (автора, лирического героя) нарушить монотонность – растянуть, сократить или направить вспять время. Дольники, которые начинают преобладать у него с семидесятых годов, позволяют ему разрабатывать временные понятия в значительно более индивидуальной форме, чем классические размеры. Конечно, и в рамках классического русского размера возможны ритмические нюансы, но дольники Бродского созданы им самим для себя самого, для его собственных отношений со Временем. Другие ими пользоваться не могут. (Начиная с восьмидесятых годов прошлого века стало появляться в печати немало стихов, написанных в ритмике Бродского, но, как сказал однажды Бродский по другому поводу: «На каждой строке стоит штамп: „Украдено“, „Украдено“, „Украдено“…»)

В классических размерах (ямбе, хорее, анапесте, амфибрахии и дактиле) в каждой строке должно быть одинаковое количество безударных слогов между ударными. Например, в ямбе чередуются безударный и ударный слоги («Е-го 1 пример 1 дру-гим 1 на-у1ка…»), а в хорее, наоборот, сначала ударный, потом

безударный («Мча-тся 1 ту-чи, 1 вьют-ся 1 тучи...»), в анапесте – за двумя безударными следует ударный («В ка-ба-ках, 1 пе-ре-ул-1-ках, из-ви|-вах...») и т. д. В дольниках, или акцентном стихе, получивших широкое распространение в русской поэзии с начала двадцатого века, число безударных слогов между сильными логическими ударениями в строке может варьироваться. Строка «спокойно маску снял с лица» была бы четырехстопным ямбом (каждому из четырех ударных слогов предшествует один безударный), но в популярной «Балладе о гвоздях» Николая Тихонова читаем: «Спокойно улыбку стёр с лица...» – равномерность нарушена – между первым ударением и вторым не один безударный слог, а два. От этого четыре ударения звучат сильнее, «отрывистее», еще усиливаясь тем, что в балладе все окончания строк ударные (мужские). Эта подчеркнутая ударность имеет отношение к сюжету стихотворения – высокой дисциплине британских моряков, готовности выполнить долг, умереть. У Ахматовой стихотворение, написанное к столетию открытия пушкинского лицея (1911), начинается с классического анапеста: «Смуглый отрок бродил по аллеям. / Меж озёрных грустил берегов...» Но в заключающих первую строфу строках исчезает по одному слогу, стих превращается в дольник: «И столетие мы [„не хватает слога“] лелеем / Еле слышный [„не хватает слога“] шелест шагов». Эффект, производимый такими перебоями ритма, каждый читатель может описать только импрессионистически-субъективно, например, «задержка дыхания от боязни спугнуть мелькнувший в парке призрак», но несомненно, что Ахматова стремилась избежать монотонности и сделать это деликатно, ненавязчиво.

Дольники Бродского своеобразны. Среди них есть трех– и даже двухиктовые (иктом называется сильное логическое ударение в строке дольника). Очень ранний пример – «Холмы» (1962; *ОВП):* «Вместе они любили / сидеть на склоне холма...». Сюжет стихотворения позволяет предположить источник его ритмической структуры – испанские «романсеро» в русских переводах (Мачадо, Лорка). Много позднее, в стилизованных стихотворениях из цикла «Мексиканский дивертисмент» (1975; *ЧР)* Бродский на этот источник прямо указывает названием стихотворения «Мексиканский романсеро». Несомненно также, что Бродский стремился найти русский эквивалент ритмике Одена. «Натюрморт» (1971; *КПЭ)* не только повторяет сюжетную конструкцию оденовского «1 сентября 1939 года» (экспозиция: «Я сижу в общественном месте, смотрю на людей, и они мне не нравятся»; развитие: философское размышление по этому поводу; заключение: необходимость христианской любви), но и

оденовский трех-двухиктовый дольник со сплошными мужскими окончаниями:

Auden:

I sit in one of the dives
On Fifty-Second street
Uncertain and afraid
As the clever hopes expire...

(Я сижу в одном из заведений /
на 52-й улице, / неуверенный
и напуганный, / меж тем как
сходят на нет хитроумные надежды...)

Бродский:

Я сижу на скамье
в парке, глядя вослед
проходящей семье.
Мне опротивел свет.

Но более продуктивным оказалось другое направление – дольники с длинными строчками. Из всего написанного между 1972 и 1977 годами Бродский ничем так не дорожил, как циклом «Часть речи». Пятнадцать из двадцати коротких стихотворений, составляющих цикл, начинаются как бы анапестом: «Ниоткуда с любовью...», «Север крошит металл...», «Узнаю этот ветер...» и т. п. У анапеста есть определенный сентиментальный семантический ореол, видимо, связанный с его вальсовым, «на три счета», ритмом. Анапест нередко встречается в лирических стихах у Блока, хотя уже для Мандельштама он был скомпрометирован как пошловатый романсный размер. Так, собственное написанное четырехстопным анапестом стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков...» Мандельштам иронически называл «Надсоном»[392]. Надсон, К. Р. (Константин Романов) и другие сочинители популярных стихов конца девятнадцатого века часто пользовались анапестом для своих сентиментальных произведений. Интересно, что такой гонитель пошлости, как В. В. Набоков, этой подоплеки анапеста не ощущал. Некоторые из его наиболее интимных лирических стихотворений («L'inconnue de la Seine», «Мы с тобою так верили в связь бытия...», «К России»)

написаны анапестом, а в программном, тоже анапестическом, стихотворении «Слава» он, прерывая поток лживо-соблазнительных мечтаний о возвращении на родину, пишет:

> И тогда я смеюсь, и внезапно с пера
> мой любимый слетает анапест,
> образуя ракеты в ночи, так быстра
> золотая становится запись[393].

И чуть дальше в тексте стихотворения дает графическую запись любимого размера:

> Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
> а точнее сказать я не вправе.

Бродский пошел другим путем, избирая анапест как просодическую основу самых важных для него текстов – о любви и ностальгии. Строки стихов цикла «Часть речи» беспрецедентно длинны для анапеста (в основном пять и шесть стоп), и в большинстве строк анапест превращен в дольник минимальным, но решительно меняющим ритмику сбоем: в конце строки «не хватает» одного безударного слога для анапеста: «Се-вер кро-/-шит ме-талл, / но ща-дит / *[пропуск слога]* стек-ло». Таких длинных анапестоподобных дольниковых строк в русской поэзии почти не было. Разве что у Брюсова в экспериментальных стихах находим воспроизведение гексаметров Авсония: «Всё непрочное в мире родит, и ведет, и крушит Рок...»[394] В отличие от Бродского здесь в последней стопе «не хватает» не одного, а двух слогов. Есть несколько стихотворений, написанных пятистопным (одно шестистопным) анапестом, у плодовитого версификатора Бальмонта[395]. В юности, в 1961–1962 годах, Бродский написал полдюжины стихотворений с длинными анапестическими строчками: «В письме на юг» (первое стихотворение цикла «Июльское интермеццо»; в нем есть строки дольника и есть семи– и даже восьмистопный анапест: «Словно тысячи рек умолкают на миг, умолкают на миг, на мгновение вдруг...»), «Письмо к А. Д.», «Стансы городу» (пятистопный анапест, но строки графически разделены), «Дорогому Д. Б.», «От окраины к центру» (тоже с дроблением строк шести– и пятистопного анапеста), «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам...» (все в *СИБ-2,* т. 1).

Если юный Бродский растягивал строки в попытке создать поэтический эквивалент джазовой импровизации (об этом прямо

говорится в «От окраины к центру»: «Джаз предместий приветствует вас...»), то автор «Части речи» только вслушивается в ритм времени, звучащий из-под «гула слов» («Перемена империи связана с гулом слов...», «Колыбельная Трескового мыса», *ЧР)*.

> Эти слова мне диктовала не
> любовь и не Муза, но потерявший скорость
> звука пытливый, бесцветный голос...
>
> *(«Темза в Челси», ЧР)*

Ритм, навязанный «пытливым, бесцветным» голосом времени, разрушает текст. Чтобы деление на строки совпадало с грамматическим членением, надо было бы делить так:

> Эти слова мне диктовала не любовь и не Муза,
> но потерявший скорость звука
> пытливый, бесцветный голос...

Анжамбеманы с начала семидесятых появляются у Бродского все чаще и становятся все радикальнее (как отрыв отрицательной частицы *не* в вышеприведенной цитате). Е. Г. Эткинд пишет о Бродском: «Это поэт сильной философской мысли, которая, сохраняя самостоятельность, выражена в синтаксической устремленности речи: спокойно прозаическая, по-ученому разветвленная фраза движется вперед, невзирая на метрико-строфические препятствия, словно она ни в какой „стиховой игре“ не участвует. Но это неправда, – она не только участвует в этой игре, она собственно и есть плоть стиха, который ее оформляет, вступая с ней в отношения парадоксальные или, точнее говоря, иронические»[396]. Конфликт метрики и синтаксиса, результатом которого является анжамбеман, Эткинд считает у Бродского, как и у Цветаевой, решительно *философским* моментом. Содержание этого философского конфликта, лежащего в основе всей зрелой поэзии Бродского, то же, что в его выборе метрики: в конфликтные отношения ставятся человек и метроном, индивидуальная, конечная, смертная жизнь и не имеющее начала и конца равномерно текущее время. Недаром у Бродского и в раннем сочинении «От окраины к центру», и в последнем законченном стихотворении «Август» *(ПСН)* появляется аллюзия на пушкинское «племя младое, незнакомое» – мотив значительно более трагический, чем он обычно

интерпретируется. Можно сказать также, что конфликт просодии и высказывания, положенный Бродским в основу его поэтики, это извод пушкинского образа, пушкинского конфликта «играющей жизни» и «равнодушной природы». Надо только понимать, что Пушкин употребил слово «равнодушная» не в стертом значении «безразличная», «индифферентная», а в прямом – как кальку латинского *aequanimis*. Речь идет об эгалитарности природы, для которой нет индивидуального, нет различения добра и зла и жизни не отдается предпочтения перед смертью. Бродский постоянно напоминает об этом метрикой своего стиха. У него можно найти и прямые заявления в своего рода буддистском духе о необходимости всецело принять эти условия существования, «слиться с Богом, как с пейзажем» («Разговор с небожителем», *КПЭ)*. На замечание Евгения Рейна, что в его поздних стихах «больше расслабления», он отвечает: «Не расслабления, а монотонности» – и цитирует по памяти стихотворение древнегреческого поэта Леонида Тарентского: «В течение своей жизни старайся имитировать время, не повышай голоса, не выходи из себя. Ежели, впрочем, тебе не удастся выполнить это предписание, не огорчайся, потому что, когда ты ляжешь в землю и замолчишь, ты будешь напоминать собой время»[397].

В стихах «Конца прекрасной эпохи» и «Части речи» ему удается имитировать время (в ритмике) и не удается: он повышает голос, выходит из себя, живет страстно. Так в стихе появляется то, что греки называли «агон» – борьба двух начал, без которой нет драмы.

«Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи»: издание

Карл Проффер намеревался издать сборник новых, написанных после выхода «Остановки в пустыне», или избранных стихотворений Бродского вскоре после переезда поэта в США. Однако Бродский не торопился с изданием. Основная причина промедления была творческая – «старые», то есть написанные до 1970 года вещи перестали интересовать автора, новых, как ему казалось в 1973 и 1974 годах, было еще недостаточно, чтобы составить книгу. Цикл коротких стихотворений «Часть речи», возникший в 1975–1976 годах, имел для него исключительное значение – опасения, что творческая потенция иссякнет вне среды родного языка, не подтвердились, и теперь можно было думать о книге. Название цикла должно было стать и названием книги. По поводу состава книги между поэтом и его другом-издателем велись дискуссии: Бродский по-настоящему хотел издания лишь новых (после 1971 года) стихов, но таким образом за пределами сборников оставались вещи высокого качества, написанные после составления «Остановки в пустыне» в России.

Эмигрировавший в США летом 1976 года автор этих строк был по рекомендации Бродского приглашен на работу в «Ардис», причем в качестве основного издательского проекта мне было предложено заняться подготовкой книги Бродского[398]. Мне пришло на ум соломоново решение – вместо одного издать тандемом два сборника. В первом стихи, написанные до отъезда из России, во втором – написанные на Западе. Предложение оказалось приемлемым для автора и для издателя. Разделение на две книги оказалось выгодным и с коммерческой точки зрения, так как цена двух отдельных книг в сумме могла быть назначена несколько выше, чем цена одной книги того же объема, притом что круг потенциальных покупателей оставался тем же. Я также предложил вынести на обложку первого сборника название одного из стихотворений, «Конец прекрасной эпохи», оно приобретало дополнительный иронический смысл на обложке книги с последними написанными на родине стихами. Бродский внес, однако, в этот план существенную поправку. Он принципиально не хотел начинать второй сборник стихотворением «1972 год», то есть проводить пограничную черту между стихами, написанными на родине и вне ее. Так же, как он отказывался признавать суд и ссылку особыми, судьбоносными событиями своей жизни, так и изгнание из страны, переселение в

Америку считал он всего лишь «продолжением пространства». Если что-то качественно изменилось в его жизни и стихах, считал он, то это произошло на рубеже 1971 и 1972 годов, а не на пять месяцев позже. Позднее он говорил: «...1972 год был какой-то границей – по крайней мере государственной, Советского Союза... Но ни в коем случае не психологической границей, хотя в том году я и перебрался из одной империи в другую»[399]. «Одному тирану», «Похороны Бобо», «Набросок», «Письма римскому другу», «Песня невинности, она же опыта», «Сретенье», «Одиссей Телемаку» написаны в России зимой – весной 1972 года. На родине начаты «1972 год», «Бабочка» и «Классический балет есть замок красоты...».

При подготовке издания Бродский проявлял значительно больше интереса к «Части речи», чем к «Концу прекрасной эпохи». Он гордился названием книги и включенного в нее одноименного цикла. Мысль о том, что созданное человеком, его «часть речи», больше, чем человек как биологическая особь или социальная единица, была Бродскому очень дорога. То же название он дал позднее первому репрезентативному сборнику избранных стихов, вышедшему на родине (Часть речи. М.: Художественная литература, 1990).

Как и все сборники Бродского, за исключением «Новых стансов к Августе», «Часть речи» открывается рождественским стихотворением «24 декабря 1971 года». Завершающее стихотворение, «Декабрь во Флоренции», было добавлено, когда сборник был уже почти готов к печати. Между двумя «декабрями» есть отчетливая тематическая перекличка. Толпа, которая «производит осаду прилавка» в начале ленинградского стихотворения, вспоминается как «осаждающая трамвайный угол» в конце флорентийского.

«Часть речи» отличается от остальных сборников Бродского тем, что отдельные стихотворения (16) составляют меньшинство. Основной объем – это четыре цикла («Письма римскому другу», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», «Мексиканский дивертисмент» и «Часть речи» – в общей сложности 56 стихотворений), а также такие близкие по структуре к циклам стихотворения, как «Похороны Бобо» (в четырех частях) и диптих «Песня невинности, она же опыта» (две части по три стихотворения в каждой), и, наконец, поэма «Колыбельная Трескового мыса» (Бродский называл ее «стихотворением», но, видимо, в общем значении этого слова, как стиховой текст). Строго говоря, жанровые различия между «Колыбельной», с ее исключительно лирическим сюжетом, и циклами стерты, но это не меняет общей картины: в период между 1972 и 1977 годами

поэт тяготел к созданию серий стилистически сходных и в какой-то степени сюжетно связанных лирических текстов.

По желанию автора на однотипные обложки «Конца прекрасной эпохи» и «Части речи» были помещены изображения крылатых львов – с Банковского моста в Ленинграде на первую книгу и венецианского льва Святого Марка на вторую. По бедности «Ардис» не мог заказать обложки хорошему профессиональному художнику, и львы на серо-голубом фоне выглядят малопривлекательно.

Критических отзывов на новые книги Бродского было немного. На родине он, как и многие из лучших писателей, был исключен из культурного процесса полицейским режимом. Зарубежная русская читательская аудитория была невелика, а литературная критика едва существовала. Вопреки нормальному ходу вещей Бродский как поэт на своем родном языке раньше стал достоянием филологии, чем критики. О нем писались литературоведческие диссертации, статьи и делались доклады, но лишь за выходом «Остановки в пустыне» последовала оживленная критическая дискуссия в эмигрантской прессе.

На «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи» с рецензией выступила только парижская «Русская мысль». Александр Бахрах, один из последних представителей «парижской ноты», поэт и критик, в молодости отмеченный Цветаевой, в целом высоко оценивал плоды нового этапа поэтической работы Бродского: «В этих новых его сборниках еще отчетливее, еще выпуклее отражается его поэтическое лицо, его прихотливый „почерк“, его своеобразие, И не о себе [ли] самом он думал в этих двух строках: „Все люди друг на друга непохожи, / но он был непохож на всех других“? [...] Бродский тяготеет к большой форме, которой он еще не вполне овладел, и потому некоторые его более длинные стихотворения могут показаться растянутыми. <...> Отталкиваясь от привычных шаблонов, он хотел бы прийти к новой гармонии. Но при этом Бродский отнюдь не нигилист, который во имя мятежа хотел бы рвать с прошлым»[400]. Остальные отклики в печати принадлежали англо-американским славистам. Все рецензенты сравнивали «Часть речи» и «Конец прекрасной эпохи». Байрон Линдси писал: «"Часть речи"... <...> ярче, изменчивее и труднее. <...> В американском изгнании Бродский стал более замкнутым, труднодоступным и, вероятно, философски более смелым»[401]. Подробно разбирал обе книги, в особенности вторую, Генри Гиффорд. Отмечая, что мотив изгнания в «Части речи» предстает прежде всего как мотив изгнания из родного языка, Гиффорд писал: «Чего бы ни боялся Бродский, он все еще с чудесной свободой владеет языком. В то

же время он начинает извлекать пользу и из своего изгнанничества, расширяя горизонты и отыскивая новые привязанности». Рецензент заключает: «Наше время иронически характеризуется тем, что, возможно, лучшие стихи, пишущиеся сейчас в Америке, пишет этот русский»[402].

Бродский на кафедре

В отличие от сочинителей текстов для популярной музыки подлинный поэт, даже если он очень знаменит, не может зарабатывать на жизнь писанием стихов. Да если бы и мог, возникает проблема иного порядка. «Работать поэтом? – изумился один американский поэт. – А что делать остальные 23 часа 30 минут в сутки?» Если «труд – это цель бытия и форма» и «нечто помимо путей прокорма», а стихи пишутся спорадически и появление их непредсказуемо, приходится делать выбор между регулярной работой и паразитическим, аморальным богемным существованием. В Советском Союзе любое культурное творчество рассматривалось в конечном счете в рамках идеологической деятельности государства и поэтому поэзия считалась профессией и могла обеспечить официально признанному стихотворцу сносное существование. В социалистической экономике тиражи книг и гонорары за стихи почти не зависели от читательского спроса. Государство шло на расходы в целях «воспитания масс». Что касается официально непризнанных поэтов, то у большинства из них послужной список напоминал тот, что фигурировал на процессе Бродского – если не было более солидной профессии, то занимались физическим трудом за скудную плату, в частности, как и Бродский короткое время, многие в буквальном смысле работали «внизу» – кочегарами или операторами котельных[403].

На Западе дело всегда обстояло по-другому. Те, кто пишет стихи, обычно еще и где-то работают, иногда в области, далекой от литературы. Известные примеры – два классика американского модернизма, Уильям Карлос Уильямс и Уоллес Стивенс. Первый всю жизнь был врачом-педиатром, а второй служил в страховом бизнесе. Поэтов могут поддерживать время от времени стипендии и субсидии от различных фондов, но чаще всего поэты связаны с университетами и колледжами, благо что университетов и колледжей в стране более трех тысяч[404]. Почти в каждом можно найти среди сотрудников хотя бы одного-двух печатающихся поэтов. Они преподают литературу или ведут творческие мастерские. Некоторые учебные заведения приглашают известных поэтов в качестве временных или постоянных «poets-in-residence» (буквально: «поэт в присутствии»). Именно в качестве такого «poet-in-residence» Бродский и был приглашен в Мичиганский университет. До Бродского этот большой университет только раз имел «поэта-в-присутствии» – Роберта Фроста в 1921–1923 годах (Оден был там в 1940–1941 годах как преподаватель).

Ни в Европе, ни тем более в советской России не было ничего похожего на мир, в котором Бродскому предстояло жить. Европейские понятия культурного центра и провинции не применимы к Америке. Лондон, Париж, Рим, Милан, Мадрид, Барселона, Москва, Петербург, три-четыре города в Германии и еще несколько больших городов в небольших странах – вот где сосредоточена культурная жизнь старого континента, где скучивается национальная (и интернациональная) интеллигенция. В США этот общественный класс географически рассредоточен и мобилен. Конечно, есть Нью-Йорк, где находятся многие из лучших издательств, театров, музеев, музыкальных учреждений. Значительными культурными центрами являются также Чикаго, Бостон, Сан-Франциско, Вашингтон, но ничего подобного концентрации культурной жизни всей страны в Москве или в Париже в Америке нет. В особенности в литературе. Писатели не нуждаются в театральных и концертных залах. В отличие от актеров или музыкантов им не нужны коллеги-сотрудники и непосредственное общение с публикой. Поэтому большинство американских писателей и поэтов, в том числе и самых известных, живут не в Нью-Йорке и других больших городах, а рассеяны по всей стране. Многие – там, где есть университет или колледж.

В Америке Бродский жил в трех городах: в Энн-Арборе, Нью-Йорке и Саут-Хедли. Энн-Арбор был его первым американским городом. Поначалу, после Ленинграда, а также Вены и Лондона, Энн-Арбор показался Бродскому захолустьем. Это ощущение отразилось в первых американских стихах о «скромном городке, гордящемся присутствием на карте». На самом деле расположенный на юге штата Мичиган, примерно в тридцати милях от Детройта, Энн-Арбор не так уж мал и захолустен. В семидесятые годы в нем было примерно сто тридцать тысяч жителей. Помимо огромного, по любым меркам, Мичиганского университета (более тридцати тысяч студентов), в Энн-Арборе и его окрестностях было много крупных и среднего размера технологических фирм и лабораторий. А вот Саут-Хедли в штате Массачусетс, где Бродский начал преподавать и обзавелся жильем в 1981 году, городок действительно крошечный – несколько кварталов вокруг кампуса небольшого женского колледжа Маунт-Холиок. У Саут-Хедли было перед Энн-Арбором то преимущество, что оттуда два часа на машине до Нью-Йорка (а если не попадешься на глаза дорожной полиции, то полтора часа). Бродскому нравилась возможность убегать из Нью-Йорка в Саут-Хедли и из Саут-Хедли в Нью-Йорк.

Преподавание иногда увлекало Бродского, иногда было ему в

тягость, но он всегда относился к своей работе добросовестно, так же, как он не халтурил, сочиняя детские стихи или тексты для кино в Ленинграде. Он мог жаловаться, иногда комически, иногда всерьез на необходимость преподавать, писать статьи и рецензии, но было очевидно, что ему нравилось быть занятым. Как и во многих других отношениях, образцом для него и тут был Оден, который отличался исключительной трудоспособностью: всю жизнь, не пропуская ни дня, занимался литературной поденщиной – писал пьесы для театра и радио, музыкальные либретто, путевые очерки, бесчисленные рецензии, а также учительствовал – смолоду в школе, а в американские годы в университетах, в том числе некоторое время и в Мичиганском.

Было, правда, существенное различие между выпускником Оксфорда Оденом и Бродским. Бродский был самоучкой и о педагогике, особенно англо-американской, по существу, не имел ни малейшего представления. Поэтому он предлагал своим американским студентам то, что мог – читать вместе с ним стихи его любимых поэтов. В университетских каталогах его курсы могли именоваться «Русская поэзия двадцатого века» или «Сравнительная поэзия», или «Римские поэты», но в классе происходило всегда одно и то же – читалось и подробнейшим образом комментировалось стихотворение[405]. Есть несколько опубликованных воспоминаний бывших студентов Бродского. Одно из них принадлежит перу ныне известного литературного критика Свена Биркертса:

«Бродский был в одно и то же время худшим и самым живым и увлекательным изо всех моих учителей. Худшим, потому что он не делал ничего, *совершенно ничего,* чтобы наша встреча с трудным поэтическим текстом стала приятной или, в обычном смысле, поучительной. Отчасти это происходило от его неопытности – прежде учить ему не приходилось, – отчасти потому, что его английский тогда еще оставлял желать лучшего. Но более всего это было выражением того, чем он был и что он понимал под поэзией. Поэзия не была чем-то, что можно «объяснить», усвоить и перемолоть в парафразе. По поводу чего можно сделать зарубку: постиг. Скорее, это была битва, в которую бросаешься полный страха и трепета, встреча лицом к лицу с самой материей языка. Такая встреча могла заколебать почву под нашими основными представлениями о бытии. Бродский выводил учеников, нас, на арену, но сражаться вместо нас он не собирался. В этом было что-то почти садистическое. По временам казалось, что нас окончательно разоблачили – не только наше невежество и банальность представлений о поэзии, но и то, как мы представляем себе мир вообще.

«Что вы об этом вот думаете?» – начинал он, указывая на стихотворение, которое было задано прочитать, Мандельштама или Ахматовой, или Монтале. В голосе Бродского в таких случаях слышалась (я не думаю, что мне это просто казалось) слегка скучающая, высокомерная интонация, но еще и, если процитировать его любимого Одена, который цитировал Сергея Дягилева, оттенок: «Удивите меня». Из-за этого каждому из нас хотелось сказать что-нибудь блестящее, заслужить высшую из похвал: «Замечательно!» Но обычно страх пересиливал. Вопрос был задан, и в классе нарастала тишина, глубокий осадок тишины.

Как-то мы все-таки тащились вперед, даже сумели выработать какую-то форму товарищества, вроде как между однокамерниками, которая, странным образом, включала и самого Бродского. Это не значит, что он хоть на йоту ослаблял бдительность, требование адекватного отклика на то, что мы читаем. Но как-то он, несмотря на скучающие вздохи, включался в неадекватность наших коллективных стараний. Как это ему удавалось?

Изо дня в день Бродский приходил в класс с опозданием, когда все уж начинали нетерпеливо ерзать. Он мял в пальцах незажженную сигарету, давая тем самым понять, что предпочел бы нашей компании покурить где-нибудь в одиночестве. Затем, почти неизменно, слышался глубокий, громовой, с пристанываниeм, вздох. Но все это было не без юмора. Минуту спустя крючконосая трагическая маска его лица начинала смягчаться. Он медленно оглядывал комнату, вбирая всех нас взглядом, улыбался, словно бы для того, чтобы дать нам понять, что на каком-то уровне он знает, каково нам приходится, как бы прощая нам нашу заурядность.

Но вслед за этим он начинал опять неустанно месить язык. Строка Мандельштама, вопрос, молчание. И только когда молчание становилось невыносимым, вел он нас сквозь заросли звука и ассоциаций, с отступлениями, посвященными логике поэтического образа, краткими лекциями по этике высказывания, метафизике имен существительных, рифмам…

…Я уходил с этих встреч за семинарским столом с ощущением, что существуют невидимые силы, клубящиеся вокруг меня, вокруг всех нас, и что жизнь, которую я веду, была отрицанием их власти над моей жизнью»[406].

Если студенты, подобные автору процитированных воспоминаний, молодые люди, одержимые «последними вопросами», могли оценить опыт общения с неортодоксальным профессором, они не всегда составляли большинство. Заурядного

студента, ожидающего, что его научат, как «понимать» стихи, как «анализировать» стихотворение, как написать курсовую работу на хорошую отметку, Бродский как преподаватель раздражал и разочаровывал.

«Семинар Бродского. Поэзия XX века. Мичиганский университет. Аспирантский факультет (автор так называет аспирантуру. – *Л. Л.)*.

Идет долгий и нудный разбор стихотворения Ахматовой «Подражание армянскому». В произведении 2 строфы, которые мы разбираем 90 минут построчно. Что она имела, что она хотела, почему не сказала. О поэзии XX века из уст самого Бродского (и его интерпретации ее, поэзии) никто ничего не узнал. Разочарование.

Следующее занятие. Идет долгий и нудный разбор еще одного произведения Ахматовой. Потом Цветаевой – «Попытка ревности»»[407].

Это воспоминание молодого неуча зеркально отражено в первом американском стихотворении Бродского «В Озерном краю»:

> ...я жил
> в колледже возле Главного из Пресных
> озер, куда из недорослей местных
> был призван для вытягивания жил.
>
> *(ЧР)*

Дело, которым занимался Бродский, могло выглядеть и вполне безнадежным. Поэзия – это искусство слова. Обычно лучшей похвалой поэту, «патентом на благородство», является констатация его оригинальности, новизны: «Ни на кого не похоже!» Но слова звучат по-новому только по отношению к другим, сказанным прежде словам. Поэзия – искусство насквозь референциальное, оно живо воздухом культуры. Дело не в скрытых цитатах, пародиях, литературных аллюзиях, а прежде всего в самом языке поэзии, который передается по наследству и на котором надо заговорить так, как прежде никто не говорил. (Под «языком поэзии» имеется в виду, конечно, не только словарь и грамматика, но и поэтика в целом – фонетические, ритмико-интонационные, композиционные, образные, жанровые характеристики стиха.) Неизбежно читатель поэта должен обладать приблизительно тем же культурным багажом, что и поэт. В противном случае и стихотворение Ахматовой, и то, что Бродский говорит об этом стихотворении, покажется «долгим и

нудным».

К тому времени, когда Бродский оказался в Америке, система образования там была, в согласии с идеями Джона Дьюи, ориентирована не столько на приобретение учащимся знаний, сколько на развитие самостоятельного мышления, «умения думать», «умения *пользоваться* знаниями». Как это нередко бывает с реформаторскими идеями, в процессе массового распространения и бюрократизации произошло нарушение баланса и многие молодые американцы заканчивали среднюю школу и приходили в университет с неплохими навыками самостоятельного критического мышления, но мало начитанными. Дело, конечно, было не в одном Дьюи, но и в натиске телевидения на традиционную книжную культуру, а в академической среде в наступлении эры постмодернизма с агрессивным отрицанием литературных канонов, всех этих текстов, сочиненных «давно умершими белыми существами мужского пола». Не обращая ни малейшего внимания на господствующую академическую ортодоксию, Бродский обычно на первой встрече со студентами предлагал им собственноручно составленный «канон», не список для обязательного чтения, а, скорее, нечто вроде карты той культурной территории, на которой существует поэзия.

Один из бывших студентов Бродского вспоминает: «В первый день занятий, раздавая нам список литературы, он сказал: „Вот чему вы должны посвятить жизнь в течение следующих двух лет“...»[408] Далее цитируется список. Он начинается с «Бхагавадгиты», «Махабхараты», «Гильгамеша» и Ветхого Завета, продолжается тремя десятками произведений древнегреческих и латинских классиков, за которыми следуют святые Августин, Франциск и Фома Аквинский, Мартин Лютер, Кальвин, Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сервантес, Бенвенуто Челлини, Декарт, Спиноза, Гоббс, Паскаль, Локк, Юм, Лейбниц, Шопенгауэр, Кьеркегор (но не Кант и не Гегель!), де Токвиль, де Кюстин, Ортега-и-Гассет, Генри Адамс, Оруэлл, Ханна Арендт, Достоевский («Бесы»), «Человек без свойств», «Молодой Торлесс» и «Пять женщин» Музиля, «Невидимые города» Кальвино, «Марш Радецкого» Йозефа Рота и еще список из сорока четырех поэтов, который открывается именами Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Хлебникова, Заболоцкого. В архиве Бродского сохранилось несколько вариантов таких списков. Видимо, ему доставляло удовольствие их составлять. Они интересны еще и как свидетельства круга чтения самого Бродского и более или менее совпадают с кругом чтения каждого интеллигента-гуманитария его поколения: программа

филологического факультета плюс самостоятельные чтения по философии и из литературы двадцатого века (в последнем разделе наиболее проявились личные пристрастия Бродского). Как ни странно, находились американские студенты, которые справлялись с таким списком, и в своем классе Бродский имел дело не только с малокультурными недорослями.

Нельзя не задуматься и над обратным эффектом преподавания – не помогало ли оно порой Бродскому осмыслить, уточнить свои представления о том, что он прежде знал лишь интуитивно. Бродскому ведь приходилось не только читать лекции, но и задавать студентам задания, проверять их, ставить отметки, и вот одно из домашних заданий он формулирует так: «Мне бы хотелось, чтобы вы оценили здесь работу Ахматовой, – действительно ли она сработала описание чего-то горящего мастерски?»[409] Конечно, студенту, получившему такое неконкретное задание, не позавидуешь, сказывается педагогическая неопытность профессора, но о чем здесь идет речь? Мемуаристка не говорит, какой текст Ахматовой предлагал им на обсуждение Бродский, но, судя по всему, то были стихи из цикла «Шиповник цветет. (Из сожженной тетради)», которые всегда производили на него глубокое впечатление. В этом цикле мастерство Ахматовой, в частности, проявилось в постоянном, но ненавязчивом и разнообразном варьировании мотива огня: горящая тетрадь со стихами, пылающая бездна космоса, легкое пламя победы, костер Дидоны и т. д. Объясняя такие вещи ученикам, урок в первую очередь получает сам поэт.

Нью-Йорк Бродского

В 1974 году Бродский снял квартиру в доме 44 на Мортон-стрит, там, где эта тихая боковая улица в западной части Гринвич-Виллидж, начинающаяся от Восьмой авеню, делает изгиб. Дальше, через два квартала, Мортон упирается в Гудзон. Этот типичный для жилых кварталов Нью-Йорка неширокий по фасаду трехэтажный краснокирпичный «таунхаус» принадлежал профессору Нью-Йоркского университета Эндрю Блейну. Сам Блейн, специалист по истории православия, неплохо говоривший по-русски, занимал нечто вроде флигеля во дворе, а квартиры предпочитал сдавать знакомым. У Бродского завязались дружеские отношения со всеми обитателями дома. Соседи стали для него чем-то вроде семьи с неопределенными контурами. Ближайшим человеком, по существу, верной заботливой сестрой, стала соседка этажом выше, Маша Воробьева. Маша родилась в Вильнюсе в семье русского профессора, историка архитектуры. Близким другом семьи был философ Карсавин. Среди друзей, приходивших к Маше на Мортон, был и крупнейший церковный писатель отец Георгий Флоровский. В Америку она попала в юности с волной послевоенной эмиграции, став преподавателем русского языка и литературы в женском колледже Вассар к северу от Нью-Йорка. Маленькую квартиру через площадку от Бродского временами занимала англичанка Марго Пикен, его друг еще с ленинградских времен, посвятившая свою жизнь работе в международных гуманитарных организациях. Другие сменявшиеся жильцы были, как правило, тоже знакомыми – редакторы издательств, университетские преподаватели. Заботы друзей-соседей не давали Бродскому скатиться к быту неприкаянного холостяка.

С улицы квартира Бродского выглядела полуподвалом, но, так как двор был ниже уровня улицы, со двора это был первый этаж. Во дворе-садике, отделенном от и без того не шумных улиц домами, было тихо. Дверь из комнаты Бродского открывалась на небольшую мощеную террасу с садовым столиком. Начиная с теплых весенних дней и до ноября, Бродский вытаскивал туда пишущую машинку. Для россиянина Нью-Йорк – южный город, как-никак по широте южнее Крыма. Обстановка в уютном дворе, куда бриз доносил запах моря, под лозами дикого винограда была почти средиземноморская. К тому же жилье Бродского находилось на границе тех кварталов Гринвич-Виллидж, которые называются «маленькой Италией». Типично итальянские кафе «Реджио» и «Борджиа», с их прекрасным крепким кофе-эспрессо,

были на расстоянии нескольких кварталов.

На западе, в пяти минутах ходьбы, Мортон упирается в Гудзон. Как бы продолжением улицы был большой, несколько обветшалый деревянный пирс. У пирса на вечном приколе стоял списанный крейсер, в котором теперь размещалась школа поваров. В хорошую погоду на пирсе можно было увидеть удильщиков и милующиеся разно– и однополые парочки (Кристофер-стрит, известная как средоточие гомосексуальной культуры, тоже совсем неподалеку). Этот пирс был любимым местом прогулок Бродского. Он говорил, что все вместе – влажный ветер, плеск воды о деревянные сваи, старый обшарпанный корабль, кирпичные пакгаузы на берегу – напоминает ему его любимые ленинградские места на берегах Малой Невы и Невки. Хотя Гудзон шире, чем Большая Нева в самом широком месте, и совсем близко не мелководный залив, а океан.

Квартира состояла из двух комнат. Полуподвальные окна спальни выходили на улицу. Тесный проход из спальни во вторую комнату служил кухней. Задняя комната с выходом во двор была и гостиной, и кабинетом. В ней горел камин, стояли мягкий кожаный диван, кресла, письменный стол. Письменный стол долгое время был самодельным сооружением. Как и в Энн-Арборе, Бродский купил в магазине стройматериалов заготовку для двери и положил ее на два канцелярских стальных «регистратора» *(file cabinets)*. Позднее появился массивный старинный стол-конторка со множеством ящиков и ящичков.

Когда в годы перестройки у Бродского стали появляться гости из России, иные из них были удивлены скромностью жилья нобелевского лауреата. Две тесноватые комнаты в полуподвале были бесконечно далеки от квартирных запросов преуспевающих советских и антисоветских писателей.

Путешествия

Темп, заданный с самого начала жизни на Западе, не снижался до самого конца. Вероятно, никто из русских писателей не путешествовал по свету так много, как Бродский. Возможно, среди его современников Евтушенко и Вознесенский посетили больше стран и городов, но поездки советских поэтов за рубеж – с оглядкой на полицейский режим, к которому предстоит возвращаться, с необходимостью зарабатывать и покупать вещи, которых не купишь дома, – совсем не то, что свободное передвижение из страны в страну человека частного, свободно владеющего английским и не слишком стесненного в средствах. С выступлениями Бродский исколесил североамериканский континент от Канады до полуострова Юкатан в Мексике. Он подолгу жил, обзаводясь кругом друзей (действительно друзей, а не просто «знакомых иностранцев»), в Лондоне, Париже, Амстердаме, Стокгольме, Венеции, Риме. Он не любил туристического целеустремленного ознакомления с достопримечательностями, но обладал способностью обживать новые города – знал в них скрытые шедевры архитектуры и просто уютные уголки, рестораны в стороне от туристских троп в боковых улочках, куда ходит только местная публика, читал местную прессу, увлеченно обсуждал городские сплетни. Его «Набережная неисцелимых» («Watermark») русскими или американскими читателями читается как поэтический текст *par excellence* («кристалл, грани которого отражают всю жизнь, с изгнанием и нездоровьем, поблескивающими по краям тех поверхностей, чье прямое сверкание есть красота в чистом виде»[410]), но в самой Венеции тот же текст был прочитан многими как выпад и против местного мэра-левака, и против местных финансовых воротил, не говоря уже о тех, кто обиделся на автора за свое изображение в «Набережной неисцелимых»[411].

В этом отличие итальянских, британских, шведских, голландских и, конечно, американских сюжетов в стихах Бродского от большинства русских поэтических травелогов (путевых заметок). Лирический герой стихотворений «В озерном краю», «Осенний вечер в скромном городке...», цикла «Часть речи», «Колыбельной Трескового мыса», «Темзы в Челси», «Римских элегий», «Сан-Пьетро», «Пьяцца Маттеи», «На виа Джулиа», «На виа Фунари», «Пристань Фагердала» не проскальзывает сквозь чужие города как турист, но живет в них[412]. Он эмигрант, переселенец, «перемещенное лицо», а если учесть пестроту этой географии, то космополит, гражданин мира.

Ближе к традиционным поэтическим травелогам у Бродского литовский и мексиканский «дивертисменты», первое венецианское стихотворение «Лагуна», «Декабрь во Флоренции» и некоторые другие. Поэтический пейзаж может представать в стихотворении Бродского как привычный, давным-давно знакомый (американский в «Августе», итальянский в «Сан-Пьетро» и «На виа Фунари») или как экзотический («Мексиканский дивертисмент»), но, независимо от степени обжитости, автор неизменно сохраняет некую степень отчуждения от него.

Как уже говорилось выше, этот лирический герой словно бы дорожит отчужденностью от любого социума, экзистенциальным неуютом. Это постоянная позиция субъекта лирики Бродского, тогда как автор («я») его прозы значительно отзывчивее на впечатления от новых мест. Божена Шелкросс в интересной книге о трех поэтах – Бродском и двух поляках, Збигневе Херберте и Адаме Загаевском, – показывает, как в путевых очерках каждого из них обязательно описывается момент духовного потрясения, озарения *(epiphany),* когда автор, вброшенный в чужую среду, неожиданно сталкивается с эстетическим объектом необычайной красоты и загадочности[413]. Для Загаевского это «Урок музыки» Вермеера в нью-йоркском музее Фрика, для Херберта – «Натюрморт с уздечкой» Торрентиуса в Амстердаме, для Бродского – вся Венеция. Мистический момент наступает в конце «Набережной неисцелимых», когда в окне ночного кафе автор видит веселую компанию любимых поэтов, которых на самом деле давно уже нет в живых.

Надо отметить и то, *чего нет* (почти нет) в географии Бродского. Там есть Москва, русская деревня, Литва и отчасти остальная Прибалтика, Украина, Крым, Сибирь, Средняя Азия, едва ли не все места, где автор побывал в Северной и Центральной Америке и Европе, а также те, что он посетил только в воображении – Китай («Письма династии Минь», У), Афганистан («Стихи о зимней кампании 1980 года», У, и «К переговорам в Кабуле», *ПСН),* Океания («Робинзонада», *ПСН),* — но там сравнительно мало представлен его родной город и совсем мало Нью-Йорк, ставший для него домом во вторую половину жизни. Среди стихов зрелого Бродского, то есть начиная с книги «Остановка в пустыне», всего в четырех реалии Ленинграда играют существенную роль: «От окраины к центру» *(ОВП),* цикл «С февраля по апрель» *(КПЭ),* «Похороны Бобо» *(ЧР)* и «Полдень в комнате» *(У)*[414]. Нью-Йорк появляется только в двух стихотворениях – «Над Восточной рекой» и «Жизнь в рассеянном свете» (оба в *У)*. Томас Венцлова вспоминает: «Помню, мы

однажды подъезжали к Манхэттену, и он сказал: „Это невозможно описать – не найти приема“»[415].

Объясняя, почему у него нет стихов о Нью-Йорке, Бродский начинает с родного города. Зачем писать стихи о Петербурге, если этот город имплицитно присутствует во всем, что ты пишешь? «Если уж говорить серьезно, петербургский пейзаж классицистичен настолько, что становится как бы адекватным психическому состоянию человека, его психологическим реакциям. То есть, по крайней мере, автору его реакция может казаться адекватной. Это какой-то ритм, вполне осознаваемый. Даже, может быть, естественный биологический ритм». Природные краски, свет и тени, архитектурные ритмы родного города интегрированы в психику петербуржца и неизбежно определяют самое ткань его стиха, а «то, что творится здесь (в Нью-Йорке. – *Л. Л.),* находится как бы в другом измерении. И освоить это психологически, то есть превратить это в твой собственный внутренний ритм, я думаю, просто невозможно. По крайней мере, невозможно для меня»[416]. Несколько раньше в том же интервью, сравнивая Нью-Йорк с Петербургом, он говорит: «Тут колоннаду поди найди».

Круг друзей и недругов

Нью-Йорка нет в лирике Бродского, но в этом многообразном мегаполисе Бродский нашел свою нишу, чувствовал себя как дома. Помогало этому и то, что какой-то одной, житейской, стороной своей личности Бродский соответствовал классическому представлению об энергичном, задиристом и бойком на язык ньюйоркце. 13 декабря 1987 года заметка в «Нью-Йорк таймс» была посвящена встрече Бродского и тогдашнего мэра Нью-Йорка Коча. Коч пригласил новоиспеченного нобелевского лауреата в Сити Холл, и чинная беседа вскоре, на глазах репортеров, перешла в словесную дуэль между двумя находчивыми говорунами. Под конец беседы Коч спросил Бродского, страдал ли он в Советском Союзе от антисемитизма. «Меня в детстве иногда дразнили, потому что я плохо выговариваю *р* и *л*», — сказал Бродский. Коч удивился: «Разве это признак еврея? А я прекрасно произношу *р* и *л*» – и огласил зал гулким *л* и раскатистым *р*. Дав мэру закончить фонетическую демонстрацию, Бродский сказал: «Видимо, вы не вполне настоящий еврей». Когда в девяностые годы вагоны нью-йоркской подземки стали украшать плакатиками с короткими стихотворными цитатами, Бродский дал для плаката импровизированное двустишие, похожее на девиз ньюйоркца из нью-йоркского мифа:

> Sir, you are tough, and I am tough.
> But who will write whose epitaph?

(Сэр, вы круты и я крут. / Кто же из нас напишет другому эпитафию?)[417]

Он без особого труда, как многие европейские художники и интеллектуалы до него, вписался в круг художественной интеллигенции Нью-Йорка. Периодическим изданием, для которого он написал эссе о Кавафисе, Монтале, Надежде Мандельштам, а также первый мемуарный очерк «В полутора комнатах», было «Нью-йоркское книжное обозрение» («The New York Review of Books»), единственный журнал, читаемый всеми американскими высоколобыми, независимо от профессии. Но статьи, эссе, стихи публиковал он и в более массовом журнале для образованной публики «Нью-йоркер», и в приложениях к газете «Нью-Йорк таймс», и даже в модном журнале «Вог», где его эссе о Вергилии или о Петербурге («Путеводитель по

переименованному городу») невольно иллюстрировались рекламой дамских туалетов. Бродский был лишен публикаторского снобизма и так же охотно, как в эти престижные издания, отдавал стихи и прозу в малотиражные, малоизвестные издания, если просили.

Книги на английском он издавал в издательстве «Farrar, Straus & Giroux» – три сборника стихов («A Part of Speech» [«Часть речи»], 1980, «To Urania» [«К Урании»], 1988, «So Forth» [«Так далее»], 1996) и два тома прозы – «Less than One» [«Меньше самого себя»], 1986 и «On Grief and Reason» [«О скорби и разуме»], 1995. «Farrar, Straus & Giroux» – издательство по современным масштабам небольшое. Основанное тремя просвещенными издателями, чьи имена и составляют тройное название, оно специализируется на современной прозе и поэзии, в том числе переводной. Роджер Страус (1917–2004), основатель и главный редактор ФСЖ, пользовался репутацией последнего «джентльмена-издателя» в бизнесе, который теперь контролируется безличными международными конгломератами[418]. «Другие издательства похожи на фабрики, но ФСЖ не издательство, для меня это дом родной», – говорил Бродский[419]. Про Страуса шутили, что у него есть постоянный заказ на гостиничный номер в Стокгольме и что каждый декабрь он жалуется: «Боже мой, опять в Стокгольм тащиться!» Действительно, предметом особой гордости издательства является то, что его авторы чаще других становились нобелевскими лауреатами: Солженицын, Чеслав Милош, Элиас Канетти, Уильям Голдинг, Воле Шойинка до Бродского и Камило Хосе Села, Надин Гордимер, Дерек Уолкотт и Шеймус Хини – после. Роджер Страус появился на свет в результате породнения двух богатых и влиятельных нью-йоркских семейств, Страусов и Гуггенхеймов, известных своей филантропической деятельностью, в частности, поддержкой современного искусства, науки и литературы (фонд Гуггенхейма[420], Гуггенхеймовские музеи в Нью-Йорке, Венеции, Берлине, Бильбао и, совместно с Эрмитажем, в Лас-Вегасе). ФСЖ, однако, с самого начала было поставлено Роджером Страусом на деловую ногу. Таких больших доходов, какие можно получить от издания популярного чтива, этот бизнес не приносил, но издательство было коммерческое, а не поддерживалось семейными капиталами. Престиж его в литературных кругах был таков, что иногда писатели отказывались от более крупных гонораров, чтобы напечататься в ФСЖ. По традиции, в этом экономно управляемом издательстве «своих» авторов просили быть безвозмездными «читчиками» поступающих рукописей, что делал иногда и Бродский, если

предлагался перевод с русского. Именно это привело к конфликту с В. П. Аксеновым, когда Бродский не покривил душой и высказался неодобрительно о романе «Ожог». В ответ Аксенов ввел в свой следующий роман «Скажи изюм» карикатуру на Бродского – беспринципного приспособленца Алика Конского, который, еще живя в России, устраивает свои отношения с властями таким образом, чтобы создать себе имя на Западе.

Если говорить о круге житейских и дружеских связей Бродского в Нью-Йорке, то к середине семидесятых годов он определился как круг ФСЖ и «Нью-йоркского обозрения». В этом кругу друзей были такие знаменитости, как эссеист и прозаик Сюзан Зонтаг и живший в Нью-Йорке наездами поэт Дерек Уолкотт, а также и менее известные литераторы и редакторы. С самого начала большое участие в судьбе Бродского приняла чета Либерманов.

Алекс Либерман (1912–1999) был увезен из России в детстве вскоре после революции. В этом человеке дарования сочетались необычно. Оказавшись после Второй мировой войны в Нью-Йорке, он, начав с нуля, стал главным редактором и менеджером издательского концерна «Конде-Наст», издающего популярный глянцевый журнал «Вог» (отсюда и неожиданное участие Бродского в этом журнале). В то же время он был талантливым художником, скульптором и фотографом, одним из ведущих представителей так называемой «нью-йоркской школы». Его работы приобретались крупнейшими музеями – Метрополитен и Гуггенхеймовским в Нью-Йорке, галереей Тейт в Лондоне. Памятником их дружбе осталась великолепная книга Либермана и Бродского «Campidoglio»[421] («Капитолийский холм»), в которой фотографии, снятые Либерманом в Риме на Капитолийском холме, сопровождаются лирической прозой Бродского.

Татьяна Либерман (урожденная Яковлева; 1906–1991) известна в истории русской литературы как «последняя любовь Маяковского». Первая русская красавица Парижа двадцатых годов, она знала по собственному опыту, что такое эмигрантская бедность и труд. В своем нью-йоркском доме и коннектикутском имении Либерманы привечали новых эмигрантов. Бродского они искренне полюбили, восхищались его дарованием. Как рассказывал мне Виктор Ерофеев, Татьяна Либерман, когда он ее интервьюировал, обронила: «Я знала за свою жизнь только двух настоящих гениев». Знала она, в Париже и в Нью-Йорке, едва ли не всех выдающихся писателей и художников. Но она сказала: «Пикассо… – и, когда интервьюер ждал услышать имя Маяковского, закончила: – …и Бродский». Эта иерархия, конечно,

личное дело Татьяны Либерман, но она объясняет отношение к Бродскому не только в этом доме, но и в литературно-художественном Нью-Йорке, средоточием которого был салон Либерманов[422].

Очень близкие друзья были у Бродского и среди живущих в Нью-Йорке или поблизости соотечественников – писатель Юз Алешковский, танцовщик Михаил Барышников, переводчик и искусствовед Геннадий Шмаков и некоторые другие, но сказать, что он принадлежал к разраставшейся как раз в то время эмигрантской общине, нельзя. Он охотно выступал перед русскоязычной аудиторией с чтением своих стихов или представлением других поэтов, но там у него не было «своей компании», и уж вовсе далек он был от запутанной и сварливой внутренней политики эмигрантского гетто. Его страстный, еще с ленинградских времен, почитатель Сергей Довлатов постоянно восхвалял Бродского в своей газете «Новый американец», но в других изданиях нападки на Бродского бывали подчас весьма пространны и свирепы. Когда Бродский пишет: «Меня упрекали во всем, окромя погоды…» (первая строка заключительного стихотворения в *ПСН),* то, кажется, более, чем личные неурядицы и преследования в Советском Союзе, он имеет в виду своих критиков в эмиграции.

Среди израильтян у него было немало верных читателей, и он печатался в журнале израильской русскоязычной интеллигенции «22», хотя кое-кто там смотрел на него косо из-за того, что он предпочел поселиться в Америке. Но особо злобным атакам он подвергся со стороны отдельных соотечественников в США. Речь идет не о тех, кто критически высказывался по поводу стихов Бродского (Юрий Карабчиевский, Юрий Колкер, Наум Коржавин, позднее Александр Солженицын[423]), но о тех, кто осуждал поэта *ad kominem.*

Попреки посыпались на Бродского уже в ответ на его первое крупное публицистическое выступление в американской печати, статью в «Нью-Йорк таймс мэгэзин», где он размышлял о своей литературной судьбе[424]. Бродский писал среди прочего, что не держит обиды на родную страну. Россия и советский режим в его сознании существовали раздельно. Напомню из стихотворения 1968 года: «Отчизне мы не судьи…» Иные эмигранты усматривали в такой позиции низкий расчет. Вот характерная инвектива: «Ваша статья – политика, и дурно пахнущая притом… Она рассчитана на то, что ее прочтут „люди с Литейного и с Лубянки“, поймут и оценят, какой вы хороший. Вы не говорите ничего осуждающего и ужасного (о советской России. – *Л. Л.),* «не мажете дегтем ворота советского дома»… Оценив вашу аполитичность

небожителя, которой вы так предусмотрительно придерживаетесь, эти люди со временем позволят вам приезжать «домой», и, если вы будете продолжать вести себя хорошо, вы получите беспрецедентное для «свободного советского гражданина» право ездить туда и обратно, как Евтушенко и Вознесенский...»[425] Журналист Лев Наврозов опубликовал под эгидой ультраконсервативного издания «Рокфорд Пейперс» написанную по-английски брошюру, «разоблачающую» Бродского как «архитектора собственной сенсационной славы с прицелом на Нобелевскую премию»[426]. В своем лихом памфлете Наврозов расправляется не только с Бродским, но и с его «мафией», с его клевретами. Среди последних – «бездарных литераторов», пригретых Бродским, числятся Юз Алешковский, Сергей Довлатов и Эдуард Лимонов. Действительно, Бродский по мере возможности старался помогать этим да и многим другим писателям-эмигрантам – связывал их с издателями, писал предисловия и, конечно, рекомендательные письма. Рекомендательных писем ему приходилось писать столько, что, как рассказывал нам доверительно заведующий кафедрой славистики в одном из крупных университетов, создалась некая инфляция рекомендаций от Бродского, к ним стали относиться несколько скептически. Один из тех, кому Бродский помогал в семидесятые годы, Эдуард Лимонов, вскоре высказался в печати о старшем товарище.

В то время Лимонов считал себя авангардистом, и его фельетон «Поэт-бухгалтер» появился в недолговечном, но весьма авангардном парижском журнале «Мулета А». Вначале Лимонов определяет свою эстетическую позицию. «Для невинного и неискушенного читательского восприятия писатель – святыня. Для своего брата писателя он более или менее любопытный шарлатан со своими методами оглупления публики. У него можно поучиться приемам обмана или пренебрежительно осудить его за отсутствие воображения и устарелые методы». Бродский – шарлатан, но такой, у которого Лимонову учиться нечему. Воображения ему недостает и методы устарелые: «Его стихотворения все больше и больше напоминают каталоги вещей. <...> Назвал предмет – и сравнил, назвал – и сравнил. Несколько страниц сравнений – и стихотворение готово. <...> Бюрократ в поэзии. Бухгалтер поэзии, он подсчитает и впишет в смету все балки, костыли, пилястры, колонны и гвозди мира. Перышки ястреба». Это по-своему точное общее замечание о поэзии Бродского. То, что восхищает одних читателей как умение с помощью остро высмотренных деталей и неожиданных метафор выстроить в стихотворении подробную картину вещного мира,

авангардисту, цель которого ошеломить читателя неожиданным трюком («методом оглупления публики»), неинтересно. Попутно здесь можно заметить, что еще в 1965 году в поэме «Феликс» Бродский высказал проницательную мысль об инфантилизме, в частности, инфантильных эротических фиксациях как психологической предпосылке авангардизма:

> Да, дети только дети. Пусть азарт
> подхлестнут приближающимся мартом...
> Однако авангард есть авангард,
> и мы когда-то были авангардом[427].

Еще больше, чем Бродский-поэт, Лимонова раздражает Бродский в жизни. Прежде всего потому, что по стандартам русской литературной эмиграции он житейски благополучен. «Изгнание Бродского – это изгнание импозантное, шикарное, декадентское, изгнание для людей со средствами. Географически – это Венеция, это Рим, это Лондон, это музеи, храмы и улицы европейских столиц. Это хорошие отели, из окон которых видна не облупленная стена в Нью-Джерси, но венецианская лагуна. Единственному из сотен эмигрировавших русских поэтов[428] Бродскому удается поддерживать уровень жизни, позволяющий размышлять, путешествовать и, если уж злиться, то на мироздание. <...> Стихи Бродского предназначены для того, чтобы по ним защищали докторские диссертации конформисты славянских департаментов американских университетов. Автора же таких стихов следует выбирать во многие академии, что и происходит, и, в конце концов, с помощью еврейской интеллектуальной элиты города Нью-Йорка, с восторгом принявшей русскоязычного поэта в свои, я уверен, Иосиф Александрович Бродский получит премию имени изобретателя динамита»[429]. В более позднем тексте, посвященном Бродскому, Лимонов прямо пишет: «Одно время я очень завидовал его благополучию...»[430] – и даже называет сумму, 34 тысячи долларов в год в течение пяти лет. Это он имеет в виду премию Макартуров, так называемую «премию гениев», которая была присуждена Бродскому в 1981 году. Лимонов ошибается – стипендия была 40 тысяч в первый год[431]. Эти деньги и сравнимые с ними заработки Бродского в Америке обеспечивали в то время одинокому холостяку приличное, но далеко не роскошное существование. «Премия гениев» частично освобождала Бродского, уже тогда тяжело больного, от длительной и трудоемкой преподавательской работы. До нее и после Бродскому приходилось зарабатывать свой хлеб в поте лица

и, уж конечно, роскошной его жизнь могла показаться только из конуры нонконформиста, недостаточно образованного, чтобы преподавать, писать и печататься по-английски.

В эмигрантских кривотолках о Бродском было два основных мотива. Первый развит в памфлете Наврозова: Бродский срежиссировал свои «преследования» и свое «изгнание» из СССР, чтобы создать себе реноме на Западе. Второй прозвучал в лимоновском фельетоне: Бродскому создают репутацию влиятельные еврейские круги. Эти инсинуации на уровне «унтерофицерская вдова сама себя высекла» и бытового антисемитизма не заслуживают опровержения, но любопытно, что и патетический Наврозов, и завистливый Лимонов сулят Бродскому Нобелевскую премию. Действительно, осенью 1980 года ходили слухи о том, что Бродский номинирован на Нобелевскую премию, – но это не более чем слухи, поскольку процесс номинации был и остается сугубо секретным. К тому же номинация на Нобелевскую премию необязательно является свидетельством успеха, так как в первом раунде ежегодно номинируется в среднем более шести тысяч человек и в их число может попасть, по американской поговорке, «кто угодно и его дядя»; даже в последнем раунде в списке остается человек полтораста. Характерно другое – недоброжелатели Бродского по-своему признают, что Бродский стал центральной фигурой в русской эмиграции.

«Невстреча»: Бродский и Набоков

В зарубежье находились еще два русских писателя, чьи имена были едва ли не более известны, чем имя Бродского, и оба на одно-два поколения его старше – Владимир Набоков и Александр Солженицын. Они вели, хотя и по-разному, отшельнический образ жизни и, что не менее важно, если и вещали *urbi et orbi,* то не на таком языке, чтобы город и мир могли легко воспринять их оракул. Так видение мира как «сада наций», гуманно-националистическая философия, уходящая корнями в девятнадцатый и восемнадцатый века, которой были проникнуты проза и публицистика Солженицына, плохо воспринималась большинством западной и значительной частью российской интеллигенции, ориентированной на ценности личной свободы, индивидуализма и космополитизма. Набоков же был просто лишен общественного темперамента и слишком элитарен, чтобы стать общественно значимой фигурой[432].

«Невстреча», как сказала бы Цветаева, Бродского с Набоковым заслуживает небольшого отступления. Как мы знаем, Бродский получил доступ к книгам Набокова рано, раньше, чем большинство его сверстников. В мае 1990 года Дэвид Бетеа, работавший тогда над книгой о поэтике Бродского, спрашивал: «Набоков ушел в прозу, вы в стихи. Есть что-то общее между вами? Какие произведения Набокова для вас наиболее значительны?» Бродский отвечал: «Я обожаю „Приглашение на казнь“ и „Дар“. Местами – „Бледное пламя“... <...> Думаю, что я читал всё... <...> Наверное, первой его книгой, которую я прочитал и которая мне сразу понравилась, была „Камера обскура“[433]. Мне там понравился не сюжет, а переходы от прямого повествования к потоку сознания, когда он узнает о неверности жены... Что касается общности, то я ее не вижу. Он рос в англоязычной среде, английский был его вторым родным языком. Поэтому перемена языка была для него легким делом, а разрыв между Россией и русским языком носил скорее эстетический характер. Далее: в своих собственных глазах Набоков был поэтом. И он хотел доказать окружающим, что в первую очередь он поэт. Он не понимал, что если он и поэт, то отнюдь не великий. В этом смысле его встреча с Ходасевичем была весьма знаменательной – трагической, если хотите, но это была единственная крупная трагедия Набокова. Встретив Ходасевича, Набоков понял разницу между собой и подлинным поэтом, поэтом по определению, – хотя и после этого он продолжал упорно писать стихи. В нем это глубоко сидело – быть

поэтом. Настолько, что вся его проза строится на двоякости: возьмите все эти раздвоения личности, всех этих близнецов, отражения в зеркале, бесконечные подмены и так далее… <…> у Набокова всё построено по принципу рифмы!»[434]

В 1969 году Карл Проффер послал Набокову в Монтрё «Горбунова и Горчакова». В ответ Вера Набокова писала: «Спасибо за ваше письмо, две книги и поэму Бродского. "В ней много привлекательных метафор и красноречивых рифм, – говорит ВН, – но она грешит неправильными ударениями, отсутствием словесной дисциплины и, в целом, многословием (по-английски буквально: слишком большим количеством слов. – *Л. Л.)*. Однако эстетическая критика была бы несправедлива ввиду кошмарных обстоятельств и страдания, скрытых в каждой строке этой поэмы"»[435]. Интересно, сознательно ли великий мастер аллюзий намекнул на известный анекдот об императоре Иосифе II, который, прослушав «Похищение из сераля», якобы сказал юному композитору: «Слишком много нот, мой дорогой Моцарт, слишком много нот!»

Передав отзыв мужа о поэме, Вера Набокова пишет Профферу: «Я чрезвычайно признательна вам за посылку джинсов. Пожалуйста, сообщите мне, сколько я вам должна»[436]. Бродский получил в подарок от Набокова пару джинсов, и это был их единственный личный контакт[437]. Американские джинсы были труднодоступны и высоко ценились в Советском Союзе. Кстати, Вера Набокова называет их в своем письме старомодным словом «dungarees».

Бродский и Солженицын обращаются к Америке

Бродский, при всем его прокламируемом презрении к политике, при всей сложности поэтического мышления, которой соответствовал подчас эпатирующий парадоксализм его эссеистики и публичных выступлений, невольно оказался в роли представителя мыслящей России на Западе. Признавал он это или нет, но общественным темпераментом он обладал и то и дело оказывался втянутым в события политической жизни. В 1974 году Владимир Максимов при поддержке западногерманского издательского магната Акселя Шпрингера основал журнал «Континент», которому предстояло на два десятилетия стать самым влиятельным журналом эмиграции. С соредактором Максимова, поэтом Натальей Горбаневской, Бродский был дружен с юности. Первый номер нового журнала открывался приветствиями Александра Солженицына, Эжена Ионеско, Андрея Сахарова и стихами Бродского. В начале подборки стояло стихотворение «На смерть Жукова». Оно вполне выражало совпадающие политические позиции журнала и автора: гордость за русскую героическую историю и высокую русскую культуру и отвращение к жестокости российского тоталитаризма. Бродский постоянно отдавал новые стихи в «Континент» и вплоть до начала перестройки в Советском Союзе поддерживал все начинания журнала. Живя в Америке, он был далек от конфликта между максимовским «Континентом», а также газетой «Русская мысль», с одной стороны, и А. Д. Синявским, М. В. Розановой (их журналом «Синтаксис») и Е. Г. Эткиндом – с другой. Этот конфликт на многие годы расколол парижскую эмиграцию. Но он всегда восхищался бескомпромиссностью и даже яростью максимовского антикоммунизма, сравнивал Максимова с отчаянным бойцом, который бросается вперед, поливая врага «автоматными очередями, от живота». К надеждам Эткинда и редакторов «Синтаксиса» на «социализм с человеческим лицом», как, впрочем, и к доморощенному авангардизму, процветавшему в этом журнале, он относился брезгливо.

Почему обращения Александра Солженицына, потрясшего мир «Одним днем Ивана Денисовича» и «Архипелагом ГУЛаг», не оказали большого влияния на настроения западной интеллигенции и даже вызвали некоторое отталкивание у определенной ее части, а с мнением Бродского считались, без конца его интервьюировали не только как литератора, но и как

представителя свободомыслящей России? Объясняется это, по-видимому, не столько содержанием их выступлений, сколько стилем. Западную прессу обошла фотография Солженицына на трибуне в Гарвардском университете. Высокий мужчина, одетый в специального покроя полувоенный френч, с суровым выражением нахмуренного лица, с большой «библейской» бородой, грозит аудитории указательным пальцем. Он обвиняет Запад в безверии, расслабленности, моральном разложении, политической трусости. Он говорит как знающий истину в последней инстанции, непререкаемый в своей правоте. Представьте себе некоего обобщенного американского интеллигента в гарвардской аудитории в тот весенний день 1978 года. Он, скорее всего, ошеломлен страстным авторитарным тоном и гневным пафосом обвинений и пророчеств. Он пытается поместить оратора в знакомую систему культурных координат и находит ближайшую аналогию: проповедник-евангелист, грозящий телевизионной пастве геенной огненной. Такой тип мышления и высказывания прямо противоположен принятому в толерантной либеральной среде, где чем радикальнее заявление, тем тщательнее принято его обосновывать. Бродский, который и внешне, и манерой держаться выглядит как нью-йоркский, вуди-алленовский интеллигент, не проповедует, а размышляет вслух, постоянно подчеркивает, что выражает свое частное мнение, не претендуя на знание абсолютной истины. Таким образом, он доносит до западной аудитории практически то же антитоталитарное послание, что и Солженицын, но куда убедительнее для этой публики.

События в Афганистане и Польше

Примером влияния Бродского на умы американской интеллигенции может послужить обращение Сюзан Зонтаг. Этот случай особенно показателен, поскольку писательница сама принадлежала к числу властителей умов в Америке второй половины двадцатого века. Ее политическую позицию можно было охарактеризовать как леволиберальную. Она всегда была в числе тех, кто считает американскую политическую систему зависимой от крупного капитала, ядовитым критиком конформистской, потребительской культуры среднего класса, феминисткой. В годы вьетнамской войны она вместе с несколькими единомышленниками совершила рискованное путешествие в Ханой, чтобы выразить солидарность с коммунистическим Северным Вьетнамом. Поэтому настоящий скандал разразился в феврале 1982 года на грандиозном митинге профсоюзов и леворадикальной интеллигенции в поддержку польской «Солидарности». То, что происходило в Польше в тот момент – вспышка всенародного протеста против коммунистического режима, введение правительством генерала Ярузельского военного положения с соответствующими репрессиями, угроза советской интервенции, – создавало трудную проблему для американских социалистов и квазисоциалистов: социалистическое государство жестоко расправляется с подлинным рабочим движением. Цель организаторов митинга была двоякой: отмежеваться от СССР и его ставленников в Польше как «ненастоящего социализма», но, что еще важнее, доказать, что положение трудящихся в Америке ничуть не лучше, чем положение гданьских рабочих, и что империалистическая политика Рональда Рейгана в Латинской Америке ничем не отличается от политики Брежнева в Центральной Европе. В таком духе и высказывались на митинге писатели Гор Видал и Курт Воннегут, певец Пит Сигер и многие другие. Того же аудитория ожидала и от Зонтаг, но под растущий шум и улюлюканье она заявила, что заблуждалась в течение тридцати лет. Как бы дразня левую публику, она сказала, что если представить себе человека, который в течение тридцати лет читал только «Ридерс дайджест» и «Нейшн», то правду о коммунизме он бы узнал только из первого журнала. «Ридерс дайджест» – консервативный журнал, особо презираемый левой интеллигенцией как «мещанский», тогда как «Нейшн» – главный орган левой, социалистически настроенной интеллигенции. Относительно сравнения полицейских репрессий в Польше с полицейскими репрессиями в

Сальвадоре и других латиноамериканских странах она согласилась, что сходство имеется, и сформулировала его так: «Коммунизм – это фашизм с человеческим лицом». Различие, сказала она, в том, что коммунизм – это более успешный фашизм. За свое прозрение она благодарила восточноевропейских друзей, в частности Чеслава Милоша и Иосифа Бродского. Она процитировала Бродского: «Поляков хотят раздавить советскими танками и западными банками»[438].

Бродский тоже выступил на этом митинге. Он заявил, что в качестве символического жеста закроет свой счет в «Кемикл бэнк», поскольку этот банк финансирует польское правительство. «Проводить параллель между [американскими профсоюзами] и польскими рабочими – это не только совершенная непристойность; такая параллель отвлекает людей от реальных проблем и ставит Польшу в дурацкое положение, в котором она уже оказалась. Вам, либералам, следует попытаться решить одну проблему, а не рассеивать свою энергию по всему миру», – сказал он, отвечая ораторам, которые постоянно сравнивали коммунистические репрессии в Польше с положением в Центральной Америке («Там люди имеют хоть минимальную, но свободу», – говорил он вскоре после митинга интервьюеру[439]). Ему улюлюкали, кричали из зала: «Вы циничный негодяй!»[440]

Бродский очень близко к сердцу принимал происходящее в Польше. Наталья Горбаневская вспоминает: «В декабре 80-го, когда угроза советской интервенции в Польше казалась неизбежной, мы сидели с Иосифом, Томасом Венцловой и еще одним литовцем и совершенно серьезно обсуждали план организации интербригад для защиты Польши. И, конечно, все четверо собирались высадиться, по возможности, с первым десантом»[441].

К Польше Бродский испытывал особо теплые чувства, а к странам исламской цивилизации относился с недоверием, и тем не менее такой же была его реакция на советское вторжение в Афганистан. На вопрос интервьюера: «Эти ваши взгляды отражаются как-то в том, что вы пишете?» – он ответил: «Писать об этом бесполезно. Я считаю – надо действовать. Пора создавать новую интернациональную бригаду. Сумели же это сделать в тридцать шестом году – отчего не попробовать сейчас? Правда, в тридцать шестом интербригаду финансировало ГПУ, советская госбезопасность. Хорошо бы в Штатах нашелся кто-нибудь с деньгами... какой-нибудь техасский миллионер, чтобы поддержать эту идею». [Интервьюер:] «А что, по-вашему, могла бы делать такая интербригада?» – «Да то же, в принципе, что и в Испании в тридцать шестом: оказывать сопротивление, помогать

местным жителям. Обеспечивать медицинскую помощь, заботиться о беженцах... Вот это была бы по-настоящему благородная миссия. Не то что какая-нибудь „Международная амнистия“... Я бы и сам охотно сел за руль машины Красного Креста...» [Интервьюер:] «Не всегда легко провести размежевание с моральной точки зрения...» – «Не знаю, какое тут требуется моральное размежевание. В Афганистане все предельно очевидно. На них напали; их хотят подчинить, поработить. Пусть афганцы – племенной, отсталый народ, но разве порабощение можно выдавать за революцию?»[442] Десять с лишним лет спустя он очень сходным образом высказывался и о чеченской войне.

Два стихотворения Бродского об афганской войне, «Стихи о зимней кампании 1980 года» (1980; *У)* и «К переговорам в Кабуле» (1992; *ПСН),* отражают не сентиментальный, но и не циничный взгляд на этот затяжной кровопролитный конфликт. Основное эмоциональное содержание обоих текстов – отвращение. В первом – отвратительна агрессия «империи зла», представленной как тупая, противоестественная, то есть чуждая самой природе, механическая сила: агрессоры здесь не человеческие существа, а пуля, самолет, механический слон – танк, которые кошмарно имитируют отдельные свойства живого: «Ходя под себя мазутом, стынет железо». Бродский находит сильные парафразы взамен штампов пацифистской риторики. Выражение «пушечное мясо» превращается в «мерзнущая, сырая человеческая свинина», выражение «уж лучше было бы [этим молодым солдатам] не родиться...» – в афористическое «Слава тем, кто, не поднимая взора, / шли в абортарий в шестидесятых, / спасая отечество от позора!». В более позднем стихотворении объектом отвращения становятся «жестоковыйные горные племена», живущие по законам архаической жестокости, но уже готовые обменять свою древнюю цивилизацию на сомнительные блага потребительской цивилизации современного Запада (собственно об этом, а не о мире, и ведутся, согласно Бродскому, «переговоры в Кабуле»)[443].

Эти два стихотворения можно рассматривать как некий «афганский диптих», но самым существенным, с точки зрения политической философии Бродского, здесь является то, что он не ставит знака равенства между тремя вовлеченными в афганский сюжет цивилизациями – примитивно-исламской, советской и современной западной. Ни одна из них не имеет в его глазах морального приоритета, каждая является носительницей зла, но в мрачноватом или, если угодно, реалистическом политическом универсуме Бродского виды зла различаются по степеням, почти как в Дантовом «Аде». Еще в стихотворении «К Евгению» из

«Мексиканского дивертисмента» *(ЧР)* употреблен оборот «все-таки лучше»: сифилис и геноцид, принесенные конкистадорами в Америку, ужасны сами по себе, но «все-таки лучше», чем имевшая место до них туземная деспотия с человеческими жертвоприношениями. То же во втором афганском стихотворении. Западный мир отвратительно вульгарен, но там все-таки «лучше, чем там, где владыка – конус / и погладить нечего, кроме шейки / приклада». Еще ближе к центру абсолютного зла – тоталитарный коммунизм, характеристика которого явно перекликается с девятым кругом ада у Данте, где самые страшные грешники вморожены в лед. У Бродского: «Новое оледененье – оледененье рабства / наползает на глобус».

Уже в своем первом напечатанном в США эссе 1972 года Бродский писал: «Жизнь – так, как она есть, не борьба между Плохим и Хорошим, но между Плохим и Ужасным. И человеческий выбор на сегодняшний день лежит не между Добром и Злом, а скорее между Злом и Ужасом. Человеческая задача сегодня сводится к тому, чтобы остаться добрым в царстве Зла, а не стать самому его, Зла, носителем»[444]. В стихах, написанных в начале того же года, эта идея, в применении к отечественной ситуации, выражена в менее абстрактной форме: «...ворюга мне милей, чем кровопийца» («Письма римскому другу», *КПЭ),* — слова, которые четверть века спустя, в постсоветской России, многие цитировали как пророческие. В афганских стихах, в написанных по-английски стихах о геноциде в Косово, в эссе «Playing games» («Играя в игры», 1980), написанном в поддержку бойкота московских Олимпийских игр, и во многих выступлениях Бродский напоминает Западу об интеллектуальной и моральной несостоятельности позиции «духовного буржуа, наслаждающегося максимальным комфортом – комфортом своих убеждений»[445]. Ведущим убеждением была, как показал, например, нью-йоркский митинг по поводу «Солидарности», моральная уравниловка, стремление приравнять неприглядные стороны западной демократии к широкомасштабным преступлениям тоталитарных режимов. В отличие от Солженицына с его пророческой риторикой и религиозно-утопической программой духовного очищения Бродский был услышан хотя бы частью думающих людей на Западе.

Бродский и Солженицын

Подчеркнем еще раз, что различие между Бродским и Солженицыным – стилистическое. То, о чем говорил Бродский, хотя и могло прозвучать в стихах иронически цинично, диктовалось не цинизмом и не одной прагматикой. Так же, как солженицынский дискурс, обращение Бродского к Западу имело духовную подоплеку. Если в статье 1972 года проповедь Добра звучит абстрактно, то в «Актовой речи» (1984) Бродский прямо цитирует Нагорную проповедь. Но, кажется, нигде у Бродского утверждение Добра не достигает такой метафорической интенсивности, как в середине рождественского стихотворения 1980 года «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...» *(У):*

> Сколько света набилось в осколок звезды,
> на ночь глядя! как беженцев в лодку.

Если свет рождественской звезды – это энергия Добра в чистом виде, то квант этого света становится под пером Бродского лодкой, в которой спасаются от преследующего их Зла самые обездоленные люди на Земле. Беженцы в лодке – в конце семидесятых, в начале восьмидесятых годов их едва ли не ежедневно можно было увидеть в телевизионных новостях или прочитать о них в газете: вьетнамцы и кубинцы, пытающиеся в утлых, иногда самодельных суденышках бежать от коммунистических тиранов[446].

Лично Бродский и Солженицын никогда не встречались, хотя от Саут-Хедли в Массачусетсе, где подолгу жил и работал Бродский, до имения Солженицына в Кавендише в Вермонте не более полутора часов езды на машине. Если Бродского спрашивали о Солженицыне как о писателе, то он неизменно повторял то, что некогда слышал от Ахматовой: «Для меня Александр Исаевич – это совершенно замечательный писатель, чьи книги должны прочесть все триста миллионов людей, проживающих в Советском Союзе». Или: «Советская власть обрела в Солженицыне своего Гомера. Он сумел открыть столько правды, сумел сдвинуть мир с прежней точки...»[447] Однако о политических взглядах Солженицына Бродский высказывался порой очень резко. В 1995 году на замечание журналиста: «По его (Солженицына. – *Л. Л.)* мнению, Россия – хранитель неких ценностей, которые Запад предал» – Бродский ответил, не скрывая раздражения: «То, что говорит Солженицын, –

монструозные бредни. Обычная демагогия, только минус заменен на плюс. Как политик он – абсолютный нуль»[448]. Далее он пояснил свою претензию к Солженицыну в более спокойном тоне: Солженицына так же, как Блока, Пастернака и отчасти Мандельштама (но не Ахматову и не Цветаеву!), подводит «русская провинциальная тенденция во всем, что происходит, во всяком страшном опыте видеть руку Провидения. <…> Солженицын не понимал и не понимает одной простой вещи. Он думал, что имеет дело с коммунизмом, с политической доктриной. Не понимал, что имеет дело с человеком»[449].

Та телеология, та религиозно-романтическая концепция истории, из которой славянофилы, Достоевский, Леонтьев, Бердяев и другие духовные предшественники Солженицына выводили «русскую идею», а Солженицын – представление о роковых узловых моментах, когда на Россию обрушивались удары мирового зла, Бродского не увлекает. Для него нет истории вне индивидуальных человеческих судеб, и центральным объектом писательского интереса должен быть человек, наиболее страдающий от истории. Все спекуляции относительно смысла истории уводят в сторону от человеческой трагедии. «При всей моей симпатии к Александру Исаевичу, мне это не понравилось уже в „Одном дне Ивана Денисовича“. Что там говорить, книга замечательная. Но с другой стороны – сам Иван Денисович. Ему удается выжить, он прекрасный человек. А как быть с теми, кому выжить не удалось? Даже если они и хуже Ивана Денисовича?»[450]

Бродский высказывался о Солженицыне не только в интервью. В 1977 году он напечатал восторженный отклик на английское издание «Архипелага ГУЛаг»[451], в 1984-м в эссе «Катастрофы в воздухе» вспоминал о том, какое сильное впечатление произвел на него роман «Раковый корпус».

Что касается Солженицына, то его отношение к поэзии Бродского претерпело с годами существенные изменения. В мае 1977 года он писал поэту: «Ни в одном русском журнале не пропускаю Ваших стихов, не перестаю восхищаться Вашим блистательным мастерством. Иногда страшусь, что Вы как бы в чем-то разрушаете стих, – но и это Вы делаете с несравненным талантом»[452]. Куда более отрицательно он оценил почти все творчество Бродского в обстоятельной статье, опубликованной после смерти поэта в журнале «Новый мир»[453]. Отмечая в виде исключения отдельные удачные стихотворения или фрагменты стихотворений, Солженицын камня на камне не оставляет от поэтики, эстетики и философских взглядов Бродского. Да и общественное поведение поэта представляется ему

сомнительным: «Будучи в СССР, он не высказал ни одного весомого политического суждения… Его выступления могла бы призывно потребовать еврейская тема, столь напряженная в те годы в СССР. Но и этого не произошло… „Представление“ – срыв в дешевый раёшник, с советским жаргоном и матом, и карикатура-то не столько на советскость, сколько на Россию, на это отвратительно скотское русское простонародье, да и на православие заодно… Сущностная отчужденность Бродского от русской литературной традиции… <…>; чужесть мировоззренческой, духовной, интеллектуальной сути ее – как в линии Толстого, так и в линии Достоевского…»[454]; «Тормошение Времени и Пространства еще не создает *метафизической* поэзии»[455].

Солженицын – мистик, то есть человек, чья вера зиждется на откровении, на открывшемся ему религиозном опыте, не в силах поставить себя на место агностика, чьи метафизические колебания как раз и связаны с невозможностью постичь Бога как абсолютно трансцендентного Другого, который находится вне времени, пространства и причинно-следственных связей. Как раз отыскивая все новые и новые поэтические средства для выражения этих метафизических загадок, «тормоша» их, Бродский прямо продолжает литературно-духовные метания Толстого и Достоевского, в особенности последнего, который проецировал на своих героев собственную неспособность успокоиться на какой-либо теодицее, найти место Богу в пространственно-временном, причинно-следственном мире. Агностицизм, как показывают великие примеры, мучителен в личном плане, но сильно увеличивает драматический потенциал писателя.

Солженицын и Бродский были двумя всемирно известными русскими писателями своего времени – два нобелевских лауреата, проживших неподалеку друг от друга долгие годы в Америке, – но их конфликт не имел ничего общего с их международным статусом или эмигрантскими распрями. Он развернулся внутри русской культуры, в рамках традиционно русского спора между «славянофилами» и «западниками». Напоминаем читателю, что славянофильство определяется не повышенной любовью к славянам, а романтической историософией с ее идеями национального предопределения и приоритета органической коллективной духовности над политическими институтами. Не менее русское явление, западничество, состоит не в слепом подражании Западу, а в стремлении упрочить Россию в западной цивилизации, построить в России гражданское общество. «Западник» Бродский не менее, чем «славянофил» Солженицын, был всегда готов грудью стать на защиту России, русских как

народа, от предвзятых или легкомысленных обвинений в природной агрессивности, рабской психологии, национальном садомазохизме и т. п.

Так было в 1985 году, когда живущий во Франции чешский писатель Милан Кундера своим несколько легкомысленным эссе о сравнительных достоинствах Достоевского и Дидро невольно спровоцировал Бродского на язвительную отповедь. Суть непритязательной вещицы Кундеры сводилась к следующему. Случилось так, что в 1968 году, как раз когда советские танки появились на улицах Праги, Кундере надо было перечитать «Идиота» Достоевского. Он испытал сильную неприязнь к этому писателю и попытался разобраться в источниках отвращения. Ненависть ко всему русскому он отмел, поскольку по-прежнему любил Чехова. Короткий разговор с советским офицером объяснил ему всё: русские в недопустимой степени сентиментальны, то есть чувства возводятся ими в ранг абсолютных ценностей и истины. Достоевский лучше всех выразил это русское отношение к миру. Но «мир, где все обращается в чувство», чреват надрывами, истерикой и агрессией. И Кундера испытал ностальгию по миру французского Просвещения, где чувства уравновешены и контролируются рассудком, по Дидро с его «Жаком-фаталистом». «Даже если свести романы Достоевского к тому редуцированному уровню, который предлагает Кундера, совершенно очевидно, что это романы не о чувствах как таковых, но об иерархии чувств. Более того, чувства эти являются реакцией на высказанные мысли, большая часть которых – мысли глубоко рациональные, подобранные, между прочим, на Западе»[456], – пишет Бродский (он стреляет из пушки по воробью, но для него Кундера только повод высказаться на наболевшую тему). «Преступления, совершенные и совершаемые в тех краях (в Советском Союзе. – *Л. Л.),* совершались и совершаются во имя не столько любви, сколько необходимости – исторической, в частности. Концепция исторической необходимости есть продукт рациональной мысли, и в Россию она прибыла из стороны западной. <…> Необходимо тем не менее отметить, что нигде не встречал [призрак коммунизма] сопротивления сильнее, начиная с «Бесов» Достоевского и продолжая кровавой бойней Гражданской войны и Великого террора; сопротивление это не закончилось и по сей день»[457]. Солженицын, кажется, мог бы подписаться здесь под каждым словом.

Глава IX
Лауреат

Слава и деньги

Жизнь Бродского на родине никак не назовешь безмятежной. Полуторогодовалым младенцем его вывозят на транспортном самолете под обстрелом из осажденного города. В пятнадцать лет он бросает школу. К восемнадцати приобретает отчасти скандальную известность как поэт. В двадцать он в первый раз арестован. В двадцать три – в тюрьме, в сумасшедшем доме, жертва и герой прогремевшего на весь мир судебного процесса. В тридцать два его изгоняют из страны.

Жизнь Бродского на Западе в столь же конспективном изложении, напротив, выглядит как восхождение по лестнице успехов. Прилично оплачиваемые профессорские должности в престижных университетах: сначала в Мичиганском, периодически – в Нью-Йоркском, Колумбийском и других, а с 1980 года постоянно в консорциуме пяти колледжей в Массачусетсе. Все высшие награды и премии, какие только могут достаться литератору, в том числе «премия гениев» в 1981 году, Нобелевская премия по литературе в 1987-м, назначение поэтом-лауреатом США в 1991-м. Бродский – почетный доктор Йеля, Дартмута, Оксфорда, почетный гражданин Флоренции и Санкт-Петербурга, кавалер ордена Почетного легиона и т. д. и т. п.

Контрастно несхожими две неравные половины преломившейся примерно в «золотом сечении» жизни выглядят только на сторонний и поверхностный взгляд. На постоянный, естественный вопрос интервьюеров, как на него подействовал переезд на Запад, Бродский терпеливо, а иногда и досадливо отвечал, что это всего лишь «продолжение пространства». В четвертой главе «Колыбельной Трескового мыса» он перечисляет приметы жизни, связанные с «переменой империи»:

> Перемена империи связана с гулом слов,
> с выделеньем слюны в результате речи,
> с Лобачевской суммой чужих углов,
> с возрастаньем исподволь шансов встречи
> параллельных линий (обычной на
> полюсе). И она,
> перемена, связана с колкой дров...
>
> *(ЧР)*

Непривычно жить в чужих углах, постоянно говорить на

неродном языке и даже колоть дрова, чего в Ленинграде делать не приходилось, а тут камин. Но в конечном счете

> ...перо
> рвется поведать про
> сходство. Ибо у вас в руках
> то же перо, что и прежде. В рощах
> те же растения.

В определенном смысле Бродского равно тревожили житейские беды и удачи, потому что и те и другие могли вмешаться и отвлечь от единственно существенного – от сочинительства. Мы помним эпизод в январе 1964 года, когда ворвались милиционеры с угрозами, а он думал, как бы дописать стихотворение «Садовник в ватнике, как дрозд...». Мы знаем, как раздражало его непрекращающееся муссирование судебной расправы над ним. Но и то, чему, казалось бы, следовало радоваться, таило потенциальную опасность. Он рассказывал, как после первых месяцев жизни в Америке однажды получил ежемесячный отчет из банка и увидел, что у него на счету скопилось, кажется, три с чем-то тысячи долларов. И ему, смолоду не всегда имевшему в кармане двух рублей на такси, стало приятно, и мелькнула мысль: «А хорошо бы пять тысяч!» И эта мысль его испугала, поскольку следить за ростом своих сбережений – значит какое-то время занимать этим сознание. И, сходным образом, когда отшумели нобелевские торжества, в конце декабря 1987 года он вернулся из Швеции в Америку в сильной тревоге: его беспокоило, не слишком ли он выбит из колеи новым всплеском всемирной славы – а вдруг он не сможет больше писать? Но подошло 24 декабря и написалось стихотворение «Рождественская звезда». «И я подумал: ну, значит, все в порядке...»

Живя на Западе, Бродский не испытывал материальных стеснений, но богат никогда не был. Даже Нобелевскую премию он ухитрился получить в тот год, когда ее денежная стоимость была рекордна низка (размер премии зависит от колебаний рынка ценных бумаг) – 340 тысяч долларов. И с этой суммы он должен был заплатить в США большой налог благодаря только что принятому закону (раньше Нобелевские премии от налогообложения освобождались)[458]. Осталось у него от премии примерно столько, сколько его нью-йоркский дантист или кардиолог зарабатывали за год. Эти деньги и составляли все его богатство до последних лет, когда появились семья и потребность в более просторном жилье. К началу девяностых годов приличная

квартира в приличном районе Нью-Йорка стоила не менее полумиллиона долларов. Сверх университетской зарплаты Бродский немало зарабатывал гонорарами за публикации и выступления, но привычки беречь деньги у него не было. Раз напуганный, как ему показалось, приступом корыстолюбия, он весьма преуспел в умении изгонять из головы меркантильные мотивы. Получив по почте чек из редакции, он прикнопливал его к доске над письменным столом и недели спустя скользил по нему рассеянным взглядом – чек вливался в коллаж из открыток, записок и фотографий.

Политика и нравы американских кампусов

Бродский приехал в США в начале семидесятых годов – неспокойный период в истории страны. Близился бесславный конец вьетнамской войны. Нефтяной кризис расшатывал американскую экономику. В 1973 году страну потрясла и оскорбила уотергейтская история, приведшая к импичменту президента Никсона в 1974-м. На конец семидесятых приходится анемичное правление администрации Джимми Картера. Здесь надо сказать несколько слов о нравах той среды, в которой оказался Бродский.

Его американские сверстники – молодые университетские преподаватели, писатели, редакторы, а также студенты и аспиранты, с которыми он сталкивался в классах, – принадлежали к поколению шестидесятых годов. Не все из них начинали как хиппи или участвовали в протестных маршах и демонстрациях, но общим для этой среды было скептическое отношение к американским демократическим институтам и пацифизм, по преимуществу весьма бездумного свойства. Поднаторевшие в разоблачении коварных замыслов американского «военно-индустриального комплекса», они с наивным энтузиазмом поддерживали «миролюбивые инициативы» брежневского правительства, активно выступая против любых оборонных программ своего собственного: размещения в Европе американских ракет среднего радиуса действия или разработки нового тактического оружия, так называемой «нейтронной бомбы». Мы уже говорили в предыдущей главе о том, как презирал Бродский нечестное, а чаще неумное приравнивание проблем, возникающих в демократическом обществе, с кошмаром тоталитарных режимов. «Запад! Запад ему люб!..» – запальчиво восклицает Солженицын в заключительной части статьи о Бродском и в качестве первой причины такого западничества называет веру Бродского в то, что только на Западе господствует Нравственный Абсолют[459]. Но Солженицын, тщательно прочитавший все стихи Бродского и очерк «Путешествие в Стамбул», видимо, оставил без внимания публицистические выступления поэта. В критике реального социализма, то есть тоталитарных режимов, Бродский следует традиции своих кумиров – Джорджа Оруэлла, У. Х. Одена, Чеслава Милоша. Если использовать английское выражение, «он стоит на плечах этих гигантов». В отличие от них он не был рожден и воспитан в капиталистическом обществе, не прошел через увлечение социализмом, но так же, как они, он при всем своем отвращении

к тоталитаризму не смотрел на Запад сквозь розовые очки и уж конечно не был апологетом капитализма в духе Айн Рэнд.

Что касается внутренних проблем американского общества, постоянных предметов политического спора между теми, кого в Америке называют «либералами» и «консерваторами», поведение Бродского делало его скорее «либералом», хотя, по существу, он был выше этой проблематики. Проблема *другого* — черного для белого, гомосексуалиста для гетеросексуалиста, женщины для мужчины – была в США проблемой политического и экономического равноправия и для некоторых проблемой этики или веры. На бытовом уровне борьба за равноправие выразилась в табуировании самой тематики *другости* (пол, раса, сексуальная ориентация тщательно игнорируются при обсуждении деятельности субъекта). У Бродского изначально не было сомнений относительно равноправия, но языковые игры, отдающие лицемерием, он принимать отказывался. О квотах для расовых меньшинств при поступлении в университет *(affirmative action)* мог сказать грубо, но по сути дела точно: «Пусть лучше сидят, не всё понимая, на лекциях, чем болтаются на перекрестках». Политкорректность высказываний в лучшем случае есть проявление вежливости и такта, но в худшем – вульгарного культурного релятивизма, отрицания абсолютных этических и эстетических ценностей. Как сказал Бродский по другому поводу: «Но плохая политика портит нравы. / Это уж – по нашей части!» О своих героях он писал, невзирая на кодекс политкорректности[460]. Если считал, что гомосексуализм Кавафиса определил отношения поэта с миром, то писал об этом, не страшась обобщений. Если считал, что гомосексуализм Одена или тот факт, что Дерек Уолкотт мулат, существенно не отразились на их поэтическом творчестве, то упоминал лишь вскользь или вовсе не упоминал.

Америка, в которую приехал Бродский, была страной победившей сексуальной революции. Новые нормы сексуальной морали, установившиеся, по крайней мере, в либеральных кругах, вряд ли оправдывали опасения традиционных моралистов. Сексуальная практика молодого поколения мало напоминала либертинаж восемнадцатого века, оргиастические безобразия в Риме «Сатирикона» или библейский Содом. Скорее это была победа «теории стакана воды» и «товарищеского отношения к женщине», которые так бурно дебатировались в начале советского периода в России. Там, как известно, сексуальная революция, о необходимости которой говорила Клара Цеткин и некоторые большевики, не состоялась. Напротив, в годы, когда Бродский подрастал, в стране царили лицемерно-пуританские нравы.

Оборотной стороной официального пуританства были, конечно, всевозможные неврозы и комплексы, а также потаенный разврат: служебные романы, курортные случки, «обслуживание» в охотничьих домиках и саунах для начальства. И формальная идеология секса, и реальная практика одинаково укрепляли вековые психологические стереотипы мужского и женского поведения. В семье – патриархальные, а во внесемейных отношениях между полами – охотника и дичи, донжуана и его «жертв». В американских кампусах последней трети двадцатого века сексуальная охота, донжуанизм в значительной степени потеряли значение, уступили место свободному и равноправному сексуальному партнерству. И внебрачное сожительство, и одноразовая сексуальная встреча утратили характер незаконной игры, моральной девиации.

Фармакологически победа сексуальной революции обеспечивалась изобретением надежных противозачаточных пилюль, идеологически – феминизмом, хотя в теоретическом феминизме, озабоченном политическими и экономическими проблемами, пропаганды «естественной» свободы сексуальных отношений как раз нет. В русском языке, с его грамматическими родами, принято говорить о «феминистках». Но на Западе, где философия феминизма так широко распространилась после 1960-х годов, отсутствие грамматического рода удачно совпадает с идеологической реальностью – идеи феминизма глубоко усвоены не только большинством женщин, но и едва ли не большинством мужчин в образованных слоях населения. Когда Бродский на вопрос журналиста, как он себя чувствует в качестве преподавателя в женском колледже, неосторожно брякнул: «Как лиса в курятнике», – возмущенные письма пришли в редакцию от мужчин. «Любой преподаватель, который смотрит на своих студентов с подобным сексистским и хищническим умонастроением, должен быть лишен права на профессию», – писал некий Джордж Клауиттер из штата Висконсин[461].

Негодование, хотя Бродский и сам его спровоцировал, было не по адресу. Если бы лирический текст поддавался прямому переводу в политический дискурс, то Бродского можно было бы уличить в радикальном феминизме. Согласно центральному положению феминизма, женщина должна самоидентифицироваться не как объект мужской страсти, не как жена, «опора», «помощник» и даже не как мать, а как абсолютно автономная личность, свободный и равноправный участник любовного или брачного союза. В стихотворении «Я был только тем, чего...», подводящем итог книге любовной лирики «Новые стансы к Августе», как раз лирический герой, мужчина, поставлен

в зависимое от женщины положение: сначала «смутный облик», он под женским влиянием обретает личностные черты, в первую очередь способность к творчеству[462]. Разумеется, было бы наивно приравнивать риторику лирического стихотворения к политической риторике, но все же автора этих стихов никак нельзя уличить в мужском шовинизме.

Однако именно в этом, в «сексизме», Бродского не раз обвиняли. Его отношение к женщинам или отношение его лирического героя к женщине рассматривалось, в лучшем случае, как старомодное. Вот что говорил даже симпатизирующий Бродскому английский журналист и писатель Майкл Игнатьев (потомок русских эмигрантов) по поводу эссе «Altra Ego», впервые прочитанного как доклад в Британской академии: «Было что-то дешевое в том, как он говорил о женщинах»[463]. Между тем Бродский как лирический поэт не мог не оказаться в конфликте с этосом сексуальной революции. Известный американский мыслитель Алан Блум в своей нашумевшей книге «Заключение американской мысли» подробно рассматривал культурные последствия упрощения отношений между полами. «Эротизм наших студентов ослаблен. Это не божественное безумие, восхваляемое Сократом, или чарующее ощущение собственной неполноты и стремления восполнить ее, или милость природы, позволяющая частичному существу восстановить свою целостность в объятии другого, или томление временного существа по вечности в продолжении семени своего или в надежде, что люди будут помнить содеянное им, или размышление о совершенстве. Эротизм – беспокойство, но такое, которое содержит в себе обещание успокоения и утверждает в материальном мире добро. Это доказательство, субъективное, но неопровержимое, связи человека, пусть и несовершенной, с другими людьми и с целокупной природой. Удивление, источник поэзии и философии, есть характерная форма выражения эротизма. Эрос требует дерзания от служащих ему и хорошо это обосновывает. Томление по целостности есть томление по образованию, а изучать его и значит получать образование. <…> Половая жизнь наших студентов, их отношение к ней обескровливают эротическое томление, оно им непонятно. Упрощение лишило эрос его прорицательной силы»[464].

Эротическое у Бродского

Отношение Бродского к этому сюжету было предопределено его собственной если не трагической, то печальной любовной историей. В 1967 году, когда наступила развязка, он написал маленькое стихотворение «Postscriptum» *(ОВП)*. Оно начинается так:

> Как жаль, что тем, чем стало для меня
> твое существование, не стало
> мое существованье для тебя.

Любовь в его понимании находится не только за пределами области сексуальной экономики, трансакции частей тела:

> Жизнь есть товар на вынос:
> торса, пениса, лба...
>
> *(«Строфы», У)*

но и вне семиозиса:

> По мне, уже само движенье губ
> существенней, чем правда и неправда:
> в движеньи губ гораздо больше жизни,
> чем в том, что эти губы произносят.
>
> *(«Посвящается Ялте» КПЭ)*

Или: «Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос...» *(ПСН)*. По существу, в «Postscriptum'е» заявлено требование эротического максимализма: полная сосредоточенность одного существования на единственном другом существовании.

В 1983 году он собрал все, на тот момент, стихи, посвященные М. Б., в книге «Новые стансы к Августе», но разделить поэтическую продукцию Бродского на «стихи о любви» и стихи на другие темы невозможно. Его творчество насквозь эротично, что он сам объясняет в эссе «Altra Ego»: «Темой стихотворения о любви может быть практически все, что угодно: черты девы, лента в ее волосах, пейзаж за ее домом, бег облаков, звездное небо, какой-то неодушевленный предмет. Оно может не

иметь ничего общего с девой; оно может описывать разговор двух или более мифических персонажей, увядший букет, снег на железнодорожной платформе. Однако читатели будут знать, что они читают стихотворение, внушенное любовью, благодаря интенсивности внимания, уделяемого той или иной детали мирозданья. Ибо любовь есть отношение к реальности – обычно кого-то конечного к чему-то бесконечному. Отсюда интенсивность, вызванная ощущением временности обладания. Отсюда продиктованная этой интенсивностью необходимость в словесном выражении. Отсюда поиски голоса, менее преходящего, чем собственный»[465]. Мы уже говорили в третьей главе по поводу концовки стихотворения «Я был только тем, чего...» *(У),* что там Бродский вслед за Данте делает эрос универсальной космической силой. То, что он сказал в «Altra Ego» об эротической основе всех лирических сюжетов, можно счесть субъективным представлением автора о производимых им текстах, но и самый формальный объективный обзор лирики Бродского показывает, что среди его любовных стихотворений немного таких, где сюжет ограничивался бы отношениями между поэтом и возлюбленной. Независимость мира природы от индивидуального человеческого существования составляет основу сюжета стихотворения «Новые стансы к Августе», назначенного титульным в сборнике любовной лирики. Интимная идиллия оттенена апокалиптической футурологией, зловещим упоминанием счетчика Гейгера в пасторальном быту «Пророчества» *(ОВП).* Цикл «Часть речи» открывается стихотворением о разлуке любовников как таковой, но два других любовных стихотворения, «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» и «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...», амбивалентны. Метафорический план в первом стихотворении развернут и, как всегда у Бродского, конкретен, реалистичен – эпическая картина схватки с татарами, спровоцированная татарской фамилией возлюбленной, а во втором стихотворении так же конкретно воспоминание о Норенской:

> Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
> а как жив, то пьяный сидит в подвале,
> либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
> говорят, калитку не то ворота.

Бродский пишет в «Altra Ego»: «Знаменитое восклицание Пастернака „Всесильный бог деталей, всесильный бог любви!“ проницательно именно вследствие незначительности суммы этих деталей. Несомненно, можно было бы установить соотношение

между малостью детали и интенсивностью внимания, уделяемого ей, равно как между последним и духовной зрелостью поэта, потому что стихотворение, любое стихотворение, независимо от его темы, – само по себе есть акт любви не столько автора к своему предмету, сколько языка к части реальности»[466].

Парадоксальным образом в поэзии Бродского из-под действия эроса как гармонизирующего космического начала выведено то, что называется «эротическим» в бытовом словоупотреблении, плотская любовь, хотя это отнюдь не запретная для него тема. Иными словами безлюбый секс в стихах Бродского неэротичен, и выражено это в стилистике. Эротическое, как мы заметили, всегда интегрирует интимные отношения любовников и мир: женщина ночью прикасается ладонью к мужчине – планета кружится в мироздании, спинка их общей кровати становится калиткой, соединяющей дом и мир вне дома. Собственно сексуальный момент в этих стихах стилистически не выделяется, ибо «любовь как акт лишена глагола» («Я всегда твердил, что судьба – игра...», *КПЭ)*. Зато когда речь идет о неэротическом сексе, о «грязных снах», возникает сленговая, в том числе и обсценная, терминология. Кровать – «станок» («Лагуна», *ЧР),* садисту-тирану воронье гнездо напоминает «шахну» бывшей любовницы («Резиденция», *У),* промискуитет московской богемы имеет место «в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок» («На смерть друга», *ЧР;* здесь Бродский использует сленговые обозначения женских половых органов).

Если в англоязычной поэзии, у того же Одена, обсценная лексика почти полностью утратила шокирующее свойство уже в тридцатые годы, то в русской из больших поэтов только Маяковский несколько раз непринужденно использовал в стихах непечатные выражения («Во весь голос»), тогда как Пастернак позволил себе лишь осторожное «Я и непечатным / Словом не побрезговал бы...» («Елене»). Дело тут не в конформизме русских поэтов и не только в их собственном воспитании, но и в том, что они сознательно или подсознательно учитывали своего читателя, для которого одно прежде не встречавшееся в печати слово будет застить весь текст (Жюль Ренар писал в дневнике: «Если в фразе есть слово „задница“, публика, как бы она ни была изыскана, услышит только это слово»). В свое время авторы пасквиля в «Вечернем Ленинграде» облыжно обвиняли Бродского среди прочего в порнографии («пописывает стишки, перемежая тарабарщину нытьем, пессимизмом, порнографией»). На самом деле у раннего Бродского любовная тематика трактовалась весьма целомудренно. «Порнографией» Лернер и другие, видимо, посчитали несколько случаев употребления обсценной лексики

персонажами поэмы «Шествие» и, может быть, даже такие слова, как «сперма» и «презерватив», в той же поэме. Но вот о зрелом Бродском Э. В. Лимонов пишет: «Бродский не знает, как вести себя в моменты интимности – пытаясь быть свободным и мужественным – он вдруг грязно ругается. В устах почти рафинированного интеллигента, каковым Бродский хочет быть (и, очевидно, на 75 процентов является), ругательства, попытки ввести выражения низкого штиля типа „ставил раком“, звучат пошло и вульгарно. Бог, которого Бродский так часто поминает, не дал ему дара любовной лирики, он груб, когда пытается быть интимен»[467]. Так же, как двадцатью годами раньше ленинградские гонители Бродского, Лимонов шокирован не сюжетами, а вульгаризмами. Старые и новые обвинения вполне заслуживают быть принятыми *prima facie,* несмотря на полицейскую в первом случае и литературно-политическую во втором подоплеку. Речевая этика русской предреволюционной мещанской среды строго табуировала, загоняла в подполье как нецензурную брань, так и всю сексуальную лексику. Психология этих запретов состояла в желании людей, ступивших на одну социальную ступеньку выше «грубого» простонародья, подчеркнуть свою принадлежность к иному классу. Этика советского среднего класса сталинской эпохи по тем же причинам была насквозь мещанской и глубоко лицемерной: ругаться матом можно, но «не при дамах»; можно наслаждаться сальными анекдотами и рассказывать друзьям о своих сексуальных успехах в самой вульгарной форме, но в «культурной» сфере – в образовании, журналистике, литературе, искусстве – сексуальная тематика и лексика не имеют права на существование. Причем, как показывает тирада Лимонова, табу на слово сильнее, чем табу на тему. Лимонов приобрел литературную известность именно как писатель, откровенно и подробно описывающий сексуальные практики, но у Бродского его возмущает употребление грубых речений. Этот в общем-то не определяющий поэтику Бродского, во всяком случае не центральный для нее момент служит тем не менее определителем читательской способности воспринимать поэтический текст, в котором слово функционирует не так, как в повседневной речи. Это прекрасно понимали издатели первого, неавторизованного сборника Бродского. Б. А. Филиппов в связи с подготовкой нью-йоркского издания «Стихотворений и поэм» писал своему соредактору профессору Струве: «Нет, пожалуй, не стоит в „Шествии“ бояться всех этих слов („говно“, „мудак“ и пр.). Собак вешать будут все равно, а вместе с тем эти грубые слова СОВСЕМ НЕ ВЫГЛЯДЯТ ГРУБЫМИ В КОНТЕКСТЕ ПОЭМЫ (выделено заглавными буквами у автора письма. – *Л. Л.)*: они

даже – по контрасту – подчеркивают высокий патетический строй поэмы»[468].

В записных книжках Ю. Н. Тынянова есть рассуждение о мещанском сексе, замечательное и само по себе тем, что оно на несколько десятков лет опережает один из центральных тезисов феминизма конца двадцатого века о превращении женщины в сексуальный объект, «вещь»[469]. «Любовь к беспространственности... <...> наслаждаться частью женщины, а не женщиной»[470], – пишет Тынянов. Здесь формулируются оба основных мотива той же темы у Бродского. В чисто сексуальных отношениях функциональна только часть женщины-вещи, женщина в целом не представляет интереса и в тексте отсутствует: «Бессонница. Часть женщины.....Часть женщины в помаде...» («Литовский дивертисмент», *КПЭ),* «...зачем вся дева, раз есть колено...» («Я всегда твердил, что судьба – игра...», *КПЭ),* «Дева тешит до известного предела—/ дальше локтя не пойдешь или колена...» («Письма римскому другу», *ЧР),* «В проем оконный вписано бедро / красавицы...» («Мексиканский дивертисмент», *ЧР)*[471]. С этим же связан и мотив секса как уничтожения пространства, что наиболее ярко выражено в стихотворении «Конец прекрасной эпохи» *(КПЭ)*:

> Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
> к сожалению трудно. Красавице платье задрав,
> видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
> И не то что бы здесь Лобачевского твердо блюдут,
> но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
> тут конец перспективы.

«Раздвинутый мир» сначала ограничивается пределами раздвинутых ног, а затем вовсе сходит на нет, как в конце перспективы, в «части женщины». (Нельзя не отметить мастерское употребление анжамбемана, ритмически выделяющего повтор слова «тут» в финале строфы и таким образом воспроизводящего механический ритм *coitus'a.)* Безвыходный тупик сексуальности и космическая открытость эроса («Так творятся миры...» в «Я был только тем, чего...», *У)* — это противопоставление четко прослеживается в лирике Бродского[472].

«Урания»

Проходит десять лет после выхода «Конца прекрасной эпохи» и «Части речи», прежде чем он издает следующий сборник стихов – «Урания». Урания в греческой мифологии не только муза астрономии, есть еще и Афродита Урания («Небесная»), одна из двух Афродит. Вторая – Афродита Пандемос, то есть «всенародная» или, как переводит А. Ф. Лосев, «пошлая». Книга стихов в английских переводах, вышедшая в 1988 году, в значительной степени совпадает с русской «Уранией» по составу, но название немного изменено. По-английски книга называется не «Urania», а «To Urania», то есть не «Урания», а «Урании» или «К Урании», что проясняет мысль Бродского. Даря нам английскую «Уранию», Бродский написал на титуле: «To Nina and Leo – My inner bio» («Нине и Лео – моя внутренняя биография»). К Урании – это вектор внутренней биографии Бродского.

Объясняя название сборника, Бродский в 1992 году говорил интервьюеру: «[Данте], мне кажется, в *Чистилище*... <...> взывает к Урании за помощью – помочь переложить в стихи то, что трудно поддается словесному выражению. <...> Я хотел назвать книгу «Марш к Урании», по аналогии с оденовским «Марш к Клио»...» *(Brodsky 1992)*.

Название сборника также связано со стихотворением особо любимого Бродским Баратынского «Последний поэт» (1835), но, как это нередко бывает со скрытой цитацией у Бродского, он цитирует полемично. У Баратынского поэт, поющий «благодать страстей», противопоставлен «поклонникам Урании холодной». Бродский, напротив, утверждает в качестве своей музы «холодную» музу астрономии, географии и, в расширительном толковании, музу объективного, независимого от эмоциональности творчества. «Урания» – холодная книга в самом прямом смысле слова. Из семидесяти трех стихотворений в двадцати четырех, то есть почти трети, говорится про холод, зиму и осень и только в десяти про весну и лето. В «Урании» есть такие полные жизнелюбия вещи, как «Пьяцца Маттеи», «Римские элегии», «Горение», но преобладает мотив резиньяции, стремление к отрешенному, бесстрастному тону. Это становится особенно видно из сравнения по тематическому сходству стихов «Урании» с ранними вещами. Политический пафос таких стихов, как «Письмо генералу Z.» *(КПЭ),* «1972 год» *(ЧР)* сменяется мрачным сарказмом «Стихов о зимней кампании 1980 года» и «Пятой годовщины». Страстное богоискательство («Разговор с небожителем», «Натюрморт», *КПЭ)* — ироническим

агностицизмом («Посвящается стулу»). В «Строфах» 1968 года («На прощанье ни звука...», *ОВП)* о разлуке с любимой говорилось: «Так посмертная мука / и при жизни саднит», – а в «Строфах» 1978 года («Наподобье стакана...»):

Право, чем гуще россыпь
черного на листе,
тем безразличней особь
к прошлому, к пустоте
в будущем.

И в следующей строфе:

Ты не услышишь ответа,
если спросишь «куда»,
так как стороны света
сводятся к царству льда.

Особенно резко контрастируют два длинных стихотворения («оды») о существовании на грани между жизнью и смертью – «Бабочка» *(ЧР)* и «Муха» *(У)*. Бабочка – традиционный символ души, возрождающейся жизни. В «Мухе» воспевается нечто в традиционной лирике невозможное – вялое, неопрятное, полудохлое насекомое. Однако именно воспевается, а не изображается с эпатирующей отвратительностью, как бывает в поэзии после Бодлера. Поэт находит новый символ метаморфозы, смерти и воскресения, в мухе, ползающей под «лампочкой вполнакала» по «бесцветной пыли».

В «Урании» Бродский целеустремленно создает нечто беспрецедентное – лирику монотонной обыденности, *taedium vitae* (скуки жизни).

Бродский на английском

Когда говорят о Бродском как об американском или англоязычном писателе, его обычно сравнивают с двумя предшественниками и соотечественниками – первый из них даже тезка поэта – Джозефом Конрадом[473] и Владимиром Набоковым. Это сравнение поверхностное и неправомерное.

Конрад покинул Россию в семнадцать лет, был с тех пор погружен в английскую языковую среду. Немногим старше был Набоков, когда оказался в Англии. К тому же Набоков с детства воспитывался английскими гувернерами. Конрад писал только по-английски. По-английски написаны все романы Набокова после 1940 года. В отличие от них Бродский уехал на чужбину уже вполне зрелым человеком, умея читать по-английски, но не владея этим языком активно. Англоязычным писателем он себя никогда не считал («Я русский поэт, американский гражданин...»). Его писательская репутация в англоязычном мире зиждется прежде всего на нескольких десятках написанных им по-английски (или автопереведенных) эссе, статей, публичных выступлений, из которых сорок составили книги «Меньше самого себя» («Less than One», 1986), «Водяной знак» («Watermark», 1992; в русском переводе «Набережная неисцелимых») и «О скорби и разуме» («On Grief and Reason», 1995). Он также написал некоторое количество стихотворений на английском и усердно занимался переводом на английский своих стихов, но если его эссеистика вызывала в основном положительные критические отклики, отношение к нему как к поэту в англоязычном мире было далеко не однозначным.

Непростым было и его собственное отношение к своим стихам на английском. С одной стороны, он неоднократно подчеркивал второстепенный и даже развлекательно-игровой характер своей английской поэзии. На нередкий вопрос, считает ли он себя двуязычным поэтом, он говорил интервьюеру: «Эта амбиция у меня совершенно отсутствует, хотя я в состоянии сочинять весьма приличные стихи по-английски. Но для меня, когда я пишу стихи по-английски, – это скорее игра, шахматы, если угодно, такое складывание кубиков. <...> Но стать Набоковым или Джозефом Конрадом – этих амбиций у меня напрочь нет»[474]. С другой стороны, он упорно и в возрастающей с годами степени продолжал сочинять английские стихи, далеко не всегда в легком жанре, но лирические, философские и посвященные трагическим темам современности. Более того, он все меньше доверял перевод своих русских стихов англоязычным

поэтам и переводчикам. В пятисотстраничном томе, вышедшем через четыре года после его смерти *(СР),* нет переводов, выполненных без участия автора. Он составлен из стихов, написанных по-английски и переведенных самим Бродским или с участием Бродского. О том, что на самом деле означало «с участием», вспоминает друг Бродского, поэт и нобелевский лауреат Дерек Уолкотт: «Но правда заключается в том, что со всеми своими переводчиками Иосиф внушительную часть работы проделывает сам, даже в области ритма, даже в рифмах»[475].

Знал ли Бродский английский язык в совершенстве? Мы знаем, что в школе он по английскому получал двойки, потом изучал язык самостоятельно, а серьезно начал им заниматься в Норенской, вчитываясь в трудные поэтические тексты и параллельно в словарные статьи. В 1972 году он прибыл на Запад, умея хорошо читать по-английски, но практически почти не умея говорить (см. о встрече с Оденом). Карл Проффер проделал с ним смелый эксперимент, втолкнув Бродского осенью 1972-го в классную комнату Мичиганского университета, как детей по старинке учили плавать – бросали в воду: выплывай. Это сработало. Большой пассивный запас слов, начитанность на английском именно в той области, о которой ему предстояло читать лекции, и характерное упорство, привычка преодолевать трудные препятствия сделали свое дело – Бродский достаточно быстро научился пользоваться английским профессионально как преподаватель.

После нескольких лет жизни в Америке Бродский мог свободно говорить по-английски на любые темы в любых профессиональных и житейских ситуациях[476]. «Ему понадобилось всего три месяца, чтобы начать пользоваться американским сленгом», – вспоминал коллега по Мичиганскому университету[477]. Он, однако, так никогда и не стал полностью двуязычным: говорил с заметным акцентом, его словоупотребление казалось порой не совсем точным, а в английских черновиках друзья поправляли ему артикли и глагольные формы. Недостатки английского произношения усугублялись картавостью и некоторой назальностью, свойственными речи Бродского[478]. Это не создавало особых трудностей в небольших аудиториях, но порой сказывалось на больших публичных выступлениях. Вот характерное впечатление вашингтонского журналиста: «Бродский – один из самых плохих читателей английской поэзии в мире и, возможно, в то же время один из лучших. Закрывая глаза и покачивая своей совиной головой, он интонирует по памяти, подчеркивая ритмические и мелодические качества своих любимых стихов. В его

спотыкающемся бормотании все становится панихидой, плачем. Слушатель теряет слова и фразы в чащах его русского акцента; его исполнения являют триумф звука над смыслом. Тем не менее Бродский гипнотизирует. Личный магнетизм поэта соединяется с его зачаровывающим стилем, чтобы запечатлеть в памяти его стихи»[479]. Старший друг Бродского, известный английский философ Исайя Берлин говорил о лекции в Британской академии 11 октября 1990 года: «Никто не понял… Я тоже не понял ничего. Он говорил по-английски быстро, глотая слова. И я не мог уловить, не совсем понимал, что он говорит. Его приятно было слушать, потому что он был оживлен, но понял я потом, когда прочел»[480].

Как Бродский не раз рассказывал впоследствии, поначалу решение писать для американских журналов по-английски было чисто прагматическим – чтобы сэкономить время и усилия на переводе с русского. Постепенно активное *мышление* на двух языках перешло в привычку. Вслед за влиятельным лингвистом и культурологом тридцатых – сороковых годов Эдмундом Сепиром Бродский верил, что грамматические структуры языка в значительной степени предопределяют мировосприятие человека, на данном языке говорящего. Так в морфологии русского и других славянских языков огромную роль играют суффиксы. Слова «старуха», «старушка», «старушонка» представляют собой не строгую классификацию женщин преклонного возраста, но диапазон нюансов в отношении говорящего к тому, о чем говорится. Причем использование и понимание этих *-ка* и *-онка* весьма субъективно и точному определению не поддается. В английском морфология почти не участвует в организации смыслов. Для этого существуют самостоятельные лексемы, которые складываются в понятие: «старуха» – «old lady», «старушка» – «little old lady», а «старушонка» – «miserable old woman» или просто другое слово – «crone»[481]. Еще больше разнятся синтаксисы русского и английского языков. Русский язык – флективный, слова согласуются в предложении путем изменения окончаний (флексий) по роду, числу, падежу. Поэтому порядок слов в русском предложении может быть почти любым. Конечно, чуткий носитель языка уловит оттенки различий между фразами «Старуха пришла домой», «Домой пришла старуха», «Пришла старуха домой» и т.д., но это будут не четкие различия, а опять-таки нюансы, определяемые в значительной степени субъективно.

Современный английский – язык аналитический. В нем нет падежей, нет грамматического рода, и изменение порядка слов в предложении грозит существенным изменением смысла, а чаще

всего вовсе невозможно. В молодости, когда Бродский осознал строгую логическую структуру английского высказывания, он часто повторял: «На английском невозможно сказать глупость». (С годами ему пришлось убедиться в поспешности этого умозаключения.) Так или иначе, то, что поначалу было просто житейской необходимостью, стало восприниматься им как огромное преимущество, возможность раздвинуть психические горизонты до общечеловеческих: «Когда владеешь двумя языками, одним аналитическим, как английский, и другим синтетическим, очень чувственным, как русский, ты получаешь почти сумасшедшее ощущение всепроникающей человечности. Это может облегчать понимание, а может обескуражить, потому что видишь, как мало может быть сделано. Иные виды зла – результат недостатков грамматики [русской], а аналитический подход может вести к поверхностности, бесчувственности»[482]. Это высказывание неоспоримо как свидетельство о личном опыте и, возможно, утверждение, что мировосприятие двуязычного человека шире, сложнее, универсальнее, чем мировосприятие того, кто владеет только одним языком, справедливо вообще, однако вопрос о том, что дает двуязычие поэту, гораздо сложнее.

Понятно, что хорошее знакомство с жанровыми особенностями и риторическими средствами иноязычной поэзии может обогатить творчество на родном языке. Это происходило во все времена с поэтами разных народов. Мы говорили в главе пятой о том, как англо-американская поэзия повлияла на роль авторского «я» в текстах Бродского, на структуру метафоры и др. Но более глубокие уровни поэтического текста – просодия, поэтическое использование грамматики, семантические операции по сталкиванию разностильных речений и т. п. – зависят исключительно от характерных особенностей национального языка и, таким образом, переводу не поддаются[483]. Яркий пример такой невозможности – приемы рифмовки (рифма по своей природе явление прежде всего фонетическое). Скажем, тройная рифма, нечастая в русской поэзии, но довольно распространенная в английской, в частности у Одена, была эффектно использована Бродским в «Пятой годовщине» *(У),* «Fin de siécle», прологе к переводу трагедии Еврипида «Медея» и «Театральном» *(ПСН)*. Казалось бы, при переводе этих текстов на английский не должно возникнуть проблем, так как английской поэзией схема рифмовки и была внушена. Но вот что говорит такой мастер английского стиха, как Дерек Уолкотт: «В английском строенная (то есть тройная – *ааа. – Л. Л.)* рифма становится иронической, как у Байрона, или даже комической. В английском языке очень трудно оправдать такие окончания, в них

есть комическая или ироническая острота. <…> [Я] думаю: что попытка достигнуть этого (звучания оригинала Бродского. – *Л. Л.)* по-английски может привести ко всевозможным нарушениям в структуре стиха»[484]. Так же и доброжелательные, и недоброжелательные критики английских стихов Бродского отзывались о широком использовании женских рифм. Женское окончание строки (то есть с ударением на предпоследнем, а не на последнем слоге) столь же обычно в русском стихе, как и мужское, и само по себе стилистически нейтрально, тогда как на современное английское ухо оно звучит комично – хорошо для шутливой песенки или опереточной арии, но серьезный текст превращает в пародию. Практически невозможно воспроизвести в английском стихотворении ритмическую структуру русского. Причина тут вполне очевидна: русские слова в большинстве своем многосложные, английские – односложные. С другой стороны, в русском слове любой длины только один слог ударный, а в английских многосложных словах имеются сильное и слабое ударения. Если в английском тексте имитируется русская ритмика, это производит на англоязычного читателя неприятное «барабанное» впечатление. Между тем, работая с переводчиками своих стихов на английский, Бродский настаивал прежде всего на максимальном приближении именно к ритмической структуре и рифмовке оригинала. Попытки англизировать эту сторону его стиха он отвергал как слишком «гладенькие»[485]. По мнению даже большинства доброжелательных критиков, английская идиоматика стихов Бродского тоже бывала порой проблематична. Сознательно работая в поэтике Одена, Бродский вслед за Оденом насыщал свои английские тексты оборотами разговорной речи, и вот тут его американские и английские читатели ощущали «что-то не совсем так». Все, кому приходится повседневно пользоваться неродным языком, знают, что употреблять разговорные речения, жаргонные словечки надо с большой осторожностью. В отличие от стандартного словарного и фразеологического фонда они требуют особого, интимного ощущения тех речевых «сценариев», где их употребление уместно, не вызывает у собеседника чувства неловкости.

На английском у Бродского при жизни вышло пять книг стихов[486]. Первую, «Elegy to John Donne», вышедшую в 1967 году в Англии в слабых переводах Николаса Бетелла, он дезавуировал. Так же, как «Стихотворения и поэмы», она была составлена из стихов до 1964 года без его ведома и участия[487]. Первой английской книгой, над которой Бродский работал, были «Selected Poems» («Избранные стихи») в переводе Джорджа Клайна

и с предисловием Одена. По составу эта книга воспроизводила примерно две трети содержания «Остановки в пустыне»[488], а в конце были добавлены переводы новых вещей – «Post aetatem nostram», «Натюрморт», «Сретенье» и «Одиссей Телемаку».

По сравнению с утвердившейся репутацией первого русского поэта и почти безоговорочным успехом эссеистики стихи на английском оставались наиболее уязвимой стороной деятельности Бродского. Из тех, кто высказывался в печати о его стихах, наиболее восприимчивы к ним были некоторые слависты[489], читавшие английского Бродского на фоне русской поэзии, а также поэты, личные друзья Бродского – Стивен Спендер, Дерек Уолкотт, Шеймус Хини и др. Тут большую роль, несомненно, играло то, что они воспринимали тексты Бродского в контексте постоянных бесед с ним о поэзии вообще, а порою и его доскональных автокомментариев к стихам. Но в конечном счете, видимо, прав Исайя Берлин: «Как могли его понять те, кто не читал его по-русски, по его английским стихотворениям? Совершенно непонятно. Потому что не чувствуется, что они написаны великим поэтом. А по-русски... С самого начала, как только это начинается, вы в присутствии гения. А это уникальное чувство – быть в присутствии гения... Поэт может писать только на своем языке, на языке своего детства. Ни один поэт не создавал ничего достойного на чужом языке. Нет французской поэзии, написанной нефранцузом. Вот Оскар Уайльд написал „Саломею“ по-французски, но ведь это никуда не идет, никак не отражает его гения. Поэт говорит только на родном языке...»[490]

Бродскому довелось прочитать немало кисло-сладких и даже злобных рецензий на свои английские книги. Иногда это были выпады литературных неудачников, откровенно продиктованные завистью к выскочке-иностранцу[491], но уничтожительная критика иногда звучала и с солидных высот. Крупный английский поэт и наследник Т. С. Элиота на посту редактора поэзии в престижном издательстве «Faber-Faber» Кристофер Рид назвал свою рецензию на английский вариант «Урании» «Большая американская катастрофа». Рид находит поэтику Бродского напыщенной и претенциозной, перечисляет погрешности против английского языка и пишет о незаслуженно раздутой репутации Бродского[492]. Крейг Рэйн, который занимал столь влиятельное в современной английской поэзии редакторское кресло в период между Элиотом и Ридом, тоже известный поэт и оксфордский профессор, опубликовал разгромную статью о последней книге английских стихов Бродского и об авторе вообще через несколько месяцев после смерти поэта, как бы выплеснув в ней все накопившееся в узком кругу английского поэтического

истеблишмента[493] негодование по поводу русского парвеню. По тону статья Рэйна выходит за рамки литературных и любых приличий. Бродский пишет по-английски «неуклюже и сикось-накось» («awkward and skewed»), как мыслитель он «глуповат и банален» («fatuous and banal»), «неврастеник и посредственность мирового класса» («a nervous, world-class mediocrity»)[494].

Пожалуй, больше огорчали Бродского не злобные атаки с огульной бранью, отчасти *ad kominem,* а взвешенные статьи, авторы которых старались читать его английские стихи непредвзято и все же находили их неадекватными его репутации великого русского поэта и прекрасного английского эссеиста. Рецензируя уже посмертный том избранных стихов на английском, Адам Кирш суммировал это отношение англоязычных читателей к поэзии Бродского так: «Иные поэты, чья энергия прежде всего в метафоричности, не страдают в переводе так сильно, как Бродский. Вислава Шимборска звучит по-английски с исключительной ясностью, поскольку она истинно метафизический поэт. <…> Но Бродский, при всей блистательной четкости его образов, кажется, больше заинтересован в ритме, звуке, риторике, чем в идеях и их развитии, и потому больше теряет в переводе… Его [английские] стихи умны, богаты образами и динамикой, но слишком часто распадаются музыкально и даже семантически»[495]. Кирш цитирует американского поэта и переводчика поэзии Роберта Хасса: «…как будто бродишь среди руин благородного здания». Самое красочное описание впечатлений от английских стихов Бродского принадлежит крупнейшему англо-ирландскому поэту, нобелевскому лауреату Шеймусу Хини: «Энергию [английского стиха у Бродского] генерирует русский язык, метрика оригинала не отвергается, и в английское ухо вторгается фонетическая стихия, одновременно одушевленная и перекалеченная. Иногда английское ухо инстинктивно протестует против обманутых ожиданий как в синтаксисе, так и в предвкушении ударения. Или оно впадает в панику – уж не стало ли оно жертвой розыгрыша, пока ожидало ритма. Но временами оно уступает безудержному натиску, колдовству, на которое способно только надо всем торжествующее искусство…»[496]

Эссеистика

Писательская репутация Бродского в Америке и в значительной степени вообще на Западе была упрочена его эссеистикой. В русской литературе девятнадцатого века этот жанр процветал – достаточно вспомнить имена Чаадаева, Гоголя, Белинского, Герцена, Достоевского («Дневник писателя»), Константина Леонтьева, – но в советское время заглох. Если у Бродского были непосредственные русские предшественники, то это Цветаева, ранний Шкловский и предтеча Цветаевой и Шкловского – Розанов[497]. Только у них мы находим размышления на определенную тему, что должно составлять содержание любого эссе, в соединении с элементами, характерными для лирической поэзии: импрессионистическими наблюдениями, а также исповедальными, самоаналитическими пассажами. Интересно, что как раз к Розанову (и Шкловскому) Бродский был равнодушен. В предисловии к собранию цветаевской прозы он нехотя признает влияние Розанова на Цветаеву, но тут же торопится указать, совершенно справедливо, на то, что «нет ничего более полярного розановскому всеприятию, чем жестокий, временами почти кальвинистский дух личной ответственности, которым проникнуто творчество зрелой Цветаевой»[498]. Так что сходство вряд ли проистекает из ученичества или влияния, скорее имели место какие-то изоморфные творческие процессы. А вот страстная философская эссеистика Шестова, которой Бродский увлекался, стилистически мало напоминает то, что он сам делал в этом жанре. Сюжет и пафос Шестова всегда остаются в рамках его интеллектуальной темы, тогда как для Бродского жизнь идей неотделима от жизни вообще – от быта, от истории, от телесного и душевного существования автора.

Разумеется, этот лиризм с наибольшей полнотой проявляется в мемуарных текстах («Меньше самого себя», «В полутора комнатах», «Трофеи», «Чтобы угодить тени», «Муза плача») или путевых заметках («Посвящается позвоночнику», «Путешествие в Стамбул», «Набережная неисцелимых»), но лиричен, то есть субъективен, эмоционально окрашен, и стиль литературно-критических эссе. Бродскому, для того чтобы высказать все, что он имеет сказать о стихотворении Цветаевой «Новогоднее» или о «Домашнем кладбище» Фроста, требуются десятки страниц, и содержание этих страниц мало напоминает филологический комментарий или экспликацию текста перед студенческой аудиторией, но более монолог поэта, вживающегося во

внутренний мир другого поэта.

Из шестидесяти включенных в собрание сочинений *(СИБ-2)* эссе, статей и заметок по-русски в оригинале написаны только семнадцать[499]. Среди них два эссе о Цветаевой, «Посвящается позвоночнику», «Путешествие в Стамбул», нобелевская лекция «Лица необщим выраженьем», доклад о стихотворении Мандельштама «С миром державным я был лишь ребячески связан...» и эссе о поэтической перекличке Пастернака, Цветаевой и Рильке «Примечание к комментарию». Но в основном эссеистом, литературным и политическим полемистом Бродский был в сфере английского языка и, хотя то и дело жаловался знакомым на необходимость написать еще одну статью по-английски к определенному сроку («Лучше бы стишок сочинить!»), не только не отказывался от предложений, если тема его волновала, но и сам то и дело ввязывался в полемику в прессе. Так, в ответ на довольно безобидную журнальную статейку Милана Кундеры появилось «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому» (1985), а в ответ на напечатанную в «Нью-Йорк ревью оф букс» речь Вацлава Гавела «Посткоммунистический кошмар» – «Письмо президенту» (1993). Шесть десятков прозаических текстов включены в *СИБ-2,* но туда не вошло еще примерно столько же написанных по-английски статей, докладов, заметок, предисловий, писем в редакции газет и журналов. Видимо, и здесь для Бродского были образцом работавший не покладая пера Оден, а также Джордж Оруэлл, столь же плодовитый эссеист, журналист и полемист.

В английском Бродском, в особенности в мемуарах и очерках на темы истории и политики, ощущается стилистическое влияние эссеистики Джорджа Оруэлла: прямое изложение фактов, смелая простота суждений, ничего лишнего[500]. Как поэт Бродский уловил еще одно важное свойство, которое делает прозу Оруэлла такой эффективной, – строгий ритм, продуманное ритмическое построение фразы, периода, всего текста. «Ритм, такт, сцепление „словечек“, избавление от округленности (то есть аморфности) – все это может быть интерпретировано как внесение в прозу принципов стихотворной речи и, следовательно, как синтезирование *прозы поэта*»[501]. Ближайшим русским аналогом такого стиля в жанре эссе является не Цветаева, а опять-таки ранний Шкловский за вычетом несколько нарочитой у него парадоксальной фрагментарности. Парадокс и ирония у Оруэлла и вслед за ним Бродского не рекламируют сами себя, даны мягче, часто в подтексте.

Об уроках Оруэлла мы знаем из разговоров с Бродским. Любопытно, что английские и американские читатели в отзывах

на прозу Бродского предлагают литературные параллели, которые кажутся убедительными внутри отдельной рецензии, но сопоставленные друг с другом, эти параллели начинают пересекаться. Эрудированный славист Дэвид Бетеа рецензию на книгу «Меньше самого себя» начинает с цветаевского определения – «световой ливень» (Цветаева так называла стихи Пастернака), но, переходя с поэтического на критический язык, Бетеа пишет: «Это можно сравнить только с автобиографической и критической прозой Владимира Набокова, хотя очарование обильно детальных воспоминаний и процесс мнемонического бальзамирования в сочинениях Бродского сопровождается напряженными метафизическими и этическими исканиями, которые у Набокова в „Других берегах“ и лекциях по литературе даны только намеком (или с издевкой)»[502]. Джон Ле Карре, чья английская проза отличается стилистической элегантностью, так излагает свои впечатления от прозы Бродского: «Мне никогда не удавалось совместить Бродского, которого я знал, чей английский казался мне косноязычным, и Бродского, который вот написал же по-английски то, что напечатано на этой странице. Я всегда полагал, что имеет место сложный процесс перевода. Он пишет с утонченностью и иностранным акцентом, что в грамматическом и синтаксическом отношении получается прекрасно и может быть сравнимо только с Конрадом. Если, читая Конрада, помнить о немецком языке, который, я полагаю, оказал на Конрада самое большое влияние из всех языков, то начинаешь как бы слышать немецкий акцент, и все равно это будет прекрасно. И Конрад ближе, чем кто бы то ни было, к великим, развернутым, многоэтажным абзацам Томаса Манна. То же самое чувствуешь, когда читаешь английские эссе Иосифа»[503]. Маститый критик, писатель и славист Джон Бейли в необычно проницательной статье «Овладевая речью» пишет, что Бродский как поэт и эссеист имеет только одного равного – Одена: лишь Оден и Бродский – «по-настоящему цивилизованные поэты в своих поколениях»[504]. Бейли, кажется, единственный из критиков понял, что сказанное Бродским о причинах обращения к английскому языку не просто фигуры речи: «Моим единственным стремлением… <…> было очутиться в большей близости к человеку, которого я считал величайшим умом двадцатого века: к Уистану Хью Одену» – в очерке об Одене, и «Я пишу о них (родителях. – *Л. Л.)* по-английски, ибо хочу даровать им резерв свободы» – в «Полутора комнатах»[505].

Краткое общение Бродского с Оденом было односторонним. Ни Одену, ни той части человечества, на языке которой говорил Оден, Бродский был тогда не в состоянии сказать того, что

говорил он своим русским читателям. Трудно отказаться от мысли, что написанная в оригинале по-английски проза Бродского и была подлинным переводом его творчества на другой язык, переводом более успешным, более несомненным, чем все переводы стихов, в том числе и сделанные им самим. Разброс сравнений – Набоков, Конрад, Томас Манн, Оден – говорит о растерянности даже самых квалифицированных читателей перед незнакомым явлением. Хороших эссеистов хвалят за стиль, но прежде всего откликаются на идеи, развитые в их «опытах». Почти универсальная реакция на эссе Бродского – восхищение красотой, выразительностью, эмоциональным воздействием текста. Джон Апдайк, живой классик американской литературы, пишет о «Набережной неисцелимых»: «Восхищает отважная попытка добыть драгоценный смысл из жизненного опыта, превратить простую точку на глобусе в некое окно на вселенские условия существования, из своего хронического туризма выделать кристалл, грани которого отражают всю жизнь, с изгнанием и нездоровьем, поблескивающими по краям тех поверхностей, чье прямое сверкание есть красота в чистом виде»[506].

То, что английская проза Бродского одноприродна его русским стихам, доказывается хотя бы тем, что в ней часто встречаются мотивы, образы, тропы, уже имевшие место в стихах. Как показала в своем подробном исследовании русской и английской прозы Бродского В. П. Полухина, Бродский строит прозаический текст (не только эссе, но и статью, лекцию, письмо в редакцию и даже устную реплику) приемами, более характерными для стиха, чем для прозы, причем всегда приемами, часто встречающимися в его стихах. Выше мы уже сделали общее замечание о ритме как основном организующем принципе прозы Бродского. (Надо сказать, и сам Бродский в разговорах о прозе всегда отмечал наличие или отсутствие ритмической структуры в тексте.) Хотя обычно под ритмом понимается только определенная регулярность в чередовании ударных и безударных звуков, но в более широком смысле ритмизация текста происходит на всех уровнях. Фонически – в прозе Бродского широко используются аллитерации, ассонансы, внутренние рифмы и полурифмы. Из приводимых Полухиной примеров: «an attempt at domestication – or *dem*onizing — the *d*ivine», «*gl*ittering, *gl*owing, *gl*inting, the element has been casting itself», «has more to do with *Claude* than the *creed»,* «they don't so much *help* you as *kelp* you»[507]. На риторическом уровне ритмичность обеспечивается регулярным повторением одного и того же слова сквозь текст или в начале каждого периода (анафора), или в конце (эпифора), или то же самое слово

появляется в начале и в конце периода (эпаналепсис)[508].

Что касается композиции, то Бродский также структурирует свои эссе, как стихи. Поразительный пример – сравнение двух посвященных Венеции текстов: русского стихотворного диптиха «Венецианские строфы» и английского прозаического эссе «Набережная неисцелимых». В обоих абсолютно зеркальная симметрическая композиция[509]. Все это обеспечивает развитие не повествовательного, а лирического сюжета. Бродский не рассказывает читателю о своих приключениях в Венеции, Стамбуле или Ленинграде, даже в эссе о шпионе Филби нет прямого повествования, как в эссе о «Новогоднем» Цветаевой нет аргументированного и целостного анализа стихотворения. Все эти тексты – внутренние монологи, эмоционально окрашенные размышления автора, в основе своей импрессионистические, неограниченно субъективные, но превращенные в организованный текст теми же поэтическими средствами, которые Бродский так виртуозно использовал в своих русских стихах.

Только благодаря эссеистике на Западе смогли понять и оценить подлинный размер дарования Бродского. Признанием этого дарования стало присуждение ему Нобелевской премии в 1987 году.

Нобелевская премия

Как-то еще в Ленинграде в гостях у нас, забавляясь рисованием львов и обнаженных дев, Бродский среди рисунков оставил двустишие из тех немногих французских слов, которые знал:

> Prix Nobel?
> Oui, ma belle.

Вполне отдавая себе отчет в том, как велик элемент случайности в таких делах, Бродский, видимо, всегда полагал, что он может быть отмечен этой высоко престижной наградой. У него была в характере спортивная, состязательная жилка – с юных лет его непосредственной реакцией на чужие стихи было: я могу это сделать лучше[510]. К различным призам и наградам, которые посыпались на него после 1972 года, он относился прагматически (дополнительный доход) или иронически, не придавая им большого значения. Но Нобелевская премия имела для него, как и для всех русских, особый ореол. В изолированной от внешнего мира России вообще все явления западной культуры приобретали особый мифологизированный статус. Если на Западе среднеобразованного обывателя мало интересует, кто стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в текущем году, то в России, благодаря чудовищным по кретинизму пропагандистским кампаниям против присуждения Нобелевской премии Пастернаку (1958) и Солженицыну (1970) и не менее шумной официальной радости в связи с премией Шолохова (1965), «нобелевка» стала предметом общественных интересов. Постоянные разговоры в кругу Бродского шли о Нобелевской премии для Ахматовой. Осенью 1965 года, как раз когда Бродский вернулся из ссылки, друзья Ахматовой полагали, что она была финалистом, а предпочтение было отдано Шолохову только потому, что шведы хотели ублажить советское руководство после еще памятного скандала с Пастернаком. Чуковская пишет о том, как она услышала сообщение о премии Шолохову: «Меня будто грязным полотенцем по лицу ударили»[511]. Как мы знаем теперь, имя Ахматовой действительно обсуждалось Нобелевским комитетом, но в 1965 году она, как и Оден, имела в комитете лишь умеренную поддержку. Единственным сколько-нибудь серьезным конкурентом Шолохову среди россиян был К. Г. Паустовский[512].

Работа Нобелевского комитета держится в секрете, но, по слухам, Бродский был номинирован уже в 1980 году, когда лауреатом стал Чеслав Милош. Как водится, его имя несколько лет оставалось в списке тех, кого шведские академики считали наиболее достойными кандидатами, пока, наконец, выбор не пал на него в 1987 году. Сведения о нобелевском отборе 1987 года, раздобытые журналистами, разнятся, но почти во всех списках финалистов, соперников Бродского, встречаются имена Октавио Паса, Шеймуса Хини, В. С. Найпола и Камило Хосе Села. Все они стали нобелевскими лауреатами в последующие годы.

Присуждая премию, Нобелевский комитет лаконично формулирует, в чем состоит главная заслуга лауреата. В дипломе Бродского стояло: «За всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». Представляя лауреата, постоянный секретарь Шведской академии профессор Стуре Аллен начал речь словами: «Для нобелевского лауреата Иосифа Бродского характерна великолепная радость открытия. Он находит связи (между явлениями. – *Л. Л.),* дает им точные определения и открывает новые связи. Нередко они противоречивы и двусмысленны, зачастую это моментальные озарения, как, например: «Память, я полагаю, есть замена хвоста, навсегда утраченного в счастливом процессе эволюции. Она управляет нашими движениями...»»[513] Краткая речь Стуре Аллена отразила перемены, начавшиеся на востоке Европы. В прошлом, присуждая премию писателям из советской России, шведские академики с наивной тщательностью подчеркивали аполитичность своего решения. Премия Пастернаку (1958) была присуждена за «важные достижения в современной лирической поэзии», и тогдашний постоянный секретарь Шведской академии Андерс Остерлинг в своем выступлении подчеркивал, что «Доктор Живаго» «выше партийно-политических рамок и, скорее, антиполитичен в общечеловеческом гуманизме»[514]. Шолохова в 1965 году наградили за «художественную силу и целостность, с которой он отобразил в своем донском эпосе историческую фазу в жизни русского народа». Солженицына в 1970-м – за «нравственную силу, с которой он продолжил бесценные традиции русской литературы». В конце 1987 года в СССР набирали силу горбачевская перестройка и гласность, что сделало более «гласными» и шведов. Стуре Аллен упомянул конфликт Бродского с советским режимом («Сквозь все испытания – суд, ссылку, изгнание из страны – он сохранил личную целостность и веру в литературу и язык»), не стеснялся представитель академии и в характеристике этого режима («тоталитарный»)[515].

Нередкая реакция на провозглашение очередного нобелевского лауреата – неудовольствие, недоумение, разочарование. В отличие от спортивных состязаний с легко квантифицируемыми показателями задача тех, кто судит литературные достижения, нелегка. Угодить всем вкусам и мнениям невозможно. Критерии, установленные в завещании Альфреда Нобеля, достаточно расплывчаты: «...тому, кто создаст в области литературы наиболее выдающееся произведение идеалистической направленности». В начале двадцатого века шведы интерпретировали «идеалистическое» более или менее в религиозно-философском смысле. Так, первые скандальные *неприсуждения* премий – Толстому, Ибсену и Стриндбергу – академики объясняли именно недостаточным «идеализмом» писателей: Толстой позволил себе кощунственно переписывать Евангелие, Ибсен писал то «слишком социально», то «слишком загадочно», а «декадента» Стриндберга, несмотря на его международную славу, никогда даже не номинировали. Позднее «идеалистическое» стали понимать как эстетически совершенное и гуманное. И все же за восемь десятилетий список имен писателей, не удостоенных Нобелевской премии, едва ли не затмил список лауреатов. Помимо упомянутых трех в него входили такие столпы модернизма, как Конрад, Пруст, Джойс, Кафка, Музиль, Брехт, Набоков, Борхес, такие признанные национальные поэты, как Клодель, Рильке, Фрост, Оден, Ахматова, если не считать тех, чьи имена не стали при жизни достаточно известны в Стокгольме: Чехов, Блок, Цветаева, Мандельштам, Чапек, Лорка, Целан...

В октябре 1987 года Бродский жил в Лондоне в гостях у пианиста Альфреда Бренделя. О своем лауреатстве он узнал, сидя за ланчем в пригороде Лондона Хэмпстеде, в скромном китайском ресторанчике, куда его привел Джон Ле Карре, прославленный автор шпионских романов. По словам Ле Карре, они выпивали, закусывали и болтали о пустяках «в духе Иосифа – о девушках, о жизни, обо всем»[516]. Жена Бренделя отыскала их в ресторане и сообщила, что дом осажден телерепортерами – Иосифу присудили Нобелевскую премию. «Выглядел он совершенно несчастным, – продолжает Ле Карре. – Так что я ему сказал: „Иосиф, если не сейчас, то когда же? В какой-то момент можно и порадоваться жизни“. Он пробормотал: „Ага, ага...“ Когда мы вышли на улицу, он по-русски крепко обнял меня и произнес замечательную фразу...»[517] Фраза Бродского, которая так понравилась англичанину, «Now for a year of being glib», идиоматична и поэтому трудно поддается переводу. Glib – это «болтливый», а также «поверхностный» или – «поверхностно-

болтливый», «трепотливый». «A year of being / living» – стандартный литературный оборот: «год, когда живешь...» – далее подставляется необходимое наречие или деепричастный оборот (например, в названии популярного фильма австралийского режиссера Питера Уира – «A year of living dangerously» – «Год, когда живешь опасно»). Бродский боялся, что в ближайшие месяцы придется тратить все время на поверхностную болтовню с журналистами и т. п.

Нобелевскую лекцию, однако, он написал с предельной серьезностью, постаравшись в самой сжатой форме изложить в ней свое кредо. В отличие от мозаичного стиля большинства его эссе, где отдельные мысли и импрессионистические наблюдения сталкиваются, заставляя воображение читателя работать в одном направлении с воображением автора, в нобелевской лекции есть две отчетливо сформулированные темы и они развиты последовательно (хотя Бродский и предупреждает слушателей, что это только «ряд замечаний – возможно нестройных, сбивчивых и могущих озадачить вас своей бессвязностью»[518]). Это темы, знакомые нам из всего предшествующего творчества Бродского, но здесь они изложены с особой решительностью: сначала он говорит *об антропологическом значении* искусства, а затем *о примате языка* в поэтическом творчестве.

В публичных выступлениях и интервью Бродский нередко шокировал аудиторию заявлением: «Эстетика выше этики». Между тем это отнюдь не означало равнодушия к нравственному содержанию искусства или, тем более, утверждения права художника быть имморалистом. Это – традиционный тезис романтиков, в истории русской литературы наиболее подробно обоснованный Аполлоном Григорьевым. Так, в 1861 году Григорьев писал: «Искусство как органически сознательный отзыв органической жизни, как творческая сила и как деятельность творческой силы – ничему условному, в том числе и нравственности, не подчиняется и подчиняться не может, ничем условным, стало быть, и нравственностью, судимо и измеряемо быть не должно. В этом веровании я готов идти, пожалуй, до парадоксальной крайности. Не искусство должно учиться у нравственности, а нравственность учиться (да и училась и учится) у искусства; и, право, этот парадокс вовсе не так безнравствен, как он может показаться с первого раза...»[519]

Мысль о том, что искусство, высшим проявлением которого для Бродского является поэзия, есть воспитание чувств, что оно исправляет нравы, делает человека лучше и дает ему силы сопротивляться враждебным, нивелирующим личность силам истории, традиционна. Бродский и сам упоминает триаду

Платона, приравнивающую Красоту к Добру и Разуму, и оракул Достоевского: «Красота спасет мир», – и называет иные классические имена. Из этих общих рассуждений он делает вывод о более чем культурном или цивилизационном значении литературы. Оно – антропологично (ср. «органично» у Григорьева), ибо изменяет самое природу человека как вида. Только *homo legem,* человек читающий, по Бродскому, способен быть индивидуумом и альтруистом в отличие от массового стадного человеческого существа. Бродский как бы предлагает свой вариант эволюции человека. Его улучшенный человек, в отличие от «нового человека» социалистических утопий, индивидуалист и, в отличие от сверхчеловека Ницше, гуманист.

Остроту этим рассуждениям придают два обстоятельства – одно вербализовано в тексте, другое присутствует там имплицитно. Бродский говорит о необходимости чтения великой литературы исходя из трагической реальности своего столетия. Двадцатый век – век демографического взрыва, сопровождавшегося беспрецедентными по масштабам актами бесчеловечности: нацистский холокост, сталинские коллективизация и Большой террор, культурная революция в Китае. Самым массовым проявлением зла на планете в двадцатом веке Бродский называет российский сталинизм («количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких»[520]). Заслугу своего поколения Бродский видит в том, что оно не дало сталинизму окончательно опустошить души людей и возобновило культурный процесс в России[521]. Результаты этой культурной, эстетической работы для Бродского очевидны: «Для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем для человека, Диккенса не читавшего»[522]. Поэтому «эстетика – мать этики»[523].

В лекции не была высказана прямо, но содержалась критика релятивистских предрассудков и интеллектуальной моды, распространенных среди образованного класса на Западе. Бродский не проходит мимо недостатков западного, в частности американского, общества, но недвусмысленно объявляет массовые социалистические эксперименты, в первую очередь на своей родине, самым страшным злом Нового времени. Между тем в западных интеллектуальных кругах было принято говорить о разных, но уравновешивающих друг друга недостатках двух общественных систем. Принципиальная атака на социализм и коммунизм, как и вообще оценка политических систем в категориях Добра и Зла, считалась реакционной. Если не реакционной, то устарелой и наивной считалась и концепция

литературы как инструмента нравственного прогресса. Такая концепция подразумевает некое единое содержание, заложенное в литературный текст автором – Данте, Бальзаком, Достоевским, Диккенсом (в относительно короткой лекции Бродский называет более двадцати имен писателей и философов). Но господствующая интеллектуальная мода провозгласила «смерть автора» и один из постулатов постмодернизма – бесконечная многозначность любого текста. Таким образом, то, что говорил Бродский в небольшом зале Шведской академии, было, пользуясь его излюбленным выражением, «против шерсти» многим слушателям, и это чувствовалось в вежливом, но скептическом тоне вопросов и реплик, прозвучавших после лекции[524].

Но вообще присуждение Нобелевской премии Бродскому не вызвало таких споров и противоречий, как некоторые иные решения Нобелевского комитета. К 1987 году он уже был знакомой и для большинства симпатичной фигурой в интеллектуальных кругах Европы и Америки. Хотел он этого или нет, но своей начальной известностью он был обязан драматической истории с неправедным судом и последующим изгнанием из страны. Его мемуарную прозу находили умной и трогательной. Его стихи в переводах вызывали уважение, а иногда и восхищение, и все на Западе знали о его поэтической славе на родине. Когда журналистам и публике было зачитано решение Нобелевского комитета, аплодисменты, по свидетельству ветеранов, были особенно громкими и долгими. Бродский в первом же интервью после прерванного китайского ланча сказал о премии: «Ее получила русская литература, и ее получил гражданин Америки»[525].

На родину известие о том, что Иосиф Бродский стал нобелевским лауреатом, пришло накануне переломного момента. Советский режим уже начал давать трещины под давлением затяжного экономического кризиса и расшатываемый «перестройкой», а идеологический аппарат утратил былую непоколебимость. В былые времена, когда Нобелевскую премию присуждали Солженицыну и Пастернаку, а еще раньше, в 1933 году, Бунину, в советской печати откликались истерической кампанией – обвиняли Нобелевский комитет в том, что он служит капитализму, империализму и т. п. На этот раз воцарилось растерянное молчание. Более двух недель в советской прессе о лауреатстве Бродского вообще ничего не было. Для зарубежной аудитории официальное отношение к событию выразил второстепенный мидовский чиновник. Как раз в четверг 22 октября, в день объявления Нобелевского комитета, в Москву прилетел государственный секретарь США Джордж Шульц.

Состоялась пресс-конференция, и прилетевшие с американцем журналисты попросили начальника информации МИДа Геннадия Герасимова прокомментировать присуждение премии Бродскому. Герасимов назвал это решение «странным», сказал, что у премии «политический привкус», что о «вкусах не спорят» и что сам бы он предпочел Найпола[526].

Первое упоминание о премии в советской печати появилось только через две с половиной недели, 8 ноября, да и то в газете «Московские новости», отличавшейся максимально возможным для того времени либерализмом. На вопрос корреспондента газеты: «Как вы оцениваете решение дать Нобелевскую премию писателю Бродскому?» – киргизский писатель Чингиз Айтматов ответил: «Выражу только свое личное мнение. К сожалению, лично я его не знал. Но причислил бы к той когорте, которая сейчас ведущая в советской поэзии: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. Возможно (это мое личное предположение), его стихи будут у нас опубликованы. Если поэт известен лишь узкому кругу почитателей, это одно. Когда его узнают массы – это совсем другое»[527]. Тем, кто узнавал о литературных новостях в стране и в мире из «Литературной газеты», пришлось ждать аж до 18 ноября, да и то читать газету очень внимательно. В середине девятой, международной, полосы появилась заметка о лауреате Нобелевской премии мира президенте Коста-Рики Ариасе. Во вступительном абзаце перечислялись все другие нобелевские лауреаты года. В конце списка: «Иосиф Бродский (США)»[528]. Через неделю в сообщении из Парижа о форуме «Литература и власть» было вскользь сказано, что заявленные в программе «лауреаты Нобелевской премии Чеслав Милош и Иосиф Бродский так и не явились в Париж»[529]. Это упоминание могло восприниматься читателем как положительное по сравнению с той истерикой, которую закатывала советская пресса после присуждений премий Бунину, Пастернаку и Солженицыну. Редактором «Литературной газеты» был по-прежнему А. Б. Чаковский, который в 1964 году говорил американским журналистам: «Бродский – это то, что у нас называется подонок, просто обыкновенный подонок...»[530]

Представители слабеющего режима попытались наладить контакт с прославленным изгнанником. Как рассказал нам в те же дни шведский дипломат, из советского посольства в Стокгольме дали знать, что представители родины поэта будут участвовать в торжествах, если он воздержится в лекции от выпадов против СССР, Ленина и коммунизма. Бродский, как мы знаем, не воздержался, и советский посол (по другой профессии – литературный критик) Б. Д. Панкин на церемонию не пришел.

Но в Москве и Ленинграде уже веял ветерок свободы. 25 октября на вечере поэзии в московском Доме литераторов журналист Феликс Медведев объявил со сцены о присуждении Бродскому премии и аудитория разразилась овацией. После этого актер Михаил Козаков читал стихи Бродского[531]. Тем временем поэт и редактор отдела поэзии в журнале «Новый мир» Олег Чухонцев, который встречался с Бродским в Америке еще в апреле 1987 года, добился разрешения напечатать подборку стихов новоиспеченного лауреата в декабрьском номере. Видимо, не намеренно, но большинство вошедших в подборку вещей составили «письма» – цикл «Письма римскому другу», диптих «Письма династии Минь», а также «Одиссей Телемаку» и «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...»[532]. Это вызывало в памяти строки, написанные двадцатью годами раньше:

> ...ветер,
> как блудный сын, вернулся в отчий дом
> и сразу получил все письма.
>
> *(«Открытка из города К.», КПЭ)*

Глава X
Невозвращенец

Мы садились с мамой в перепол ненную лодку, и какой-то старик в плаще греб. Вода была вровень с бортами, народу было очень много.

Из воспоминаний Бродского (см. главу I)

Перемены на родине

Уезжая из России в 1972 году, Бродский не знал, удастся ли ему когда-нибудь еще увидеть родину. Эмиграция из СССР была движением только в одну сторону, безвозвратным. Провозглашенное Объединенными Нациями право человека на свободное перемещение полностью игнорировалось советским правительством. В редких случаях эмигрантам, не сумевшим приспособиться к жизни за рубежом, разрешали вернуться, но с обязательным условием публичного покаяния, унизительного признания совершенной ошибки, рассказа в прессе о том, как скверно живется в капиталистическом аду. Просто приехать повидаться с родными и близкими эмигрант не мог, и они не могли навестить его. Правительство не хотело, чтобы люди сравнивали образ жизни дома и на Западе, так как сравнение, по крайней мере материальных условий, было невыгодно для СССР. Кроме того, действовали исконные идеологические предрассудки. Покинуть социалистическое отечество мог лишь предатель, враг, и даже разрешенная эмиграция должна была стать наказанием – изгнанием, остракизмом. В особенности, если изгнанник был писателем, журналистом, общественным деятелем, то есть по советским понятиям принадлежал к «идеологической сфере», а идеология по этим понятиям была либо правильная, «наша», либо враждебная.

Наказывали не только изгнанника, но и его семью. Родители Бродского двенадцать раз подавали заявления с просьбой разрешить им вместе или по отдельности съездить повидать сына, но каждый раз получали отказ. Отказ мотивировался с внушительной бессмысленностью: поездку власть считала «нецелесообразной». Целью Марии Моисеевны и Александра Ивановича Бродских было повидаться с единственным сыном. Что же должно было быть «сообразно» этой цели? Иногда отвечали и так: согласно нашим документам, ваш сын выехал из СССР в Израиль (или как однажды сказал старикам чиновник ленинградского ОВИРа в устной беседе: «Мы его *направили* в Израиль»), а вы просите разрешить поездку в США. В Америке Бродский обращался ко всем, кто пользовался каким-то влиянием на кремлевское правительство. За него ходатайствовали госдеп, сенаторы, епископы, но советская власть была непреклонна. Мать Бродского умерла 17 марта 1983 года, отец немногим более года спустя. Сына они так и не повидали.

После прихода Горбачева к власти в апреле 1985-го началась разгерметизация страны. Все чаще журналисты стали спрашивать

нобелевского лауреата, собирается ли он приехать на родину. Поначалу он отвечал, что приедет после того, как там начнут выходить его книги[533]. Книги, вслед за первыми журнальными и газетными публикациями 1987–1989 годов, начали выходить в 1990-м[534]. По мере того как книг становилось все больше, а поток статей о Бродском, журналистских и литературоведческих, приобрел лавинообразный характер[535], поэта стали одолевать сомнения. Чувства, которые он испытывал к родной стране, и в первую очередь к родному городу, были сложны и интимны, а приезд в складывающихся обстоятельствах непременно сопровождался бы чествованиями, телевидением и прессой, встречами с массой неблизких людей. Постепенно на вопрос о возвращении он стал отшучиваться, что, мол, не следует возвращаться ни на место преступления, ни на место былой любви. Подробнее он говорил одному интервьюеру: «Первое: дважды в одну и ту же речку не ступишь. Второе: поскольку у меня сейчас вот этот нимб, то, боюсь, что я бы стал предметом… <…> разнообразных упований и положительных чувств. А быть предметом положительных чувств гораздо труднее, чем быть предметом ненависти. Третье: не хотелось бы оказаться в положении человека, который находится в лучших условиях, нежели большинство. Я не могу себе представить ситуацию, хотя это вполне реально, когда просящий у вас милостыню оказывается вашим одноклассником. Есть люди, которых такая перспектива не пугает, которые находят ее привлекательной, но это дело темперамента. Я человек другого темперамента, и меня не привлекает перспектива въезда в Иерусалим на белом коне. Я несколько раз собирался приехать в Россию инкогнито, но то времени нет, то здоровья не хватает, то какие-то срочные задачи требуется решать»[536].

«Демократия!» и другие актуальные произведения

К горбачевской попытке либерализовать советский режим Бродский отнесся скептически. Он весьма проницательно увидел в этом не мирную демократическую революцию, как хотелось воспринимать происходящее многим из его друзей и знакомых, а мутацию привычной для России формы правления – бюрократический имперский левиафан приспосабливался к новым условиям существования в меняющемся мире. Тогда же, в конце восьмидесятых, он начал работать над одноактной пьесой «Демократия!»[537] (завершена в 1990 году), а в 1992-м написал и второй акт, откликаясь на развитие событий в бывшем СССР. Никогда раньше (и никогда позже) Бродский не работал в жанре прямой политической сатиры. Даже в непосредственном отклике на подавление реформ в Чехословакии, «Письме генералу Z.» (1968, *КПЭ),* написанном в форме монолога от лица усталого и отчаявшегося солдата империи, сатирическое слито с лирическим. Но «Демократия!» – беспримесная сатира, политическая карикатура. Так же, как в ранних вещах с элементами политической аллегории – «Anno Domini» (1968, *ОВП)* и «Post aetatem nostram» (1970, *КПЭ),* — действие происходит не в метрополии, а в одной из имперских провинций. Только в «Anno Domini» и в «Post aetatem nostram» империя условна, а в «Демократии!» – это Советский Союз, в то время как провинция – некая усредненная прибалтийская республика[538].

Бродский был равнодушен к театру. В нобелевские дни приглашенный на встречу с работниками прославленного Стокгольмского драматического театра, он для начала доверительно сказал собравшимся актерам и режиссерам: «Ведь пьесы гораздо интереснее читать, чем смотреть, не правда ли?»[539] «Демократия!» так же, как философские пьесы «Мрамор» (1984)[540] и «Дерево» (1965?; не опубликовано)[541], – это пьеса для чтения. Драматического действия, интриги в ней нет. В ней есть фарсовые потасовки, но в основном четверка собравшихся за столом правителей провинции (во втором акте – уже независимой страны) занимается тем, ради чего в представлении живущих впроголодь масс и стоит стремиться к власти – они вкусно и обильно едят. Они также пьют, курят гаванские сигары, мужчины вожделеют к сексапильной секретарше Матильде. Четверка ведет разговоры, с опаской поглядывая на бессловесного персонажа, чучело медведя. В первом акте медведь является наблюдающим

устройством для передачи информации в метрополию, во втором – еще и роботом-корреспондентом всемирной телевизионной сети CNN. Смысл сатиры прост: какие бы реформы, «революции сверху» ни проводила власть, все остается по-прежнему – чиновная верхушка пользуется всеми благами, держа население в повиновении и страхе.

Но есть в сатире Бродского еще два мотива, отражающих своеобразие его скептической политической философии: Бродский не считает демократию и национальную независимость абсолютными ценностями. Примерно тогда же, когда писался первый акт пьесы, он говорил интервьюеру: «Представим себе, что [в России] воцарится демократический строй. Но в конце концов демократический строй выразится в той или иной степени социального неравенства. То есть общество никогда, ни при какой погоде счастливым быть не может – слишком много в нем разных индивидуумов. Но дело не только в этом, не только в их натуральных ресурсах и т. д. Я думаю, что счастливой экономики не существует...»[542] Мысль о том, что никакие социальные реформы не улучшат условия человеческого существования, что только индивидуальная «революция в мозгу» может это сделать, за неимением в пьесе положительных персонажей отражена в пререканиях министров: «История здесь происходит! В мозгу!» (Правда эта, несомненно, авторская, а мысль предварительно травестирована: «Мы ж – мозг государства!»[543]) Без «революции в мозгу» модус свободы, предоставленной народу, поведет только к озверению. Во втором акте Бродский деметафоризирует метафору «озверения». Представитель трудящихся масс в пьесе, секретарша Матильда, буквально озверевает – начинает превращаться в зверя, самку леопарда: «Когда кончается история, начинается зоология. У нас уже демократия, а я еще молода. Следовательно, мое будущее – природа. Точней – джунгли. В джунглях выживает либо сильнейший, либо – с лучшей мимикрией. Леопард – идеальная комбинация того и другого»[544].

Не менее скептически относится Бродский и к отождествлению благоденствия с национальной независимостью, национальной государственностью. Глава государства Базиль Модестович говорит: «Всегда лучше, если угнетатель—<...> чужеземец. Лучше проклинать чужеземца, чем соотечественника. На этом все империи держатся. Вспомним цезарей, в худшем случае Сталина. Своего рода психотерапия. Здоровей ненавидеть чужого, чем своего»[545]. Бродский считал нормальным, что Литва, где у него было много друзей, Латвия, Эстония и другие бывшие советские республики стали самостоятельными

государствами, он просто предупреждал, что само по себе это не может никого осчастливить. Доморощенная тирания может оказаться еще хуже имперской.

Впрочем, индифферентным отношение Бродского к распаду советской империи можно назвать только с одной существенной оговоркой. Даже люди, хорошо его знавшие, были удивлены тем, как сильно его огорчило отделение Украины от России. Стало очевидно, что Прибалтика, Средняя Азия, Кавказ были в его сознании *иными* странами, а пространство от Белого до Черного моря, от Волги и до Буга – единой родной страной. В таком восприятии родины Бродский был не одинок. «Имперское... сознание было присуще жителям Полтавы и Житомира, Нежина, Чернигова, Гомеля и Полоцка не менее, чем тверякам и вятичам. Ведь с начала империи, то есть от петровских времен, это сознание относило Украину и Белоруссию к метрополии. Да и могло ли быть иначе у людей, вынесших из гимназий и школ: „Киев – мать городов русских“»[546]. Мы не будем касаться здесь убедительных, на наш взгляд, исторических, лингвистических, антропологических и этнографических доводов в пользу того, что русские, украинцы и белорусы – три разных народа. Это так, но это не устраняет драму распада культурно-исторического единства, остро пережитую Бродским. С Украиной связан единственный в его жизни случай автоцензуры.

28 февраля 1994 года Бродский выступал с чтением стихов в нью-йоркском Куинс Колледже, где когда-то, в начале своей американской жизни, короткое время преподавал. Аудитория была главным образом англоязычная, и читал он почти все по-английски. Судя по сохранившейся аудиозаписи, только четыре стихотворения были прочитаны по-русски. Роясь в бумагах в поисках одного из них, Бродский говорит: «Сейчас найду стихотворение, которое мне нравится... – и прибавляет, как бы обращаясь к самому себе: – ...я рискну, впрочем, сделать это...» Это рискованное стихотворение было «На независимость Украины» (1992, *CHBBC)*. В первом чтении оно действительно может произвести шокирующее впечатление. Длинная инвектива обращена к украинцам, в ней много грубостей и оскорбительных этнических стереотипов. Свойственная вообще Бродскому стилистическая гетерогенность здесь повышена – Бродский использует полный набор клишированных украинизмов, перемешивая их со словами и выражениями из воровского арго. Таким образом усиливается ощущение незаконности, криминальности отделения Украины от России.

Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:

скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны...

Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой[547].

Стихотворение начинается обращением к шведскому королю Карлу XII: «Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой, / слава Богу, проиграно...» Карл XII проиграл Полтавскую битву 27 июня 1709 года, что имело огромные последствия для России и Европы, но начальные строки Бродского двусмысленны. Из дальнейшего текста явствует, что в конечном счете, без малого триста лет спустя, поражение потерпела все-таки Россия. Известны слова Вольтера: «Что всего важнее в этой битве, это то, что изо всех битв, когда-либо обагривших землю кровью, она была единственной, которая, вместо того чтобы произвести только разрушения, послужила к счастью человечества, так как она дала царю возможность свободно просвещать столь большую часть света»[548]. Из этой идеологической позиции исходил и Пушкин в «Полтаве». Поэтому стихотворение Бродского заканчивается предостережением о духовной смерти для тех, кто решил отколоться от «просвещенной части света», культурного материка, заложенного Петром и далее культивированного российскими (а не русскими или украинскими) поэтами и писателями – от Пушкина и Гоголя до Бабеля и Булгакова.

С Богом, орлы-казаки, гетманы, вертухаи.
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.

В литературной практике Бродского это был единственный случай, когда он решил не печатать стихотворение не потому, что остался им недоволен, а из соображений политических, так как не хотел, чтобы стихотворение было понято как выражение шовинистических великодержавных настроений[549]. Он понял, что украинцы с обидой и, что еще хуже, кое-кто в России со злорадством прочтут резкие обвинительные строки, но не заметят того, что побудило его написать стихотворение – «печаль... по

поводу этого раскола» («sadness [...] on behalf of that split»), – как он сказал, прочитав «На независимость Украины» в Куинс Колледже. Между тем об этой печали говорится прямо в тексте стихотворения. Его эмоциональная шкала включает в себя не только иронию, гнев и обиду, но и глубокую печаль:

> Как-нибудь перебьёмся. А что до слезы из глаза,
> нет на неё указа ждать до другого раза.

Мы помним, что Украину, а именно Галицию, Бродский ощущал своей исторической родиной (см. главу I).

Третий после «Демократии!» и украинского стихотворения текст, непосредственно откликающийся на события в бывшем СССР, – это «Подражание Горацию» *(ПСН)*. Правильнее было бы назвать это стихотворение «Вопреки Горацию». Гораций в оде «К Республике» предупреждает «корабль государства» об ужасных опасностях плавания, призывает к осторожности. Бродский, ровным счетом наоборот, призывает ринуться в неизвестность: «Лети, кораблик!» – лейтмотив стихотворения. «Не бойся» – повторяется дважды. Это – веселое стихотворение. Развернуть классическую метафору Горация можно было по-разному, Бродский избрал лихой, бесшабашный тон. Стихотворение звучит лихо и весело, потому что в нем повышенная концентрация экстравагантных, по существу, игровых приемов. В половине строф рифмы все или частично ассонансные, в том числе в первой:

> Лети по воле волн, кораблик.
> Твой парус похож на помятый рублик.
> Из трюма доносится визг республик.
> Скрипят борта.

Благодаря укороченной четвертой строке каждого четверостишия стихотворение кажется стремительным. Автору как бы некогда подыскать слово, и он затыкает рифму неграмотным «ёенный», некогда задуматься над отсутствием смысла в парономастическом сближении «не отличай *горизонт* от *горя*» или засомневаться в качестве каламбура «Гиперборей – Боря».

Если в чем Бродский и подражает Горацию, так это в том, что развивает старинную уже для Горация метафору «корабль государства»[550] в зримых, конкретных образах. Сила стихотворения в том, что при краткости, «стремительности» строк

и неоднократных анафорах-повторах его содержание не ограничивается призывами к рискованному полету по волнам, но краткие энергичные строки дают возможность рассмотреть и расслышать происходящее. Менее чем двадцатью словами Бродский может заставить нас увидеть удивительно много:

Трещит обшивка по швам на ребрах.
Кормщик болтает о хищных рыбах.
Пища даже у самых храбрых
вываливается изо рта.

Но полет кораблика только поспевает за полетом воображения поэта. В неполных семи строчках, переходящих из пятой строфы в шестую, очерчена целая вставная новелла:

Так открывают остров,
где после белеют кресты матросов,
где век спустя,

письма, обвязанные тесемкой,
вам продает, изумляя синькой
взора, прижитое с туземкой
ласковое дитя.

«Визг республик» в начале «Подражания Горацию» напоминает о пьесе «Демократия!» и стихотворении «На независимость Украины», но по существу энтузиазм «Подражания» контрастирует с горечью украинского стихотворения и с холодным сарказмом пьесы. Привести эти три вещи к общему знаменателю политических суждений Бродского трудно. Бродский переживал текущую историю и раз навсегда составленным суждением от нее не отгораживался. События его волновали и увлекали. Он мог подолгу разговаривать с друзьями о политике и старался не пропускать вечерних теленовостей. Радовался возвращению имени Петербурга своему родному городу, возмущался безобразиями в Чечне. В дни московских событий октября 1993 года прислал мне из Италии открытку с двустишием:

Мы дожили. Мы наблюдаем шашни
броневика и телебашни.

Деятельные годы, 1990–1995

Бродский не был «за» Горбачева или Ельцина или «против» них. Ельцин был для него и симпатичным «кормщиком Борей», и безответственным политиком, допустившим чеченскую бойню. О Горбачеве он в нескольких интервью отзывался неодобрительно как о слишком болтливом и не понимающем смысла развязанных им событий человеке. Но, встретившись с Горбачевым лично, пережил неожиданное волнение: «Огромная зала, вернее, комната, сидят там человек двадцать, задают ему вопросы, зачем он сделал то, другое, а он молчит. То ли не хочет ответить, то ли не может. Думаю, скорей не может. В какой-то момент мне показалось, что в комнату вошла Клио – мы видим только ноги и подол ее платья. А где-то на уровне ее подошв сидят все эти люди. И я тоже»[551].

Последнее пятилетие жизни Бродского совпало с большими переменами в России и в мире. Он был по-настоящему вовлечен во все происходящее, откликался на события то русскими, то английскими стихами, статьями, публичными выступлениями. Он и вообще был в это пятилетие занят как никогда: продолжал преподавать, участвовал во всевозможных общественных форумах. Ездил по Америке и то и дело пересекал океан. На посту поэта-лауреата США затеял общеамериканскую кампанию по пропаганде поэзии. Начал другую – с целью учредить русскую академию в Риме.

В сентябре 1990 года он женился на Марии Соццани, итальянской аристократке (по материнской линии русского происхождения). Радовался незнакомой семейной жизни. В 1993 году у них родилась дочь Анна. Этот период был и самым литературно продуктивным в его жизни со времен юности. В девяностые годы он написал и перевел более ста стихотворений, пьесу, десяток больших эссе. При этом состояние здоровья ухудшалось катастрофически, и он знал, что скоро умрет.

Болезнь

Сердце начало беспокоить Бродского рано, когда он казался окружающим здоровенным парнем да и вел себя соответственно. Молодые врачи, посетившие его в Норенской в начале ссылки, обнаружили у него «признаки декомпенсации порока сердца – боли, кровохарканье»[552]. Склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, вероятно, была наследственной: отец перенес несколько инфарктов (что не помешало ему дожить до восьмидесяти). Сыграли свою роль «двадцать шесть лет непрерывной тряски, / рытья по карманам, судейской таски» – известна связь между ишемической болезнью и психологическими стрессами, хотя никогда не ясно – приступы стенокардии возникают в результате стрессов или психологическая неустойчивость обуславливается болезнью. Непосильный труд при скверном питании в деревне, а в годы эмиграции неустроенная холостая жизнь тоже подрывали здоровье. В Энн-Арборе Бродский завел велосипед, позднее недолго ходил в бассейн, но все это отнимало время и вскоре было заброшено. Что касается вредных привычек, то пил Бродский, по крайней мере по меркам соотечественников, умеренно, но злоупотреблял крепким кофе и, что было особенно пагубно, много курил. На мой вопрос, можно ли назвать одну главную причину смерти Бродского, лечивший его известный нью-йоркский кардиолог, не задумываясь, ответил: «Курение».

Когда Солженицын в заключение своего письма писал: «Желаю Вам здоровья и бодрости, постарайтесь не терять их», – это была не просто стандартная эпистолярная концовка. За пять месяцев до того, 13 декабря 1976 года, Бродский перенес обширный инфаркт. Ему предстояло прожить еще девятнадцать лет, но все эти годы состояние его здоровья постоянно ухудшалось. Через два года, почти день в день после инфаркта, 11 декабря 1978 года, ему понадобилась операция на сердце. Второй раз сердечные сосуды заменяли семь лет спустя, в декабре 1985 года. Этому предшествовало еще два инфаркта. В последнее десятилетие своей жизни Бродский периодически оказывался в больнице. Врачи поговаривали о третьей операции, а под конец и о трансплантации сердца, откровенно предупреждая пациента о том, что в этих случаях велик риск летального исхода. Бродский быстро старел, выглядел значительно старше своих лет. Под конец почти любые физические усилия стали непосильными. «Трудно стало одолеть расстояние этак с длину фасада...» – сказал он в декабре 1995 года Андрею Сергееву[553].

Особенность ишемической болезни состоит в том, что приступы стенокардии приходят и уходят неожиданно. Они могут быть более или менее болезненными, но всегда сопровождаются ощущением смертельной опасности. Грудная жаба, или *angina pectoris* («angina dentata», как каламбурил Бродский – по созвучию с мифологическим мотивом «vagina dentata»), заставляет больного жить с ощущением, что смерть постоянно рядом – может прикончить, а может и пощадить. Это скорее сравнимо с ощущениями солдата на передовой, чем пациента, страдающего какой-нибудь другой тяжелой болезнью. Сравнение тем более правомерное, что солдату нельзя сосредоточиться на спасении себя от смерти, а нужно воевать.

На протяжении всей своей взрослой жизни Бродский писал стихи в ощутимом присутствии смерти. Он не был ипохондриком, обладал способностью жить полноценно, даже радостно, несмотря на болезнь – особенно, когда болезнь давала передышку. У него нет стихов, датированных 1979 годом, то есть годом вслед за первой операцией на сердце, но можно только гадать, было ли это вызвано послеоперационной депрессией, другими причинами личного характера или желанием писать не так, как прежде[554]. Действительно, в поэтике «Урании» и последней книги стихов немало нового, но меняется и жизне– (смерте?) ощущение автора. Кажется, стоило Бродскому осознать, насколько ограничен его жизненный срок, как у него исчезли мотивы мрачной резиньяции, проявившиеся в таких написанных до 1979 года вещах, как «Темза в Челси» (1974; *ЧР),* «Квинтет» (1977; *У),* «Строфы» («Наподобье стакана…»; 1978; *У).* Напротив, появляются вещи, которые иначе, как жизнерадостными, не назовешь. Это – итальянские стихи в «Урании»: «Пьяцца Маттеи» (1981), «Римские элегии» (1981), «Венецианские строфы» (1982).

И позднее, среди стихов последнего, плодоносного семилетия, собранных в «Пейзаже с наводнением», наряду с вещами элегического или иронического характера имеются и весьма мажорные («Испанская танцовщица», «Облака», «Подражание Горацию», «Ritratto di donna»). В последней книге, по сравнению со всеми предыдущими, велика доля комического. Юмор доминирует в таких стихотворениях, как «Кентавры» (весь цикл), «Ландверканал, Берлин», «Ты не скажешь комару…», «Театральное», «Храм Мельпомены» и, конечно, почти буффонадное «Представление», но немало смешного и в других, более серьезных по общему тону вещах[555]. Одно из последних стихотворений, «Корнелию Долабелле» (осень 1995 года), заканчивается трагической и торжественной строкой: «И мрамор сужает мою аорту», – склеротическое кальцинирование сосудов

переосмысляется как приобщение к пантеону, где достойные обретают вечную жизнь мраморных статуй. Начинается стихотворение, однако, со сравнения мраморного римлянина в тоге с человеком, выскочившим из-под душа, наскоро обернувшись полотенцем.

«У пророков не принято быть здоровым», – писал Бродский еще в 1967 году («Прощайте, мадмуазель Вероника», *ОВП)*. Болезнь он воспринимал не как аномалию, а как условие творчества, если не вообще человечности. Мысль о том, что постоянное осознание неизбежности смерти придает смысл жизни, не нова. Она с великолепной лапидарностью выражена у Шекспира в заключительном куплете Сонета CXLVI:

> So shalt thou feed on Death, that feeds on men,
> And Death once dead, there's no more dying then.
>
> (Так питайся же, [душа], Смертью, которая питается людьми, / а когда Смерть умерщвлена, нет более умирания.)

О том, что душа питается смертью, писал в одном из лучших стихотворений своей ранней поры и ленинградский товарищ Бродского Александр Кушнер, сравнивая постоянную мысль о смерти с ядовитым зернышком:

> Но без этого зерна,
> Вкус не тот, вино не пьется.

Эту же мысль еще более лапидарно выразил американский поэт Уоллес Стивенс в стихотворении «Воскресное утро» (1923): «Смерть – мать прекрасного...»

В первой части «Урании» есть маленькое стихотворение с концовкой, проясняющей отношение Бродского к физическому нездоровью:

> Те, кто не умирают, живут
> до шестидесяти, до семидесяти,
> педствуют, строчат мемуары,
> путаются в ногах.
> Я вглядываюсь в их черты
> пристально, как Миклуха
> Маклай в татуировку

приближающихся дикарей.

В чем связь между здоровьем, позволяющим дожить до шестидесяти – семидесяти лет, и дикарством? Лучший ответ на этот вопрос мы находим в монологе одного из персонажей «Волшебной горы», хотя Бродский и недолюбливал Томаса Манна: «Болезнь в высшей степени человечна… ибо быть человеком значит быть больным. Человеку присуща болезнь, она-то и делает его человеком, а тот, кто хочет его оздоровить, заставить его пойти на мировую с природой, „вернуть к естественному состоянию“ (в котором, кстати, он никогда не пребывал), все эти подвизающиеся ныне обновители, апостолы сырой пищи[556], проповедники воздушных и солнечных ванн, всякого рода руссоисты, добиваются лишь его обесчеловечивания и превращения в скота… Человечность? Благородство? Дух – вот что отличает от всей прочей органической жизни человека, это в большой степени оторвавшееся от природы, в большой степени противопоставляющее себя ей существо. Стало быть, в духе, в болезни заложены достоинство человека и его благородство; иными словами: в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек; гений болезни неизмеримо человечней гения здоровья»[557]. «Возвращение к естественному состоянию» – это «дикарство» пожилых здоровяков в стихотворении Бродского.

«Бытие-к-смерти» в стихах Бродского

Чуждый суеверного страха, Бродский мог в 1989 году начать стихотворение словами: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я» («Fin de siècle», *ПСН)*. И в солнечных «Римских элегиях» он не забывает о скором конце, но эта мысль крепко связана с мотивом благодарности за радости жизни. «Римские элегии» заканчиваются единственным во всех шести книгах Бродского прямым обращением к Богу:

> Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
> благодарен за все; за куриный хрящик
> и за стрекот ножниц, уже кроящих
> мне темноту, раз она – Твоя.
> Ничего, что черна. Ничего, что в ней
> ни руки, ни лица, ни его овала.
> Чем незримей вещь, тем оно верней,
> что она когда-то существовала
> на земле, и тем больше она – везде.
> Ты был первым, с кем это случилось, правда?
> Только то и держится на гвозде,
> что не делится без остатка на два.
> Я был в Риме. Был залит светом. Так,
> как только может мечтать обломок!
> На сетчатке моей – золотой пятак.
> Хватит на всю длину потёмок.

Даже в залихватских строфах «Пьяцца Маттеи» проскальзывает: «остаток плоти» и *«под занавес* глотнул свободы» (курсив добавлен. – *Л. Л.)*. Здесь есть пушкинское упоение «мрачной бездны на краю», но того «прыжка веры», который совершают иные в безысходной экзистенциальной ситуации, Бродский все же не совершил. Вместо этого у него в поздних стихах наряду с благодарностью за богатство и разнообразие жизни звучит еще и мотив вызова судьбе, самоутверждения вопреки физическому концу («Корнелию Долабелле», «Aere perennius», *ПСН)*. Верно, что большинство рождественских стихов написаны в последнее десятилетие жизни, перед лицом смерти[558], но Солженицын хорошо говорит, что у Бродского «рождественская тема обрамлена как бы в стороне, как тепло освещенный квадрат»[559]. Среди милых поэту элементов земного бытия – океан, реки, улицы, женская красота, стихи любимых

поэтов – есть и христианская мифологема Святого семейства: рождение в пещере, космическая связь между младенцем и звездой, остановка в пустыне во время бегства в Египет. Однако любовь к евангельскому сюжету не связана у него с верой в личное спасение. Судя по другим стихам, единственная форма загробного существования, признаваемая Бродским, это – тексты, «часть речи», его горацианский памятник. Перо поэта надежнее, чем причиндалы святош: «От него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней» («Aere perennius», *ПСН)*.

Помимо «exegi monumentom» мы находим у Бродского и другие традиционные мотивы, связанные с медитациями поэтов по поводу смерти. Это – мотив памяти об ушедших: «Ушедшие оставляют нам часть себя, чтобы мы ее хранили, и нужно продолжать жить, чтобы и они продолжались. К чему, в конце концов, и сводится жизнь, осознаем мы это или нет»[560]. Или, в другой раз, лапидарнее: «Мы – это они»[561]. Вариации этого мотива находим в многочисленных стихотворениях «памяти...» («на смерть...»). Только в «Пейзаже с наводнением» их шесть: «На столетие Анны Ахматовой»[562], «Памяти отца: Австралия», «Памяти Геннадия Шмакова», «Вертумн» (памяти Джанни Буттафавы), «Памяти Н. Н.» и «Памяти Клиффорда Брауна».

Еще один традиционный мотив из этой сферы – продолжение органической жизни после смерти автора. Вариации на эту пушкинскую тему («племя младое, незнакомое») встречаются у Бродского в стихотворениях «От окраины к центру» *(ОВП),* «1972 год» *(ЧР),* «Fin de siècle» *(ПСН)* и в последнем законченном стихотворении «Август» *(ПСН)*. Имеется у него и более брутальный вариант этого мотива – продолжение жизни как разложение, распад: «падаль – свобода от клеток, свобода от / целого: апофеоз частиц» («Только пепел знает, что значит сгореть дотла...», *ПСН)*. Несмотря на натурализм, в этом стихотворении речь идет не только об органике. Падаль, которую отроет будущий археолог, это и «зарытая в землю страсть». Этот посмертный дуализм разложения, когда разложению, то есть не исчезновению, а изменению формы существования, подвергается не только материальная, но и духовная ипостась человека, вероятно, навеян чтением Марка Аврелия: «Подобно тому как здесь тела, после некоторого пребывания в земле, изменяются и разлагаются и таким образом очищают место для других трупов, точно так же и души, нашедшие прибежище в воздухе, некоторое время остаются в прежнем виде, а затем начинают претерпевать изменения, растекаются и возгораются, возвращаясь обратно к семенообразному разуму Целого, и таким образом уступают место вновь прибывающим»[563].

Помимо традиционных у Бродского есть и свой собственный мотив, связанный с темой смерти. Он-то и представлен в его поэзии наиболее широко, особенно в последний период, хотя впервые возникает еще в «Письмах римскому другу» (1972; *ЧР)*. Это мотив «мира без меня».

«Римского друга», к которому обращены письма, зовут Постум. Как и в некоторых других стихотворениях Бродского (ср. Фортунатус в «Развивая Платона», *У),* имя адресата значащее: латинское имя *Postumus*— «тот, кто после», —давалось ребенку, родившемуся после смерти отца. Это значение имени обыгрывалось и Горацием в оде «К Постуму»: «О Постум, Постум! Как быстротечные мелькают годы...» (Оды, кн. 2)[564]. Со знаменитой одой Горация «Письма римскому другу» роднит не только тема быстротечности жизни, но и то, что оба произведения кончаются картиной жизни, продолжающейся за вычетом автора (лирического героя). Сходство подчеркивается и тем, что Бродский, вслед за Горацием, упоминает в концовке кипарис – кладбищенское дерево у римлян. В предварительном наброске (РНБ. Ед. хр. 64. Л. 54) этого «посмертного» мотива не было:

> Блещет море за черной изгородью пиний,
> чье-то судно с ветром борется у мыса,
> я в качалке, на коленях – Старший Плиний.
> Дрозд щебечет в шевелюре кипариса[565].

Кажется, что в окончательном варианте заключительное «письмо» мало отличается от черновика:

> Зелень лавра, доходящая до дрожи.
> Дверь распахнутая, пыльное оконце.
> Стул покинутый, оставленное ложе.
> Ткань, впитавшая полуденное солнце.
>
> Понт шумит за черной изгородью пиний.
> Чье-то судно с ветром борется у мыса.
> На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
> Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

На самом деле разница между двумя концовками принципиальная. В окончательном варианте нет «я». Физические свойства мира, *покинутого, оставленного* (эти слова недаром сталкиваются в одной строке), остались прежними, он по-прежнему динамичен и предлагает себя живому чувственному

восприятию: ярко сверкают глянцевитые листья лавра, ткань горяча от солнца, море шумит, парусник борется с ветром, дрозд щебечет. Но нет того, кто мог бы жмуриться от нестерпимого блеска, греться на солнцепеке, слушать шум моря и пение птицы, следить за парусником вдали и дочитать книгу. Кстати сказать, недочитанная книга – это тот же мир в литературном отражении, «Naturalis historia», попытка Плиния Старшего дать энциклопедическое описание всего природного мира.

В этом направлении воображение Бродского работает особенно продуктивно. Любое помещение для него характеризуется отсутствием тех, кто находился там прежде: «Наряду с отоплением в каждом доме / существует система отсутствия» («Наряду с отоплением в каждом доме...», *ПСН),* «пустое место, где мы любили» («Ты забыла деревню, затерянную в болотах...», *ЧР).* Описывая четыре комнаты ночного кошмара, он говорит:

> В третьей – всюду лежала толстая пыль, как жир
> пустоты, так как в ней никто никогда не жил.
> И мне нравилось это лучше, чем отчий дом,
> потому что так будет везде потом.
>
> *(«В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой...», У)*

По поводу этих строк М. Ю. Лотман пишет: «Итак, для Бродского пустота, если и не трансцендентна, то во всяком случае потустороння, она и кодифицируется в образах, близких к сакральным („я верю в пустоту“ и т. п.). Она – основа всего вещного мира, она содержится в вещах, составляет их сущность или – точнее – их абсолютный остаток. Именно благодаря пустоте вещь и *не* конечна»[566]. Это верное, но излишне осторожное замечание. У Бродского есть тексты, в которых пустота сознательно сакрализуется:

> Пустота. Но при мысли о ней
> видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
>
> *(«24 декабря 1971 года», ЧР)*

Бродского смолоду весьма интересовали религиозные учения, в которых ничто, пустота ассоциируется с сущим, божественным: буддизм, каббала, мистическая доктрина Якоба Беме и др.

В написанной ранее статье Ю. М. и М. Ю. Лотманов о сборнике «Урания» тема пустоты рассматривается как центральная в «антиакмеистической» поэтике и неоплатонической философии Бродского. Авторы называют поэтику Бродского антиакмеистической, поскольку для акмеизма, как он описан Мандельштамом в статье 1919 года, «характерен приоритет пространства над временем (в основе – три измерения!) и представление о реальности как материально заполненном пространстве, отвоеванном у пустоты»[567]. У Бродского же, по крайней мере начиная с «Урании», вещь «всегда находится в конфликте с пространством… [авторы цитируют из „Посвящается стулу“: „Вещь, помещенной будучи, как в Аш– / два-О, в пространство <…> / пространство жаждет вытеснить…“]… Материя, из которой состоят вещи, – конечна и временна; форма вещи – бесконечна и абсолютна; ср. заключительную формулировку стихотворения „Посвящается стулу“: „материя конечна. Но не вещь“… Из примата формы над материей следует, в частности, что основным признаком вещи становятся ее границы; *реальность вещи – это дыра, которую она после себя оставляет в пространстве* (курсив добавлен. – *Л. Л.)*. Поэтому переход от материальной вещи к чистым структурам, потенциально могущим заполнить пустоту пространства, платоновское восхождение к абстрактной форме, к идее, есть не ослабление, а усиление реальности, не обеднение, а обогащение:

> Чем незримее вещь, тем оно верней,
> что она когда-то существовала
> на земле, и тем больше она – везде.
>
> *(«Римские элегии», XII)»*[568]

Дыра в пространстве – эта формула, видимо, была подсказана критикам стихотворением «Пятая годовщина», хотя там речь идет лишь об отсутствии автора в родном городе, а не в физическом мире вообще («Отсутствие мое большой дыры в пейзаже / не сделало; пустяк: дыра, – но небольшая»). Так же и в стихотворении 1989 года «Fin de siècle» *(ПСН)* «камерной версией черных дыр» каламбурно именуется изъятие избыточных людей из жизни, но не путем умерщвления, а путем помещения в тюремную камеру (дистопический сюжет, развитый ранее в «Post aetatem nostram», а позднее в пьесе «Мрамор»). Интересно, однако, что образ дыры именно так, как он трактуется в статье Лотманов, то есть как образ перехода из физического в идеальное, метафизическое пространство, появляется в финале

стихотворения «Меня упрекали во всем, окромя погоды...» (1994), которое Бродский, нарушая хронологию, сделал завершающим в своей последней книге. Он написал не так уж мало стихов и после, но хотел, чтобы именно это стихотворение воспринималось как его *valediction* (прощальное слово):

> ...общего, может, небытия броня
> ценит попытки ее превращения в сито
> и за отверстие поблагодарит меня.

В прощальном стихотворении в одно сливаются дыра в пространстве и звезда, еще один постоянный сакральный образ в стихах Бродского, восходящий к Евангелию и Ветхому Завету, а также к Овидию (в книге XV «Метаморфоз» Овидия Юлий Цезарь после смерти становится звездой на небе). В другом стихотворении того же года, «В следующий век», о звездах говорится, что «поскольку для них скорость света – бедствие, / присутствие их суть отсутствие, а бытие – лишь следствие / небытия», то есть Бродский варьирует ту же, основанную на сведениях, почерпнутых из астрономии, метафору, которая в отрицательной форме дана у Маяковского в поэме «Во весь голос»: «Мой стих дойдет... <...> не как свет умерших звезд доходит»[569]. Принципиальное различие, конечно, в том, что физическое отсутствие, небытие становится у Бродского идеальной формой бытия.

В начале статьи «Поэт и смерть» М. Ю. Лотман пишет, что у Бродского «особую значимость имеет вторжение слова в область безмолвия, пустоты, смерти – это борьба с противником на его собственной территории»[570]. Конечно, «борьба с удушьем» («Я всегда твердил, что судьба – игра...», *КПЭ),* победа «части речи» над смертью – стержневая тема, пришедшая в стихи Бродского не только как пушкинская и горацианская, но и древнейшая индоевропейская традиция[571]. Процитированное Лотманом «я верю в пустоту» – лишь тезис в контексте антитетического финала стихотворения «Похороны Бобо» *(ЧР):*

> Идет четверг. Я верю в пустоту.
> В ней, как в Аду, но более херово.
> И новый Дант склоняется к листу
> и на пустое место ставит слово.

Антитезис – пустота заполняется словом, белое черным[572], ничто уничтожается.

Мы не забываем, конечно, что интерес Бродского к теме пустоты, к сюжету отсутствия все же в первую очередь не доктринерско-философский, а художественный.

> В конечном счете, чувство
> любопытства к этим пустым местам,
> к их беспредметным ландшафтам и есть искусство.
>
> *(«Новая жизнь», ПСН)*

Хотя Бродский и остраняет творческий процесс, сводя его то к написанию на бумаге абстрактного «слова», то даже просто к заполнению белого пространства черным (он всегда предпочитал писать не шариковой ручкой, а вечным пером с чернилами, причем именно черными), но читатель, конечно, имеет дело не с «чем-то черным на чем-то белом» («Письмо генералу Z.», *КПЭ),* а с воображением поэта, запечатленным в знаках письма. Идеальным знаковым выражением веры в пустоту была бы пустая страница, что и встречается в экспериментах авангардистов. Такова, например, «Поэма конца» (1913) эго-футуриста Василиска Гнедова: за названием следует пустая страница. Когда Гнедов выступал перед публикой, его неизменно просили прочитать «Поэму конца»[573]. Но с Бродским такая шутка не прошла бы – его воображение поистине не терпит пустоты. Во всяком случае, ни глобальный апокалипсис, ни личная смерть не опустошают мир. У Чеслава Милоша есть стихотворение «Песенка о конце света», суть которого в том, что в Судный день и после продолжается рутина жизни: «А другого конца света и не будет!» Это очень близко к тому, что имеет место в «Post aetatem nostram» и пьесе «Мрамор»[574]. «Мрамор» начинается с ремарки: «Второй век после нашей эры», – но в целом ряде других стихотворений Бродский ограничивается какой-то одной футурологической деталью или замечанием вскользь: дамба в «Пророчестве» *(ОВП),* боевые ракеты, замаскированные под колоннаду, в «Резиденции» *(У),* вводное уточнение – «сохранить / даже здесь, *в наступившем будущем,* статус гостьи» в конце первой строфы «Примечаний к прогнозам погоды» *(ПСН;* курсив добавлен. – *Л. Л.).* История у Бродского не однонаправленный процесс, как она понимается в монотеистических религиях, у Гегеля или в марксизме, но и не вполне циклична, а скорее зеркальна: в будущем отражается прошлое. Об этом все стихотворение «Полдень в комнате» *(У):* «в будущем, суть в амальгаме, суть / в отраженном вчера… » – и далее:

Мы не умрем, когда час придет!
Но посредством ногтя
с амальгамы нас соскребет
какое-нибудь дитя!

Поэтому будущее так конкретно и разнообразно. Оно имеет черты то классической античности, то сегодняшнего дня («Новая жизнь», *ПСН),* то первобытно-общинной жизни («Робинзонада», *ПСН).* Меньше всего Бродский склонен к солипсизму: «Жизнь без нас, дорогая, мыслима…»

Это – строка из стихотворения «Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне…» *(ПСН).* Как рассказывала мне римская приятельница Бродского Сильвана да Видович, «кофейня» в стихотворении – это затрапезный бар «Яникул» («Gianicolo») на вершине одноименного римского холма и по соседству с Американской академией, где Бродский был резидентом в первый раз зимой 1980/81 года. Он любил посиживать в «Яникуле» с чашкой кофе, наблюдая за молодежью, которая там собиралась. Приехав в академию второй раз в 1989 году, он застал знакомый бар не изменившимся, только поколение молодежи было уже другим. И в «жизни без нас» все останется неизменным: «бар, холмы, кучевое / облако в чистом небе». Вслед за коротким рождественским стихотворением, открывающим последний сборник, идут три длинных, в каждом из которых «жизнь без нас» разворачивается в изобилии конкретных реалистических и сюрреалистических деталей.

Диптих «Венецианские строфы» *(У)* — это, как сказано в финале, «пейзаж, способный / обойтись без меня». Из чего складывается этот пейзаж? Вот, к примеру, как изображается восход солнца в Венеции в первой строфе второй части:

Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.
От пощечины булочника матовая щека
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус
в лавке ростовщика.
Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
школьники на бегу, утренние лучи
перебирают колонны, аркады, пряди
водорослей, кирпичи.

Вне тропов здесь дана в середине строфы одна прозаическая примета венецианского утра: «Мусорщики плывут». Все остальное, то есть собственно описание восхода, дано в

метафорах и сравнении: облако – парус, розовый свет – «румянец» свежевыпеченного (подрумянившегося) хлеба, утренние лучи пробегают по зданиям и водорослям в каналах, как прутья, которыми школьники тарахтят по ограде. Румянец утреннего неба – традиционная метафора, клише. Здесь она приобретает свежесть, поскольку средство сравнения (то, с чем сравнивается утренний свет) не уводит за пределы описываемого утреннего города, а возвращает в него, обогащая городскую картину конкретными, вещными деталями: свежевыпеченный спозаранку хлеб, сочный звук шлепка рукой по тесту. То же и с шалящими по дороге в школу школьниками: средство сравнения добавляет динамичную реальную сцену к общей картине городского утра.

Так же реальны, конкретны, характерны своим сочетанием именно в Венеции стеклярус, водоросли и кирпичи. Когда Лотманы говорят, что поэзия Бродского «есть отрицание акмеизма Ахматовой и Мандельштама на языке акмеизма Ахматовой и Мандельштама», то под «языком акмеизма» имеется в виду именно это – текст Бродского стремится быть как можно более материальным, конкретно-вещественным, даже если содержание этого текста пейзаж, способный обойтись без наблюдателя, и даже в тех случаях, когда это пейзаж, из которого наблюдатель уже устранен.

Мир, в котором не будет автора, подчеркнуто не-экзотичен и подчеркнуто материален. В стихотворении «После нас, разумеется, не потоп…» *(ПСН)* политическая система в мире будущего гротескно основана на особенностях климата, но климат этот умеренный, и в центре стихотворения внимательное перечисление вещей:

> …бог торговли
> только радуется спросу на шерстяные
> вещи, английские зонтики, драповые пальто.
> Его злейшие недруги – штопаные носки
> и перелицованные жакеты.

В конечном счете устранение автора из пейзажа[575] должно логически привести и к исчезновению категорий времени и пространства вообще, так как они, по Канту, являются лишь рассудочными формами, вне сознания мыслящего субъекта их нет. Так останавливают часы в доме умершего. «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…» – начинается цикл «Часть речи» и, девятнадцать лет спустя, на это откликается: «Вчера наступило завтра, в три часа пополудни. / Сегодня уже „никогда“, будущее вообще» *(ПСН)*.

В личном поэтическом каноне Бродского почетное место занимало стихотворение Державина «На смерть князя Мещерского». Стихотворение отнюдь не элегического тона, его главная тема – ужас бега времени, ужас смерти: «Глагол времен! металла звон! / Твой страшный глас меня смущает… Смерть, трепет естества и страх!» Так же высоко в литературе двадцатого века Бродский ценил роман-монолог Беккета «Мэлон умирает». Только эти две вещи и кое-что у Джона Донна, Кафки и Фолкнера он считал адекватным литературным выражением первичного инстинкта, заставляющего человека страшиться смерти. Испытывая в силу разных причин отталкивание от Толстого, он тем не менее в небольшой ранней поэме «Холмы» (1962; *ОВП)* описал ужас смерти экстравагантным приемом, если не заимствованным из шедевра Толстого на эту тему, то изоморфным ему. «Холмы» обманчиво начинаются как криминальная баллада, но автора не интересует, кто, кого и почему убил, – он пишет только о всепроникающем ужасе смерти, «трепете естества». Кульминации сюжет достигает в пятнадцатой строфе. На выступлениях самозабвенное чтение Бродского к этому моменту достигало экстатических вершин:

> Смерть в погоне напрасной
> (будто ищут воров).
> Будет отныне красным
> млеко этих коров.
> В красном, красном вагоне,
> с красных, красных путей,
> в красном, красном бидоне —
> красных поить детей[576].

Этот кинематографический, в духе, *ante factum,* Параджанова прием, когда все вокруг приобретает кровавый цвет в глазах ужаснувшегося человека, встречается у Толстого. Это то, что историки русской литературы называют «арзамасским ужасом» Толстого – острый приступ смертельной тоски и страха, действительно пережитый Толстым в сентябре 1869 года и позднее описанный в неоконченных «Записках сумасшедшего»[577]. Повествователь называет свой ужас «красным, белым, квадратным», и эти абсурдные эпитеты возникают из того, как была описана, страницей раньше, комната провинциальной гостиницы, где случился припадок: «Чисто выбеленная квадратная комнатка. <…> Окно было одно, с гардинкой – красной». Другая, тоже, скорее всего, невольная, перекличка с Толстым – в значительно более спокойном, даже

рассудочном стихотворении о смерти – «Памяти Т. Б.» (1968; *КПЭ),* в афористической сентенции «Смерть – это то, что бывает с другими». Это буквально реакция сослуживцев покойного в «Смерти Ивана Ильича»: «"Каково, умер; а я вот нет", – подумал или почувствовал каждый», – позднее отраженная в некорректной попытке Ивана Ильича исправить силлогизм «Кай – человек, люди смертны, потому Кай смертен»: «То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он был всегда совсем, совсем особенное от всех других существо...» То, над чем Толстой иронизирует как над трусливым себялюбием Ивана Ильича и его сослуживцев, философски переосмысляется Бродским. Мысль Бродского верна, поскольку своя смерть, в отличие от всего остального, что происходит с человеком, не может быть личным опытом[578]. У зрелого Бродского, после 1965 года, мотив страха смерти из стихов исчезает. Если для его любимых стоиков философия была упражнением в умирании, то для него таким упражнением была поэзия. Ужас перед смертью уступил место пристальному и даже веселому вниманию к богатству и разнообразию быстротекущей жизни, воображаемым экскурсам в «мир после нас», медитациям на темы пустоты (отсутствия-присутствия) и стоицизму, иногда проявленному в дерзкой, едва ли не хулиганской, форме. Я имею в виду стихотворение «Портрет трагедии» *(ПСН).*

С этим стихотворением произошла странная история – Бродский *забыл* о нем, составляя «Пейзаж с наводнением». Составитель внес его в книгу при переиздании в 2000 году. Оно датировано июлем 1991 года и открывает своего рода «театральный цикл» из четырех частей. За «Портретом трагедии» в книге следуют стихи для постановки «Медеи» Еврипида – «Театральное» и «Храм Мельпомены». Соблазнительно спекулировать относительно причин, по которым Бродский вытеснил это немаленькое и, несомненно, принципиально значительное стихотворение из памяти. Потому что наступил счастливый период в личной жизни? Потому что окончательно разделался с темой? Но на самом деле мы ничего об этом не знаем.

«Портрет трагедии» – стихотворение в не меньшей степени итоговое, чем «Aere perennius» и «Меня упрекали во всем, окромя погоды...». В нем можно обнаружить рекапитуляцию всех основных мотивов поэзии Бродского за предшествующие тридцать лет. Например, тот же мотив звезды:

> Прижаться к щеке трагедии! К черным кудрям Горгоны,
> к грубой доске с той стороны иконы,

с катящейся по скуле, как на Восток вагоны,
звездою...

Звезда бывала в стихах Бродского и местом встречи разлученных любовников в космосе («Пенье без музыки», *КПЭ),* и отеческим взглядом Бога («Рождественская звезда», *ПСН),* и слезой отчаяния («В Озерном краю», *ЧР),* и лодкой, набитой обездоленными беженцами («Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...», *У).* Звезда – точка встречи человеческого страдания и космической любви. Здесь она и катящаяся по скуле слеза, и, во второй части сравнения, катящиеся на Восток вагоны, то есть те, что увозили на муки и смерть Мандельштама и сотни тысяч других мучеников ГУЛАГа.

И рифма, звучащая в этом отрывке, встречалась прежде. В «Пятой годовщине» *(У)* Бродский говорил:

...я не любил жлобства, не целовал иконы,
и на одном мосту чугунный лик Горгоны
казался в тех краях мне самым честным ликом.

Выясняется, что рифма эта действительно значимая, о чем можно было только догадываться в «Пятой годовщине»: оборотная сторона иконы – щит Персея. Из иконы на верующего смотрит горний мир, а с обратной стороны – хтоническое чудовище, воплощение шевелящегося хаоса, его взгляд смертелен.

Щит Персея – зеркало. Приглашая в начале стихотворения вглядеться в лицо трагедии, Бродский сперва видит самого себя:

Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее морщины,
ее горбоносый профиль, подбородок мужчины.

Первое, что бросается в глаза, это морщины. И далее в стихотворении даны возрастающе отталкивающие детали болезни и разложения плоти. Соответствует деталям и лексика стихотворения: «по морде», «блюя», «с дрыном», «махала ксивой». Это в прежние времена трагедия «была красивой». В мире Софокла и Расина трагическим было восстание человека против божественного предопределения, сил судьбы. В мире Беккета и Бродского трагична сама телесность человека на ее неизбежном пути к смерти и разложению. Аристотель описывает трагедию как самый благопристойный из жанров. Она должна быть разумной («Поэтика», глава 6) и избегать низкого словесного выражения

(«Поэтика», глава 22). «Портрет трагедии», с его геронто-, если не некрофильными арабесками, непристоен:

> Рухнем в объятья трагедии с готовностью ловеласа!
> Погрузимся в ее немолодое мясо.
> Прободаем ее насквозь, до пружин матраса.

Вместо «достойного словесного выражения» трагедия у Бродского должна непристойно мычать:

> Из гласных, идущих горлом,
> выбери «ы», придуманное монголом[579],
> сделай его существительным, сделай его глаголом,
>
> наречьем и междометием. «Ы» – общий вдох и выдох!
> «Ы» мы хрипим, блюя от потерь и выгод,
> либо кидаясь к двери с табличкой «выход».
> Но там стоишь ты, с дрыном, глаза навыкат.

Гнусное соитие с воющей «ы» трагедией намекает на русскую похабщину – «Гусарскую азбуку» Лонгинова: «Ы-буква слов не начинает. / „Ы!“ – блядь кричит, когда кончает»[580]. Вот к чему (кому) приравнивается трагедия у Бродского, и все стихотворение есть вызов хаосу, распаду материи. Это развернутая метафора того, что в кратчайшем варианте звучит как сказанное в лицо смерти: «Fuck you!»

Смерть

Было весьма вероятно, что болезнь постепенно сделает Бродского не способным к работе инвалидом и что он умрет на больничной койке или операционном столе. Но «приходит смерть к нему, как тать, / И жизнь внезапу похищает» (Державин). Вечером в субботу 27 января 1996 года он набил свой видавший виды портфель рукописями и книгами, чтобы завтра взять с собой в Саут-Хедли. В понедельник начинался весенний семестр. Пожелав жене спокойной ночи, он сказал, что ему нужно еще поработать, и поднялся к себе в кабинет. Там она и обнаружила его утром – на полу. Он был полностью одет. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга – двуязычное издание греческих эпиграмм. В вестернах, любимых им за «мгновенную справедливость», о такой смерти говорят одобрительно: «He died with his boots on» («Умер в сапогах»). Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно.

Первоначально планировалось похоронить Бродского в Саут-Хедли. Он сам полагал, что там будет его могила. Но этот план по разным причинам пришлось отвергнуть. Из России от депутата Государственной думы Галины Старовойтовой пришла телеграмма с предложением перевезти тело поэта в Петербург и похоронить его на Васильевском острове, но это означало бы решить за Бродского вопрос о возвращении на родину. К тому же могила в Петербурге была бы труднодоступной для семьи. Да и не любил Бродский, возможно, как раз из-за его популярности, свое юношеское стихотворение со строками «На Васильевский остров / я приду умирать...». Вероника Шильц, многолетний ближайший друг и адресат нескольких стихотворений, и Бенедетта Кравери, которой посвящены «Римские элегии», договорились с властями Венеции о месте на старинном кладбище Сан-Микеле[581].

Бродского похоронили на протестантском участке кладбища, поскольку на католическом и православном не разрешается хоронить людей без вероисповедания. Небольшой участок напоминает сельский погост, но за кирпичной стеной плещутся волны венецианской лагуны. На скромном мраморном надгробии слова из элегии Проперция: *Letum non omnia finit*[582].

Сюзан Зонтаг заметила, что Венеция – идеальное место для могилы Бродского, поскольку Венеция нигде. «Нигде» – это тот же обратный адрес, который Бродский дает в начале одного из своих самых прекрасных лирических стихотворений: «Ниоткуда с любовью...».

От автора

Щедрую поддержку в работе над литературной биографией Иосифа Бродского я получил от колледжа, где работаю *(Dartmouth Senior Faculty Grant,* 1997), а также от фонда Уайтинга *(Whiting Travel Grant,* 1997) и Мемориального фонда Гуггенхейма *(Guggenheim Fellowship,* 2000).

Довести до конца этот проект было бы невозможно без постоянного дружеского сотрудничества вдовы поэта Марии Бродской и Энн Шеллберг, которым Бродский доверил распоряжение своим литературным наследием.

Я глубоко благодарен Дэвиду Макфадиену, который позволил мне воспользоваться результатами его изысканий в архиве Бродского, хранящемся в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург), а также Якову Гордину, Михаилу Мильчику, Евгению и Надежде Рейнам, Людмиле Штерн, Эре Коробовой, Борису Шварцману за предоставленные ими фотографии и рисунки.

Внимательными и строгими читателями этой книги в рукописи были А. Ю. Арьев, Д. Л. Быков, П. Л. Вайль, Томас Венцлова, Г. И. Гинзбург-Восков, Я. А. Гордин, М. В. Гронас, А. С. Кушнер, Н. П. Лосева, В. Р. Марамзин, В. П. Полухина, Джеральд Смит и Барри Шерр. Им всем – моя сердечная признательность. Благодарю издательство «Молодая гвардия» за кропотливую и профессиональную работу над книгой.

Лев Лосев

Хронология жизни и творчества И. А. Бродского (*Составлена В. П. Полухиной при участии Л. В. Лосева)*

1903*, 7 ноября* — в Петербурге в семье владельца типографии родился Александр Иванович Бродский, отец поэта.

1905*, 17 июня* — в Двинске (ныне Даугавпилс, Латвия) в семье агента по продаже американских швейных машин «Зингер» родилась Мария Моисеевна Вольперт, мать поэта.

1940*, 24 мая* — в Ленинграде, в клинике профессора Тура на Выборгской стороне родился Иосиф Александрович Бродский.

В Европе уже почти девять месяцев идет Вторая мировая война. Немцы оккупировали Польшу, Бельгию, Францию и бомбят Лондон. Советский Союз заключает мир с Финляндией и присоединяет Карельский перешеек к северу от Ленинграда. В результате пакта с нацистской Германией СССР оккупирует прибалтийские страны, Западную Украину и Бессарабию. Внутри страны волна террора 1937—1938 годов пошла на спад, хотя НКВД под руководством своего нового наркома Л. П. Берии расширяет систему лагерей (ГУЛАГ). В Москве расстреляны И. Э. Бабель и В. Э. Мейерхольд, умер М. А. Булгаков. Отбыв срок заключения и ссылки в Караганде, художник В. В. Стерлигов поселяется в подмосковном городе Петушки. Арестованный вместе с ним, но освобожденный раньше П. И. Басманов выставляет свои работы в Ленинградском союзе художников. Б. Л. Пастернак переводит «Гамлета». М. И. Цветаева зарабатывает 770 рублей в месяц переводами и литературными консультациями; за комнату и питание в дачном поселке, в котором она живет с сыном-подростком, надо платить 1080 рублей в месяц. Летом выходит первый после 1922 года сборник стихов А. А. Ахматовой «Из шести книг», который той же осенью изымается из магазинов и библиотек; Ахматова начинает работу над «Поэмой без героя», в октябре переносит первый инфаркт.

Роберт Музиль в Швейцарии продолжает работу над романом «Человек без свойств». Выходит первая после переселения в США книга У. Х. Одена «Как-нибудь в другой раз» («Another Time»), включающая в себя стихи, которым предстоит стать классическими, в том числе «1 сентября 1939». Выходят романы

Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» и Уильяма Фолкнера «Деревушка». Нобелевская премия по литературе в 1940 году впервые с ее основания не присуждается из-за войны в Европе. В американском джазе расцвет эры свинга – стиля, для которого характерно сочетание сложной аранжировки с виртуозными импровизациями.

1941*, август* — отец уходит в армию. Иосиф с матерью переселились на ул. Рылеева, д. 2, кв. 10 (дом на Обводном был разбомблен в том же 1941-м).

22 июня гитлеровские войска вторгаются в СССР. В сентябре начинается блокада Ленинграда. 29 сентября немцы расстреливают в киевском Бабьем Яру тридцать тысяч евреев. 7 декабря 1941 года японская авиация бомбит Перл-Харбор, США вступают во Вторую мировую войну.

Объявлены первые лауреаты новой Сталинской премии по литературе: А. Н. Толстой, М. А. Шолохов, Н. Н. Асеев, Н. С. Тихонов, К. М. Симонов и др. 23 августа арестован Д. И. Хармс. 31 августа в Елабуге повесилась М. И. Цветаева. 20 декабря расстрелян (по другим сведениям, умер в заключении от дизентерии) А. И. Введенский. Б. Л. Пастернак заканчивает перевод «Ромео и Джульетты», участвует в противовоздушной обороне Москвы. Уходят в армию со студенческой скамьи Б. А. Слуцкий и А. И. Солженицын.

1942*, 21 апреля* — после блокадной зимы Мария Моисеевна с сыном уехала в эвакуацию в Череповец. По рассказам Натальи Грудининой (в передаче Виктора Кривулина) Мария Моисеевна доверительно сказала ей, что женщина, которая присматривала за маленьким Иосифом в Череповце, крестила его.

В оккупированной Франции Альбер Камю публикует роман «Чужой» и философское эссе «Миф о Сизифе» – один из фундаментальных текстов французского экзистенциализма. Т. С. Элиот заканчивает «Четыре квартета». Роберт Музиль умирает в Швейцарии, не закончив работу над «Человеком без свойств».

1943 *– в феврале завершен разгром немецких войск под Сталинградом; в одной из решающих битв Второй мировой войны погибло более миллиона человек с обеих сторон. Выходит первая с 1934 года книга стихов Б. Л. Пастернака «На ранних поездах». Выходит трактат Жана Поля Сартра «Бытие и ничто».*

1944 — возвращение семьи в Ленинград. Иосиф выучил наизусть первое стихотворение Пушкина.

31 июля во время разведывательного полета над Средиземным морем погибает Антуан де Сент-Экзюпери. Выходит сборник стихов Уистана Одена «На время» («For the Time Being»).

1945, *9 мая – капитуляция Германии, окончание Второй мировой войны в Европе. В феврале на фронте арестован А. И. Солженицын. Осенью Ахматову навещает в Ленинграде первый секретарь британского посольства Исайя Берлин.*

1946 *– в речи, произнесенной перед студентами и преподавателями Фул-тонского колледжа в США, Уинстон Черчилль говорит о том, что между востоком и западом Европы опустился «железный занавес». 14 августа выходит постановление ПК ВКП(б) «О журналах "Звезда " и „Ленинград“», до предела ужесточившее идеологический контроль над культурой. Уничтожен тираж книги стихов Ахматовой. Герой войны маршал Г. К. Жуков подвергается опале.*

1947, *сентябрь* — Иосиф пошел в школу № 203 на ул. Салтыкова-Щедрина (Кирочной), бывшую Анненшуле.

Вышел роман Альбера Камю «Чума».

1948 — отец вернулся из армии (из Китая) и поступил на работу в Военно-морской музей, где заведовал фотолабораторией.

Начало кампании по «борьбе с космополитизмом» (гонения на евреев), продолжавшейся до смерти Сталина в 1953 году. 30 января Б. Л. Пастернак читает группе московских актеров стихи из романа, над которым работает: «Зимняя ночь», «Гамлет», «Рождественская звезда» и др.

Т. С. Элиот публикует «Заметки к определению культуры»; в этом же году он получает Нобелевскую премию по литературе. Роман Уильяма Фолкнера «Осквернитель праха».

1949 *– в ходе «Ленинградского дела» подверглась репрессиям партийная верхушка города. 6 октября арестована возлюбленная Б. Л. Пастернака Ольга Ивинская. 6 ноября арестован (в третий раз) сын Ахматовой Л. П. Гумилев.*

Нобелевскую премию по литературе получает Уильям Фолкнер.

Джазовый трубач Майлз Дэвис выпускает альбом «Birth of the Cool», знаменующий наступление эры изысканного «нового джаза». Другие выдающиеся представители этого направления – Кенни Кларк, Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер и Телониус Монк.

1950 — в рамках чистки офицерского корпуса от лиц еврейской национальности А. И. Бродский был демобилизован, после чего перебивался мелкими заметками в ленинградских газетах, фотографировал для ведомственных многотиражек. После 3-го класса Бродский перешел в школу № 196 на Моховой улице.

В течение года Б. Л. Пастернак переносит два инфаркта, работа над романом прерывается.

1951 – *5 января в Москве умер Андрей Платонов.*

Вышли трактат Альбера Камю «Человек бунтующий», роман Сэмюела Беккета «Малон умирает», роман Уильяма Фолкнера «Реквием по монахине», сборник стихов Уистана Одена «Ноны».

1952 – *арест группы известных медиков еврейского происхождения, названных «врачами-убийцами»; официальный антисемитизм достигает высшей стадии, циркулируют слухи о насильственной депортации всех евреев в Сибирь. Во Франции опубликована пьеса Сэмюела Беккета «В ожидании Годо».*

1953*, сентябрь* — Иосиф пошел в 7-й класс в школу № 181 в Соляном переулке.

5 марта умирает Сталин. В июне арестован Л. П. Берия, расстрелянный в декабре по приговору суда. В январе у Б. Л. Пастернака обширный инфаркт, в марте он возобновляет работу над «Доктором Живаго».

1954 — остался на второй год в 7-м классе. Подал заявление в морское училище, куда его не приняли. Перешел в школу № 289 на Нарвском пр., где продолжил учебу в 7-м классе.

В журнале «Знамя» опубликованы стихи Б. Л. Пастернака из «Доктора Живаго». Выходит повесть И. Г. Эренбурга «Оттепель», критикующая некоторые черты сталинского общества; названием повести начинают обозначать последующие годы относительной либерализации.

Вышел роман Уильяма Фолкнера «Притча». Нобелевскую премию по литературе получает Эрнест Хемингуэй.

1955*, сентябрь* — семья Бродских переехала в дом Мурузи (ул. Пестеля, бывшая Пантелеймоновская, д. 27, кв. 28), где они получили «полторы комнаты» в коммунальной квартире на 2-м этаже. 5 ноября Бродский уходит из 8-го класса.

Сборник стихов Уистана Одена «Щит Ахилла». 12 марта в возрасте 34 лет умер великий саксофонист Чарли Паркер.

1956 — работает фрезеровщиком на заводе № 671 (старое название – «Арсенал»). После этого работал в больнице, в морге, кочегаром в бане, матросом на маяке и др. Первые поэтические опыты.

25 февраля на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев произносит «секретную» речь, разоблачающую злодеяния Сталина. 13 мая многолетний руководитель Союза советских писателей А. А. Фадеев кончает жизнь самоубийством. Выходит первый выпуск альманаха «Литературная Москва». В октябре восстание против коммунистического режима в Венгрии жестоко подавлено советскими войсками. 29 октября начался Суэцкий кризис – война между Израилем и Египтом, приведшая страны Запада и Советский Союз на грань вооруженного конфликта. В октябре студенты Ленинградского технологического института Е. Б. Рейн, А. Г. Найман, Д. В. Бобышев и другие выпускают стенгазету «Культура». 7 ноября в Ленинграде арестовывают за выкрикивание антисоветских лозунгов студента университета М. М. Красильникова, харизматического лидера группы молодых поэтов, впоследствии получившей название «филологическая школа» (Л. А. Виноградов, В. В. Герасимов, М. Ф. Еремин, А. М. Кондратов, С. Л. Куллэ, Л. В. Лифшиц (Лосев), Ю. Л. Михайлов и В. И. Уфлянд).

26 июня в возрасте 35 лет в автомобильной катастрофе погиб Клиффорд Браун, джазовый трубач-виртуоз (см. стихотворение Бродского «Памяти Клиффорда Брауна»). Вышел роман Альбера Камю «Падение».

1957*, лето* — работа в геологической экспедиции на севере Архангельской области, в районе Белого моря.

Осень — знакомство с Я. А. Гординым в студии при газете «Смена». По словам Бродского, «одно из первых литературных знакомств». Познакомился с Олегом Шахматовым, Александром Уманским и Георгием Гинзбургом-Восковым.

Первые «геологические» стихи: «Прощай, позабудь...» *(СИБ-2.* Т. 1), «Работа», «Тост» (*МС*. Т. 1).

Неопубликованные стихи (*МС*): «Кот» («Он был тощим, облезлым, рыжим...»); «Я очень часто несу чепуху...»; «Снова по небу плывут облака...»; «Ты погасила свет...» (*МС*. Т. 1).

Не вошедшее в МС: «Шопен».

На июньском пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев одерживает победу над своими соперниками – В. М. Молотовым, Г. М. Маленковым, Н. А. Булганиным. 4 октября в СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Гонка вооружений между СССР и США вступает в новую стадию. На Западе, в особенности в

США, отмечается всплеск интереса к России, в том числе к изучению руского языка и литературы.

Официальная кампания против либерально-критического романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» знаменует начало нового ужесточения идеологической политики. Советские издательства отказываются выпускать «Доктора Живаго»; 22 ноября роман выходит в Милане на итальянском языке. Нобелевскую премию по литературе получает Альбер Камю. Вышел роман Уильяма Фолкнера «Городок» (вторая часть трилогии о семействе Сноупсов).

1958*, лето – осень* — работа в экспедиции в Архангельской области (село Малошуйка на Белом море и поселок Перша-озеро). Получает отсрочку от военной службы в связи с болезнью отца (инфаркт). *Осень* — посещает вольнослушателем лекции в Ленинградском университете.

Октябрь — «Гладиаторы» («Простимся. До встречи в могиле...»). *Ноябрь* — выступление Бродского на заседании студенческого научного общества филологического факультета ЛГУ. Обсуждая доклад Я. А. Гордина, Бродский процитировал книгу Льва Троцкого «Литература и революция», что привело к скандалу с руководителем СНО профессором Е. И. Наумовым. Предположительно после этого эпизода Бродский попадает в поле зрения КГБ.

2 декабря — вечер в гостях у Елены Валихан на Васильевском острове – см. «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»).

3 декабря — «Стихи о принятии мира» («Все это было, было...»).

Другие стихи 1958 года: «Художник» («Он верил в свой череп...»); «Еврейское кладбище около Ленинграда...»; «Петухи» («Звезды еще не гасли...»); «И вечный бой...»; «Памятник Пушкину» («...И тишина. И более ни слова...»); «Стихи под эпиграфом» («Каждый пред Богом наг...»).

Неопубликованные стихи (МС): «Вешалка» («Вы оставляете на вешалке пальто...»).

Не вошедшее в МС: «До свидания» («Мы бродили разными путями...»).

22 июля в Ленинграде умер М. М. Зощенко. Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» становится международным бестселлером, он выходит в переводах в Англии, США, Германии, Франции, Португалии, Бразилии, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Израиле, Турции и Иране. 14 октября умер Н. А. Заболоцкий. 23 октября Пастернаку присуждена Нобелевская премия, с этого момента начинается беспрецедентная в

послесталинские времена травля писателя. 31 октября на собрании московских писателей среди других с речью, осуждающей Пастернака, выступает Б. А. Слуцкий.

1959*, лето* — работа в экспедиции в Восточной Сибири (Алданский шит). *Сентябрь* — выступление вместе с Я. А. Гординым в Ленинградской консерватории перед группой студентов-композиторов. С этого времени – дружба Бродского с композитором Борисом Тищенко, учеником Д. Д. Шостаковича.

Октябрь — на квартире у Ефима Славинского состоялось знакомство с Евгением Рейном. Чуть позже Бродский познакомился с Анатолием Найманом.

Ноябрь — знакомство с Владимиром Уфляндом и Булатом Окуджавой на устроенных Глебом Семеновым чтениях во Дворце культуры работников промкооперации.

Весь год — выступления перед молодежной аудиторией.

Другие стихи 1959 года: «Лирика» («Через два года...»); «Одиночество» («Когда теряет равновесие...»); «Рыбы зимой» («Рыбы зимой живут...»); «Стихи об испанце Мигуэле Сервете, еретике, сожженном кальвинистами» («Истинные случаи иногда становятся притчами...»); «Стихи о слепых музыкантах» («Слепые блуждают ночью...»); «Пилигримы» («Мимо ристалищ, капищ...»).

Неопубликованные стихи (МС): «...Может быть, я нетленный...»; «Мелкотемье» («Привыкать к чудесам...»), посвящено В. Верховскому; «Время» («Секунды, минуты...»); «Он вернется...»; «Стихи о Сереже Вольфе, который, ходят слухи, пишет для Акимова» («Проходя мимо..»); «Земля» («Не проклятая, не грешная...»); «Декларативные стихи» («Дойти не томом, не домом...»); «Наша вера останется...»; «Стихи о зеркале, висящем над кухонной раковиной» («Над рыжими талмудистами...»); «Маленькая баллада о куске хлеба» («Пишутся баллады...»); «Сонет к зеркалу» («Не осуждаем позднего раскаянья...»); «Критерии» («Маленькая смерть собаки...»); «Умывание» («Ноги офицера...»); «Белые стихи в память о жене соседа» («Трамваи, которые бывают переполненными...»); «Воспоминание о полевом сезоне 1958 года» («Солнце опускается на край...»); «Июльское послесловие» («Прощай, прощай, мое творенье...»); «Колыбельная всем» («Любовь моя, на улицах ночь, ночь...»); «Лишь спустится полуночная мгла...»; «Стихи о пространстве» («Земные пути короче...»); «Белый лист предо мною...».

Не вошедшее в МС: «Индустриальное утро».

Нобелевскую премию получает итальянский поэт Сальваторе Квазимодо. Вышел роман Уильяма Фолкнера «Особняк» – заключительная часть трилогии о Сноупсах.

1960*, 7 января* — Бродский вместе с Рейном встречают Рождество у Бориса Понизовского, которому привезли из Москвы машинописные копии «Крысолова», «Поэмы горы» и «Поэмы воздуха» Цветаевой. Весь вечер они читают эти поэмы вслух.

14 февраля — первое крупное публичное выступление на «турнире поэтов» в ленинградском Дворце культуры им. Горького с участием А. С. Кушнера, Г. Я. Горбовского, В. А. Сосноры и др. Чтение «Еврейского кладбища» вызывает скандал.

Февраль — «Камни на земле» («Это стихи о том, как лежат на земле камни...») (МС).

Март — «Определение поэзии» («Запоминать пейзажи...»).

Апрель — поездка в Москву, к Борису Слуцкому (см. стихотворение «Лучше всего спалось на Савеловском...»). «Птица (скульптура)» («Все, как полагается...») (МС).

Весна — публикация Бродского в самиздатском журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис» (№ 3). КГБ всерьез заинтересовался Бродским.

Лето — путешествие с Г. И. Гинзбургом-Восковым на Тянь-Шань, где Бродский дважды тонул: один раз переходя горную реку, второй – пытаясь пройти под скалой, которая находилась в воде.

22 августа — «Книга» («Путешественник, наконец, обретает ночлег...»).

Лето – осень — знакомство с Д. В. Бобышевым.

Осень — первый вызов в КГБ и недолгое задержание в связи с участием в альманахе «Синтаксис».

Ноябрь — поездка в Москву. Знакомство с Н. Е. Горбаневской.

Декабрь — знакомство со студенткой из Польши Зофьей Капустинской. Чтение польской поэзии.

9 декабря — «Сонет к Глебу Горбовскому» («Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы...»).

10 декабря — «Элегия» («Издержки духа – выкрики ума...»), включено в *Стихотворения и поэмы* (1965).

11 декабря — «Теперь все чаще чувствую усталость...».

Середина декабря — поездка к Олегу Шахматову в Самарканд, план побега в Афганистан (или Иран) на самолете. По возвращении Бродский написал об этом рассказ, изъятый при обыске и по сей день не найденный. У него обнаружен порок сердца.

28 декабря — «Сонет» («Переживи всех...»).

Другие стихи 1960 года: «Песенка о Феде Добровольском» («Желтый ветер маньчжурский...»); «Памяти Феди Добровольского» («Мы продолжаем жить...»); «Глаголы» («Меня

окружают молчаливые глаголы...»); «Сад» («О, как ты пуст и нем! В осенней полумгле...»); «Стрельнинская элегия» («Дворцов и замков свет, дворцов и замков...»); «Через два года» («Нет, мы не стали глуше или старше...»); «Песенка» («По холмам поднебесья...»); «Памятник» («Поставим памятник...»); «Слава» («Над утлой мглой столь ранних поколений...»); «Вальсок» («Проснулся я, и нет руки...»); «Описание утра» («Когда вагоны раскачиваются...»).

Неопубликованные стихи (МС): «Хроника» («Умер президент Пик...»); «Романс о мертвом Париже» («Женщины Дос Пассоса в Париже мертвы...»); «Описание утра» («Как вагоны раскачиваются...»); «Тебя, любовником внизу...»; «М. Глинка» («Над столетьем скудости и спешки...»); «Велосипедиста, съезжающего с моста...»; «Гвоздики твои умирают...»; «Где же эта ограда, из-за которой свист...»; «Миновала пора...»; «Мы приходим в мир...»; «Ночь. Грязные тучи...»; «Плохое стихотворение» («Мой милый друг...»); «Помню рабочих бледных...»; «Река» («Как подобает поэту...»); «Россия» («Сына взяли. И мать больна...»); «Теперь прощай...»; «Четырнадцать домиков на равнине...»; «Эпитафия» («Помяни меня...»). «Баллада о Лермонтове» («Поговорим о человеке...»), 1959—1960 (?), опубликована в книге Я.А.Гордина «Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники» (СПб., 2000).

Стихи, не вошедшие в МС: «Каин» (1959—1960); «Осенний туман, окаменевший, сонный...» (1959—1960). Из книги «Стихотворения и поэмы»: «Воспоминания» («Белое небо крутится надо мною...»).

4 января в автокатастрофе погиб Альбер Камю. 30 мая умер Борис Пастернак. Вышел сборник стихов Уистана Одена «Посвящается Клио».

1961*, январь* – стихи «Зачем опять меняемся местами...»; «Теперь я уезжаю из Москвы...»; «Наступает весна» («Пресловутая иголка в не менее достославном стоге...»).

Февраль-март – «Упражнение в конформизме» («Теперь чем заняты друзья...»); «Приходит время сожалений...» (МС).

Март – во Всесоюзном научно-исследовательском геолого-разведочном институте (ВНИГРИ) в зале Ученого совета Бродский принимал участие в вечере поэтов-геологов (вместе с Леонидом Агеевым, Яковом Гординым, Александром Городницким, Сергеем Шульцем и др.). Сборник стихов участников этого вечера был размножен на ротаторе ВНИГРИ 27 февраля. Поэт Лев Куклин устроил скандал по поводу стихов Бродского.

17 марта – стихи «Приходит март. Я сызнова служу...».

Апрель – поэма «Три главы» («Когда-нибудь, болтливый умник...»); «Богоматери предместья, святые отцы предместья, святые младенцы предместья...» (МС).

Май – поэма «Гость» («Друзья мои, ко мне на этот раз...»).

Первая половина года – «Петербургский роман» (поэма в трех частях) («Забудь себя и ненадолго...»); закончен в 1962 году.

1 июня – «В письме на Юг» из цикла «Июльское интермеццо» («Ты уехал на Юг, а здесь настали теплые дни...»).

Июнь – в Якутской экспедиции, из которой Бродский уехал до начала полевого сезона по причине конфликта с начальником геологической партии. В Якутске купил книгу стихов Евгения Баратынского, который стал одним из его любимейших поэтов.

19 июня – в Якутске написаны «Памяти Баратынского» («Поэты пушкинской поры...»); «Стук» («Свивает осень в листьях этих гнезда...») и «Чульман, Чульман деревянный...» (МС).

28 июня – «Затем, чтоб пустым разговорцем...».

29 июня – «Витезслав Незвал» («На Карловом мосту ты улыбнешься...»); «Голос» («На белокаменной – кирпичной...»); «Уезжай, уезжай, уезжай...» (МС).

30 июня — «Песенка для геологов» («Солнца луч под сопками погас...»), написано в Усть-Мае, Якутия (МС).

7 августа — в Комарове Е. Б. Рейн знакомит Бродского с А. А. Ахматовой.

Осень — устроился лаборантом на кафедру кристаллографии Ленинградского университета. Прочитал «Камень» и «Tristia» Мандельштама. Первое знакомство с прозой Кафки и Набокова, пьесами Беккета. В журнале русской эмиграции «Современные записки» читает стихи Цветаевой, Ходасевича, Георгия Иванова.

4 сентября — «Посвящение Глебу Горбовскому» («Уходить из любви, в яркий солнечный день безвозвратно...»).

Сентябрь – ноябрь — работа над поэмой-мистерией «Шествие». Написаны стихи «По выпуклости-гладкости асфальта...» и «Нет ничего томительней и хуже...».

Ноябрь — «Сонет» («Мы снова проживаем у залива...»).

28 декабря — «Рождественский романс» («Плывет в тоске необъяснимой...»), посвященный Е. Рейну.

Другие стихи 1961 года: «Мне говорят, что нужно уезжать...»; «Воротишься на родину. Ну что ж...»; «Да, мы не стали глуше или старше...»; «Я как Улисс» («Зима, зима, я еду по зиме...»); «Бессмертия у смерти не прошу...»; «В темноте у окна» («В темноте у окна...»); «Люби проездом родину друзей...»; «Воротишься на родину. Ну что ж...»; «Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона» («Металлический зов в полночь...»); «Романс» («Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой...»); «Современная

песня»; «Июльское интермеццо» («Девушки, которых мы обнимаем...»); «Августовские любовники» («Августовские любовники проходят с цветами...»); «Проплывают облака» («Слышишь ли слышишь ли ты в роще детское пение...»); «Приходит время сожалений...».

Неопубликованные стихи (МС): «Самому себе» («Рядом вечно шумит...»); «Русская готика. Стихи для голоса и кларнета» («Я – сын предместья, сын предместья, сын предместья...»); «Сонет» («Остались на окраинах дома...»); «Живу без любви к вокзалам...»; «Васильевский остров...»; «Одинокий проходит в переулке притихшем...»; «Песня нерешительного лунатика» («Отдай моим глазам обычный подоконник...» (глава, не включенная в поэму «Шествие»); «Полночный вальс» («Туман с Моховой...»); «Прощание с коллекторами» («Геофизики и коллекторы...»).

Не вошедшие в МС стихи 1960-х годов: «Меланхолическая баллада» («Жил-был средь нас один чудак...»); «Если только дано еще раз...»; «Закат в последних этажах...»; «Заветной же становясь чашей...»; «И в наше время можно человека...»; «И фургоны катятся по плохим автострадам...»; «Когда видят только уста, пальцы твои и уста...»; «Мы сделаем лунатика героем...»; «Кошачьи стихи»; «В последнюю минуту ты...»; «Мы посещаем время от времени крупные города...»; «Наши вещи всюду, но где же мы?..»; «Ночью к кладбищенской церкви...»; «Продолжается жизнь, продолжается жизнь...».

Проза из неопубликованного (конец 1950-х или начало 60-х): «Последний волшебник», рассказ; «Сегодня мы хороним Сашу Лучанского», рассказ; «То, что мы любим...», рассказ; «Вспаханное поле», рассказ; «Все время кажется, что он не влезет и заденет...», отрывок из мемуаров.

12 апреля – полет Юрия Гагарина в космос. 4 мая – издан указ о борьбе с тунеядством. 30 октября – на XXII съезде КПСС принято решение о выносе тела Сталина из мавзолея. Вышли «Избранное» Марины Цветаевой и сборник Анны Ахматовой «Стихотворения, 1909-1960».

1962*, 2 января* — Борис Тищенко знакомит Бродского с Мариной Басмановой.

7 января — «К С. Шульцу (Свадебные стихи)» («Благословенный перелом...») (МС).

10 января — «Дни равнодушья в розе похвалы...» (МС).

23 января — «...Мой голос, торопливый и неясный...».

27 января — стихотворение «Письмо к А. Д.» («Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова...»).

29—31 января — Бродского вызывали в ленинградский КГБ в связи с делом Уманского и Шахматова и два дня держали во внутренней тюрьме.

Февраль — «Сонет» («Прошел январь за окнами тюрьмы...»).

2 февраля — «Я обнял эти плечи и взглянул...», первое стихотворение цикла «Песни счастливой зимы» (1962—1963).

Зима — поездка с Мариной Басмановой, Эрой Коробовой и Анатолием Найманом в Псков. Знакомство с Н. Я. Мандельштам.

Весна — знакомство с сотрудником журнала «Костер» Л. В. Лифшицем (Лосевым).

Апрель — поэма «Зофья» («В сочельник я был зван на пироги...»).

21—25 апреля — «Прошел сквозь монастырский сад...».

10 мая — выступление вместе с другими «молодыми» на заседании секции поэтов в Красной гостиной Дома писателей. Ведущий – поэт Н. Л. Браун. Бродский читал поэму «Зофья». По этому поводу Лев Куклин устроил очередной скандал.

25 мая — Шахматов и Уманский осуждены за антисоветскую агитацию на пять лет лишения свободы.

29 мая — «Посвящается „Ларьку“» («В прекрасных солнечных лучах...»), из собрания В. Марамзина.

31 мая — «Посвящается СВ.» («Когда здесь изредка бываю...») (МС).

2 июня — пишет «Стансы городу» («Да не будет дано...»).

4 июня — «Ни тоски, ни любви, ни печали...», посвящено М.Б.

6 июня — стихотворение «Диалог» («– Там он лежит, на склоне...», памяти Пастернака); «Инструкция опечаленным» («Я ждал автобус в городе Иркутске...»), из собрания В. Марамзина.

7—9 июня — стихи «Под вечер он видит, застывши в дверях...».

24 июня — на день рождения Ахматовой написал стихотворения «А. А. Ахматовой» («Закричат и захлопочут петухи...») и «За церквами, садами, театрами...». В этом же году посвятил Ахматовой и другие стихи: «Когда подойдет к изголовью...»; «Явление стиха» («Не жаждал являться до срока...»); «Утренняя почта для А. А. Ахматовой из города Сестрорецка» («В кустах Финляндии бессмертной...»).

28 июня — «В тот вечер возле нашего огня...»; «Затем, чтоб пустым разговорцем...».

18 июля – «Дорогому Д. Б.» («Вы поете вдвоем о своем неудачном союзе...»).

14 августа – «Отрывок» («На вас не поднимается рука...»).

Конец лета – недолго работает в Эмбенской экспедиции ВНИГРИ в Северном Казахстане. В сентябре расстается с

экспедицией и уезжает в Москву. См. стихотворение «Ночной полет» («В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч...»).

22 сентября – уволен из ВНИГРИ за прогул без уважительной причины.

Осень – дебют Бродского-переводчика в книге «Заря над Кубой».

Октябрь – «Все чуждо в доме новому жильцу...».

10 октября – «Пограничной водой наливается куст...».

20 ноября – «Я шел сквозь рощу, думая о том...».

Ноябрь – «Откуда к нам пришла зима...»; «Сонет» («Мы снова проживаем у залива...»); «Топилась печь. Огонь дрожал во тьме...».

Ноябрь – первая публикация: стихотворение для детей «Баллада о маленьком буксире» в журнале «Костер» (1962. № 11).

Осень и зима – Бродский живет в Комарове на даче ученого-биолога Р. Л. Берг, где работает над «Песнями счастливой зимы». Тесное общение с Ахматовой. Знакомство с В. Н. Жирмунским. **Другие стихи 1962 года:** «Уже три месяца подряд...»; «Загадка ангелу» («Мир одеял разрушен сном...»); «Крик в Шереметьево» («Что ты плачешь...»); «Я памятник воздвиг себе иной...»; «Мы вышли с почты прямо на канал...»; «На титульном листе» («Ты, кажется, искал здесь? Не ищи...»); «Огонь, ты слышишь, начал угасать...»; «Они вдвоем глядят в соседний сад...»; «От окраины к центру» («Вот я вновь посетил...»); «Притча» («Пусть дым совьется в виде той петли...»); «Сонет» («Я снова слышу голос твой тоскливый...»); «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам...»; «Не то Вам говорю, не то...»; «Что ветру говорят кусты...»; «Стог сена и загон овечий...»; «Стекло» («Ступенька за ступенькой, дальше вниз...», 1962—1963); «В семейный альбом» («Не мы ли здесь, о посмотри...», зима 1962/63); «Вдоль темно-желтых квартир...» (1962—1963); «Черные города...» (1962—1963); «Холмы» («Вместе они любили сидеть на склоне холма...»); «Ex Oriente» («Да, точно так же, как Тит Ливии, он...»); «Два сонета» (1. «Великий Гектор стрелами убит...». 2. «Мы снова проживаем у залива...»).

Неопубликованные стихи (МС): «Спортсмен» («В деревне никто не сходит с ума...», 1961 – 1962); «Часы звонят между книг...»; «Смерть, приди украдкой...»; «Булыжник узнает».

Стихи, не вошедшие в МС: «День благодарственный настал...»; «Зная, что ты захочешь...»; «Появится ли кто-нибудь меж нас...»; «Разделенье – не жизнью, не временем...»; «Я жил в снегах...»; «Богоматерь предместья» («Каждый живет для себя. В отведенный час он ложится...»).

Детские стихи: «В шесть часов под Новый год...»; «Как небесный снаряд [*вар.* отряд]...»; «Слон и Маруська» («Маруська

была, не считая ушей...»); «Самсон» («Кот Самсон прописан в центре...»), опубликованы Я. Гординым в «Искорке» (1989. № 4).

Сценарий короткометражного фильма «Баллада о маленьком буксире» (1962); «Дерево». Драматические сцены (1960-е).

Переводы: В Москве вышла антология кубинской поэзии «Заря над Кубой» (М.: Художественная литература, 1962), в которую включен перевод Бродского стихотворения Пабло Армандо Фернандеса «Мои уста не скажут» («Ни ложь, ни правду сердца моего...»). Омар Хайям «Еды в Иране нет...», рубаи, не опубликовано.

Публикации в периодике:

«Костер», № 11 (ноябрь 1962) – «Баллада о маленьком буксире» («Это – я. Мое имя – Антей...», сокращенный вариант).

6 июля умер Уильям Фолкнер. 29 августа—8 сентября Советский Союз посещает 88-летний Роберт Фрост. 4 сентября в Комарове он встречается с Ахматовой, которая читает ему свое новое стихотворение «Последняя роза» с эпиграфом из Бродского. В ноябрьском номере журнала «Новый мир» напечатана повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 1 декабря Н. С. Хрущев устраивает разнос молодых художников на выставке в московском Манеже. Вышел сборник эссе Уистана Одена «Рука красильщика».

1963*, 29 января* — «Внутри» (МС).

30 января — узнав о кончине накануне Р. Фроста, Бродский написал «На смерть Роберта Фроста» («Значит, и ты уснул...»).

Январь — «Деревья окружили пруд...».

7 февраля — «К садовой ограде» («Снег в сумерках кружит, кружит...»).

Зима — «В семейный альбом» («Не мы ли здесь, о, посмотри...»).

5 марта — стихи, посвященные Рейнам «Жене и Гале» («В роще зеленой...») (МС).

7 марта — датирована «Большая элегия Джону Донну» («Джон Донн уснул...»).

Май — работает над поэмой «Исаак и Авраам» («Идем, Исак. Чего ты встал? Идем...». Первоначально была посвящена Марине Басмановой).

24 мая — М. Б. Мейлах подарил Бродскому на день рождения «Антологию новой английской поэзии» (М., 1937).

24 июня — стихотворение, посвященное Ахматовой: «Блестит залив, и ветр несет...».

Июнь — пишет «Другу-стихотворцу» («Нет, не посетует Муза...») и неопубликованное «Выдохи чаще, чем вдохи...».

Август — «Подтверждается дым из трубы...».

5 октября — в Комарове. Стихотворение «Вот я вновь принимаю парад...».

Октябрь — «Из „Старых английских песен“»: «Заспорят ночью мать с отцом...»; «Горячая изгородь...» («Снег скрыл от глаз гряду камней...»); «Замерзший повод жжет ладонь...»; «Зимняя свадьба» («Я вышла замуж в январе...»); «Переселение» («Дверь хлопнула, и вот они вдвоем...»); «Среди зимы» («Дремлют овцы, спят хавроньи...»), опубликовано в журнале «Костер» (1966. № 1) под названием «Январь».

Осень — работа над поэмой «Столетняя война» («С той глубиной, в которой оспа спит...»); пишет стихи «В деревянном доме, в ночи...». Поездка в Калининград и Балтийск в качестве корреспондента журнала «Костер». См. стихи «Einem altem Architekten in Rom» (1964).

15 октября — знакомство с Л. К. Чуковской и Вл. Корниловым в Комарове у Ахматовой. (В записных книжках Ахматовой зафиксированы также встречи 18 октября и 28 ноября.)

Осень – неотправленное письмо в одну из центральных газет по поводу реформы русской орфографии.

21 октября – Лернер позвонил Бродскому и попросил его зайти в народную дружину № 12 для разговора.

29 ноября – в «Вечернем Ленинграде» публикуется фельетон А. Ионина, Я. Лернера и М. Медведева «Окололитературный трутень», начавший травлю поэта.

13 декабря – руководство ленинградской писательской организации санкционировало преследование Бродского. Вскоре после этого Бродский уехал в Москву.

20 декабря – встреча с Ахматовой и Л. К. Чуковской у Ардовых.

27 декабря – «военный совет» у Ардовых с участием Ахматовой. Решено, что Бродскому можно избежать ареста, если лечь с помощью знакомых психиатров в психбольницу им. Кащенко и получить свидетельство о «психической неустойчивости».

Декабрь – «Отголосок дальних бурь» (МС); «В замерзшем песке» («Трехцветных птичек голоса...»); «Прилив» («Верней песка с морской водой...»).

В 1963 году Бродский впервые читает Библию и «Божественную комедию» Данте, а также «Философические письма» Чаадаева.

Другие стихи 1963 года: Бродский объединил лирику 1962—1963 годов в цикл «Песни счастливой зимы», дополнив его

новыми стихами 1964 года: 1. «В твоих часах не только ход, но тишь...», 1963. 2. «Я обнял эти плечи и взглянул...», 1962. 3. «Все чуждо в доме новому жильцу...» (октябрь 1962). 4. Ex Oriente («Да, точно так же, как Тит Ливий, он...»). 5. «Деревья окружили пруд...». 6. «Что ветру говорят кусты...». 7. «Притча» («Пусть дым столетья в виде той петли...»). 8. «В замерзшем песке...» (было посвящение М. Б., в 1972 году снято автором). 9. «Окна» («Дом на отшибе сдерживает грязь...»). 10. «В горчичном лесу» («Гулко дятел стучит по пустым...»). 11. «Телефонная песня» («Вослед за тем последует другой...»). 12. «Песни счастливой зимы», написаны в январе 1964 года; «Мои слова, я думаю, умрут...»; «Покинул во тьме постель...»; «Стог сена и загон овечий...»; «Шум ливня воскрешает по углам...»; «Зажегся свет. Мелькнула тень в окне...»; «Полевая эклога» («Стрекоза задевает волну...»); «Ты – ветер, дружок. Я – твой лес...» (1963—1964); «Рождество 1963 года» («Спаситель родился...», 1963—1964); «Ломтик медового месяца» («Не забывай никогда...»).

Неопубликованные стихи (МС): «Булыжник узнает...»; «Плоти гипсовый пир...»; «Две печки топятся, и хлеб...»; «Зов с послесловием» («Когда б ты ни приехал– хорошо...»); «Озерный край» («Нет, сосен шум, нет, тусклый цвет, нет, свет...»); «Песенка после второй мировой войны» («Когда кончается война...»); «Предметы были разъединены...»; «Ручей» («Зная, что ты захочешь...»); «Элегия и стансы к Дмитрию Бобышеву»: 1. «Элегия» («Какой простор для вдохновенья...»). 2. «Стансы» («Но странно, друг, что в этот бедный час...»).

Стихи, не вошедшие в МС: «Все эти праздники белой стаей...»; «Когда б ты ни вернулся – хорошо...»; «На смерть Иосифа Бродского»; «По-прежнему – о чем в последний миг...»; «Расстаемся со всем...»; «Теряю небо, землю возлюбив...»; «Избыток жизни, бьющейся во мне...»; неоконченное стихотворение «В. Г. Петров, молодцеватый, лысый...».

Стихи на случай: «Ода» («О синеглазый, славный Пасик!»); «Эре Коробовой по одной строфе на каждые полминуты» («Эра спит в своей кроватке...», зима 1963/64 года) (МС).

Переводы: Милан Ракич «Желание» («Вечером сегодня станешь предо мною...»); Тин (Августин) Уевич «Высокие тополя». В кн.: Поэты Югославии. М.: Художественная литература, 1963; Константы Ильдефонс Галчинский «В лесничестве», «Заговоренные дрожжи», «Конь в театре».

Неопубликованные переводы: Роберт Фрост «Паром ночным, густым...»; Рэнделл Джаррел «Там вдалеке, высоко над равниной...» (без даты); Роберт Лоуэлл «Канун Рождества у подножья памятника Хукеру», «Павшим за Союз» (без даты);

Томас Гуд «Серенада»; Виттемор Рид «День в иностранном легионе» (середина 1960-х).

Проза 1960-х годов, из неопубликованного: «Герои на том свете», рассказ; «Из рассказов о Христолюбивом Воинстве» («Летчик-испытатель», «Совершенно секретно», «Случка»); «Однажды, дважды и трижды на земле были джунгли...», осень 1962—1963 (?).

Первая зарубежная публикация: в переводах на польский Анджея Дравича в газете «Wsp łzesnosc».

18—21 июня – Пленум ЦК КПСС, посвященный усилению «идеологического воспитания» молодежи, усилению контроля над литературой и искусством. 22 ноября – в Далласе, штат Техас, убит президент США Джон Кеннеди.

1964, *1 января* — Новый год в Москве в психбольнице (стихотворение «Новый год на Канатчиковой даче»).

2 января — покидает психбольницу. Вечером на ужине у Рейнов Бродский узнает, что Марина Басманова встречала Новый год в компании Бобышева на даче в Зеленогорске, и решает вернуться в Ленинград.

3 января — знакомится с Андреем Сергеевым. В тот же день уезжает в Ленинград.

4 января — Бобышев приходит к Бродскому объясняться.

8 января — «Вечерний Ленинград» публикует подборку возмущенных «писем читателей», требующих расправы над «тунеядцем Бродским».

16 января — пишет первое письмо Ахматовой.

18 января — дома пишет «Садовник в ватнике, как дрозд...».

20 января — в Москве вписывает «Садовник в ватнике, как дрозд...» в записную книжку Ахматовой.

Конец января — отъезд в Тарусу к Виктору Голышеву. Январем 1964 года датированы стихи «Ветер оставил лес...»; «Обоз» («Скрип телег тем сильней...»); «Песни счастливой зимы» («Песни счастливой зимы...»); «Прощальная ода» («Ночь встает на колени перед лесной стеною...»); «Рождество 1963 года» («Волхвы пришли. Младенец крепко спал...»).

Январь-февраль — «Письма к стене» («Сохрани мою тень. Не могу объяснить. Извини...»; «Нет, Филомела, прости...», написано в Тарусе).

Последнее стихотворение на свободе «Воронья песня» («Снова пришла лиса с подведенной бровью...»).

9 февраля — встреча с Ахматовой у Ардовых в Москве.

12 февраля — уезжает в Ленинград.

13 февраля — арест Бродского.

14 февраля — первый сердечный приступ в камере.

14—17 февраля — в тюрьме написан цикл «Камерная музыка»: 1. «Инструкция заключенному» («В одиночке при ходьбе плечо...», 14 февраля). 2. «В феврале далеко до весны...», датировано 15 февраля, «праздник Сретенья», посвящено Ахматовой. 3. «В одиночке желание спать...», 16 февраля. 4. «Перед прогулкой по камере» («Сквозь намордник пройдя, как игла...», 17 февраля).

18 февраля — первое заседание суда, по решению которого Бродский направлен на экспертизу в психиатрическую больницу № 2, где провел три недели (из них три дня в буйном отделении).

22 февраля — «С грустью и нежностью» («На ужин вновь была лапша, и ты...», посвящено А. Горбунову).

29 февраля — записка по делу Бродского зав. отделом административных органов ЦК КПСС Н. Р. Миронова Генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко.

13 марта — на втором заседании суд приговорил Бродского к пяти годам принудительных работ на Севере.

13—22 марта — в тюрьме «Кресты».

22 марта — этапирован на Север в тюремном вагоне.

25 марта — Архангельская пересыльная тюрьма (стихотворение «Сжимающий пайку изгнанья...»).

Апрель — прибытие на место ссылки в Коношу. Бродский селится в деревне Норенская.

18 апреля — «Пенье котов ученых...», послание Михаилу Мейлаху (МС).

Апрель-май — стихотворение «Иллюстрация» (Л. Кранах «Венера с яблоками») («В накидке лисьей – сама...») (МС). Стихи «В распутицу» («Дорогу развезло, как реку...»).

5 мая — «Стихи и баллада из письма Е. Рейну» («Это – Женя, это – я...»), «Баллада» («Киса милая! Когда бы...») (МС).

Май (до 12-го) — приезд в Норенскую молодых врачей-литераторов Е. Грефа и В. Гиндлиса, привезших в подарок от Фриды Вигдоровой пишущую машинку.

Май — приезд историка А. Бабенышева, привезшего в подарок от Л. Чуковской том Джона Донна (The Complete Poetry of John Donne. New York, 1952). Приезд в Норенскую матери, Марии Моисеевны. Публикация пяти стихотворений Бродского в эмигрантском журнале «Грани».

5 мая, 11 и 13 августа — публикации в газете «Русская мысль» (Париж) информации о процессе Бродского и стихотворений «Рыбы зимой» («Рыбы зимой живут...») и «Памятник Пушкину» («...И тишина...»).

17 мая — «Развивая Крылова» («Одна ворона (их была

гурьба)...», а также неопубликованное «И все, что будет, зная назубок...».

24 мая — в день своего рождения пишет стихотворение «Малиновка» («Ты выпорхнешь, малиновка, из трех...»).

25 мая — «Ночь. Камера. Волчок...»; «Колючей проволоки лира...». Эти два стихотворения образовали пятую и шестую части цикла «Камерная музыка».

26 мая — получил направление на ВККА для определения трудоспособности с пометкой о госпитализации.

31 мая — «Для школьного возраста» («Ты знаешь, с наступленьем темноты...»).

Май -июнь — написаны стихи «Звезда блестит, но ты далека...»; «Забор пронзил подмерзший наст...»; «В деревне, затерявшейся в лесах...» (посвящено Ахматовой); «К Северному краю» («Северный край, укрой...»); «Ломтик медового месяца» («Не забывай никогда...»); «Отрывок» («В ганзейской гостинице „Якорь“...»); «Твой локон не свивается в кольцо...».

15 июня — медицинская комиссия признала Бродского трудоспособным.

16 июня — «К семейному альбому прикоснись...».

18 июня — «Не знает небесный снаряд...».

Двадцатые числа июня — трехдневный отпуск в Ленинград.

23 июня — встречает Ахматову на Московском вокзале в Ленинграде.

Июнь — «Дни бегут надо мной...»; «Дом тучами придавлен до земли...»; «Сонетик» («Маленькая моя, я грушу...»); «Настеньке Томашевской» («Там, где сосны и болота...»).

22 июня — публикация стенограммы суда и стихотворения «Памятник Пушкину» в американском журнале «New Leader», vol. 47 (June 22, 1964), p. 11.

Июнь-июль — «Как тюремный засов разрешается звоном от бремени...».

11 июля — Би-би-си передает непроверенное сообщение об отмене приговора Бродскому.

Июль — стихи «Колесник умер, бондарь...».

24 июля — Бродский болен и проходит обследование в Коношской райбольнице.

Июль-август — «Отскакивает мгла...», «Осенью из гнезда...».

20 и 30 августа — письма М. Ю. Ярмуша, врача-психиатра, о необходимости медицинской помощи Бродскому.

Август — приезд Г. Гинзбурга-Воскова и К. Самасюк.

Август-сентябрь — «А. Буров – тракторист – и я...»; «Румянцевой победам» («Прядет кудель под потолком...»); «Сонет» («Прислушиваясь к грозным голосам...»); «Псковский реестр» («Не

спутать бы азарт...»). Приезд в Норенскую отца Александра Ивановича.

8 сентября — «Новые стансы к Августе» («Во вторник начался сентябрь...»).

Сентябрь — А. Найман и Е. Рейн навестили Бродского в Норенской. В защиту Бродского пишут письма Д. Д. Шостакович, С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, К. Г. Паустовский, А. Т. Твардовский, Ю. П. Герман. Публикация перевода записей суда Фриды Вигдоровой во французском «Figaro Litteraire» и в английском журнале «Encounter».

3 октября — зав. отделом административных органов ЦК КПСС Н. Миронов послал Генеральному прокурору СССР Руденко, председателю КГБ Семичастному и председателю Верховного суда Горкину директиву «проверить и доложить ЦК КПСС о существе и обоснованности судебного решения дела И. Бродского».

Октябрь — приезд И. Ефимова и Я. Гордина в Норенскую. Французский поэт Шарль Добжински напечатал в коммунистическом журнале «Action poetique» поэму «Открытое письмо советскому судье». Стихи «Все чуждо в доме новому жильцу...»; «Чаша со змейкою» («Дождливым утром, стол, ты непохож...»); «Орфей и Артемида» («Наступила зима. Песнопевец...»); «Гвоздика» («В один из дней, в один из этих дней...»).

25 октября – из цикла «Лодка в зарослях» («Если б не Осин желудок...»), написано вместе с А. Найманом из Норенской в качестве письма Э. Коробовой.

26 октября – «Деревья в моем окне, в деревянном окне...».

29 октября – «Тебе, когда мой голос отзвучит...».

Ноябрь – «Топилась печь. Огонь дрожал во тьме...»; «Письмо в бутылке (Entertainment for Mary)» («То, куда вытянут нос и рот...»); «Благословляю твой дом...» (не опубликовано).

Ноябрь-декабрь – «Оставив простодушного скупца...»; «Einem alten Architekten in Rom» («В коляску, если только тень...»); «Все дальше от твоей страны...»; «Сокол ясный, головы...».

9 декабря – «Брожу в редеющем лесу...».

Начало декабря – приезд К. Азадовского. Стихи «На отъезд гостя» («Покидаешь мои небеса...»).

Декабрь – «Северная почта» («Я, кажется, пою тебе одной...»); «Сонет» («Ты, Муза, недоверчива к любви...»). Присылка Я. Гординым романа Т. Манна «Доктор Фаустус» (см. стихотворение «Два часа в резервуаре»). Бродский получил антологию американской поэзии (Modern American Poetry. Ed. Untermeyer Г., 1962).

Конец декабря – отпуск в Ленинград.

Другие стихи 1964 года: «Колыбельная» («Зимний вечер лампу жжет...»); «Песня» («Пришел сон из семи сел...»); «Неоконченный отрывок» («Ну, время песен о любви, ты вновь...», 1964– 1965); «Он знал, что эта боль в плече...» (1964—1965); «Отрывок» («Назо к смерти не готов...», 1964—1965); «Отрывок» («Я не философ. Нет, я не солгу...»); «Пришла зима, и все, кто мог лететь...» (1964-1965).

Неопубликованные стихи (МС): «Народ» («Мой народ, не склонивший своей головы...»); «Смерть, приди украдкой...»; «Твоей душе, блуждающей в лесах...»; «Как стая охотников – в лес...»; «Фотограф среди кораблей...» («На дамбу натыкалась темнота...»); «Газовая горелка» («В один из дней, когда мы врозь с тобой...»); «Деревянное поле. Каменный пол...».

Стихи, не вошедшие в МС: «Горизонтально лежащая готика...»; «Все меняется в лучшую сторону...»; «Мне некуда из комнаты бежать...»; «Где та тропинка вьется...» (первая половина 1960-х); «Благословлю твой дом...» (датировано ноябрем 1964); «Застрелюсь от полной безнадежности...»; «Здесь козлоногий Фавн с Венерою любезен...»; «И сызнова видение беззубое...»; «Моя свеча, бросая тусклый свет...»; «Ночью глубокой на башне звенят часы...»; «Отсутствие взаимности в любви...»; «Стоя здесь на ветру...»; «Раненый в этой битве...»; «Мой галстук, мои перчатки...»; «Одиночество, пир мебели, стен...»; «Тюремный коридор»; «Боль».

Переводы: Хосе Рамон Луна «Карнавальные куплеты». В кн.: Поэзия гаучо. М., 1964.

Публикации в периодике: «Грани» (Франкфурт-на-Майне) (1964. № 56) – стихи «Конь вороной» («Был черный небосвод светлей тех ног...»); «Этюд» («Я обнял эти плечи и взглянул...»); «Рождественский романс» («Плывет в тоске необъяснимой...»); «Памятник Пушкину» («...И тишина, и более ни слова...»); «Рыбы зимой» («Рыбы зимой живут...»).

«Русская мысль» (1964. 5 мая, 11 и 13 августа) – стихотворения «Рыбы зимой» («Рыбы зимой живут...»); «Памятник Пушкину» («...И тишина...»).

«New Leader», vol. 47 (June 22, 1964) – «Monument to Pushkin» («... And silence...»), перевод Кольера Боуэна.

14 октября – снятие Хрущева, приход к власти Брежнева. Нобелевская премия по литературе присуждена Жану Полю Сартру, который от нее отказался. В декабре А. А. Ахматова ездила в Италию получать премию «Этна-Таормина». Сборник стихов Роберта Лоуэлла «Павшим за союз».

1965*, 1—2 января* — сонет «Выбрасывая на берег словарь...»,

посвященный А. А. Ахматовой.

4 января — умер Т. С. Элиот, новость дошла до Бродского через неделю, и 12 января он написал «Стихи на смерть Т. С. Элиота» («Он умер в январе, в начале года...»).

Январь — «1 января 1965 года» («Волхвы забудут адрес твой...»); «Без фонаря» («В ночи, когда ты смотришь из окна...»); «Из ваших глаз пустивших в дальний путь...».

2 февраля — письмо Р. Н. Гринбергу с разрешением печатать его стихи в США.

Февраль — приезд Анатолия Наймана в Норенскую. Из Норенской он привез сделанный Бродским перевод песни «Лили Марлен» («Возле казармы...»).

12 февраля — «Пустые, перевернутые лодки...».

Март — «Март» («Дни удлиняются. Ночи...»). Приезд в Норенскую Марины Басмановой и вслед за ней Дмитрия Бобышева; уехали они вместе.

Апрель — стихи «Менуэт» (Набросок) («Прошла среда и наступил четверг...»); «Моя свеча, бросая тусклый свет...»; «Ex Ponto. Последнее письмо Овидия в Рим» (Тебе, чьи миловидные черты...», 1964-1965).

1 мая — «Пророчество» («Мы будем жить с тобой на берегу...»).

2 мая — «500 одеял» («Был один фрегат, без пушек...») (МС).

Май — «Маятник о двух ногах...». Отпуск в Ленинград. 14 мая Бродский навещал Ахматову в Комарове.

24 мая — встретил день рождения в КПЗ, куда был заключен на неделю за опоздание из отпуска. По просьбе приехавших на день рождения Е. Рейна и А. Наймана был выпущен на время (см. стихотворение «24.5.65 *КПЗ*»).

6 июня — «В деревне Бог живет не по углам...».

7 июня — «Благодарю за тюльпаны...», из письма Э.Коробовой (МС).

21 июля — стихи «Колокольчик звенит...».

Июль — стихи «Июль. Сенокос» («Всю ночь бесшумно, на один вершок...»), «Сбегают капли по стеклу...».

Лето – детские стихи «Летняя музыка» (1. «Ария кошек». 2. «Ария птиц». 3. «Ария насекомых». 4. «Музыкальные собаки». 5. «Ария рыб». 6. «Ария дождя». 7. «Ария деревьев») (МС). См. публикацию в журнале «Искорка» (1989. № 6).

7 августа — умерла от рака Ф. А. Вигдорова.

14 августа — коношская районная газета «Призыв» опубликовала стихотворение Бродского «Тракторы на рассвете» («Тракторы просыпаются с петухами...») под рубрикой «Слово местным поэтам».

17 августа — письмо Жана Поля Сартра председателю Верховного Совета СССР Анастасу Микояну в защиту Бродского.

Август-сентябрь — стихи «Как славно вечером в избе...»; «Курс акаций» («О как мне мил кольцеобразный дым!..»), «Одной поэтессе» («Я заражен нормальным классицизмом...»).

4 сентября — постановление Верховного Совета СССР об изменении срока наказания Бродского до реально отбытого (18 месяцев); документ по ошибке отправлен вместо Архангельской области в Ленинградскую и вступил в силу только 23 сентября.

4 сентября — коношская районная газета «Призыв» опубликовала стихотворение Бродского «Обоз» под названием «Осеннее» («Скрип телег тем сильней...»).

8 сентября — пишет «Два часа в резервуаре» («Я есть антифашист и антифауст...»).

10 сентября — Бродский приезжает на третью побывку в Ленинград и узнает, что Басманова находится в Москве.

11 сентября — пытается уехать в Москву, но за ним повсюду следует КГБ. Возвращается в Норенскую.

20 сентября — стихи «Под занавес» («Номинально пустынник...», посвящено Ахматовой).

23 сентября — Бродский официально освобожден.

24 сентября — возвращается из ссылки сначала в Москву, где живет несколько недель у Андрея Сергеева, и наносит визит благодарности Л. К. Чуковской, едет на могилу Ф. А. Вигдоровой.

Октябрь — выступление Бродского в МГУ, устроенное Е. Евтушенко. Встреча с А. Твардовским в редакции журнала «Новый мир».

26 октября — по рекомендации К. И. Чуковского и Б. Б. Бахтина принят в профгруппу писателей при ЛО Союза писателей СССР, что позволило избежать в дальнейшем обвинения в тунеядстве.

Октябрь-ноябрь — стихи «Не тишина – немота...». Бродский принес в ленинградское отделение издательства «Советский писатель» рукопись книги стихов «Зимняя почта» (стихи 1962–1965 годов).

Осень — начало работы над поэмой «Горбунов и Горчаков» (есть наброски 1964 года). Знакомство с Джанни Буттафава, Фаусто Мальковати, Сильваной да Видович и Анной Донни, итальянскими славистами-стажерами.

Другие стихи 1965 года: «Серебряные ложки» («В канаве гусь, как стереотруба...»); «Зимним вечером на сеновале» («Снег сено запорошил...»); «Мужчина, засыпающий один...»; Неоконченный отрывок («В стропилах воздух ухает, как сыч...»); «Песенка» («Пришла зима. Наконец...»); «Стансы» («Китаец так

походит на китайца...»); «Фламмарион» («Одним огнем порождены...»); поэма «Феликс» («Дитя любви, он знает толк в любви...»); «Кулик» («В те времена убивали мух...»); «Набережная р. Пряжки» («Автомобиль напомнил о клопе...»); «Осень в Норенской» («Мы возвращаемся с поля. Ветер...»); «Песенка о свободе» («Ах, свобода, ах, свобода...»), посвящено Булату Окуджаве, впервые опубликовано в журнале «Звезда» (1997. № 7).

Неопубликованные стихи (МС): «Ах, быть беде...»; «Авессолом!» («Мы восседаем за своим столом...»); «Ex Ponto» («Вдалеке от мест известных...»); «Жила горилла на столе...» (написано совместно с Е. Б. Рейном).

Стихи, не вошедшие в МС: «Как я привык к тебе, свеча востока...»; «Обычно осень это дождь и слякоть...»; «К непрошеному гостю...»; «За то, что упырей...»; «Я жил в снегах...»; «Родился он у моря...»; «Странно нынешним утром брести...»; «Тучи бьются о лес, как волны нового Понта...» (1964—1965); «Я памятник сравнениям. Крылов...» (середина 1960-х); «Я просто минерал. Я элемент...»; «Я столько раз носил топор...» (1964—1965); «Май. Время сеять. Мы...»; «Безрадостный наш дар взошел...»; «Высокие деревья высоки...».

Переводы: Тадеуш Кубияк «Плывущие Вислой» («Словно народ, сильна в бурных разливах мощных...»); Танасие Младенович «Весеннее смятение»; Валерий Петров «Мир»; Ежи Харасимович «Партизаны» («Полночь их в дом впустила...», «Сижу я в Кракове...»). В кн.: Мы из XX века (М.,1965).

Проза: «Е. А. Баратынский. К 120-летию со дня смерти». Статья (1964—1965); выступление, посвященное 90-летию со дня рождения Р. Фроста («Наверное, еще не пришло время поставить памятник Роберту Фросту...», 1965). Отрывки философской пьесы «Дерево». Драматические сцены (1964—1965), не опубликовано.

Публикации в периодике:

«Грани» (1965. № 58) перепечатали стихи из самиздатского журнала «Синтаксис» (1960. № 3) – «Еврейское кладбище около Ленинграда...»; »Пилигримы» («Мимо ристалищ, капищ...»); «Стихи о принятии мира» («Все это было, было...»); «Земля» («Не проклятая...»); «Дойти не томом...».

«Воздушные пути» (1965. № 4) – «Пилигримы» («Мимо ристалищ, капищ...»); «Прощай, позабудь...»; «Воротишься на родину. Ну что ж...»; «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»); «Теперь все чаще чувствую усталость...»; «Гладиаторы» («Простимся. До встречи в могиле...»); «Посвящение Глебу Горбовскому» («Уходить из любви, в яркий солнечный день, безвозвратно...»); «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам...»; «Холмы» («Вместе они любили...»);

«Еврейское кладбище около Ленинграда...».

«Triquarterly», № 3 (Spring 1965) – «Большая элегия Джону Донну» («Джон Донн уснул...»); «Рождественский романс» («Плывет в тоске необъяснимой...»); «В тот вечер возле нашего огня...»; «Одиночество» («Когда теряешь равновесие...»); «С грустью и нежностью» («На ужин вновь была лапша, и ты...») в переводе Джорджа Клайна.

«New Eeader», vol. 48, № 20 (May 10, 1965) – «Большая элегия Джону Донну» («Джон Донн уснул...»), сокращенная версия в переводе Джина Гарриг; «Загадка ангелу» («Мир одеял разрушен сном...»); «Памятник Пушкину» («...И тишина. И более ни слова...»); «Огонь, ты слышишь, начал угасать...»; «Обоз» («Скрип телег тем сильней...»); «Все чуждо в доме новому жильцу...»; «Садовник в ватнике, как дрозд...» в переводе Стефана Степанчева. «Russian Review», vol. 24, no. 4 (October 1965) – «Большая элегия Джону Донну» в переводе Джорджа Клайна.

Книги:

Стихотворения и поэмы. Washington-New-York: Inter-Language Literary Associates, 1965.

8 октября – арестован А. Д. Синявский. Во второй раз арестован Вл. Буковский за организацию демонстрации в защиту Синявского и Даниэля. 4 июня – А. А. Ахматовой в Оксфорде вручена почетная степень доктора. Осенью – присуждение Нобелевской премии М. А. Шолохову вместо ожидаемых К. Г. Паустовского или А. А. Ахматовой. Обсуждалась и кандидатура Одена.

1966*, 6 января* – знакомство в Переделкино с К. И. Чуковским.

5 марта – смерть А. А. Ахматовой. Бродский и М. Е. Ардов находят место для могилы Ахматовой в Комарове.

Март – неоконченное стихотворение памяти Ахматовой «День кончился, как если бы она...»; «Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром».

9 апреля – Бродский в Москве у Андрея Сергеева. См. стихотворение «Похвальное слово дивану Сергеевых».

Конец мая – начало июня – выступление Бродского в Лефортове, в студенческом общежитии Бауманского института.

3 июня – привез в Москву на день рождения А. Сергеева в подарок стихотворение «Остановка в пустыне» («Теперь так мало греков в Ленинграде...»), датированное первым полугодием 1966 года.

Июнь – Евтушенко пригласил Бродского читать стихи в МГУ вместе с ним, Беллой Ахмадулиной и Булатом Окуджавой.

Выступление Бродского в Москве в ФБОНе (Фундаментальная библиотека общественных наук) и на переводческой секции Союза писателей.

11 июля – «Ода на вселение Эдуарда и Радды Блюмштейн в собственную квартиру, сочиненная 11 июля 1966 года любящим их Иосифом Бродским» («Великий день! Великий час!..»).

26 июля – редакционный совет издательства «Советский писатель» обсуждает рукопись книги стихов Бродского «Зимняя почта».

Август – впервые приехал в Литву. В Вильнюсе знакомится с Томасом Венцловой, Пятрасом Йодалисом, Пранасом Маркусом, Йозасом Тумялисом, Рамунасом и Аудронисом Катилюсами.

Октябрь-ноябрь – издательство «Советский писатель» получило положительные рецензии на рукопись книги Бродского «Зимняя почта».

12 декабря – главный редактор издательства вернул рукопись Бродскому. Издание не состоялось. Заключен договор с Киностудией научно-популярных фильмов на написание сценария для кинофильма «Ленинградское мореходство».

Другие стихи 1966 года: «Неоконченный отрывок» («В стропилах воздух ухает, как сыч...», 1966—1967); «Стихи на бутылке, подаренной Андрею Сергееву» («На склоне лет я на ограду влез...», 1966—1967); «Неоконченный отрывок» («Отнюдь не вдохновение, а грусть...», 1966—1967); «Освоение космоса» («Чердачное окно отворено...»); «Сумев отгородиться от людей...»; «Сумерки. Снег. Тишина. Весьма...»; «Вполголоса – конечно, не во весь...»; «Сначала в бездну свалился стул...»; «Династия Муров» («Мур 1-й Усатый...»).

Неопубликованные стихи, не вошедшие в МС: «Все норовило в прорубь заглянуть...»; «Бывают дни, о да, бывают дни...»; «Увы, ни монумент, ни обелиск...» (1965—1966, примечание А. Гринбаума: «написано в квартире на проспекте Мориса Тореза, которую он снимал в 1966 году»).

Перевод стихотворения Джона Донна «The Apparition» – «Посещение» («Когда твой горький яд меня убьет...») включен в статью А. А. Аникста, сборник «Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблемы стиля в западноевропейском искусстве XV—XVII веков» (М.: Наука, 1966). Перепечатано в сборнике «Остановка в пустыне» (1970).

Во Франции вышел сборник стихов Бродского «Collines et autres *poemes»* в переводе Жан Жака Мари с предисловием Пьера Эмманюэля (Paris; Editions du Seuil, 1966).

Публикации в периодике:

«Костер» (1966. № 1) – «Среди зимы» («Дремлют овцы, спят

хавроньи...»), опубликовано под названием «Январь».

Первая официальная публикация двух стихотворений в альманахе «Молодой Ленинград» (М.-Л.: Советский писатель, 1966): «Обоз» («Скрип телег тем сильней...», 1965) и «Я обнял эти плечи и взглянул...», 1962.

«Костер» (№ 10) – «Сентябрь» («Сентябрь – портфели, парты...»).

«Костер» (№ 12) – «13 очков, или Стихи о том, кто открыл Америку» («– Шекспир открыл Америку...»).

«Russian Review», vol. 25, № 2 (April 1966) —три стихотворения Бродского в переводе Дж. Клайна: «Памятник Пушкину» («...И тишина...»); «Пилигримы» («Мимо ристалищ, капищ...») и «Посвящение Глебу Горбовскому» («Уходить из любви, в яркий солнечный день, безвозвратно...»).

«Landfall: A New Zealand Quarterly», № 78 (June 1966) —шесть стихотворений Бродского в переводе Николаса Зиссермана (Nicholas Zisserman): «Рыбы зимой»; «Пилигримы»; «Стансы городу» («Да не будет дано...»); 25-я глава из поэмы «Шествие» («Представляю каждому судить...»); «С грустью и с нежностью» («На ужин вновь была лапша, и ты...»).

Книги:

Collines et autres poemes. Tr. Jean Jacques Marie. Paris; Editions du Seuü, 1966.

Ausgewählte Gedichte. Tr. Heinrich Ost and Alexander Kaempfe. N.p.: Bechtle Verlag, 1966.

Gedichte von Jossif Brodskij. Lyrische Hefte 26, red. van Arnfrid Astel. Cologne, 1966.

Февраль – суд над Синявским и Даниэлем, которых приговорили к пяти годам лагерей строгого режима.

Дочь Сталина Светлана Аллилуева отказалась вернуться в Советский Союз из Индии, куда выехала на похороны своего мужа Браджеша Сингха.

1967*, 14 января* – датировано стихотворение «Речь о пролитом молоке» («Я пришел к Рождеству с пустым карманом...»).

Май – открытое письмо IV съезду писателей СССР.

22 мая – «Послание к стихам» («Не хотите спать в столе. Прытко...»).

Июнь – Бродский и Найман приехали в Коктебель и встретились там с Михаилом Ардовым, который жил в доме А. Г. Габричевского. Знакомство с Кейсом Верхейлом, голландским писателем и филологом-славистом.

2 июня – поездка в Севастополь на съемки фильма о войне.

См. «Морские маневры» («Атака птеродактилей на стадо...»). Стихотворение «Отказом от скорбного перечня– жест...».

Август – знакомство с Джорджем Клайном в Ленинграде.

8 октября – родился сын, Андрей Осипович Басманов (см. стихотворение 1967 года «Сын! Если я не мертв, то потому...»).

Осень – поездка в Палангу, см. «Паланга» («Коньяк в графине – цвета янтаря...»). Знакомство с французским историком искусств Вероникой Шильц (Veronique Schütz).

Другие стихи 1967 года: «Волосы за висок...»; «Отрывок» («Октябрь – месяц грусти и простуд...»); «Отрывок» («Ноябрьским днем, когда защищены...», 1966—1967); «К Ликодему, на Скирос» («Я покидаю город, как Тезей...», в *СИБ* название – «По дороге на Скирос»); «Прощайте, мадмуазель Вероника» («Если кончу дни под крылом голубки...»); «Фонтан» («Из пасти льва...», есть датировка 1966); «Элегия на смерть Ц. В.» («В пространстве, не дыша...»); «1 сентября 1939 года» («День назывался „первым сентября“...»); «Postscriptum» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»); «Время года – зима. На границах спокойствие. Сны...» (черновики, 1966—1967 и 1970—1971 годы, есть датировка 1972 год); черновик «Разговор с небожителем» («Здесь, на земле...»).

Неопубликованные стихи: «В ситроене Кишлова, как Гийом...»; «Как нынче Вам живется? – Ничего...»; «Профессор, извините за визит...»; «Ради тебя и в честь твою...».

Переводы: Константы Ильдефонс Галчинский «Анинские ночи» («Оставь в покое ожерелье...»), «Заговоренные дрожки» («Верить мне – не неволю...»), «Маленькие кинозалы» («В сильной тоске, в печали...») и «Конь в театре» («На премьеру сатирического представления...»), включены в сборник Галчинского «Стихи» (М.: Художественная литература, 1967). Перевод с чешского: Вилем Завада «Дорога пешком» (поэма), включено в сборник «Одна жизнь. Стихи и поэмы» (М.: Прогресс, 1967); Флексмор Хадсон «На Мэлли» («Среди равнины пустой...») и «Ночной почтовый на Мэлли» («Из-за корявых корней дорога домой длинней...»); Кристофер Уоллес-Крэбб «Кладбище автомобилей» («Скелеты долговечней, чем моторы...»), для сборника «Поэзия Австралии» (М.: Художественная литература, 1967). Переводы из Ричарда Уилбера, а также из Роберта Лоуэлла «Павшим за союз». Письмо Бродского Лоуэллу с запросом о реалиях в этом стихотворении датировано 1967 годом. В 1967 году работает над переводами стихов Отара Чиладзе (см. публикацию в журнале «Литературная Грузия», № 1, 1989; сохранился черновик перевода «Зима белая, государыня беглая...») и английскими поэтами для антологии «Поэзия английского барокко»: Джон Донн «Блоха» («The Нее»); «Шторм» («The Storm»); «Прощанье, запрещающее грусть» («А

Valediction: forbidding Mourning»).

Публикации в периодике:

«Ленинские искры» (№ 17. 1 марта) – стихи для детей «История двойки» («Бовин дом от школы Вовы...»).

Альманах «День поэзии» (Л., 1967) – стихотворения «На смерть Элиота» под названием «Памяти Т. С. Элиота» и «В деревне Бог живет не по углам...».

Альманах «Воздушные пути» (1967. № 5) – стихи «Как тюремный засов...»; «В твоих часах не только ход, но тишь...»; «Дни бегут надо мной...»; «Инструкция заключенному» («В одиночке при ходьбе плечо...»); «В феврале далеко до весны...»; «В одиночке желание спать...»; «Перед прогулкой по камере» («Сквозь намордник пройдя, как игла...»); «Песенка» («По холмам поднебесья...»); «В деревне Бог живет не по углам...»; «Пророчество» («Мы будем жить с тобой на берегу...»).

«Strand» (1967. № 8) – «Еврейское кладбище около Ленинграда...» в переводе Дэниела Уайсборта.

«Paroles» (Dartmouth College, Spring 1967) – «Стихи под эпиграфом» («Каждый пред Богом наг...») в переводе Антона Баляева.

Книги:

Joseph Brodsky. Elegy to John Donne and Other Poems. Tr. Nicholas Bethell. London: Longman, 1967.

Ю. В. Андропов назначен председателем КГБ. 5—10 июня – победоносная «шестидневная война» Израиля против коалиции арабских стран.

1968*, начало января* — окончательное расставание с Мариной Басмановой – см. «Шесть лет спустя» («Так долго вместе прожили, что вновь...»).

Январь — поездка в Палангу – см. стихотворение «Anno Domini» («Провинция справляет Рождество...»). Бродский проводит некоторое время в Москве в компании Кейса Верхейла.

28 января — «К Цинтии» («Твой, Цинтия, необозримый зад...»).

30 января — принимает участие в вечере «Встреча творческой молодежи» в Белом зале Дома писателей в Ленинграде вместе с Сергеем Довлатовым, Владимиром Марамзиным, Валерием Поповым и др.

Весна — поездка в Калининград, стихотворение «Открытка из города К.» («Развалины есть праздник кислорода...»).

Март — Бродский в Эстонии, где читает стихи на кафедре русской литературы Тартуского университета.

11 мая — Оден согласился написать предисловие к первому

английскому сборнику «Selected Poems».

Июнь — Бродский передал своему американскому переводчику Джорджу Клайну стихи для сборника «Остановка в пустыне».

Июнь-июль — неоднократные поездки в Москву (см. «Я выпил газированной воды...», датированное 18 июля).

11 июля — заявление Бродского в Секретариат СО ССП в связи с отказом издательства «Советский писатель» издать его книгу.

17 июля — утонула знакомая Бродского Татьяна Боровкова. Бродский откликнулся стихотворением «Памяти Т. Б.» («Пока не увяли цветы и лента...»).

26 июля — «Баллада с посылкой» («Таланту исполинскому...») – инскрипт на календаре журнала «Playboy», подаренного Михаилу Беломлинскому (МС).

21 августа — войска стран Варшавского договора вступили в Чехословакию. Бродский откликнулся стихотворением «Письмо генералу Z.» («Генерал! Наши карты —дерьмо. Я пас...»).

Осень — завершение работы над поэмой «Горбунов и Горчаков», начатой в 1965 году; стихотворение «Почти элегия» («В былые дни и я пережидал...»). Бродского допрашивают в КГБ по поводу «ленинградского самолетного дела» (попытка угона самолета А. Кузнецовым). Бродский пишет письмо Брежневу с просьбой не применять к угонщикам высшую меру наказания. Письмо не отправлено.

1 октября — Бродский забрал рукопись своей книги из издательства «Советский писатель».

Октябрь — стихи «Песня пустой веранды» («Март на исходе и сад мой пуст...»).

28 ноября — Чарльз Осборн, помощник секретаря Поэтического общества и биограф Одена, послал Бродскому приглашение принять участие в поэтическом фестивале в Лондоне *(London Poetry International)*.

Декабрь — поездка в Гурзуф, где Бродский живет в доме Томашевских. «В неизвестный порт Гурзуф...», неопубликованное послание Настеньке Томашевской перед поездкой в гости к Томашевским в Гурзуф (МС). Приготовил документы (на русском и английском языках) для планируемого фиктивного брака с британской подданной Фейт Вигзел *(Faith Wigzell)*.

Другие стихи 1968 года: «Весы качнулись. Молвить не греша...»; «Неоконченный отрывок» («Самолет летит на Вест...»); «Подражание Некрасову, или Любовная песнь Иванова» («Кажинный раз на этом самом месте...»); «Подсвечник» («Сатир, покинув бронзовый ручей...»); «Прачечный мост» («На Прачечном

мосту, где мы с тобой...», посвящено Фейт Вигзел); «Просыпаюсь по телефону, бреюсь...»; «Строфы» («На прощанье – ни звука...»); «Элегия» («Подруга милая, кабак все тот же...», Паланга); «Элегия» («Однажды этот южный городок...»); «Шесть лет спустя» («Так долго вместе прожили, что вновь...»).

Неопубликованные стихи из МС: Эпиграмма на болгарский фильм «Отклонение» («...И он с седою прядью...»), получивший золотой приз на Московском кинофестивале в 1967 году; «За Саву, Драву и Мораву...».

Переводы: Эухенио Флорит «Четыре песни» («Не ночь твоя страшит меня, дорога!»), «Уверенность» («В такую ночь достаточно Луну...»); Анхель Аухьер «Вечернее» («Не двигайся, не шуми...»), «Понедельник» («Не знаю, что творится этой ночью...»); Вирхилио Пиньера «Жизнь Флоры» («У тебя были большие ноги и горбатый каблук...»); Пабло Армандо Фернандес «Мои уста не скажут...», в сборнике «Остров зари багряной. Кубинская поэзия XX века» (М., 1968); Анхела Фигера Аймерич «Обладание», «Умереть», «Усталость», «Бессилие», «Пишу на земле», «Сонеты о земле»: «Крича и плача, с радостью и гневом», «Когда рождается человек», опубликовано в книге «Жестокая красота» (М., 1968); Марцелиус Кассиус Клей (Мохаммед Али) «Этот рассказ ни на что не похожий...», опубликовано: Костер. 1968. № 7. Июль. Сохранился черновик переводов Антонио Мачадо, датируемый второй половиной 60-х годов.

Проза 1968 года, из неопубликованного: Заметка о Джоне Донне для газеты «Неделя».

Публикации в периодике:

«Грани» (1968. № 68) – «Стук» («Свивает осень в листьях эти гнезда...»); «Июльское интермеццо» («Девушки, которых мы обнимали...»).

«Russian Review», vol. 27, no. 2 (April 1968) – «Стихи на смерть Т. С. Элиота» («Он умер в январе в начале года...») в переводе Джорджа Клайна.

«Unicom Journal», № 2 (1968) – шесть стихотворений в переводе Джорджа Клайна: «К Ликодему на Скирос» («Я покидаю этот город, как Тезей...»); «Прачечный мост» («На Прачечном мосту, где мы с тобой...»); «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»); «Стихи на смерть Т. С. Элиота» («Он умер в январе в начале года...»); «Фонтан» («Из пасти льва...»); «Остановка в пустыне» («Теперь так мало греков в Ленинграде...»).

«Problems with Communism», № 17 (September 1968) – пять стихотворений в переводе Джорджа Риви: «Стихи о принятии мира» («Все это было, было...»); «Дойти не томом, не домом...»; «Пилигримы» («Мимо ристалищ, капищ...»); «Земля» («Не проклятая, не грешная...»); «Еврейское кладбище» («Еврейское кладбище около Ленинграда...»).

Книги:

Velka Elegie. Paris: Edice Svedectvi, 1968 (сборник стихов на чешском языке в переводе Иржи Ковтуна).

25 августа – Наталья Горбаневская с пятью товарищами участвует в демонстрации на Красной площади против оккупации советскими войсками Чехословакии.

1969*, январь* – поездка в Ялту. Пишет «Зимним вечером в Ялте» («Сухое левантийское лицо...»).

Январь-февраль – работа над поэмой «Посвящается Ялте» («История, рассказанная ниже...»).

14 марта – «Леониду Черткову» («Любовь к Черткову Леониду...»), с рисунком и подписью (МС).

Апрель – «В эту зиму с ума...», два варианта (4-я часть цикла «С февраля по апрель»).

Начало июля – поездка в Москву.

Июль-август – Карл Проффер переправил в Америку рукопись «Горбунова и Горчакова» и вскоре послал ее Набокову в Монтрё (Швейцария).

Октябрь – в Доме творчества писателей в Коктебеле. «В альбом Натальи Скавронской» («Осень. Оголенность тополей...») и «С видом на море» («Октябрь. Море поутру...»), а также неопубликованный сонет «Madam, благодарю за мой портрет...», адресован художнице Н. А. Северцевой (Габричевской), написавшей портрет Бродского.

19 октября – «Моря достались Альбиону...», «К разговору о X гл. Евгения Онегина» (МС).

21 октября – «Ода на 32-летие Михаила Ардова, философа и беллетриста, празднуемое 21.X—60 г. в местечке Коктебель, в Крыму» («Я знал тюрьму, я знал свободу...»), из архива М. Ардова.

Ноябрь – поездка в Одессу.

Декабрь – «Конец прекрасной эпохи» («Потому что искусство поэзии требует слов...»).

29 декабря – «Дидона и Эней» («Великий человек смотрел в окно...»); в Москве на дне рождения Рейна подарил ему это стихотворение.

Другие стихи, написанные или законченные в 1969 году: Из «Школьной антологии», 1966—1969: 1. «Э.Ларионова» («Э.Ларионова. Брюнетка. Дочь...»). 2. «О. Поддобрый» («Олег Поддобрый. У него отец...»). 3. «Т. Зимина» («Т. Зимина, прелестное дитя...»). 4. «Ю. Сандул» («Ю. Сандул. Добродушие хорька...»). 5. «А. Чегодаев» («А. Чегодаев, коротышка, врун...»). 6. «Ж.Анциферова» («Анциферова. Жанна. Сложена...»). 7. «А. Фролов» («Альберт Фролов, любитель тишины...»); «Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою...», «А здесь жил Мельц. Душа, как говорят...», «А здесь жила Петрова. Не могу...»; «Я пробудился весь в поту...», «Я начинаю год, и рвет огонь...», «И Тебя в вифлеемской вечерней толпе...» (1969—1970); «Отрывок» («Из слез, дистиллированных зрачком...»), не опубликовано (МС).

Недатированные стихи 60-х годов: «Лесная идиллия» («Она: Ах, любезный пастушок...»), есть еще вариант «Мой любезный пастушок...»; «Незаконченное» («Миновала зима. Весна...»); «Осень в Норенской» («Мы возвращаемся с поля. Ветер...»); «На прения с самим собою...»; «Ну как тебе в грузинских палестинах...»; «Однажды во дворе на Моховой...»; «Похож на голос головной убор...»; «Предпоследний этаж...»; «Сознанье, как шестой урок...»; «Уточнение» («Откуда ни возьмись...»); «Я пепел посетил. Ну да, чужой...»; «После разлуки трамвайный лязг...»; «Однажды через Тихий океан...»; «Отчизна» («Вперед, солдат, за родину, на бой!..»).

Неопубликованные стихи и отрывки 60-х годов (МС): «Вернувшись к этому размеру...»; «Ветер блуждает по пустырю...»; «Деревянное ложе...»; «И фургоны катятся по плохим автострадам, вырываясь прочь...»; «Зима. Перевернутый Китеж...»; «К Аспазии» («Аспазия, твой старый бюст...»); «Какое-то апреля. Хаос в датах...»; «Кусаке» («Надевайте рукавицу...»); «Луи, сегодня праздник. За окном...» (на 200-летие Бонапарта); «Наши вещи всюду, но где же мы...»; «Осень уходит на юг, очистив...»; «Открытка из лепрозория» («Прозрачная вода в прозрачной

банке...»); «Поверженный в Борьбе умов...»; «После дождя звезда...»; «Сильвана, благодарю...», «Старый Полярный Круг...»; «Ступеньки под охраной стен...»; «Я ночь проведу без...»; «Я щелкнул выключателем, и дочь...».

Не вошедшие в МС стихи второй половины 60-х годов: «Прекрасно, что зимой простились мы...» (Вариант к стихам из цикла «С февраля по апрель»); «Все кажется: итог, урок...»; «Все считают меня ядовитым...»; «Дама с зонтиком поглощена...»; «Душ не было, и самые тела...»; «Заброшенный сюда мореной...»; «Ни имени, ни отчества, ни клички...»; «Луна сияла в небосводе...»; «Пред тем, как в смертный час произнести „прости“...»; «Северный ветер, железный гвоздь...»; «Среди пустых полей Аустерлица...»; «Ах, замерзшая косточка...»; «Открытка к Меценату», набросок, после 1964.

Незаконченные стихи 60-х годов: «Однажды Берия приходит в Мавзолей...», цитируется в книге М. Ардова «Монография о графомане» (М., 2004. С. 149-150).

Стихи, написанные по-английски (1969—1972 годы, не опубликованы): «Our Russia's country of birches...»; «I say goodbay to somebody unknown...»; «In the Moscow's Peking...»; «Monument to the Leader»; «My Roman jacket and Bundesshoes...»; «There was a girlfriend from Sorbonne...» (лимерик); «There was once a tall girl baptised Margo...» (лимерик); «It was only a time...» (начало 1970-х?).

Переводы: Константы Ильдефонс Галчинский «Конь в театре» («На премьере сатирического представления...»), напечатано в книге «Высокие деревья. Стихи польских поэтов» (М.: Детская литература, 1969); Анатолий Слонимский «Nie wołaj mnie...», не опубликовано. Перевел на английский стихотворение В. Уфлянда «В целом люди прекрасны...» (1969), перевод не опубликован.

Проза: «Чудо обыденной речи» (о Геннадии Алексееве), датировано декабрем 1969 года. Опубликовано в «Литературном обозрении» (1991. № 10. Октябрь); «Эта история была однажды рассказана мною в обществе...». Рассказ (не опубликован); «О поэзии», статья (не закончена и не опубликована, конец 60-х годов); «Очерк о Крыме» (вторая половина 1960-х); рецензия на повесть В. Резника «Чтобы работал полигон» (без даты); отрывок о переводе «Жизнь каждого человека – миф, творимый им с помощью немногих свидетелей...» (без даты); статья «В плане метафизическом Пушкин представлял для Достоевского большой интерес...» (без даты).

Публикации в периодике:

«Костер» (№ 3) – стихотворение для детей «Пират» («Пес по

имени Пират...»).

«Костер» (№ 8) – стихотворение для детей «Ссора» («Однажды Капуста приходит к Морковке...»).

«Грани» (1969. № 70) – «Стихи об испанце Мигуэле Сервете, еретике, сожженном кальвинистами» («Истинные случаи иногда становятся притчами...»).

«Грани» (1969. № 72) – «Закричат и захлопочут петухи...»; «Остановка в пустыне» («Теперь так мало греков в Ленинграде...»).

«Новый журнал» (1969. № 95) – «На Прачечном мосту, где мы с тобой...»; «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»); «1 января 1963 года» («Волхвы забудут адрес твой...»).

Приложение к газете Тартуского ун-та «Tartu Riiklik Ulikool» «Русская страничка», № 2 (26 декабря) – «Подсвечник» («Сатир, покинув бронзовый ручей...»).

Книги:

В конце 60-х Бродский подготовил сборник стихотворений для детей «Баллада о маленьком буксире», в который, помимо заглавного, вошли стихи «Обещание», «Летняя музыка», «Три болтуна», «История двойки», «В 6 часов под Новый год», «Ссора» и др.

В Израиле вышел сборник стихов Бродского в переводе Эзры Зисмана на иврите: Akedar Yisak (Жертва Исаака). Tel Aviv: Eqed Publishing House, 1969.

4 ноября – А. И. Солженицын исключен из Союза писателей. Декабрь – арестована Н. Горбаневская и помещена в психиатрическую больницу специального типа.

Нобелевская премия присуждена Сэмюелу Беккету.

1970*, январь* — Ялта, Дом творчества Литфонда – см. стихи «Science Fiction» («Тыльная сторона светила не горячей...»), датированные 15 января 1970 года; «Сонет» («Сначала вырастут грибы, потом...»).

9 февраля — «Песня о красном свитере» («В потетеле английской красной шерсти...»).

17 марта — «Памяти профессора Браудо» («Люди редких профессий редко, но умирают...»).

Март-апрель — «Разговор с небожителем» («Здесь, на земле...»). Есть черновики, датируемые 1966—1967 годами.

3 апреля — Оден закончил «Предисловие» к первому английскому сборнику Бродского «Selected Poems» («Избранные стихотворения»).

8 апреля – заключение договора с издательством «Художественная литература» на перевод стихов для сборника чешского поэта Франтишека Галаса.

Май – Бродский получил текст «Предисловия» Одена, переданного Джорджем Клайном через профессора университета Огайо Майкла Керрана и спрятанного под подкладку сумки. Бродский послал Одену по почте благодарственное письмо.

7 июня – написаны стихи на случай «Иосиф Бродский – Людмиле Штерн на защиту диссертации» («Гость без рубля – дерьмо и тварь...»).

Июнь – познакомился с французской слависткой Анни Эпельбуэн (Annie Apelboin), которая занималась А. Платоновым.

21 июня – Джордж Клайн приехал к Одену в Кирхштеттен и прочитал ему отредактированную версию своего «Введения» к «Selected Poems» Бродского.

14 сентября – стихотворение «Ничем, певец, твой юбилей...», написанное в соавторстве с Я. Гординым ко дню рождения А. Кушнера. Впервые опубликовано в газете «Час пик» 2 ноября 1990 года.

20 октября – окончание работы над циклом «Post aetatem nostram» («Империя – страна для дураков...»).

Октябрь – Бродский в Москве, живет у Голышева, спорит с Вадимом Козловым о Цветаевой. Джордж Клайн получил через Веронику Шильц правки Бродского к сборнику «Остановка в пустыне». Бродский наметил порядок стихотворений и дал названия шести разделам.

21 ноября – «Нине от Иосифа» («Рассказать Вам небылицу? Не хочу я за границу...»), надпись на подаренном конверте с пластинкой, из собрания Марамзина.

Декабрь – Бродский в Москве.

22 декабря – пишет стихи на случай «На 22 декабря 1970 года Якову Гордину от Иосифа Бродского» («Сегодня масса разных знаков...»).

Другие стихи 1970 года: «Открытка с тостом» («Желанье горькое—впрямь!..»); «Отрывок» («Это было плаванье сквозь туман...»); «Перед памятником А. С. Пушкина в Одессе» («Не по торговым странствуя делам...»); «Дебют» («Сдав все свои экзамены, она...»); «Дерево» («Бессмысленное, злобное, зимой...»); «Желтая куртка» («Подросток в желтой куртке, привалясь...»); «Мужик и енот (басня)» («Мужик, гуляючи, забрел в дремучий бор...»); «Пенье без музыки» («Когда ты вспомнишь обо мне...»); «Страх» («Вечером входишь в подъезд, и звук...»); «—Ты знаешь, сколько Сидорову лет?»; «Чаепитие» («Сегодня ночью снился мне Петров...»); «Aqua vita nuova» («Шепчу „прощай“ неведомо кому...», посвящено Фейт Вигзел); «Post aetatem nostram»; следующие пять стихотворений, написанных в разное время, объединены в цикл для публикации в журнале «Аврора» «С

февраля по апрель» (1969—1970): 1. «Морозный вечер...». 2. «В пустом, закрытом на просушку парке...». 3. «Шиповник в апреле» («Шиповник каждую весну...»). 4. «В эту зиму с ума...». 5. «Фонтан памяти героев обороны полуострова Ханко...» («Здесь должен бить фонтан, но он не бьет...», 1969—1970); «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...»; «О, этот искус рифмы плесть!»; «Осень выгоняет меня из парка...» (1970—1971); «Это было плавание сквозь туман...» (1969—1970).

Неопубликованные стихи из МС: «Стихи в честь двадцатипятилетия окончания Второй мировой войны» («Пролитая кровь...»); «Друг, тяготея к скрытым формам лести...»; «Тому назад неполных тридцать как...».

Переводы: Яннис Айдонопулос «Письмо другу, больному чахоткой» («Не горюй о том, что остался дома, живешь в покое...»); Манолис Анагиостакис «Харис, 1944» («Поскольку все мы были вместе, время...»); Фотис Ангулис «Истории» («Опять выходят греки из воды...»), «Так мы расстались» («Ни слез, ни поцелуев... Страсть – скупец...»); София Мавроиди-Пападаки «Колыбельная времен оккупации»; Джоржо Бассани «Игроки» («Заприте дверь и окна в этот час...»); Коррадо Говони «...И нужно бы рыдать, да невозможно»; Сальваторе Квазимодо «В притихших этих улочках лишь ветер...»; Франко Фортини «Хор изгнанников» («Когда могучая зелень...»), «Европа» («И будем долго мы смотреть сквозь окна...»); Ян Камперт «Песня восемнадцати казненных» («Два метра камера длиной...»); Виктор ван Фрисланд «Освобождение» («Уходит ночь, освобождая взор...»); безымянный автор «Голландская песня» («Как сердце знает ритм сердцебиенья...»). В кн.: Ярость благородная. Антифашистская поэзия Европы. М., 1970. Переводы из Умберто Саба «Совсем один», «Портрет моей девочки» («Над моим детским портретом...»); из Рафаэля Альберти «Песня № 16», «Из песен реки Парана» (без даты).

Проза: «Азиатские максимы. Из записной книжки 1970 года», опубликовано в кн.: Иосиф Бродский размером подлинника. Таллин, 1990.

Публикации в периодике:

«Костер» (1970. № 1) – стихотворение для детей «В 6 часов под Новый год...» без имени автора и с изменениями оригинала.

«Веселые картинки» (№ 4) – стихи из цикла «Летняя музыка»: «Ария рыб» («Слышат реки и озера...») под названием «Поющие рыбки».

«Грани» (№ 76) – «1 сентября 1967 года» («День назывался „первым сентября“...»); «Отказом от скорбного перечня– жест...».

«Новый журнал» (№ 98) – «Одиночество» («Когда теряет

равновесие...»).

«Новое русское слово» (№ 11) —«1 сентября 1967 года» («День назывался „первым сентября“...»).

«Observer Review» (January 11, 1970) – «Зимним вечером в Ялте» в переводе Джорджа Клайна.

«Triquarterly», № 18 (Spring 1970) – «Почти элегия» («В былые дни и я пережидал...»); «Загадка ангелу» («Мир одеял разрушен сном...»); «Строфы» («На прощанье – ни звука...»); «Ты выпорхнешь, малиновка, из трех...»; «Подсвечник» («Сатир, покинув бронзовый ручей...») в переводе Джорджа Клайна.

«Third Hour» (№ 9, 1970) – «Сумев отгородиться от людей...» в переводе Джорджа Клайна.

«Literary Review» (Spring 1970), vol. 13, № 3 – «Проплывают облака» («Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение...») в переводе Матеи Матеич.

Книги:

Остановка в пустыне. Стихотворения и поэмы. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1970.

Апрель – Наталья Горбаневская переведена в Институт судебно-психиатрической экспертизы им. Сербского. После экспертизы возвращена в Бутырскую тюрьму. Суд вынес постановление о направлении ее на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа в Казани. Октябрь – А. И. Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе.

1971, *1 января* — встретил Новый год в Ленинграде в компании Карла и Эллендеи Профферов, Андрея Сергеева и Леонида Черткова.

9 января — «Суббота» («Суббота. Как ни странно, но тепло...»).

Январь — поездка в Ялту, «Второе Рождество на берегу...».

11 февраля — «Любовь» («Я дважды пробуждался этой ночью...»).

12 апреля — вызов на съемки в Одессу.

28 апреля — стихотворное письмо, оставленное в квартире друзей, где он прожил месяц во время их отсутствия, «Мои любимые друзья!..» (МС).

Весна — поездка в Одессу, где Бродский пробовался на роль в военном кинофильме. Поездка в Вильнюс к Томасу Венцлова, знакомство с польским поэтом Виктором Ворошильским, первым переводчиком Бродского на польский.

22—29(2) июня — Бродский провел около недели в Ленинградской областной больнице у Финляндского вокзала с

подозрением на злокачественную опухоль. Во время болезни написал «Натюрморт» («Вещи и люди нас ...»).

Август — перевод венгерского поэта Балинта Балаши «Красивая венгерская комедия». Синхронный стихотворный текст к кинофильму. Дублирован на «Ленфильме».

Осень — поездка в Москву.

Ноябрь — небольшая операция в больнице города Сестрорецка под Ленинградом. Получил вызов в Польшу, высланный Збышеком Жаковичем. Получил вызов в Чехословакию, высланный Марцелой Нойманової.

В этом году Бродский избран членом Баварской Академии искусств и наук (Bayerische Akademie der Kunst und Wissenschaften).

Другие стихи 1971 года: «Октябрьская песня» («Чучело перепелки...»); «Я всегда твердил, что судьба —игра...»; «Литовский дивертисмент»; «Рембрант. Офорты. Дикторский текст» («Он был настолько дерзок, что стремился познать себя...»), дикторский текст к фильму режиссера В. Кинарского; «Время года – зима. На границах спокойствие...», 1966—1967 и 1970—1971.

Неопубликованные стихи, не вошедшие в МС: «Покой и сон прообразы твои...»; «Благодарю, что было суждено...»; «Что интереснее своего...»; «И вновь, когда...»; «Сначала люди слышат голоса...».

Переводы: Десанка Максимович «В бурю», «Паук», «Полночь», «Сыч», «Изгнание из рая», «Станции», «Собор», «Вестник». В кн.: *Максимович Д.* Стихотворения. М.: Художественная литература, 1971; Леопольд Стафф «Ряска» («В заброшенном старом парке...»), «Мать» («В сумерках молча...»), «Речь» («Можно не знать по-птичьи...»), «Толстой» («Толстой бежал от печали...»); Константы Ильдефонс Галчинский «В лесничестве» («Здесь, где купелью сонной...»); Ежи Харасимович «Геометрия» («Линия – значит прямая...»), «Партизаны» («Полночь их в дом пустила...»), «Зимний день» («На дворе морозно...»), «В октябре» («В горах лесистых...»); Ярослав Марек Рымкевич «Физик» («Он расписывается на стенах...»), «На смерть неизвестного обывателя» («Записанный в домовых книгах...»). В кн.: Современная польская поэзия. М.: Прогресс, 1971. Перевод пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», датирован 1969–1971 годами.

Проза: эссе «Заметка о Соловьеве». Напечатано в «Russian Literature Triquarterly» (Ann Arbor: Ardis, № 4, Fall 1972. С. 373–375); «Конец XIX – начало XX – идея о переделе сего мира», до 1972 г.

Публикации в периодике:

«Russian Review», Vol. 30, № 1 (January 1971) – «Прощайте, мадмуазель Вероника» («Если кончу дни под крылом голубки...») в переводе Джорджа Клайна.

«Arroy» (Bryn Mawr, May 1971) – «Стихи в апреле» («В эту зиму с ума...»); «Первое сентября» («День назывался „первым сентября“...»); «Сонет» («Мы снова проживаем у залива...») в переводе Джорджа Клайна.

«Russian Literature Triquarterly», № 1 (Fall 1971) —в переводе Джеми Фуллер (Jamie Fuller): «Остановка в пустыне» («Теперь так мало греков в Ленинграде...»), «Зимним вечером в Ялте» («Сухое левантийское лицо...»), «Стихи в апреле» («В эту зиму с ума...»), начало первой («Ну, что тебе приснилось, Горбунов?..») и конец четырнадцатой глав («Спи, Горбунов. Пока труба отбой...») из «Горбунова и Горчакова»; в переводе Карла Проффера: «Прачечный мост» («На Прачечном мосту, где мы с тобой...»); в переводе Джорджа Клайна: «Дидона и Эней» («Великий человек смотрел в окно...»), «Я обнял эти плечи и взглянул...», «Деревья в моем окне, в моем деревянном окне...», «Огонь, ты слышишь, начал догорать...», «1 января 1965» («Волхвы забудут адрес твой...») и «Письмо в бутылке» («То, куда вытянут нос и рот...»); в переводах Карла Проффера и Аси Гумецкой «Горбунов и Горчаков», а также в оригинале «Пенье без музыки» («Когда ты вспомнишь обо мне...»).

«Ленинские искры» (1971. № 76. 23 сент.) – стихи для детей «Сентябрь» («Сентябрь – портфели, парты...»); «Пират» («Пес по имени Пират...») и «Ссора» («Однажды Капуста приходит к Морковке...»).

«Massachusetts Review», vol. 12 (Fall 1971) – в переводах Джеймса Скалли *(James Scully)* стихи «Памятник» («Поставим памятник...»); «Еврейское кладбище около Ленинграда...»; «Памятник Пушкину» («И тишина. И более ни слова...»); «Гладиаторы» («Простимся. До встречи в могиле...»); «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»); «Петухи» («Звезды еще не гасли...»); «Рыбы зимой» («Рыбы зимой живут...»). Эти переводы включены в книгу: Scully J. Avenue of the Americas (University of Massachusetts Press, 1971).

Книги:

В Белграде вышел сборник стихов Бродского «Stanica u pustinji» («Остановка в пустыне») в переводе Милована Даноджилича *(Milovan Danojilic)* со вступлением Милицы Николич *(Milica Nikolic)* (Belgrad: Biblioteka «Orfej», 1971).

В Лондоне вышла двуязычная антология пяти ленинградских поэтов «The Living Mirror: Five Young Poets from Leningrad» (London: Victor Gollancz Ltd., 1972), куда включены восемь

стихотворений Бродского в переводе Джорджа Клайна: «Остановка в пустыне»; «Одной поэтессе»; «Прощайте, мадмуазель Вероника»; «Новые стансы к Августе»; «Стихи на смерть Элиота»; «Фонтан»; «Post Aetatem Nostram» и «Натюрморт».

1972, *январь* — стихотворения «24 декабря 1971 года» («В Рождество все немного волхвы...»); «Одному тирану» («Он здесь бывал: еще не в галифе...»). После посещения выставки русского лубка в Русском музее, посвященной 300-летию Петра Великого, пишет стихотворение «Набросок» («Холуй трясется, раб хохочет...»).

12 января — Бродский получил поздравительное письмо от Марка Стрэнда.

16 февраля — стихотворение «Сретенье» («Когда она в церковь впервые внесла...», посвящено Ахматовой); иногда датируется мартом 1972 года.

Февраль-март — стихотворение «Одиссей Телемаку» («Мой Телемак, Троянская война...»).

Март — стихотворения: «Песня невинности, она же опыта» («Мы хотим играть на лугу в пятнашки...»); «Письма римскому другу» («Нынче ветрено и волны с перехлестом...»); «Похороны Бобо» («Бобо мертва, но шапки недолой...»).

Апрель — поездка в Армению. Е. А. Евтушенко при встрече с председателем КГБ Ю. В. Андроповым попросил не преследовать Бродского, а дать ему возможность уехать из страны. Заметка, посвященная Бродскому, с его портретом под заголовком «Who is this man?» в «New York Review of Books» *(6* April 1972).

Май — визит президента США Ричарда Никсона в Советский Союз. Разрешена еврейская эмиграция. Бродский получил вызов в Израиль, высланный неким Моисеем Бродским. В СССР приезжает профессор Мичиганского университета Карл Проффер (1938—1984), договорившийся с руководством университета о приглашении Бродскому.

12 мая — вызов в ОВИР с ультимативным предложением эмигрировать в Израиль.

24 мая — получил советскую визу на выезд.

Конец мая — длительная поездка в Москву (остановился у В. П. Голышева): оформление документов на отъезд и прощание с Л. К. Чуковской, Н. Я. Мандельштам, А. Я. Сергеевым, Е. Б. Рейном и др.

Май — в Ленинграде В. Р. Марамзин собирает стихи и переводы Бродского для машинописного издания: *Бродский И.* Собрание сочинений. В 4 т. (МС). Пятый том остался незавершенным. Составитель В. Марамзин, машинистка Л.

Комарова, корректор Л. Лосев. Непосредственно перед отъездом Бродский просматривает и авторизует четыре тома собрания.

4 июня — вылетел в Вену. Накануне отъезда из СССР Бродский пишет открытое письмо Л. И. Брежневу. В переводе на английский опубликовано в «Washington Post» (12 июля 1972), на русском – *Гордин Я. А.* Дело Бродского // Нева. 1989. № 2. В Вене Бродского встречает глава издательства «Ардис» Карл Проффер и делает ему предложение занять пост *Poet in Residence* («поэт в присутствии») в Мичиганском университете.

6 июня — Бродский и Карл Проффер приезжают к Уистану Одену в городок Кирхштеттен недалеко от Вены.

18 июня — Бродский прилетел вместе с Оденом в Лондон. Оба остановились в доме Стивена и Наташи Спендер.

19 июня — первая встреча с сэром Исайей Берлином в клубе «Атенеум».

20—21 июня — переехал из дома Стивена Спендера в дом Дженни Коутс (23 Woodland Rise, № 10).

21—23 июня — принимает участие в «Poetry International» (Международный фестиваль поэзии, основанный Тедом Хьюзом) вместе с Уистаном Оденом, Робертом Лоуэллом, Шеймусом Хини и Джоном Ашбери.

21 июня — во время выступления Бродского на «Poetry International» Роберт Лоуэлл читает переводы стихов Бродского.

Июнь — в Лондоне Бродский встречался с известными литераторами Ч. П. Сноу, Сирилом Коннолли, Ангусом Уилсоном, а также с главным редактором издательства «Penguin Books» Никосом Стангосом и поэтическим консультантом издательства Алом Алварезом; побывал на заседании парламента.

22 июня — переехал к Диане и Алану Майерсам в *Welwyn Gardens City,* потом приятельница Бродского Марго Пикен, сотрудница «Международной амнистии», поселила его в доме отсутствующей художницы Джилиан Вайз по адресу 62 Courtiield Gardens, London SW5.

26 июня — письмо от заведующего отделением славистики Мичиганского университета доктора Бенджамена Столца с официальным приглашением Бродскому занять место «поэта в присутствии».

Июнь-июль — интервью и выступления по английскому радио и телевидению.

9 июля — Бродский прилетел в Детройт, США.

21—26 июля — Бродский провел неделю в летнем коттедже Джорджа Клайна в Западном Массачусетсе, где они вместе редактировали переводы для сборника «Избранные стихотворения» (Selected Poems). Бродский привез два новых

стихотворения «Сретенье» и «Одиссей Телемаку», которые Клайн тут же перевел. Завершение работы над сборником.

12 сентября — первое публичное выступление Бродского в Америке в аудитории Рэкем-Холл Мичиганского университета.

Осень — поэтические чтения Бродского в Нью-Йорке в библиотеке Доннелла. Поэтический вечер Бродского в Нью-Скул, где он познакомился с Марком Стрэндом. С осени 1972 года до весны 1973 года Бродский до 30 раз выступал вместе с Джорджем Клайном в американских университетах и колледжах. Начинает читать в Мичиганском университете курс русской поэзии и популярный среди студентов курс поэтики. Бродский преподавал на кафедре славянских языков и литератур Мичиганского университета с некоторыми перерывами до середины 1980 года. Жил в Энн-Арборе по разным адресам: *Marlborough Street, Plymouth Road, Paccard Road.*

12 ноября — письмо в защиту Натальи Горбаневской, «The Fate of a Poetess», Michigan Daily Magazine, vol. 1, № 1, 1972.

20 ноября — поэтические чтения в Детройте в публичной библиотеке, английские переводы читает Пол Винтер.

Ноябрь — «В озерном краю» («В те времена в стране зубных врачей...», Энн-Арбор, Мичиган).

12 декабря — выступление в Сан-Франциско. Жил в отеле «Марк Хопкинс».

18 декабря — стихотворение «1972 год» («Птица уже не влетает в форточку...», посвящено Виктору Голышеву). Есть черновые наброски 1970—1971 годов.

На западное Рождество – первая поездка в Венецию (7—8 дней).

Другие стихи 1972 года: «Бабочка» («Сказать, что ты мертва...», стихотворение начато еще в России, есть отрывки, датируемые концом 60-х); «Осенний вечер в скромном городке...»; «Неоконченный отрывок» («Во время ужина он встал из-за стола...»); «С красавицей налаживая связь...»; «Торс» («Если вдруг забредешь в каменную траву...»).

Неопубликованные и недатированные стихи для детей, написанные в России (1960—1972 годы)(МС): «Обещание путешественника» («Я сегодня уеду...»); «Три болтуна» («Если-бы-умел-бы...»); «Анкета» («Заяц боится охотника...»); «Июль» («Что хорошего в июле?..»); «Леня Скоков хочет полететь на Луну...» (написано для журнала «Костер», однако не было напечатано); «Песенка ныряльщика» («Приятно мне бывать на дне...»), написано для журнала «Костер», но отклонено главным редактором; «Рабочая азбука» («А тетя занята овсом...», 1961—1963); «Самсон, домашний кот» («Кот Самсон прописан в

центре...»); «Чистое утро» («Умываются коты...»).

Недатированные и неопубликованные стихи на случай, посвящения, шутки из МС конца 60-х начала 70-х годов: «Верь письму и фотоснимку...» из письма Е. Рейну с рисунками из ссылки; «Это я, И.А.Бродский...», надпись на фотографии, присланной из Норенской; «Это мой автопортрет...», подпись под рисунком, видимо, 1965 год; «Пусть послужит данный том...», надпись на томе стихов Бродского, собранных Раддой Блюмштейн (во втором замужестве – Радда Аллой); «Юпитер и Венера, стихотворное приношение Андрею Яковлевичу Сергееву от Иосифа Александровича Бродского в связи с визитом последнего в стольный город Москву» («Два существа...»); «Любителю астрономии, стороннику автономии Андрею Сергееву» («Поскольку я весь день в бегах...»), надпись на обороте открытки; «Мадам, зачем на этот свет...», надпись на книге репродукций Брейгеля, подаренной Ларисе Степановой; «Вас поздравляет с Рождеством...»; «Лене Клепиковой и Володе Соловьеву» («Позвольте, Клепикова Лена...»); «Дорогой месье Ефимов...»; «Я знал тюрьму, я знал свободу...», стихи на день рождения Ю. О. Цехновицеру; «Ласковой речью мой слух...»; «Собравшись умирать, лежу в чужой кровати...»; «Песня инвалида» («Он был полицейский чиновник...»); «Для ответов „Кто открыл Америку“» («Дарвин: Музей живой природы пуст...»); «На мотив „Разлука ты, разлука“» («Улыбку Монны Лизы...»); «Е. О. в родильный дом» («Дрянь-оракул, я краснею...»); «Когда снимаю я колготок...»; «Норенская миниатюра» («Входя в заснеженный лесок...»); «На выздоровление всадника Чоллима А. Берескова» («Если сердце палимо...»); «Письмо выздоравливавшему Джангуниму» («Пусть, удовлетворяя Сук...»); «Я жил в снегах...»; «Жалобы Сук на отсутствие Сусаннима» («Одна сижу на высоте...»); «Свеча мечети. Клекот арыка...»; «Нине от Иосифа»; «Корейская миниатюра» (эпиграмма на журнале «Корея»).

Неоконченное 60-х – начала 70-х годов (МС): «Автобусы, трамваи, пеший люд...»; «Ах, свобода, ах, свобода...»; «Белый лист передо мной...»; «Босой, с набрякшим пенисом, в ночной...»; «Будет и дальше со мною...»; «В каменной чаще, шаги тая...»; «В конце проспекта– Луна...»; «В рассветном небе декабря...»; «В тот день еще не ангелы, ни бес...»; неоконченное стихотворение «В. Г. Петров, молодцеватый, лысый...»; «Вернувшись к этому размеру...»; «Весна-цвесна, как не молчал Крученых...»; «Визит инкогнито в страну людей...»; «Волшебный хор потерял свой купол...»; «Воскресну и вернусь»; «Вот это в них и позволяет нам...»; «Все исчезает, слышишь, в свой особенный срок...»; «Все, как прежде...»; «Всяк любил тебя как мог...»; «Высокая бесцветная

стена...»; «Дева натягивает чулок...»; «День песни благодарственной настал...»; «Длинней забора в сумрачной игле...»; «Доведя себя до ручки двери...»; «Дорога, как распахнутый притвор...»; «Дорогой дед, дорогой дед...»; «Досматривая сон, в котором ты...»; «Есть нечто, что не терпит потрясений...»; «Жизнь проходит в заботах...»; «Закат в последних этажах...»; «Закрыв глаза, я жму на тормоза...»; «Застольная речь пана Адаса» («Всю ночь я пил вино с одной девицей...»); «Здесь, на отшибе, вдвойне...»; «Зима. Перевернутый Китеж...»; «Зло, знаешь, по словам Ларошфуко...»; «И с каждого в свой срок...»; «Из нас двоих вы больший европеец...»; «Как нынче вам живется? – Ничего...»; «Как птицы на снегу...»; «Как стая охотников – в лес...»; «Какое-то апреля. Хаос в датах...»; «Канцелярский подход» («А. Он выпотрошен. Вот он на полу...»); «Когда полынь пронзит мой мозжечок...»; «Когда-то здесь был лебединый пруд...»; «Корчма. Довольно пусто. За столом два мужика...»; «Коснуться словом – горя...»; «Кто гонится за призраками – тот...»; «Лимонное дерево в кадке на...»; «Луи, сегодня праздник. За окном...»; «Май. Время сеять. Мы...»; «Мир не погибнет от огня...»; «Мне некуда из комнаты бежать...»; «Мои слова на несколько минут...»; «Мухи жужжат —ты слышишь...»; «Мы возвращаемся с поля. Ветер...»; «Мы герб свой прибьем...»; «Наверно, потому, что я любил...»; «Начинаю с доброй ночи, пани Федор...»; «Не по торговым странствуя делам...»; «Ни имени, ни отчества, ни клички...»; «Не все абоненты, адресаты...»; «Но никто не скажет тебе про то...»; «Ночью, будучи пьян, что не обидно...»; «Ночью глубокой...»; «О Господи, зачем я не трава...»; «О, если бы ты двери заперла...»; «Обычно осень это дождь и слякоть...»; «Огонь» («А травы там были рыжими...»); «Огонь предпочитает темноту...»; «Одиночество, пир...»; «Озимь покрыта снегом...»; «Осень выдалась теплой. Я жил в Литве...»; «Осень уходит на юг, очистив...»; «Отрывок» («Дом предо мной, преображенный дом...»); «В нашем царстве свой закон...»; «Переизбыток чувств...»; «По части знанья, что есть грех...»; «Поверженный в Борьбе Умов...»; «Покидаю эпоху слепых жрецов...»; «Поскольку вышло так, что оба раза...»; «После дождя звезда...»; «После разлуки трамвайный лязг...»; «Превратился в лису, а страна превратилась в борзую...»; «Прекрасно, что зимой...»; «Профессор, извините за визит...»; «Раньше здесь щебетал щегол...»; «Роза-коза и Марта-овца...»; «С поворотом ключа, со щелчком замка...»; «С порога веранды во тьму...»; «Со скоростью света...»; «Сегодня мы сводим в землю прах...»; «Сегодня, превращаясь во вчера...»; «Случайно, без особого вреда...»; «Смирнов пошел за хлебом. Дверь открыл...»; «Сны, как воробьи, клюют печаль...»; «Сон складкой гнейса лег на

потолок...»; «Старуха стоит у окна одна...»; «Столкнувшись возле черного леска...»; «Ступеньки под охраной стен...»; «Теперь мы на войне. И не пойму...»; «То ли в мае земля горяча...»; «То, что выходит экспромтом...»; «Только в жизни так можно не знать...»; «Только море, Антонио, только оно...»; «Тому назад неполных тридцать как...»; «Ты мальчиком по Сретенке бегом...»; «Ты слышишь ли мой голос? Нет?..»; «Увы, дышащая бедой...»; «Укажи номер века, название места, форму...»; «Чужою жизнью в краденой земле...»; «Элегия» («В это утро, когда я сижу в пивной...»); «Эрна К., убеждая нас...»; «Это было время больших проблем...»; «Это Ода Любви, ибо возглас ее: О да...»; «Я брожу по улицам тумана...»; «Я буду пить вино, сдавать стекло...»; «Я видел улицу, кончавшуюся горой...»; «Я вспоминаю голубую канарейку...»; «Я прыгнул в лодку и схватил весло...»; «Я так к тебе привык, свеча изгнанья...»; «Я так люблю твой чистый воздух, время перехода...»; «Я щелкнул выключателем, и дочь...»; «Тучи бьются о лес, как волны нового Понта...».

Стихи, не вошедшие в МС: «Так. Конь уснул мой...» (1965—1972).

Переводы 1970—1972 годов:

Франтишек Талас «Листопад» («Ноготь Меланхолии холеный...»); «Утешение» («Яйцо поставить чрезвычайно просто...»); «Кровь детства» («Верни мне сонных сказок королевство...»); «Лампочка» («Прохватывает до костей железом...»); «Тишина» («Саранча наших слов губит черный посев тишины...»); «Сон» («Горошина под девятью...»); «Бабье лето» («Ночь рекламный проспект пустоты...»); «Двое» («Может быть, по привычке или ради искусства...»); «Сожаление» («Грех первородный чествуя столь часто...»); «Со дна» («Люблю по-детски странный этот мир...»); «Европа» («Улыбнитесь все, кто может плакать...»); «Наш пейзаж» («Позорный столб – опора родных небес...»); «Яд» («Семейство змей с мерцанием голодным...»). Переводы выполнены в 1971—1972 годах для сборника стихов Ф. Галаса, который должен был выйти 7 июня 1972 года. В связи с эмиграцией Бродского издательство вынуждено было заказать новые переводы. Первая публикация переводов Бродского из Галаса см.: Литературная газета. 1996. 6 марта. С. 5 (публикация Сергея Гиндлина).

Переводы 1972 года: эстонские детские поэты Венда Сыелсепп «Отчего карандаши стали разными», Оливия Саар «Человек с якорем» («Костер», № 1); Циприан Камиль Норвид «В альбом» («Помимо Данте, кроме Пифагора...»); «Посвящение» («Сперва в стекле, в смарагд обрамленном...»); «Песнь Тиртея» («Что же так робок звук их напева...»). В кн.: *Норвид Ц. К.*

Стихотворения. М.: Художественная литература, 1972, опубликованы под именем Владимира Корнилова.

Неопубликованные переводы из МС: Станислав Ежи Лец «И дрожащие обыватели могут быть фундаментом государства», афоризмы; Циприан Камиль Норвид «Моя отчизна» (вариант «Моя родина»); Юлиуш Словацкий «Памяти капитана Мейзнера» (отрывок). Синхронный перевод стихов к фильму «Романтики» (дублирован на студии «Ленфильм», январь 1972 года); Весна Парун (сербская поэтесса) «Всадники»; Брендан Биэн «Е—777» (в оригинале: «The Quare Fellow», пьеса); Рэнделл Джарелл «Метаморфозы»; Рид Виттемор «День в иностранном легионе»; неизвестный автор «Странно думать о тебе...»; Джон Леннон и Пол Маккартни «Желтая подводная лодка» («В нашем славном городке...»), перевод для журнала «Костер»; Ганс Лейп «Лили Марлен» («Возле казармы, в свете фонаря...», начало 60-х); Никифорос Вреттакос «Весна»; Антонио Мачадо «Заметки», «В синем февральском небе»; Яан Кросс (с эстонского) «Песенка о марципане», синхронный перевод к мультфильму «Мартов хлеб» (дублирован на студии «Ленфильм», 1971, режиссер дубляжа А. Шахмалиева); Сэмюел Беккет, эссе «Данте и Лобстер» (возможно, перевод Бродского); У. Х. Оден «Памяти У. Б. Йетса». Стихи армянских поэтов для детей: Эдуард Авакян «Волшебное стекло»; Микаэль Артунян «Разговор о море»; Людвиг Дурян «Бедный Ашот»; Мнацакан Тарьян «Почему не замерзает дерево»; Ованес Туманян «Дочь, перед тобой собрались сыны» (синхронный стихотворный текст к мультфильму «Парвана» по поэме Ованеса Туманяна «Легенда озера Парвана», производство «Арменфильм», дублирован на студии «Ленфильм» в июле 1971 года, режиссер дубляжа А. Шахмалиева); Зарайр Холопян «Легенда»; Соломон Мкртчян «Загадка». Вислава Шимборска «Кто что царь Александр, кем чем мечом...», «Поэт есть тот, кто пишет стихи...».

Стихи на английском: «For Nobel Prize» (шуточное стихотворение 1970-х годов); «Don't talk about...»; «Visit Russia»; «Control yourself don't pity...»; «To Mr. Kees Verheul upon bis Birthday» («There once was a Dutchman named Kees...»).

Проза: эссе «Писатель – одинокий путешественник», опубликовано в американском журнале «The New York Times Magazine» (October 1, 1972) в переводе Карла Проффера под названием «Says Joseph Brodsky, Ex of the Soviet Union: 'A Writer is a Lonely Traveller, and No One is His Helper'»; перепечатано в газете «Die Zeit» 24 ноября 1972 года; «Заметки о Соловьеве», «Russian Literature Triquaterly», № 4 (Fall, 1972); эссе о Ричарде Уилбере («Я сомневаюсь, что мне удастся...»), опубликовано «The American Poetry Review», vol. 2, № 1, January/February 1973; письмо в

защиту Натальи Горбаневской «The Fate of a Poetess», «Michigan Daily» (November 12, 1972). В этом же номере были напечатаны два стихотворения Бродского «Одному тирану» и «Похороны Бобо» в переводе Карла Проффера.

Неопубликованная и недатированная проза: началом 70-х годов датирован черновик пьесы без названия (первый набросок к «Мрамору»?) – «Второй век...»; «Мир, в котором мы обитаем, есть мир антиличный...» (1965—1972); «Оглянись без гнева», статья для «The New York Times Magazine», см. выше.

Публикации в периодике:

«Russian Literature Triquaterly», № 2 (Winter 1972) – «Разговор с небожителем» («Здесь, на земле...») и «Post aetatem nostram» («Империя – страна для дураков...»).

«New American and Canadian Poetry», № 18 (April 1972) – «Разговор с небожителем» («Здесь, на земле...») в переводе Харви Файнберга и Г. В. Чалмса.

«Michigan Daily», vol. 82, № 25-S (June 14, 1972) —в переводе Карла Проффера «Прачечный мост» («На Прачечном мосту, где мы с тобой...»), перепечатка из «Russian Literature Triquarterly», № 1 (Fall 1971).

«Antaeus», № 6 (Summer 1972) – «Сонет» («Прошел январь за окнами тюрьмы...»); «Воротишься на родину. Ну что ж...»; «В деревне Бог живет не по углам...»; «В распутицу» («Дорогу развезло...»); «Теперь все чаще чувствую усталость...»; «Страх» («Вечером входишь в подъезд, и звук...»); «Отказом от скорбного перечня – жест...»; «Einem alten Architekten in Rom» («В коляску, если только тень...») в переводе Джорджа Клайна.

«Saturday Review of Literature», vol. 55, № 33 (August 12, 1972) – «Натюрморт» («Вещи и люди нас окружают...») в переводе Джорджа Клайна.

«New York Times Magazine» (October 1, 1972) – «Одиссей Телемаку» в переводе Карла Проффера.

«Michigan Daily», vol. 1, № 1 (November 12, 1972) в переводе Карла Проффера «Одному тирану» («Он здесь бывал: еще не в галифе...») и «Похороны Бобо» («Бобо мертва, но шапки недолой...»).

«New Leader», vol. 55 (December 11, 1972) – в переводах Джорджа Клайна «Два часа в резервуаре»; «1 сентября»; «Садовник в ватнике, как дрозд...».

«Boston After Dark» (July 18, 1972) «Прачечный мост» («На Прачечном мосту, где мы с тобой...»), перепечатка из «Russian Literature Triquarterly», № 1 (Fall 1971).

1973*, 2 января* – по дороге из Венеции заехал на два дня в

Рим.

Январь – Бродский в Лондоне по пути из Италии в США. Встреча с Оденом в Оксфорде. Пишет стихотворение «Лагуна» («Три старухи с вязаньем в глубоких креслах…»). Январем датировано стихотворение «Торс» («Если вдруг забредаешь в каменную траву…»).

28 января – пишет письмо в газету «Новое русское слово» об обстоятельствах его эмиграции из СССР.

Январь-февраль – эссе о Ричарде Уилбере, перевод Карла Проффера, «On Richard Wilbur», «American Poetry Review», vol. 2, № 1, 1973.

Февраль – Бродский вместе с Шеймусом Хини принимает участие в поэтическом фестивале в Амхерсте, Массачусетс. Начало дружбы с Хини.

20 марта – поэтический вечер в женском клубе (*The Village Woman's Club)* Оклендского университета (Мичиган).

Март – знакомство с американским поэтом Джонатаном Аароном.

Весна – Владимир Марамзин предложил Михаилу Хейфецу написать предисловие к самиздатскому полному собранию сочинений Бродского, а летом передал ему три тома лирики Бродского.

Июнь – принимает участие в Роттердамском международном поэтическом фестивале.

Июль – стихи «Роттердамский дневник» («Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда…»). Гостит у поэта Тома Макинтайра *(Tom Macintyre)* в Северной Ирландии на Инишбофине (Остров Белой Коровы).

Лето – первая поездка в Германию. Последняя встреча с Оденом в Лондоне на фестивале «Poetry International».

29 сентября – в Вене умер Оден. Бродский и Джордж Клайн послали телеграмму главному редактору издательства «Пингвин» в Лондоне с просьбой поставить на обороте титула «Selected Poems»: «In the Memory ofWystan Hugh Auden (1907—1973)».

Осень – принимает участие в поэтическом фестивале в Массачусетсе.

Декабрь – западное Рождество встречает в семье Джонатана Аарона в Бостоне.

Другие стихи 1973 года: начато стихотворение «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» («Взбаламутивший море…», возможно, начато в 1973—1974 годах, закончено в декабре 1983 года); «На смерть друга» («Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд…»).

Неопубликованные: «Семнадцатилетие» («В кофейне

Дьердя...»), датировано 1972 годом, Нью-Йорк.

Стихи на английском: стихотворение, посвященное Одену, – «Elegy: to W.H. Auden» («The Tree is dark, the tree is tall...»), включено в сборник под редакцией Стивена Спендера W.H. Auden: A Tribute (London: Weidenfield & Nicolson, 1974, New York: Macmillan, 1975).

Проза: эссе по-русски «Размышление об исчадии Ада» (английский перевод «Reflection on a Spawn of Hell» опубликован в «The New York Times Magazine» (4 марта 1973); предисловие к двуязычному изданию романа А. Платонова «Котлован» (The Foundation Pit. Ann Arbor: Ardis, 1973); письмо Дениз Левертов «On Poetry and Politics», «American Poetry Review», vol. 2, № 2 (March/April 1973); рецензия на английский сборник стихов Ахматовой в переводе Стэнли Кьюница и Макса Хейворда (Poems of Anna Akhmatova), «Translating Akhmatova», «New York Review of Books», vol. 20, № 13 (August 9, 1973).

Переводы: Эндрю Марвелл «Глаза и слезы» («Сколь мысль мудра Природы– дать...»), «Russian Literature Triquarterly», № 6 (Spring 1973).

Публикации в периодике:

ВРХД, № 2/4 (108/110)– «Бабочка» («Сказать, что ты мертва?..»); «На смерть друга» («Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд...»), «1972 год» («Птица уже не влетает в форточку...»).

«Russian Literature Triquarterly», № 5 (Winter 1973) – в переводах Карла Проффера «Похороны Бобо» («Бобо мертва, но шапки недолой...»); «Одному тирану» («Он здесь бывал: еще не в галифе...»); «Одиссей Телемаку» («Мой Телемак, Троянская война...») и в переводе Джона Апдайка стихотворение «Сретенье» («Когда она в церковь впервые внесла...»).

«Nation», vol. 216 (January 1973) – в переводе Джорджа Клайна «Все чуждо в доме новому жильцу...».

«Mademoiselle», vol. 76, № 4 (February 1973) – переводы Джорджа Клайна: «Дни бегут надо мной...»; «В деревне Бог живет не по углам...» и отрывок из десятой главы поэмы «Горбунов и Горчаков».

«New York Review of Books», vol. 20, № 5 (April 5, 1973) – в переводе Джорджа Клайна, «Из школьной антологии»: «Альберт Фролов» («Альберт Фролов, любитель тишины...»); «Одиссей Телемаку» («Мой Телемак, Троянская война...») и последние три станса второй главы поэмы «Горбунов и Горчаков».

«Russian Literature Triquarterly», № 6 (Spring 1973) – в оригинале стихи «Любовь» («Я дважды пробуждался этой ночью...»); «Сретенье» («Когда она в церковь впервые внесла...»);

«Похороны Бобо» («Бобо мертва, но шапки недолой...»); «Одиссей Телемаку» («Мой Телемак, Троянская война...»).

«Change» (Summer 1973) – «Дидона и Эней» («Великий человек смотрел в окно...») в переводе Джорджа Клайна.

«Iowa Review», vol. 4, № 3 (Summer 1973) – «Anno Domini» («Провинция справляет Рождество...») и «Любовь» (Я дважды просыпался этой ночью...») в переводе Дэниела Уайсборта.

«Partisan Review», vol. 40, №. 2 (Summer 1973) – «Дидона и Эней» («Великий человек смотрел в окно...») в переводе Джорджа Клайна.

«Vogue», vol. 162, № 3 (September, 1973) – «Сретенье» («Когда она в церковь впервые внесла...») в переводе Джорджа Клайна.

«Atlantis», № 6 (Winter 1973/74) – «Элегия» в переводе Хью Максона.

«New York Review of Books» (December 30, 1973) – «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...») в переводе Джорджа Клайна.

Книги: Selected Poems (Избранные стихи). London, Penguin, 1973.

A Stop in the Desert. Ann Arbor: Ardis, 1973. Сборник стихов Бродского тиражом в 200 экземпляров в переводе Джеми Фуллер.

Debut. Ann Arbor: Ardis, 1973. Подарочный сборник стихов Бродского в переводе Карла Проффера тиражом 46 экземпляров.

А. Солженицын начинает работу над эпопеей «Архипелаг ГУЛАГ» (1973—1975). Май – в Ленинграде арестован за мошенничество Я. Лернер. В. Марамзин исключен из Союза писателей. А. Гинзбург эмигрировал во Францию, где вскоре вошел в редакцию газеты «Русская мысль», в которой регулярно публиковались стихи Бродского. В США начался Уотергейтский скандал, приведший в следующем году к отставке президента Никсона. Октябрь – «война Судного дня» между Израилем и Египтом.

1974*, 2 января* — Сборник «Selected Poems» вышел в США в твердом переплете.

4 марта — поэтический вечер Бродского в Университете штата Нью-Йорк *(State University of New York)*.

Весна — Пен-клуб устраивает прием в честь публикации «Selected Poems». Весенний семестр Бродский преподает в Мичиганском университете. Живет в Энн-Арборе, на *Plymouth Rd.*

22 мая — стихи на случай Виктору Голышеву «Старик, давным-давно из Ялты...», не опубликованы.

Лето — первая поездка в Швецию, см. «Шведская музыка» («Когда снег заметает море и скрип сосны...»).

Июнь — в Лондоне, остановился в Челси у Марго Пикен, см. «Темза в Челси» («Ноябрь. Светило, поднявшееся натощак...»). В компании Вероники Шильц, Алана и Дианы Майерс Бродский совершил путешествие по Англии по местам Джона Донна, Джорджа Херберта, Исаака Ньютона и Одена. См. цикл «В Англии».

18 июня — умер маршал Г. К. Жуков. Бродский в Голландии на Роттердамском международном поэтическом фестивале. Там же он написал «На смерть Жукова» («Вижу колонны замерших внуков...»). Познакомился с немецким поэтом Питером Хухелем.

Июнь — на Кипре.

21 июля — стихи «Война в убежище Киприды» («Смерть поступает в виде пули из...») как отклик на начало конфликта между турецкой и греческой общинами Кипра. Первоначально стихи назывались «Средиземноморское».

24 июля — арестован В. Марамзин за составление самиздате ко го пятитомного собрания сочинений Бродского.

Июль-август — статья «Иосиф Бродский в защиту Марамзина» (Хроника защиты прав человека в СССР. 1974. № 10). Перепечатано в английской и американской прессе – «The Times», № 59 (August 8, 1974), «New York Review of Books», vol. 21, № 14 (September 19, 1974).

25 августа – «Selected Poems» переизданы в мягкой обложке.

Октябрь – читает курс русской поэзии на русской кафедре и курс поэзии на кафедре компаративистики в нью-йоркском Куинс Колледже. Снимает квартиру на углу 89-й или 90-й улицы и Йорк-авеню – см. стихотворение «Над Восточной рекой» («Боясь расплескать, проношу головную боль...»).

28 октября – стихи на случай «Сегодня – день рожденья Барри...» своему переводчику Барри Рубину, не опубликованы.

15—17 ноября – беседа Октавио Паса, Бродского и Джонатана Аарона.

Осень — знакомство с Михаилом Барышниковым, вскоре переросшее в близкую дружбу. С осеннего семестра занимает пост почетного приглашенного профессора в синдикате пяти высших учебных заведений, расположенных по соседству друг с другом в штате Массачусетс *(Smith College, Mount Holyoke College, Amherst College, Hampshire College, the University of Massachuset)*. Живет в Нортхэмптоне.

Декабрь — в Венеции.

31 декабря — стихотворение «Хотя бесчувственному телу...», написанное на двух открытках с видами Венеции и с рисунком рыбы с сигаретой, посланных Андрею Сергееву. Публикация А. Сергеева.

Другие стихи 1974 года: «Барбизон Террас» («Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне...»); «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» («Мари, шотландцы все-таки скоты...»); «Песчаные холмы, поросшие сосной...»; «Потому что каблук оставляет следы – зима...»; «Ниоткуда с любовью...»; варианты «Литовского ноктюрна».

Стихи на английском: «The man of the year is an architect...„; «East 89th: Homeless dogs become wolves in Harlem".

Проза: рецензия на английские переводы книги Надежды Мандельштам «Hope Abandoned» и сборников стихов О. Мандельштама «Selected Poems» and «Complete Poetry of O.E. Mandelstam» под названием «Beyond Consolation», «New York Review of Books», vol. 21, № 1, February 7, 1974 (написана в 1973—1974); «Иосиф Бродский в защиту Марамзина» (Хроника защиты прав человека в СССР. 1974. № 10. Июль-август); «Enemies and Slaves», сокращенная версия письма Бродского в газету «Times» (London) в защиту Марамзина, «Index on Censorship», vol. 3, № 4 (Winter 1974).

Публикации в периодике:

«Континент» (1974. № 1) – «На смерть Жукова» («Вижу колонны замерших внуков...»); «Конец прекрасной эпохи» («Потому что искусство поэзии требует слов...»); «В озерном краю» («В те времена в стране зубных врачей...»).

ВРХД, № 112—113/ II—III (1974) – «Лагуна», напечатано под названием «Венеция» («Три старухи в глубоких креслах...»); «Это – ряд наблюдений. В углу – тепло...».

«Colorado Quarterly», vol. 21, № 4 (Spring, 1974) – «Рождественский романс» («Плывет в тоске необъяснимой...») в переводе Юджина Кайдена.

«Confrontation», № 8 (Spring 1974) – «Осенний вечер в скромном городке...» в переводе Джорджа Клайна.

«Michigan Daily» (June 14, 1974) – «Прачечный мост» («На Прачечном мосту, где мы с тобой...») в переводе Карла Проффера.

«Los Angeles Times» (June 16, 1974) – «Письма римскому другу» («Нынче ветрено и волны с перехлестом...») в переводе Джорджа Клайна.

«Massachusetts Review», vol. 15 (Fall 1974) – «Лагуна» («Три старухи с вязаньем в глубоких креслах...») в переводе Дэниела Уайсборта.

«Alumnae Review» (Bryn Mawr) (Fall 1974) – «В озерном краю» («В те времена в стране зубных врачей...») в переводе Джорджа Клайна.

«New York Review of Books», vol. 21, № 20 (December 12, 1974) – стихотворение «Elegy: to W.H. Auden» («The tree is dark, the tree

is tall...»), написанное на английском. Включено в сборник под редакцией Стивена Спендера: W.H. Auden: A Tribute. London: Weidenfield & Nicolson, 1974; New York: Macmillan, 1975.

Книги: Американское издание Selected Poems (New York: Harper & Row, 1974) в переводе Джорджа Клайна с предисловием У. Х. Одена.

The Funeral of Bobo. Ann Arbor: Ardis, 1974; вышла ограниченным тиражом в 250 экземпляров в переводе Ричарда Уилбера.

Февраль – Солженицын арестован, доставлен в Лефортовскую тюрьму и насильно выслан за пределы СССР. 1 апреля – обыск на квартире Михаила Хейфеца, у которого изъяли три тома лирики Бродского («Марамзинское собрание») и вступительную статью Хейфеца «Иосиф Бродский и наше поколение». Самого Хейфеца арестовали через три недели и осудили на четыре года лагерей и два года ссылки. Апрель – В. Максимов эмигрировал во Францию, где при поддержке западногерманского магната Акселя Шпрингера основал журнал «Континент», в редколлегию которого вошел и Бродский. В США под угрозой импичмента президент Ричард Никсон уходит в отставку и его пост занимает Джеральд Форд.

1975*, январь* – Бродский в Риме.

14 мая – вторая встреча с Робертом Лоуэллом в Бостоне. Много говорили о Данте.

Лето – визит в Мексику по приглашению Октавио Паса на писательский конгресс вместе с Марком Стрэндом и Элизабет Бишоп; был в Мехико-Сити, навестил Паса в Гуэрнаваке, ездил на машине по Юкатанскому полуострову, где находятся архитектурные памятники майя (см. «Мексиканский дивертисмент», посвященный Октавио Пасу): «Гуэрнавака» («В саду, где М., французский протеже...»); «1867» («В ночном саду под гроздью зреющего манго...»); «Мерида» («Коричневый город. Веер...»); «В отеле „Континенталь“» («Победа Мондриана. За стеклом...»); «Мексиканский романсеро» («Кактус, пальма, агава...»); «К Евгению» («Я был в Мексике, взбирался на пирамиды...»); «Заметка для энциклопедии» («Прекрасная и нищая страна...»]. Цикл опубликован в журнале ВРХД (1976. № 3).

15 ноября – стихи на случай, продиктованные по телефону из Энн-Арбора, «For Lydia, on her birthday» («Emerging from the lands of hammer...»), не опубликованы.

20 ноября – поэтические чтения Бродского в Мичиганском университете.

Декабрь – первое посещение Флоренции. Накануне Рождества в Риме встречается с Кейсом Верхейлом и его друзьями.

Другие стихи 1975 года: «Полдень в комнате» («Полдень в комнате. Тот покой...», 1974—1975); «Колыбельная Трескового мыса» («Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады...»); «Осенний крик ястреба» («Северо-западный ветер его поднимает над...»); «Шорох акации» («Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска...»), первый вариант – 1974—1975 годы, закончил в 1977 году; «Классический балет есть замок красоты...».

Стихи на английском: «Old Europe looks quite boring...», не опубликовано, послано на новогодней открытке американскому поэту Полу Цвейгу.

Проза: эссе о Кавафисе «Pendulum's Song» («Песнь маятника»); рецензия на рассказ А. Долгуна – «Resisting the Machine», A review of Alexandr Dolgun's story, An American in the Gulag // New Lider, vol. 58, № 11 (May 26, 1975); «Victims. A Letter to the Editor in defence of VI. Maramzine», New York Review of Books, vol. 21, № 21 & 22 (January 23, 1975); письмо в «Le Monde» (13 February 1975) о Владимире Марамзине; речь для произнесения в Колорадо (на английском, весна 1975, не опубликована).

Публикации в периодике:

ВРХД, № 115/1 (1975) – «Памяти Т. Б.» («Пока не увяли цветы и лента...»).

Russian Literature Triquarterly, № 11 (Winter 1975) – «20 сонетов к Марии Стюарт».

Atlantic Monthly, vol. 235, № 1 (January, 1975) «Похороны Бобо» («Бобо мертва, но шапки недолой...») в переводе Ричарда Уилбера.

Vogue, vol. 165, № 2 (February, 1975) —«Пенье без музыки» («Когда ты вспомнишь обо мне...») в переводе Дэвида Ригсби.

Ghent Quarterly, № 1 (Summer 1975) – «North is South, and another couple...»: «East 89th: Homeless dogs become wolves in Harlem...».

Книги:

В Америке вышел сборник тиражом 500 экземпляров: Three Slavic Poets: Joseph Brodsky, Tymoteusz Karpowicz & Djordje Nikolic (Chicago: Elpenor Books, 1975). Включено стихотворение Бродского «Дидона и Эней» в переводе Джорджа Клайна.

21 февраля – после семимесячного заключения в одиночной камере суд приговорил В. Р. Марамзина к пяти годам условно. Апрель – вьетнамская война заканчивается поражением США и их союзников. 21 июля – Марамзину разрешено выехать из СССР; он поселился в Париже. 18 декабря – Н. Е. Горбаневская вместе с сыновьями покидает СССР.

1976, *1 января* – встречает Новый год в Риме в обществе Ефима Славинского, Нэнси Шили, Никиты и Нины Ставинских.

Январь – знакомство с Сюзан Зонтаг на обеде в ресторане по приглашению их общего издателя – фирмы «Farrar, Straus & Giroux».

31 января – Н. Горбаневская приезжает в Париж, начинает работать в журнале «Континент» и внештатником на радио «Свобода», где в 1983 году она сделала интервью с Бродским. Работа в «Континенте» связывает Горбаневскую со всеми публикациями Бродского в этом журнале с 1976 года.

12 мая – избран в Американскую академию наук и искусств.

Весна – преподает на кафедре славянских языков и литератур Мичиганского университета, Энн-Арбор. Читает лекцию в колледже Амхерст «Language as Otherland» («Язык как иная родина»).

2 июня – встречает в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке Л. В. Лосева с семьей.

Сентябрь – Лосевы квартируют у Бродского в Энн-Арборе.

Октябрь – Бродский приглашен в качестве почетного гостя на съезд Литовского культурного общества в США, состоявшийся в Чикаго.

Ноябрь – в течение недели десять выступлений в Орегонском университете, Юджин, штат Орегон. Встреча с Зофьей Капустинской в Нью-Йорке, где Бродский жил у своего приятеля-американца. Получил стипендию Гуггенхейма (Guggenheim Fellowship).

11 декабря – выступил с речью «Coincidence creates a shock...» («Совпадение приводит к потрясению...») на открытии выставки «Художники за амнистию» в Нью-Йорке.

13 декабря – в Нью-Йорке Бродский перенес обширный инфаркт; до конца года остается в больнице.

Стихи 1976 года: цикл «Часть речи» (1974—1976); цикл «В Англии» (1975—1977); «Декабрь во Флоренции» («Двери вдыхают воздух и выдыхают пар...»); «Новый Жюль Берн» («Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна...»).

Стихи на английском: «Having fled South pressed here by water...»; «Some day the sea...».

Проза: эссе «Less Than One» («Меньше самого себя»; на русский название ошибочно переведено как «Меньше единицы»); письмо в защиту Томаса Венцлова «The Fate of a Poet: Tomas Venclova», «The New York Review of Books», vol. 23, № 5 (April 1, 1976); предисловие к книге: Modern Russian Poets on Poetry. Ed. Carl Proffer. Selected and introduced by Joseph Brodsky. Ann Arbor: Ardis, 1976; «Making out of Moscow», рецензия на книгу Джорджа

Файфера «Moscow Farewell» // «New York Times Book Review» (April 18, 1976); эссе о Платонове, в переводе с русского Анни Эпельбуэн вошедшее в качестве предисловия в кн.: La Mer de Jouvence. Traduit du russe et preface par Annie Epelboin; Suivi de Andrei Platonov par Iossif Brodski. Paris: Albin Michel, 1976; эссе о «Международной амнистии» («America inherited its model of state from Athen...»), написано весной 1976 года.

Переводы: Александр Ват «Быть мышью» («Быть мышью. Лучше всего полевой. Или – садовой мышью...»); Збигнев Херберт «Дождь» («Когда старший мой брат...»); Чеслав Милош «Элегия Н. Н.» («Неужели тебе это кажется столь далеким...»), «Континент» (1976. № 8); Томас Венцлова «Памяти поэта. Вариант» («Вернулся ль ты в воспетую подробно...»), «Континент» (1976. № 9).

Публикации в периодике:

ВРХД, № 117/ I (1976) – «Темза в Челси» («Ноябрь. Светило, поднявшееся натощак...»).

ВРХД, № 119/III/IV (1976) – «Мексиканский дивертисмент» (семь стихотворений).

«Континент» (1976. № 6) – «Посвящается Ялте» («История, рассказанная ниже...»).

«Континент» (1976. № 7) – «Колыбельная Трескового мыса» («Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады...»).

«Континент» (1976. № 10) – цикл «Часть речи»; «Торс» («Если вдруг забредаешь в каменную траву...»); «Осенний вечер в скромном городке...» и «Декабрь во Флоренции» («Двери вдыхают воздух и выдыхают пар, но...»).

«New Yorker», vol. 52, № 4 (March 15, 1976) – «Бабочка» («Сказать, что ты мертва...») в переводе Джорджа Клайна.

«Mademoiselle», vol. 82, № 5 (May, 1976) —«В озерном краю» («В те времена в краю зубных врачей...») в переводе Джорджа Клайна.

«Massachusetts Review», vol. 17 (Summer 1976) – «Памяти Т.Б.» («Пока не увяли цветы и лента...») в переводе Пола Цвейга.

1977*, январь* – В «Ардисе» вышло два сборника стихов – «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи».

Февраль – «Развивая Платона» (Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река...», есть датировка 1976 год).

Апрель – Бродский подписал договор на съём квартиры в доме профессора Нью-Йоркского университета Эндрю Блейна по адресу: дом 44, Мортон-стрит в Нью-Йорке. Представляет Беллу Ахмадулину на ее поэтическом вечере в Нью-Йорке; см.: «Why Russian Poets?» «Vogue», vol. 167, № 7 (July, 1977). Подарил мужу Ахмадулиной, художнику Борису Мессереру, стихи на случай

«Когда я думаю о Боре, о Боре, о его напоре...».

24 мая – ко дню рождения Бродского Л. и Н. Лосевыми издан цикл «В Англии» (Энн-Арбор: Ардис, 1977) тиражом 60 экземпляров.

Июнь – Бродский переехал в Нью-Йорк, в Гринвич-Виллидж, в квартиру в доме 44 на Мортон-стрит, где он жил до 1993 года.

4 июля – «Пятая годовщина (4 июня 1977)» («Падучая звезда, тем паче – астероид...»).

25 августа – «Письма династии Минь» («Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки...»).

Лето – в Энн-Арборе поселился эмигрировавший из СССР друг юности Бродского Г. И. Гинзбург-Восков.

12 сентября – умер Роберт Лоуэлл.

16 сентября – Бродский прилетел в Бостон на похороны Лоуэлла, после похорон, на квартире Элизабет Бишоп он познакомился с Дереком Уолкоттом.

11 октября – Бродский получил американское гражданство.

Ноябрь – Бродский в Англии.

26 ноября – читал стихи для трех русских слушательниц, включая составителя этой хронологии, в квартире Милы Куперман в Хэмстеде, Лондон.

28 ноября – в Лондоне участвует в семинаре на тему «Language as the Other Land».

12 декабря – первое выступление Бродского в Париже.

Декабрь – Бродский на Биеннале в Венеции; вместе с Сюзан Зонтаг навещает вдову Эзры Паунда Ольгу Радж. Бродский получил письмо от Солженицына, в котором тот пишет, что с интересом читает все, что Бродский печатает в русских журналах.

Другие стихи 1977 года: «Квинтет» («Веко подергивается. Изо рта...», 1976—1977); «Сан-Пьетро» («Третью неделю туман не слезает с белой...»); закончил стихотворение «Шорох акации» («Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска...»); «Письма династии Минь» («Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки...»).

Стихи на английском: «Elegy: For Robert Lowell» («In the autumnal blue...»); «Sextet».

Проза: «On Cavafy's Side», «New York Review of Books», vol. 24, № 2 (17 Febr., 1977), рецензия на книгу: Keeley E. Cavafy's Alexandria: Study of a Myth in Progress; «The Art of Montale», рецензия на сборники переводов C. Singh, New Poems и A. Hamilton, Poet in Our Time, «New York Review of Books», vol. 24, № 10 (June 9, 1977), включено в сборник эссе «Less Than One» под названием «In the Shadow of Dante»; «The Child of Civilization» («Сын цивилизации»), предисловие к книге: Osip Mandelstam: 50

Poems. Tr. Bernard Meares. N.Y.: Persea Books, 1977; «The Geography of Evil» («География зла»), «Partisan Review» (vol. 54, № 4, Winter 1977) в переводе Барри Рубина, восторженный отзыв Бродского на английское издание «Архипелага ГУЛаг»; предисловие к антологии «Modern Russian Poets on Poetry» (Ann Arbor: Ardis, 1977).

Переводы: Джордж Оруэлл «Убивая слона», альманах «Глагол». «Ардис» (1977. № 1).

Публикации в периодике:

«Континент» (1977. № 11) – цикл «Литовский дивертисмент».

«Время и мы» (1977. № 17) – «Осень. Оголенность тополей...»; «Памяти профессора Браудо» («Люди редких профессий редко, но умирают...»); «Aqua Vita Nuova„ („Шепчу „прощай“ неведомо кому...“); „Страх“ („Вечером входишь в подъезд, и звук...“); „Коньяк в графине – цвета янтаря...“; «С красавицей налаживая связь...“.

«Континент» (1977. № 13) – цикл «В Англии».

«Континент» (1977. № 14) – «Шорох акации» («Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска...»); «Письма династии Минь» («Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки...»); «Развивая Платона» («Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река...»); «Осень в Норенской» («Мы возвращаемся с поля. Ветер...»).

ВРХД, № 3 (122) —«Новый Жюль Берн» («Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна»).

ВРХД, № 4 (123) – «Твой локон не свивается в кольцо...»; «Менуэт» («Прошла среда и наступил четверг...»).

«Paintbrush», vol. 4, № 7/8 (Spring-Autumn, 1977) – «Второе Рождество на берегу...» в переводе Джорджа Клайна.

«Modern Poetry in Translation», № 31 (Summer 1977) – «Лагуна» («Три старухи с вязаньем в глубоких креслах...») в переводе Дэниела Уайсборта (перепечатано из «Massachusetts Review», vol. 15, Fall 1974).

«New Yorker», vol. 53, № 37 (October 1977) – «Elegy: For Robert Lowell», написано по-английски.

«New Yorker», vol. 53, № 41 (November 28, 1977) – «Темза в Челси» («Ноябрь. Светило, поднявшееся натощак...») в переводе Дэвида Ригсби.

1978*, 21 февраля* — Выступление Бродского в университете штата Айова. См. ответы на вопросы после выступления под названием «В Солженицыне Россия обрела своего Гомера» в сб.: Бродский: Книга интервью (М.: Захаров, 2005, составитель В. Полухина).

Весна — Бродский в Англии в качестве приглашенного

профессора *(visiting fellow)* в Кембриджском университете. Приглашение организовал сэр Исайя Берлин.

Март — составитель хронологии организовала несколько выступлений Бродского в британских университетах: *6 марта* — поэтический вечер в Килском университете; 7 *марта* — семинар, посвященный Одену, в Килском университете; *9 марта* — выступление Бродского в Оксфорде.

Апрель – принял участие в конгрессе Пен-клуба в Бразилии.

Май – Йельский университет присвоил Бродскому звание почетного доктора.

Лето – «Речь о Чеславе Милоше» (Presentation of Czesław Miłosz to the Jury) // World Literature Today, vol. 52, № 3 (Summer 1978).

Июль – поездка в Исландию по следам Одена.

22 июля (день рождения Марины Басмановой) – стихи «Полярный исследователь» («Все собаки съедены. В дневнике...»; есть дата 1977) и «Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной...».

24 августа – эмигрировал Сергей Довлатов.

Осень – в качестве приглашенного профессора читает лекции в Колумбийском университете, Нью-Йорк.

5 декабря – первая операция на сердце (шунтирование). *17 декабря* – выписан из больницы. Бродский в очередной раз посылает приглашение родителям, и они опять получают отказ.

Другие стихи 1978 года: «Восславим приход весны! Ополоснем лицо...»; «Время подсчета цыплят ястребом...»; «Помнишь свалку вещей на железном стуле...»; «Строфы» («Наподобье стакана...»); «Шведская музыка» («Когда снег заметает море и скрип сосны...»); «Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица...».

Стихи на английском: в переводе автора «Rio Samba» («Come to Rio, oh come to Rio...»), см.: Brodsky J. Collected Poems. Manchester: Carcanet, 2000.

Проза: Эссе о Сталине по-английски «Now that he is dead for so long...», не опубликовано; предисловие к стихам Э. Лимонова, «Континент» (1978. № 15); «Посвящается позвоночнику», «Континент» (1990. № 63), в переводе А. Сумеркина и автора под названием «After a journey, or Homage to Vertebrae» включено в «On Grief and reason» (N.Y.: Farrar, Straus & Giroux, 1995); «На стороне Кавафиса», в переводе Л. Лосева в парижском журнале «Эхо» (1978. № 2); презентация Чеслава Милоша, «World Literature Today», vol. 52. № 3 (Summer 1978): Essay on exile «The writer in exile...».

Публикации в периодике:

«Эхо» (1978. № 1) – «Лети отсюда, белый мотылек...» (1960); «Пограничной водой наливается куст...» (1962); «Ночной полет» («В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч...», 1962); «Нет, Филомела, прости...» (1964); цикл «Камерная музыка», 1964—1965; «В деревне, затерявшейся в лесах...» (1964); «Румянцевой победам» («Прядет кудель под потолком...», 1964); «Сонет» («Прислушиваясь к грозным голосам...», 1964); «Сокол ясный, головы...» (1964); «Сонет» («Ты, Муза, недоверчива к любви...»); «Ex Ponto. Последнее письмо Овидия в Рим» (отрывок); «Тебе, чьи миловидные черты...» (1964—1965); «Зимняя почта» («Я, кажется, пою тебе одной...» 1964); «Отрывок» («Октябрь – месяц грусти и простуд...», 1967); «Отрывок» («Ноябрьским днем, когда защищены...», 1966-1967).

«Эхо» (1978. № 3) – поэма «Зофья» («В сочельник я был зван на пироги...», апрель 1962).

«Континент» (1978. № 18) – «Строфы» («Наподобье стакана...», 1978), «Сан-Пьетро» («Третью неделю туман не слезает с белой...», 1977); «Время подсчета цыплят ястребом, скирд в тумане...», 1978; «Шведская музыка» («Когда снег заметает море и скрип сосны...», 1978); «Ода весне» («Восславим приход весны! Ополоснем лицо...», 1978); «Помнишь свалку вещей на железном стуле...» (1978).

ВРХД, № 3 (126), 1978 – «Полдень в комнате» («Полдень в комнате. Тот покой...», 1974—1975).

«Bananas», № 11 (Summer, 1978) – «Северный Кенсингтон» («Шорох „Ирландского Времени“, гонимого ветром по...»; «Одному тирану» («Он здесь бывал: еще не в галифе...»); «Сохо» («В венецианском стекле, окруженном тяжелой рамой...») в переводе Алана Майерса.

«New Yorker», vol. 53, № 51 (February 6, 1978) – «Брайтон-рок» («Ты возвращаешься, сизый цвет ранних сумерек...») в переводе Алана Майерса.

«Poetry», vol. 131, № 6 (March 1978) —в переводе Дэниела Уайсборта опубликовано 19 стихотворений из цикла «Часть речи»: «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...»; «Север крошит металл, но щадит стекло...»; «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...»; «Это – ряд наблюдений. В углу– тепло...»; «Потому что каблук оставляет следы – зима...»; «Деревянный Лаокоон, сбросив на время гору...»; «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле...»; «Что касается звезд, то они всегда...»; «В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте...»; «Около океана, при свете свечи; вокруг...»; «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...»; «Темно-синее утро в заиндевевшей раме...»; «С точки зрения воздуха, край земли...»;

«Заморозки на почве и облысение леса...»; «Всегда остается возможность выйти из дому на...»; «Итак, пригревает. В памяти, как на меже...»; «Если что-нибудь петь, то перемену ветра...»; «...и при слове „грядущее“ из русского языка...»; «Я не то что схожу с ума, но устал за лето...».

«New Yorker», vol. 54, № 14 (May 22, 1978) – «Ист Финчли» («Вечер. Громоздкое тело тихо движется в узкой...»).

«New Yorker», vol. 54, № 18 (June 19, 1978) – «Иорк» W.H.A. («Бабочки Северной Англии пляшут над лебедою...»).

«New Yorker», vol. 54, № 22 (July 17, 1978) – «Одному тирану» («Он здесь бывал: еще не в галифе...») в переводе Алана Майерса.

«New Yorker», vol. 54, № 32 (September 25, 1978) – «Торс» («Если вдруг забредаешь в каменную траву...») в переводе Говарда Мосса.

«New York Review of Books», vol. 25 (October 12, 1978) —цикл «Литовский дивертисмент» в переводе Алана Майерса.

«New York Review of Books», vol. 25, № 19 (December 7, 1978) – цикл «Мексиканский дивертисмент» в переводе Алана Майерса и автора.

«New York Review of Books», vol. 25, № 20 (December 21, 1978) – «24 декабря 1971 года» («В Рождество все немного волхвы...») в переводе Алана Майерса и автора.

«American Scholar», vol. 48 (Winter 1978) – «Закричат и захлопочут петухи...» в переводе Джонатана Брента.

«Iowa Review», vol. 9, № 4 (Winter 1979) – «Шорох акации» («Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска...») и «Осень в Норенской» («Мы возвращаемся с поля. Ветер...») в переводе Дэниела Уайсборта и автора.

Книги:

На немецком языке вышел сборник стихов Бродского в переводах «Einem Alten Architekten in Rom» (München-Zürich: R. Piper & Co. Verlag, 1978).

К поэтическим чтениям Бродского в Британских университетах весной 1978 года В. Полухина напечатала двуязычную программу-брошюру «Poems and Translations» (University of Keele, 1978) в переводе Джорджа Клайна.

1979*, январь* — отдыхает в Нью-Йорке после операции на сердце.

Февраль — посетил Сент-Люсию (Вест-Индия), навещая Дерека Уолкотта, выступал вместе с ним. Принимал участие в симпозиуме по проблемам поэтического перевода в университете штата Мэриленд.

23 мая — становится членом Американской академии

(American Academy and Institute of Arts and Letters).

8—11 июня — участвовал в международном фестивале поэзии в Кембридже, Англия; вечер Бродского 8 июня.

14 июня — чтения вместе с Дэниелом Уайсбортом в Поэтическом обществе, Лондон. В. Полухина пригласила на вечер княжну С. Н. Андроникову, приятельницу Ахматовой и «соломинку» из стихов Мандельштама, познакомив ее с Бродским.

15 июня — 53 конгрессмена США подписывают письмо Брежневу с просьбой разрешить Марии Моисеевне Бродской навестить сына. Бродский продолжает ежегодно посылать приглашение родителям.

Лето — награжден премией Монделло (Италия). Поездка в Лиссабон.

Август — Бродский принял участие в судьбе Александра Годунова, танцора Большого театра, решившего остаться в Америке. Приглашен преподавать в Колумбийском университете.

Нет стихов, датированных 1979 годом. Изучение архивных материалов заставляет предположить, что стихи в 1979 году Бродский писал, но, видимо, не был удовлетворен ничем из написанного, считая необходимой дальнейшую работу над текстами.

Стихи на английском: «North is South, and another couple...»; «Tampa, FLA»; «Like Theseus going al fresco from...» (не опубликованы).

Проза: «О стихах Лосева», журнал «Эхо» (1979. № 4); эссе – «On Tyranny» («О тирании»), «Parnassus», vol. 8, № 1 (Fall/Winter 1979); «A Guide to a Renamed City» («Путеводитель по переименованному городу») под названием «Leningrad: The City of Mistery» опубликовано в журнале «Vogue», vol. 169, № 9 (Sept. 1979), в переводе Л.Лосева в альманахе «Часть речи» (1980. № 1); «Less Than One», «The New York Review of Books», vol. 26, № 14 (27 Sept. 1979); эссе «Поэт и проза» в качестве предисловия к книге: *Цветаева М. И.* Избранная проза. В 2 т. N.Y.: Russica Publishers, 1979.

Переводы: Э. М. Чоран «Преимущества изгнания» (из книги «Искушение быть»), перевод под редакцией Иосифа Бродского, «Эхо» (1979. № 1); перевод стихотворения В. Набокова «Демон», «The Kenyon Review» (New Series), vol. 1, № 1 (Winter 1979).

Публикации в периодике:

«New Yorker», vol. 54, № 46 (January 1, 1979) – «Шесть лет спустя» («Так долго вместе прожили, что вновь...») в переводе Ричарда Уилбера.

«The Kenyon Review» (New Series), vol. 1, № 1 (Winter 1979) –

«1972 год» («Птица уже не влетает в форточку...») в переводе Алана Майерса.

«New Yorker», vol. 55, № 4 (March 12, 1979) – «Развивая Платона» («Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река...») в переводе Джорджа Клайна.

«Empyria», vol. 1 (Spring, 1979) – «Four Sonnets», написано на английском.

«New Yorker», vol. 55, № 11 (April 30, 1979) – «Сан-Пьетро» («Третью неделю туман не слезает с белой...») в переводе Барри Рубина.

«Yale Literary Magazine», vol. 148, № 1 (Spring 1979) – «Большая элегия Джону Донну» («Джон Донн уснул. Уснуло все вокруг...») в переводе Андрея Наврозова.

«New York Review of Books», vol. 26, № 14 (September 27, 1979) – «Less Than One».

«New Yorker», vol. 55, № 16 (June 4, 1979) – «Я всегда твердил, что судьба – игра...» в переводе Говарда Мосса.

«New York Review of Books», vol. 26 (December 20, 1979) – восемь стихотворений из цикла «Часть речи» в автопереводе: «Я родился и вырос в балтийских болотах...»; «Север крошит металл, но щадит стекло...»; «Это – ряд наблюдений. В углу – тепло...»; «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...»; «Около океана, при свете свечи; вокруг...»; «Всегда остается возможность выйти из дому на...»; «...и при слове „грядущее“ из русского языка...»; «Я не то что схожу с ума, но устал за лето...».

Книги: в Польше в подпольном издательстве «NOW» вышли «Стихотворения и поэмы» Бродского – «Wiersze i Poematy» в переводах Станислава Бараньчака (Warszawa: NOW, 1979).

В Италии вышла книга «Fermata nel Deserto» (Milan: Arnaldo Mondadori Editore, 1979) в переводе Джанни Буттафава.

В Москве выпущен неподцензурный альманах «Метрополь», переизданный в США «Ардисом». Февраль – Юз Алешковский приехал в США, где поселился в городе Миддлтаун, штат Коннектикут.

Апрель – в числе пяти политзаключенных Александра Гинзбурга обменяли на двух советских шпионов. В конце 1979 года Дмитрий Бобышев прибыл в США на постоянное местожительство. Декабрь – советские войска вторглись в Афганистан.

1980*, январь* — поэтические вечера в Вест-Индии вместе с Дереком Уолкоттом и Марком Стрэндом.

4 февраля — Бродский представил Дерека Уолкотта в поэтическом центре при YMHA (Young Men Hebrew Association) в

Нью-Йорке. Дерек Уолкотт рассказал, как они с Иосифом работали над переводом стихотворения «Письма династии Минь» («Скоро тринадцать лет, как соловей...»), которое вскоре было опубликовано в журнале «Нью-Йоркер».

28 февраля — большой вечер Бродского в Энн-Арборе.

Февраль—май — семинары и лекции в Мичиганском университете.

Март — поэтический вечер в Миннесотском университете.

8 апреля — объявление о присвоении Бродскому звания почетного члена общества Phi Beta Карра в Гарвардском университете.

13 апреля — церемония вручения Бродскому звания почетного члена Мичиганского университета.

Май — лекция в Публичной библиотеке Нью-Йорка, «As I stand tonight before you...». В Нью-Йорке в честь 40-летия Бродского вышел новый альманах «Часть речи», в первый номер которого включены стихи из одноименного цикла.

24 мая – Бродский с друзьями отмечает свое 40-летие. Пишет стихи «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». Газета «Новый Американец» опубликовала стихи «Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою...».

Июнь – Второй английский сборник стихов Бродского «Part of Speech» (N.Y.: Farrar, Straus & Giroux, 1980).

Август – участвует во Втором международном фестивале поэзии в Риме. Живет на вилле Медичи.

22 сентября – прием в честь Бродского в Нью-Йорке, где его представляет Дерек Уолкотт.

1 октября – совместный с Уолкоттом поэтический вечер в колледже Гартвик, в штате Нью-Йорк.

Осень – Бродский преподает в Нью-Йоркском университете вместе с Дереком Уолкоттом, их курс часто посещает Сюзан Зонтаг. Выступления в Калифорнийском университете в Беркли, где его представляет Чеслав Милош, и в Сан-Франциско. Бродский впервые был номинирован на Нобелевскую премию, которую получил Чеслав Милош. Принял постоянную должность профессора в так называемых «пяти колледжах» (Амхерст, Смит, Маунт-Холиок, Хэмпшир и Амхерстское отделение Массачусетского университета), где преподавал каждый весенний семестр до конца своей жизни.

Декабрь – рождественские стихи «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...».

Другие стихи 1980 года: «Как давно я топчу, видно по каблуку...»; «Стихи о зимней кампании 1980 года» («Скорость пули при низкой температуре...»); «То не Муза воды набирает в

рот...» (посвящено МБ); «Эклога 4-я (зимняя)» («Зимой смеркается сразу после обеда...»), есть датировка – 1977 год; «Восходящее желтое солнце следит косыми...»; «Время подсчета цыплят ястребом...»; «Макростих» (1977-1980).

Стихи на английском: «Cafe Trieste: San Francisco» («To this corner of Grant and Vallejo...»), «The Berlin Wall Tune» («This is the house destroyed by jack...»), «A Season» («The time of the hawk counting chicken, of haystacks in...»).

Проза: «С днем рождения, „Новый Американец“» (Новый Американец. 1980. № 1. 8—14 февр.); «В последнюю минуту», «Эхо» (№ 3) (лето 1980; к аресту К. Азадовского; в переводе на английский «The Azadovsky Affair», «New York Review of Books», vol. 28, № 15, Oct. 8, 1981); эссе о Милоше «A True Child and Heir of the Century», «New York Times» (Oct. 10, 1980); эссе о Достоевском «The Power of the Elements» («Власть стихий»); эссе «Об одном стихотворении», написанное по-русски в качестве предисловия к собранию Марины Цветаевой «Стихотворения и поэмы в пяти томах» (N.Y.: Russica Publishers, 1980—1983), «Playing games», «The Atlantic Monthly», vol. 245, № 6 (June 1980); предисловие к книге: Kis D. A Tomb for Boris Davidovich. London, Penguin, 1980; «To be Continued», «PENewsletter», № 43 (May 1980); «Dostoevsky: A Petit-Bourgeois Writer», Strand, vol. 22, No. 4 (Winter 1981), в переводе А. Сумеркина под названием «О Достоевском» в литературном сборнике «Russica-81» (N.Y.: Russica, 1981); из неопубликованного: «Как быстро стать левым в Америке...»; «Общество состоит из трех классов...» (конец 1970-х – начало 1980-х).

Переводы: Чеслав Милош «Элегия Н. Н.» («Неужели тебе это кажется столь далеким...»), вместе с заметкой Бродского «Сын века» (в переводе Льва Штерна) (Новый Американец. 1980. 9– 14 нояб.), перепечатано из журнала «Континент» (1976. № 8).

Публикации в периодике:

«Эхо» (1980. № 1) – эссе «Меньше, чем единица» в переводе Л. Лосева (впоследствии Лосев исправил свой перевод названия на более точный – «Меньше самого себя»).

«Эхо» (1980. № 4) – «Я пил из этого фонтана...».

«Новый Американец» (1980. № 1. 8—14 февр.) – «Классический балет есть замок красоты...».

«Часть речи» (1980. № 1. Май) – «Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной...»; «Время подсчета цыплят ястребом...»; «Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою...»; «Как давно я топчу, видно по каблуку...»; «Восходящее желтое солнце следит косыми...» (есть дата– 1978) и «Полярный исследователь» («Все собаки съедены. В дневнике...»). Там же эссе «Ленинград» в

переводе Л. Лосева.

«Новый Американец» (1980. № 15. 23—29 мая) – «Осенний вечер в скромном городке...»; из «Сонетов к Марии Стюарт» («Мари, шотландцы все-таки скоты...»); «Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою...»; «Восходящее желтое солнце следит косыми...»; «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...»; «На смерть Жукова» («Вижу колонны замерших внуков...»); «Одному тирану» («Он здесь бывал: еще не в галифе...»).

«Континент» (1980. № 26) – «Эклога 4-я (зимняя)» («Зимой смеркается сразу после обеда...», 1980).

«Новый Американец» (1980. № 43. 3—9 дек.) – «Зимним вечером в Ялте» («Сухое левантийское лицо...»); «На смерть друга» («Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд...»); «В деревне Бог живет не по углам...»; «Песня невинности, она же – опыта» (1. «Мы хотим играть на лугу в пятнашки...». 2. «Наши мысли длинней будут с каждым годом...». 3. «Соловей будет петь нам в зеленой чаще...»; 1. «Мы не пьем вина на краю деревни...». 2. «Мы не видим восходов из наших пашен...». 3. «Мы боимся смерти, посмертной казни...»).

TLS, № 4007 (January 11, 1980) – «Чаепитие» («Сегодня ночью снился мне Петров...») в переводе Ричарда Маккейна.

«New Yorker», vol. 55, № 50 (January 28, 1980) – «Письма династии Минь» в переводе Дерека Уолкотта.

«Columbia», № 4 (Spring/Summer 1980) – «Колыбельная Трескового мыса» («Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады...») в переводе Энтони Хекта.

«Paris Review», vol. 22, № 77 (Winter/Spring 1980) – «Лагуна» («Три старухи с вязаньем в глубоких креслах...») в переводе Энтони Хекта.

«Stand», № 21 (Spring 1980) «Строфы» («Наподобье стакана...») в переводе Дэвида Макдаффа.

«New York Review of Books», vol. 27, № 7 (May 1, 1980) – «Декабрь во Флоренции» («Двери вдыхают воздух и выдыхают пар, но...») в автопереводе.

«Vogue», vol. 170, № 5 (May 1980) «Строфы» («Наподобье стакана...») в переводе Дэвида Макдаффа. Перепечатано из журнала «Stand», № 21 (Spring 1980).

TLS, № 4046 (October 17, 1980) – «Полярный исследователь» («Все собаки съедены. В дневнике...») в переводе Ф. Ф. Мортона (псевдоним Бродского, основанный на его нью-йоркском адресе: Forty-Four Morton Street).

Книги: в Лондоне в издательстве «Anvil Press Poetry» в ограниченном количестве экземпляров вышел сборник «Verses on the Winter Campaign 1980» в переводе Алана Майерса.

Массовые забастовки в Польше, организованные независимым профсоюзом «Солидарность». Нобелевскую премию по литературе получает Чеслав Милош.

1981*, январь – май* — в течение пяти месяцев является стипендиатом Американской академии в Риме. Жил рядом с академией на улице Джакомо Медичи. Прочитал цикл лекций на вилле Мирафьори. Начало дружбы с итальянским историком Бенедеттой Кравери, которой посвящены «Римские элегии».

7—13 января — в газете «Новый Американец» (1981. № 48) опубликован перевод песни группы «Beatles» «Yellow Submarine» – «Желтая подводная лодка» («В нашем славном городке...»).

Февраль — «Пьяцца Маттеи» («Я пил из этого фонтана...»).

Апрель — знакомство со слависткой Аннелизой Аллева на кафедре славянской филологии Римского университета после лекции о «Новогоднем» М. Цветаевой. Ей адресованы «Элегия» («Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы...», 1986); «Ария» (1987); «Ночь, одержимая белизной» (1987).

Май-июнь — в Риме.

Начало июня — Бродский приехал из Рима в Лондон.

5—10 июня — Бродский принимает участие в литературном фестивале в Кембридже: *6 июня* — Бродский читает стихи в Кембридже вместе с Энтони Хектом и Стэнли Кьюницем; *8 июня* — Бродский читает стихи и подписывает книги в книжном магазине «Hiffers' Bookshop» (Кембридж); *9 июня* — день посвящен Мандельштаму, Бродский принимает участие в обсуждении переводов Мандельштама на английский вместе с Генри Гиффордом, Дэвидом Макдаффом и Берни Мирсом; *10 июня* — вечер Бродского в Кембридже.

Лето — поездка в Шотландию, где он в течение месяца жил у друзей на ферме недалеко от городка Анструтера. См. стихотворение «Прилив» («В северной части мира я отыскал приют...»).

Август — вернулся в Нью-Йорк.

10 сентября — уехал в Массачусетс преподавать в «Пяти колледжах». Жил по адресу 40 Woodbridge Street, South Hadley, MA. Эту половину старинного дома он продолжал арендовать до

конца жизни.

22 сентября — принимает участие в дискуссии «О писателях и политике» в Нью-Йоркском гуманитарном институте вместе с Чеславом Милошем и редактором «New York Review of Books» Робертом Силвером.

Октябрь — письмо протеста в защиту К. Азадовского, «The Azadovsky Affair», «New York Review of Books», vol. 28, № 15 (October 8, 1981).

Осень — выступление и поэтические чтения в Торонто на Конгрессе писателей по правам человека. Бродскому присуждена так называемая «премия гениев» – стипендия Фонда Макартуров (40 тысяч долларов в год в течение пяти лет).

Другие стихи 1981 года: «Горение» («Зимний вечер. Дрова...»); «Прилив» («В северной части мира я отыскал приют...»); «Эклога 5-я (летняя)» («Вновь я слышу тебя, комаринная песня лета!..»); «Я был только тем, чего...»; цикл «Римские элегии»; «Бюст Тиберия» («Приветствую тебя две тыщи лет...»); «Полонез: вариация» («Осень в твоем полушарьи кричит „курлы“...»); «К Урании» («У всего есть предел: в том числе у печали...»).

Стихи на английском: «A Martial Law Carol» («One more Christmas ends...»); «Allenby Road» («At sunset, when the paralyzed street gives up...»); «Dutch Mistress» («A hotel in whose ledgers departures...»).

Проза: «Dostoevsky: A Petit-Bourgeois Writer», «Stand», vol. 22, № 4 (Winter 1981); «Nadezhda Mandelstam (1899-1980). An Obituary», «The New York Review of Books», vol. 28 (March 5, 1981); в переводе А. Батчана в «Новый Американец» (1981. № 57. 10—16 марта); «Anthony Hecht and the Art of Poetry», «Envoy: The Newsletter of the Academy of American Poets» (Fall/Winter, 1981/1982); в книге: The Burdens of Formality: Essays on the Poetry of Anthony Hecht (Athens: University of Georgia Press, 1990); «Virgil: Older than Christianity. A Poet for the New Age», «Vogue», vol. 171 (October, 1983); Наша анкета: заочное заседание редколлегии журнала «Континент» (1981. № 29).

Публикации в периодике:

«Эхо» (№ 4) – «Пьяцца Маттеи» («Я пил из этого фонтана...»; стихи датированы февралем 1981 года, хотя на обложке журнала-1980).

«Континент» (1981. № 29) – «Стихи о зимней кампании» («Скорость пули при низкой температуре...»).

«Континент» (1981. № 30) – цикл «Римские элегии»; «Эклога 5-я (летняя)» («Вновь я слышу тебя, комариная песня лета!..»).

«Russica-81» – «Колокольчик звенит...» (1965).

«The New York Review of Books», vol. 28, № 11 (February 5, 1981) – автоперевод стихотворения «Время подсчета цыплят ястребом, скирд в тумане...».

«New Yorker», vol. 57, № 21 (July 13, 1981) – автоперевод «Черепица холмов, раскаленная летним полднем...», 3-я элегия из цикла «Римские элегии». Перепечатано в Amacademy: The Newsletter of the American Academy in Rome, vol. 4, no. 1 (Summer 1981).

«The New York Review of Books», vol. 28 (Sept. 24, 1981) – «Стихи о зимней кампании 1980 года» («Скорость пули при зимней температуре...») в переводе Алана Майерса.

«Parnassus», vol. 9, no. 1 (Spring/Summer 1981) – эссе «Поэт и проза» в переводе Барри Рубина.

«New York Review of Books», vol. 28 (December 17, 1981) – «The Berlin Wall Tune» («This is the house destroyed by Jack...»).

В Лондоне вышел роман Феликса Розинера «Некто Финкельмайер», фабула которого напоминает историю преследований Бродского в Советском Союзе. В издательстве «Ардис» выходит первый сборник стихов Ю. Кублановского «Избранное», составленный Бродским.

12 сентября – в Милане умер итальянский поэт Эудженио Монтале. 13 декабря – в Польше введено военное положение с целью подавления оппозиционного движения.

1982*, 1 февраля* – в Нью-Йорке Бродский, польский поэт и переводчик Станислав Бараньчак и Сюзан Зонтаг приняли участие в дискуссии о роли писателя в Польше.

Февраль – выступает на митинге профсоюзов и левой интеллигенции в поддержку польской «Солидарности».

Лето – в Лондоне и Голландии.

Осень – второе выступление Бродского в Калифорнийском университете Беркли. Бродский часто ездит в Вашингтон навещать Карла Проффера, который лечился от рака в онкологической клинике г. Александрия, неподалеку от Вашингтона. После смерти Проффера Бродский посвящает ему стихи «В окрестностях Александрии» («Каменный шприц впрыскивает героин...»).

29 октября – Бродский написал письмо президенту Гарвардского университета в защиту Дерека Уолкотта, обвиняемого студенткой в сексуальных домогательствах. Его поддержали Роджер Страус и Сюзан Зонтаг.

10 ноября – умер Л. И. Брежнев. Бродский отозвался на это стихами «Epitaph to a Tyrant» («He could have killed more than he could have fed...»).

Осень – Рочестерский университет штата Нью-Йорк присвоил Бродскому звание доктора *honoris causa.*

Декабрь – на Рождество Бродский приехал в Венецию, где жил сначала в гостинице «Europa-Regina» на Большом канале, потом до 15 января 1983 года в квартире одного из потомков венецианского поэта Уго Фосколо рядом с церковью Санта-Мария делла Фава.

Другие стихи 1982 года: «Венецианские строфы (1)» («Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая...»); «Венецианские строфы (2)» («Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус...»); «Келломяки» («Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны...»); «Понимаю, что можно любить сильней...»; «Точка всегда обозримей в конце прямой...»; «Элегия» («До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу...»).

Переводы: Чеслав Милош «Стенанья дам минувших дней» («Наши платья втоптала в грязь большаков пехота...»), «Посвящение к сборнику „Спасение“» («Ты, которого я не сумел спасти...»), «Дитя Европы» («Мы, чьи легкие впитывают свежесть утра...»), «По ту сторону» («Падая, я зацепил портьеру...»), «Счастливец» («Старость его совпала с эпохой благополучья...»). В сборнике: Russica-81. New York, 1982; «Стенанья дам...» и «Счастливец» – также в газете «Новый Американец» (1982. № 125. 6—12 июля).

Проза: эссе «The Keening Muse» («Муза плача»), написано в 1982 году в качестве предисловия к сборнику «Anna Akhmatova: Poems, Selected and Translated by Eyn Coffm» (N.Y.: Norton & Co, 1983), перепечатано под заголовком «Муза плача» в переводе М. Темкиной в журнале «Страна и мир» (1986. № 7); «О Достоевском», «Russica-81» (N.Y., 1982); «Что произошло в Польше» (Новый Американец. 1982. № 101. 15—21 янв.); ответ на письмо читателя по поводу эссе Бродского «Virgil: Older than Christianity, a Poet for the New Age», «Vogue», vol. 172, No. 2 (Febr. 1982); «Desirers After a System» («The only difference between communism and fascism...»); письмо в редакцию журнала «The Nation», 27 March 1982; «Sontag Slugfest» («As one who took part in both events...»), письмо в редакцию журнала «The New Republic», 26 May 1982; «Надежда Мандельштам: 1899—1980» в переводе Льва Лосева и Нины Моховой (Часть речи. 1982/1983. № 2/3); перепечатано в качестве предисловия к сборнику: *Мандельштам Н. Я.* Мое завещание и другие эссе. Нью-Йорк: Серебряный век, 1982.

Публикации в периодике:

«Shearsman», № 7 (1982) – «Декабрь во Флоренции» («Двери вдыхают воздух и выдыхают пар; но...») в переводе Джорджа

Клайна и Мориса Инглиша.

Альманах «Russica-81» (New York, 1982) – «То не Муза воды набирает в рот...»; «Осенний крик ястреба» («Северо-западный ветер его поднимает над...»); «Лесная идиллия» («Она: Ах, любезный пастушок...»); «Колокольчик звенит...»; «Над Восточной рекой» («Боясь расплескать, проношу головную боль...»); «Полонез: вариация» («Осень в твоем полушарьи кричит „курлы“...»): «К Урании» («У всего есть предел: в том числе у печали...»); «Венецианские строфы I» («Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая...»); «Венецианские строфы II» («Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус...»); «Элегия» («До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу...»); «Я был только тем, чего...».

Альманах «Часть речи» (1981/1982. № 2/3) – цикл «Песни счастливой зимы» (публикация Л. В. Лосева): «В твоих часах не только ход, но тишь» (1963); «Я обнял эти плечи и взглянул...» (1962); «Все чуждо в доме новому жильцу...» (1962); «Из старых английских песен»: 1. «Заспорят ночью мать с отцом...» и 4. «Зимняя свадьба» («Я вышла замуж в январе...», 1963); «Огонь, ты слышишь, начал угасать...» (1962); «Что ветру говорят кусты...»; «Топилась печь. Огонь дрожал во тьме...» (1962); «Притча» («Пусть дым совьется в виде той петли...», 1962); «К садовой ограде» («Снег в сумерках кружит, кружит...», 1963); «Среди зимы» («Дремлют овцы, спят хавроньи...», 1963); «Загадка ангелу» («Мир одеял разрушен сном...», 1962); «Шум ливня воскрешает по углам...»; «В семейный альбом» («Не мы ли здесь, о, посмотри...», 1963); «В горчичном лесу» («Гулко дядел стучит по пустым...», 1963); «Садовник в ватнике, как дрозд...», 1964; «Рождество 1963 года» («Спаситель родился...»); «Рождество 1963 года» («Волхвы пришли. Младенец крепко спал...»); «Песни счастливой зимы» («Песни счастливой зимы...», 1964); «Ветер оставил лес...», 1964).

«Новый Американец» (1982. № 125. 6—12 июля) – «К Урании» («У всего есть предел: в том числе у печали...»); «То не Муза воды набирает в рот...».

«Новый Американец» (1982. № 126. 13—19 июля) – «Лесная идиллия» («Она: Ах, любезный пастушок...»).

«New Yorker», vol. 58, no. 6 (March 29, 1982) – «Эклога 4-я (зимняя)», автоперевод.

«New York Review of Books», vol. 29, № 20 (December 16, 1982) – «Epitaph to a Tyrant» («He could have killed more than he could have fed...»), включено в раздел «Shorts», Collected Poems in English.

Написана пьеса «Мрамор».

В переводе на польский Станислава Бараньчака «Стихи о зимней кампании 1980 года» опубликованы в журнале «Kultura»

(Paris), № 1/412-2/413, 1982.

Книги:

В английском переводе Алана Майерса в 90 пронумерованных экземплярах с автографом Бродского вышла книжечка «To a Tyran» (Minneapolis: Toothpaste Press for Bookslinger Edition, 1982). В Нью-Йорке вышел отдельной книгой цикл стихов «Римские элегии» (N.Y.: Russica Publishers, 1982).

После смерти Л. И. Брежнева власть в СССР переходит к бывшему председателю Комитета государственной безопасности Ю. В. Андропову. 3 октября – поэт Ю. Кублановский эмигрирует из СССР.

Сэмюел Беккет посвящает свою новую пьесу «Катастрофа» чешскому драматургу и диссиденту Вацлаву Гавелу.

1983*, 1—15 января* — Бродский в Венеции.

Середина января — из Италии заехал в Париж.

Февраль — поэтический вечер в Маунт-Холиоке совместно с Ричардом Уилбером.

17 марта — в Ленинграде умерла мать Бродского, Мария Моисеевна.

20 мая — Бродский в Милане по приглашению журнала «Континент».

24 мая — друзья Бродского отмечали его день рождения на квартире Вл. Уфлянда в Ленинграде.

29 мая — Бродский в Риме.

Июнь — «Сидя в тени» («Ветреный летний день...»), опубликовано в нью-йоркском журнале «Семь дней» (1983. № 1.4 июня).

1—15 июня — Бродский живет на острове Искья в доме Фаусто Мальковати вместе с Аннелизой Аллева. См. стихотворение «Ночь, одержимая белизной...».

15—22 июня — Бродский в Риме.

Июль-август — пребывание в Саут-Хедли, потом в штате Мэн вместе с Аннелизой Аллева.

12 августа — вернулся в Нью-Йорк.

31 августа — выступление Бродского на Римском поэтическом фестивале на вилле Боргезе.

1– 7 сентября — недельная поездка по Италии на машине в компании Аннелизы Аллева: Орвьето, Тоди, Перуджа, Сиена. Съездили также в Ареццо, где осмотрели фрески Пьеро делла Франческа в церкви Святого Франциска.

17—22 октября — принимает участие в международном фестивале писателей в Торонто (Harbour Front International Festival of Authors); *20 октября* — вечер Бродского и Станислава

Бараньчака в Торонто. Дал интервью главному редактору русскоязычного канадского журнала «Вестник» Аркадию Тюрину (позднее перепечатано в газете «Новое русское слово» 6 декабря 1994 года под названием «Эстетика – мать этики»). Познакомился с австрийским поэтом Лесом Марри на квартире Марка Стрэнда.

Другие стихи 1983 года: «1983» («Первый день нечетного года. Колокола...»); «Резиденция» («Небольшой особняк на проспекте Сарданапала...»); «Раньше здесь щебетал щегол...» (возможно, начало 70-х); возвращается к «Литовскому ноктюрну» и заканчивает его, опубликован в следующем году в журнале «Континент» (№ 40).

Неопубликованные стихи: «Стать ящерицей. Греться на...»; «Из названных тобой на К...», ответ на стихотворение Льва Лосева «Я прочитал твои наброски...».

Стихи на английском: «Ex Voto» («Something like a field in Hungary, but without...»); «Galatea Encore» («As though the mercury's under its tongue, it won't...»); «Letter to an Archaeologist» («Citizen, enemy, mama's boy, sucker, utter...»); «Seaward» («Darling, you think it's love, it's a midnight journey...»); «Variation in V.» («Birds flying high above the retreating army...»).

Проза: «Об Инне Лиснянской» (Русская мысль. 1983. 3 февр.), перепечатано на обложке сборника «Сочинения Инны Лиснянской» (Ардис, 1984); послесловие к книге Юрия Кублановского «С последним солнцем» (Париж, 1983); «To Please a Shadow», «Vanity Fair», vol. 46, № 46 (October 1983); «On Derek Walcott», «The New York Review of Books», vol. 30 (November 10, 1983), перепечатано в качестве предисловия к сборнику Дерека Уолкотта «Poems of the Caribbean» (Limited Edition Club, 1983); «The Sound of the Tide» («Шум прибоя»).

Переводы: Марина Цветаева «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...» и «Собирая любимых в путь...» (на английский).

Публикации в периодике:

«New York Review of Books», vol. 29 (January 20, 1983) – написанное по-английски «Dutch Mistress» («A hotel in whose ledgers departures...»).

«New York Review of Books», vol. 30 (March 17, 1983) – написанное по-английски «A Martial Law Carol» («One more Christmas ends...»).

Great Elegy for John Donne (Washington, D.C., December 1983, private edition), перевод Хью Макстона (в сотрудничестве с Нилом Корнуэллом). Первая версия «Joseph Brodsky and „The Great Elegy for John Donne“» появилась в The Crane Bag, vol. 7, no. 1, «Socialism and Culture», 1983. Reprinted in The Crane Bag Book of Irish Studies, vol. 2 (1982—1985). Ed. Mark Patrik Hederman and

Richard Kearney (Dublin: Crane Bag, 1987).

«Континент» (1983. № 36) – «Пятая годовщина» («Падучая звезда, тем паче – астероид...», 4 июня 1977); «Горение» («Зимний вечер. Дрова...», 1981); «Келломяки» («Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны...», 1982); «Вашингтон» («Каменный шприц впрыскивает героин...», 1982); «1983» («Первый день нечетного года. Колокола...»).

Израильский журнал «22» (1983. № 32) опубликовал пьесу «Мрамор».

«The New Yorker», October 17, 1983 – перевод двух стихотворений Марины Цветаевой «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...» и «Собирая любимых в путь...».

«Vanity Fair», vol. 46, № 10 (December, 1983) – автоперевод цикла «Римские элегии».

«New York Review of Books», vol. 30 (Devember 22, 1983) – автоперевод стихотворения «В окрестностях Александрии» («Каменный шприц вспрыскивает героин...»).

Книги: Новые стансы к Августе. Стихи к М. Б., 1962—1982. Ann Arbor: Ardis, 1983.

1984*, 31 января* – читает лекцию в Музее им. Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке. Текст лекции ляжет в основу эссе «Catastrophes in the Air» («Катастрофы в воздухе»).

7 *февраля* – 23 известных деятеля культуры Америки подписали письмо советским властям с просьбой разрешить Александру Ивановичу Бродскому посетить сына в Америке.

Февраль – вечер Бродского в колледже Вассар; см. интервью в «Vassar Review» (Spring 1984).

Апрель – лекция о Цветаевой в Йельском университете.

А. И. Бродскому отказано в выездной визе.

29 апреля – умер отец, Александр Иванович Бродский.

Май – получил звание доктора *honoris causa* в элитном колледже Уильяме (штат Массачусетс); речь перед выпускниками колледжа «The Misquoted Verse» опубликована в «Williams College Hundred and Nighty-Fifth Commerncement Addresses», перепечатана в «The New York Review of Books», vol. 31 (Aug. 16, 1984).

12 июня – Бродский в Париже, выступает на вечере, организованном журналом «Континент» и газетой «Русская мысль». Снят на пленку итальянским телевидением.

Июль – во Франции, в Les Arnauds, загородном доме сестры Вероники Шильц вместе с американским поэтом Джонатаном Аароном и его женой.

Осень – читает лекции в Колумбийском университете. Выступает в Сан-Франциско с чтением стихов по-русски и по-

английски.

22 декабря – Бродский прилетел в Рим вместе с Машей Воробьевой, остановились в гостинице «Hotel Nerva» за Форумом.

Стихи 1984 года: «В горах» («Голубой саксонский лес...»); «Теперь, зная многое о моей...»; «Бюст Тиберия» («Приветствую тебя две тыщи лет...», 1984—1985); «Испанская танцовщица» («Умолкнет птица...»).

Стихи на английском: «Postcard from the U.S.» («I've seen the Atlantic...»); «Future» («High stratosphere winds with their juvenile whistle...»).

Переводы: О. Мандельштам «Tristia» («Я изучил науку расставанья...») (на английский).

Проза: предисловие к сборнику Ирины Ратушинской «Стихи» (New York, 1984), перепечатано в сборнике «No, I'm Not Afraid» (Bloodaxe Books, 1986); эссе «On „September 1, 1939“ by W.H. Auden» («1 сентября 1939 года» У. Х. Одена) и «Catastrophes in the Air» («Катастрофы в воздухе»), включены в сборник эссе «Less Than One»; «Why the Peace Movement is Wrong», «Times Literary Supplement» (Aug. 24, 1984); «Наша анкета: „Континенту“ 10 лет», комментарии о журнале разных писателей, включая Бродского (Континент. 1984. № 40); о Пастернаке: «Pasternak is a poet of microcosm, of sterereoscopic vision...» на обложке сборника переводов Джона Столлуорти и Питера Франса «Boris Pasternak, Selected Poems» (Penguin Books, 1984).

Публикации в периодике:

«Confrontation», № 27—28 (1984) – «Cafe „Trieste“, San Francisco» («To this corner of Grant and Vallejo...») и перевод на английский стихотворения О. Мандельштама «Tristia» («Я изучил науку расставанья...»).

«New York Times Magazine»: «Sophisticated Traveler» (18 March 1984) – написанное на английском короткое стихотворение «Postcard from the U.S.» («I've seen the Atlantic...»); переделанная версия включена в секцию «shorts», «Collected Poems in English». TLS, №. 4241 (July 13, 1984) – автоперевод стихотворения «Резиденция» («Небольшой особняк на проспекте Сарданапала...»).

«Paris Review», vol. 26, № 93 (Fall 1984) – «Горбунов и Горчаков» в переводе Гарри Томаса.

«New York Times» (December 20, 1984) – «Future» («High stratosphere winds with their juvenile whistle...»), написано на английском. «New Yorker», vol. 60, № 46 (December 31, 1984) – «Sextet» («An eyelid is twitching. From the open mouth...»), под таким названием вышел автоперевод стихотворения «Квинтет».

«Континент» (1984. № 40) – «Литовский ноктюрн: Томасу

Венцлова» («Взбаламутивший море...»).

Книги: Мрамор. Ann Arbor: Ardis, 1984.

9 февраля умер Ю. В. Андропов; генеральным секретарем ЦК КПСС стал К. У. Черненко.

1985*, 1 января* — на Новый год уехал из Рима в Венецию вместе с Машей Воробьевой, жили в гостинице «Londra».

4 января — в Венецию приехала Аннелиза Аллева; Бродский переехал в пансионат «Bucintoro».

9 января — все вместе вернулись в Рим. Маша Воробьева улетела в Нью-Йорк, Бродский остался в Риме, жил у знакомых на Трастевере, рядом с Пьяцца деи Понциани *(Piazza dei Ponziani)*.

20 января — переезжает в гостиницу «Nerva».

28 января — возвращается в Нью-Йорк.

1 апреля — выступил с воспоминаниями о Карле Проффере в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Опубликовано как «In Memoriam: Carl R. Proffer», letter to the editor, «The New York Review of Books», vol. 32, № 5 (March 28, 1985).

Апрель — В Москве в Доме культуры медработников состоялся первый легальный вечер, посвященный Бродскому. Вечер вел Е. Рейн. В. Полухиной организованы выступления Бродского в британских университетах: *26 апреля* — выступление в университете Эссекс; *29 апреля* — выступление в Лондонском университете на славянском отделении; *30 апреля* — выступление в Бирмингемском университете; *1 мая* — лекция об Одене в Килском университете, вечером поэтические чтения – присутствовало 500 студентов и преподавателей.

6 мая — опубликован автоперевод стихотворения «На смерть друга» – «To a Friend: In Memorial», «The New Yorker», 6 May 1985.

7 *мая* — выступление в Поэтическом обществе, Лондон.

8—10 мая — в Северной Ирландии.

Май — выступление на симпозиуме, посвященном 40-летию окончания Второй мировой войны, «Literature and War – a Symposium. The Soviet Union», «Times Literary Supplement», May 17, 1985. Поездка в Турцию через Афины, пишет эссе «Путешествие в Стамбул».

24 мая — день рождения встречает в Афинах.

Конец мая — морем прибывает в Венецию, живет в доме приятеля на острове Джудекка.

Июнь — в компании Аннелизы Аллева около недели живет в Амстердаме в квартире Кейса Верхейла. Заканчивает «Путешествие в Стамбул».

Июль-август — пребывание в Лондоне и Италии.

28 сентября — в Милане вместе с сэром Стивеном Спендером

вручает «Премию Монтале» Энтони Хекту.

21 октября — поэтический вечер в Нью-Йорке, где Бродского представляет Грейс Шульман.

16 ноября — в колледже Маунт-Холиок состоялся симпозиум «О смысле истории», в котором приняли участие Питер Вирек, Чеслав Милош и Иосиф Бродский. Тексты выступлений в переводе А. Кузнецовой опубликованы в журнале «Звезда» (2006. № 1).

Декабрь — «Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке...».

13 декабря — второй инфаркт.

27 декабря — третий инфаркт и вторая операция на сердце с осложнениями.

Стихи 1985 года: «В Италии» («И я когда-то жил в городе, где на домах росли...»); «Муха» («Пока ты пела, осень наступила...»); «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...»; «На выставке Карла Виллинка» («Почти пейзаж. Количество фигур...»).

Проза: «Why Milan Kundera is Wrong about Dostoevsky» («Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому»), напечатано в «The New York Times Book Review» (17 февраля 1985); «Путешествие в Стамбул» (Континент. 1985. № 46); в переводе Алана Майерса и Бродского под названием «Flight from Byzantium» в «New Yorker», vol. 61, № 36 (28 октября 1985); включено в английский сборник «Less Than One» (NY.: Farrar, Straus and Giroux, 1996); «Literature and War – A Symposium: The Soviet Union», «The Time Literary Supplement», № 4285 (17 May 1985); письмо в газету «The Time Literary Supplement», «Letter to the Editor», ответ на рецензию Иэна Гамильтона на книгу «Spender's Journals», TLS, December 27, 1985.

Опубликована на английском в переводе Алана Майерса и Бродского пьеса «Мрамор»: Marbles. A Play in Three Acts, «Comparative Criticism», vol. 7 (Cambrige, 1985).

Публикации в периодике:

«Континент» (1985. № 45) – «Я входил вместо дикого зверя в клетку...»; «Бюст Тиберия» («Приветствую тебя две тыщи лет спустя...»); «Прилив» («В северной части мира я отыскал приют...»); «На выставке Карла Виллинка» («Почти пейзаж. Количество фигур...»); «Муха» («Пока ты пела, осень наступила...»); «В Италии» («И я когда-то жил в городе, где на домах росли...»).

«Народ и земля» (№ 3) (Иерусалим, 1985) – поэма «Исаак и Авраам» («Идем, Исак. Чего ты встал? Идем...»).

«Harper's», vol. 270, № 1617 (February, 1985), перепечатано из

TLS (August 24, 1984). «Disarmament Delusion».

«Triquarterly», № 63 (Spring 1985), перепечатано стихотворение «Загадка ангелу» («Мир одеял разрушен сном...») из «Triquarterly», № 18 (Spring 1970).

«New Yorker», vol. 61, № 11 (May 6, 1985) – автоперевод «На смерть друга» («Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд...»).

«New Yorker», vol. 61, № 33 (October 7, 1985 – «Galatea Encore» («As though the mercury's under its tongue, it won't...»), написано на английском.

TLS, № 4306 (October 11, 1985) – «Letter to an Archeologist» («Citizen, enemy, mama's boy, sucker, utter...») на английском и автоперевод «То не Муза воды набирает в рот...».

TLS, № 4317 (December 27, 1985) – «Variation in V» («Birds flying above the retreating army...»).

Книги: в Польше вышел сборник «Wybór poezji» в переводах Виктора Ворошильского, Станислава Бараньчака и Анджея Дравича (Krakow: Oficyna Literacka, 1985).

На немецком языке вышел сборник стихов в переводе Феликса-Филиппа Ингольда «Romische Elegien und andere Gedichte» (München – Vienna: Adition Akzente, 1985).

10 марта умирает К. У. Черненко; к власти в СССР приходит М. С. Горбачев. Начинается период «перестройки» – дезинтеграции советской системы.

1986*, январь* — Бродский в Белфасте (см. его английское стихотворение «Belfast Tune» («Here's a girl from a dangerous town...»).

16 января — датировано предисловие к антологии русской поэзии ХГХ века, составленной совместно с Аланом Майерсом – «An Age Ago: A Selection of Nineteenth Century Russian Poetry» (N.Y.: Farrar, Straus & Giroux, 1988; London: Penguin, 1989).

Март — начато стихотворение «Посвящается стулу» («Март на исходе. Радостная весть...»), законченное в 1987 году.

19 мая — письмо Бродскому, извещающее его о предложении присвоить ему звание *Andrew Mellon Professor of Literature* в колледже Маунт-Холиок.

Июнь — во Франции, где познакомился с пианисткой Елизаветой Леонской.

30 июня — во Флоренции, вместе с Чеславом Милошем участвует в симпозиуме, живет в гостинице «Baglioni».

13 шюля — приехал в Рим, откуда уехал в Париж и потом в Лондон.

2 октября — в Лондоне, дал интервью для телевидения Иэну Гамильтону.

4 ноября — выступление Бродского вместе с Марком Стрэндом и Говардом Моссом в музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, опубликовано в переводе Изабеллы Мизрахи в журнале «Слово/ Word» (1996. № 20) и в журнале «Иностранная литература» (1996. № 10) в переводе Елены Касаткиной.

Стихи 1986 года: «В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой...»; «Примечание к прогнозам погоды» («Аллея со статуями из затвердевшей грязи...»); «Реки» («Растительность в моем окне! зеленый колер!..»); «Послесловие» («Годы проходят. На бурой стене дворца...»); «Только пепел знает, что значит сгореть дотла...» (возможно, написано в июле 1987 года); «В этой маленькой комнате все по-старому...»; «Элегия» («Прошло что-то около года...», в английском сборнике «Collected Poems in English», датируется 1985 годом).

Стихи на английском: «Belfast Tune» («Here's a girl from a dangerous town...»); «History of the Twentieth Century (A Roadshow)» («Lady and gentlemen and the gay!..»).

Переводы: стихотворение В. Хлебникова «Зоопарк», см. ниже.

Проза: «In a Room and a Half», «The New York Review of Books», vol. 33 (February 27, 1986); «Spoils of War» в переводе А. Сумеркина под названием «Трофейное», включено в «Сочинения Иосифа Бродского», а также опубликовано в парижском «Vogue» (Dec. 1986 – Jan. 1987); «The Meaning of Meaning», рецензия на сборник стихов В. Хлебникова «The King of Time: Selected Writings of the Russian Futurian V. Khlebnikov», «New Republic», vol. 194, № 3 (Jan. 20, 1986), в рецензию включен перевод Бродского стихотворения Хлебникова «Зоопарк»; обмен письмами между Бродским и Г. Бараном по поводу переводов Хлебникова на английский, «Translating Khlebnikov», «New Republic», vol. 194, № 10 (March 10, 1986); «A Place as Good as AN.Y., The Tanner Lectures on Human Values», IX (CUP, 1988); два абзаца на обороте английского перевода книги Юза Алешковского «Kangaroo» (N.Y.: Farrar, Straus & Giroux, 1986).

Публикации в периодике:

«Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture», № 5 (1986) – «Литовский ноктюрн» в переводе Линн Коффин и Сергея Шишкова. Там же перепечатаны эссе Милана Кундеры о Достоевском и ответ Бродского «Why Milan Kundera is Wrong about Dostoevsky» («Почему Милан Кундера неправ относительно Достоевского»).

«Washington Post Book World» (May 4, 1986), «Talking with Yuz Aleshkovsky». В переводе Антона Нестерова эта беседа включена в: «Бродский: книга интервью» (М.: Захаров, 2005, составитель В. Полухина).

«Страна и мир» (1986. № 7. Июль) – эссе «Муза плача» в переводе М. Темкиной.

«Partisan Review», vol. 53, № 3 (Fall 1986) – «History of the Twentieth Century (A Roadshow)» («Lady and gentlemen and the gay!..»).

Книги: в Америке вышел сборник эссе Бродского на английском «Less Than One» («Меньше самого себя») (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1986). В этом же году книга была издана издательством «Penguin Books» в Англии и Канаде.

В Швеции в переводе Бенгта Янгфельдта вышел сборник эссе Бродского «Art behaga en skuggar» (Wahlstrom & Widstrand, 1986). В Италии в переводе Джованни Буттафава издан сборник стихов «Poesie 1972-1985» (Milano: Adelphi Edizioni, 1986).

В США вышел второй том антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны» под редакцией К. Кузьминского (Newtonville, Mass.: Oriental Research, 1986), в который включены стихи Бродского «Похороны Бобо» и «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»).

26 апреля – Чернобыльская авария: серия взрывов разрушила здание четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

1987*, январь* – в США «Национальная ассоциация литературных критиков» отметила сборник эссе Бродского «Less Than One» престижным призом – The National Book Critics Circle's Award.

21 января – Бродский вышел из Американской Академии искусств в знак протеста принятия в нее Евгения Евтушенко. Его заявление опубликовано в тот же день в газете «Новое русское слово».

Весна – закончил «Посвящается стулу» («Март на исходе. Радостная весть...», 1986—1987).

Март – в больнице: коронарная ангиопластика.

Апрель – Бродский встречается в Америке с поэтом Олегом Чухонцевым, редактором отдела поэзии журнала «Новый мир».

1 мая – подарил Борису Мессереру пьесу «Мрамор» с надписью «Дарю Вам эту книгу, сэр, она не об СССР».

Июнь – выступления в Германии – в Гамбурге и в Западном Берлине (см. «Ландверканал», Берлин).

Июнь – в издательстве «Ардис» вышел сборник стихов «Урания». Второе издание в 1989 году.

Конец июня – июль – Бродский в Венеции, живет в пансионе «Сегусто» («Pensione Segusto»).

7 *июля* — поездка в Падую с Аннелизой Аллева для осмотра фресок Джотто в капелле Скровеньи и церкви Сант-Антонио.

15 июля — уезжает поездом в Париж.

20 июля — возвращается в Нью-Йорк.

30 июля — выступление в Колумбусе, штат Огайо.

Осень — в Париже, на поэтических чтениях в Институте славяноведения, которые легли в основу фильма о Бродском Виктора Лупана и Кристофа де Понфили.

22 октября — ленч с Джоном Ле Карре в китайском ресторане в Хэмпстеде (Лондон), где Бродский получил известие о присуждении ему Нобелевской премии.

24 октября — выступление в русской программе Би-би-си.

Ноябрь — выступления в университете Макгилл, Монреаль, и в университете штата Айова.

Декабрь — первая публикация стихов Бродского в советской прессе после 1967 года. «Новый мир» в декабрьском номере публикует подборку стихов: «Одиссей Телемаку» («Мой Телемак, Троянская война...»); «Письма римскому другу» («Нынче ветрено и волны с перехлестом...»); «Письма династии Минь» («Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки...»); «Новый Жюль Берн» («Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна...»); «Осенний вечер в скромном городке», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...».

10 декабря — король Швеции Карл XVI Густав вручил Бродскому Нобелевскую премию по литературе.

Декабрь — встреча с мэром Нью-Йорка Эдвардом Кочем в Сити-Холл. 13 декабря «Нью-Йорк таймс» напечатала заметку об этой встрече.

13 декабря — первая после 1972 года встреча с А. Кушнером в Вашингтоне.

24 декабря — «Рождественская звезда» («В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре...»).

Другие стихи 1987 года: «Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел...»; «Назидание» («Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах...», есть дата—1986); «Ария» («Что-нибудь из другой...»); «Вечер. Развалины геометрии...»; «Жизнь в рассеянном свете» («Грохот цинковой урны, опрокидываемой порывом...»); «Из Парменида» («Наблюдатель? свидетель событий? войны в Крыму?..»); «Как давно я топчу, видно по каблуку...» (опубликовано в 1980 году, последняя редакция 1987 года); «На виа Джулия» («Колокола до сих пор звонят в том городе, Теодора...»); «Ночь, одержимая белизной кожи...»; «Посвящение» («Ни ты, читатель, ни ультрамарин...»); «Стрельна» («Боярышник, захлестнувший металлическую ограду...»); «Те, кто не умирают, – живут...», «Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве...»; «Чем больше черных глаз, тем больше переносиц...»;

«Я распугивал ящериц в зарослях чапарраля...»; «Bagatelle» («Помраченье июльских бульваров, когда, точно деньги во сне...»); «Послесловие» («Годы проходят, на бурой стене дворца...»).

Неопубликованные стихи: «Город, где двери боятся своих ключей...».

Проза: вступительное слово на вечере поэзии Беллы Ахмадулиной для студентов Амхерст-колледжа (штат Массачусетс), напечатано в переводе В. Куллэ в «Литературном обозрении» (1997. № 3), перепечатано в «Литературной газете» (1997. 9 апр.); «Парижскому форуму – литература без границ» (Русская мысль. 1987. 27 нояб.); «Нобелевская лекция 1987 года»; «Acceptance Speech», «New York Review of Books», vol. 34 (Jan. 21, 1988); «A Cambridge Education», «Times Literary Supplement» (Jan. 30, 1987); «The Condition We Call „Exile“», «New York Review of Books», vol. 34, No. 21 (Jan. 21, 1988).

Переводы: «Slave, come to my service!» – перевод на английский шумерского стихотворения, написанного во II тысячелетии до н.э. и известного среди ученых как «Пессимистический диалог».

Публикации в периодике:

«Континент» (1987. № 51) – «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...»; «Ночь, одержимая белизной...»; «Bagatelle» (I. «Помраченье июльских бульваров, когда, точно деньги во сне...». II. «Города знают правду о памяти, об огромности лестниц...». III. «Разрастаясь как мысль облаков о себе в синеве...»); «Я распугивал ящериц в зарослях чаппараля...»; «Барбизон Террас» («Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне...»); «Те, кто не умирают, живут...»; «Посвящение» («Ни ты, читатель, ни ультрамарин...»); «Чем больше черных глаз, тем больше переносиц...»; «Как давно я топчу, видно по каблуку...»; «Вечер. Развалины геометрии...»; «Резиденция» («Небольшой особняк на проспекте Сарданапала...»); «Жизнь в рассеянном свете» («Грохот цинковой урны, опрокидываемой порывом...»), «Ария» («Что-нибудь из другой...»); «На виа Джулия» («Колокола до сих пор звонят в том городе, Теодора...»); «Ты узнаешь меня по почерку: в нашем ревнивом царстве...»; «Элегия» («Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы...»); «Из Парменида» («Наблюдатель? свидетель событий? войны в Крыму?..»); «Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке...»); «В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой...»; «Послесловие» («Годы проходят. На бурой стене дворца...»); «Стрельна» («Боярышник, захлестнувший металлическую ограду...»); «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...».

«Континент» (1987. № 54) – «Кончится лето. Начнется

сентябрь. Разрешат отстрел...»; «Аллея со статуями из затвердевшей грязи...»; «В этой маленькой комнате все по-старому...»; «Назидание» («Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах...»); «Только пепел знает, что значит сгореть дотла...».

«Вестник» (1987. № 151. Март) – «Сретенье» («Когда она в церковь впервые внесла...»); «Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке...»).

«Русская мысль» (1987. 20 нояб.) – «Пятая годовщина» («Падучая звезда, тем паче – астероид...»; «Письма династии Минь» («Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки...»).

«Митин журнал» (1987. № 17. Сент. / Окт.) – «Шведская музыка» («Когда снег заметает море и скрип сосны...»; «Новый Жюль Берн» («Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна...»); «Помнишь свалку вещей на железном стуле...»; «Осенний крик ястреба» («Северо-западный ветер его поднимает над...»); «Стрельна» («Боярышник, захлестнувший металлическую ограду...»); «Чем больше черных глаз, тем больше переносиц...».

«Русская мысль» (1987. 27 нояб.) – приветствие Бродского Парижскому форуму «Литература без границ».

«Митин журнал» (1987. № 18. Нояб. / Дек.) – «Нобелевская лекция».

«Ploughshares», vol. 13, № 1 (Spring 1987) – автопереводы стихов «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» («Взбаламутивший море...») и «Пятая годовщина (4 июня 1977)» («Падучая звезда, тем паче – астероид...»).

«The New Yorker», vol. 62, № 49 (January 26, 1987) – автоперевод «Келломяки» («Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны...»). TLS, № 4391 (May 29, 1987) – автоперевод «Я входил вместо дикого зверя в клетку...».

«Paris Review», vol. 29, № 103 (Summer 1987) – «Осенний крик ястреба» («Северо-западный ветер его поднимает над...») в переводе Алана Майерса и автора; автоперевод «К Урании» («У всего есть предел: в том числе у печали...»).

«The New York Review of Books», vol. 34 (June 25, 1987) – «Бюст Тиберия» («Приветствую тебя две тыщи лет...») в переводе Алана Майерса.

TLS, № 4395 (June 26, 1987) – «Ex Voto» («Something like a field in Hungary, but without...». Написано на английском в 1983 году и автоперевод «Элегия» («Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы...»).

«The New Yorker», vol. 63, № 21 (July 13, 1987) – «Belfast Tune» («Here's a girl from a dangerous town...»), написано на английском в 1986 году и перепечатано в: «A Rage for Order. Poetry of the Northern Ireland Troubles» (Belfast: The Blackstaff Press, 1992).

«The New Yorker», vol. 54, № 4 (August 3, 1987) – «Эклога 5-я (летняя)» («Вновь я слышу тебя, комариная песня лета...») в переводе Джорджа Клайна.

«Partisan Review», vol. 54, № 4 (Fall 1987) – автоперевод «Новый Жюль Берн» («Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна...»).

«The New Yorker», vol. 63, № 31 (September 21, 1987) – автоперевод «Полонез: вариация» («Осень в твоем полушарьи кричит „курлы“...»).

«The New Yorker», vol. 63, № 33 (October 5, 1987) – автоперевод «Октябрьская песня» («Чучело перепелки...»).

«Washington Post» (October 23, 1987) – автоперевод «Я не то что схожу с ума, но устал за лето...».

TLS, № 4413 (October 30, 1987) – «Послесловие» («Годы проходят. На бурой стене дворца...» в переводе Джеми Гамбрелл с автором (под псевдонимом E.T. Huddiestone).

«Los Angeles Times» (October 31, 1987) – «To Please a Shadow» (excerpt), rpr. from «Less Than One».

«The New Yorker», vol. 63, № 38 (November 9, 1987) – автоперевод «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...».

«The New York Review of Books», vol. 34 (November 19, 1987) – «Slave, Come to My Service!..». A variation from the Sumerian («Slave, come to my service!» «Yes. My master. Yes?»).

Книги: в издательстве «Ардис» вышел сборник «Урания».

В Швеции в переводе Бенгта Янгфельдта вышли пьеса «Мрамор» – Marmor (Wahlstrom & Widstrand, 1987) и сборник стихов «Historen, Som Nedan Skall Berattas och andre Dikter», tr. by Hans Bjorkegren & Annika Backstrom (Wahlstrom & Widstrand, 1987).

В Финляндии вышел сборник эссе в переводе Калеви Нюютая и Эвы Сиикарла «Ei oikein ihminenkaan» (Helsinki: Kustannusosakeyhtio Tammi, 1987).

В Испании в переводах Росера Бердаги и Эстебана Римбо Сауры вышло два сборника эссе – «Joseph Brodsky, Menos que uno» и «La Cancion del Pendulo» (Barcelona: Versal, 1987).

В Кракове вышли эссе Бродского в переводе Анны Гусарской «W półtora pokoju» (Krakow, 1987).

В Варшаве вышли эссе Бродского «Cztery Eseje» (Warszawa: Neizalezna Oficyna Wydawnicza, 1987).

Во Франции в переводах Мишеля Окутюрье, Жоржа Нива, Вероники Шильц и др. вышел сборник стихов «Poemes 1961—87» (Paris: Gallimard, 1987). Переиздан сборник «Iossip Brodski: Collines et Autres Poemes» (Paris: Editions du Seuil, 1987).

В Италии выгпло два сборника прозы Бродского в переводе Джильберто Форти: «Fuga da Bisanzio» и «II Canto del Pendolo» (Milan: Adelphi Edizioni, 1987).

В Мюнхене и Вене вышел сборник эссе «Erinnerungen an Leningrad» (München – Wein: Carl Hanser Verlag, 1987).

В Испании вышел сборник эссе Бродского «Menos que Uno» (Barcelona: Versal, 1987).

В Голландии в переводах Чарльза Тиммера, «Torso. Gedichten het Russisch met een essay de dichter door Charles B. Timmer» (Amsterdam: De Bezige Bij, 1987).

В Корее вышел сборник эссе в переводах Суй Ён Хвана «Напа poda chaqun saeng» (Soul T'ukpyolsi: Sejong Chulpan Konqsa, 1987) и сборник 24 стихотворений в переводах с английского Юн Чжу Пака «Sori omnum norae» (Soulsi: Yollin chaektul, 1987), а также сборник стихов в переводах Тэк Ён Квона (Soul T'ukpyolsi: Munhak Sasangsa, 1987).

1988*, январь* — Бродский в Венеции.

15 февраля — «Вечер с Иосифом Бродским» в Кембридже (штат Массачусетс); участвуют Дерек Уолкотт и Шеймус Хини. Хини читает стихи, посвященные Бродскому, «Lauds and Gauds for a Laureate» (опубликованы в переводе Г. Кружкова в сборнике В. Полухиной «Бродский глазами современников»).

Зима — Юз Алешковский привез М. Хейфеца в Амхерст в гости к Бродскому.

6 марта — симпозиум, посвященный поэзии, в колледже Маунт-Холиок.

20 марта — Бродский на две недели прилетел в Рим, жил сначала в гостинице «Плаза», затем у поэта Карло Караччиоло на набрежной Тибра.

8—9 апреля — выступления в университете Райс, Хьюстон, штат Техас.

12 апреля — в Ленинграде во Дворце театральных деятелей на Невском проспекте состоялся первый с начала перестройки открытый вечер, посвященный поэзии Бродского.

15 апреля — вместе с Дереком Уолкоттом выступает в Гартвикском колледже в Нью-Йорке.

22 апреля — выступление в Йельском университете.

25 апреля — в Институте ядерной физики в Гатчине состоялся вечер, посвященный Бродскому. Выступали К. Азадовский, Я. Гордин, А. Найман.

Весна — вышел третий английский сборник стихов Бродского «To Urania» («К Урании»).

Май — речь на выпускной церемонии в колледже Маунт-

Холиок.

16—17 мая — Бродский принял участие в конференции писателей (Wheatland Conference) в Лиссабоне; среди участников – поляки Чеслав Милош и Адам Загаевский, чех Иван Клима, сербский писатель Данило Киш, москвичи Анатолий Ким и Татьяна Толстая, русские писатели-эмигранты Сергей Довлатов и Зиновий Зиник. См.: «Открытка из Лиссабона» («Монументы событиям, никогда не имевшим места...»).

18 мая — в Турине, речь на открытии Первой книжной ярмарки «Как читать книгу», опубликована в «New York Times Book Review» (12 June, 1988).

24 мая — консул Ирландии в Нью-Йорке устроил в своей резиденции вечер в честь дня рождения Бродского.

27—30 мая — конференция в Дублине, Ирландия.

15 июня — принял участие в Первой международной конференции писателей в Дублине. См. дискуссию «Поэты за круглым столом» с участием Бродского, Дерека Уолкотта, Шеймуса Хини и Леса Марри в сборнике «Бродский: Книга интервью».

18 июня — выступление в Лондоне вместе с Дереком Уолкоттом.

30 июня — в Лондоне Бродский с Аннелизой Аллева живут в доме отсутствующих Альфреда и Ирены Брендель в Хэмпстеде.

Вместе навещают Лиз Элиот (Робсон) в Брайтоне.

Июль — вернулся с Шеймусом Хини в Дублин на церемонию вручения почетной докторской степени Дереку Уолкотту в Тринити-колледж.

15—21 августа — поэтические чтения на Готенбергской книжной ярмарке в Швеции. С этого года по 1995-й Бродский бывал в Швеции каждое лето.

21 августа — умер Геннадий Шмаков; см. стихотворение «Памяти Геннадия Шмакова» («Извини за молчанье. Теперь...»).

Осень — стихи «Дождь в августе» («Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и...»). Выступления в Сан-Франциско и Торонто, Канада.

18 сентября — встреча в Нью-Йорке с Евгением Рейном после шестнадцатилетней разлуки.

29 сентября — выступление Бродского на вечере Рейна в Культурном центре эмигрантов в Нью-Йорке. Текст выступления опубликован в журнале «Стрелец» (1988. № 10).

Октябрь — в Париже.

12 октября — выступление в университете Браун, штат Род-Айленд.

17 октября — выступление в литературном клубе «92nd Street

Y»; в этот же день в Ленинграде состоялся вечер, посвященный Бродскому, с участием К. Азадовского, Б. Тищенко, Н. Грудининой, В. Уфлянда и др.

18—20 октября — выступление в Белграде на форуме «Литература в изгнании» (Пен-клуб Югославии). Среди участников – Генрих Сапгир, Владимир Войнович и Юрий Мамлеев. Выступление опубликовано под заголовком «A Cat and a Half» («Полтора кота»), «Interview», vol. 18, № 12 (December 1988).

22 октября — участвует в коллоквиуме в Международном философском колледже в Париже.

26 октября — творческий вечер Бродского в парижском Институте славяноведения. Бродский приехал в Париж для участия в международном коллоквиуме «Словесность и философия», где вместе с ним выступали Чеслав Милош, Лешек Колаковский и другие.

28 октября – 1 ноября — выступления в Амстердаме.

8 ноября — встреча с Андреем Сергеевым в Нью-Йорке.

9 ноября — вступительное слово Бродского на вечере Александра Кушнера в Бостонском университете. Напечатано в качестве предисловия к английскому сборнику Кушнера «Apollo in the Snow» (N.Y.: Farrar, Straus & Giroux, 1991).

11 ноября — встреча с Кушнером, Рейном и Татьяной Толстой на квартире переводчика русской поэзии Кэрол Уланд в Нью-Йорке.

12—16 ноября — выступления в Сан-Франциско.

Ноябрь (?) — совместный вечер Бродского и Рейна в колледже Вассар. Бродский читал стихи и отвечал на вопросы в первом отделении, Рейн – во втором, присутствовало более 400 человек.

16 ноября — приглашение от Рональда Рейгана на ужин в Белый дом (отклонено по личным причинам).

20—22 ноября — на съемках посвященного ему фильма «Maddening Space» («С ума сводящее пространство») в Нью-Йорке.

Осень — Бродский стал совладельцем (вместе с М. Барышниковым и Р. Каштаном) ресторана «Русский самовар» на 52-й улице Нью-Йорка.

2 декабря — выступление в колледже Джонсон штата Вермонт.

7 декабря — выступление в Публичной библиотеке Сан-Франциско.

18 декабря — выступление перед студентами Мичиганского университета «Речь на стадионе», впервые опубликовано под названием «Some Tips», «Michigan Today» (February 1989); одновременно Бродскому присуждена почетная докторская

степень.

25 декабря — «Бегство в Египет» («...погонщик возник неизвестно откуда...»).

Конец декабря — прилетел в Рим, поселился в гостинице «Вилла Аурелиа», рядом с Американской академией.

Другие стихи 1988 года: «Кентавры I» (Наполовину красавица, наполовину софа, в просторечьи – Софа...»); Кентавры II («Они выбегают из будущего и, прокричав „напрасно!..“»); «Кентавры III» («Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным...»); «Кентавры IV» («Местность цвета сапог, цвета сырой портянки...»); «Новая жизнь» («Представь, что война окончена, что воцарился мир...»); «В кафе» («Под раскидистым вязом, шепчущим „че-ше-ще“...»); «Представление» («Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела!..»), ошибочно датируется 1986 годом.

Стихи на английском: стихи «Epitaph for a Centaur» («To say that he was unhappy is either to say too much...»); «Exeter Revisited» («Playing chess on the oil tablecloth at Sparky's...»).

Переводы: Константин Кавафис, переводы с греческого Геннадия Шмакова, под редакцией Иосифа Бродского: «Стены» («Безжалостно, безучастно, без совести и стыда...»); «Окна» («В этих сумрачных комнатах обретаясь давным-давно...»); «Желанья» («Юным телам, не познавшим страсти, умиранья...»); «В ожидании варваров» («Чего мы ждем, собравшись здесь на площади...»); «Царь Деметрий» («Когда македонцы его отвергли...»); «Город» («Ты твердишь: „Я уеду в другую страну, за другие моря...“»); «Сатрапия» («Прискорбно, что судьба несправедлива...»); «Ионическое» («Их разбитые изваянья...»); «Бог покидает Антония» («Когда ты слышишь внезапно в полночь...»); «Мартовские иды» («Душа, чурайся почестей и славы...»); «Итака» («Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным...»); «Грекофил» («Смотри, чтоб качество чеканки было...»); «Мудрецы предчувствуют» («Боги ведают будущее, люди – настоящее...»); «Мануил Комнин» («Великий государь Кир Мануил Комнин...»); «Битва при Магнезии» («Сдается, я сильно сдал. Силы, задор – не те...»); «Удрученность Селевкида» («Деметрий Селевкид был крайне удручен...»); «Один из их богов» («Сгущались сумерки над центром Селевкии...»); «Забинтованное плечо» («Он сказал, что споткнулся о камень, упал, расшибся...»); «Дарий» («Поэт Ферназис трудится над главной...») (Русская мысль. 1988. № 3750. 11 нояб. Литературное приложение. № 7).

Проза: Письмо в ответ на критику стихотворения Бродского «Slave, Come to my Service», «New York Review of Books», vol. 35, № 4 (March 17, 1988); «К юбилею Инны Лиснянской» (Русская мысль. 1988. 1 июня); «How to read a Book» («Как читать книгу»), «New

York Times Book Review» (June 12, 1988).

Публикации в периодике:

«Континент» (1988. № 58) – «Рождественская звезда» («В холодную пору, в местности, привычной скорей...»); «Новая жизнь» («Представь, что война окончена, что воцарился мир...»); «Реки» («Растительность в моем окне! зеленый колер...»); «В горах» («Голубой саксонский лес...»); «Кентавры I» («Наполовину красавица, наполовину софа, в просторечьи – Софа...»); «Кентавры II» («Они выбегают из будущего и, прокричав „напрасно“...»); «Кентавры III» («Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным...»); «Кентавры IV» («Местность цвета сапог, цвета сырой портянки...»); «Теперь, зная многое о моей...»; «Дождь в августе» («Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и...»); «Открытка из Лиссабона» («Монументы событиям, никогда не имевшим места...»); «В кафе» («Под раскинутым вязом, шепчущим „че-ше-ще“...»).

«Слово/Word» (1988. № 3) – «24 мая 1980 года» («Я входил вместо дикого зверя в клетку...») в оригинале и автопереводе.

«Index on Censorship», vol. 17, № 1 (January 1988) – «Осенний крик ястреба» («Северо-западный ветер его поднимает над...») в переводе Алана Майерса и автора.

«New Republic», vol. 198 (January 4—11, 1988) – «Нобелевская лекция» в переводе Барри Рубина.

«Chronicle of Higher Education», vol. 34 (January 6, 1988) – отрывок из «Нобелевской лекции».

TTS, № 4423 (January 8—14, 1988) – «На выставке Карла Вилинка» («Почти пейзаж. Количество фигур...») в переводе Джеми Гамбрелл.

«Sunday Times Books» (January 10, 1988) – отрывок из «Нобелевской лекции».

«New York Review of Books», vol. 34, № 21 (January 21, 1988) – «The Condition We Call 'Exile'», перепечатано в Altogether Eslsewhere: Writers in Exile, ed. By Marc Robinson (London & Boston: Faber & Faber, 1994) и «Acceptance Speech».

«Континент» (1988. № 55) – «Нобелевская лекция».

«Index on Censorship», vol. 17, no. 2 (February, 1988) – «Нобелевская лекция».

«Радуга» (1988. № 2. Февр.) – стихи.

«Boston Globe» (February 13, 1988) – автоперевод «Восходящее желтое солнце следит косыми...».

«New York Review of Books», vol. 35, № 2 (February 18, 1988) – написанное на английском «Allenby Road» («At sunset, when the paralyzed street gives up...», 1981) и автоперевод «Шведская музыка» («Когда снег заметает море и скрип сосны...»).

«Нева» (1988. № 3. Март) – «Я входил вместо дикого зверя в клетку...»; «На смерть Жукова» («Вижу колонны замерших внуков...»); «Шведская музыка» («Когда снег заметает море и скрип сосны...»); «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...»; «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...»; «Осенний крик ястреба» («Северо-западный ветер его поднимает над...») с послесловием Александра Кушнера.

«Poets and Writers», vol. 16, № 2 (March/April, 1988) – «Uncommon Visage» («Нобелевская лекция»), перепечатано из «New Republic», vol. 198 (January 4—11, 1988).

«Western Humanities Review», vol. 42, № 1 (Spring 1988) – «Я был только тем, чего...» в переводе Пола Грейвса.

«New Yorker», vol. 64, № 3 (March 7, 1988) «Муха» («Пока ты пела, осень наступила...») в переводе Джейн Энн Миллер и автора.

«Книжное обозрение» (1988. № 24. 10 июня) – «Нобелевская лекция».

«Огонек» (1988. № 31. Июль) – цикл «Римские элегии».

«Дружба народов» (1988. № 8. Август) – «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...»; «В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте...»; «Около океана, при свете свечи; вокруг...»; «Я не то что схожу с ума, но устал за лето...»; «Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане...»; «Квинтет» («Веко подергивается. Изо рта...»); «Эклога 5-я (летняя)» («Вновь я слышу тебя, комариная песня лета!..»); «Я был только тем, чего...» с предисловием Е. Рейна.

«Юность» (1988. № 8. Август) – «Я обнял эти плечи и взглянул...»; «В деревне Бог живет не углам...»; «Рождественский романс» («Плывет в тоске необъяснимой...»); «Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке...»; «24 декабря 1971 года» («В Рождество все немного волхвы...»); «В озерном краю» («В те времена в стране зубных врачей...»); «Одному тирану» («Он здесь бывал: еще не в галифе...»); «К Евгению» («Я был в Мексике, взбирался на пирамиды...»); «В этих узких улицах, где громоздка...»; «Зимним вечером в Ялте» («Сухое левантийское лицо...»); «Осенний вечер в скромном городке...».

«Литературное обозрение» (1988. № 8. Август) – «К Урании» («У всего есть предел. В том числе у печали...»); «Горение» («Зимний вечер. Дрова...»); «Осень в Норенской» («Мы возвращаемся с поля. Ветер...»); «Эклога 4-я (зимняя)» («Зимой смеркается сразу после обеда...»).

TLS, № 4450 (July 15-21, 1988) – «Венецианские строфы I» («Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая...»); «Венецианские строфы II» («Смятое за ночь облако расправляет мучнистый

парус...») в переводе Джейн Энн Миллер и автора.

«Иностранная литература» (1988. № 9. Сентябрь) – «Большая элегия Джону Донну» («Джон Донн уснул, уснуло все вокруг...») и четыре перевода Бродского из Джона Донна с предисловием Вяч. Вс. Иванова: «Посещение», «Блоха», «Шторм» и «Прощанье, запрещающее грусть».

«New York Review of Books», vol. 35, № 14 (September 29, 1988) – «Exeter Revisited» («Playing chess on the oil tablecloth at Sparky's...»), написано на английском.

«London Magazine», vol. 28. № 7/8 (October/November, 1988) – «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» («Мари, шотландцы все-таки скоты...» в переводе Питера Франса и автора.

«Western Humanities Review», vol. 42, № 4 (Winter 1988) – автоперевод «Кентавры» (I—IV) и написанное на английском «Epitaph for a Centaur» («To say that he was unhappy is either to say too much...»).

«New York Times» (December 24, 1988) – автоперевод «Рождественская звезда» («В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре...»), перепечатано в Literature: Reading, Reacting, Writing (NY.: Harcourt Brace College Publishers, 1993) и в Poetry: Reading, Reacting, Writing (N.Y: Harcourt Brace College Publishers, 1993).

В Сербии в журнале «Мостови» (№ 75) переводы Корнелии Ичин ранних стихов Бродского: «Стихи под эпиграфом», «Пилигримы» и «От окраины к центру».

Книги: в издательстве «The Noonday Press» и «Farrar, Straus & Giroux» вышел сборник стихов «To Urania» в переводах на английский.

Републикация сборника «Остановка в пустыне» с исправлением ошибок и опечаток издания 1970 года (Ann Arbor: Ardis).

Второе издание сборника «Новые стансы к Августе» (Ann Arbor: Ardis).

В Нью-Йорке вышла «Антология русской поэзии 19 века» в переводах Алана Майерса с предисловием и комментариями Бродского – An Age Ago: A Selection of Nineteenth Century Russian Poetry. NY.: Farrar, Straus & Giroux, 1988).

В Швеции вышел сборник прозы Бродского в переводе Бенгта Янгфельдта «En plats sa god som nagon» (Wahlstom & Widstrand, 1988).

В Норвегии вышел сборник стихов в переводах Эрика Эгеберга, «En Femkopek av Gull: Utvalgte dikt» (Oslo: Cappelen, 1988).

В Мюнхене и Вене вышли пьеса «Мрамор» в переводе Петера

Урбана «Marmor: Ein Stuck» (München – Wein: Edition Akzente, 1988), а также сборник эссе «Flucht aus Byzanz: Essays» (München – Wein: Carl hanser Verlag, 1988).

В Финляндии вышел сборник эссе в переводе Пааво Лехтонена «Katastrofeja ilmassai» (Helsinki: Kustannusosakeyhtio Tammi, 1988). В Италии в переводах Джованни Буттафава и Джильберто Форти вышел сборник прозы Бродского, включающий «Нобелевскую лекцию», речь в Шведской Королевской академии при получении Нобелевской премии и эссе «Состояние, которое мы называем изгнанием» – «Iosif Brodskij, Dall'esilio» (Milano: Adelphi Edizioni, 1988). Переиздан сборник стихов в переводах Джованни Буттафава «Poesie 1972—1985» (Milano: Adelphi Edizioni, 1988).

Во Франции вышли сборник эссе Бродского в переводах Лоранса Дьевра и Вероники Шильц (Paris: Fayard, 1988) и отдельное издание «Leningrad: avec Joseph Brodsky» (Paris: Autrement, 1988).

В Испании вышел сборник эссе «La Cancion del Pendulo» (Barcelona: Versal, 1988).

В Голландии вышел сборник стихов в переводах разных переводчиков «De Herfskreet van de Havik: Een keuze uit de gedichten 1961-1986» (Amsterdam: De Bezige Bij, 1989).

В Польше вышел сборник «Wiersze i Poematy» (Warszawa: Nezalezna Oficyna Wydawnicza, 1988).

В польских переводах вышел сборник стихов Бродского «82 Wiersze i Poematy» (Paris: Zeszyty Literackie – Cahiers litteraires, 1988) с предисловием С. Бараньчака и Ч. Милоша. Бродскому посвящен седьмой номер журнала «Literatura na Świecie» (Warszawa, Lipiec, 1988). Номер включает стихи, эссе и интервью Бродского, а также статьи о нем.

1989*, январь* – Бродский во второй раз становится резидентом Американской академии в Риме. По заказу издательства «Consorzio Venezia Nuova» пишет по-английски книгу-эссе о Венеции «Fondamenta degli Incurabili» (Набережная неисцелимых). В конце месяца возвратился в Нью-Йорк.

18 января – «Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне...».

6 марта – на третьем канале французского телевидения (FR3) премьера фильма «Иосиф Бродский. Русский поэт, американский гражданин» («Joseph Brodsky. Poetę russe – citoyen americain»). Создатели фильма – Виктор Лупан и Кристоф де Понфийи.

10 марта – участие в семинаре английского департамента Нью-Йоркского городского университета (CUNY).

Март – выступление в Сорбонне («Изучать философию следует, в лучшем случае...»).

16 марта – выступление в колледже Вознесения в Вустере, штат Массачусетс; стихи на 60-летие Эндрю Блейна, историка-русиста и хозяина дома на Мортон-стрит, где Бродский снимал квартиру; не опубликовано.

31 марта – 1 апреля – участие в симпозиуме по вопросам перевода, колледж Брин-Мор, Пенсильвания.

9 апреля – выступление в библиотеке г. Гринвича, штат Коннектикут.

10 апреля – выступление в колледже Адельфи, Нью-Йорк.

24 апреля – выступление в Техасском университете, Остин.

Апрель – в Москве в Доме культуры медработников состоялся вечер, посвященный Бродскому, который вел Евгений Рейн.

Апрель – в журнале «Искорка» (1989. № 4) опубликованы стихи «Самсон, домашний кот...» и «Как небесный снаряд...». Прокуратура Ленинграда начала проверку обоснованности постановления Дзержинского районного суда от 13 марта 1964 года. 26 июля Бродский был реабилитирован.

19—21 мая – выступление в Лос-Анджелесе.

28 мая – речь на выпускной церемонии в колледже Амхерст, штат Массачусетс.

11 июня – выступление на выпускной церемонии в Дартмутском колледже, где Бродскому присуждено звание почетного доктора; опубликовано в журнале «Harper's», vol. 29 (March 1995), включено в сборник эссе «On Grief and Reason» под названием «In Praise of Boredom» («Похвала скуке»).

21—23 июня — вторая поездка Бродского в Западный Берлин с выступлением; см.: «Ландверканал. Берлин» («Канал, в котором утопили Розу...»).

24 июня — Роттердамский поэтический фестиваль, посвященный русской поэзии, с участием Дерека Уолкотта, Леса Марри, Риты Дав, Октавио Паса; из России – Белла Ахмадулина, Александр Кушнер, Евгений Рейн, Геннадий Айги, Татьяна Щербина и Алексей Парщиков. Бродский вместе с Дереком Уолкоттом перевел несколько стихотворений Кушнера и одно Щербины.

Конец июня — встречается с Шеймусом Хини в Лондоне.

7 июля — в журнале «Искорка» (1989. № 7) опубликовано стихотворение для детей «Что хорошего в июле...».

11—14 июля — Бродский в Лондоне, прислал в Ноттингемский университет на конференцию, посвященную Ахматовой, стихи «На столетие Анны Ахматовой» («Страницу и огонь, зерно и жернова...»).

13 июля — присвоение почетного звания в Эссекском университете.

Июль — в Дублине на церемонии вручения почетной докторской степени Дереку Уолкотту в Тринити-колледж.

Август — на даче на острове Торо (Швеция); «Доклад для симпозиума» («Предлагаю вам небольшой трактат...»). В гостинице «Рейзен» дописывал «Набережную неисцелимых» (английское название «Watermark» – «Водяной знак»).

21 августа — «Памяти Геннадия Шмакова» («Извини за молчанье. Теперь...»).

Сентябрь — эссе «Поэзия как форма сопротивления реальности»; написано в качестве предисловия к польскому изданию стихов Томаса Венцловы «Rozmowa w zimie».

6 октября — выступление в Турине «Поэт и его Муза» (другое название – «Altra Ego») в связи с выставкой фотографий на эту тему.

21—22 октября — конференция в Уппсале и поэтический фестиваль в Мальме, Швеция.

24—25 октября — выступление в Дартмутском колледже, штат Нью-Хэмпшир.

24 ноября — выступление на литературных курсах Айовского университета.

Ноябрь — закончил книгу «Watermark» («Набережная неисцелимых»).

Декабрь — Бродский в Венеции. Публикация в Италии в переводе Джильберто Форти «Fondamenta degli Incurabili» («Набережная неисцелимых») (Consorzio Venezia Nuova, 1989). Книга посвящена другу Бродского, живущему в Венеции американскому художнику Роберту Моргану.

18 декабря — презентация «Fondamenta degli Incurabili» в Венеции.

22 декабря — Бродский представляет Ольгу Седакову на ее вечере в палаццо Кверини Стампалла в Венеции.

25 декабря — «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере...».

Другие стихи 1989 года: «Архитектура» («Архитектура, мать развалин...», начато в 1989 году, закончено в 1993-м); «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером...»; «Примечания папоротника» («По положению пешки догадываешься о короле...»); «Лидо» («Ржавый румынский танкер, барахтающийся в лазури...», есть дата—1991 год); «Облака» («О, облака...»); «Памяти отца: Австралия» («Ты ожил, снилось мне, и уехал...»); «Fin de siécle» («Век скоро кончится, но раньше кончусь я...»); «Я слышу не то, что ты говоришь, а голос...»; «Взгляни на

деревянный дом...»; «Элегия» («Постоянство суть эволюция принципа помещенья...»), автоперевод опубликован в «Princeton University Library Chronicle», vol. LV, no. 3, Spring 1984.

Неопубликованные и незаконченные стихи 80-х годов: «Из черновой тетради» («Укажи номер века...»).

Стихи на английском: «A Song» («I wish you were here, dear...»); «For Sara Jangfeldt, on her 13th birthday» («Sara dances. Sara sings...»); «Future» («High stratosphere winds with their juvenile whistle...»), включено в английское собрание стихов «Collected Poems».

Переводы:

«Литературная Грузия» (1989. № 1) – Отар Чиладзе «Комната» («Рыдала женщина. Снаружи...»), «Тень» («О, тень, не позволяй оглядываться мне!..»), «Ожидание» («Скрывая труб огрызки и кусты...»), «Прощание» («Что с того, если здесь мы не свидимся больше?..»). Перевод выполнен в 70-е годы, публикуется впервые; существует неопубликованный перевод из Чиладзе «Зима белая, государыня беглая...».

«Дружба народов» (1989. № 12. Дек.) – перевод стихотворения Томаса Венцловы «Памяти поэта. Вариант» («Вернулся ль ты в воспетую подробно...»), перепечатано из журнала «Континент» (1976. № 9).

Проза: Предисловие к сборнику А. Наймана «Стихотворения» (N.J.: Hermitage, 1989); «Words for Salman Rushdie», «New Times Review» (March 12, 1989); «Заметка для энциклопедии (О Владимире Уфлянде)», «Русская мысль» (1989.16 июня); «Not me (on Sylvia Plath)», письмо в газету «The Guardian» (Aug. 14, 1989); «Isaiah Berlin at Eighty», «New York Review of Books», vol. 36, No. 13 (Aug. 17, 1989), перепечатано в кн. «Isaiah Berlin: A Celebration» (Chicago: University of Chicago press, 1991); «Поэзия суть существования души», «Русская мысль» (1989. 25 авг.); декабрем датировано предисловие к английскому переводу романа Юза Алешковского «Рука», «Yuz Aleshkovsky. The Hand» (N.Y.: Farrar, Straus & Giroux, 1990); «The crime done in that place were not the work of Christians», «International Herald Tribune», № 33 (13 Sept. 1989), письмо Бродского в ответ на статью Леона Визилтьера «Auschwitz: No Place for a Convent or a Synagogue»; под названием «Открытое письмо Иосифа Бродского» опубликовано в: «Русская мысль» (1989. 22 сент.); в поддержку «Континента»: «Русская мысль» (1989. 13 окт.); анкета «Вестника» об Ахматовой: «Вестник» (№ 156/П); совместно с Юзом Алешковским заявка на сценарий фильма «Королева Кремля, или Сталин в Голливуде» («The Man with Six Toes on his Right Foot» – «Человек с шестью пальцами на правой ноге»).

Публикации в периодике:

«Michigan Today», vol. 21, № 1 (February 1989) – сокращенная версия «Речи на стадионе», опубликована под названием «Some Tips» («Несколько советов»).

«New Yorker», vol. 65, № 6 (March 27, 1989) – «A Song» («I wish you were here, dear...»), написано на английском.

«Литературное обозрение» (1989. № 5. Май) – «Сретенье» («Когда она в церковь впервые внесла...»).

TLS, № 4493 (May 12—18, 1989) – «Назидание» («Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах...») в переводе Джорджа Клайна.

«Юность» (1989. № 6. Июнь) – эссе об Ахматовой «Скорбная муза» в переводе А. Колотова.

«Искорка» (1989. № 6. 6 июня) – цикл стихов для детей «Летняя музыка»: 1) «Ария кошек». 2) «Ария птиц». 3) «Ария насекомых». 4) «Ария собак». 5) «Ария рыб». 6) «Ария дождя». 7) «Ария деревьев».

«Русская мысль» (1989. № 3780. 16 июня) – «Заметки для энциклопедии» («Уфляндия»).

TLS, № 4500 (June 30 – July 6, 1989) – автоперевод «Примечания к прогнозам погоды» («Аллея со статуями из затвердевшей грязи...»).

«Литературная газета» (1989. 17 авг.) – «На столетие Анны Ахматовой» («Страницу и огонь, зерно и жернова...»).

«Русская мысль» (1989. № 3789. 18 авг.) – «Романс» («Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой...»).

«Русская мысль» (1989. № 3790. 25 авг.) – «На столетие Анны Ахматовой» («Страницу и огонь, зерно и жернова...»).

«Континент» (1989. № 61) – «На столетие Анны Ахматовой» («Страницу и огонь, зерно и жернова...»); «Памяти отца: Австралия» («Ты ожил, снилось мне, и уехал...»); «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером...»; «Элегия» («Постоянство – суть эволюция принципа помещенья...»; «Бегство в Египет» («...погонщик возник неизвестно откуда...»); «Ландверканал. Берлин» («Канал, в котором утопили Розу...»); «Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне...»; «Fin de siécle» («Век скоро кончится, но раньше кончусь я...»); «Примечания папоротника» («По положению пешки догадываешься о короле...»); «Облака» («О, облака...»); «Памяти Геннадия Шмакова» («Извини за молчанье. Теперь...»).

«Огонек» (№ 44. 28 окт. – 4 нояб.) – «Памяти отца: Австралия» («Ты ожил, снилось мне, и уехал...»); «Элегия» («Постоянство – суть эволюция принципа помещенья...»; «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером...»; «Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне...».

«Аврора» (1989. № 11) – «Заметки для энциклопедии» («Уфляндия»).

«Митин журнал» (1989. Нояб. —Дек.) – «Представление» («Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела!..»).

Книги: На польском: в переводах Михала Клобуковского сборник «Mniej niz ktoś» (Warszawa: CDN, 1989) и сборник эссе «Śpiew Wanadla» (Paris: Zeszyty Literackie – Carriers Litteraires, 1989).

Marbles. A Play in Three Acts. Tr. Alan Myers. N.Y.: Farrar, Straus & Giroux, 1989.

Остановка в пустыне (Ann Arbor: Ardis), 2-е издание.

Конец прекрасной эпохи (Ann Arbor: Ardis), 2-е издание.

Урания (Ann Arbor: Ardis), 2-е издание.

To Urania, Oxford University Press. 1972 год, отпечатано в восьми экземплярах с гравюры по дереву Ильзе Шрайбер по-русски и по-английски в переводе Алана Майерса (New York: The Centre for Editions at SUNY Purchase, 1989).

Ноябрь – падение Берлинской стены, символа раскола Европы. Крах социалистической системы. 22 декабря – в Париже умер Сэмюел Беккет.

1990*, 8—27 января* — на конференции Международного философского колледжа (College de Philosophie); Бродский и Милош выступали с лекциями на тему «Поэзия и философия. Различия литератур Европы Восточной и Европы Западной».

11 января — выступление в Париже в колледже *Ecole Normale Superieure;* там Бродский знакомится со своей будущей женой Марией Соццани (по матери Берсенева-Трубецкая).

Январь — в Санкт-Петербурге в Доме писателей, ул. Воинова, 18, состоялась Первая международная научная конференция, посвященная творчеству Бродского. В актовом зале Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина на Фонтанке вечер «И. А. Бродский».

18 января — вручение Бродскому почетной степени доктора философии в Уппсальском университете, Швеция.

23 января — вместе с Марией Соццани в Нью-Йорке на дне рождения Дерека Уолкотта в Актерском клубе (The Players Club); среди присутствующих Роджер Страус, Шеймус Хини, Розанна Уоррен, Элизабет Хардвик и Роберт Силверс. Бродский прочитал стихотворение, посвященное Дереку Уолкотту.

18 февраля — выступение в театре Сандерс в Кембридже, штат Массачусетс.

Февраль — Ахматовский юбилей в Театре поэзии в Бостоне, устроенный Бродским; он пригласил из Москвы Анатолия

Наймана и Аллу Демидову.

3 марта — выступление в Художественном музее Милуоки, штат Висконсин.

10 марта — встреча с Я. А. Гординым в Нью-Йорке после 18-летней разлуки.

30 марта — выступление в Пенсильванском университете, Филадельфия.

6 апреля — выступление в академии Филлипс-Эксетер, штат Нью-Хэмпшир.

15 апреля — выступление в Кембридже, штат Массачусетс, в пользу международной организации по борьбе с голодом *(Oxfam)*.

5 мая — краткое вступительное слово на вечере памяти Лолы Сладите (Szladits), куратора Нью-Йоркской публичной библиотеки; опубликовано в: Biblion: The Bulletin of the New York Public Library, vol. 1, № 1 (Fall 1992).

16 мая — лекция в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Май — участие в конференции в Нью-Йорке, посвященной столетию со дня рождения Бориса Пастернака. Лекция в Библиотеке конгресса в Вашингтоне.

11 июня — умер итальянский друг и переводчик Бродского Джованни (Джанни) Буттафава.

18—21 июня — семинар в Цюрихе, Швейцария.

24 июня — письмо Регине Дериевой, опубликовано в журнале «Звезда» (2000. № 5).

Июнь — в Москве в издательстве «Художественная литература» вышел сборник избранных стихов Бродского «Часть речи» (составитель Э. Безносов).

Июль — в Сицилии, получил премию Costiglione di Sicilia.

Июль-август — в Швеции.

10 августа — в Доме писателей в Ленинграде состоялась презентация сборника стихов Бродского «Осенний крик ястреба» (составитель Ольга Абрамович, предисловие Вл. Уфлянда, ИМА-пресс, 1990); Зал был заполнен до отказа.

24 августа — в Нью-Йорке умер Сергей Довлатов.

1 сентября — бракосочетание с Марией Соццани в Стокгольме.

5—8 сентября — симпозиум в Уппсальском университете, Швеция.

Середина сентября — издательство «Farrar, Straus & Giroux» устроило вечер в честь женитьбы Бродского; Дерек Уолкогт написал в честь молодоженов эпиталаму.

13 сентября — литературный вечер в Коннектикутском колледже, штат Коннектикут, вместе с приехавшими из России Виктором Голышевым, Татьяной Бек, Валерием Поповым и

американским поэтом Дональдом Холлом.

29 сентября — выступает в Лондоне на Международном поэтическом фестивале.

6 октября — диалог-дискуссия с сэром Стивеном Спендером в лондонском Институте современных искусств (CIA).

11 октября — лекция в Британской Академии наук (опубликована в TLS, № 4569, Oct. 26/Nov. 1, 1990) под заголовком «The Poet, the Loved One and the Muse») и в несколько измененном варианте под названием «Altra Ego» в сборнике эссе «On Grief and Reason» («О скорби и разуме»).

13 октября — принимает участие в литературном фестивале в Челтенеме.

16 октября — премьера пьесы «Демократия!» в театре Гейт (Gate Theatre) в Лондоне.

18—24 октября — в Польше; в Кракове выступает вместе с Чеславом Милошем, живет в отеле «Ройял» (Royal Hotel).

21 октября — в Карнеги-холл в Нью-Йорке были исполнены «Пять афоризмов» Альфреда Шнитке в сопровождении записей Бродского, читающего «Эклогу 4-ю» (XII—XTV); «Квинтет» (I и V); «То не Муза воды набирает в рот...»; «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...».

28 октября — премьера пьесы «Демократия!» в Гамбурге.

12 ноября — ленинградская газета «Час пик» опубликовала ранние стихи Бродского, написанные с участием Якова Гордина по случаю дня рождения А. Кушнера «Ничем, певец, твой юбилей...».

Декабрь — в Милане, пишет «Вертумн» («Я встретил тебя впервые в чужих для тебя широтах...»), памяти Джанни Буттафавы.

Приезжает в Венецию, где немецкая киногруппа снимает о нем фильм.

25 декабря — рождественские стихи «Не важно, что было вокруг, и не важно...». Автоперевод опубликован в «A Garland for Stephen» (Edinburgh: Tragata Press, 1991).

Другие стихи 1990 года: «Ангел» («Белый хлопчатобумажный ангел...», есть дата– 1992 год); «Вот я и снова под этим бесцветным небом...»; «Мир создан был из смешения грязи, воды, огня...»; «Цветы» («Цветы с их с ума сводящим принципом очертаний...»); «Я проснулся от крика чаек в Дублине...»; «Метель в Массачусетсе» («Снег идет – идет уж который день...»); «Снаружи темнеет, верней – синеет, точней – чернеет...».

Стихи на английском: «Swiss Blue» («The place is so landlocked that it's getting mountainous...»). Опубликовано в «Times

Literary Supplement» (January 11, 1991).

Переводы: «Иностранная литература» (1990. № 4) – Том Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Пьеса в трех действиях.

«Иностранная литература» (1990. № 10) – Ричард Уилбер «После последних известий» («После последних известий темно...»), «Черный индюк» («Отряд из девяти цыплят...»), «Животные» («Животные, благодаря своей...»), «Голос из-под стола» («Как жен познать, как поглощать вино...»), «Барочный фонтан в стене на Вилле-Скьяра» («Из-под бронзы венца...»).

Проза: Эссе о С. Довлатове по-русски и по-английски в переводе Брайана Баера в журнале «Slovo/Word» (1990. № 9), перепечатано в: *Довлатов С.* Собрание прозы. В 3 т. (СПб.: Лимбус-пресс, 1993); «Поэзия как форма сопротивления реальности» в журнале «Русская мысль» (1990. № 3829. 25 мая), написано в качестве предисловия к польскому изданию стихов Томаса Венцловы в переводе С. Бараньчака; «Памяти Константина Батюшкова», альманах «Поэзия» (1990. № 56); «Взгляд с карусели», написано по-русски и опубликовано в журнале «Курьер ЮНЕСКО» (1990. № 8), английская версия под названием «View from the Mary-Go-Round» опубликована в «Unesco Courier», № 43 (June 1990); «The Poet, the Loved One and the Muse» – TLS, № 4569 (Oct. 26/Nov. 1, 1990); «Mark Strand», Introduction at the American Academy of Poets); «Anthony Hecht and the Art of Poetry», reprinted in: The Burdens of Formality: Essays on the Poetry of Anthony Hecht. Athens: University of Georgia press, 1990.

Публикации в периодике:

«Континент» (1990. № 62) – «Представление» («Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела!..») и одноактная пьеса «Демократия!».

«Петрополь» (1990. № 1) – «Колесник умер, бондарь...»; «Рождественский романс» («Плывет в тоске необъяснимой...»); «Я обнял эти плечи и взглянул...»; «Да, мы не стали глубже или старше...»; «Пилигримы» («Мимо ристалищ, капищ...»); «Воротишься на родину. Ну что ж...»; «Затем, чтоб пустым разговорцем...»; «Сонет» («Я снова слышу голос твой тоскливый...»); «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»); «Стансы городу» («Да не будет дано...»); «Зачем опять меняемся местами...»; «Сонет к Глебу Горбовскому» («Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы...»); «Памяти Феди Добровольского» («Мы продолжаем жить...»); «Сонет» («Переживи всех...»); «Стихи под эпиграфом» («Каждый пред Богом наг...»).

«New Yorker», vol. *66,* № 3 (March 5, 1990) – автоперевод «Памяти отца: Австралия» («Ты ожил, снилось мне, и уехал...»).

Перепечатано в The Best American Poetry 1991 (N.Y.: Scribners, 1991).

«Родник» (Рига), № 3/39 (март 1990) – «Что до тирании» («О тирании») в переводе А. Левкина.

«Литературная газета» (1990. № 17. 25 апр.) – «Север крошит металл, но щадит стекло...»; «Второе Рождество на берегу...»; «Открытка из города К» («Развалины есть праздник кислорода...»); «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...»; 12-я строфа из «Новые стансы к Августе» («Эвтерпа, ты? Куда зашел я, а?..»); «В эту зиму с ума...»; «Дождь в августе» («Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и...»); «Кончится лето. Начнется сентябрь...»; «Примечания к прогнозам погоды» («Аллея со статуями из затвердевшей грязи...»); «В этой маленькой комнате все по-старому...»; «Только пепел знает, что значит сгореть дотла...»; «Теперь, зная многое о твоей...»; «Как давно я топчу, видно по каблуку...»; «Помнишь свалку вещей на железном стуле...»; «Сохрани на холодные времена...».

«Континент» (1990. № 63) – «Посвящается позвоночнику».

«Искусство кино» (1990. № 7. Июль) – «О тирании» в переводе Льва Лосева.

«Granta», № 30 (Winter 1990) – «Democracy!».

«Искусство Ленинграда» (1990. № 8—9) – «Мрамор».

Книги:

Marbles. A Play in Three Acts. Tr. Alan Myers (Penguin Books, 1990).

Стихотворения. М.: Библиотека журнала «Полиграфия», 1990.

Часть речи. М.: Художественная литература, 1990.

Стихотворения Иосифа Бродского / Составитель Г. Комаров, предисловие С. Лурье. М.: СП «Алга Фонд», 1990.

Назидание: Стихи 1962—1989 / Составитель В. Уфлянд. Л.: Смарт, 1990.

Democratiel/Демократия! (на русском и французском). Пер. В. Шильц (Paris: A Die, 1990).

Иосиф Бродский размером подлинника / Под ред. Г. Комарова. М., 1990 (в книгу включены проза и интервью Бродского, а также статьи о нем).

Примечания папоротника (Bromma: Hylaea, 1990).

Tussen Iemand en Neimand (Amsterdam: De Bezige Bij, 1990).

В Москве Театр им. Маяковского поставил пьесу Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в переводе Бродского.

Нобелевскую премию по литературе получает мексиканский поэт и эссеист Октавио Пас.

1991, *январь* – Бродский в Риме, см. «Надпись на книге» («Когда ветер стихает и листья пастушьей сумки...»).

6 января – выступление в Лондоне.

27 марта – выступление в Колумбийском университете (Нью-Йорк).

14 мая – избран американским поэтом-лауреатом (Poet Taureate of the United States).

Май – датировано эссе «О Дереке Уолкотте». Написано в качестве предисловия к сборнику стихов переводов Уолкотта на шведский язык «Vinterlampor» (Stockholm, 1991).

19 июня – церемония вручения почетной степени доктора в Оксфордском университете, в присутствии сэра Исайи Берлина и Жаклин Кеннеди-Онассис. Представлял Бродского Шеймус Хини, занимавший в тот год пост профессора поэзии при Оксфордском университете. Бродский остановился в доме сэра Берлина.

1—5 июля – в Лондоне на конференции, посвященной столетию Мандельштама, где сделал доклад под названием «С миром державным я был лишь ребячески связан...», Mandelstam Centenary Conference (Столетие Мандельштама: материалы конференции). Под ред. R. Aizlewood & D. Myers. Tenefly: Hermitage, 1994.

14 июля — Бродский вместе с Марией провел весь день в Оксфорде, виделся с Михаилом Петровым, который сделал много фотографий поэта.

25– 27 июля — выступления в Аспене, штат Колорадо.

Июль — «Портрет трагедии» («Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее морщины...»).

Осень — преподает вместе с Дереком Уолкоттом в Колумбийском университете.

1 сентября — приступил к исполнению должности поэта-лауреата США при Библиотеке Конгресса в Вашингтоне; оставался на этом посту до июня 1992 года.

2 октября — речь «Нескромное предложение» в Библиотеке конгресса (inaugural address as Poet Laureate).

15 октября — во французском консульстве в Нью-Йорке вручение ордена Почетного легиона.

19 и 26 октября — проводит семинары в Нью-Йорке, посвященные творчеству Томаса Харди и Роберта Фроста.

1 ноября — поэтические чтения в Бостоне для сбора средств для Театра драматургов (The Playwrights Theatre) – участвуют Бродский, Марк Стрэнд, Воле Шойника и др.; еще одно выступление в Бостоне, Boston Auditorium, вместе с Робертом Пински.

3—8 ноября — в Вене в отеле «Хилтон» 56-й Всемирный

конгресс Международного Пен-клуба, на который из Америки приехали Бродский и Аксенов. Бродский встретился со студентами-славистами Венского университета.

8—11 ноября — выступление на конференции памяти Данило Киша в Страсбурге.

8 декабря — доклад «По ком звонит осыпающаяся колокольня» на симпозиуме Шведской академии в Стокгольме, посвященном 90-летию Нобелевского комитета. Опубликовано в сборнике «The Situation of High-Quality Literature. Papers presented at the Swedish Academy Nobel Jubilee Symposium» (Stockholm, 1993).

11—17 декабря — в Голландии: *13 декабря* — Хёйзингская лекция в Лейдене «Профиль Клио», *15 декабря* — чтение в Амстердаме.

Декабрь — вдова художника Карла Виллинка Сильвия сделала скульптурный портрет Бродского; на открытой презентации собственного бюста, где произносит экспромт на английском об «автономности статуй, автономности зданий, автономности неба».

22 декабря — чтение в литературном клубе «The Poetry Center of the 92nd Street Y» в Нью-Йорке.

Декабрь — «Presepio» («Ясли») («Младенец. Мария, Иосиф, цари...»).

Другие стихи 1991 года: «Каппадокия» («Сто сорок тысяч воинов Понтийского Митридата...»), начато в 1990 году в Нью-Йорке, закончено в 1991 году в Лондоне, в английском сборнике стоит дата – 1992); «Надпись на книге» («Когда ветер стихнет и листья пастушьей сумки...»); «Письмо в оазис» («Не надо обо мне. Не надо ни о ком...»); «Ты не скажешь комару...»; «Однажды я тоже зимой прибыл сюда...».

Стихи на английском: «Transatlantic» («The last twenty years were good for practically everybody...»).

Проза: «Трагический элегик» написано по-русски в качестве предисловия к книге Е. Рейна «Против часовой стрелки» (Tenafly, N.J.: Hermitage, 1991), перепечатано в журнале «Знамя» (1991.

№ 7) и под заголовком «Evgeny Rein» в американском журнале «Wilson Quarterly», vol. 18, № 4 (Autumn 1994); «Предисловие» к стихам Вл. Гандельсмана (Континент. 1991. № *66);* предисловие к английскому сборнику А. Кушнера «Apollo in the Snow» (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1991); «Материалы Римской встречи» (Континент, (специальное приложение). (1991. № *66.* Янв.); «A Thousand Days of the Fatwa: The Rushdie Affairs reconsidered», «Times Literary Supplement», № 4623 (November 8, 1991); предисловие к переводу книги А. Наймана «Remembering

Anna Akhmatova» (London: Peter Halban, 1991); «An Immodest Proposal, Brodsky's inaugural address as a Poet Laureate», «New Republic», vol. 205, № 20 (November 11, 1991); предисловие к: Lev Poliakov, Russia: A Portrait (New York: FS-G, 1991); «Profile of Clio», «New Republic», vol. 208, № 5 (February 1, 1993); «International Books of the Year: A Further Selection from Sixteen Writers», «Times Literary Supplement» (December 13, 1991).

Публикации в периодике:

«Петрополь» (1991. № 3) – «Путешествие в Стамбул».

«Literary Half-Yearly» (Mysore, India), vol. 32, № 1 (January 1991) – «The Muse is Feminine and Continuous», rpr. from TLS (October 26/November 1, 1990).

«Performing Art Journal», № 37 (January 1991) – «Democracy!», rpr. from «Granta» (Winter 1990).

«Renaissance and Modern Studies», vol. 34 (1991) – «The Condition We Call „Exile“», rpr. from «New York Review of Books» (January 21, 1988).

«Times Literary Supplement», № 4580 (January 11, 1991) — написанное на английском «Swiss Blue» («The place is so landlocked that it's getting mountainous...»).

«New Yorker», vol. *66,* № 49 (January 21, 1991) – автоперевод «Джироламо Марчелло» («Однажды я тоже зимою прибыл сюда...»), перепечатано в «The Best American Poetry 1992» (NY.: Scribners, 1992).

«Новый мир» (1991. № 2. Февр.) – эссе «Поэт и проза» и «Об одном стихотворении».

«Юность» (1991. № 2. Февр.) – «Напутствие» в переводе А. Колото ва.

TLS, № 4583 (February 1, 1991) – автоперевод «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером...».

«Смена» (1991. № 64/65. 27 марта и № 70/71. 20 марта) – «Полторы комнаты» в переводе Д. Чекалова.

TLS, № 4593 (April 12, 1991) – автоперевод «Примечания папоротника» («По положению пешки догадываешься о короле...»).

«Современная драматургия» (1991. № 3. Май-июнь) – «Демократия!». Одноактная пьеса.

TLS, № 4609 (August 2, 1991) – автоперевод «Дождь в августе» («Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и...»).

«Звезда» (1991. № 9. Сент.) – «Портрет трагедии» («Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее морщины...»).

«Partisan Review», vol. 58, № 4 (Fall 1991) – «Одиссей Телемаку» в переводе Гарри Томаса.

«Литературное обозрение» (1991. № 10. Окт.) – «Чудо

обыденной речи», заметка о поэте Геннадии Алексееве, написана в 1969 году.

TLS, № 4618 (October 4, 1991) – автоперевод «Вертумн» («Я встретил тебя впервые в чужих для тебя широтах...»).

TLS, № 4620 (October 18, 1991) – автоперевод «Открытка из Лиссабона» («Монументы событиям, никогда не имевшим места...»).

«New Republic», vol. 205, №20 (November 11, 1991) – «An Immodest Proposal»), отредактированная версия речи, произнесенной 2 октября в Библиотеке Конгресса США.

«Нева» (1991. № 11—12. Нояб.-Дек.) – «О Достоевском», авторизированный перевод А. Сумеркина.

TLS, № 4628 (December 13, 1991) – International Books of the Year: A Further Selection from Sixteen Writer; выбор Бродского на с. 13.

«Иностранная литература» (1991. № 5) – переводы: Чеслав Милош «Стенанья дам минувших дней» («Наши платья втоптала в грязь большаков пехота...»), «Посвящение к сборнику „Спасенье“ („Ты, которого я не сумел спасти...“), „Дитя Европы“ („Мы, чьи легкие впитывают свежесть утра...“), „По ту сторону“ („Падая, я зацепил партьеру...“), „Счастливец“ („Старость его совпала с эпохой благополучья...“); Томас Венцлова „Памяти поэта. Вариант“ „Вернулся ль ты в воспетую подробно...“. Перепечатано из Russica-81, литературный сборник (New York, 1982).

Книги:

Стихотворения / Составитель Я. Гордин. Таллин: Александра, 1991.

Taiel maaral mitte keegi. Tallin: Perioodika, 1991 (сборник эссе в переводе на эстонский).

Parte de la oracion. Barcelona: Versal, 1991 (сборник стихов в переводах на испанский).

Холмы. Большие стихотворения и поэмы / Составитель Я. Гордин, послесловие С. Лурье. СПб.: ЛП ВПТО «Киноцентр», 1991.

Письма римскому другу. М.: Экспериментальная творческая студия «Экслибрис», 1991.

Баллада о маленьком буксире / Предисловие Е. Путиловой, художник З. Аршакуни. Л.: Детская литература, 1991.

Назидание: Стихи 1962—1989. 2-е изд. / Составитель В. Уфлянд. Минск: Эридан, 1991.

Erinnerungen an Peterburg. München – Wien: Carl Hanser Verlag, 1991 (сборник эссе).

Ufer der Verlorenen (Набережная неисцелимых). München – Wein: Carl Hanser. Verlag, 1991.

Parte de la Oracion y Otros Poemas. Barcelona: Versal, 1991

(сборник стихов в переводах на испанский).

Fondamento degli Incurabili. Tr. Gilberto Forti. Milano: Adelphi Edizioni, 1991.

Shi jie ming shi jian shang jin ku. Beijing: Zhonggou funu chuanshe, 1991 (поэтическая антология, в которую включены стихи Бродского в переводах на китайский).

19 августа – попытка путча в Москве. 21 августа – провал путча. 6 сентября после референдума горожан Ленинград переименован в Санкт-Петербург. 8 декабря в Беловежской Пуще президент России Б. Н. Ельцин и лидеры Украины и Белоруссии подписывают соглашение о прекращении существования Советского Союза.

1992*, зима* — по дороге из Венеции заехал в Рим в гости к Сильване да Видович. Жил под крышей старого палаццо у Кампо деи Фьори. Читал лекции в римской Американской академии. В нью-йоркском метро и в автобусах появилась «Поэзия в движении» (Poetry in Motion), включающая английские стихи Бродского.

2 февраля — в Вашингтоне пишет «Вид с холма» («Вот вам замерзший город из каменного угла...»).

Февраль — встреча с М. С. Горбачевым в Библиотеке конгресса в Вашингтоне.

Апрель — пьеса «Демократия!» (части 1-я и 2-я) поставлена на сцене Вашингтонского театра.

12 апреля — поэтический вечер Бродского в Русском доме в Нью-Йорке, который длился три с половиной часа.

5 июня — участвует в литературном фестивале в Хэй-он-Вай, Англия.

Лето — книга «Fondamenta degli Incurabili» («Набережная неисцелимых») в расширенном и переработанном виде опубликована в оригинале на английском под названием «Watermark» («Водяной знак») в США (N.Y.: FS-G, 1992) и Великобритании (London: Hamisli Hamilton, 1992).

Июль-август — Бродский с женой жил в Швеции, где их навестил Барышников. См. стихи «Пристань Фагердала» («Деревья ночью шумят на перегу пролива...») и «Томас Трантремер за роялем» («Городок, лежащий в полях как надстройка почвы...», Вастерес).

15 августа — Бродский читает стихи вместе с Уолкоттом в Стокгольме, где Уолкотт в это время готовит к постановке свою пьесу «Sista Karnevalen» (The Last Carnival).

Сентябрь — Бродский, Марк Стрэнд и Дерек Уолкотт приняли участие в вечере поэзии, музыки и танца в Тайском

культурном центре Бостонского университета.

12 сентября — в «Независимой газете» опубликовано «Я позабыл тебя, но помню штукатурку».

Одно из последних стихотворений, адресованных Марине Басмановой – «Подруга, дурнея лицом, поселись в деревне...».

Ноябрь — Бродский вернулся в Нью-Йорк, где встретился с Кушнером и Рейном на квартире А. Глезера. Оставил должность поэта-лауреата США.

5 ноября — лекция о Цветаевой в колледже Амхерст.

Декабрь — «Колыбельная» («Родила тебя в пустыне...»). Бродский помещен в Нью-Йоркскую городскую больницу с сердечным недомоганием.

Получил звание *fellow of Yale University*. Начал снимать для работы студию по адресу 34, Barrow St, Greenwich Village (до 1994 года).

Другие стихи 1992 года: «К переговорам в Кабуле» («Жестоковыйные горные племена...»); «Михаилу Барышникову» («Раньше мы поливали газон из лейки...»); «Наряду с отоплением в каждом доме...»; «Послесловие к басне» («Еврейская птица ворона...»); «Приглашение к путешествию» («Сначала разбей стекло с помощью кирпича...»); «Провинциальное» («По колено в репейнике и в лопухах...»; «Что ты делаешь, птичка, на черной ветке...»; «Семенов» («Не было ни Иванова, ни Сидорова, ни Петрова...», посвящено Владимиру Уфлянду); «Подражание Горацию» («Лети по воле волн, кораблик...»); «Пристань Фагердала» («Деревья ночью шумят на берегу пролива...»); «Я позабыл тебя, но помню штукатурку...».

Неопубликованные стихи: «На независимость Украины».

Стихи на английском: стихи «Transatlantic» («The last twenty years were good for practically everybody...»); «Anti-Shenandoah: Two Skits and a Chorus», I. «Departure» («Why don't we board a train and go off to Persia?»): II. «Arrival» («What is this place? It looks kind of raw...»); III. «Chorus» («Here they are, for all to see...»); «Song of Welcome» («Here's your mom, here's your dad...»); «Lines for the Winter Recess» (Washington, D.C.), («A hard-boiled egg cupped by the marble cold...»); «Fossil Unwound» («6p.m. Curling his upper lip...»), «Bosnia Tune» («As you sip your brand of scotch...»); «Blues» («Eighteen years I've spent in Manhattan...»); «To the President-elect» («You've climbed the mountain. At its top...»).

Переводы: Томас Венцлова «Песнь одиннадцатая» («Все было, видимо, не так. Сквозь ветви...»); Циприан Камиль Норвид «Песнь Тиртея» («Что ж так робок звук из напева...»); Константы Ильдефонс Галчинский «Песнь о знамени» («Польское знамя Тобрука...»); Витезслав Незвал «Новогодняя ночь» («Возле печки

ветер сыплет синеватый...»); Умберто Саба «Автобиография (фрагменты)» («Был в плену солоноватой влаги...»), «Вечерняя заря на площади Альдрованди в Болонье» («На площади Альдрованди теплый вечер...»), «Голуби на почтовой площади» («Кустарник с шевелюрой темно-красной...»), «Книги» («Тебе назад я шлю твои (о, да)...»), «Письмо» («Шлю два стихотворенья. Это чьи-то...»), «Три стихотворения Линучче (фрагмент)» («В глубине Адриатики дикой...»); Сальвадоре Квазимодо «В притихших этих улочках лишь ветер...», «Пятнадцать с площади Лорето» («Экспозито, Фиорани, Фогоньоло, кто вы...»); Роберт Лоуэлл «Павшим за союз» («Старый аквариум Южного Бостона...»); Ричард Уилбер «Шпион» («С глухим гуденьем первая волна...»); Хаим Плуцик, из поэмы «Горацио», II, «Конюх» («Тяжелый стук разрушил полночь...»), из поэмы «Горацио», III, «Фауст» («Werden und Sein», старинная дилемма...»); Эндрю Марвелл «Нимфа, оплакивающая смерть своего фавна» («Стрелою праздной уязвлен...»), «Застенчивой возлюбленной» («Коль Божий мир на больший срок...»), «Горацианская ода на возвращение Кромвеля из Ирландии» («Стремясь издаться в наши дни...»); Джон Донн «О слезах при разлуке» («Дай слезы мне...»); «Элегия на смерть леди Маркхэм» («Смерть – Океан, а человек – земля...»); «Завещание» («Пред тем, как в смертный час признести „Прости“...»). В кн.: *Бродский И.* Бог сохраняет все / Составление и примечания В. Куллэ. М., 1992.

Проза: «Примечания к комментарию» – написано в качестве доклада на конференции 1992 года, посвященной 100-летию Цветаевой в Амхерсте. Опубликовано в сборнике: Marina Tsvetaeva: One Hundred Years: Papers from the Tsvetaeva Centenary Simposium (Cambridge, Massachusets, 1992) и по-русски под заголовком «Вершины великого треугольника» в журнале «Звезда» (1996. № 1); «Поэты о поэте», анкета «Литературной газеты» (1992. 7 окт.); по-английски «What the Moon Sees», «Yale Review», vol. 80, № 3 (June, 1992). На русский переведено Е. Касаткиной «Что видит луна?»; Эссе о Киме Филби «Collector's Item», «New Republic», vol. 206, № 16 (April 20, 1992), rpr. in «Best American Essays of 1993» (N.Y.: Ticknor & Field, 1993).

Публикации в периодике:

«Звезда» (1992. № 2. Февр.) – «О Сереже Довлатове», перепечатано из журнала Slovo/Word (1990. № 9).

«PMLA», vol. 107, № 2 (March, 1992) – «Poetry as a Form of resistance to reality» («Поэзия как форма сопротивления реальности»), в переводе А. Сумеркина и Джеми Гэмбрелл. Адаптированная версия предисловия Бродского к польскому сборнику Томаса Венцловы в переводе С. Бараньчака. См.:

«Русская мысль» (1990. № 3829. 25 мая).

«Октябрь» (1992. № 4. Апр.) – «Набережная неисцелимых» (Fondamenta degli Incurabili) в переводе Г. Дашевского.

«America/Америка» (1992. № 426. Май) – «Я входил вместо дикого зверя в клетку...»; «Облака» («О, облака Балтики летом...»).

Альманах «Петрополь» (1992. № 4) – переводы из Кавафиса: Константин Кавафис «Стены» («Безжалостно, безучастно, без совести и стыда...»); «Окна» («В этих сумрачных комнатах обретаясь давным-давно...»); «Желанья» («Юным телам, не познавшим страсти, умиранья...»); «В ожидании варваров» («Чего мы ждем, собравшись здесь на площади...»); «Царь Деметрий» («Когда македонцы его отвергли...»); «Город» («Ты твердишь: „Я уеду в другую страну, за другие моря...“»); «Сатрапия» («Прискорбно, что судьба несправедлива...»); «Ионическое» («Их разбитые изваянья...»); «Бог покидает Антония» («Когда ты слышишь внезапно в полночь...»); «Мартовские иды» («Душа, чурайся почестей и славы...»); «Итака» («Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным...»); «Грекофил» («Смотри, чтоб качество чеканки было...»); «Мудрецы предчувствуют» («Смертным известно о настоящем...»); «Мануил Комнин» («Великий государь Кир Мануил Комнин...»); «Битва при Магнезии» («Сдается, я сильно сдал. Силы, задор – не те...»); «Удрученность Селевкида» («Деметрий Селевкид был крайне удручен...»); «Один из их богов» («Сгущались сумерки над центром Селевкии...»); «Забинтованное плечо» («Он сказал, что споткнулся о камень, упал, расшибся...»); «Дарий» («Поэт Ферназис трудится над главной...»). Переводы с греческого Геннадия Шмакова, под редакцией Иосифа Бродского, перепечатано из журнала «Русская мысль» (1988. № 3750. 11 нояб. Литературное приложение. № 7). Там же эссе «На стороне Кавафиса», перепечатано из журнала «Эхо» (1978. № 2).

«New Yorker», vol. 68, № 11 (May 4, 1992) – «Tines for the Winter Recess» (Washington, D.C.), («A hard-boiled egg cupped by the marble cold...»), написано на английском.

«New York Review of Books», vol. 49, № 11 (June 11, 1992) – «In the Tight of Venice», отрывок из «Набережной неисцелимых».

TTS, № 4660 (July 24, 1992) – «Song of Welcome» («Here's your mom, here's your dad...»), написано по-английски.

«New Yorker», vol. 68, № 24 (August 3, 1992) – «Transatlantic» («The last twenty years were good for practically everybody...»).

TTS, № 4662 (August 7, 1992) – «Fin de siécle» («Век скоро кончится, но раньше кончусь я...»), автоперевод.

«Biblion: The Bulletin of the New York Public Tibrary», vol. 1, № 1 (Fall 1992) – «A Song» («I wish you were here, dear...»), rpr. From «New Yorker», March 7, 1989. Transcript of a memorial service for

Lola L. Szladits, May 5, 1990.

«Независимая газета» (1993. 16 сент.) – «Подражание Горацию» («Лети по воле волн, кораблик...»); «Пристань Фагердала» («Деревья ночью шумят на берегу пролива...»); «Семенов» («Не было ни Иванова, ни Сидорова, ни Петрова...», посвящено В. Уфлянду); «Памяти Н. Н.» («Я позабыл тебя, но помню штукатурку...»); «Ritratto di Donna» («Не первой свежести – как и цветы в ее...»).

TLS, № 4669 (September 25, 1992) – «Fossil Unwound» («6p.m. Curling his upper lip...»), написано на английском.

«Poetry Review», vol. 81, № 4 (1992) – «Laureate of the Supermarkets», rpr. from «New Republic», November 11, 1991, «An Immodest Proposal».

«Иностранная литература» (1992. № 10. Окт.) – «Меньше единицы» в переводе В. Голышева.

«Литературная газета» (1992. № 5418. 7 окт.) – «Поэты о поэте»: Анкета «Литературной газеты» (о Марине Цветаевой).

TLS, № 4671 (October 7, 1992) – автоперевод «Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел...».

«New York Times» (November 18, 1992) – «Bosnia Tune» («As you sip your brand of scotch, or check your watch...»), написано на английском.

«International Herald Tribune» (November 19, 1992) – «A Tune for Bosnia» («As you sip your brand of scotch...»), rpr. from «New York Times» (November 18, 1992).

«Washington Post» (December 13, 1992) – «To the President-elect» («You've climbed the mountain. At its top...»), написано по-английски.

«Occasional Stiles, the literary magazine of Ezra Stiles College at Yale University», 1992 – «I sit at my desk...»; «A postcard from France» («Now that I am in Paris...»); «Epitaph to a Tyrant» («He was in charch of something large...»); «Hail the vagina...»; «I went to a museum...»; «To a fellow poet» («Sir, you are tough, and I am tough...»); «Oysters» («Oysters, like girls, like pears...»); «A Valentine» («You are too young, and I am scared to touch you...»); «I've seen the Atlantic...».

Написал второй акт пьесы «Демократия!». Опубликована в «Partisan Review», vol. LX, Spring 1992.

В сборнике тринадцати эссе Бродского под редакцией В. Голышева (М.: Слово / Slovo, 1992) в русском переводе Г. Дашевского вышло эссе о Венеции «Набережная неисцелимых» (первая публикация в журнале «Октябрь». 1992. № 4).

Книги:

Изданы первые два тома сочинений Иосифа Бродского

(составитель Г. Комаров. СПб.: Пушкинский фонд, 1992).

В Москве вышли сборник «Рождественские стихи» (составитель П. Вайль. М.: Независимая газета) и сборник стихов и переводов Бродского под редакцией В. Куллэ «Бог сохраняет все» (М.: Миф, 1992).

В Минске издан двухтомный сборник стихов «Форма времени. Стихотворения, эссе, пьесы» (составитель В. Уфлянд. Минск: Эридан).

В Кракове в переводах К. Кржижевской вышел сборник стихов Бродского «Wiezsze i poematy».

Во Франции в переводе Вероники Шильц вышло эссе Бродского о Венеции «Acqua alta» (Paris: Gallimard, 1992).

В Голландии в переводе Шака Коммандера вышло эссе о Венеции «Kade der Ongeneeslijken – Fondamenta degli Incurabili» (Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij, 1992).

В Испании вышло эссе Бродского о Венеции в переводе Орасио Васкеса Риаля «Marca de Agua» (Barcelona: Edaf, 1992).

В Израиле вышел сборник эссе Бродского в переводе Гиоры Лешем «Menusah mi-Bizantyon» (Tel-Aviv: Sifriyat ha po'alim, 1992).

Б. Н. Ельцин избран президентом России, остается на этом посту по 1999 год включительно. Ноябрь – Нобелевскую премию по литературе получает друг Бродского, поэт с острова Сент-Люсия Дерек Уолкотт.

1993*, январь* — в Испании, куда его пригласил Барселонский университет с лекцией и чтением стихов. Купил дом в Бруклине.

Февраль — стихи «Памяти Клиффорда Брауна» («Это – не синий цвет, это – холодный цвет»); «Персидская стрела» («Древко твое истлело, истлело тело...», посвящено Веронике Шильц); «В окрестностях Атлантиды» («Все эти годы мимо текла река...»).

Май и октябрь — Бенгт Янгфельд отпечатал две домашние книжечки: «Вид с холма: Стихотворения 1992 года» (тираж 25 экз.) и «Провинциальное» (тираж 5 экз.).

27 мая — «New York Review of Books» опубликовал «Письмо Президенту» как ответ на выступление президента Чехии Гавела «Посткоммунистический кошмар».

9 июня — родилась дочь Анна Мария Александра.

21—23 июня — Бродский в Польше на церемонии присуждения звания доктора *honoris causa* в Силезском университете, Катовице. Участвовали критики и переводчики Бродского, представлял его Ч. Милош. Бродский произнес речь о Польше – «Polska».

Конец июня – начало июля — Бродский в третий раз участвует в Роттердамском поэтическом фестивале. Визит в Гаагу.

Сентябрь — Бродский провел неделю в Амстердаме, встреча с Сильвией Виллинк.

17 сентября — стихи «Она надевает чулки, и наступает осень...», «Голландия есть плоская страна» (посвящено Кейсу Верхейлу) и «Пейзаж с наводнением» («Вполне стандартный пейзаж, улучшенный наводнением...»).

Конец октября – начало ноября — живет с семьей на острове Искья в доме своего друга, профессора Миланского университета Фаусто Мальковати.

Октябрь — стихи «Иския в октябре» («Когда-то здесь клокотал вулкан...»), посвященные Фаусто Мальковати.

23 и 30 ноября — Бродский, Дерек Уолкотт, Артур Миллер, Сюзан Зонтаг и другие выступали в американском Пен-центре Нью-Йорка в пользу писателей Боснии.

Ноябрь — вечер интеллектуальной поэзии в Сан-Хосе. Бродский занял пост соредактора поэзии журнала «Wilson Quarterly» (с № 17).

Зима — в Амстердаме, где пишет стихи «Дедал в Сицилии» («Всю жизнь он что-нибудь строил, что-нибудь изобретал...»).

4 декабря — четыре нобелевских лауреата – Милош, Бродский, Октавио Пас и Дерек Уолкотт, а также Рита Дав – выступили в соборе Сент-Джон для Академии американских поэтов (американский поэт Билл Уордсворд, бывший студент Бродского, был президентом Академии).

25 декабря – «25.ХП.1993» («Что нужно для чуда? Кожух овчара...», посвящено Маше Воробьевой).

Другие стихи 1993 года: «Итака» («Воротиться сюда через двадцать лет...»); «Новая Англия» («Хотя не имеет смысла, деревья еще растут...»); «Ответ на анкету» («По возрасту я мог бы быть уже...»); «Письмо в Академию» («Как это ни провинциально, я...»); «Посвящается Чехову» («Закат, покидая веранду, задерживается на самоваре...»); «Испанская танцовщица» («Умолкает птица...», есть дата– 1989); «Я позабыл тебя, но помню штукатурку...» («Памяти Н. Н.», также датируется – 1992); «Ritratio di Donna» («Женский портрет», «Не первой свежести – как и цветы в ее...»).

Стихи на английском: стихотворение «TornfaUet» («There is a meadow in Sweden...», 1990—1993).

Неопубликованные стихи на случай: «Blues» («Eighteen years I've spent in Manhattan...») для Эда и Джил Клайн.

Проза: «О Владимире Месяце», письмо А. Фридману (Литературная газета. 1993. 27 янв.); Бродский о стихах Маргариты Ивенсен как ответ на письмо Агды Шор-Ивенсен, датировано: июль 1993 (Литературная газета. 1995. 6 дек.); второй акт пьесы «Демократия!» в переводе на английский Алана

Майерса и Бродского опубликован в «Partisan Review», vol. 60, № 2, Spring 1993; Introduction to Weldon Kees, «Wilson Quarterly», vol. 17, № 2 (Spring 1993); Preface to Urban Romances and Other Stories by Yury Miloslavsky, dated by Nov. 1993 (Ardis, 1994); «Zbignew Herbert», selected & introduced by Joseph Brodsky, «Wilson Quarterly», vol. 17, № 2 (Spring 1993); «C.P. Cavafy», selected & introduced by Joseph Brodsky, «Wilson Quarterly», vol. 17, № 3 (Summer, 1993); «Sexus Propertius», selected & introduced by Joseph Brodsky, «Wilson Quarterly», vol. 17, № 4 (Autumn, 1993); «Blood, Lies and the Trigger of History», «New York Times» (August 4, 1993), rpr. as the Preface to «Saraevo: A War Journal», by Ziatko Dizdarevich (N.Y.: Fromm International, 1993). «Polska», in: Elżbieta Tosza, Stan serca: Trzy dni s Josifem Brodskim. Katowice, 1993.

Переводы: Zbigniew Herbert «Achilles. Penthesilea» («When Achilles with his short sword pierced the breast of Penthesilea...»); Wisława Szymborska «End and Beginning» («After each war...») – переводы с польского на английский.

Публикации в периодике:

«Русский курьер» (1993. № 1. Янв.) —«Я пепел посетил...», неопубликованные произведения Иосифа Бродского.

Альманах «Петрополь» (1993. № 5) – «О Сереже Довлатове», перепечатано из журнала «Slovo/Word» (1990. № 9).

«New Republic», vol. 208, № 5 (February 1, 1993) – «Profile of Clio». Revised version of the Huizinga Lecture, Leiden.

«Иностранная литература» (1993. № 3. Март) – «Шум прибоя», сокращенная версия, в переводе В. Голышева.

«New York Times Magazine: Sophisticated Traveler» (March 7, 1993) – «Postcard from the U.S.» («I've see the Atlantic...»), rpr. from «New York Times Magazine: Sophisticated Traveler» (March 18, 1984).

«New Yorker», vol. 69, № 10 (April 29, 1993) – «Новая жизнь» («Представь, что война окончена, что воцарился мир...») в переводе Бродского и Дэвида Макфадиена.

TLS, № 4702 (May 14, 1993) – «Лидо» («Ржавый румынский танкер, барахтающийся в лазури...») в переводе Алана Майерса.

«Current Books», vol. 1, № 5 (Fall/Winter 1993) – «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» в переводе Джерри Смит. Перепечатано из двуязычной антологии, составленной и переведенной Дж. Смитом «Contemporary Russian Poetry» (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1993).

«New York Review of Books», vol. 40, № 16 (October 7, 1993) – автоперевод «Дедал в Сицилии» («Всю жизнь он что-нибудь строил, что-нибудь изобретал...»).

TLS, № 4723 (October 8, 1993) – автоперевод «Подруга, дурнея

лицом, поселись в деревне...»).

«The New York Review of Books», vol. 40, № 17 (Oct. 21, 1993) – опубликовал перевод Бродского с польского: Zbigniew Herbert «Achilles. Penthesilea» («When Achilles with his short sword pierced the breast of Penthesilea...»).

TLS, № 4730 (November 26, 1993) – «Вид с холма» («Вот вам замерзший город из каменного угла...») в переводе автора и Алана Майерса.

«New Yorker», vol. 69, № 43 (December 20, 1993) – автоперевод «Колыбельная» («Родила тебя в пустыне...»).

«The Time Literary Supplement» (December 31, 1993) – перевод Бродского с польского: Wisława Szymborska «End and Beginning» («After each war...»).

Книги:

В Москве вышел сборник: Избранное / Составитель Г. Комаров, вступительная статья Я. Гордина. М.; Париж; Нью-Йорк: Изд-во «Третья волна»; Мюнхен: Нейманис, 1993.

В Санкт-Петербурге в качестве приложения к альманаху «Петрополь» изданы сборник Бродского «Каппадокия. Стихи» и второй том сочинений Иосифа Бродского, составитель Г. Комаров (СПб.: Пушкинский фонд, 1993).

В Швеции издан сборник «Вид с холма» (Stockholm: Hylaea, 1993. Тираж 25 экз.).

Во Франции вышел сборник в переводах Элен Анри, Андре Марковича и Вероники Шильц «Vertumne et Autres Poemes» (Paris: Gallimard, 1993).

В Германии вышел цикл «Римские элегии» с оригинальными литографиями Антонии Тапиеса «Romische Elegien» (St. Galen: Erker Galleries, 1993).

В Испании вышло второе издание эссе Бродского о Венеции в переводе Орасио Васкеса Риаля «Marca de Agua» (Madrid: Hasa, 1992).

В Польше в 1993 году вышло несколько книг Бродского: в Кракове в переводах К. Кржижевской вышел сборник стихов «Lustro Weneckie» (Krakow: Biblioteka «Naglosu» Wydawnictwo, 1993), «Wiersze i Poematy» (Krakow: Oficyna Literacka, 1993) и два сборника в Катовицах: «20 sonetow do Marii Stuart» в переводе Ф. Нэтс и «Poezje» в переводах П. Фаста. С. Бараньчак перевел на польский «Набережную неисцелимых» под названием «Znak Wodny» (Краков, 1993), а Гондович перевел пьесу «Мрамор» («Marmor»). В Америке в тысячах экземпляров появилась антология «Поэзия в движении» – Poetry in Motion (NY.: MTA & Poetry Society of America, 1993), включающая строки Бродского: «Sir, you are tough, and I am tough. / But who will write whose

epitaph?»

Бюст Бродского работы Сильвии Виллинк отлит в бронзе и передан на постоянное хранение музею Ахматовой в Петербурге.

1994*, январь* — четвертый инфаркт.

28 февраля — Бродский выступает с чтением стихов в Нью-Йоркском Куинс Колледже, где прочитал «На независимость Украины» («Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой...»); впоследствии решил не публиковать это стихотворение. Неаккуратная транскрипция текста опубликована в киевской газете «Столица» (1996. № 13. Сент.), а также в Интернете.

Март — «Храм Мельпомены» («Поднимается занавес: на сцене, увы, дуэль...»).

Весна — «О если бы птицы пели и облака скучали...». Бродский ездил во Флориду с чтением стихов. Сборы отданы в общество «American Poetry and Literary Project», который он основал вместе со студентом Колумбийского университета Эндрю Кэрролл.

9—10 мая — последняя встреча Бродского с другом юности Генрихом Штейнбергом в Нью-Йорке.

Лето — А. Сумеркин предложил план сборника «Пейзаж с наводнением», который анонсировался в «Новом журнале» (1995. № 195) под названием «В окрестностях Атлантиды».

8—12 августа — принял участие в Нобелевском симпозиуме на тему «The relation between language and mind», где выступил с докладом «A Cat's Meow', опубликован в „On Thoughts and Words“, ed. Sture Allen (Stokholm: Nobel Foundation, 1985).

Осень — Бродский вместе с Дереком Уолкоттом выступают на книжной ярмарке в Готенбурге. Лекция для студентов колледжа Маунт-Холиок «Wooing the Inanimate. Four Poems by Thomas Hardy», «Partisan Review», vol. 62, № 3 (Summer 1995).

Октябрь — последний визит Стивена Спендера в Нью-Йорк. Он попал в больницу Леннокс-Хилл, где Бродский регулярно навещал его.

Ноябрь — в Венеции, см. стихотворение «Остров Прочила» («Захолустная бухта; каких-нибудь двадцать мачт...».

10 ноября — Бродский вел вечер А. Кушнера в Нью-Йорке.

2 декабря — написанное по-английски стихотворение «To My Daughter» («Give me another life, and I'll be sitting...») напечатано в лондонском еженедельнике «The Times Literary Supplement».

15 декабря — стихи на случай «Надежде Филипповне Крамовой на день ее девяностопятилетия» («Надежда Филипповна, милая...»).

21—24 декабря — вычитывает гранки сборника «Пейзаж с наводнением».

Декабрь — «В воздухе – сильный мороз и хвоя...» (посвящено Елизавете Леонской).

Другие стихи 1994 года: «Византийское» («Поезд из пункта А, льющийся из трубы...»); «В разгар холодной войны» («Кто там сидит у окна на зеленом стуле?»); «В следующий век» («Постепенно действительность превращается в недействительность...»); «Из Альберта Эйнштейна» («Вчера наступило завтра, в три часа пополудни...», посвящено Петру Вайлю); «Меня упрекали во всем, окромя погоды...»; «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки...»; «На возвращение весны» («Весна наступила внезапно, как будто за ночь выстроив...»); «После нас, разумеется, не потоп...»; «Робинзонада» («Новое небо за тридевятью земель...»); «Тритон» («Земная поверхность есть...»); «MCMXCIV» («Глупое время: и нечего, и не у кого украсть...»); «Выздоравливающему Волосику» по случаю болезни Вл. Уфлянда. Опубликовано в книге В. Уфлянда «Если Бог пошлет мне читателей» (СПб.: БЛИЦ, 1999).

Стихи на английском: «At a Lecture» («Since mistakes are inevitable, I can easily be taken...»); «A Tale» («In walks the Emperor, dressed as Mars...»); «Ode to Concrete» («You'll outlast me, good old concrete...»); «A Postcard» («The country is so populous that polygamists and serial...»); «Infinitive» («Dear savages, though I've never mastered your tongue, free of pronouns and gerunds...», посвящено Ульфу Линде).

Переводы: «Из У. Х. Одена» («Часы останови, забудь про телефон...»).

Проза: «О поэзии Яны Джан» (Литературная газета. 1997. 19 сент.) (датировано мартом 1994); открытое письмо в ответ на выступление президента Вацлава Гавела – «The Post-Communist Nightmare: An Exchange», «New York Review of Books», vol. XLI, no. 4 (February 14, 1994); «Homage to Marcus Aurelius», «Artes» (1994); «Peter Huchel», «Wilson Quarterly», vol. 18, № 1 (Winter 1994); «On Grief and Reason», an essay on Robert Frost, «New Yorker», vol. 70, № 30 (September 26, 1994), rpr. in «Homage to Frost, Joseph Brodsky, Seamus Heaney, Derek Walcott» (NY.: FS-G, 1996); Эссе о Рильке, написанное в Швеции, «Ninety Year Later», On Grief and Reason (N.Y.: FS-G, 1995); «Вершины великого треугольника», Marina Tsvetaeva. One Hundred Years.

«Modern Russian Literature and Culture. Studies and Texts», vol. 32 (Berkley, 1994); Предисловие к книге Юрия Милославского «Urban Romances» (Ann Arbor: Ardis, 1994); послесловие к сборнику Дениса Новикова «Окно в январе» (N.J.: Hermitage,

1995), послано издателю Игорю Ефимову 17 декабря 1994 года.

Публикации в периодике:

«New Yorker», vol. 69, № 45 (January 10, 1994) – автоперевод «Ангел» («Белый хлопчатобумажный ангел...»).

«New Yorker», vol. 70, № 4 (March 14, 1994) – автоперевод «Пчелы не улетели, всадник не ускакал...»).

«Princeton University Library Chronicle», vol. 55, № 3 (Spring 1994) – автоперевод «Элегия» («Постоянство суть эволюция принципа помещенья...»).

«Новый мир» (1994. № 5. Май) – «Голландия есть плоская страна...»; «Ты не скажешь комару...»; «В окрестностях Атлантиды» («Все эти годы мимо текла река...»); «Дедал в Сицилии» («Всю жизнь он что-нибудь строил, что-нибудь изобретал...»); «Песня о красном свитере» («В потетеле английской красной шерсти...»); «Новая Англия» («Хотя не имеет смысла, деревья еще растут...»); «Посвящается Чехову» («Закат, покидая веранду, задерживается на самоваре...»); «Провинциальное» («По колено в репейнике и в лопухах...»); «Итака» («Воротишься сюда через двадцать лет...»); «Иския в октябре» («Когда-то здесь клокотал вулкан...»); «Она надевает чулки, и наступает осень...»; «Цветы» («Цветы с их с ума сводящим принципом очертаний...»); «Персидская стрела» («Древко твое истлело, истлело тело...»); «Надпись на книге» («Когда ветер стихает, и листья пастушьей сумки...»); «Мир создан был из смешенья грязи, воды, огня...»; «Не выходи из комнаты, не совершай ошибки...»; «Наряду с отоплением в каждом доме...»; «Памяти Клиффорда Брауна» («Это – не синий цвет, это – холодный цвет...»); «Ответ на анкету» («По возрасту я мог бы быть уже...»); «Приглашение к путешествию» («Сначала разбей стекло с помощью кирпича...»); «Послесловие к башне» («Еврейская птица ворона...»); «Что ты делаешь, птичка, на черной ветке...»; «Архитектура» («Архитектура, мать развалин...»); «25.XП.1993» («Что нужно для чуда? Кожух овчара...»).

«Новый журнал» (1994. № 195. Июнь) – «У памятника А. С. Пушкину в Одессе» («Не по торговым странствуя...»); «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки...»; «Одежда была неуклюжей, что выдавало...»; «Приглашение к путешествию» («Сначала разбей стекло с помощью кирпича...»); «Метель в Массачусетсе» («Снег идет-идет уж который день...»): «Итака» («Воротиться сюда через двадцать лет...»); «Подражая Некрасову, или Любовная песнь Иванова» («Кажинный раз на этом самом месте...»): «В воздухе – сильный мороз и хвоя...» и эссе «Коллекционный экземпляр» в переводе А. Сумеркина.

«New York Review of Books», vol. 41, № 13 (July 14, 1994) – «Infinitive» («Dear savages, though I've never mastered your tongue,

free of pronouns and gerunds...», посвящено Ульфу Линде). Написано на английском.

«New Yorker», vol. 70, № 24 (August 8, 1994) – «Tornfallet» («There is a meadow in Sweden...»). Написано на английском.

«Antaeus», № 75/76 (Autumn 1994) – «Anti-Shenandoah: Two Skits and a Chorus», I. «Departure» («Why don't we board a train and go off to Persia?»): II. «Arrival» («What is this place? It looks kind of raw...»); III. «Chorus» («Here they are, for all to see...»). Написано на английском.

«Wilson Quarterly», vol. 18, № 4 (Autumn 1994) – «Евгений Рейн», вступительная заметка и пять стихотворений Рейна, выбранных Бродским.

TLS, № 4778 (October 28, 1994) – «A Postcard» («The country is so populous that polygamists and serial...»), написано на английском и автоперевод «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки...».

TLS, № 4783 (December 2, 1994) – «To My Daughter» («Give me another life, and I'll be singing...»). Написано на английском.

TLS, № 4786 (December 23, 1994) – «Каппадокия» («Сто сорок тысяч воинов Понтийского Митридата...») в переводе Пола Грейвса и Бродского и автоперевод «Персидская стрела» («Древко твое истлело, истлело тело...»).

Книги:

В Нью-Йорке издана книга фотографий Александра Либермана, для которой Бродский написал эссе о Марке Аврелии («Homage to Marcus Aurelius» («Дань Марку Аврелию») in: *Liberman A.* Campidoglio. N.Y.: Random House, 1994.

В Москве изданы: «Вертумн: Стихотворения» (М.: Изд. С. Ниточкин) и «Избранные стихотворения, 1957—1992» (составление и послесловие Э. Безносова. М.: Панорама, 1994).

В Санкт-Петербурге вышел третий том сочинений Иосифа Бродского (составитель Г. Комаров. СПб.: Пушкинский фонд, 1994).

В Санкт-Петербурге вышел сборник «В окрестностях Атлантиды. Новые стихи» (СПб.: Пушкинский фонд, 1994).

В Польше вышел сборник стихов Бродского в переводе К. Кржижевской «Zamieć w Massachusetts» (Krakow: Oficyna Literacka, 1994).

В Амстердаме издан сборник «Kerstgedichten» (Amsterdam:

Uitgeveru de Bezige bij, 1994) в переводе Питера Зеемана.

В Германии вышел сборник стихов в переводах Бригид Вейт, Сильвии Лист, Феликса Филиппа Ингольда и Курта Мейера-Класона «An Urania. Gedichte» (München – Wein: Carl Hanser Verlag, 1994).

В Финляндии издано эссе о Венеции в переводе Марии

Алопеус «Veden peili» (Helsinki: Kustannusosakeyhtio Tammi, 1994).

8 Италии в количестве 100 экземпляров вышел сборник «Персидская стрела/Persian Arrow» (Verona: Edizioni D'Arte Gibralfar & ECM, 1994) с двумя оригинальными гравюрами Эдика Штейнберга. Отдельной книжечкой изданы четыре стихотворения в переводе Серены Витали «Quatro poesie per Natale» (Milano: Adelphi Edizioni, 1994).

1995*, 3 января* — стихи на случай «For Roger W. Straus on his 79th Birthday», не опубликованы.

Первая половина января — Бродский прочитал несколько лекций в Женевском университете; выступил на симпозиуме, организованном «The Foundation for Creativity and Lidership» с докладом под названием «A Cat's Meow» в городе Зермат, Швейцария.

Вторая половина января — Бродский едет во Флориду выступать в больницах, домах престарелых и детских садах (получил деньги для этого проекта).

Февраль — преподавание в колледже Маунт-Холиок. Эссе «Letter to Horace», включенное в сборник эссе «On Grief and Reason» (FS-G, 1995).

18 февраля — стихи на случай ко дню рождения Маши Воробьевой, не опубликованы.

5 марта — последняя встреча с М. Ардовым в Нью-Йорке.

19 марта — Бродскому во Флоренции в Палаццо Синьории вручили медаль «Fiorino d'Oro» (Золотой флорин) – знак почетного гражданина города.

31 марта — прочитал лекцию «The Inaugural John W. Draper Lecture» под названием «The Cat's Meow», Graduate School of Arts and Siences, New York University. Опубликована: N.Y.: New York University, 1995, а также в «On Thoughts and Words», ed. Sture Allen (Stokholm: Nobel Foundation, 1985).

2 апреля — Вечер Бродского в зале Нью-Йоркского этнического общества (рядом с Центральным парком).

9 апреля — поэтический вечер Бродского в Бостоне. Читал исключительно по-английски.

Май — пишет стихи на английском (черновики): «Are those people running, or are they flying...»; «Flowers with their mind-boggling belief in contours...».

9 июня — по рекомендации и настоянию мэра А. Собчака Иосифу Бродскому присвоили звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

21 июня — Бродский прилетел в Лондон на похороны сэра Стивена Спендера.

11 июля — пишет детские стихи по-английски «Cabbage and Carrot» («One afternoon Cabbage visited Carrot…»). Скорее всего, это английский вариант стихотворения 1969 года «Ссора» («Однажды Капуста приходит к Морковке…»), опубликовано после смерти Бродского в «The New York Review of Books», July 11, 1996).

23 августа – в 2.00 часа дня пресс-конференция в Хельсинки; по приглашению В. Полухиной и В. Кривулина пришел на ужин к Наташе Башмаковой в 11 вечера и оставался до 1.30 ночи. Был в очень хорошем настроении, много говорил, но русские участники, кроме В. Кривулина (М. Берг, М. Эпштейн, В. Курицын, Н. Богомолов), нарочито его игнорировали.

24 августа – огромный поэтический вечер Бродского и Шеймуса Хини на открытом воздухе в Хельсинки с участием трех тысяч человек.

Конец августа – Участие в литературном фестивале в финском городе Тампере. Выступление в Турку вместе с Шеймусом Хини.

6 сентября – был на постановке оперы Пёрселла «Эней и Дидона» в Лондоне.

22 сентября – литературное приложение к «Time» (TLS) опубликовало рецензию Бродского на оперу Пёрселла.

Сентябрь – с семьей в Лукке.

17 октября – в Венеции в Палаццо Джироламо Марчелло, где написал проект создания Русской академии в Риме. См. «С натуры» («Солнце садится, и бар на углу закрылся…»).

Октябрь – присуждение Нобелевской премии Шеймусу Хини.

Ноябрь – Бродский в Риме, жил в гостинице «Hotel Quirinale», встретился с мэром города Франческо Рутелли и вручил ему памятную записку о Русской академии в Риме (см. стихи «На виа Фунари» («Странные морды высовываются из твоего окна…») и «Корнелию Долабелле» («Добрый вечер, проконсул, или только что-принял-душ…»), оба написаны в Риме осенью 1995 года, Hotel Quirinale).

8 декабря – стихи на случай В. П. Голышеву «Старик, пишу тебе по новой…», опубликовано в литературном сборнике «Портфель» (Dana Point, California: Ardis, 1996) и в «Новой газете» (2000. 22– 28 мая).

Декабрь – последние рождественские стихи «Бегство в Египет (II)» («В пещере какой ни на есть, а кров!..»).

Конец декабря – встреча в доме Бродского в Нью-Йорке на Бруклин-Хайтс с поэтом и переводчиком Дэниелом Уайсбортом. Они обсуждают переводы стихов Заболоцкого.

Другие стихи 1995 года: «Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию…»; «Осень – хорошее время года, если вы не

ботаник...» (посвящено Л. С); «Воспоминание» («Дом был прыжком геометрии в глухонемую зелень...»); «Стакан с водой» («Ты стоишь в стакане передо мной, водичка...»); «Aere Perennius» (Долговечнее меди), («Приключилась на твердую вещь напасть...»); «Посвящается Пиранези» («Не то – лунный кратер, не то – колизей; не то – », 1993—1995); «Театральное» («Кто там стоит под городской стеной?»), посвящено С. Юрскому, датировано 1994—1995.

Стихи на английском: «A Tale» («In walks the Emperor, dressed as Mars...»); «Anthem» («Praised be the climate...»); «Elegy» («Whether you fished me bravely out of the Pacific...»); «Kolo» («In march the soldiers...»); «Love Song» («If you were drowning, I'd come to the rescue...»); «Ode to Concrete» («You'll outlast me, good old concrete...»), «Once More by the Potomac» («Here is a Jolly Good Fellow...»); послесловие в форме написанного по-английски стихотворения «An introduction to a book...» к книге Питера Вирека «Tide and Continuities: Last and First Poems» (Fayetteville: The University of Arkansas Press, 1995); «At the Helmet and Sword» («One evening the Fork said to the Knife...»).

Переводы: «Из Еврипида. Пролог и хоры из трагедии „Медея“» («Никто никогда не знает, откуда приходит горе...», датировано 1994—1995); автоперевод стихотворения «После нас, разумеется, не потоп» – «After us, it's most definitedly not the flood...», черновик, не опубликовано.

Проза: «О Юзе Алешковском» для собрания сочинений Юза Алешковского в трех томах. Опубликовано после смерти Бродского; «In Memory of Stephen Spender», «The New Yorker», vol. 71, № 3 (January 8, 1996); «Remember Her», рецензия на оперу Пёрселла «Дидона и Эней» и Б. Бриттена «Curlew River», «Times Literary Supplement» (22 September 1995); последнее выступление Бродского перед русскоязычной аудиторией в издательстве «Слово/Word» на вечере Александра Кушнера, «Slovo/Word» (1996. № 20); «Letter to Horace», «The Boston Review», vol. 20, № 6 (December/January, 1995/96); «The Russian Academy in Rome: Preliminary Notes», «New York Review of Books», vol. 43, № 5 (March 21, 1996). Комментарии Бродского о поэзии Маргариты Ивенсен: «Литературная газета» (1995. № 49. Дек.); эссе «The Writer in Prison» («Писатель в тюрьме») как предисловие к антологии произведений писателей-заключенных, опубликовано после смерти в «The New York Times Book Review» (October 13, 1996).

Публикации в периодике:

Slovo/Word, no. 16 (1995) – «Fin de Siecle» («Век скоро кончится, но раньше кончусь я...») и автоперевод этого

стихотворения, перепечатанный из TLS, № 4662 (August 7, 1992).

«Звезда» (1995. № 1. Янв.) – новые стихи: «Пейзаж с наводнением» («Вполне стандартный пейзаж, улучшенный наводнением...»,1993); «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки...» (1994); «В следующий век» («Постепенно действительность превращается в недействительность...», 1994); «Из Одена» («Часы останови, забудь про телефон...», 1994); «Храм Мельпомены» («Поднимается занавес: на сцене, увы, дуэль...», март 1994); «MCMXCIV„ („Глупое время: и нечего, и не у кого украсть...“, 1994); „О если бы птицы пели и облака скучали...“, 1994); „После нас, разумеется, не потоп...“ (1994); „В разгар холодной войны“ („Кто там сидит у окна на зеленом стуле...“, 1994); „Византийское“ („Поезд из пункта А, льющийся из трубы...“); „Меня упрекали во всем, окромя погоды...“, 1994; „Робинзонада“ („Новое небо за тридевятые земель...“, 1994); „Из Альберта Эйнштейна“ („Вчера наступило завтра, в три часа пополудни...“, 1994); „В воздухе – сильный мороз и хвоя...“, декабрь, 1994); „Моллюск“ («Земная поверхность есть...“, 1994).

«Иностранная литература» (1995. № 2. Февр.) – перевод стихотворения Брендана Биэна «The Quare Fellow» – «Говоря о веревке...».

«Новый мир» (1995. № 2. Февр.) – «Полторы комнаты» в переводе Д. Чекалова.

TLS, № 4793 (February 10, 1995) – автоперевод «Пейзаж с наводнением» («Вполне стандартный пейзаж, улучшенный наводнением...»).

«Georgia Review», vol. 49, № 1 (Spring 1995) – «Нобелевская лекция», 9 декабря 1987 года.

«Harper's», vol. 29 (March 1995) – «Listening to Boredom». A revised version of a commencement address delivered at Dartmouth College, June 11, 1989.

«Звезда» (1995. № 4. Апр.) – эссе «Коллекционный экземпляр», авторизированный перевод А. Сумеркина.

«Огонек» (1995. № 21. Май) – «Я входил вместо дикого зверя в клетку...».

«Звезда» (1995. № 5. Май) – «Почти ода на 14 сентября 1970 года», написанная на день рождения А. Кушнера; «Надежде Филипповне Крамовой на день ее девяностопятилетия 15 декабря 1994».

«New Republic», vol. 212, № 16 (May 8, 1995) – «At a Lecture» («Since mistakes are inevitable, I can easily be taken...»), написано на английском.

TLS, № 4807 (May 19, 1995) – автопереводы «Иския в октябре» («Когда-то здесь клокотал вулкан...») и «Облака» («О, облака...»).

«Partisan Review», vol. 62, № 3 (Summer 1995) – написанное по-английски эссе «Wooing the Inanimate. Four Poems by Thomas Hardy».

«New York Review of Books», vol. 42, № 10 (June 8, 1995) – автопереводы «MCMXCIV» («Глупое время: и нечего, и не у кого украсть...»; «MCMXCV» («Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию...»).

«Иностранная литература» (1995. № 7. Июль) – «Дань Марку Аврелию», авторизированный перевод Елены Касаткиной.

«New York Review of Books», vol. 42, № 12 (July 13, 1995) – «Kolo» («In march the soldiers...»).

«Queen's Quarterly», vol. 102, № 2 (Summer 1995) – «At the Helmet and Sword» («One evening the Folk said to the Knife...»); «Anthem» («Praised be the climate...»), написаны на английском. «Робинзонада» («Новое небо за тридевятые земель...»); «Мир создан был из смешенья грязи, воды, огня...»; «После нас, разумеется, не потоп...» в переводе Бродского и Джорджа Аарона.

«New Republic», vol. 213, № 6 (August 7, 1995) – «Once More by the Potomac» («Here is a Jolly Good Fellow...»), написано на английском.

«New Yorker», vol. 71, № 23 (August 7, 1995) – автоперевод «Посвящается Чехову» («Закат, покидая веранду, задерживается на самоваре...»).

TLS, № 4825 (September 22, 1995) – «Remember Her», рецензия на оперу Пёрселла «Дидона и Эней» и Б. Бриттена «Curlew River».

«Boulevard», vol. 10, № 3 (Fall 1995) – Foreword to Peter Viereck's new book Tide and Continuities: Last and First Poems – «An Introduction to a book...».

TLS, № 4833 (November 17, 1995) – «Abroad» («Tickets are expensive. So are the hotels...»), написано на английском.

«Иностранная литература» (1995. № 12. Дек.) – «На стороне Кавафиса» в переводе Л. Лосева, перепечатано из журнала «Эхо» (1978. № 2).

«Звезда» (1995. № 12. Дек.) – «Из Еврипида. Пролог и хоры из трагедии „Медея“» («Никто никогда не знает, откуда приходит горе...», датировано 1994—1995).

«New Republic», vol. 213, № 42 (December 11, 1995) – автоперевод «Памяти Клиффорда Брауна» («Это – не синий цвет, это – холодный цвет...»).

«Boston Review», vol. 20, № 6 (December/January, 1995—96) – «Letter to Horace» («Письмо Горацию»). Эссе написано по-английски.

Книги:

В США и Канаде вышел второй сборник эссе Бродского «On

Grief and Reason» (N.Y.: FS-G, 1995, Canada: Happer/Collins, 1995).

В России вышел сборник «Пересеченная местность: Путешествие с комментариями». Составитель и автор послесловия Петр Вайль (М.: Независимая газета).

В Санкт-Петербурге вышли: «В окрестностях Атлантиды: Новые стихотворения» (составитель Г. Комаров, СПб.: Пушкинский фонд, 1995) и четвертый том сочинений Иосифа Бродского (составитель Г. Комаров, СПб.: Пушкинский фонд, 1994).

В Финляндии в переводе Юкки Маллинена вышла книга «Keskustelu taivaan aujaimen kanssa» (Helsinki: Kustannusosakeyhtio Tammi, 1995).

В Италии в переводе Фаусто Мальковати вышла пьеса «Мрамор» (Marmi. Milano: Adelphi Edizioni, 1995).

В Румынии в переводе Эмиля Иордаке вышел сборник, включающий «Нобелевскую лекцию» и стихи Бродского: Iosif Brodski, Din nicaieri, cu dragoste. Iasi, Editura TIMPUL, 1995.

Нобелевскую премию по литературе получает друг Бродского, ирландский поэт Шеймус Хини.

1996, *начало января* — ленч с Роджером Страусом и Шеймусом Хини в кафе на Юнион-сквер, где находится американское издательство Бродского «Фаррар, Страус и Жиру». Последняя встреча с Шеймусом Хини.

Январь — стихи «Август» («Маленькие города, где вам не скажут правду...»).

22 января — Бродский встретился с Еленой Чернышевой по дороге к врачу, чтобы обсудить результаты очередной сердечной пробы.

27 января — день рождения Барышникова, которого Бродский поздравил по телефону (Барышников был в Майами). Вечером у Бродских гостили Елизавета Леонская и Александр Сумеркин. После ухода гостей приготовил книги и рукописи, чтобы назавтра взять с собой в Саут-Хедли.

В ночь с 27 на 28 января — Бродский умер в своем кабинете не позже 2.00 утра. В 9 часов утра Мария нашла его на полу кабинета за дверью; он лежал одетый, в очках, с улыбкой на лице.

30 января — открыт доступ к гробу поэта в похоронном заведении на Бликер-стрит, 99, Гринвич-Виллидж. М. С. Горбачев и Р. М. Горбачева прислали семье Бродского соболезнования и букет цветов. Вечером Ю. Алешковский, Е. Рейн, Л. Лосев, М. Барышников, А. Кушнер, Г. Штейнберг и другие собрались в «Русском самоваре» выпить за упокой души Бродского.

31 января — премьер-министр России В. С. Черномырдин,

совершавший визит в США, посетил зал на Бликер-стрит, «чтобы отдать долг великому поэту». Вечером в среду у Маши Воробьевой на Мортон-стрит Бродского поминали И. Гинзбург-Восков, В. Шильц, М. Пикен, А. Струве, М. Барышников, Л. Лосев, Ю. Алешковский.

1 февраля — в 11 утра началось отпевание Бродского в епископальной церкви Благодати в Бруклине (Grace Church) недалеко от дома Бродского. В конце службы Рейн, Кушнер, Лосев и вдова поэта Мария читали стихи.

2 февраля — тело в гробу, обитом металлом, положили в склеп на кладбище Тринити-Черч (Trinity Church Cemetery) на 153-й стрит. Написанные по-английски стихи «The Tale» («In whalks the Emperor, dressed as Mars...») и «Reveille» («Birds acquaint themselves with leaves....») опубликованы в «The Times Literary Supplement» в качестве последней дани Бродскому за многолетнее сотрудничество с этим еженедельником.

3 февраля — поминки в квартире Бродских.

8 марта — служба в соборе Святого Иоанна в Нью-Йорке (Cathedral of St John the Divine) на сороковой день после смерти Бродского. Стихи покойного читали Уолкотт, Марк Стрэнд, Энтони Хект и Лев Лосев. Собралось около трех тысяч человек.

4 апреля — написанное по-английски стихотворение «At the City Dump in Nantucket» опубликовано в нью-йоркском еженедельнике «The New York Review of Books».

Апрель — в Америке издан сборник «Пейзаж с наводнением» (составитель А. Сумеркин, Dana Point, California: Ardis, 1996).

24—26 мая — в Санкт-Петербурге состоялась Вторая международная научная конференция, посвященная творчеству Иосифа Бродского.

Сентябрь — вышел четвертый английский сборник стихов Бродского «So Forth» в издательстве «Farrar, Straus & Giroux» с посвящением жене и дочери.

29 октября — вечер памяти Бродского в Колумбийском университете. Сюзан Зонтаг читала ранние стихи Иосифа, Дерек Уолкотт – «Письма династии Минь», выступали также Марк Стрэнд и Татьяна Толстая.

7—9 ноября — международная конференция, посвященная Бродскому, в Мичиганском университете.

Стихи 1996 года: «Август» (см. выше).

Стихи на английском: «At the City Dump in Nantucket» («The perishable devours the perishable in broad daylight...», посвящено Стивену Уайту, датировано 1995—1996); «Ab Ovo» (Ultimately, there should be a language...»); «Revelle» («Birds acquant themselves with leaves...»).

Проза: Эссе Бродского о Роберте Фросте «On Grief and reason» включено в сборник «Homage to Robert Frost» (N.Y.: FS-G, 1996) вместе с эссе Шеймуса Хини и Дерека Уолкотта; письмо Бродского Джеймсу Райсу о Пушкине.

Публикации в периодике:

«Звезда» (1996. № 1. Янв.) – эссе «Вершины великого треугольника», перепечатано из: *Tsvetaeva M.* One Hundred Years. «Modern Russian Literature and Culture. Studies and Text», vol. 32 (Berkley, 1994).

«Threepen NY. Review», vol. 16, № 4 (Winter 1996) – «Spoils of War» («Трофейное»).

«New Yorker», vol. 71, № 43 (January 8, 1996) – «English Lessons from Stephen Spender».

TLS, № 4841 (January 12, 1996) – автоперевод стихотворения «Меня упрекали во всем, окромя погоды...».

«New York Review of Books», vol. 43, № 2 (February 1, 1996) – автоперевод стихотворения «На Виа Фунари» («Странные морды высовываются из твоего окна...»).

TLS, № 4844 (February 2, 1996) – «The Tale» («In walks the Emperor, dressed as Mars...»); «Revelle» («Birds acquaint themselves with leaves...»), написаны на английском.

«Los Angeles Times Book Review» (February 4, 1996) – «In Memory of Stephen Spender» (excerpt).

«Московские новости» (1996. № 5. 4—11 февр.) – «Рембрандт. Офорты» («Он был настолько дерзок, что стремился...»).

«New Yorker», vol. 71, № 48 (February 12, 1996) – автоперевод «Портрет трагедии» («Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее морщины...»).

«Литературная газета» (1996. № 8. 28 февр.) – «Послесловие как завещание нового века». Послесловие Бродского к сборнику Дениса Новикова «Окно в январе» (Teneily, N.J.: Hermitage Publishers, 1995).

«Harper's», vol. 292 (March 1996) – «A Western Boyhood, In Russia», excerpt from «Spoil of War».

«Литературная газета» (1996. № 10. 6 марта) – переводы с чешского стихов Франтишека Таласа: «Листопад» («Ноготь меланхолии холеный...»); «Утешение» («Яйцо поставить чрезвычайно просто...»); «Кровь детства» («Верни мне сонных сказок королевство...»); «Лампочка» («Прохватывает до костей железом...»); «Тишина» («Саранча наших слов губит черный посев тишины...»); «Сон» («Горошина под девятью...»); «Бабье лето» («Ночь рекламный проспект пустоты...»); «Двое» («Может быть, по привычке или ради искусства...»); «Сожаление» («Грех первородный чествуя столь часто...»); «Со дна» («Люблю по-детски

странный этот мир...»); «Европа» («Улыбнитесь все, кто может плакать...»); «Наш пейзаж» («Позорный столб – опора родных небес...»); «Яд» («Семейство змей с мерцанием голодным...»), переводы выполнены в 1971—1972 годах.

«New Republic», vol. 214, № 10 (March 4, 1996) – автоперевод «О если бы птицы пели и облака скучали...» и написанное по-английски «Love Song» («If you were drowning, I'd come to the rescue...»).

«New York Review of Books», vol. 43, № 5 (March 21, 1996) – «The Russian Academy in Rome: Preliminary Notes».

«New York Review of Books», vol. 43, № 6 (April 4, 1996) – «At the City Dump in Nantucket» («The perishable devours the perishable in broad daylight...»), написано на английском.

«Agni», № 43 (1996) – «Pacific Rim» («At first, a week of torrential rain, and the afterwards, an earthquake»; «...as for your enemy, may I suggest the following...»).

«Звезда» (1996. № 5. Май) – «Шеймусу Хини» («Я проснулся от крика чаек в Дублине...»).

«Новый мир» (1996. № 5. Май) – «Крики дублинских чаек! Конец грамматики»; «Aere perennius» («Приключилась на твердую вещь напасть...»); «Стакан с водой» («Ты стоишь в стакане передо мной, водичка...»); «Бегство в Египет» (2) («В пещере (какой ни на есть, а кров...»); «И Тебя в вифлеемской вечерней толпе...»; «Посвящается Пиранези» («Не то – лунный кратер, не то – колизей, не то...»); «С натуры» («Солнце садится, и бар на углу закрылся...»); «На Виа Фунари» («Странные морды высовываются из твоего окна...»); «Корнелию Долабелле» («Добрый вечер, проконсул, или только-что-принял-душ...»); «Воспоминание» («Дом был прыжком геометрии в глухонемую зелень...»); «Остров Прочила» («Захолустная бухта; каких-нибудь двадцать мачт...»); «Выступление в Сорбонне» («Изучать философию следует, в лучшем случае...»); «Шеймусу Хини» («Я проснулся от крика чаек в Дублине...»); «К переговорам в Кабуле» («Жестоковыйные горные племена...»); «Осень – хорошее время, если ты не ботаник...»; «Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию...».

«New Republic», vol. 214, № 22 (May 27, 1996) – «Ode to Concrete» («You'll outlast me, good old concrete...»), написано по-английски и автоперевод «С натуры» («Солнце садится, и бар на углу закрылся...»).

«Знамя» (1996. № 6. Июнь) – письмо Бродского Джеймсу Райсу о Пушкине. Перевод и комментарии Льва Лосева; перевод послесловия Бродского к английской антологии «An Age Ago» (N.Y.: FS-G, 1988) и его заметок о поэтах.

«New Yorker», vol. 72, № 18 July 8, 1996) – «Ab Ovo»

(«Ultimately, there should be a language...»).

«New York Review of Books» (July 11, 1996) – «Cabbage and Carrot» (children's poem), английская версия стихотворения 1969 года «Ссора» («Однажды Капуста сказала Морковке...»).

«Fos Angeles Times Book Review» (September 22, 1996) – «Ode to Concrete» («You'll outlast me, good old concrete...»), написано по-английски.

Киевская газета «Столица» (1996. 13 сент.) опубликовала с массой ошибок транскрипцию с аудиозаписи «На независимость Украины».

«New York Review of Books» (October 13, 1996) – «The Writer in Prison».

«Slovo/Word», № 20 (1996) – последнее публичное выступление Иосифа Бродского перед русскоязычной аудиторией в издательстве «Slovo/Word» на вечере Александра Кушнера и перевод Изабеллы Мизрахи «О Марке Стрэнде», текст выступления Бродского вместе с Марком Стрэндом и Говардом Моссом в музее Гуггенхейма в Нью-Йорке.

«Иностранная литература» (1996. № 10. Окт.) – «О Марке Стрэнде» в переводе Елены Касаткиной.

Книги:

В России вышло второе издание сборника «Рождественские стихи» (составитель П. Вайль. М.: Независимая газета).

В США вышел второй английский сборник эссе Бродского «On Grief and Reason» в издательстве «Farrar, Straus & Giroux».

В Голландии в переводе Кейса Верхейла вышел сборник стихов «De herfstkreet van de havik» (Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij, 1996), а в переводе Питера Зеемана – сборник стихов «Triton» (Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij, 1996).

В Польше вышли два сборника стихов Бродского в переводе К. Кржижевской «Fin de siécle» (Krakow: Oficyna Fiteracka, 1996) и в переводах С. Бараньчака, К. Кржижевской, В. Ворошильского с вступлением Чеслава Милоша «Poezje wybrane» (Krakow: Wydawnictwo Znak, 1996). Бродскому посвящен 55-й номер журнала «Zeszyty Fiterckie» (Warszawa-Paris-Mediolan, 1996). Номер включает эссе Бродского и библиографию публикаций в журнале.

В Германии вышел сборник эссе «Von Schmerz und Vernunft: Über Hardy, Rilke, Frost und Andere» (München – Wein: Carl Hanser Verlag, 1996).

«Poetry in Motion: 100 Poems from the Subways and Buses» (New York and London: W.W. Norton & Company, 1996), включающая строки Бродского: «Sir, you are tough, and I am tough. / But who will write whose epitaph?» *1997, 31 января* — вечер памяти

Бродского в лондонской «Brunei Gallery», где выступали Шеймус Хини, Майкл Хофман, Пол Малдун, Глен Максвелл, Алан Дженкинс и Клайв Джеймс. Присутствовал сэр Исайя Берлин.

24—25 мая — в Санкт-Петербурге в помещении журнала «Звезда» состоялась Третья международная научная конференция, посвященная творчеству Иосифа Бродского.

21 июня — перезахоронение праха Бродского на кладбище Сан-Микеле в Венеции. Служба в Михайловском соборе. Из Санкт-Петербурга приехал сын Бродского – Андрей Басманов. Присутствовали Чеслав Милош, Марк Стрэнд и другие поэты. Вечером друзья Бродского собрались в палаццо Мочениго на Большом канале.

Публикации в периодике:

«Звезда» (1997. № 1) – «Речь в Шведской Королевской академии при получении Нобелевской премии» («Acceptance Speech»), rpr. from «On Grief and Reason» (N.Y.: FS– G, 1995), перевод с английского Елены Касаткиной; «Поклониться тени» («To Pleased a Shadow»), rpr. from «On Grief and Reason» (N.Y.: FS– G, 1995), перевод с английского Елены Касаткиной; «С миром державным я был лишь ребячески связан...». Текст печатается по изданию «Mandelstam Centenary Conference. Materials from the Mandelstam Centenary Conference, School of Slavonic and East European Studies. London, 1991» (Tenafly: Hermitage Publishers, 1994); «Девяносто лет спустя» («Ninety Years Later»), перевод А. Сумеркина под редакцией В. Голышева, выполнен по изданию «On Grief and Reason» (NY.: FS– G, 1995); «Место не хуже любого» («A Place as Good as Any»), перевод Елены Касаткиной выполнен по изданию «On Grief and Reason» (NY.: FS– G, 1995); «Речь на стадионе» («Speech at the Stadium»). Эта речь была произнесена перед выпускниками Мичиганского университета в Энн-Арборе в 1988 году. Перевод Елены Касаткиной выполнен по изданию «On Grief and Reason» (N.Y.: FS– G, 1995).

В России вышел первый том второго издания сочинений Иосифа Бродского (СПб.: Пушкинский фонд) под общей редакцией Якова Гордина. Последний седьмой том вышел в 2001 году. Вышла также книга «Бродский о Цветаевой» (вступительная статья И. Кудровой. М.: Независимая газета, 1997).

В Израиле вышел сборник стихов в переводе на иврит Аминадава Дикмана с предисловием Романа Тименчика (Иосиф Бродский. Стихи первые и последние. Tel-Aviv: Dvir Publishing House, 1997).

Литература и принятые сокращения

Цитаты из общеизвестных произведений классической литературы даются с именем автора, названием произведения и датой, но без ссылки на издание; например: *Толстой Л. Н.* Смерть Ивана Ильича (1886).

Собрания рукописей и самиздат

МС – «Марамзинское собрание», самиздатское собрание сочинений Бродского, подготовленное В. Р. Марамзиным, 1972–1974.

РНБ – архив И. А. Бродского, хранящийся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (Фонд 1333).

Beinecke – домашний архив Бродского в США, хранящийся в библиотеке Бейнеке Йельского университета.

Указатели

Указатель 1999 – Иосиф Бродский. Указатель литературы на русском языке за 1962–1995 годы. 2-е изд., испр. и доп. / Сост. А. Я. Лапидус. СПб.: Российская национальная библиотека, 1999.

Bigelow – Bigelow T. Иосиф Александрович Бродский. Joseph Brodsky. A Descriptive Bibliography, 1962–1996 (рукопись).

Patera 2003 – Patera T. A Concordance to the Poetry of Joseph Brodsky, Books 1–6. Ixwiston, Queenston, Lampeter: The Edwin Meilen Press, 2003.

Тексты Иосифа Бродского на русском языке

Бродский 1999 – Бродский И. А. География зла // Литературное обозрение. 1999. № 1 (написано в 1977 году).

ВОА – Бродский И. А. В окрестностях Атлантиды. Новые стихотворения. СПб.: Пушкинский фонд, 1995.

ВП – 4 – Воздушные пути (альманах), № 4. Нью-Йорк, 1965.

ВП — 5 – Воздушные пути (альманах), № 5. Нью-Йорк, 1967.

Волков 1998 – Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998.

Интервью 2000 – Бродский И. А. Большая книга интервью / Сост. В. Полухиной. М.: Захаров, 2000.

К – Бродский И. А. Каппадокия. Стихи. СПб.: Приложение к альманаху «Петрополь», 1993.

КПЭ – Бродский И. А. Конец прекрасной эпохи. Ann Arbor, Michigan: Ardis, 1977.

Крайнева, Сажин 1989 – Крайнева Н. И., Сажин В. Н. Из

поэтической переписки А. А. Ахматовой. В кн.: Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы. Л.: Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1989 (письма Бродского к А. А. Ахматовой).

НСКА – Бродский И. А. Новые стансы к Августе. Ann Arbor, Michigan: Ardis, 1983.

ОВП – Бродский И. А. Остановка в пустыне. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1970.

Пересеченная местность – Бродский И. А. Пересеченная местность / Сост. и автор послесловия П. Вайль. М.: Независимая газета, 1995.

Подборка 1964 – Бродский И. А. Стихи: «Конь вороной» («Был черный небосвод светлей тех ног…»), «Этюд» («Я обнял эти плечи и взглянул…»), «Рождественский романс», «Памятник Пушкину», «Рыбы зимой» // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1964. № 56.

ПП – Бродский И. А. Примечания папоротника. Bromma, Sweden: Hylaea, 1990.

ПСН – Бродский И. А. Пейзаж с наводнением. Dana Point, California: Ardis, 1996.

РС – Рождественские стихи (оба издания, см. ниже).

РС-1 – Бродский И. А. Рождественские стихи. М.: Независимая газета, 1992.

РС-2 – Бродский И. А. Рождественские стихи. 2-е изд., доп. М.: Независимая газета, 1996.

СИБ-1 – Сочинения Иосифа Бродского. 1-е изд. Т. 1–5. СПб.: Пушкинский фонд, 1992–1995.

СИБ-2 – Сочинения Иосифа Бродского. 2-е изд. Т. 1–7. СПб.: Пушкинский фонд, 1997–2001.

СИП – Бродский И. А. Стихотворения и поэмы. Washington, D. C. – New York: Inter-Language Literary Associates, 1965.

У – Бродский И. А. Урания. Ann Arbor, Michigan: Ardis, 1987.

Холмы – Бродский И. А. Холмы. Большие стихотворения и поэмы. СПб.: ЛП ВПТО «Киноцентр», 1991.

ЧР – Бродский И. А. Часть речи. Ann Arbor, Michigan: Ardis, 1977.

ЧР-1 – Часть речи (альманах), № 1. Нью-Йорк: Серебряный век, 1980.

ЧР-2/3 – Часть речи (альманах), № 2/3. Нью-Йорк: Серебряный век, 1981.

Тексты Иосифа Бродского на английском языке

An Age Ago – An Age Ago: A Selection of Nineteenth Century Russian Poetry. Selected and translated by Alan Myers. With a foreword and biographical notes by Joseph Brodsky. New York: Farrar, Straus,

Giroux, 1988.

APOS – Brodsky J. A Part of Speech. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1980.

Brodsky 1972 – Says Poet Brodsky, Ex of the Soviet Union: «A Writer is a Lonely Traveler, and No One is His Helper» // The New York Times Magazine, October 1, 1972.

Brodsky and Kline 1973 – Kline G. A Poet's Map of His Poem // Vogue, vol. 162, №. 3, September 1973.

Brodsky 1980 – Brodsky J. Playing Games // The Atlantic Monthly, June 1980, vol. 245, № 6.

Brodsky 1981 – Brodsky J. Virgil: older than Christianity, a poet for the new age // Vogue, vol. 171, October 1981.

Brodsky 1985 – Brodsky J. Why Milan Kundera Is Wrong About Dostoyevsky // The New York Times Review of Books, February 17, 1985.

Brodsky 1986 – History of the 20-th Century (a Roadshow) // Partisan Review, vol. LIII, № 3, 1986.

Brodsky 1992 – Interview with Rebekah Presson // New Letters, 1992, vol. 59, № 1.

Brodsky 1995 – Brodsky J. Remember Her // The Times Literary Supplement (London), September 22, 1995.

CP — Brodsky J. Collected Poems in English. New York: Farrar, Straus & Giroux, 2000.

LTO — Brodsky J. Less Than One. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1986.

OGAR — Brodsky J. On Grief and Reason. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1995.

SF — Brodsky J. So Forth. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1996.

TU — Brodsky J. To Urania. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1988.

Watermark — Brodsky J. Watermark. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1992 (в русском переводе под названием «Набережная неисцелимых»).

Комментарии

Комментарии (примечания) — Лосев Л. В. Комментарии к книгам Иосифа Бродского (подготовлено к печати). Комментарии к стихам, составляющим *ОВП, КПЭ, ЧР, У* и *ПСН,* а также к другим избранным стихам и переводам.

НА — стихи, написанные на английском.

П — переводы.

СНВВС — стихотворения, не включенные автором в сборники.

Критические работы, мемуары, заметки о Бродском на русском языке

Аист 2000 – Аист Т. Иосиф Бродский – переводчик с китайского // Побережье (Philadelphia). 2000. № 9.

Аллево 2001 – Аллево А. Улица Пестеля, 27, кв. 28 // Старое литературное обозрение. 2001. № 2.

Ардов 1997 – Ардов М. Легендарная Ордынка. СПб.: Инапресс, 1997.

Ахматова 1996 — Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). Москва; Torino: Giulio Einaudi editore, 1996.

Бар-Селла 1982 – Бар-Селла З. Толкования на… // 22 (Рамат-Ган, Израиль). 1982. № 23.

Бар-Селла 1984 – Бар-Селла З. Все цветы родства. Из книги «Иосиф Бродский. Опыты чтения» // 22 (Рамат-Ган, Израиль). 1984. № 37.

Бар-Селла 1985 – Бар-Селла З. Страх и трепет. Из книги «Иосиф Бродский. Опыты чтения» // 22 (Рамат-Ган, Израиль). 1985. № 41.

Боткин 1997 – Боткин Л. М. Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М.: Изд-во РГГУ, 1997.

Боткин 1997А – Боткин Л. М. Парапародия как способ выжить // Новое литературное обозрение. 1996. № 19.

Безносое 1998 – Безносое Э. О смысле некоторых реминисценций в стихотворениях Иосифа Бродского. В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Безродный 1997 – Безродный М. Соловьев поединок // Новое литературное обозрение. 1997. № 27.

Битов 1996 — Бродский на расстоянии памяти. С писателем Андреем Битовым беседует Виталий Амурский // Русская мысль. 1996. № 4127. 23-29 мая.

Битов 1997 – Битов А. Азарт, или Неизбежность ненаписанного // Звезда. 1997. № 7.

Бобышев 2002 – Бобышев Д. Я здесь // Октябрь. 2002. № 11.

Бондаренко 2003 – Бондаренко В. Взбунтовавшийся пасынок русской культуры // Литературная Россия on-line (http: // www.litrossia.ru / litrossia / viewitem?item_id=19057). 2004. № 44. 31 октября.

Вайль 1995 – Вайль Л Пространство как метафора времени: стихи Иосифа Бродского в жанре путешествия. В кн.: *Жанровая клавиатура.*

Вайль 1998 – Вайль П. Последнее стихотворение Иосифа Бродского. В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Вайль, Генис 1986 – Вайль П., Генис А. От мира – к Риму. В кн.:

Поэтика Бродского.

Вайль, Генис 1990 – Вайль П., Генис А. В окрестностях Бродского // Литературное обозрение. 1990. № 8.

Венидова 1984 – Venclova T. «Литовский дивертисмент» Иосифа Бродского. В кн.: The Third Wave: Russian Literature in Emigration. Edited by Olga Matich and Michael Heim. Ann Arbor, Michigan: Ardis, 1984.

Венидова 1986 – Венидова Т. Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов. New Haven: Yale Center for International and Area Studies, 1986 (глава «И. А. Бродский „Литовский дивертисмент“»).

Венидова 1998 – Венидова Т. О стихотворении Иосифа Бродского «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» // Новое литературное обозрение. 1998. № 33.

Венидова 2002 – Венидова Т. «Кенигсбергский текст» русской литературы и кенигсбергские стихи Иосифа Бродского. В кн.: *Как работает стихотворение Бродского.*

Верхейл 1986 – Верхейл К. «Эней и Дидона» Иосифа Бродского. В кн.: *Поэтика Бродского.*

Верхейл 1992 – Верхейл К. Тишина у Ахматовой. В кн.: Царственное слово. Ахматовские чтения. Вып. 1. М.: Наследие, 1992.

Верхейл 1998 – Верхейл К. Спуститься ниже мира живых. В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Верхейл 1998А – Верхейл К. Кальвинизм, поэзия и живопись. В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Верхейл 2000 – Верхейл К. Пляска вокруг Вселенной. Фрагменты из книги об Иосифе Бродском // Звезда. 2000. № 5.

Винницкий 1992 – Винницкий И. Отщепенец пишет оду маршалу // Учительская газета. 1992. 6 мая.

Вроон 2005 – Вроон Р. Метафизика полета: «Осенний крик ястреба» Иосифа Бродского и его англоязычные источники. В кн.: Шиповник. К 60-летию Романа Давидовича Тименчика. М.: Водолей, 2005.

Горбаневская 1996 – Горбаневская Н. По улице Бродского // Русская мысль. 1996. № 4111. 1–7 февраля.

Гордин 1989 – Гордин Я. А. Дело Бродского: история одной расправы // Нева. 1989. № 2.

Гордин 1995 – Гордин Я. А. Странник. В кн.: *Жанровая клавиатура.*

Гордин 2000 – Гордин Я. А. Перекличка во мраке. СПб.: Пушкинский фонд, 2000.

Грушко 1990 – Грушко П. А. Отбросим пальмы… // Латинская Америка. 1990. № 5.

Егоров 1996 – Егоров В. А. «Деревья что-то шепчут по-немецки» // Страж Балтики (Калининград). 1996. 10 февраля.

Ефимов 2000 – Ефимов И. Солженицын читает Бродского // Новый мир. 2000. № 5.

Ефимов 2003 – Ефимов И. «Шаг вправо, шаг влево» // Колокол. 2000. № 3/4.

Жанровая клавиатура — Russian Literature. Special Issue: Joseph Brodsky. Жанровая клавиатура Бродского. XXXVII – II/III, 15 February/1 April 1995. Guest Editor: Valentina Polukhina.

Жигачева 1992 – Жигачева М. В. Баллада в раннем творчестве Иосифа Бродского // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1992. № 4.

Жолковский 1986 – Жолковский А. «Я вас любил…» Бродского: интертексты, инварианты, тематика и структура. В кн.: *Поэтика Бродского.*

Забалуев 1990 – Забалуев А. Коношский период поэта. В кн.: *ИБРП.*

Зимняя почта 1988 — «Зимняя почта» – к двадцатилетию *неиздания* книги Иосифа Бродского // Русская мысль. 1988. № 3750. 11 ноября. Литературное приложение. № 7.

ИБРП — Иосиф Бродский размером подлинника / Сост. Г. Ф. Комаров. Таллинн [издательство не указано], 1990.

Иванов 1988 – Иванов В. В. О Джоне Донне и Иосифе Бродском // Иностранная литература. 1988. № 6.

Иванов 1997 – Иванов В. В. Бродский и метафизическая поэзия // Звезда. 1997. № 1.

Иванов Б. 2003 – Иванов Б. И. Литературные поколения в ленинградской неофициальной литературе: 1950–1980-е годы. В кн.: *Долинин В. Э. и др.* Самиздат Ленинграда 1950–1980-е. Литературная энциклопедия. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

Иванова 1994 – Иванова Н. Дым отечества // Знамя. 1994. № 7.

Игнатьев 1996 – Полухина В. П. Интервью с Майклом Игнатьевым (Лондон, 13 июня 1996 г.) // Знамя. 1996. № 11.

Иосиф Бродский и мир — Иосиф Бродский и мир: метафизика, античность, современность. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2000.

Ичин 1996 – Ичин К. Бродский и Овидий // Новое литературное обозрение. 1996. № 19.

Иованович 1994 – Йованович М. Читая «Вертумна» // Око. Courrier de Plnstitut Russe de Paris. 1994. №. 1.

Как работает стихотворение Бродского — Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе / Под ред. Л.В.Лосева, В. П. Полухиной. М.: Новое литературное

обозрение, 2002.

Карабчиевский 1995 – Карабчиевский Ю. А. Воскресение Маяковского. Мюнхен: Страна и мир, 1985.

Кастеллано 1998 – Кастеллано III. Бабочки у Бродского. В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Катилюс 1997 – Катилюс Р. Иосиф Бродский и Литва // Звезда. 1997. № 1.

Кац 1998 – Кац Б. К генезису поэтического образа рояля у Иосифа Бродского. В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Келебай 2000 – Келебай Е. Поэт в доме ребенка. Пролегомены к философии творчества Иосифа Бродского. М.: Книжный дом «Университет», 2000.

Клайн 1998 – Клайн Дж. Л. История двух книг. В кн.: *Труды и дни.*

Клепикова 2001 – Клепикова Е. Трижды начинающий писатель, http://www.proza.ru/texts/2001/03/26-37.html.

Ковалева 2000 – Ковалева И. «Греки» у Бродского: от Симонида до Кавафиса. В кн.: *Иосиф Бродский и мир.*

Кравец 2001 – Кравец В. Двойное завещание Иосифа Бродского // Зеркало недели. 2001. № 32. 23 августа – 1 сентября (http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/356/31993).

Крепе 1984 – Крепе М. О поэзии Иосифа Бродского. Ann Arbor, Michigan: Ardis, 1984.

Кузьминский 1998 – Рыскин Г. Искусство вопреки, или Интервью с Кузьминским // Панорама (Лос-Анджелес). 1998. № 876. 21–27 января.

Куллэ 1998 – Куллэ В. А. Поэтический дневник И.Бродского 1961 года. В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Куллэ 1999 – Куллэ В. А. «Демон» Набокова и «Небожитель» Бродского // Литературное обозрение. 1999. № 2.

Куллэ 2003 – Куллэ В. А. Иосиф Бродский. Хронология жизни и творчества (1940–1972). В кн.: *Мир Иосифа Бродского.*

Кушнер 1991 – Кушнер А. С. Аполлон в снегу. Л.: Советский писатель, 1991.

Кушнер 1996 – Кушнер А. С. «Здесь, на земле…» // Знамя. 1997. № 7.

Кэмпбелл 1995 – Кэмпбелл Т. Трудности перевода стихотворения Иосифа Бродского «Представление» с русского на английский // Митин журнал. 1995. № 53.

Кюст 2000 – Кюст Й. Плохой поэт Иосиф Бродский: к истории вопроса // Новое литературное обозрение. 2000. № 45.

Лазарчук 1995 – Лазарчук Р. М. «На смерть Жукова» И. Бродского и «Снигирь» Г. Державина: Проблема традиции // Русская литература. 1995. № 2.

Лакербай 2000 – Лакербай Д. Л. Ранний Бродский: поэтика и судьба. Иваново: Издательство Ивановского государственного университета, 2000.

Левинтон 1982 – Левинтон Г. А. (рецензия) // Russian Linguistics, vol. 6, No. 3, June 1982.

Левинтон 1998 – Левинтон Г. А. Смерть поэта: Иосиф Бродский. В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Лейдерман, Липовецкий 1993 – Лейдерман П., Липовецкий М. «Жизнь после смерти…» // Новый мир. 1993. № 7.

Лемхин 1997 – Лемхин М. Иосиф Бродский. Неизданное в России // Русская мысль. 1997. № 4181. 3–9 июля.

Лимонов 1984 – Лимонов Э. В. Поэт-бухгалтер (Несколько ядовитых наблюдений по поводу феномена И. А. Бродского). Париж: Мулета А, 1984.

Лимонов 2000 – Лимонов Э. В. Книга мертвых. СПб.: Лимбус Пресс, 2000.

Ломинадзе 1997 – Ломинадзе С. Пустыня и оазис // Вопросы литературы. 1997. № 2.

Лонсбери 2002 – Лонсбери Э. Иосиф Бродский как американский поэт-лауреат // Новое литературное обозрение. 2002. № 56.

Лосев 1977 – Лосев Л. В. «Ниоткуда с любовью» // Континент. 1977. № 14.

Лосев 1978 – Лосев Л. В. «Посвящается логике» // Вестник Р. Х. Д. 1978. № 127.

Лосев 1980 – Лосев Л. В. Английский Бродский // Часть речи (Нью-Йорк). 1980. № 1.

Лосев 1980А – Лосев Л. В. Иосиф Бродский. Предисловие // Эхо (Париж). 1980. № 1 [9].

Лосев 1982 – Лосев Л. В. Первый лирический цикл Иосифа Бродского // Часть речи (Нью-Йорк). 1982. № 2/3.

Лосев 1986 – Лосев Л. В. Чеховский лиризм у Бродского. В кн.: *Поэтика Бродского.*

Лосев 1995 – Лосев Л. В. Иосиф Бродский: эротика. В кн.: *Жанровая клавиатура.*

Лосев 1996 – Лосев Л. В. Реальность Зазеркалья: Венеция Иосифа Бродского // Иностранная литература. 1996. № 5.

Лосев 1997 – Лосев Л. В. Новое представление о поэзии. В кн.: *Полухина 1997.*

Лосев 1998 – Лосев Л. В. Поэт на кафедре. В кн.: *Труды и дни.*

Лосев 2000 – Лосев Л. В. Солженицын и Бродский как соседи // Звезда. 2000. № 5.

Лосев 2002 – Лосев Л. В. О любви Ахматовой к «Народу» // Звезда. 2002. № 1.

Лотман 1995 – Лотман М. Ю. Гиперстрофика Бродского. В кн.: *Жанровая клавиатура.*

Лотман 1998 – Лотман М. Ю. Поэт и смерть (из заметок о поэтике Бродского). В кн.: Блоковский сборник XIV. Tartu: Kirjastus, 1998.

Лотманы 1990 – Лотман М. Ю., Лотман Ю. М. Между вещью и пустотой (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания»). В кн.: *Лотман Ю. М.* Избранные статьи. Т. III. Таллинн: Александра, 1993.

Лурье 1990 – Лурье С. Свобода последнего слова // Звезда. 1990. № 8.

Майерс 1997 — Интервью, взятое мной у Дианы Майерс в Лондоне в июне 1997 года.

Максимова 1986 – Максимова О. «Я тебя люблю, но ты мне не нравишься». О стихах Иосифа Бродского // Страна и мир (München). 1986. № 7.

Максудов 2000 – Максудов С. (Бабенышев А.). Командировка в Норинскую // Новое литературное обозрение. 2000. № 45.

Максудов, Покровская 2001 – Максудов С, Покровская Н. К представлению «Представления» // Russian Literature, XLLX, 2001.

Макфадиен 1998 – Макфадиен Д. Бродский и «Стансы к Августе» Байрона. В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Медведева 1995 – Медведева Н. Автор и герой в стихотворении Бродского «На смерть Жукова». В кн.: Кормановские чтения. Материалы межвузовской научной конференции (апрель 1994 г.). Ижевск: Удмуртский государственный университет, 1995.

Мейлах 1991 – Мейлах М. Б. Разговор с Иосифом Бродским летом 1991 года. В кн.: *Стратегии чтения.*

Мейлах 1997 – Мейлах М. Б. Освобождение от эмоциональности. В кн.: *Полухина 1997.*

Мир Иосифа Бродского — Мир Иосифа Бродского. Путеводитель / Составитель Я. А. Гордин. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2003.

Найман 1997 – Найман А. Т. Великая душа // Октябрь. 1997. № 8.

Найман-Славянский 1997 – Найман А. Т. Заметки для памятника; *Славянский Н.* Твердая вещь // Новый мир. 1997. № 9.

Ниеро 2000 – Mero A. Бродский и Монтале. Об эссе «В тени Данте» и о другом // Russian Literature (North Holland), XLVII, 2000.

Охотин 2000 — Освобождение. Публ. Н. Г. Охотина // Звезда. 2000. № 5.

Панн 2001 – Панн Л. Побег из тела в пейзаже без рамы («Испанская танцовщица» Рильке и Бродского) // Новая юность.

2001. № 3.

Парамонов 1993 – Парамонов Б. М. Согласно Юнгу // Октябрь. 1993. № 5.

Парамонов 1995 – Парамонов Б. М. Флотоводец Бродский // Звезда. 1995. № 5.

Петрушанская 1997 – Петрушанская Е. М. «Слово из звука и слово из духа». Приближение к музыкальному словарю Иосифа Бродского // Звезда. 1997. № 1.

Петрушанская 1998 – Петрушанская Е. М. «Remember Her» («Дидона и Эней» Перселла в памяти и творчестве поэта). В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Петрушанская 2004 – Петрушанская Е. М. Музыкальный мир Иосифа Бродского. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2004.

Плеханова 2001 – Плеханова И. И. Метафизическая мистерия Иосифа Бродского. Под знаком бесконечности: эстетика метафизической свободы против трагической реальности. Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета, 2001.

Полухина 1997 – Полухина В. П. Бродский глазами современников. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 1997.

Полухина 1998 – Полухина В. П. Поэтический автопортрет Бродского. В кн.: *Творчество, личность, судьба.*

Полухина 1998А – Полухина В. П. Мичиганский университет: 1980. В кн.: *Труды и дни.*

Полухина 2003 – Полухина В. П. Бродский о своих современниках. В кн.: *Мир Иосифа Бродского.*

Полухина, Пярли 1995 – Полухина В. П., Пярли Ю. Словарь тропов Бродского (на материале сборника «Часть речи»). Тарту, б/изд., 1995.

Поэтика Бродского — Поэтика Бродского / Под ред. Л. В. Лосева. Tenafly, New Jersey: Эрмитаж, 1986.

Проффер 1986 – Проффер К. Остановка в сумасшедшем доме: поэма Бродского «Горбунов и Горчаков». В кн.: *Поэтика Бродского.*

Проффер 1996 – Проффер Э. «Мы назовем издательство „Ардис“» // Бостонское время. 1996. 19 июня.

Прохорова 2000 – Прохорова Э. «Политический текст» Иосифа Бродского. Метафизика политики. В кн.: *Иосиф Бродский и мир.*

Радышевский 1997 – Радышевский Д. Дзэн поэзии Бродского // Новое литературное обозрение. 1997. № 27.

Ранчин 1993 – Ранчин А. М. Философская традиция Иосифа Бродского // Литературное обозрение. 1993. № 3/4.

Ранчин 2001 – Ранчин А. М. Иосиф Бродский и русская поэзия XVIII-XX веков. М.: МАКС Пресс, 2001.

Ранчин 2001А – Ранчин А. М. На пиру Мнемозины.

Интертексты Иосифа Бродского. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

Рейн 1997 – Рейн Е. Б. Мой экземпляр «Урании». В кн.: *Рейн Е. Б.* Мне скучно без Довлатова. СПб.: Лимбус Пресс, 1997.

Рыбаков 1997 – Рыбаков А. Н. Роман-воспоминание. М.: Вагриус, 1997.

«Свою меж вас…» — Свою меж вас еще оставив тень… Ахматовские чтения. Вып. 3. М.: Наследие, 1992.

Сегаль 1988 – Сегаль М. По поводу статьи З. Бар-Селлы «Поэзия и правда» // 22. 1988. № 61.

Сергеев 1997 – Сергеев А. Я. Omnibus. М.: Новое литературное обозрение, 1997.

Славянский 1993 – Славянский Н. Из страны рабства – в пустыню. О поэзии Иосифа Бродского // Новый мир. 1993. № 12.

Смирнов 1997 – Смирнов И. П. Урна для табачного пепла // Звезда. 1997. № 1.

Смит 1986 – Смит Дж. Версификация в стихотворении И. Бродского «Келломяки». В кн.: *Поэтика Бродского.*

Смит 1996 – Полухина В. П. Интервью с Джеральдом Смитом (Оксфорд, 27 июня 1996 г.) // Знамя. 1996. № 11.

Солженицын 1999 – Солженицын А. И. Иосиф Бродский – избранные стихи // Новый мир. 1999. № 12.

Сонькин 1999 – Сонькин В. О Бродском, вОронах и ворОнах // Русский журнал, www.russ.ru/krug/razbor/19990827_sonkin.html.

Стратегии чтения — Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы Международной научной конференции. Москва, 2–4 сентября 2004 г. М.: Издательство Ипполитова, 2005.

Стрижевская 1997 – Стрижевская Н. Письмена перспективы. О поэзии Иосифа Бродского. М.: Грааль, 1997.

Творчество, личность, судьба — Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 1998.

Тименчик 2002 – Тименчик Р. Д. 1867. В кн.: *Как работает стихотворение Бродского.*

Томашевская 2000 — Петербург Ахматовой: семейные хроники. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает. СПб.: Невский диалект, 2000.

Труды и дни — Иосиф Бродский: труды и дни / Сост. Лев Лосев и Петр Вайль. М.: Независимая газета, 1998.

Тудоровская 1984 – Тудоровская Е. «На манер снегиря» // Стрелец (Париж). 1984. № 11.

Турома 2004 – Турома С. Поэт как одинокий турист // Новое литературное обозрение. 2004. № 67.

Филдс 2002 – Филдс К. «Памяти Клиффорда Брауна» (1994)

(«Полный запредел»: Бродский, джаз и еще кое-что»). В кн.: *Как работает стихотворение Бродского.*

Хайров 2004 – Хайров Ш. «Если бог для меня и существует, то это именно язык»: языковая рефлексия и лингвистическое мифотворчество Иосифа Бродского // Новое литературное обозрение. 2004. № 67.

Herthl 2000 – Herthl I. Поэт и сплетни (об одном мотиве в последнем стихотворении Бродского). В кн.: Brodski w analizach i interpretacjach. Red. Piotr Fast i Joanna Madloch. Katowice: Slask, 2000.

Чайковская 2001 – Чайковская О. «Неточные, неверные зеркала» // Литературная газета. 2001. № 6. 7–13 февраля.

Чуковская 1997 – Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. 1952-1962; Т. 3. 1963-1966. М.: Согласие, 1997.

Шаргородский 1985 – Шаргородский С. Игры в саду // 22 (Рамат-Ган, Израиль). 1985. № 40.

Шахматов 1997 – Шахматов О. «Грехи молодости» сквозь призму лет и мнений // Понедельник (Вильнюс). 1997. № 45. 7–13 ноября.

Шерр 1986 – Шерр Б. Строфика Бродского. В кн.: *Поэтика Бродского.*

Шнейдерман 1998 – Шнейдерман Э. Круги на воде (Свидетели защиты на суде над Иосифом Бродским перед судом ЛО Союза писателей РСФСР) // Звезда. 1998. № 5.

Штерн 2001 – Штерн Л. Я. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. М.: Независимая газета, 2001.

Штерн 2003 – Штерн Л. Я. Гигант против титана, или «Изжажданное окунанье в хляби языка». В кн.: *Мир Иосифа Бродского.*

Шульц 2000 – Шульц С. С.Иосиф Бродский в 1961–1964 годах // Звезда. 2000. № 5.

Эткинд 1977 – Эткинд Е. Г. Записки незаговорщика. London: Overseas Interchange Publications, 1977.

Юпп 2001 – Юпп М. Ося Бродский? Легенда и факты // Литературная Россия on-line (http://www.litrossia.ru/litrossia/viewitem?item_id= 19057). 2001. № 30. 27 июля.

Якимчук 1990 – Якимчук Н. Как судили поэта (дело И. Бродского). Л.: Аквилон, 1990.

Якович 1993 – Якович Е. «Дело» Бродского на Старой площади // Литературная газета. 1993. 5 мая.

Янгфельдт 1998 – Янгфельдт Б. Шведские комнаты. *В кн.: Труды и дни. Янечек 1986 – Янечек Дж.* Бродский читает «Стихи на смерть Т. С. Элиота». В кн.: *Поэтика Бродского.*

Критические работы о Бродском на иностранных языках

Bayley 1986 – Bayley J. Mastering Speech // New York Review of Books. Vol. 33, June 12, 1986.

Bethea 1986 – Bethea D. Conjurer in Exile // The New York Times Book Review, July 13, 1986.

Bethea 1994 – Bethea D. Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994.

Birkerts 1982– Birkerts S. The Art of Poetry XXVIII. Joseph Brodsky // The Paris Review, № 83, Spring 1982.

Brown 1980 – Brown C. The Best Russian Poetry Written Today // The New York Times Book Review, September 7, 1980.

Burnett 1990 – Burnett L. The Complicity of the Real: Affinities in the Poetics of Brodsky and Mandelstam. In: *Poetics and Aesthetics.*

Burnett 2000 – Burnett L. Galatea Encore. In: *The Art of a Poem.*

Disch 1980 – Disch T (Review of «A Part of Speech») // Washington Post Book World, August 24, 1980.

Eder 1980 – Eder R. Joseph Brodsky in U. S.: Poet and Language in Exüe // The New York Times, March 25, 1980.

France 1990 – France P. Notes on the Sonnets to Mary Queen of Scots. In: *Poetics and Aesthetics.*

Gifford 1980 – Gifford H. Idioms in Interfusion // Times Literary Supplement, № 4046, October 17, 1980.

Heaney 1987 – Heaney S. Brodsky's Nobel: What the Applause was About // The New York Times Book Review, November 8, 1987.

Hofman 2000 – Hofman M. «Raine, Raine, Go Away» // The Observer, December 3, 2000.

Katz 1983 – Katz J. Artists in Exile. New York: Stern and Day, 1983.

Kirsch 2000 – Kirsch A. The Art of the Contemporary // The New Republic, October 9, 2000.

Kline 1973 – Kline G. L. «Introduction» and notes in: Joseph Brodsky. Selected poems. New York et al.: Harper & Row Publishers, 1973.

Kline 1990 – Kline G. L. Variations on the Theme of Exile. In: *Poetics and Aesthetics.*

Knox 1978 – Knox J. E. Iosif Brodskii's Affmity with Osip Mandel'stam: Cultural Links with the Past. Ph. D. dissertation, The University of Texas at Austin, 1978.

Kuznetsov 1999 – Kuznetsov S. «Darling, Tonight I Went Out Late…» In: *The Art of a Poem.*

Loseff 1989 – Loseff L. Joseph Brodsky's Poetics of Faith. In: Aspects of Modern Russian and Czech Literature: Selected Papers of the Third World Congress for Soviet and East-European Studies. Ed. Arnold McMfflin. Columbus: Slavica, 1989.

Loseff 1990 – Loseff L. Politics/Poetics. In: *Poetics and Aesthetics.*

Loseff 1992 – Loseff L. Home and Abroad in the Works of Brodsky. In: Under Eastern Eyes: the West as Reflected in Recent Russian Emigre Writing. Ed. Arnold MacMfflin. London: Macmfflan, 1992.

Loseff 1999 – Loseff L. On the Centenary of Anna Akhmatova. In: *The Art of a Poem.*

Loseff 2003 – Loseff L. Brodsky in Florence. In: Firenze e San Pietroburgo: Due culture si confrontano e dialogano tra loro. Ed. Stefania Pavan. Florence [no publisher], 2003.

Loseff 2004 – Loseff L. On Hostile Ground: Madness and Madhouse in Joseph Brodsky's «Gorbunov and Gorchakov» tbp.

Lotman 1999 – Lotman M. «On the Death of Zhukov». In: *The Art of a Poem.*

MacFadyen 1995 – MacFadyen D. Joseph Brodsky and the Baroque. Ph. D. dissertation, University of California, Los Angeles, 1995.

MacFadyen 1998 – MacFadyen D. Joseph Brodsky and the Baroque. Montreal et al.: McGill-Queen's University Press, 1998.

MacFadyen 2000 – MacFadyen D. Joseph Brodsky and the Soviet Muse. Montreal et al.: McGill-Queen's University Press, 2000.

Myers 1996 – Myers A. Note on Joseph Brodsky // Northern Review.Vol. 3, Summer 1996.

Navrozov 1981 – Navrozov L. Russian Literature in Exile and the New York Times // The Rockford Papers. Vol. 6, No. 1, January 1981.

Nivat 1990 – Nivat G. The Ironic Journey into Antiquty. In: *Poetics and Aesthetics.*

Pilshchikov 1995 – Pilshchikov 1. Coitus as a Cross Genre Motif in Brodsky's Poetry. In: *Жанровая клавиатура.*

Poetics and Aesthetics — Brodsky's Poetics and Aesthetics. Ed. Lev Loseff and Valentina Polukhina. Basingstoke, GB: Macmfflan Press, 1990.

Polukhina 1989 – Polukhina V. Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Polukhina 1992 – Polukhina V. Brodsky Through the Eyes of His Contemporaries. London – New York: Macmfflan Press & St. Martin's Press, 1992.

Polukhina 1997 – Polukhina V. "." // Russian Literature. Vol. 41, № 2.

Raine 1996 – Raine C. A Reputation Subject to Inflation // Financial Times, November 16–17, 1996.

Reid 1988 – Reid C Great American Disaster // London Review of Books, December 8, 1988.

Rigsbee 1999 – Rigsbee D. Styles of Ruin: Joseph Brodsky and the Postmodernist Elegy. Westport, Connecticut – London: Greenwood

Press, 1999.

Scherr 1995 – Scherr B. Two Versions of Pastoral: Brodsky's Eclogues. In: *Жанровая клавиатура.*

Scherr 1999 – Scherr B. «To Urania». In: *The Art of a Poem.*

Shalcross 2002 – Shallcross B. Through the Poet's Eye: The Travels of Zagajewski, Herbert, and Brodsky. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2002.

Smith 1990 – Smith G. S. «Polden' v komnatę». In: *Poetics and Aesthetics.*

Smith 1999 – Smith G. S. «Long Growing Dark»: Joseph Brodsky's «August». In: Rereading Russian Poetry. Ed. Stephanie Sandler. New Haven & London: Yale University Press, 1999.

Smith et al. 2002 — Joseph Brodsky «On the Talks in Kabul»: a Forum on Politics in Poetry (participants: David Bethea, Catherine Ciepiela, Sarah Pratt, Stephanie Sandler, J. S. Smith, Katherine Tiernan O'Connor, Michael Wachtel) // Russian Review. Vol. 61, No. 2, April 2002.

Steckler 1982 – Steckler 1. M. The Poetic World and the Sacred World: Biblical Motifs in the Poetry of Joseph Brodsky, Ph. D. dissertation, Bryn Mawr College, 1982.

Szymak-Reiferowa 1993 – Szymak-Reiferowa J. «Anno Domini» Josifa Brodskiego. Tekst i podteksty // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, MLXIX, Prace historycznoliterackie, Z. 82, 1993.

Szymak-Reiferowa 1998 – Szymak-Reiferowa J. Czitajac Brodskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998.

The Art of a Poem — The Art of a Poem. Ed. Lev Loseff and Valentina Polukhina. Houndmills, Basingstoke – New York: Macmillan Press/St. Martin Press, 1999.

Un crocevia — Iosif Brodskij: un crocevia fra culture, a cura di Alessandro Niero e Sergio Pescatori. Milano: MG Print on Demand, 2002.

Updike 1992– Updike J. Mandarins // The NewYorker, July 13, 1992.

Van Baak 1997 Van Baak J. Brodsky and the North. In: The Neo-Formalist Circle Papers. Rodopi, 1996–1997.

Vishniak 1994 – Vishniak V. Joseph Brodsky and Mary Stuart. Working Paper № 4. Alexander Herzen Centre for Soviet, Slavic and East European Studies. Manchester, April 1994.

Walcott 1988 – Walcott D. Magic Industry // The New York Review of Books, November 24, 1988.

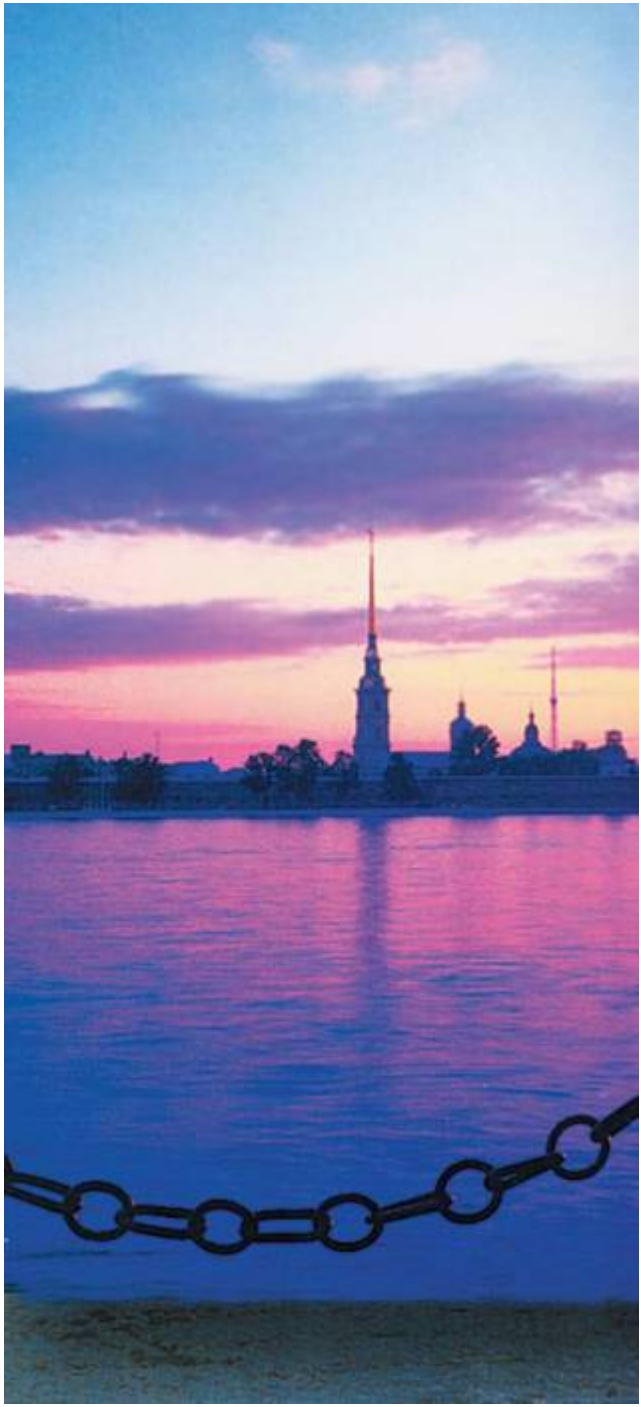
Weissbort 2002 – Weissbort D. «Something Like His Own Language»: Brodsky in English. In: *Un crocevia.*

Weissbort 2004 – Weissbort D. From Russian with Love: Joseph

Brodsky in English. London: Anvil Press, 2004.

Weststejin 1999 – Weststeijn W. G. «The Thought of You Is Going Away…». In: *The Art of a Poem.*

Фотоальбом



1. На авантитуле – фрагмент перил Пантелеймоновского

моста в Петербурге. *Фото Я. Клотца. Из архива автора.*



2. Иосиф Бродский. *1962 г. Из архива Б. С. Шварцмана.*



3. Ося с матерью и теткой. *Череповец, 1942. Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика.*



4. В эвакуации. *Череповец, 1942 г. Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика.*



5. На лыжах. *1950 г. Из архива Я. А. Гордина.*



6. С матерью. *1946 г. Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика.*



7. С отцом. *1951 г. Фото М. М. Вольперт. Из архива М. И. Мильчика.*



8. Дом Мурузи, где жила семья Бродских.



9. Бродский на первомайской демонстрации. *1957 г. Из архива Я. А. Гордина.*



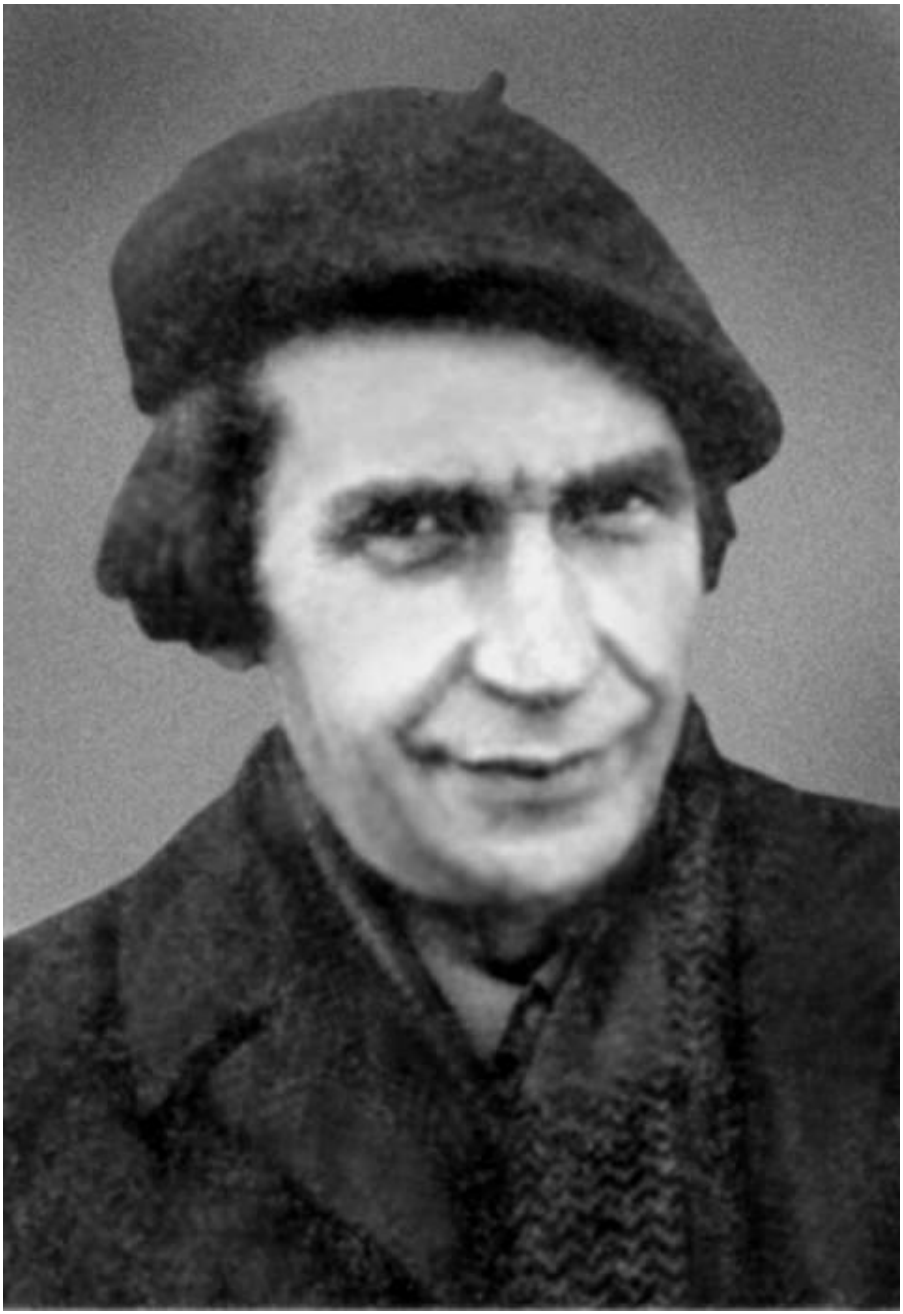
10. В геологической экспедиции. *Якутия, 1959 г. Из архива Я. А. Гордина.*



11. У окна квартиры с видом на Спасо-Преображенский собор. *1956 г. Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика.*



12. Борис Слуцкий.



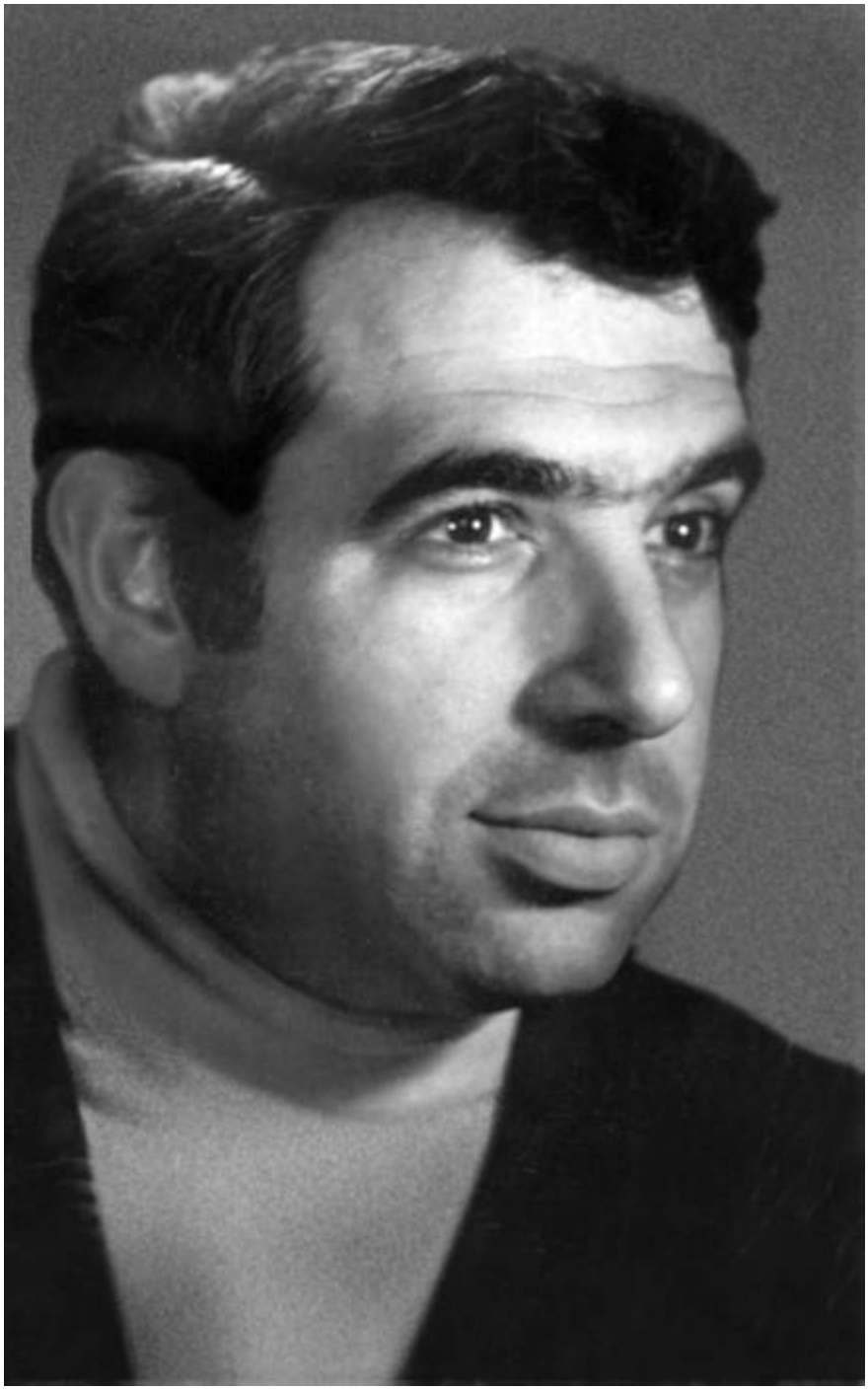
13. Глеб Семенов.



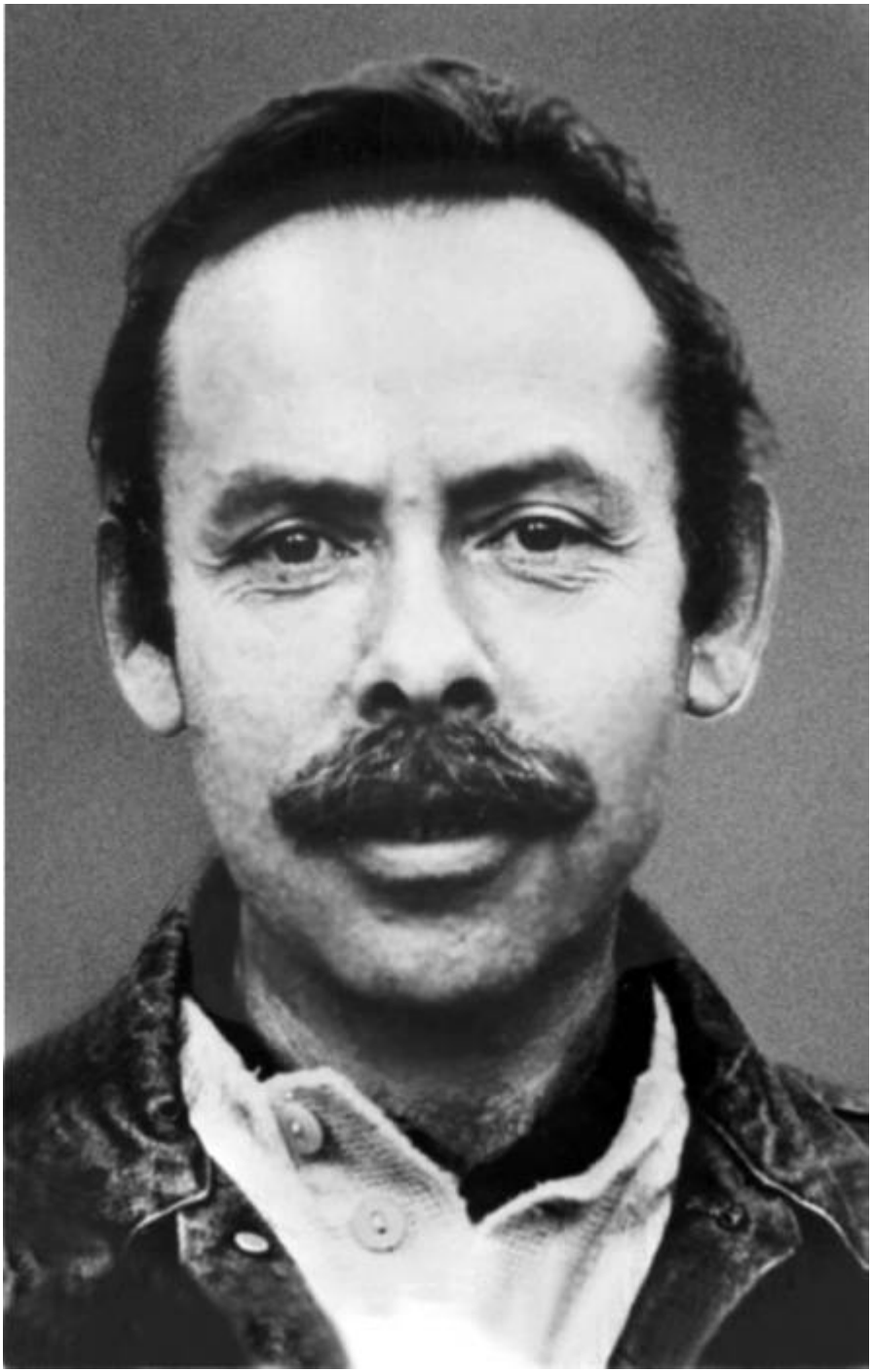
14. Глеб Горбовский, Эра Коробова, Иосиф Бродский. *Из архива Я. А. Гордина.*



15. Бродский и Лев Лосев с женой Ниной. *1971 г. Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн.*



16. Евгений Рейн. *Из архива Я. А. Гордина.*



17. Яков Гордин. *Из архива Л. Я. Штерн.*



ОКОЛОЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРУТЕНЬ

Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были мельчайшие штрихи, в руках — неизменный портфель, набитый бумагами. Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы.

Прозвища людям его запросто — Осип. В иных кругах его величали полным именем — Иосиф Бродский.

Бродский посещал литературное объединение начинающих литераторов, занимающееся во Дворце культуры имени Первой пятилетки. Не стилистика и волнительных штампов решал, что занятия в литературном объединении не для его широкой натуры. Он давно стал внушать пишущей молодежи, что учеба в таком объединении сковывает ее творческую, а посему он, Иосиф Бродский, будет заниматься за Пирамидой самообучения.

С чего же хотел пробить этот самоуверенный юноша в литературу? На этот счет был десяток-другой стихотворений, исчерканных в тощенькую школьную тетрадку, а все эти стихотворения свидетельствовали о том, что маркированное из кустов ямбо утопало. «Колодезное, О-ух-у, ух-у...» — по одним лишь этим названиям можно судить о своеобразном уклоне в творчестве Бродского. Он подражал поэтам, проповедовавшим пессимизм и неверие в человека, его стихи представляют смесь из декадентщины, мистицизма и самой обыкновенной тарабарщины. Жалко выглядели обветшалые подражательные попытки Бродского. Вероятно, что-либо стоящее сочинять он не мог: знаний не хватало. Не хватало знаний, культуры. Да и какие могут быть знания у недоучки, у человека, не получившего даже средней школы?

Вот как высокомерно комментирует Иосиф Бродский о сотворенной им поэме-мистерии:

«Идея поэмы — идея мистификации представлений о мире, и в этом смысле она тоже баладу.

Цель достигается путем нагромождения более или менее хрестоматийных формулировок, этих представлений в тех двадцати не так более или менее условных минут. Формулировки обличены в форму романсов.

Кстати, композиционные приемчики иногда тоже обгоняли романсы. И использовал их я вообще неудачно, под гитару.

А вот так начинались великие Большие:

Он монотонно продолжает
И упрется ему в конечный
...
Вот чувствую, мотив не тот,
Пожалуй, надо...
...
Тень достается нулю, вследствие чего...

Но достаточно этих нелепых выражений более или менее хрестоматийных формулировок этих представлений в тех двадцати не так более или менее условных минут. Формулировки обличены в форму романсов.

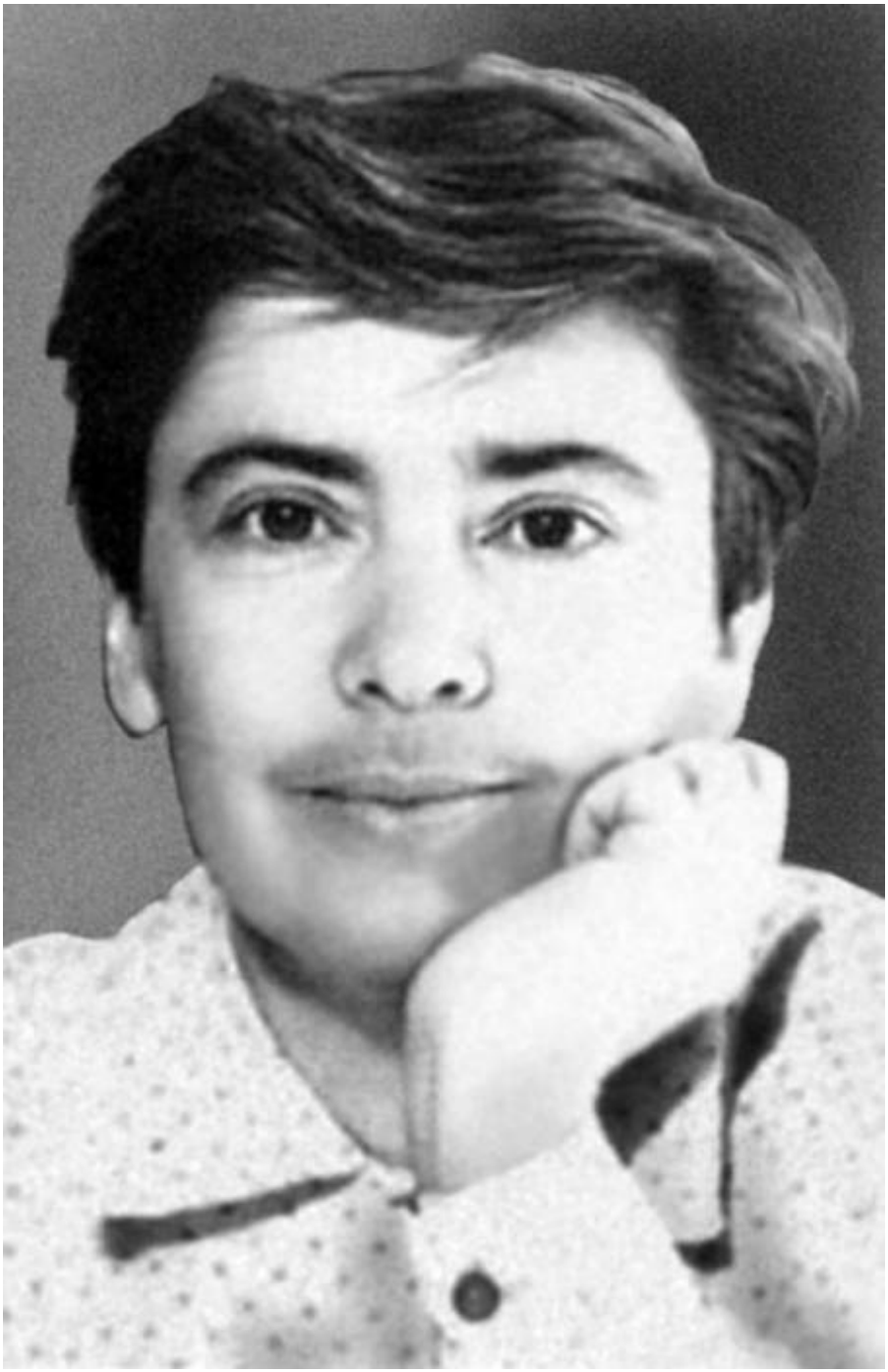
Кстати, композиционные приемчики иногда тоже обгоняли романсы. И использовал их я вообще неудачно, под гитару.

А вот так начинались великие Большие:

Он монотонно продолжает
И упрется ему в конечный
...
Вот чувствую, мотив не тот,
Пожалуй, надо...
...
Тень достается нулю, вследствие чего...

Но достаточно этих нелепых выражений

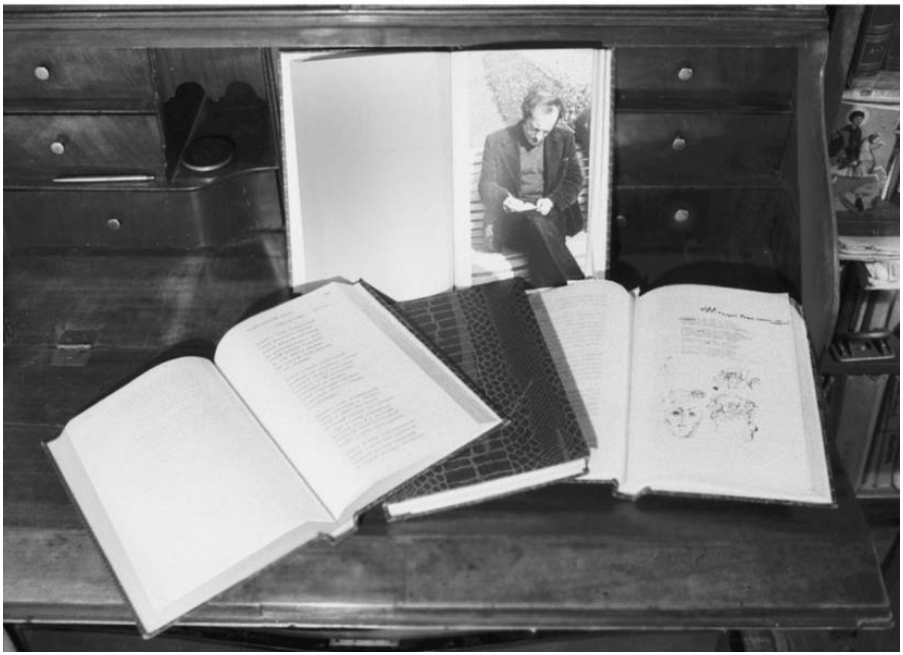
18. Статья «Окололитературный трутень», начавшая травлю Бродского.



19. Фрида Вигдорова.



20. Лидия Чуковская.



21. Самиздатовское собрание стихов Бродского, составленное Владимиром Марамзиным.



22. Рисунок Бродского с автографом, сделанный в тюрьме. *Из архива М. И. Мильчика.*



23. Ссыльные вечера. *Из архива Я. А. Гордина.*



24. Бродский и Игорь Ефимов в Норенской. *Из архива Я. А. Гордина.*



25. Бродский, Евгений Рейн и крестьяне деревни Норенской. *Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн.*



26. Марина Басманова и Анатолий Найман. *Из архива Д. Бобышева.*



27. Дмитрий Бобышев. *Из архива Д. Бобышева.*



28. Один из автопортретов Бродского. *1963 г. Из архива Э. Б. Коробовой.*



29. Анна Ахматова. *Из архива Б. С. Шварцмана.*



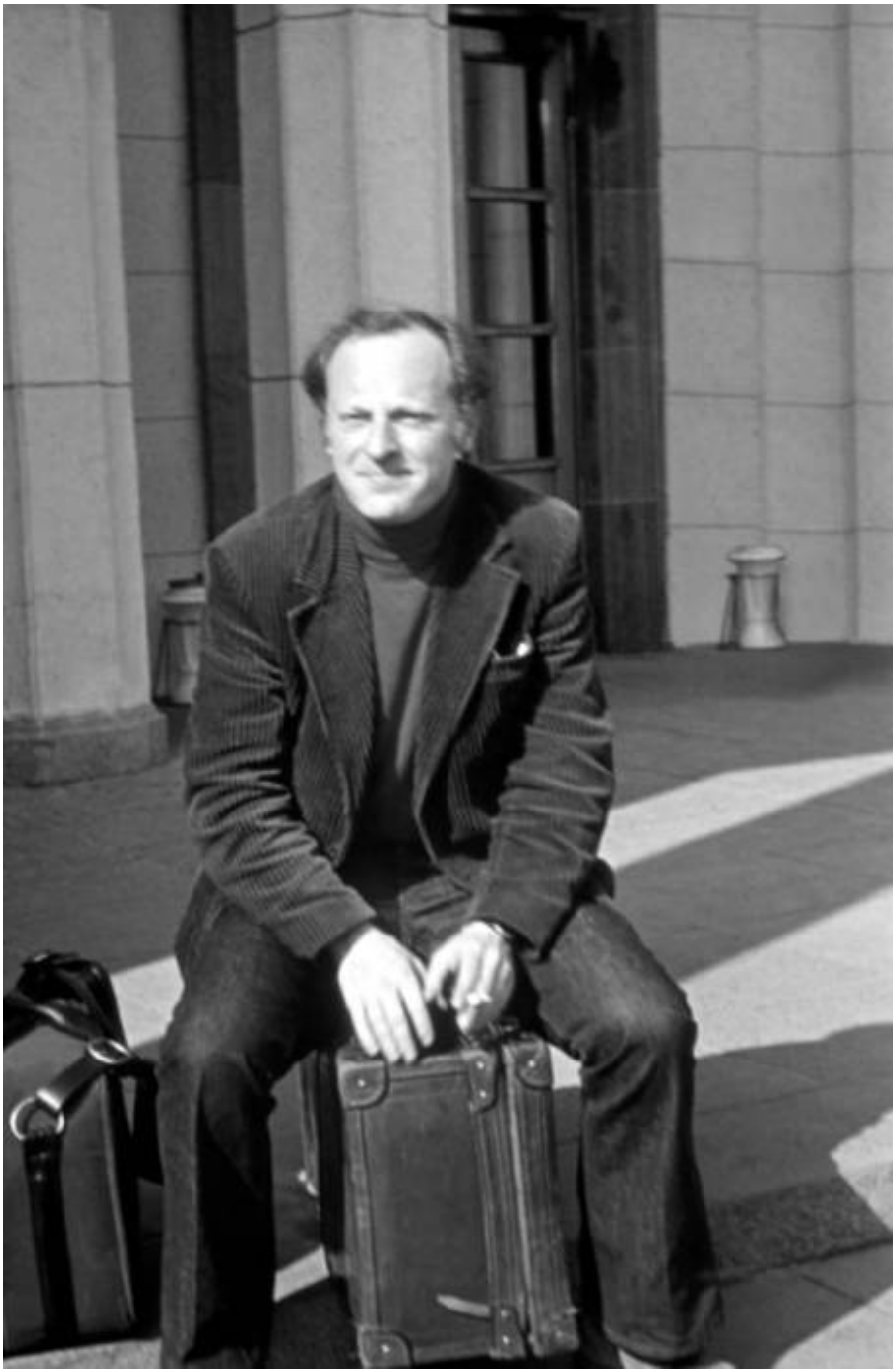
30. Бродский на похоронах Ахматовой. *Из архива Б. С. Шварцмана.*



31. С котом Осей. *Фото А. И. Бродского. Из архива Л. Я. Штерн.*



32. Бродский с Ефимом Эткиндом и Генрихом Бёллем. *1971 г. Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика.*



33. В аэропорту «Пулково» в день эмиграции. *4 июня 1972 г. Из архива М. И. Мильчика.*



34. Бродский в Нью-Йорке. *Из архива автора.*



35. Дом Бродского в Энн-Арборе. *Из архива автора.*



36. Бродский и его издатели Карл и Эллендея Проффер. *1972 г. Из архива Т. Венцловы.*



37. В итальянской гостинице. *Из архива Я. А. Гордина.*



38. У памятника Корнелю в Париже. *Из архива Я. А. Гордина.*



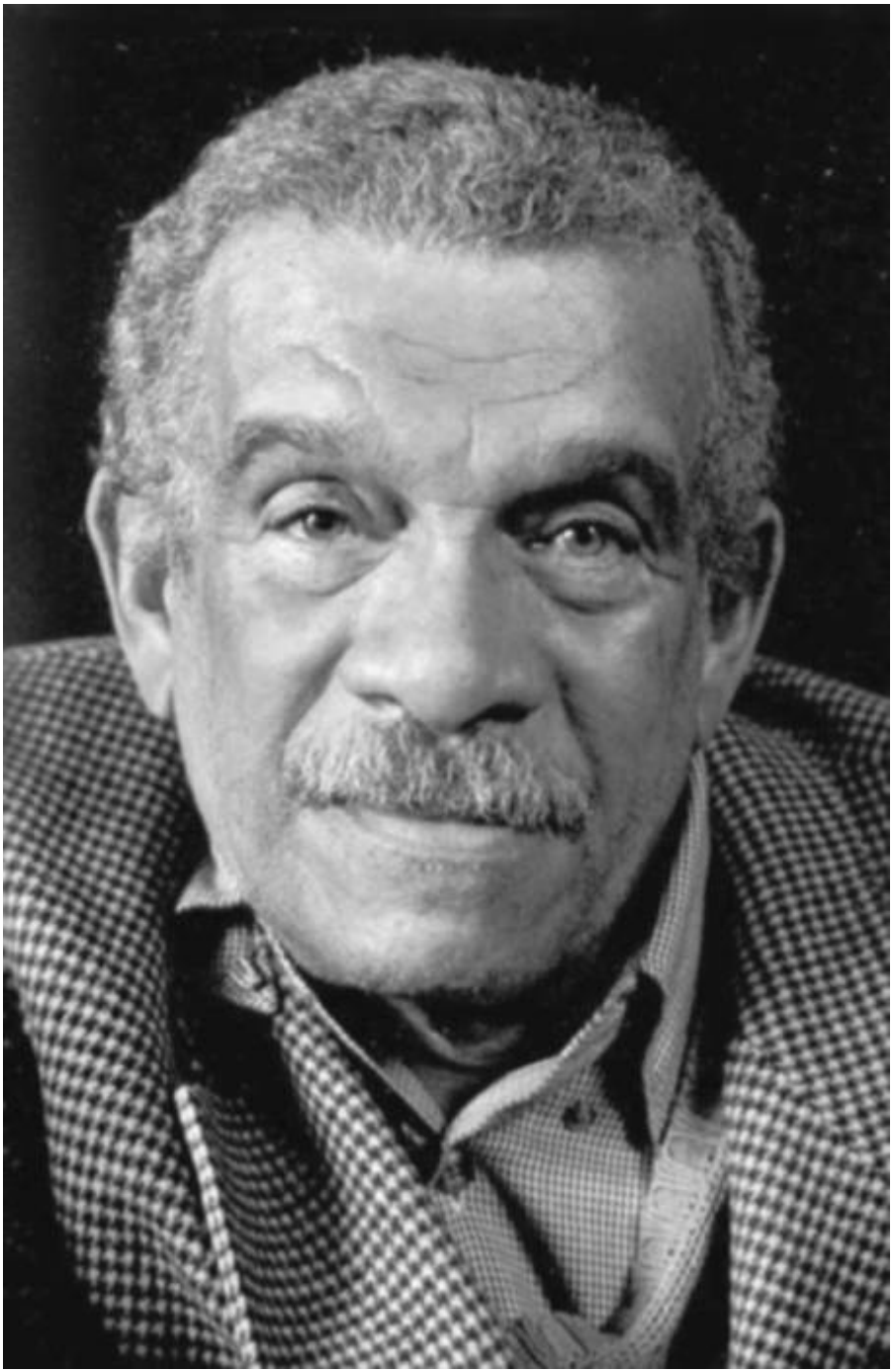
39. Пьяцца Маттеи в Риме. *Фото автора.*



40. Римское кафе «Яникулум». *Фото автора.*



41. Уистан Хью Оден.



42. Дерек Уолкотт.



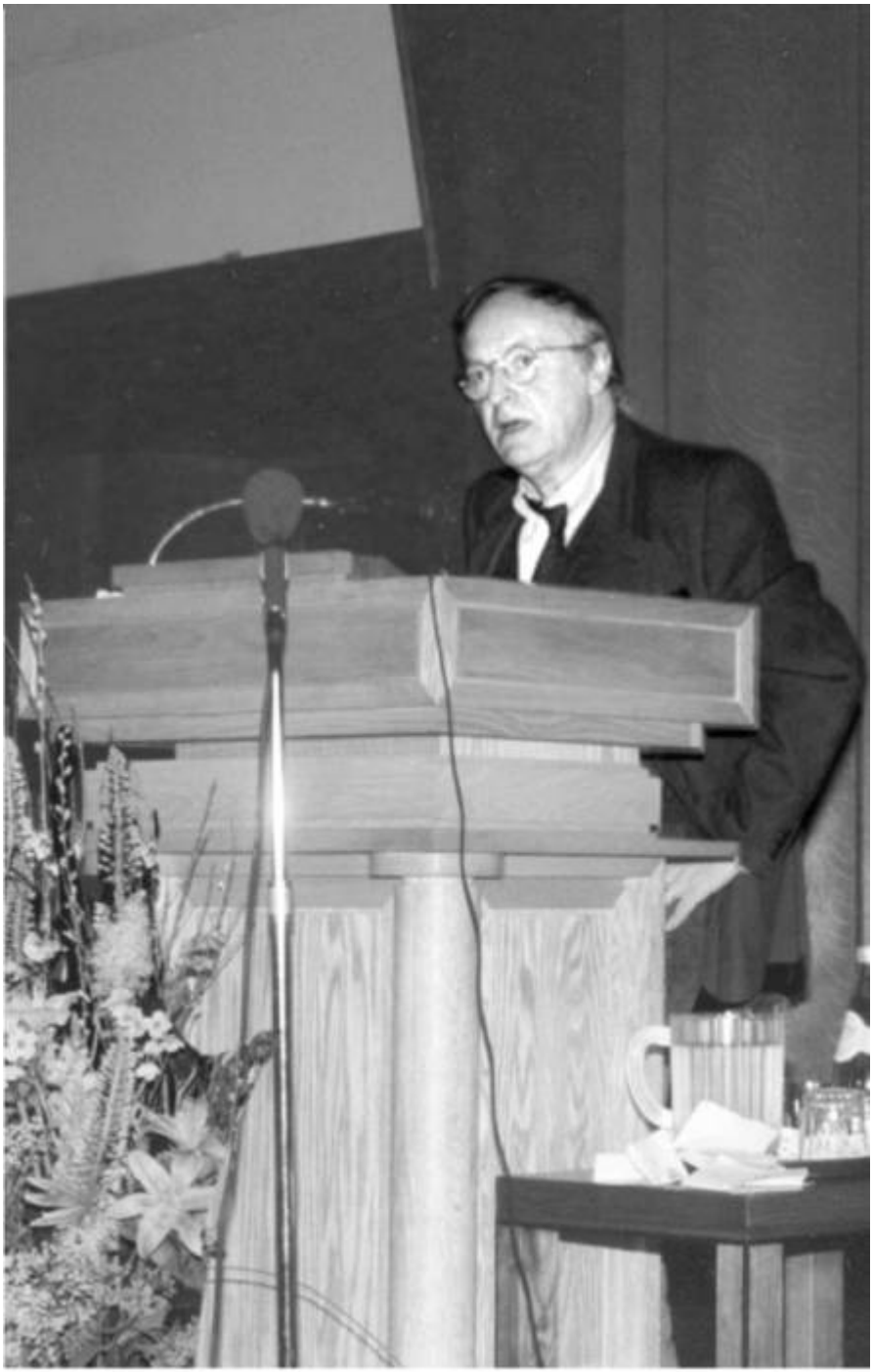
43. Алекс Либерман, Людмила Штерн, Геннадий Шмаков и Татьяна Либерман-Яковлева. *Фото П. Палея. Из архива Л. Я. Штерн.*



44. Бродский со своими студентками. *Из архива Я. А. Гордина.*



45. С Владимиром Высоцким. *Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн.*



46. Нобелевская лекция Бродского. *Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн.*



47. В кругу друзей перед вручением Нобелевской премии. *Из архива автора.*



48. Дом на Мортон-стрит, где располагалась нью-йоркская квартира Бродского. *Из архива Я. А. Гордина.*



49. В квартире на Мортон-стрит. *1980 г. Из архива Я. А. Гордина.*



50. С Вероникой Шильц в Париже. *1986 г. Из архива М. И. Мильчика.*



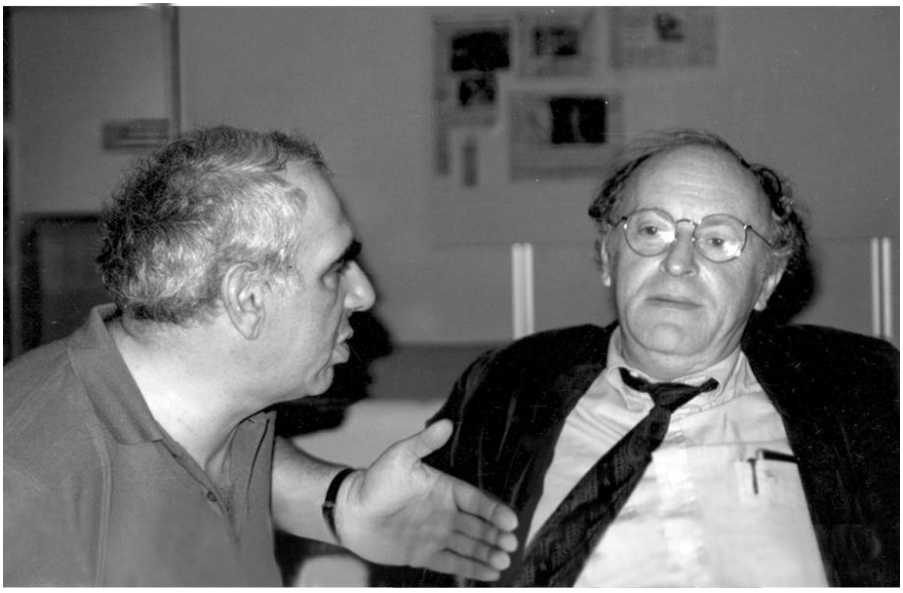
51. Слева направо: Александр Галич, Галина Вишневская, Михаил Барышников, Мстислав Ростропович, Бродский. *1974 г. Фото Л. Лубяницкого. Из архива Я. А. Гордина.*



52. Бродский и Сергей Довлатов. *Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн.*



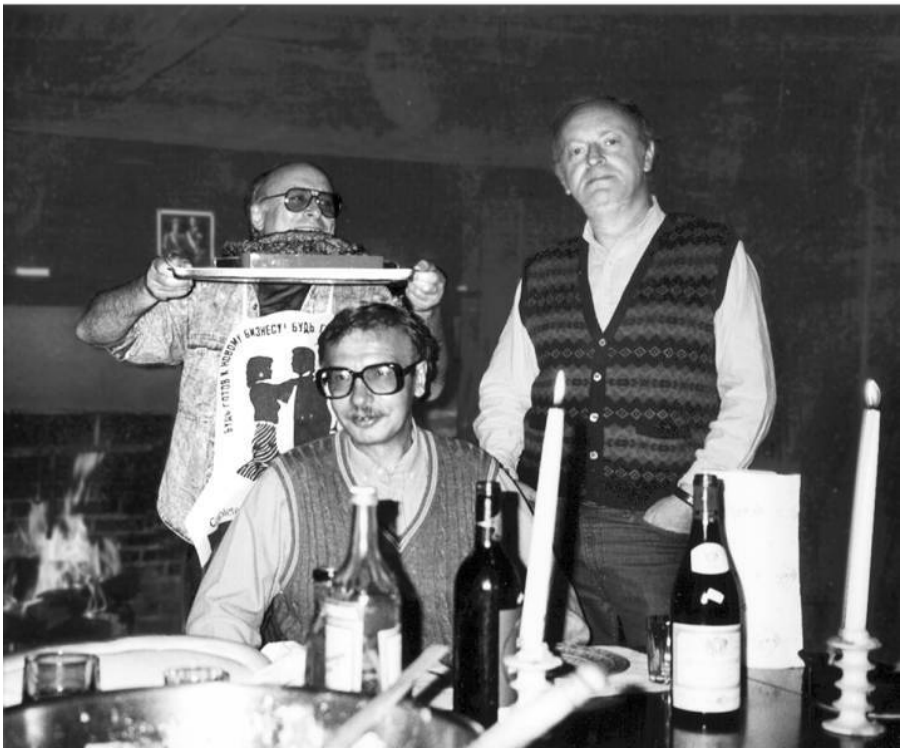
53. Бродский и Лев Лосев в Стокгольме. *1987 г. Из архива автора.*



54. Бродский и Евгений Рейн. *Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн.*



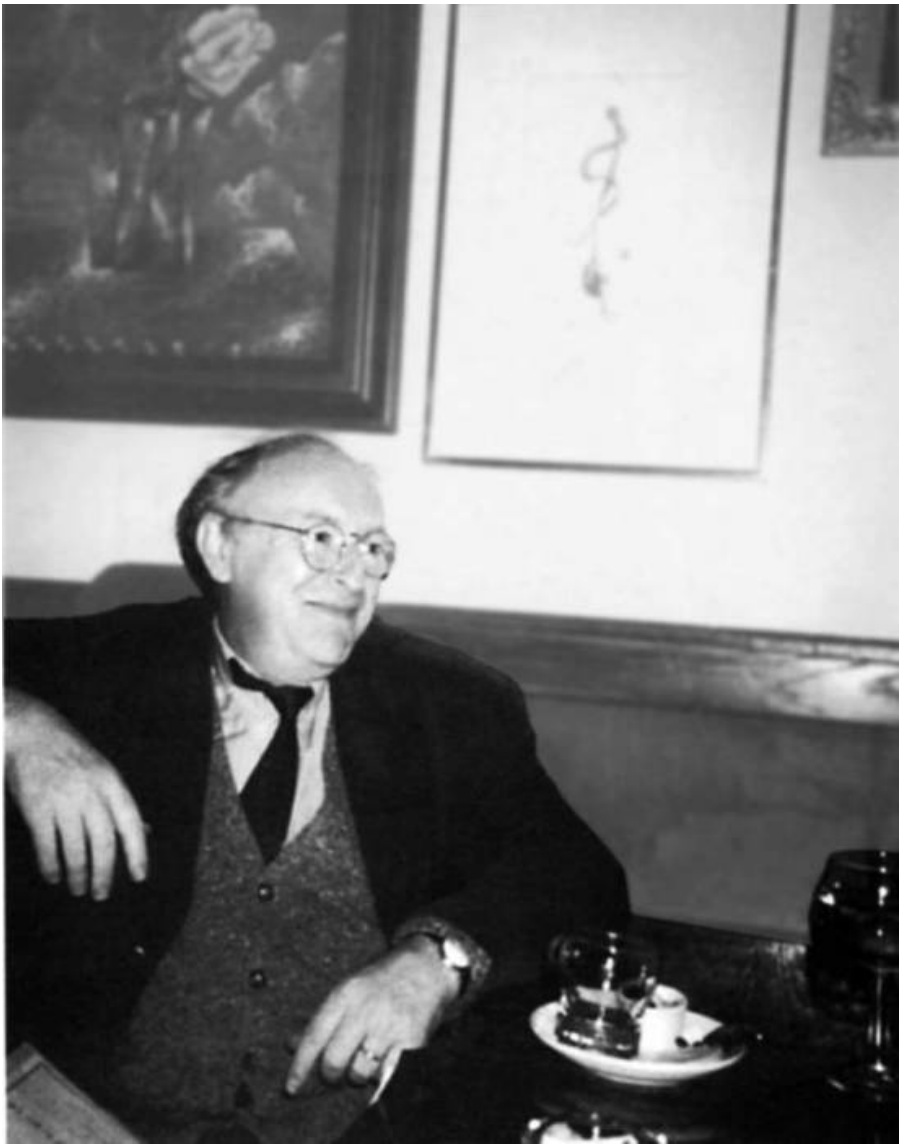
55. У реки. *Из архива Я. А. Гордина.*



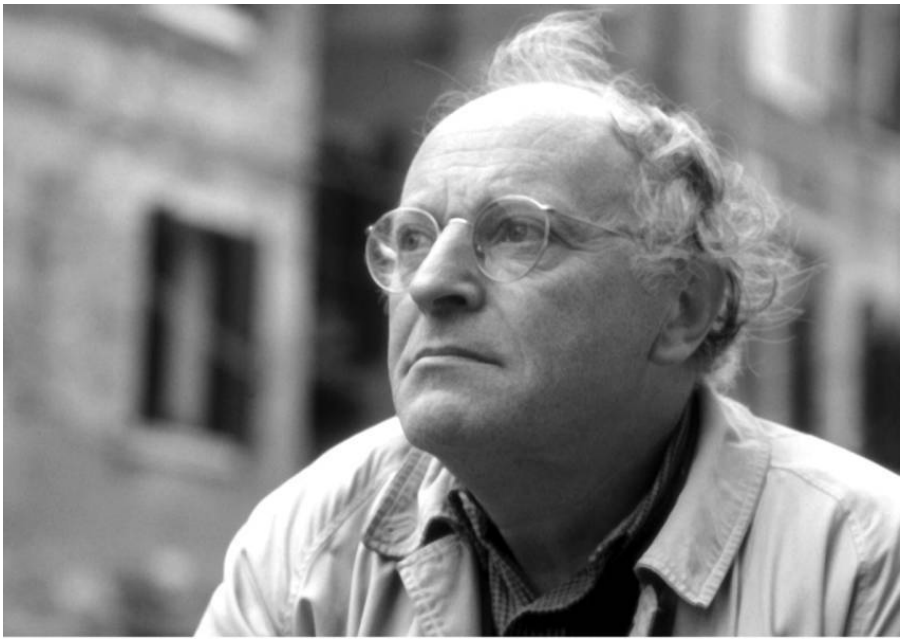
56. С Юзом Алешковским и Владимиром Герасимовым. *1990 г. Из архива автора.*



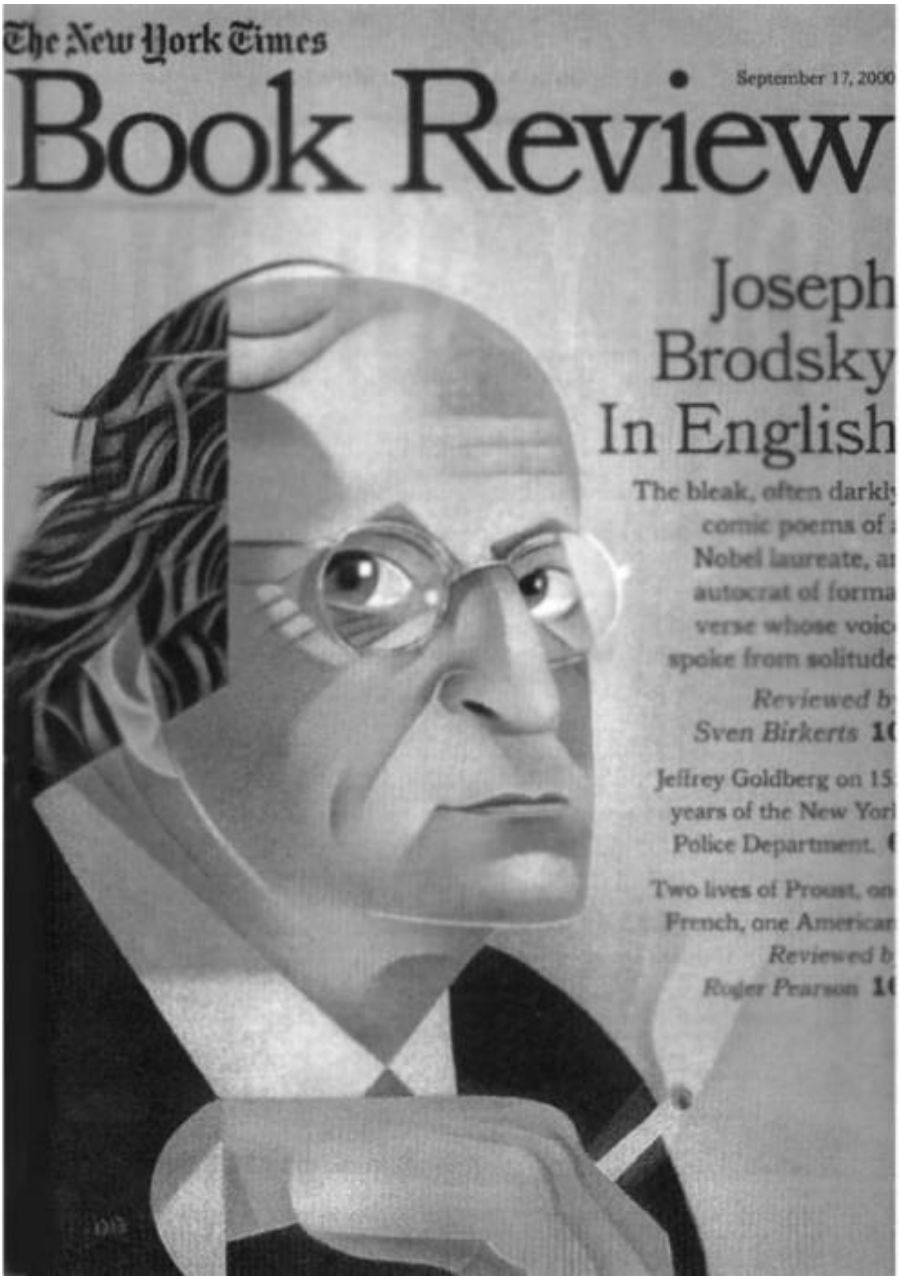
57. Бродский у себя дома. *1993 г. Из архива Л. Я. Штерн.*



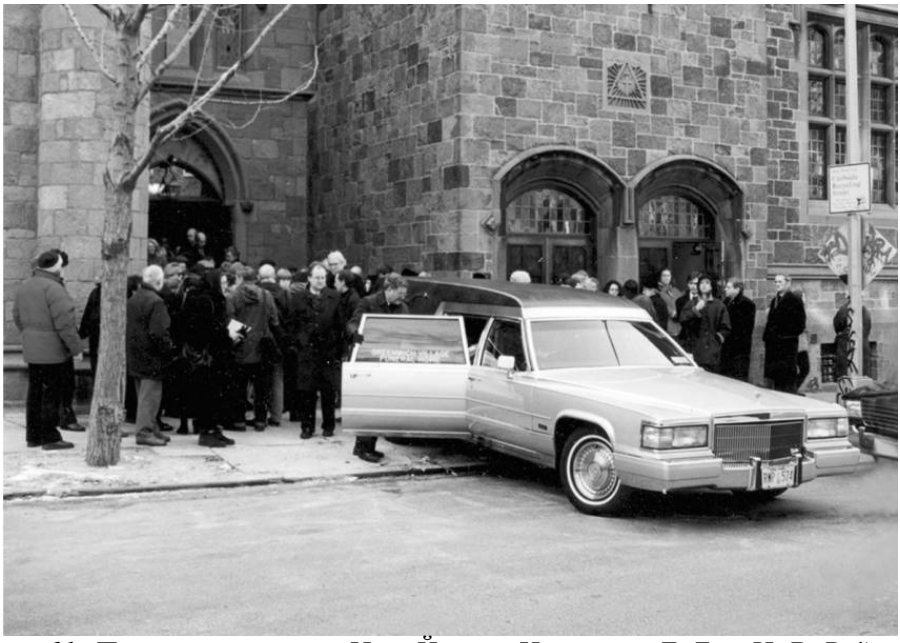
58. В ресторане «Русский самовар». *1992 г. Из архива Л. Я. Штерн.*



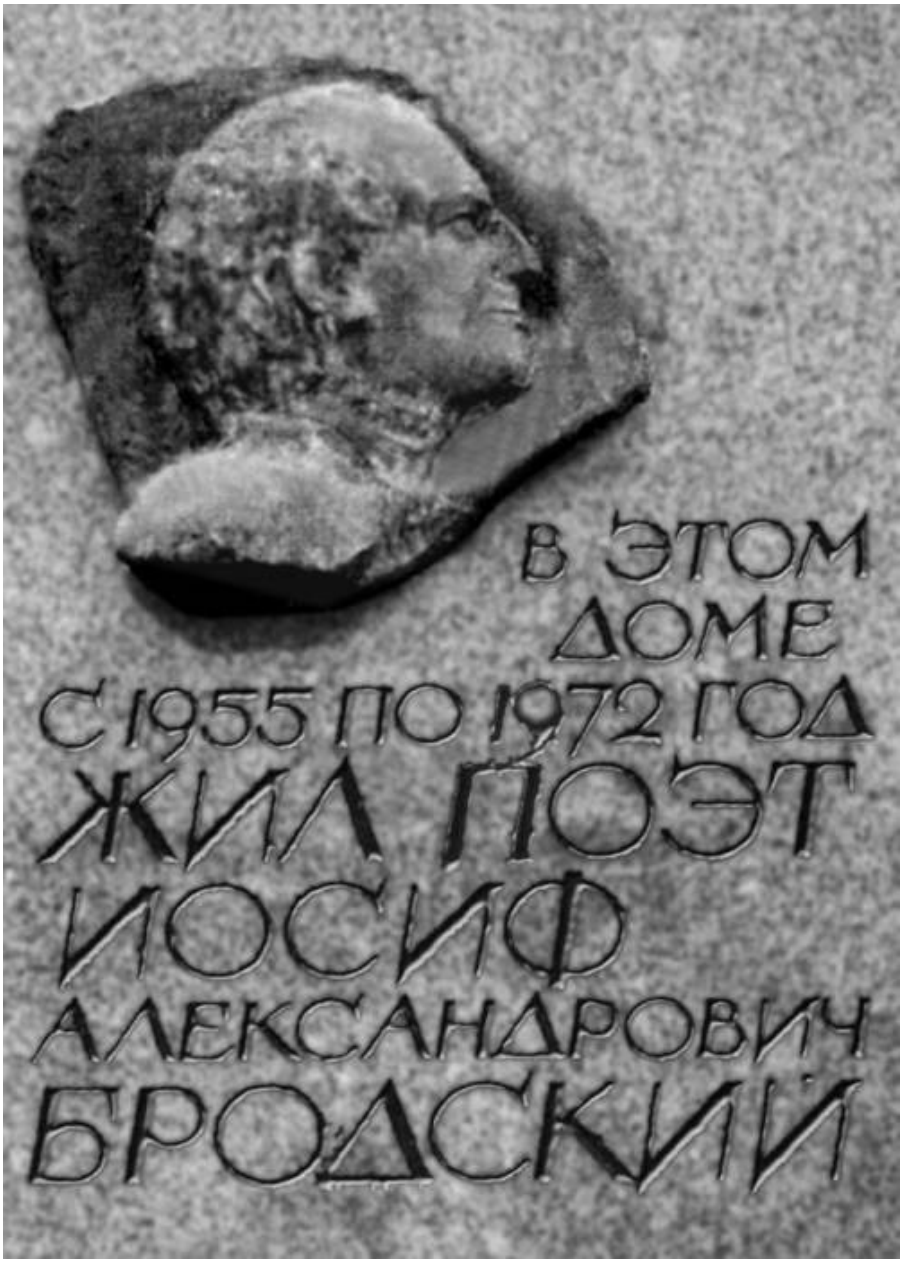
59. Бродский в Венеции. *1993 г. Из архива М. И. Мильчика.*



60. Обложка книжного обозрения «New York Times», посвященного Бродскому.



61. Похороны поэта в Нью-Йорке. *Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн.*



62. Мемориальная доска на доме Бродского в Санкт-Петербурге. *Из архива Л. Я. Штерн.*



63. Бродский в последние годы жизни. *Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн.*

notes

Примечания

1

On Grief an Reason. P. 300. (Есть своего рода смиренная привлекательность в том, что меньшее комментирует большее, и в нашем уголке Галактики мы привыкли к подобного рода процедурам.)

2

Труды и дни. С. 239.

3

Там же. С. 240.

4

Попытки научного описания феномена гениальности неоднократно имели место в психиатрии, психологии и генетике в течение последних двух столетий. Гениальность связывалась то с психической аномалией (Ломброзо, Нордау), то с физическими характеристиками (Кречмер), то с удачной комбинацией генов (Кольцов) и проч. (см. *Kretschmer E.* The psychology of men of genius. N.Y.: Harcourt, 1931; Genius: The History of an Idea, ed. Penelope Murray. N.Y.: Blackwell, 1989; *Леонгард К.* Акцентуированные личности. Киев: Выща школа, 1989; в русской научной мысли – *Sirotkina I.* Diagnosing Literary Genius: A Cultural History of Psychiatry in Russia, 1880–1930. Baltimore – London: Johns Hopkins University Press, 2002).

Цветаева М. И. Об искусстве. М.: Искусство, 1991. С. 85–86.

Там же. С. 74.

Аверинцев С. С. Опыт петербургской интеллигенции в советские годы – по личным впечатлениям // Новый мир. 2004. № 6. С. 122–123.

Patera 2002. Vol. 1. P. 4. Сведения о словаре Ахматовой также предоставлены Татьяной Патера.

9

См. *Шерр 2002.*

10

Строка из стихотворения «Памяти У. Б. Йетса». О том, какую роль сыграло это стихотворение в формировании мировоззрения Бродского, см. в главе V данной книги. Оден не раз повторял свое нигилистическое утверждение в статьях сороковых годов: «Искусство – продукт истории, ее следствие, а не причина. В отличие от других продуктов, например, технических изобретений, произведение искусства не возвращается в историю, чтобы активно на нее воздействовать. <…> Ошибочно мнение, что что-либо когда-либо происходило благодаря искусству». И снова, в неоконченном автобиографическом сочинении: «Толстой, который, поняв, что искусство ничего не делает (см. другие возможные переводы „makes nothing happen“ выше. – *Л. Л.),* бросил искусство, заслуживает куда большего уважения, чем какой-нибудь критик-марксист, изобретающий хитроумные резоны, чтобы великих художников прошлого приняли в Государственный Пантеон» (цит. по: *Fuller J.* W. H. Auden: A Commentary. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998. P. 288). Фраза из стихотворения Одена «Poetry makes nothing happen» является возражением на утверждение Йетса, что его пьеса «Кэтлин ни Хулиэн» будто бы послужила толчком к революционному движению в Ирландии.

11

LTO. P. 382.

12

Там же.

13

См. *Интервью 2000* С. 660.

СИБ-2. Т. 5. С. 7. Перевод поправлен.

15

Подробнее всего эта точка зрения изложена в разговоре с Дэвидом Бетеа *(Интервью 2000.* С. 537–538). Высказывания Бродского на тему независимости искусства от условий существования близко напоминают то, что В. Б. Шкловский провозглашал в 1919 году в статье «"Улла, улла", марсиане!»: «Все авторы (с которыми Шкловский полемизирует. – *Л. Л.)* считают, что искусство есть одна из функций жизни. Получается так: положим, факты жизни будут рядом чисел, тогда явления в искусстве будут идти как логарифмы этих чисел. Но мы, футуристы, ведь вошли с новым знаменем: «Новая форма – рождает новое содержание». Ведь мы раскрепостили искусство от быта, который играет в творчестве лишь роль при заполнении форм и может быть даже изгнан совсем... Искусство всегда вольно от жизни и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города» *(Шкловский В. Б.* Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990. С. 78–79). Бродский был хорошо знаком и с манифестом Шкловского, и с гневной на него реакцией идеологического официоза. Он, однако, не принимал философии искусства, питавшей теории русского формализма. Спор со мной о формализме он подытожил кратко: «Искусство *не* прием».

16

Бродский пишет об этом в неопубликованном мемуарном отрывке: «Я несколько раз расспрашивал мать и отца об этом дне, но они ничего толком не сказали. Я знаю только, что родился где-то на Выборгской стороне, в клинике профессора Тура. Мать говорила, что ею занимался сам профессор. Этот „профессор Тур“ и его одобрительные отзывы обо мне не оставляли меня всю жизнь» (РНБ. Ед. хр. 63. Л. 181). А. Ф. Тур (1894–1974) – известнейший русский врач-педиатр.

17

Ул. Рылеева, д. 2/6, кв. 10, на третьем этаже (нумерация квартир была позднее изменена; РНБ. Ед. хр. 63. Л. 184). В другом месте Бродский говорит, что в дом Мурузи (Литейный, № 24/27, на углу Пестеля (Пантелеймоновской), кв. 28) семья переехала в 1952 г. (*Интервью 2000*. С. 413). В статье Д. Новикова «Об экономии мрамора. К литературной истории дома Мурузи» (Аврора. 1989. № 6) дана дата 1955 г. Более поздние даты, видимо, правильны, так как в 1954 и 1955 гг. Иосиф учился в школах Кировского района, поскольку у отца сохранялась прописка на углу Газа и Обводного, то есть, вероятно, еще до обмена комнат отца и матери на две комнаты вместе в доме Мурузи.

18

По брошюре А. Кобака, Л. Лурье «Дом Мурузи» (Л.: Товарищество «Свеча», 1990).

19

РНБ. Ед. хр. 63. Л. 190.

20

Бродский ошибочно полагал, что это трофеи Крымской войны (см. «Полторы комнаты». Гл. 34).

21

Бродский И. Полторы комнаты (перевод Д. Чекалова; *СИБ-2*. Т. V. С. 346).

22

Зеркальность у Бродского – это главное свойство океана и рек, отражающих Время («Набережная неисцелимых»). Петербург – зеркало Европы, а не «окно в Европу» («Путеводитель по переименованному городу»). Он также город-Нарцисс, заглядевшийся на свое отражение (там же и «Полдень в комнате», *У)*. Зеркало – граница жизни и смерти: «в конце пути / зеркало, чтоб войти» («Торс», *ЧР)*. Будущее (и прошлое): «В будущем, суть в амальгаме, суть / в отраженном вчера…» («Полдень в комнате», *У)*. Зеркало – это я сам: «Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме…» («Колыбельная Трескового мыса», *ЧР),* «…твои черты, как безумное зеркало, повторяя…» («Ниоткуда с любовью надцатого мартобря…», *ЧР),* «Мы не умрем, когда час придет! / Но посредством ногтя / с амальгамы нас соскребет / какое-нибудь дитя» («Полдень в комнате», *У)*. Есть и другие вариации этого мотива.

23

Из стихотворения Бенедикта Лившица «Дни творения» (1914).

СИБ-2. Т. V. С. 323.

25

Сведения по истории дома Мурузи приводятся в брошюре К. З. Куферштейна, К. М. Борисова, О. Е. Рубинчик «Улица Пестеля. Пантелеймоновская» (Л.: Товарищество «Свеча», 1991).

СИБ-2. Т. V. С. 319.

27

«Петербургский роман». Гл. 27 *(СИБ-2.* Т. I. С. 65).

28

Там же.

29

Шульц 2000. С. 77.

30

В кн.: *Гумилев Н. С.* Собрание сочинений. Т. 4. Вашингтон: Издательство книжного магазина Victor Kamkin, Inc. С. XXXV – XXXVI.

СИБ-2. Т. VC. 318.

32

РНБ. Ед. хр. 67. Л. 52.

СИБ-2. Т. V С. 344-345; *СИБ-2*. Т. VI. С. 322.

Насколько свободно она владела немецким, мы не знаем. В мемуарном очерке «Полторы комнаты» Бродский пишет о матери: «…всплескивает руками и восклицает: „Ach! Oh wunderbar!“ – по-немецки, на языке ее латвийского детства и нынешней службы переводчицей в лагере для военнопленных» *(СИБ-2*. Т. 5. С. 327). Из этого можно заключить, что немецкий был основным языком в семье матери. С другой стороны, в стихотворении-воспоминании о детстве «Благодарю великого Творца…», написанном в 1962 г., то есть когда образы родителей еще не подернулись ностальгической дымкой, Бродский не без мягкой иронии отзывался о материнском немецком: «За знание трехсот немецких слов / благодарю я собственную мать: / могла военнопленных понимать – / покуда я в избе орал „уа“, / в концлагере нашлось ей амплуа» (РНБ. Ед. хр. 59). Не исключено, что отсюда же полуидиш-полунемецкий волапюк в стихотворении «Два часа в резервуаре» *(ОВП)*.

35

См. «Полторы комнаты». Гл. 26.

36

РНБ. Ед. хр. 63. Л. 192.

Там же. Л. 188.

Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М.: Московский рабочий, 1990. С. 90.

39

РНБ. Ед. хр. 63. Л. 187.

Там же. Лл. 188-189; см. также *СИБ-2*. Т. V. С. 17.

41

См. *Интервью 2000* С. 179.

42

Там же. С. 180. Там же. С. 163: «(Отец) всегда считал меня бездельником, лоботрясом. Он был достаточно строг, каким и должен быть отец. Замечательный человек».

43

В переводе Н. Фельдман: «У меня нет совести. У меня есть только нервы»; *Акутагава Рюноскэ.* Новеллы. М.: Художественная литература, 1974. С. 539.

44

«Трофейное» (авторизованный перевод А. Сумеркина; *СИБ-2*. Т. VI. С. 12).

45

Из неоконченного стихотворения (1961?); РНБ. Ед. хр. 59. Л. 75.

46

Выставка трофейного немецкого оружия была открыта в том же помещении еще в 1943 г. и преобразована в музей в 1946 г. В 1949 г. в связи с репрессиями против ленинградского руководства и одновременной кампанией по уничтожению образа Ленинграда как «Северной столицы» музей был закрыт.

СИБ-2. Т. V С. 329.

«Меньше единицы» (перевод В. Голышева; *СИБ-2.* Т. V С. 8).

Например: «...до этого еврея настоящего империалиста в русской литературе не было!» *(Бар-Селла 1982.* С. 231).

СИБ-2. Т. V С. 329.

51

См. *Волков 1998*. С. 67. Интересны реминисценции из Сент-Экзюпери в стихотворении «Письмо генералу Z.» *(КПЭ)*. Вероятно, форма стихотворения была подсказана Бродскому «Письмом генералу X.» Сент-Экзюпери. Проникнутое пафосом пацифизма и антитоталитаризма эссе «Письмо генералу X.» было написано в 1943 г. на военной базе в Северной Африке за два месяца до гибели и опубликовано посмертно. В России в шестидесятые годы оно имело хождение в самиздате в переводе М. К. Баранович; переводчиком Экзюпери был также знакомый Бродского писатель Рид Грачев (об истории русских «официальных» и самиздатских переводов Экзюпери см.: *Кузьмин Д.* Сент-Экзюпери в России // Книжное обозрение. 1993. № 44. С. 8–9). У Бродского «письмо генералу» иронически переосмысляется, оно написано в более иносказательном, символическом стиле. Особого внимания заслуживает сквозная топика карточной игры, начатая каламбуром – карты географические/игральные – в первой строке, она несет тему авантюризма, шулерства, расточительства. Возможным импульсом к возникновению в «Письме генералу Z.» мотива карт был рассказ вдовы Михаила Булгакова о встрече с Экзюпери на вечере у советника американского посольства в Москве 1 мая 1935 г.: «Француз – оказавшийся, кроме того, и летчиком – рассказывал про свои опасные полеты. Показывал необычайные фокусы с картами» (цит. по: *Чудакова М. О.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М.: Книга, 1988. С. 567).

52

В обширной литературе по культурной семиотике Петербурга нередко говорится о театральности города. Ср.: «В 1920 году Мандельштам увидел Петербург как полу-Венецию, полу-театр» *(Ахматова А. А.* Сочинения. В 2 т.: Т. 2. М.: Художественная литература, 1986. С. 206) или «П(етербург) театрален. Город-сцена: центр, Невский проспект, набережные, стрелка Васильевского, Ростральные колонны – бутафорские маяки, никому не светившие. Петропавловская крепость, никого ни от кого не защищавшая...» *(Тульчинский Г.* Город-испытание. В кн.: Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры. Вып. 1. Метафизика Петербурга. СПб.: Эйдос, 1993. С. 153).

53

Исследователи творчества Кузмина пишут о его цикле «Александрийские песни»: «Античность в русском символизме и – шире – модернизме чрезвычайно широко использовалась не только как средство выявления аналогий с современностью (что тоже было очень распространено), но и как способ представить себе нынешнее время в качестве реального продолжения той мифологии, которая создана древними и, пройдя через века, трансформировалась в мифологию современности» *(Богомолов Н. А., Мальмстад Дж. Э.* Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 105).

О петербургской эсхатологии наиболее подробно см.: *Топоров В. Н.* Петербург и «Петербургский текст» русской литературы (Введение в тему). В кн.: *Топоров В. Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 259-367.

55

«Константин Ватинов – совершенно феноменальный автор и настоящий, на мой взгляд, петербуржец. [...] Ткань произведений Вагинова – это такая старая, уже посыпавшаяся гардина, да? В текстах Вагинова меня особенно привлекает это ощущение как бы ненапряженного мускула. Это постоянно чувствуется и в его композиции, и в интонации» *(Волков 1998.* С. 289, 290).

СИБ-2. Т. 5. С. 47.

Исключения составляли специальные школы с преподаванием ряда предметов на иностранном языке, где преимущественно обучались дети номенклатурной элиты или людей со связями. Состоятельные родители могли платить за частные уроки языка или музыки.

СИБ-2. Т.V. С. 19.

Интервью 2000. С. 123.

Школу полагалось посещать в районе проживания, но у отца сохранялась еще довоенная прописка в Кировском районе. Я благодарен В. В. Герасимову за подборку материалов о школьных годах Бродского (РНБ. Ед. хр. 2. Лл. 1-6).

61

Вагинов К. К. Козлиная песнь. М.: Современник, 1991. С. 112. Среди стихов Н. А. Заболоцкого, которыми он восхищался, Бродский особо выделял «Обводный канал» (1928) (см. *Волков 1998*. С. 288). Описанная Заболоцким «барахолка», рынок подержанных вещей, просуществовал на углу Лиговского проспекта и Обводного канала до середины пятидесятых годов. Хотя во времена Бродского гужевой траспорт уже был редок, в остальном картина напоминала описание Заболоцкого:

А вкруг – черны заводов замки,
высок под облаком гудок...

И воют жалобно телеги,
и плещет взорванная грязь,
и над каналом спят калеки,
к пустым бутылкам прислонясь.

Интервью 2000. С. 418.

63

МС. Т. 1. С. 141. Эти неопубликованные стихи многим запомнились. Бродский часто читал их на публичных выступлениях, и они ходили в самиздате (см.: *Пикач А.* И от чего мы больше далеки? // Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 181–187). К «джазовым» стихам того периода также можно отнести «Богоматери предместья, святые отцы предместья, святые младенцы предместья...» (МС. Т. 1. С. 65–66), части «Июльского интермеццо» *(СИБ-2.* Т. 1. С. 68–78) и «От окраины к центру» (там же. С. 201–204). О «джазовой поэтике» Бродского см. *Петрушанская 2002.*

Гордин 2000. С. 140 (в книге Гордина письмо приводится полностью).

65

Бродский неоднократно говорил, что среднюю школу ему кончить не удалось (см., например, *Волков 1998*. С. 25; *Интервью 2000*. С. 414), но в конце 1963 г. он писал в редакцию газеты «Вечерний Ленинград», опровергая возведенную на него клевету, в том числе, что он «недоучка, не окончивший даже среднюю школу»: «Я получил среднее образование в школе рабочей молодежи, так как с пятнадцати лет пошел работать на завод. Я имею соответствующий документ – аттестат зрелости, который готов предъявить в любую минуту» (цитируется в кн.: *Гордин 2000*. С. 168). Возможно, он имел в виду справку об обучении в вечерней школе.

Сергеев 1997. С. 436.

67

См. статистические и другие сведения в кн.: *Костырченко Г. В.* Тайная политика Сталина. М.: Международные отношения, 2001. Гл. 5; и в кн.: *Солженицын А. И.* Двести лет вместе. Ч. П. М.: Русский путь, 2002. С. 404-405.

Интервью 2000. С. 123.

Язык и культура – весьма общие категории, что делает понятие «национальность» малоинформативным в том, что касается отдельного представителя национальности. Как и самоидентификация, уточненная Бродским, язык и культура, формировавшие его личность, могут быть точнее описаны как язык и культура русской интеллигенции двадцатого века. Можно было бы еще добавить: «ленинградской». С другой стороны, язык и культура не являются тотальными детерминантами, и параметры личности не устанавливаются раз и навсегда. Так, «языковая личность» Бродского менялась в связи с приобретаемым жизненным опытом: активным общением с неинтеллигентными слоями русского общества, жизнью в северной деревне, интенсивным изучением польского и английского языков и, наконец, собственным языкотворчеством, сознательными поисками еще неосуществленных возможностей родного языка.

Труды и дни. С. 59. См. также *Бондаренко 2003;* критик русского националистического (но не шовинистического) направления приводит весьма убедительную подборку фактов, доказывающих индифферентное отношение Бродского к «еврейскому вопросу». А. И. Солженицын даже упрекает его за это *(Солженицын 1999.* С. 191).

71

Это то, что рассказывал мне отец поэта, А. И. Бродский, в 1972–1975 гг. Бродский, видимо, совместил обстоятельства жизни прадеда и деда, когда говорил: «Дед мой был из кантонистов, он отслужил двадцать пять лет в армии, и у него была своя маленькая типография» (*Интервью*. С. 412). Институт кантонистов был окончательно упразднен в России еще в 1858 г. Если бы кантонистом в детстве был дед Бродского, то к моменту рождения отца поэта (1903) ему должно было быть, по крайней мере, лет шестьдесят.

72

Интервью 2000. С. 328. Бывал ли Бродский в Бродах? Я никогда не слышал от него о поездках на Украину и полагал, что он видел ее только из окна поезда по дороге в Крым или Одессу. Однако в недатированной открытке родителям из Милана (хранится в музее Ахматовой в Петербурге) Бродский, сообщая, что зашел взглянуть на «Тайную вечерю» Леонардо, добавляет: «Помню, видел я впервые изображение этого „Делового ужина“ в Млинах, в саду с чудными желтыми сливами». «Млин» – «мельница», нередкий топоним на Украине. Есть населенный пункт с таким названием и неподалеку от Брод.

73

Там же. С. 656.

Там же. С. 655-656.

Даугава. 2001. № 6. С. 101.

Сергеев 1997. С. 426.

Освобождение 2000. С. 70. Бродский откровенно рассказывал, как ему удалось «закосить», отделаться от призыва: «У меня была хорошая докторша. Все в Ленинграде, кто хотел уклониться от службы в армии, шли к ней. Про меня она сказала, что я психически нестойкий, и назначила мне лекарство... Венгерские возбуждающие таблетки. Их принимало полгорода» *(Труды и дни.* С. 53). Это забавный застольный рассказ, но, как показало дальнейшее, болезнь сердца действительно имелась. Ранее, в восемнадцатилетнем возрасте, он получил отсрочку от призыва в связи с заболеванием отца (инфарктом).

78

См. вторую главу мемуарного эссе «Меньше единицы».

79

Осенью 1963 г., отвечая на статью в «Вечернем Ленинграде», в которой его объявили тунеядцем, Бродский писал: «Я работал в геологических партиях в Якутии, на Беломорском побережье, на Тянь-Шане, в Казахстане. Все это зафиксировано в моей трудовой книжке» (цит. в: *Гордин 2000*. С. 171). Всего Бродский ездил в экспедиции пять раз: в 1957 и 1958 гг. к Белому морю, в 1959 и в 1961 гг. в Восточную Сибирь, Якутию и в 1962 г. в Казахстан. Летом 1961 г. в якутском поселке Нилькан в период вынужденного безделья (не было оленей для дальнейшего похода) у него произошел нервный срыв, и ему разрешили вернуться в Ленинград (см. *Шульц 2000*. С. 76).

Иванов Б. 2003. С. 548.

Британишский В. Поиски. Л.: Советский писатель, 1958. С. 14–15, 20.

Интервью 2000. С. 141; см. также *Волков 1998.* С. 34.

83

Самиздатское авторизованное собрание сочинений Бродского в пяти томах, подготовленное В. Р. Марамзиным в 1972–1974 гг.; основной источник последующих публикаций произведений Бродского до 1972 г. Далее – *МС*.

MC. T. 1. C. 3.

85

Цитируется по ксерокопии, переданной Э. Ларионовой в Гуверовский институт. Купюры в квадратных скобках.

Волков 1998. С. 29.

87

Интервью, данное Валентиной Полухиной в июне-июле 2004 г. Я благодарю В. П. Полухину за разрешение цитировать еще неопубликованное интервью.

Волков 1998 С. 85.

89

РНБ. Ед. хр. 63. Л. 63. О сходной работе Бродского вспоминает Д. В. Бобышев – «в монтажной бригаде на Балтийском заводе. Ему нужно было лазать в трубы, проверять их после сварки» *(Бобышев 2002.* С. 79).

Освобождение 2000. С. 68.

91

Из поэмы Михаила Луконина «Рабочий день» (цит. по антологии: Русская советская поэзия. М.: Художественная литература, 1954. С. 695).

92

Интервью 2000. С. 150. Там же. С. 133: «Любой автор, берущийся за перо в Ленинграде, сколь бы молод и неопытен он ни был, так или иначе ассоциирует себя с гармонической школой, имя которой дал Пушкин».

См. *Труды и дни.* С. 21-24.

Первое, несколько менее представительное, издание называлось «От романтиков до сюрреалистов» (Л.: Время, 1934).

95

Вышла без имени Мирского, который был в год выхода книги, 1937-й, арестован (в книге составителем был назван один из переводчиков – М. Гутнер). Бродскому эту высоко ценившуюся в кругу его друзей книгу подарил в 1963 г. на день рождения М. Б. Мейлах *(Мейлах 1997.* С. 159).

Шульц 2000. С. 77.

См. *Интервью 2000* С. 417.

Интервью 2000. С. 325.

99

О второй поездке Бродского в Польшу есть книга: *Tosza E.* Stan serca: Trzy dni z Josifem Brodskim. Katowice: Książnica, 1993.

100

Одно время под влиянием Уманского и его кружка (см. ниже) Бродский интересовался и оккультизмом, пытался, например, читать трактат русского мистика начала XX в. В. Шмакова «Арканы Таро» (см. *Мейлах 1997*. С. 162). Это увлечение скоро прошло, но оставило некоторый след в поэме «Исаак и Авраам». Позднее в стихотворениях «Два часа в резервуаре» (1965) и «Речь о пролитом молоке» (1967) встречаются резкие выпады против оккультизма.

101

СИБ-2. Т. V. С. 345.

См. *Волков 1998* С. 34.

103

Отрывки из заметок о поэтах девятнадцатого века см.: *Труды и дни.* С. 29-39.

Эти строки Мандельштама близки к теории литературной эволюции, развитой Ю. Н. Тыняновым и другими русскими формалистами.

105

Семенов Г. С. Прощание с осенним садом. Л.: Советский писатель, 1986. С. 112.

Ушаков Н. Н. Стихотворения. М.: ГИХЛ, 1958. С. 68-69.

107

Шефнер В. С. Избранные произведения. Л.: Художественная литература, 1975. Т. 1. С. 137.

108

Русская мысль. № 3750. Литературное приложение № 7. 1988. 11 нояб. С.V.

109

Первые стихи. Сборник стихотворений школьников – учащихся студии литературного творчества Ленинградского Дворца пионеров. Л.: Лениздат, 1947. С. 64-65.

110

Цит. по кн.: *Рассадин С. Н.* Так начинают жить стихом. М.: Детская литература, 1967. С. 63. С. С. Орлов (1921–1977) стал с годами профессиональным поэтом и средней руки литературным функционером; у него было одно популярное стихотворение об убитом солдате, «Его зарыли в шар земной…». Уничижительный отзыв Бродского об Орлове см.: *Волков 1998.* С. 53.

111

«Особенно популярными были выступления Г. Горбовского, В. Сосноры, А. Морева, К. Кузьминского, Н. Рубцова, И. Бродского. Эту поэзию иногда называли „эстрадной“ или „вокальной“. Визуально-слуховой контакт поэтов с аудиторией влиял на просодию стихов – их звуковую инструментовку и ритмическую организацию» *(Иванов Б. 2003.* С. 548). К списку наиболее популярных молодых ленинградских поэтов на рубеже 1950–1960-х гг., отличавшихся экстравагантной манерой декламации, следует добавить Е. Рейна, а в Москве – Е. Евтушенко, А. Вознесенского и Б. Ахмадулину.

Гордин 2000. С. 134.

113

О том, что физически представлял собой машинописный «Синтаксис», вспоминал его издатель А. И. Гинзбург: «Весь номер – десяток пачечек по 2–3 полулистика. Пять стихов поэта – пачечка, десять пачечек – номер» (Русская мысль. 1987. 30 окт. С. 8). Там же Гинзбург вспоминает, что стихи Бродского привез ему в Москву и восторженно рекомендовал инженер Игорь Губерман, впоследствии популярный поэт-сатирик.

114

2 сентября 1960 г., автор – Ю. Иващенко.

См. www.memo.ro/mstorv/diss/ginzburg.htm.

116

В кн. *Волков 1998* Бродский говорит: «Первый раз меня взяли, когда вышел „Синтаксис“...» (С. 64). «Взяли» здесь следует понимать не как арест, а как первое столкновение с госбезопасностью – допрос, угрозы. Арестовывали и подвергали заключению Бродского в СССР дважды. Это подтверждает рукопись незаконченного стихотворения, которое начинается: «Поскольку вышло так, что оба раза / меня сажали, в общем, в январе...», – и далее: «Двух раз, конечно, мало для того, / чтоб в чем-то усмотреть закономерность. / А для тюрьмы их мало и подавно» (РНБ. Ед. хр. 63. Л. 97).

Волков 1998. С. 65.

118

Сведениями о кружке Уманского я главным образом обязан Г. И. Гинзбургу-Воскову. См. также *Шахматов 1997*.

Например, использование символики чисел в духе древнееврейской Каббалы. Сведения о Каббале Бродский мог также почерпнуть из статьи Владимира Соловьева в энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

См. *Волков 1998.* С. *66.*

121

По воспоминаниям Г. И. Гинзбурга-Воскова, это был политико-философский трактат, написанный в форме писем президенту Кеннеди.

122

В книге Белли и его спутника Дэнни Джонса о путешествии по СССР *(Belli M. R, Jones D. R.* Belli Looks at Life and Law in Russia. Indianapolis – New York: The Bobbs-Merrill Co., 1963) этот эпизод не упоминается.

123

См. *Волков 1998.* С. *66.*

124

Шахматов 1997.

Вот что писал два года спустя в официальной справке офицер ленинградского управления КГБ Волков:

«Шахматов и Уманский 25 мая 1962 года осуждены за антисоветскую агитацию на 5 лет лишения свободы каждый. Осуждены правильно. Участие же Бродского в этом деле выразилось в следующем:

С Шахматовым Бродский познакомился в конце 1957 года в редакции газеты «Смена» в г. Ленинграде. В разговоре узнал, что Шахматов также занимается литературной деятельностью. Это их и сблизило. Затем он познакомился и с Уманским и вместе с Шахматовым посещал его.

После осуждения Шахматова в 1960 году за хулиганство, последний по отбытии наказания уехал в Красноярск, а затем в Самарканд. Оттуда прислал Бродскому два письма и приглашал приехать к нему. При этом хвалил жизнь в Самарканде.

В конце декабря 1960 года Бродский выехал в Самарканд. Перед отъездом Уманский вручил Бродскому рукопись «Господин Президент» и велел передать Шахматову, что Бродский и сделал. Впоследствии они эту рукопись показали американскому журналисту Мельвину Белли и выяснили возможность опубликования рукописи за границей. Но не получив от Мельвина определенного ответа, рукопись забрали и больше никому не показывали.

Установлено также, что у Шахматова с Бродским имел место разговор о захвате самолета и перелете за границу. Кто из них был инициатором этого разговора – не выяснено. Несколько раз они ходили на самаркандский аэродром изучать обстановку, но в конечном итоге Бродский предложил Шахматову отказаться от этой затеи и вернуться в город Ленинград.

Уманский увлекался индийским философским учением йогов, являлся противником марксизма. Свои антимарксистские взгляды изложил в работе «Сверхмонизм» и других работах.

О Бродском Уманский показал, что читал его стихи и раскритиковал их. Считал Бродского болтуном. Об изменнических настроениях Шахматова и Бродского узнал только после их возвращения в Ленинград. Об антисоветских разговорах со стороны Бродского не показал. Бродский по делу Уманского и Шахматова не привлекался. Управлением КГБ по Ленинградской области с ним проведена профилактическая работа».

Публикация Ольги Эдельман, www.svoboda.org/programs/td/2001/td.060301.asp. Из справки видно, что офицер

госбезопасности не имел представления о том, кто такой Белли, и даже не знал, что Мельвин – имя, а не фамилия.

СИБ-1. Т. 1. С. 20 (в *СИБ-2* не включено).

127

СИБ-2. Т. 1. С. 21.

СИБ-1. Т. 1. С. 30 (в *СИБ-2* не включено).

129

Там же. С. 35 (в *СИБ-2* не включено). Очень вероятно, что это стихотворение Бродского является откликом на стихотворение Слуцкого «Сон»: «Утро брезжит, а дождик брызжет. / Я лежу на вокзале в углу...» [впервые напечатано в журнале «Знамя» (1956. № 7)]. Помимо общей темы – сон на вокзале – просматриваются и пародийные моменты: Слуцкий пишет, что принимает свою участь «как планиду и как звезду», Бродский – что «видел только одну планету: / оранжевую планету циферблата». В концовке этого популярного стихотворения Слуцкого к автору сходит с пьедестала «привокзальный Ленин», у Бродского «голубоглазые вологодские Саваофы» шарят по карманам автора, пытаясь найти запрятанные червонцы (с портретом Ленина). Таким образом «за слова – спасибо» может иметь и другое значение. О добродушно-ироническом отношении Бродского к Слуцкому лично см.: *Сергеев 1997*. С. 439. Современного читателя может смутить иронический оттенок некоторых высказываний Бродского и других поэтов его круга о Слуцком. Это связано с тем, что коммунистические иллюзии Слуцкого молодежь воспринимала как наивное чудачество. В особенности скептическое отношение к любимому поэту как человеку усилилось после того, как в 1958 г. он, раздираемый противоречиями между «партийным долгом» и личной порядочностью, все же присоединил свой голос к официальной травле Пастернака.

Кузьминский К. Лауреат «Эрики» // Русская мысль. 1987. № 3697. 30 окт. С. 11. В статье ошибочно назван 1958 г.

131

Первая публикация в журнале «Знамя» (1957. № 2).

В период до 1972 г. это выразилось прежде всего в необычайно разнообразной и оригинальной строфике. См. подробный обзор *Шерр 2002*.

133

Слуцкий Б. А. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Художественная литература, 1991. С. 71. В этом же стихотворении Слуцкий рифмует предлог *(немногое от – господ),* что стало «фирменным» приемом у Бродского.

134

Выступление на симпозиуме, посвященном 40-летию окончания Второй мировой войны. *Times Literary Supplement* (London), № 4285 (17 May 1985). P. 544.

135

Д. Я. Дар (1910–1980) руководил литературным кружком при доме культуры «Трудовые резервы», но направлял своих лучших учеников к Семенову. Фактически оба этих литератора были менторами молодых поэтов-«горняков». См. воспоминания В. Л. Британишского «Похищение Прозерпины Плутоном» в кн.: Под воронихинскими сводами / Сост. В. А. Царицын. СПб.: Изд-во журнала «Нева», 2003. С. 13–44.

136

В кн.: *Рейн Е. Б.* Избранное. М.; Париж – Нью-Йорк: Третья волна, 1992. Поучительный анализ статей, предисловий и отзывов Бродского о поэтах дан в *Полухина 2003*.

137

Там же. С. 6.

Wittgenstein L. Notebooks:1914–1916. Chicago: The University of Chicago Press, 1979. P. 75.

139

Рейн Е. Б. Человек в пейзаже // Арион. 1996. № 3. С. 34. Рейн брал у Бродского интервью для несостоявшегося документального фильма. Книга, о которой говорит Бродский, это: *Баратынский Е. А.* Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1957. Тема «Бродский и Баратынский» освещена в статье Ефима Курганова «Бродский и искусство элегии» в кн.: Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. С. 166-185.

An Age Ago. P. 159.

141

Рейн 1997. С. 73.

Волков 1998. С. 224.

143

См. *Лосев 2002.*

Ахматова 1996. С. 234, 390.

См., например, *Интервью 2000*. С. 174.

Волков 1998. С. 256.

Чуковская. Т. 3. С. 208.

Волков 1998. С. 256.

149

Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970. С. 205.

Ахматова 1996. С. 523.

151

Там же С. 588, 601, 637.

152

Там же. С. 724.

153

Там же. С. 679.

154

«Моби Дик» на русском языке впервые вышел в переводе И. Бернштейн (в нашей цитате исправлены допущенные переводчиком неточности) в 1961 г. Как мне рассказывал Г. И. Гинзбург-Восков, Бродский тогда же с большим энтузиазмом рекомендовал ему эту книгу. Реминисценции из «Моби Дика» есть в «Письме в бутылке» *(ОВП),* «Новом Жюль Берне» и «Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной...» *(У).*

155

Ахматова 1996. С. 667. Об отношении Ахматовой к стихотворению «Гимн народу» см. *Лосев 2002.*

Интервью 2000. С. 174.

Чуковская 1997. С. 73, 81.

158

См. *Горбаневская 1996*. С. 16. См. соответствующее экфрастическое стихотворение «Иллюстрация» *(СИБ-2*. Т. 2. С. 26).

159

К тому моменту, когда пишутся эти строки, обстоятельства этой истории обнародованы подробно, хотя и пристрастно, в «kiss-and-tell» мемуарах Д. В. Бобышева (Октябрь. 2002. № 11). Бродский в общих чертах рассказывал о любовном треугольнике интервьюерам (см., например, *Интервью 2000*. С. 2).

Чуковская 1997. Т. 3. С. 141; *Бобышев 2002.*

161

Волков 1997 С. 317.

162

Там же.

163

В *СИБ* ошибочно датировано 1983 г. Хотя точной даты написания этого стихотворения у нас нет, но это 1963–1964 гг. Помимо стилистических особенностей на этот период указывает то обстоятельство, что в *ИСКА* автор поместил его в самом начале, то есть внутри цикла «Песни счастливой зимы».

Наиболее частые у Бродского цвета (с учетом глаголов типа «белеть» и существительных типа «белизна») – черный и белый, за ними идут со значительным отрывом в порядке убывающей частотности красный, серый, зеленый, голубой, коричневый, синий (по *Patera 2002*. Book 6).

165

См.: *Taubman W.* Khrushchev: The Man and His Era, New York: W. W. Norton, 2003. P. 591 (рус. пер. *Таубман У.* Хрущев. М.: Молодая гвардия, 2005).

166

Ильичев Л. Ф. Основные задачи идеологической работы партии. В кн.: Пленум ЦК КПСС 18–21 июня 1963 г. Стенографический отчет. М.: Издательство политической литературы, 1964. С. 58–59.

167

Там же. С. 36.

Там же. С. 26.

169

Цит. в *Юпп 2001*.

Лурье 1990. С. 166, 167.

171

«Человек, глубоко неудовлетворенный своей работой хозяйственника, рвущийся к власти и усмотревший в правах дружинника возможность добиться этой власти. Он завязывал знакомства с милицией, прокуратурой, партийными работниками и следователями КГБ, оказывая им подчас ценные услуги... По характеру склонен к дешевой детективщине, к провокации. Подозрителен и честолюбив» (*Чуковская 1999*. С. 159). По сведениям хорошо осведомленного И. М. Меттера, Лернер в молодости был сотрудником НКВД *(Гордин 1989*. С. 149). Позднее Лернер зарвался. Он начал вымогать деньги, пользуясь именами своих покровителей в руководстве города, и это ему с рук не сошло. Он был дважды, в 1973 и 1984 гг., осужден за мошенничество. Родители Бродского присутствовали на первом суде. После отбытия наказания уже в годы перестройки Лернер продолжал выступать с «разоблачениями» Бродского, сотрудничая с крайне антисемитскими изданиями.

Якимчук 1990. С. 31.

173

Опубликовано в «Литературной газете» (1997. № 22. С. 14).

Чуковская 1997. С. 385.

175

Там же. С. 170.

В сравнительно узком кругу ленинградских журналистов Медведев (Берман) и Ионин оказались в щекотливом положении, поскольку подписанная ими статья наверняка обрекала на тюрьму сына их знакомого и коллеги А. И. Бродского. Оба говорили, что их роль сводилась к литературной обработке материалов Лернера и что отказаться они не могли под угрозой потери работы.

177

Цитирую по *Гордин 2000.* С. 159-163.

Там же. С. 162.

179

Там же. С. 163.

180

Полгода спустя Ильичев санкционировал своим авторитетом дело Бродского и в разговоре с А. А. Сурковым назвал поэта «подонком» *(Чуковская 1997.* С. 217).

www.sem40.ru/famous/pis20_6.htm.

См. *Гордин 2000.* С. 167-172.

183

См. прим. 257.

Освобождение 2000. С. 70.

185

Гордин 2000. С. 175. Е. Г. Эткинд сообщает, что в действительности автором эпиграммы был поэт М. А. Дудин, вскоре сменивший Прокофьева на посту руководителя ленинградской писательской организации *(Эткинд 1977* С. 155).

186

Шнейдерман 1998. С. 194. В феврале Союз писателей послал на суд одного «общественного обвинителя». Никто из более или менее уважающих себя литераторов исполнять эту позорную роль не хотел, в качестве представителя Союза писателей на суд послали молодого литературного поденщика, автора детективных повестей Е. В. Воеводина.

187

Там же. С. 196.

См. *Loseff 2004.*

189

СИБ-2. Т. 2. С. 11.

190

Ахматова 1996. С. 421. А.А. Сурков (1899-1983), который наряду с Твардовским и Исаковским был ведущим поэтом советского официоза и влиятельным функционером, втайне преклонялся перед Ахматовой и старался ей помогать. См.: *Тименчик Р. Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.: Водолей; Торонто: Изд-во Торонтского университета, 2005. С. 327-328.

191

На первом заседании суда 18 февраля 1964 г. Бродский говорит, что выписался из больницы 5 января *(Гордин 2000*. С. 182). Это либо описка Вигдоровой, либо оговорка Бродского, либо справка о выписке была датирована 5 января. На самом деле Бродский уже 3 января вернулся в Ленинград, чтобы объясниться с Мариной и Бобышевым.

192

Субъективный, естественно, рассказ об этом см. *Бобышев 2002.*

193

СИБ-2. Т. 2. С. 21-22.

«Письма к стене» конкретно локализованы. Кирпичная стена, на которую падает тень лирического героя, это стена тюрьмы «Кресты» на Арсенальной набережной по соседству с заводом и больницей – первыми местами работы Бродского.

195

Лосев 1982. С. 68.

Гордин 1989. С. 150.

Там же. С. 151.

Гордин 2000 С. 181.

Там же. С. 181-182.

200

См. *Интервью 2000.* С. 279.

201

Среди тех, кому через несколько лет пришлось пройти через «наказание психиатрией», была Наталья Горбаневская, поэт и друг Бродского. О карательной психиатрии, в том числе о пытке мокрыми простынями, см.: *Bloch S., Reddaway P.* Psychiatric Terror: How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent, New York: Basic Books, 1977. О том, как пребывание на Пряжке послужило материалом для поэмы «Горбунов и Горчаков» *(ОВП),* см. подробнее *Loseff 2004*.

Гордин 2000 С. 186.

203

См. *Эткинд 1977*. С. 166.

Гордин 2000 С. 184.

Гордин 1989. С. 153.

Чуковская 1997. С. 473. Один из свидетелей, заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части Ф. О. Логунов впоследствии раскаивался в том, что принял участие в суде: вызвали в Дзержинский райком партии, он не смог отказаться (*Якимчук 1990*. С. 21).

Гордин 1989. С. 159.

Там же. С. 156.

Якимчук 1990 С. 23.

Гордин 2000 С. 187.

211

Цитируется в *Шнейдерман 1989*. С. 185.

Гордин 2000 С. 183.

213

Борьба за Бродского детально отражена в дневниках Чуковской *(Чуковская 1997)*.

Boulanger P. «Action poetique» de 1950 a aujourd'hui. Paris: Flammarion, 1998. P. 199.

215

См. полный перевод и вступительную статью Е. Г. Эткинда в журнале «Нева» (1990. № 3).

Berryman J. The Dream Songs. London-Boston: Faber and Faber, 1969. P. 199.

До Бродского на Западе пресса много писала о преследовании в Советском Союзе писателя В. Тарсиса, а вскоре после процесса Бродского о А. Синявском и Ю. Даниэле. Потом настала очередь А. Зиновьева и некоторых других, однако их литературный успех был кратковременным. Прочно вошли в мировую культуру из русских писателей второй половины двадцатого века только Солженицын и Бродский, причем оба еще до получения Нобелевской премии.

См. *Чайковская 2001*.

От этих ранних проекций образа Бродского в художественную литературу решительно отличается поэт Чиграшов в романе Сергея Гандлевского «<нрзб>» (2002). У Чиграшова есть и другие реальные прототипы, но автор придает ему некоторые характерные черты и элементы биографии Бродского, а так же парафразирует, как стихи Чиграшова, заключительный сонет Марии Стюарт и «Я был только тем, чего...».

Платон. Сочинения. М.: Мысль, 1971. Т. 3 (1). С. 435.

221

Эткинд 1977. С. 170.

Волков 1998. С. 76.

223

В истории диссидентского движения шестидесятых – семидесятых годов «дело Бродского» было первой большой (и выигранной!) битвой. Р. Д, Орлова знаменательно называет свой очерк об этом эпизоде «Поворотное дело». Бродский был в этом плане лишь предметом борьбы, а активными героями были Вигдорова и другие защитники поэта. Орлова пишет о Вигдоровой: «Она была обвиняемой, ее судили вместе с Бродским». И дальше: «Здесь судья Савельева в союзе с самыми темными силами судила каждого советского интеллигента. Потому запись суда нельзя читать без ужаса» *(Эткинд 1988.* С. 93).

Гордин 1989. С. 153.

225

В первой публикации, с присовокуплением еще 16 строк, написанных более года спустя в другой камере, название цикла ироничнее – «Камерная музыка».

СИБ-2. Т. 7. С. 220.

Волков 1998. С. 82.

228

Из стихотворения «Не пугайся, я еще похожей...», входящего в цикл «Шиповник цветет. (Из сожженной тетради)». Написано в июле 1962 г., то есть в период, когда Бродский уже регулярно встречался с Ахматовой, и, вероятно, тогда же она читала ему эти стихи.

См., например, *Disch 1980; Kirsch 2000.* P. 40.

230

Образы, явно навеянные «Одним днем Ивана Денисовича» Солженицына.

231

Coetzee J. M. Youth: Scenes from Provincial Life II. London: Secker & Warburg, 2002. P. 91. В свое время Бродский очень высоко оценил прозу Кутзее: «Только он и имеет право писать прозу после Беккета» *(СИБ-2.* Т. 6. С. 402). Перед самой смертью Бродского весьма огорчила прохладная рецензия Кутзее на его книгу «О скорби и разуме» (*Coetzee J. M.* Speaking for Language // The New York Review of Books, February 1996; Бродский успел его прочитать, поскольку журнал поступает к подписчикам обычно за две-три недели до обозначенной на нем даты).

Волков 1998. С. 89.

Детали этой, казалось бы, непритязательной «зарисовки с натуры» даны в многозначительном контрасте. Пилот, совершающий эволюции в небе, напоминает о детской мечте автора стать летчиком. Летчиком стать не удалось, но даже и трясущийся на сеялке, «припудренный» землей он, «как Моцарт». Как раз на сельскохозяйственные реалии автор не обратил должного внимания: сеялка превращается в борону (это разные орудия, хотя возможно, тракторист называл культиваторный брус сеялки «бороной»). Странно звучит «топорщилось зерно». Видимо, по этим причинам стихотворение не публиковалось до собрания сочинений.

Забалуев 1990. С. 156.

Интервью 2000. С. 433.

Максудов 2000. С. 201-202.

Бобышев 2002. С. 73-75.

См. *Ефимов 2003.*

Солженицын 1999. С. 182.

Цит. в: *Гордин 2000.* С. 137.

241

Гордин 2000. С. 137.

Эту поэтику также называют акмеистической. Хотя Пастернак в литературно-бытовом отношении не был связан с кружком акмеистов, в принципах его поэтики было много общего с Мандельштамом и Ахматовой, в первую очередь то, о чем говорит Бродский в цитируемом письме. Гордин в своей книге приводит высказывание Пастернака об исключительном значении композиции, очень сходное с мыслями Бродского (там же. С. 138).

243

В не раз переиздававшейся «The New Pocket Anthology of American Verse from Colonial Days to the Present» под редакцией Оскара Уильямса были те самые «чернобелые квадратики» – портреты поэтов, о которых Бродский вспоминает в эссе памяти Одена *(СИБ-2*. Т. 5. С. 263).

См. *Интервью 2000.* С.154; *Волков 1998.* С. 159-161.

245

Многократно повторяющийся у Бродского мотив параллельных линий. Пересекающиеся параллели как символ протеста против рационалистического представления о полностью умопостигаемом мире унаследованы Бродским от Достоевского («Записки из подполья», «Братья Карамазовы») и таких писателей, как Белый, Пастернак, Набоков, Уоллес Стивенс.

246

См. перевод Бродского в *ОВП* и для сравнения также удачный перевод Г. Кружкова (*Донн Дж.* Избранное. М.: Московский рабочий, 1994. С. 54-55).

247

На принципиальное сходство «выросших из футуризма» Маяковского и Пастернака с английскими поэтами-метафизиками указывал еще в 1937 г. Д. Святополк-Мирский (*Мирский Д. П.* Статьи о литературе. М.: Художественная литература, 1987. С. 35).

248

Тщательный формальный анализ метафорики Бродского см.: *Polukhina 1989* и *Полухина, Пярли 1995*.

249

Толстой Л. Н. Собрание сочинений. В 22 т.: Т. 15. М.: Художественная литература, 1983. С. 80.

Обобщения, которые мы здесь делаем, допустимы только для описания существенных различий между русской и англо-американской модернистской лирикой. Речь идет о тенденциях, а не об абсолютных фактах. Суггестивный подтекст, например, характерен и для лирики Ахматовой, да и у других русских поэтов можно найти эффективное применение фигуры умолчания. Великим мастером такой поэтики в русской литературе был, однако, не поэт, а прозаик – Чехов. См. о «чеховском» у Ахматовой и Бродского *Лосев 1986, Loseff 1995.*

251

Волков 1998. С. 98. Это запись живого разговора, Бродский выражается не вполне точно: далеко не «как правило» действие у Фроста происходит в помещении.

Там же. С. 99, 101-102.

253

СИБ-2. Т. 6. С. 184. В эссе «О скорби и разуме» Бродский упоминает самого влиятельного литературного критика середины двадцатого столетия в Америке Лайонела Триллинга, который первым указал на мрачную трагедийную подоплеку «пасторалей» Фроста. Как ни странно, Бродский нигде не ссылается на развернутое эссе Рэнделла Джарелла на ту же тему (1962), причем построенное на анализе того же стихотворения Фроста, что и у Бродского, «Семейный погост» («Home Burial»). Может быть, это объясняется обидой на Джарелла, выдающегося поэта и литературного эссеиста, за нападки на позднее творчество Одена. Попутно отметим, что в примечания к эссе «О скорби и разуме» в шестом томе *СИБ-2* вкралась ошибка: Бродский не присутствовал на выступлении Фроста в Ленинграде в 1962 г. Во время визита Фроста его не было в городе.

СИБ-2. Т. 5. С. 259–260 (перевод откорректирован).

Упоминание здесь о конечности жизни (ср. в стихотворении памяти Ахматовой: «поскольку жизнь одна») показывает, как корректно мысль Бродского развивается в рамках экзистенциалистской парадигмы: знание, памятование того, что жизнь конечна, предопределяет важность тех выборов, верных и ложных, которые делает человек.

См. *Якович 1993* и *Охотин 2000*.

Охотин 2000. С. 70.

Там же. С. 71.

259

Там же.

См. *Чуковская 1999*. С. 149.

261

Там же. С. 154.

262

Из справки председателя КГБ Семичастного, представленной в ЦК партии. См. *Якович 1993.*

263

Там же. Перевод немного откорректирован. В комментарии к публикации письма Сартра приводится мнение Е. Рейна, что «Сартр не сам додумался; его кто-то из наших попросил». Рейн также отмечает, что Сартр «великолепно сыграл в их игру – по всем аппаратным правилам с соблюдением всей лексики и дистанции».

264

«Письмо генералу Z.» *(КПЭ)*.

См. *Сергеев 1997*. С. 440-441.

См. *Рыбаков 1997.* С. 370-372.

267

См. *Чуковская 1997* С. 206.

Там же. С. 317. Пометки Твардовского на своих стихах Бродский назвал «весьма цивильными», а самого писателя «человеком несчастным и загубленным» (*Волков 1998*. С. 108).

Сергеев 1997 С. 439.

Впечатляющее художественное изображение «внутреннего цензора» см. в романе А. И. Солженицына «В круге первом», в главе, посвященной писателю Галахову. Проблеме эзопова языка посвящена моя книга: On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature. Munich: Sagner Verlag, 1986.

Об истории издания *СИП* см. *Клайн 1998* и *Кузьминский 1998*.

См. *Зимняя почта 1988.*

Там же. С. TV.

Там же. С. V.

Там же.

Там же. С. V-VI.

277

Об одной из последних попыток Бродского напечататься на родине рассказывает бывший сотрудник ленинградского молодежного журнала «Аврора» Е. Клепикова.

«Бродский излучал на всю редакцию уже нечеловеческое обаяние. Даже тогдашний главный редактор, партийная, но с либеральным уклоном, дама Косарева подпала – заручившись, правда, поддержкой обкома – под интенсивные поэтовы чары (о Н. С. Косаревой см. в главе IV. – *Л. Л.)*. В обкоме, просмотрев Осину подборку, предложили, как положено, что-то изменить. Не сильно и не обидно для автора. Бродский отказался, но заменил другим стихом. Еще пару раз обком и Бродский поиграли в эту чехарду со стишками. И одобренная свыше подборка была, впервые на Осиной памяти, поставлена в номер. [...] Короче, обком с КГБ на компромисс с публикацией Бродского пошли, а вот Осины коллеги – группа маститых и влиятельных поэтов – воспротивились бурно, хотя и приватно. Поздним вечером в пустой «Авроре» собралась в экстренном порядке редколлегия молодежного журнала, средний возраст 67 – исключительно по поводу стихов Бродского, уже готовых в номер. Ретивые мастодонты раздолбали подборку за малую художественность и сознательное затемнение смысла» *(Клепикова 2001)*.

История издания *ОВП* описана Джорджем Клайном *(Клайн 1998)*.

Клайн 1998. С. 219.

280

Там же. С. 222–223. Бродский отметил семьдесят ошибок в книге. Все они были учтены при переиздании в 2000 г.

281

Новый журнал. 1971. № 102. С. 296.

282

Подлинный Бродский и миф о Бродском // Новое русское слово. 1970. 9 авг.

283

Андреев Г. Под маской эмиграции // Новое русское слово. 1970. 14 июля. См. также: *Коряков М.* Листки из блокнота: издательство им. Чехова // Новое русское слово. 1970. 25 июня.

Новое русское слово. 1970. 11 июля.

Kline 1973. P. 228.

Горбаневская 1996. С. 16.

Сергеев 1997. С. 432.

Волков 1998. С. 101. Е. Петрушанская предположительно связывает замысел поэмы с балладой Стравинского «Авраам и Исаак» для баритона и камерного оркестра. В 1962 г. Стравинский приезжал в СССР и в публичных выступлениях говорил о работе над этим произведением. К Стравинскому Бродский испытывал постоянный интерес *(Петрушанская 2004*. С. 40–41).

Бар-Селла 1985. С. 213.

Polukhina 1989. P. 264.

Сергеев 1997 С. 428.

Волков 1998. С. 318.

Интервью 2000. С. 279.

Патера 2002; A Concordance to the Poems of Osip Mandelstam, edited by Demetrius J. Koubourlis, Ithaca [N.Y.]: Cornell University Press, 1974; Словарь языка Пушкина. М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Т. 2. 1957; Т. 4. 1961.

Волков 1998 С. 195.

См. *Проффер 1986*.

Иванов В. В. Художественное творчество, функциональная асимметрия мозга и образные способности человека. В кн.: Текст и культура. Труды по знаковым системам XVI. Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 635. Тарту, 1983. С. 12.

298

См. прим. 435.

299

Интервью 2000. С. 567–568. А вот отголосок Юнга в поэме можно заподозрить – море как основной символ бессознательного, по Юнгу, играет там важную роль, в особенности в главе XIII («Разговоры о море»).

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 288-289.

301

Ср. с окончанием стихотворения «Натюрморт» *(КПЭ)* – см. о нем в главе VII.

Проффер 1986. С. 138.

303

Прот. А. Шмеман. Великий пост. Париж: YMCA-Press, 1986. С. 91.

Этот же смысл слова «доктор» просвечивает у Пастернака в докторе Живаго – герое, который уподобляется Христу.

305

В. Р. Марамзин датирует первый черновой набросок к поэме маем 1964 г.: «Лежавший у окна был Горбунов, а рядом с ним валялся Горчаков» (РНБ. Ед. хр. 67. Л. 57).

306

Иногда называют дату 10 мая, но Бродский запомнил: «Это было в пятницу вечером» *(Интервью 2000.* С. 658). Пятница была 12 мая.

307

Там же.

Бродский и сам связывал свое стремительное выдворение из страны с визитом Никсона: «Как раз в это время в Советский Союз приезжал Никсон, и повсюду шла чистка» (там же. С. 160; также *Волков 1998*. С. 125). По рассказу Евгения Евтушенко, в апреле 1972 г. ему случилось встретиться по своим делам с одним из руководителей КГБ (Ф. Д. Бобковым), и во время этой встречи он попросил не преследовать Бродского, а дать ему возможность без хлопот уехать из страны. Бродский на всю жизнь обиделся на Евтушенко – не за то, что тот «подал властям идею высылки», а за то, что, зная о ней уже в апреле, он не предупредил Бродского (*Волков 1998*. С. 126–131).

309

О принципиальной несводимости «философии Бродского» в систему см. *Ранчин 1993.*

Интервью 2000. С. 29.

311

В многочисленной литературе о Бродском встречаются лишь поверхностные высказывания о его политической философии и политической деятельности, хотя он был политически довольно активен в зарубежные годы. Напротив, его религиозно-философским взглядам посвящены основательные труды, в том числе *Келебай 2000, Плеханова 2001, Радышевский 1997*.

СИБ-2. Т. 5. С. 264.

Именно из-за этой строки Оден исключил стихотворение «1 сентября 1939 года» из своего позднейшего тома избранных стихов: мы обречены умереть независимо от того, следуем ли мы заповеди вселенской любви или нет (промежуточный и тоже отвергнутый вариант: «We must love each other and die»). Рассуждение Бродского по этому поводу: «Истинное значение строчки в то время было, конечно: „Мы должны любить друг друга или убивать“. Или же: „Скоро мы будем убивать друг друга“. В конце концов, единственное, что у него было – голос, и голос этот не был услышан, или к нему не прислушались...» *(СИБ-2.* Т. 5. С. 250–251). Интуиция Бродского подтверждается поздним стихотворением Одена «Утренние трели» («Aubade»), которое, видимо, Бродскому в момент писания статьи было незнакомо (или упущено из виду). В «Утренних трелях» Оден уточняет мысль очень близко к интерпретации, предложенной Бродским: в человеческой речи, акте коммуникации, осуществляется жизнь. Слушая голоса прошлого, обращая свой голос в будущее, человек участвует в непрерывности жизни. Эти мысли Одена были откликом не столько на прославленную оду Горация, сколько на метафизику речи в трудах Розенштока-Хюсси, эмигрировавшего в США австрийско-еврейского философа. Взгляды Розенштока-Хюсси на экзистенциальное значение диалога были близки взглядам его друга Мартина Бубера и М. М. Бахтина. Оден внимательно читал труд Розенштока-Хюсси, в то время профессора Дартмутского колледжа, «Речь и реальность», где тот формулирует свою основную мысль так: «Audi, ne moriamur» («Слушай, да не умрешь») (см.: *Fuller J.* W. H. Auden: A Commentary. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998. P. 545).

СИБ-2. Т. 1. С 5.

315

Там же. Т. 5. С. 86.

СИБ-2. Т. 5. С. 86.

317

Там же. С. 90–91. Бродский не дожил четырех лет до того момента, когда описанный им механизм – массы желают стабильности, возникает виртуальная единая партия, выдвигается единоличный лидер («серый, неприметный вид ее [партии] вождей привлекает массы как собственное отражение». С. 87) – был снова задействован на его родине.

Чуковская 1997. С. 480.

319

«Резиденцию» (1983) Бродский писал, имея в виду тогдашнего правителя СССР Ю.В.Андропова (см. *Рейн 1997*. С. 194-195).

Гордин 2000. С. 219.

321

Полемическая реминисценция из стихотворения Одена «Испания» («Spain», 1937; в этом стихотворении с наибольшей полнотой выразились наивные коммунистические симпатии молодого Одена). «Когда Оден пишет об „усердных выборах председателей неожиданным лесом рук“ [The eager election of chairmen / By the sudden forest of hands], он провидит спонтанное и единодушное проявление политических чувств, совершенную в своей гармонии *civitas* [гражданская община], построенную по партийным предначертаниям. [...] Бродский [...] пишет о рефлективной, автоматической реакции партаппаратчиков, «единодушно одобряющих» очередную прихоть диктатора» *(Hecht A.* The Hidden Law: The Poetry of W. H. Auden. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1993. P. 129).

СИБ-2. Т. 7. С 62-71.

323

Там же. Т. 5. С. 275.

Волков 1998. С. 182.

325

В советском бытовом употреблении «индивидуализм» приравнивался к эгоизму. Бродский был последовательным индивидуалистом и не менее последовательным альтруистом. Соответственно, здесь слово «индивидуализм» употребляется для обозначения интеллектуальной самостоятельности и моральной ответственности за все свои действия, в том числе и коллективные действия, в которых индивидууму приходится участвовать.

326

«...в одном заведении на 52-й улице, растерянный и испуганный». Сленговые слова, в особенности из устаревшего сленга, всегда представляют проблему для переводчика. А. Я. Сергеев перевел «dive» как «ресторанчик». Читателям Одена было понятно, что речь идет не о маленьком уютном ресторане, а о баре с джазом, возможно, «голубом» баре (см. *Fuller,* цит. соч., p. 290). По забавному совпадению Бродский в восьмидесятые годы стал совладельцем (вместе с М. Барышниковым и Р. Каштаном) одного из «заведений» на той же 52-й улице – ресторана «Русский самовар».

Волков 1998. С. 51.

С творчеством В. С. Соловьева Бродский был хорошо знаком не только по статьям в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, о чем упоминалось выше. После возвращения из ссылки у него появилось репринтное издание полного собрания сочинений Соловьева, привезенное кем-то из зарубежных друзей.

Более подробно о том же см. в моей работе «Home and Abroad in the Works of Brodsky» *(Loseff 1992)*.

Цит. по: *Парамонов Б.* Советское евразийство // Новое русское слово. 1989. 22 авг. С. 5.

331

«Современный философ видит свой последний идеал в магометанстве: верую в единого Аллаха и его пророка Магомета. Всякий не признающий Магомета и Аллаха есть неверный» и т. д. См.: *Шестов Л.*

Potestas clavium. Берлин: Скифы, 1923. О шестовских истоках некоторых устойчивых метафор Бродского см. *Келебай 2000*. С. 109.

333

Мандельштам О. Э. Сочинения. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. С. 177. Там же. С. 180–181, в отрывках из уничтоженных стихов: «Я возвратился, нет – читай: насильно / Был возвращен в буддийскую Москву» и «Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой / На молоко с буддийской синевой, / Проводишь взглядом барабан турецкий…»

Франк С. Л. Этика нигилизма. Цит. по изданию: Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей 1909–1910. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 173.

Интервью 2000. С. 458-459.

New York Times Book Review, February 17, 1985. P. 31, 33.

См. *Аист 2000.*

См. *Солженицын 1999*. С. 192-193.

339

См. *Турома 2004*.

340

Интервью 2000. С. 95. Когда журналист спросил его, правдивы ли слухи о том, что он формально принял христианство, Бродский ответил: «Это абсолютно бредовая чушь!» (там же. С. 219).

341

Континент. 1985. № 43. С. 380–381. «Христопродавцами» в этом гневном, но не слишком вразумительном письме названы и Бродский, и редакторы журнала.

342

«Что касается веры, не следует думать, что она – продукт пережитого страдания и т. д. Я думаю, что человека может сделать верующим и счастливый опыт. Это вполне возможно. Я с этим сталкивался». *Интервью 2000* С. 467.

Волков 1998. С. 256.

РС-2. С. 68. Е. Келебай посвящает сравнению Бродского и Кальвина целую главу, слишком буквально, на мой взгляд, понимая заявления Бродского о его «кальвинизме» (*Келебай 2000*. С. 270–286), тогда как Бродский оговаривает, что связывает свое мироощущение с кальвинизмом «не особо даже и всерьез» (*РС-2*. Там же).

СИБ-2. Т. 6. С. 174-175.

346

Переводя эссе Бродского в 1979 г. для парижского журнала «Эхо», я перевел название как «Меньше, чем единица» (имелась в виду «человеческая единица»). Перевод был авторизован, но название я перевел неудачно, ибо не вполне передал смысл английской грамматической конструкции «one is less than one». По-русски это будет «ты меньше самого себя» или «человек меньше самого себя». К сожалению, и в другом переводе, В. Голышева *(СИБ-2.* Т. 5), та же неточность, искажающая принципиально важную для Бродского мысль.

347

Шестов был любимым русским мыслителем Бродского. Скорее всего, он начал читать Шестова еще в «Современных записках» из библиотеки С. Шульца (см. выше), а, начиная с середины шестидесятых годов, у него дома появлялись книги Шестова в репринтных изданиях «YMCA-Press». Свой экземпляр «Sola Fide» он перед отъездом из России подарил мне. На Западе общая любовь к Шестову определила дружбу Бродского с двумя замечательными писателями – поляком Чеславом Милошем и мексиканцем Октавио Пасом.

СИБ-2. Т. 5. С. 53.

То есть, если исключить служебные слова и местоимения, на девятнадцатом месте; ему предшествуют *один, жизнь, глаз, время, здесь, день, окно, человек, рука, земля, знать, год, сказать, ночь, слово, лицо, видеть, свет,* а за ним, замыкая первую двадцатку, следует *любовь (Patera 2003.* Vol. 6).

Марамзин В. Р. Тянитолкай. Ann Arbor: Ardis, 1981. С. 239.

В период юности Бродского это в первую очередь Генрих Сапгир, Стас Красовицкий, Михаил Еремин.

СИБ-2. Т. 1. С. 26–27.

353

См. *Интервью 2000.* С. 513.

Камю А. Творчество и свобода. М.: Радуга, 1990. С. *66.*

Там же. С. 108.

Такого эпизода нет в Евангелиях. Скорее всего, он навеян ахматовским «Requiem'ом», который тоже имеет десятичастную структуру и в котором также, без видимой связи с предыдущими частями, часть десятая, «Распятие», представляет собой две евангельские сцены. В первой из них цитируется обращение Христа к Марии: «Не рыдай мене, мати...» (из девятого ирмоса православной предпасхальной литургии).

О «Натюрморте» см. также *Loseff 1989* и примечания к стихотворению в данной книге.

Детальную дискуссию, соотносящую мотивы поэзии Бродского с различными философскими учениями, см. в *Келебай 2000, Ранчин 2001, Плеханова 2001,* а также *Лакербай 2000.*

Интервью 2000. С. 650.

См. об этом *Ранчин 2001*. С. 132.

361

Там же. С. 133.

СИБ-2. Т. 7. С. 115.

363

Об экзистенциализме Бродского см. в: *Келебай 2000*. С. 106–218; *Ранчин 2001*. С. 146–174; *Плеханова 2001*. Когда Бродский говорил, что в формировании его взгляда на мир французские экзистенциалисты не сыграли никакой роли, и тут же добавлял, что Шестов помог ему артикулировать собственные идеи *(Интервью 2000*. С. 204–205), он, скорее всего, просто хотел сказать, что не штудировал Сартра. Вся система взглядов Шестова близка французскому экзистенциализму и, вероятно, в какой-то мере повлияла на Камю и др.

Интервью 2000. С. 506.

365

СИБ-2. Т. 2. С. 101. «Начала и концы» – намек на книгу Льва Шестова «Начала и концы» (1908). Ср. сходное использование названия другой книги Шестова «Апофеоз беспочвенности» в «Посвящается Ялте» *(КПЭ)*.

Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. СПб.: Шиповник, 1911. С. 68.

Не принимал он и структуралистского культурного детерминизма в приложении к этике и, тем более, постмодернистского релятивизма.

368

Сказано Бродским о вдове другого великого поэта – Н. Я. Мандельштам *(СИБ-2*. Т. 5. С. 114).

Шутка рискованная, но ее иногда неправильно понимают в чисто агрессивном плане. На самом деле она связана с повторяющимся у Бродского мотивом об «архитектурной» роли разрушения военных времен; ср. «У Корбюзье то общее с Люфтваффе, / что оба потрудились от души / над переменой облика Европы» («Роттердамский дневник», *У)*.

370

Письмо мне (открытка с видом венского Грабена), написанное в самолете из Вены в Лондон.

371

СИБ-2. Т. 5. С. 266. Бродский описывает фотографию Одена, снятую известным фотографом Ролли Маккенна в Нью-Йорке в 1952 г. Оден стоит на пожарной лестнице возле своей тогдашней квартиры на 7-й авеню.

Там же. С. 269. Надо подчеркнуть, что за шутливым тоном письма скрывается искреннее восхищение творческой дисциплиной старого поэта.

В английской культурной традиции, по крайней мере со времен Даниэля Дефо, концепция писательства всегда была шире, чем в русской. Предполагалось, что писатель умеет делать любую литературную работу, а не только сочинять художественную прозу. Среди русских писателей первого ряда в прошлом таков был, пожалуй, только Н. С. Лесков.

374

Из письма мне от 2 августа 1972 г.

См.: *Davenport-Hines R.* Auden. New York: Pantheon, 1995. P. 325–341.

376

Osborn C. W. H. Auden: The Life of a Poet. New York – London: Harcourt Brace Jovanovich, 1979. P. 325. Вероятно, подсознательно Бродский позаимствовал это сравнение в своем мемуарном очерке об Одене (1984): «В течение этих недель в Австрии он занимался моими делами с усердием хорошей наседки» *(СИБ-2.* Т. 5. С. 271).

377

В жизни Одена, помимо любви к русской классической литературе, был и некий личный «русский сектор» – он дружил с композиторами Стравинским и Николаем Набоковым (двоюродным братом писателя), с Исайей Берлином и в последние годы жизни с Василием Яновским, нью-йоркским врачом, а также талантливым писателем и мемуаристом. По просьбе другого своего русского знакомого, поэта и критика Юрия Иваска, он написал статью-рецензию на вышедший по-английски том эссе Константина Леонтьева. В то же время близко знавший Одена Исайя Берлин говорит: «Оден, конечно, понимал, что [Бродский] хороший поэт, который его очень уважает, но Оден не интересовался русской поэзией, Россией. Совсем нет. И Францией нет. Только Германией. У него была Италия до известной степени, но главным образом Германия. „Да, да я знаю, что я немец, – говорил мне он. – I ani a Kraut. Ничего не поделаешь, я таков, я немец“» *(Труды и дни.* С. 103).

СИБ-2. Т. 5. С. 274.

См. об этом выше, в разделе, посвященном чтению англо-американской поэзии в Норенской. Тема «Бродский и поэтика Одена» не умещается в рамках данного очерка, она заслуживает серьезного исследования.

380

Дата приводится в письме от 2 августа 1972 г.

Selected Poems. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1973. В конце того же года второе издание вышло в Америке в издательстве «Harper and Row».

Труды и дни 1998. С. 227.

См. *Волков 1998*. С. 107-108.

«Сенегальская баллада» (1966); *Евтушенко Е. А.* Собрание сочинений. В 3 т. М.: Художественная литература, 1984. Т. 2. С. 96.

Интервью 2000. С. 665 (см. также С. 166-167 и 205).

К этому времени Бродский знал Проффера уже несколько лет. В середине 1969 г. Проффер переправил в Америку рукопись «Горбунова и Горчакова».

Simile and Gogol's Dead Souls. The Hague: Mouton, 1967; Keys to Lolita. Bloomington: Indiana University Press, 1968.

388

Цит. по черновой машинописи (Beinecke, Box 29, Folder 8).

«Ардис» был не единственным «тамиздатом». Задолго до него существовали Издательство имени Чехова в Америке, «YMCA-Press» и «Посев» в Европе и некоторые другие эмигрантские издательства. «Ардис» отличался от них тем, что он был исключительно литературно-художественным издательством (основным направлением «Посева» была общественно-политическая, а «YMCA-Press» – религиозно-философская литература). Что еще важнее, он был, по сути дела, не эмигрантским издательством, а находящимся в США издательством текущей российской, московской и ленинградской, литературы. Это было возможно благодаря разветвленной «агентуре» «Ардиса». Американские и европейские студенты, аспиранты, преподаватели, журналисты, дипломаты не без риска вывозили из СССР рукописи. Еще больше рисковали, конечно, литераторы в СССР, передавая рукописи на Запад. Этот подпольный трафик литературы, сравнимый разве что с деятельностью сотрудников герценовского «Колокола», заслуживает своего историка.

390

В «Школе для дураков» Бродскому понравилось начало, и он хотел поощрить публикацией молодого автора. Последующие произведения Саши Соколова оставили его равнодушным (см. *Интервью 2000.* С. 590).

Интервью 2000. С. 396.

Гаспаров М. Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М.: Издательство РГГУ, 1999. С. 280. Другие анапестические стихи Мандельштама: «Золотистого меда струя из бутылки текла...», «Голубые глаза и горячая лобная кость...» (из стихов на смерть А. Белого) и, отчасти, «Сестры – тяжесть и нежность...».

Набоков В. В. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1979. С. 267-268. Видимо, не без влияния лирики Набокова классический анапест был полностью реабилитирован в лирике поэтов поколения семидесятых годов – Сергея Гандлевского, Бахыта Кенжеева, Юрия Кублановского и Алексея Цветкова.

Брюсов В. А. Собрание сочинений. Т. 3. М.: Художественная литература, 1974. С. 488.

Интересно, что большинство стихотворений с длинными анапестическими строчками у Бальмонта так или иначе связаны с классической древностью. Видимо, такие строки казались ему воспроизведением греческого гекзаметра. Попутно заметим, что, хотя в ленинградском окружении молодого Бродского было распространено насмешливое отношение к Бальмонту, которого Блок назвал «нахальным декадентским писарем», единственное известное нам высказывание Бродского о нем как о поэте – положительное. При первом знакомстве с Лидией Чуковской, в январе 1963 г., он хвалил переводы Бальмонта из английской поэзии, противопоставляя их переводам К. И. Чуковского: «Переводы Бальмонта из Шелли подтверждают, что Бальмонт – поэт...» (*Чуковская 1997*. С. 71). Эта дерзость молодого Бродского очень напоминает то, какими словами тот же Блок противопоставлял Бальмонта как переводчика Шелли и Уитмена Чуковскому: «Переводы Бальмонта [...] сделаны поэтом, [...] а изыскания и переводы Чуковского склоняются к „низким истинам“» *(Блок А. А.* Собрание сочинений. Т. 5. М.; Л.: Художественная литература, 1962. С. 204).

Эткинд Е. Г. Материя стиха. Париж: Institut d'Ettudes Slaves, 1985. С. 114.

397

Интервью 2000. С. 643. Точно такого текста у Леонида из Тарента нет. В его эпиграммах встречаются отдаленно сходные фрагменты.

Бродский обсуждал со мной состав книг и некоторые незначительные стилистические моменты, но в основном моя роль была техническая – я набирал и корректировал. Только в одном случае он внес существенное изменение по моему предложению, в стихотворение «Осенний вечер в скромном городке...». Поэтому для меня было сюрпризом увидеть на субтитулах (страница «От автора») обеих книг: «Издание составили и подготовили Вл. Марамзин и Л. Лосев». Бродский попросил Проффера добавить эту строку уже после того, как я сдал работу.

Волков 1998. С. 313.

Русская мысль. 1977. 24 нояб. № 3179. С. 9.

401

Lindsey B. [Book review], World Literature Today, vol. 52, № 1. P. 130.

Gilford H. The Language of Loneliness // Times Literary Supplement, № 3984, August 11, 1978. P. 903.

403

В литературной энциклопедии «Самиздат Ленинграда» (М.: Новое литературное обозрение, 2003) приведены сведения о 343 неофициальных литераторах. Из них по крайней мере 109 зарабатывали на жизнь физическим трудом, при этом кочегарами или операторами газовых котельных постоянно или какое-то время работали 46.

404

Разделение высших учебных заведений в США на университеты и колледжи весьма условно. Считается, что в колледжах учатся четыре года и получают степень бакалавра, а в университетах есть и более продвинутые программы (то, что в России называется «аспирантурой»), где можно получить степень магистра и самую высокую – доктора. Но на самом деле имеется немало колледжей с магистерскими и докторскими программами. Не всегда определяющим является и число студентов. Обычно «университет» больше «колледжа», но нередко бывает и наоборот. Чаще всего слово «университет» или «колледж» в названии не более, чем дань традиции.

Представление об этих «медленных чтениях» дают пространные эссе Бродского, посвященные стихотворениям Цветаевой, Мандельштама, Фроста, Одена, Рильке и др.

Birkerts S. My Sky Blue Trades: Growing Up Counter in Contrary Times. New York: Viking, 2002. P. 226-228.

Минчин А. 20 интервью. М.: Изографус – Эксмо-пресс, 2001. С. 35. Надо учитывать, что в семинаре Бродского автор получил отметку «посредственно», так что в воспоминании есть элемент сведения счетов, но реакция культурно неподготовленного студента на уроки Бродского передана с наивной непосредственностью.

Труды и дни. С. 46.

409

Там же. С. 49.

410

Из рецензии Джона Апдайка *(The New Yorker,* 13 July 1992. P. 85).

См., например, интервью с Марией Дориа ди Дзулиани, фигурирующей в начале «Набережной неисцелимых». В ее недоброжелательных воспоминаниях о Бродском содержится и явная ложь, что-де когда Бродский эмигрировал в 1972 г. она «помогла ему ждать решения своей участи (то есть разрешения ехать в Америку. – *Л. Л.)* не в Вене, а в Венеции» (Общая газета. 2002. 3 апр. С. 16). На самом деле в Венецию Бродский впервые приехал на Рождество 1972 г., уже прожив полгода в США. Недоволен своим изображением в «Набережной неисцелимых» был, как нам рассказывали, и известный в городе чудак-аристократ, владелец старинного палаццо (21-я глава; деление на главы в русском переводе Г. Дашевского не вполне соответствует английскому оригиналу; этот в целом качественный перевод не свободен от досадных ошибок).

412

Финская исследовательница творчества Бродского Сана Турома в статье «Поэт как одинокий турист: Бродский, Венеция и путевые заметки» *(Турома 2004)* поднимает несколько надуманную проблему: изгнанник или турист – герой травелогов Бродского? Автор обнаруживает большую начитанность в области истории, социологии и семиотики туризма, но приходит к банальному выводу: Бродский – турист, поскольку посещает места, привлекательные для туристов, в первую очередь Венецию, и в Венеции его интересуют в первую очередь классическая архитектура и живопись. Последнее неверно. Самое интимное в отношении Бродского к Венеции – любовь к ее непарадной стороне: к Венеции вне сезона, к жилому району Сан-Пьетро и вообще к собственному быту в этом городе, а не к осмотру достопримечательностей.

Shallcross 2002.

С оговорками к этому списку можно прибавить «Декабрь во Флоренции» (ЧР), «Развивая Платона» и «В Италии» (оба *У),* где родной город увиден сквозь призму других городов, реальных или воображаемых.

415

В письме к автору данной книги.

Волков 1998. С. 170.

См. *Труды и дни.* С. 78-79.

В 1994 г. издательство было куплено издательской группой «Георг фон Хольцбринк», владеющей восемьюдесятью издательствами в Европе и Америке, но на условиях, которые сохраняли за ФСЖ полную автономию.

Time, February 8, 1988.

Для данной работы я получил поддержку Фонда Гуггенхейма.

Liberman A. Campidoglio: Michelangelo's Roman Capitol, with an essay by Joseph Brodsky. New York: Random House, 1994.

422

Либерманы почти что усыновили друга Бродского, блестяще эрудированного, остроумного Геннадия Шмакова, который подолгу жил у них. Привечали они и Эдуарда Лимонова, когда тот жил в Нью-Йорке. О Либерманах см.: *Штерн 2001*. С. 179–195, а также *Лимонов 2000*. С. 99, 105, 111-115.

423

См.: *Карабчиевский Ю. А.* Воскресение Маяковского. Мюнхен: Страна и мир, 1985. Гл. 11.6 (в то время автор еще находился в СССР, но книга его вышла в эмигрантском издательстве и обсуждалась только в эмигрантской печати); *Колкер Ю. И.* Несколько наблюдений (о стихах Иосифа Бродского) // Грани. 1991. № 162. Заметки Карабчиевского и Колкера представляют интересные точки зрения на творчество Бродского, тогда как критика Коржавина и Солженицына субъективна и, скорее, проливает свет на литературно-эстетические взгляды этих выдающихся писателей, чем на творчество Бродского. При жизни Бродского ни Коржавину, ни Солженицыну не довелось опубликовать свою критику. Темпераментные высказывания Коржавина были известны в эмигрантских кругах благодаря его выступлениям на различных форумах.

Brodsky 1972.

425

Открытое письмо художника Михаила Шемякина. Цит. по *Navrozov 1981* в обратном переводе с английского.

Navrozov 1981. P. 13.

СИБ-2. Т. 2. С. 155. Поэма Бродского метила в бывшего друга, Д. В. Бобышева, но инфантильный эротизм характерен и для классического авангарда 1920-х гг. (Крученых, дадаисты, обэриуты), и для таких его эпигонов, каким был в шестидесятые – семидесятые годы Лимонов. См. об этом: *Смирнов И.* О нарцистическом тексте (Диахрония и психоанализ). В кн.: Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 12, 1983. S. 21–45.

Так у Лимонова, который полагает, что на свете возможен такой феномен, как «сотни эмигрировавших русских поэтов» (сотни!).

429

Цит. из: *Лимонов 1984.* С. 132-134.

Лимонов 2000. С. 102. В более позднем тексте, написанном после смерти Бродского, когда поэт был уже канонизирован на родине, Лимонов заметно смягчает свои оценки. Лишенный сомнений в собственном величии, он признается, что Бродский – «единственный из живших в мое время литераторов, кого я некогда выбрал в соперники. Единственный, с кем хотел бы поговорить долго и откровенно, „за жизнь“, о душе, и всякие там космосы и планеты. Но он всегда уклонялся, боялся. Когда он умер, мне стало скучнее. Мне хотелось бы, чтобы он жил и видел мои последующие победы, пусть они и не лежат в области литературы» (там же. С. ПО). Бродский поддерживал Лимонова на первых порах жизни того в Америке, считая его поэтически одаренным. Позднее его оттолкнули проза и общественное поведение Лимонова (когда речь заходила о Лимонове, Бродский был краток: «Шпана»).

По правилам Фонда Макартуров стипендия тем выше, чем старше стипендиат. Так, в год, когда эта премия была присуждена Бродскому, самый юный в группе стипендиатов, 21-летний физик Стивен Волфрам, получил минимальную сумму, 24 тысячи долларов, а самый старший, известный американский писатель, 76-летний Роберт Пенн Уоррен – максимальную, 60 тысяч. За каждый год возраста прибавлялось по 800 долларов. Бродскому был сорок один год. В тот же год «премию гениев» получили еще один эмигрант из Советского Союза, молодой математик Григорий Чудновский, а также друг Бродского поэт Дерек Уолкотт.

Набоков не был полностью аполитичен. Он постоянно и последовательно в стихах и прозе осуждал тоталитаризм и выступал против преследований инакомыслящих в СССР. См., например, его письмо в защиту арестованного в Ленинграде писателя В. Р. Марамзина (The New York Review of Books, March 6, 1975).

433

В стихотворении «В озерном краю» (ЧР) Бродский пишет о состоянии своих зубов: «Развалины почище Парфенона». Ср. у Набокова: «У дантиста [...] седины и ухватки мастера, и, вероятно, художественное отношение к тем трагическим развалинам, освещенным ярко-пурпурным куполом человеческого нёба, к тем эмалевым эрехтеонам и парфенонам, которые он видит там, где профан нащупает лишь дырявый зуб...» *(Набоков В. В.* Камера обскура, [1932], репринт. Энн-Арбор: Ардис, 1978. С. 147).

Интервью 2000. С. 547.

Nabokov V. Selected Letters 1940–1977. Edited by Dmitri Nabokov & Matthew J. Bruccoli San Diego-New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. P. 461.

Там же.

437

Имеется беллетризованный рассказ А. Г. Битова о том, что Бродский получил в Ленинграде в 1970 г. открытку от Набокова: «...я вышагивал (по Невскому. – *Л. Л.),* ибо до открытия магазина, до одиннадцати еще оставалось... навстречу Бродский... «Что так рано?» – «Да вот, роман сдал в издательство». – «Как назвал?» – «Пушкинский дом». – «Неплохо. А я сегодня открытку от Набокова получил». – «Что пишет?» – «Что 'Горбунов и Горчаков' написан редким для русской поэзии размером». – «И все?» Набокова я еще не читал ни строчки. И Иосиф хмыкнул, как только он умел...» *(Битов 1997).* Никаких других сведений об этой открытке нет.

См. подробный отчет о митинге: Cockburn A., Ridgeway J. The Poles, the Left, and the Tumbrils of '84 // *Village Voice,* February 10–16, 1982. P. 10, 28–29, 95. Авторы отчета не скрывают своего изумления и раздражения в связи с речью Зонтаг.

Интервью 2000. С. 204.

Там же. С. 207.

Горбаневская 1996.

Интервью 2000. С. 105. Основным источником сведений о гражданской войне в Испании для Бродского была книга Джорджа Оруэлла «Посвящается Каталонии». Документальную прозу Оруэлла, в особенности книгу об Испании, он ценил очень высоко.

Поэтому обсуждение того, какое именно дипломатическое событие имел в виду Бродский, нерелевантно. См. во всех иных отношениях интересный анализ этого стихотворения в: *Smith et al. 2002*.

СИБ-2. Т. 7. С. 65-66.

Там же. Т. 5. С. 279.

См. об этом также в эссе «Состояние, которое мы называем изгнанием» *(СИБ-2.* Т. 6).

447

Интервью 2000. С. 470, 85 (первое высказывание относится к 1990 г., второе – восемью годами раньше). Среди интервью есть и более конкретные высказывания о достоинствах и недостатках прозы Солженицына. См. о литературных отношениях двух писателей *Лосев 2000*.

448

Интервью 2000. С. 650. То, что Бродский не потрудился выбрать менее грубые выражения, объясняется, видимо, тем, что разговор шел с приятелем – польским журналистом Адамом Михником.

449

Там же. С. 654.

450

Там же.

Partisan Review, №. 4, 1977; изначальный русский текст под названием «География зла» впервые опубликован Виктором Куллэ *(Бродский 1999)*.

452

Письмо от 14 мая 1977 г. (Beinecke, Box 19, Folder 25) опубликовано в: *Лосев 2000*. С. 94. Если Солженицын читал *все* вещи Бродского, опубликованные в русской зарубежной периодике, то он был практически полностью знаком с основным корпусом произведений Бродского на тот момент.

Солженицын 1999. См. также последовавшую полемику: *Ефимов 2000, Лосев 2000, Штерн 2003*.

Там же. С. 191-192.

Там же. С. 188.

СИБ-2. Т. 7. С. 91.

Там же. С. 90.

458

Из-за полного невнимания к денежным делам Бродскому однажды грозили серьезные неприятности. В 1991 г. он забыл вовремя уплатить подоходный налог и уехал в Англию. Грозное налоговое управление начало рассылать письма его соседям в Саут-Хедли с призывом помочь отыскать беглого неплательщика. Об этом эпизоде с юмором писала американская пресса (см. IRS Pens a Few Lines to US Poet Taureate // The Boston Globe, July 7, 1991. P. 40).

Солженицын 1999. С. 193.

Эссе «Песнь Маятника» *(СИБ-2.* Т. 5).

461

Michigan Today. Vol. 24, № 4, December 1992. P. 7 (интервью); Michigan Today. Vol. 25, № 1, March 1993. P. 14 (письма читателей).

462

В русской лирике единственный прецедент такого подчиненного отношения к женщине находим у Пастернака: «…след поэта – только след, / Ее путей, не боле…»

Игнатьев 1996. С. 140.

Bloom A. The Closing of the American Mind. New York: Simon and Schuster, 1987. P. 132–133. Книга Блума вызвала немало критических отповедей. Возможно, со сменой поколений нравы американской молодежи стали постепенно меняться в сторону восстановления традиции, но Блум точно отреагировал на ситуацию семидесятых – начала восьмидесятых годов.

СИБ-2. Т. 6. С. 75.

Там же. С. 76. Поправлена ошибка в переводе: в *СИБ-2* «последней». Надо «последним», так как это относится к «вниманию».

Лимонов 1984. С. 134-135.

468

Письмо профессору Г. П. Струве от 27 ноября 1964 г. (Gleb Struve archive. Hoover Institution).

469

Надо оговориться, что на языке поэзии Бродского слово «вещь» имеет характер почти местоимения. Оно может обозначать неодушевленный предмет («Натюрморт», *КПЭ),* Иисуса Христа («Литовский ноктюрн», *У)* авторское «я» («Aere perennius», *ПСН)* и, среди прочего, женщину. В последнем значении это словоупотребление тоже не однозначно: ср. в эссе «После путешествия, или Посвящается позвоночнику»: «Шведской моей вещи все это было довольно чуждо...» *(СИБ-2.* Т. 6. С. 63) – и «Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной...» *(У).*

Тынянов Ю. Н. Записные книжки // Звезда. 1979. № 3. С. 70.

Как всегда у Бродского, тот же мотив можно найти разработанным и в противоположном смысле. В одиннадцатой «Римской элегии» *(У):* «Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса. / Обожженная небом, мягкая в пальцах глина – / плоть, принявшая вечность...» И далее: «Славься, круглый живот, лядвие с нежной кожей!» Здесь речь идет не о «частях женщины», а о работе скульптора, делающего преходящую физическую красоту вечной. Скульптор, конечно, метафорический. Это – Гёте, автор оригинальных «Римских элегий», и подражающий ему автор новых «Римских элегий».

Особо выразителен контраст между стихотворениями «Ангел» и «Приглашение к путешествию» (оба в *ПСН)*. Сюжетное ядро этих двух коротких стихотворений сходно: одежда, оставленная отсутствующей женщиной. «Белый хлопчатобумажный ангел, / до сих пор висящий в моем чулане / на металлических плечиках» («Ангел») и «В спальне и гардеробе / пахнет духами: но, кроме тряпок от / Диора, нет ничего...» («Приглашение к путешествию»). В «Ангеле» забытое платье – ангел-хранитель лирического героя, в «Приглашении к путешествию» – фетиш для мастурбации. Но главное в «Ангеле» – сквозной мотив безграничной открытости, расширения: «...ангелы обладают / только цветом и скоростью. Последнее позволяет / быть везде. Поэтому до сих пор / ты со мной...» – и в конце удивительное иносказание беременности оставившей героя подруги, чье тело продолжает «расширяться от счастья в диаметре». В финале карикатурного «Приглашения к путешествию» герой насилует женщину, заставляя ее при этом *задыхаться* лицом в подушке. Об эротике и сексуальной тематике у Бродского см. *Pilshchikov 1995, Лосев 1995.*

473

Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженевски, 1857–1924) – классик английского модернизма, поляк, но родился на Украине, а детство провел в Вологде, неподалеку от Череповца, с которым связаны самые ранние воспоминания Бродского. Языками его детства были польский и русский. Проза Конрада, по мнению многих, отличается редким стилистическим совершенством, но говорил он по-английски до конца дней с тяжелым славянским акцентом.

Интервью 2000. С. 118.

Полухина 1997. С. 303-304.

Его не все и не всегда хорошо понимали. Так симпатизирующий ему английский писатель Джон Ле Карре считал, что в разговоре Бродский был косноязычен *(inarticulate)* и дивился, что, несмотря на это, писал Бродский прозу по-английски прекрасно *(Труды и дни.* С. 114). Думается, что дело тут не в качестве разговорного английского Бродского, а в его эллиптической манере говорить вообще, и на родном языке, и на английском, в особенности, когда он бывал увлечен и взволнован – многое опускалось, фразы недоговаривались. Говорящий Бродский полагал, что опускает и без слов понятное собеседнику, чтобы не задерживать развитие мысли. Большинство образованных англичан со школьных лет приучены выражать свои мысли отчетливо.

477

Профессор Джон Мерсеро (The Ann Arbor News, October 22, 1987. P. 4).

Еще одной характерной особенностью английского произношения Бродского было утрированно открытое произношение звука *a*. Так, скажем, «I can» («я могу») он произносил не как «Ай кэн», а как «Ай кан». Вероятно, он невольно подражал произношению Одена, чьи *a* звучали как слишком открытые для американского уха (см.: *Charles H. Miller*. Auden: An American Friendship. New York: Charles Scribner's and Sons, 1983. P. 13). Однако русскому трудно воспроизвести нюансы различия между русским *a* и открытым британским *a*.

Цит. по *Лонсбери 2002*.

Труды и дни. С. 103, 104. Лекция появилась в печати под названием «Altra Ego». Такое же воспоминание осталось у меня о речи Бродского на нобелевском банкете в стокгольмской ратуше и его выступлении перед выпускниками Дартмута в 1989 г. («Похвала скуке») —люди с трудом улавливали обрывки текста.

481

Ш. Хайроев приводит следующую цитату из книги Н. Жаринцевой о русских и их языке, «предвосхитившей во многом опыты сегодняшней сопоставительной лингвокультурологии». Жаринцева «обращает внимание британцев прежде всего на способность русского языка передавать в широком словообразовательном диапазоне многочисленные смысловые и экспрессивные оттенки»: «Оценочных приставок в английском языке гораздо меньше, и – что важнее – они неупотребимы с таким количеством слов, как в русском, а ярких суффиксов в английском языке и вовсе нет. <…> Они составляют мир различий. Мы любим, чтобы слово несло мельчайшие оттенки нашей мысли. Такая гибкость значительно отличается от английской манеры нанизывания отдельных существительных подобно бусам на нить. <…>» (перевод мой. – *Ш. Х.) (Jarintzov N.* The Russians and Their Language. Oxford: Blackwell, 1916. P. 40). *(Хайроев 2004)*.

482

Цит. в статье Leigh Hafrey, «Love and the Analytic Poet», The New York Times Book Review, July 13, 1986, page 3. О том, как любимые мысли Бродского о влиянии языка на характер национального мышления соотносятся с идеями Гердера и других мыслителей XVIII в., а также с современной этнолингвистикой и культурологией, см. *Хайроев 2004*.

483

В интересах объективности я должен сказать, что Бродский однажды резко, хотя и бездоказательно, отверг это мнение, которое я впервые высказал в статье «Английский Бродский». Интервьюер процитировал: «Писателем можно быть только на одном родном языке, что предопределено просто-напросто географией. Даже с малолетства владея двумя или более языками, всегда лишь один мир твой, лишь одним культурно-лингвистическим комплексом ты можешь сознательно управлять, а все остальные – посторонние, как их ни изучай, жизни не хватит, хлопот и ляпсусов не оберешься» *(Лосев 1980.* С. 53). Бродский ответил с резкостью беспрецедентной в наших многолетних отношениях: «Это утверждение вздорное, то есть не вздорное, а чрезвычайно, как бы сказать, епархиальное, я бы сказал, местечковое. Дело в том, что в истории русской литературы не так уж легко найти пример, когда бы писатель был литератором в двух культурах, но двуязычие – это норма, вполне реальная норма» *(Интервью 2000.* С. 117). В подтверждение своих слов он назвал Пушкина и Тургенева. Конечно, оба прекрасно владели французским, но всерьез ни стихов, ни прозы по-французски не писали. Уж скорее о Тургеневе можно сказать, что он как раз «был литератором в двух культурах». Любопытна и оговорка «епархиальное» – калька с английского «parochial». Бродский поправился: «местечковое», но правильным в этом контексте было бы «провинциальное». Позднее, видимо, отношение Бродского к возможности поэтического творчества на двух языках изменилось. В эссе «Altra Ego» (1990) он говорит: «...поэт, по крайней мере в силу профессии, одноязычен» *(СИБ-2.* Т. 6. С. 70).

Полухина 1997. С. 303.

485

См. *Myers 1996*. P. 35. Об автопереводах Бродского см. *Weissbort 2004*.

И три вышеупомянутые книги эссеистической прозы. На польском 14 книг, на итальянском девять, на французском и немецком по семь. Другие языки, на которых выходили книги Бродского при жизни автора, – голландский, датский, иврит, испанский, корейский, монгольский, норвежский, сербо-хорватский, финский, чешский, шведский. Всего прижизненных публикаций книг на иностранных языках было больше шестидесяти, из них приблизительно треть до присуждения Бродскому Нобелевской премии в 1987 г. На родном языке Бродский увидел изданными 28 отдельных книг, не считая нескольких микротиражных раритетных изданий. Из них семнадцать были изданы в России после 1991 г., остальные за границей. Также при его жизни вышли четыре тома *СИБ-1*.

Joseph Brodsky. Elegy to John Donne. Selected, translated and with an introduction by Nicholas Bethell, London: Longmans, 1967.

Пропущены были в основном наиболее ранние стихотворения, а также «Исаак и Авраам». Из «Горбунова и Горчакова» была переведена только одна глава, «Разговор на крыльце», а из «Школьной антологии» – «Альберт Фролов».

См. *Brown 1980, Gifford 1980, Bethea 1986, Weissbort 2004.*

490

Цит. по рукописи интервью Д. Абаевой-Майерс. В «Трудах и днях» (С. 97) начало этого отрывка подверглось сокращению.

Характерный пример – статья некоего Ричарда Костеланеца по поводу книги «Less than One», автор которой опускается до того, что карикатурно передразнивает иностранный акцент Бродского *(Kostelanetz 1986)*. Книга была отмечена премией как лучшая литературно-критическая книга года.

Reid 1986.

Неприязнь или, по крайней мере, неодобрительное отношение к Бродскому было характерно именно для *английского* поэтического истеблишмента (Рид, Рэйн, Алварес). Надо сказать, что поэзия в Англии после Ларкина и Хьюза переживала затяжной кризис. Современные Бродскому крупнейшие англоязычные поэты были ирландцы – Шеймус Хини и Пол Малдун, американцы – Ричард Уилбур, Энтони Хект, Ховард Мосс, Марк Стрэнд, австралиец Лес Марри и уроженец вест-индского острова Сент-Люсия Дерек Уолкотт.

Raine 1996. Эта истеричная статья не осталась без ответа в английской литературной прессе. Так, Майкл Хофман писал в «Обсервере» по поводу «отвратительной и неумелой атаки на Иосифа Бродского»: «Рэйну должно быть стыдно, хотя рассчитывать на это не приходится» *(Hofman 2000)*. Перцепции «английского Бродского» в англоязычном мире посвящены работы *Полухина 1998, Кюст 2000, Лонсбери 2002, Weissbort 2002*.

Kirsch 2000 P. 42.

Heaney 1987. P. 65.

Мы не видим существенного сходства между прозой Бродского и Мандельштама, но обсуждение этого вопроса слишком в стороне от основной темы нашего очерка и было бы слишком громоздко для примечания.

СИБ-2. Т. 5. С. 137. Розанову он там же дает остроумное определение: «русский мыслитель (точнее: размыслитель)».

Среди них два ранних эссе – «Писатель – одинокий путешественник» (1972) и «Размышления об исчадии Ада» (1973) – написаны по-русски, но заведомо для перевода на английский.

500

В интервью Свену Биркертсу Бродский говорит, что, когда пишет на английском, старается «угадать, как отнесся бы к моим попыткам Оден», а затем уточняет: «Оден и Оруэлл» (*Интервью 2000*. С. 94).

Цивьян Т. В. Проза поэтов о «прозе поэта» // *Russian Literature* XLI (1997). P. 429.

Bethea 1986. P. 3.

503

Труды и дни. С. 114-115.

Bayley 1986. P. 3.

505

СИБ-2. Т. 5. С. 256, 324. Кажется, до Бродского единственным литератором, который писал порой на неродном языке не из практических, а из литературных соображений, был один из его кумиров, Беккет. Соображения, правда, были разные. Беккет написал несколько романов и пьес на французском, стремясь достичь универсальности звучания. Бродский выбирает английский потому, что хочет стать равным собеседником Одена, компенсировать свою немоту при реальной встрече.

Updike 1992. P. 85.

507

Все примеры из «Watermark» («Набережной неисцелимых»). Все это, разумеется, делает адекватный перевод на русский таким же трудным делом, как перевод стихов. Вот как звучат эти фрагменты в переводе Г. Дашевского: «попытка приручить – или демонизировать – божественное» (аллитерация не воспроизведена), «брызжа, блеща, вспыхивая, сверкая, она рвалась» (аллитерация частично воспроизведена), «идущая скорее от Клода, чем от кредо» (ассонансная рифма в русском та же, что в английском). И второй – «в сущности, они играют роль не проводника, а водяного». Стараясь сохранить звуковой повтор, переводчик отошел от оригинала, где буквально: «они не столько помогают тебе, сколько превращают тебя в водоросль» *(СИБ-2.* Т. 7. С. 19, 45, 13, 23).

См. *Polukhina 1997*.

509

См. *Лосев 1996*. С. 235–236. Как Бродский использовал «поэтическую поэтику» в своей прозе, исследуется в работе В. П. Полухиной *(Polukhina 1997)*.

См., например, *Интервью 2000*. С. 141.

Чуковская 1997. С. 307.

512

Бывший посол Швеции в СССР Гуннар Ярринг в 1989 г. вспоминал, как он убеждал постоянного секретаря Шведской академии Андерса Остерлинга, что если «обойдут Шолохова и дадут Нобелевскую премию Константину Паустовскому, это вряд ли будет встречено с одобрением в Советском Союзе. Это только вызовет новую горечь, когда люди все еще стараются забыть обиду, которую они усмотрели в присуждении премии Пастернаку» (цит. по: *Espmark K.* The Nobel Prize in Literature: A Study of the Criteria behind the Choices. Boston: G.K. Hall & Co., 1991. P. 186). Вообще Нобелевский комитет всегда действовал автономно и с политиками и дипломатами не консультировался, но в данном случае, после истории с Пастернаком, они боялись навредить Паустовскому! Шведские академики и дипломаты плохо ориентировались в византийских дебрях советской идеологической политики. Тем не менее, когда тот же Ярринг в 1970 г. советовал повременить с присуждением премии Солженицыну, поскольку это «приведет к осложнениям в наших отношениях с Советским Союзом», Остерлинг ответил: «Да, может быть, но мы пришли к соглашению, что Солженицын самый достойный кандидат» (там же. С. 113).

Nobelpriset. The Nobel Prize. Translation of the Speeches at the Nobel Festival 1987. The Nobel Foundation, 1987. P. 27.

Цит. по: *Espmark K.* The Nobel Prize in Literature: A Study of the Criteria behind the Choices. Boston: G.K. Hall & Co., 1991. P. 110.

Nobelpriset. The Nobel Prize. Translation of the Speeches at the Nobel Festival 1987. The Nobel Foundation, 1987. P. 28, 29.

Труды и дни. С. 112.

517

Там же.

СИБ-2. Т. 6. С. 45.

519

Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986. С. 264.

Там же. С. 52.

521

Сравните сказанное В. Вейдле о Бродском как восстановителе связи времен (см. гл. I).

522

СИБ-2. Т. 6. С. 50. Вполне возможно, что на ход рассуждений Бродского в нобелевской лекции повлияли его занятия русской поэзией восемнадцатого века. Всего на двух соседних страницах в томе сочинений М. Н. Муравьева (1757–1807), поэта, которого Бродский знал и ценил, встречаются и мысль об эстетическом воспитании как пути к нравственному усовершенствованию (причем слова Муравьева почти парафразированы у Бродского: «Тот, чье „чувствительное сердце разумеет страдания Петрарки и разделяет величественную скорбь Федры и Дидоны“, чья душа „возвеличивается при разительных изображениях Корнеля или при своенравных картинах Шекспира“, кто восхищается Ломоносовым, „красотами поэмы или расположением картины“, не в состоянии строить своего счастья на несчастье других». См. *Кулакова Л.* Поэзия М. Н. Муравьева в кн.: *Муравьев М. Н.* Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1967. С. 15), и рассуждение о необходимости просвещения для всех сословий, параллельное мысли Бродского о том, что бедой России было «интеллектуальное неравенство», разделение общества на народ и интеллигенцию, и даже, как и у Бродского, ссылка на лорда Шефтсбери.

523

Там же. С. 47. Нас не должно смущать то, что Бродский противоречит в этом афоризме своему любимому Кьеркегору, который ставил эстетику ниже этики и веры. Кьеркегор называл «эстетикой» гедонизм.

Манера Бродского высказывать свои мнения, основанные на авторефлексии и интуиции, в квазилогической форме также провоцировала скептическое отношение некоторых профессиональных ученых (см. об этом в гл. II). В этой связи ценно следующее замечание оксфордского профессора и одного из лучших знатоков русской поэзии на Западе Джеральда Смита: «Тут играет некоторую роль мода – для англичан моего поколения такие эссе, какие писал Бродский, старомодны, особенно стилистически. Литераторы здесь позволяли себе такую манеру до войны, но подобное теперь не практикуется. [...] В этом сказывается, разумеется, еще один важный момент нашей интеллектуальной жизни: специализация, технологизация даже. О Кавафисе, скажем, у нас не станет писать тот, кто не знает новогреческого языка» *(Смит 1996.* С. 141).

World Literature Today, Spring 1988. P. 213. Он также пошутил: «Такой маленький шаг для человечества, такой большой шаг для меня», – перефразируя слова впервые ступившего на Луну американского астронавта Нейла Армстронга: «Маленький шаг одного человека, огромный шаг для человечества».

Не исключено, что советский чиновник просто процитировал Бродского, который в одном из первых интервью вслед за известием о премии сказал, что он на месте Нобелевского комитета дал бы премию Найполу. См. *Интервью 2000*. С. 275.

Московские новости. 1987. 8 нояб. С. 14.

Литературная газета. 1987. 18 нояб. С. 9.

529

Там же. 1987. 25 нояб. С. 9.

Цит. по: Русская мысль. 1987. 30 окт. С. 8.

531

Сообщение там же. С. 10.

Кроме «писем» – «Новый Жюль Берн» и «Осенний вечер в скромном городке...» (Новый мир. 1987. № 12. С. 160–168).

См. *Интервью 2000.* С. 223; *Newsday,* December 28, 1989. P. 57.

В 1990 г. вышли «Осенний крик ястреба» (Л.: IMA Press), «Стихотворения Иосифа Бродского» (Л.: Алга-фонд), «Стихотворения» (Л.: Библиотечка журнала «Полиграфия») и представительный сборник «Часть речи. Избранные стихи 1962–1989» (М.: Художественная литература).

535

Согласно неполной библиографии публикаций, посвященных Бродскому *(Указатель 1999),* их число на последний год жизни поэта приближалось к тысяче.

Тюрин А. «Эстетика – мать этики». Интервью с Иосифом Бродским // Новое русское слово. 1994. 6 дек. С. 45.

СИБ-2. Т. 7.

В свое время «Anno Domini» тоже можно было прочитать как перенос в область воображения впечатлений от поездки в прибалтийскую советскую республику, Литву (см. *Венцлова 1998)*.

539

Ср.: «Я вообще не хожу в театр. Я читаю пьесы – это доставляет мне удовольствие. Смотреть пьесы – невыносимо, очень уж в них все „понарошку“. Не могу делать над собой усилие, чтобы заставить себя поверить в то, что происходит на сцене» (*Интервью 2000*. С. 332).

СИБ-2. Т. 7.

541

РНБ. Ед. хр. 63. Л. 139-155.

Интервью 2000. С. 486.

СИБ-2. Т. 7. С. 292.

Там же. С. 327. «Когда кончается история...» – продолжение темы, начатой в предшествующей сцене. Персонажи откликаются на нашумевшее эссе американского политолога Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», в котором провозглашалось глобальное торжество либеральной демократии (впервые опубликовано в летнем выпуске журнала «National Interest» в 1989 г.).

Там же. С. 298.

546

Горянин А. Дай руку брату своему! Два письма русскому интеллигенту об Украине // Русская мысль. 1996. 8–14 февр. С. 9.

«Отвернутые углы» (арго) – украденные чемоданы.

548

Цит. по кн.: *Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975. С. 25.

Уже после смерти поэта неумелая транскрипция текста с аудиозаписи была опубликована в Киеве в газете «Столиця» (1996. № 13. Сент.). Публикацию сопровождала стихотворная отповедь Павла Кыслого, академика НАН Украины. Кыслый перечислял все исторические обиды, нанесенные Россией Украине, а о Бродском писал: «Ти був заангажованний, смердючий цап, / Не вартий нігтя Тараса» («Ты был завербованный вонючий козел, / Не стоящий ногтя Тараса [Шевченко]»). Но в Украине высказывались и другие мнения. «Конечно, мы можем воспринять брань поэта как оскорбление, но именно она является очевидным выразителем неравнодушия автора. Автор прибегает к архаической традиции заговоров, связанных с украинским фольклором. Именно из фольклора и произведений Шевченко Бродский берет сокрушительную лексику, интонацию бесшабашной анафемы. [...] К кому обращается поэт? Бесспорно, к власти и ее носителям, носителям упадка и раздора. Да, он отождествляет себя с „кацапами“, откровенно осуждает „семьдесят лет“ жизни в империи. Но те, кого он осуждает, не являются ни „ляхами“, ни „Гансами“, ни „украинцами“. Это – силы раздора и вражды, силы, мистически раскованные Чернобылем, самым важным событием катастрофического излома истории. [...] В конце замечу, что И. Бродский, читатель и знаток Григория Сковороды – поэта, которого он ставит на одну ступень с Джоном Донном и Гавриилом Державиным, разделяет главную мысль мудреца: „загляни в себя“. Этот живой призыв воссоздает в учениках Сковороды модель самопознания и погружения в „духовные пещеры“. Это – основание настоящего Памятника – Чистого Логоса, который возводят Гораций, Державин и Пушкин. Он противостоит действенному профанному миру. Именно он является ориентиром современности, светом во тьме, призывом к жизни. Единство и противоположность „строк Александра“ приравнивается к Логосу, а „брехня Тараса“ – действенному, воинствующему творческому Слову поэта-пророка» *(Кравец 2001)*.

Эта метафора, как хорошо было известно начитанному в античной литературе Бродскому, встречается уже у Софокла в «Царе Эдипе», где Иокаста сравнивает главу государства с кормщиком попавшего в бурю корабля.

551

Интервью 2000. С. 653. Это не красивая аллегория, подготовленная специально для интервью. Рассказывая мне по свежим следам о встрече с Горбачевым, Бродский сказал почти то же самое: «Он [Горбачев] что-то говорит, но это неважно. Кажется, что в комнату вошла История».

Чуковская. Т. 3. С. 410.

Сергеев 1997. С. 464.

554

Предварительное изучение архивных материалов заставляет предположить, что стихи в 1979 г. Бродский писал, но, видимо, не был удовлетворен ничем из написанного и считал необходимой дальнейшую работу над этими текстами.

Из четырех старых, написанных еще в России стихотворений, которые Бродский включил в *ПСН,* два, «Песня о красном свитере» и «Любовная песнь Иванова», были пародийно-юмористическими.

556

Ср. «Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах, / свойства тех и других оно ищет в сырых овощах» («Конец прекрасной эпохи», *КПЭ)*.

557

Манн Т. Собрание сочинений. В 10 т.: Т. 4. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. С. 173. См. также интересное эссе С. Стратановского «Творчество и болезнь. О раннем Мандельштаме» (Звезда. 2004. № 2. С. 210–221).

Мы имеем в виду стихи непосредственно на рождественский сюжет, а не просто календарно привязанные к Рождеству. К последним относятся «Рождественский романс» (1962), «Новый год на Канатчиковой даче» (1964), «На отъезд гостя» (1964), «Речь о пролитом молоке» (1967), «Anno Domini» (1968), «Второе Рождество на берегу...» (1971) и «Лагуна» (1973).

Солженицын 1999. С. 190.

560

Из речи, произнесенной на вечере памяти Карла Проффера (Beinecke, Box 29, Folder 8, перевод).

561

В разговоре с Ю. Алешковским, рассказывая о своем сне, из которого выросло эссе «Письмо Горацию» (сообщено нам Алешковским тогда же). В Алешковском Бродский особенно высоко ценил метафизическую интуицию, называл его «органическим метафизиком» *(СИБ-2.* Т. 7. С. 214).

562

«Формально оно посвящено годовщине рождения, содержательно же это типичное для Бродского стихотворение „на смерть“...» *(Лотман М. 1998.* С. 196).

563

Марк Аврелий. Наедине с собой. Пер. С. М. Роговина. В кн.: Римские стоики. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М.: Республика, 1995. С. 290. Стоики всегда очень интересовали Бродского. Марку Аврелию он посвятил в 1994 г. большое эссе «Дань Марку Аврелию» (см. русский перевод в *СИБ-2.* Т. 6. С. 221–246). Об успокоении умерших «в виде распада материи» Бродский пишет уже в юношеском стихотворении «Еврейское кладбище около Ленинграда...» (1958; *СИБ-2.* Т. 1. С. 20). В *ПСН* есть еще одно стихотворение, содержащее текстуально близкий фрагмент, «С натуры» (1995): венецианский воздух, «пахнущий освобожденьем клеток / от времени». Читателя несколько смущает то, что в стихотворении «Только пепел знает, что значит сгореть дотла...» говорится о свободе *от* клеток, а в стихотворении «С натуры» о свободе клеток. Видимо, в первом случае речь идет о более далеко зашедшем процессе разложения.

Пер. З. Морозкиной. *Квинт Гораций Флакк.* Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М.: Художественная литература, 1970. С. 112.

565

К сожалению, мы располагаем черновиком только последней строфы.

Лотман М. 1998. С. 201–202. «Нравилось … лучше», поскольку стихотворение отчасти стилизовано под фольклорный просторечный текст.

Лотман Ю., Лотман М. 1990. С. 294.

Там же. С. 295-296.

569

В поэзии Бродского очень многое напоминает о Маяковском, и эта метафора указывает на один из главных моментов сходства: оба поэта заворожены будущим и проблемой времени (см.: *Поморска К.* Маяковский и время. (К хронотопическому мифу русского авангарда) // *Slavica Hierosolimitana,* V—VI, 1981. С. 341–353). В этом смысле Бродский – не меньше *футурист,* чем Маяковский, и Ю. Карабчиевский прав, отыскивая черты глубокого сходства между двумя неприятными ему поэтами, хотя он и пишет, что Бродский «не только не в пример образованней, но еще и гораздо умней Маяковского» *(Карабчиевский 1985.* С. 273). См. редкое, но знаменательное признание, сделанное Бродским в разговоре с Томасом Венцловой: «У Маяковского я научился колоссальному количеству вещей» *(Интервью 2000.* С. 349).

Лотман М. 1998. С. 189.

Там же. С. 194.

Символика белого и черного цветов была рано освоена Бродским: ср. «"Земля черна". – „О нет, она бела...“» и т. д. в неоконченной юношеской поэме «Столетняя война», видение белого мира в «Посвящается Ялте» *(КПЭ),* «белый на белом, как мечта Казимира» («Римские элегии [XI]»), снеговой покров как предпочтительный облик пространства («Я не то, что схожу с ума, но устал за лето...»; *ЧР),* инвариантный мотив творческой самореализации как *черного на белом.* То же остранение употреблял Достоевский: *«Черного на белом* еще немного, а ведь *черное на белом* и есть окончательное» (письмо А. Майкову, август 1867; *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений. Т. 28– II. Л.: Наука, 1985. С. 205; выделено автором).

Представляется весьма вероятным, что на воображение молодого поэта сильно подействовала глава XLII «О белизне кита» романа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит», представляющая собой трактат о символике белого: «[Белизна] является многозначительным символом духовного начала и даже истинным покровом самого христианского божества и в то же время служит усугублению ужаса во всем, что устрашает род человеческий. [...] Всецветная бесцветность безбожия, которое не по силам человеку...» *(Мелвилл Г.* Моби Дик, или Белый кит. М.: Художественная литература, 1967. С. 227–228).

Ср. «в противоположность тому, чему учит оптика, белизна означает у Бродского не полноту цвета, а его полное отсутствие» *(Лотман М. 1998* С. 204).

См.: *Markov V.* Russian Futurism: A History. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968. P. 80.

У раннего Бродского встречаются и более традиционные научно-фантастические и дистопические мотивы, например, в стихотворении «А. А. Ахматовой» (*ОВП)* и в неоконченной поэме «Столетняя война» (Звезда. 1999. № 1. С. 130-144).

С этим связаны и более общие характеристики поэтики Бродского, подробное обсуждение которых выходит за рамки биографического очерка: сравнительно редкое для лирического поэта и уменьшающееся с годами присутствие авторского «я» в текстах, а в тех случаях, когда «я» наличествует, его подчеркнуто маргинальное помещение в позицию не участника, а наблюдателя – в кафе, на скамейке в парке, «в глухой провинции у моря». Так, вероятно, еще выражается и «жажда слиться с Богом, как с пейзажем» («Разговор с небожителем», *КПЭ)*.

Е. Петрушанская указывает на забавную параллель к этому пассажу и, возможно, его подсознательный источник – детские «страшилки» по типу: «В черном, черном дворце в черном, черном гробу лежит черный, черный мертвец...» (см. *Петрушанская 2004*. С. 69).

На современном медицинском языке такие приступы называются *panic attack*. Весьма возможно, что Бродский испытывал нечто подобное в молодые годы – состояние беспричинного ужаса и борьбы с ним описано в стихотворении «В горчичном лесу» *(CHBBC)*.

Ср.: «Только другими наполнены все кладбища» *(Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 99).

579

В 1977 г. в Энн-Арборе я пересказывал Бродскому сведения по истории русского языка, в частности, гипотезу о том, что звук *ы* в русском произношении есть результат тюркского влияния. Скорее всего, Бродский также читал у Батюшкова о русском языке: «И язык-то сам по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за Ы? Что за Щ? Что за Ш, ШИИ, ЩИЙ, ПРИ, ТРЫ?» (Из письма Н. И. Гнедичу от 27 ноября—5 декабря 1811 г.; *Батюшков К. Н.* Нечто о поэте и поэзии. М.: Современник, 1985. С. 252). Ср. с известными строками из будетлянского стихотворения Д. Петровского «Установка»: «Мы суффиксы введем в глаголы, / В деепричастия предлог, / Дабы бы не могли монголы / Так скоро изучить наш слог» *(Петровский Д.* Галька. М.: Круг, 1927).

580

В одной из рабочих тетрадей Бродского *(Beinecke)* по памяти записаны отрывки из «Гусарской азбуки».

581

В 1974 г. в шутливом послании Андрею Сергееву Бродский выражал желание быть похороненным в Венеции: «Хотя бесчувственному телу / равно повсюду истлевать, / лишенное родимой глины, / оно в аллювии долины / ломбардской гнить не прочь. Понеже / свой континент и черви те же. / Стравинский спит на Сан-Микеле…» *(Сергеев 1997*. С. 453).

582

«Со смертью не всё кончается» *(Проперций.* Элегии, 4.VII). Надпись была выбрана вдовой поэта, знавшей о любви Бродского к Проперцию и, в частности, к этой элегии, которой иногда присваивают название «Смерть Цинтии». Эта строка входит в эпиграф и к другой высокоценимой Бродским элегии – «Смерть друга» (1814) Константина Батюшкова. Переклички с элегией Батюшкова можно усмотреть в одном из поздних стихотворений Бродского «Шеймусу Хини» *(ПСН)*. Возможно, Ахматова говорила с Бродским об этой элегии Проперция в период их частого общения осенью 1965 г., так как именно тогда она перечитывала это стихотворение и сказала, что «Проперций – лучший элегик» *(Тименчик Р. Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.: Водолей; Toronto: The University of Toronto, 2005. С. 271).